

БОЛЬШИЕ *и* КНИГИ

Говард Филлипс
Лавкрафт



ЗОВ
КТУЛХУ

« И Н О С Т Р А Н К А »

БОЛЬШИЕ



КНИГИ

Говард Филлипс
Лавкрафт

ЗОВ КТУЛУ



Издательство «Иностранка»
МОСКВА

УДК 821.111(73)
ББК 84(7Coe)-44
Л 13

Перевод с английского
Сергея Антонова, Игоря Богданова, Василия Дорогокупля,
Валентины Кулагиной-Ярцевой, Олега Мичковского,
Светланы Лихачевой, Евгения Мусихина, Евгения Нагорных,
Валентина Останина, Олега Скворцова

Серийное оформление Вадима Пожидаева

Издание подготовлено при участии издательства «Азбука».

- © С. Антонов, перевод, 2016
- © И. Богданов, перевод, 2016
- © В. Дорогокупля, перевод, примечания, 2016
- © В. Кулагина-Ярцева, перевод, 2016
- © О. Мичковский, перевод, 2016
- © С. Лихачева, перевод, 2016
- © Е. Мусихин, перевод, 2016
- © Е. Нагорных, перевод, 2016
- © В. Останин, перевод, 2016
- © О. Скворцов, перевод, 2016
- © Издание на русском языке, оформление.
ООО «Издательская Группа
„Азбука-Аттикус“», 2014
Издательство ИНОСТРАНКА®

ISBN 978-5-389-06607-6

ЗОВ КТУЛХУ

(Обнаружено в бумагах покойного
Френсиса Виланда Терстона, г. Бостон)

Можно предположить, что из этих великих стихий или существ иные выжили... выжили со времен бесконечно отдаленных, когда... сознание, вероятно, проявляло себя в обличьях и формах, давным-давно отступивших перед натиском человеческой цивилизации... мимолетное воспоминание об этих формах сохранили лишь легенды да поэзия, нарекшие их богами, чудовищами, мифическими существами всех родов и видов...

Элджернон Блэквуд

I

ГЛИНЯНЫЙ УЖАС

По мне, неспособность человеческого разума соотнести между собою все, что только вмещает в себя наш мир, — это великая милость. Мы живем на безмятежном островке неведения посреди черных морей бесконечности, и дальние плаванья нам заказаны. Науки, трудясь каждая в своем направлении, до сих пор особого вреда нам не причиняли. Но в один прекрасный день разобщенные познания будут сведены воедино, и перед нами откроются такие ужасающие горизонты реальности, равно как и наше собственное страшное положение, что мы либо сойдем с ума от этого откровения, либо бежим от смертоносного света в мир и покой нового темного средневековья.

Теософы уже предугадали устрашающее величие космического цикла, в пределах которого и наш мир, и весь род человеческий — не более чем преходящая случайность. Они намекают на странных пришельцев из тьмы веков — в выражениях, от которых кровь бы застыла в жилах, когда бы не личина утешительного оптимизма. Но не от них явился тот один-единственный отблеск запретных эпох, что леденит мне кровь наяву и сводит с ума во сне. Это мимолетное впечат-

ление, как и все страшные намеки на правду, родилось из случайной комбинации разрозненных фрагментов — в данном случае вырезки из старой газеты и записей покойного профессора. Надеюсь, никому больше не придет в голову их сопоставить; сам я, если останусь жив, ни за что не стану сознательно восполнять звенья в столь чудовищной цепи. Думается мне, что и профессор тоже намеревался сохранить в тайне известную ему часть и непременно уничтожил бы свои заметки, если бы не внезапная смерть.

Впервые я ознакомился с ними зимой 1926/27 года: именно тогда умер мой двоюродный дед Джордж Гаммелл Эйнджелл, почетный профессор семитских языков в Брауновском университете города Провиденс, штат Род-Айленд. Профессор Эйнджелл был широко известен как видный специалист по древним надписям, к нему то и дело обращались директора крупных музеев, так что его кончина в возрасте девяноста двух лет вызвала изрядный резонанс. В местном масштабе интерес подогревался еще и тем, что причина смерти осталась невыясненной. Профессор возвращался из Ньюпорта: он сошел с корабля — и, по словам свидетелей, рухнул как подкошенный после того, как его толкнул какой-то негр, с виду моряк, что неожиданно-негаданно вынырнул из странноватого темного дворика на холме, по крутому склону которого пролегал кратчайший путь от порта до дома покойного на Уильямс-стрит. Врачи не обнаружили зримых признаков какого бы то ни было расстройства и, посоветовавшись немного в замешательстве, заключили, что причиной трагедии послужило некое скрытое нарушение сердечной деятельности, спровоцированное быстрым подъемом в гору — в профессорские-то преклонные годы! В ту пору я не видел повода ставить диагноз под сомнение, но в последнее время я склонен задуматься на этот счет... очень серьезно задуматься.

Как наследнику и душеприказчику моего двоюродного деда — ибо он умер бездетным вдовцом — мне полагалось сколькo возможно тщательно просмотреть его архивы; с этой целью я перевез все его коробки и папки на свою бостонскую квартиру. Большую часть разобранных мною материалов со

временем опубликует Американское археологическое общество, однако ж среди ящиков нашелся один, изрядно меня озадачивший: вот его-то мне особенно не хотелось показывать чужим. Ящик был заперт, ключа нигде не оказалось, но в конце концов я догадался осмотреть брелок, что профессор всегда носил в кармане. И действительно: открыть замок мне удалось, но тут передо мною воздвиглось препятствие еще более серьезное и непреодолимое. Что, ради всего святого, означали странный глиняный барельеф и разрозненные записи, наброски и газетные вырезки, мною обнаруженные? Или дед мой, на закате дней своих, стал жертвой самого банального надувательства? Я решил непременно разыскать эксцентричного скульптора, по всей видимости нарушившего душевный покой старика.

Барельеф представлял собою неровный прямоугольник площадью приблизительно пять на шесть дюймов и менее дюйма толщиной, явно современного происхождения. Но изображалось на нем нечто крайне далекое от современности и по духу, и по замыслу, ибо хотя бесчисленны и сумасбродны причуды кубизма и футуризма, нечасто воспроизводят они таинственную упорядоченность, сокрытую в доисторических надписях. А большая часть этих узоров, вне всякого сомнения, представляла собою именно письма, хотя память моя, не взирая на близкое знакомство с бумагами и коллекциями дедушки, не сумела ни опознать эту разновидность, ни хотя бы намекнуть на какие-то отдаленные параллели.

Над этими несомненными иероглифами просматривалась фигура — явно изобразительного плана, хотя импрессионистский стиль исполнения не позволял распознать ее природу. Что-то вроде чудища или символ, представляющий чудище, породить которое способна разве что большая фантазия. Я нимало не погрешу против сути этого образа, если скажу, что моему взбалмошному воображению одновременно представились осьминог, дракон и карикатура на человека. Мясистая голова с щупальцами венчала гротескное чешуйчатое туловище с рудиментарными крыльями, но особенно жуткое впечатление производили *общие очертания* всего в целом. На заднем

плане смутно проступало некое подобие циклопической кладки.

К этой диковинке помимо подборки газетных вырезок прилагался целый ворох свежих записей, сделанных рукою профессора Эйнджелла и не претендующих на какую бы то ни было литературность. Основной, по всей видимости, документ был озаглавлен «КУЛЬТ КТУЛХУ» — тщательно прорисованными печатными буквами, чтобы предотвратить ошибки в прочтении столь неслыханного слова. Рукопись состояла из двух частей: первая — под рубрикой «1925 — Сон и творчество по мотивам снов Г. Э. Уилкокса, проживающего по адресу: штат Род-Айленд, г. Провиденс, Томас-стрит, д. 7», и вторая — «Рассказ инспектора Джона Р. Леграсса, проживающего по адресу: штат Луизиана, г. Новый Орлеан, Бьенвиль-стрит, д. 121; 1908 г. — заседание А. А. О. — протокол и доклад проф. Уэбба». Остальные бумаги представляли собою краткие заметки, в некоторых содержалось описание странных снов самых разных людей, тут же попадались выдержки из теософских книг и журналов (в частности, из «Истории Лемурии и Атлантиды» У. Скотт-Эллиота), а также комментарии на тему сохранившихся с давних времен тайных обществ и секретных культов, вместе со ссылками на соответствующие пассажи в таких справочных изданиях по мифологии и антропологии, как «Золотая ветвь» Фрэзера и «Культ ведьм в Западной Европе» за авторством мисс Мюррей. В газетных вырезках речь шла по большей части о странных психических расстройствах и о вспышках группового помешательства или мании весной 1925 года.

В первой части основной рукописи пересказывалась прелюбопытная история. 1 марта 1925 года к профессору Эйнджеллу явился худощавый смуглый юноша вида неврастенического и до крайности возбужденного, с необычным глиняным барельефом, на тот момент еще мягким и влажным. На визитке значилось имя: Генри Энтони Уилкоккс. Дед узнал в нем младшего сына некоего уважаемого семейства, отдаленно ему знакомого. Юноша вот уже некоторое время учился в род-айлендской художественной школе на отделении скульп-

птуры, а жил один, в здании «Флер-де-лис» неподалеку от учебного заведения. Уилкоккс, многообещающий вундеркинд, славился как своим недюжинным талантом, так и изрядной эксцентричностью и с детства удивлял окружающих диковинными историями и пересказами странных снов. Сам он говорил о своей «физической гиперсенситивности», но респектабельные жители старинного торгового города считали его просто-напросто чудаком. С людьми своего круга он никогда особенно не общался, а постепенно и вовсе выпал из светской жизни; теперь его знала разве что небольшая группа эстетов из других городов. Даже насквозь консервативный Провиденский клуб искусств убедился, что юноша безнадёжен.

Что до визита, сообщалось в профессорской рукописи, скульптор нежданно-негаданно воззвал к археологическим познаниям хозяина, попросив идентифицировать иероглифы на барельефе. Изъяснялся он в этакой отрешенной, напыщенной манере, что наводило на мысль о позерстве и сочувствия не пробуждало, и дед мой отвечал довольно резко, поскольку очевидная новизна глиняной таблички наводила на мысль о чем угодно, кроме археологии. Ответ молодого Уилкоккса, впечатливший деда настолько, что тот запомнил и записал его дословно, был облечен в причудливо-поэтическую форму, свойственную речи юноши в целом; впоследствии я убедился, что такая манера изъясняться для него и впрямь весьма характерна. «Воистину табличка нова, я создал ее прошлой ночью, грезя о невиданных городах, а сны — древнее, чем угрюмый Тир, или задумчивый Сфинкс, или венчанный садами Вавилон».

Тут-то юноша и повел свой бессвязный рассказ, внезапно разбередив дремлющие воспоминания деда и пробудив в нем лихорадочный интерес. Накануне ночью случилось небольшое землетрясение — самое значительное в Новой Англии за последние несколько лет, и впечатлительный Уилкоккс остро ощутил на себе его влияние. Ночью ему привиделся небывалый сон: великие города Циклопов, сплошь — исполинские глыбы и устремленные в небеса монолиты; все они сочились

зеленой слизию и таили в себе неизъяснимый ужас. Стены и колонны были покрыты иероглифами, а откуда-то снизу доносился голос, что и голосом-то не назовешь: хаотическое ощущение, что преобразовать в звук способна лишь фантазия. И тем не менее юноша попытался передать его почти непроницаемым набором букв: «Ктулху фхтагн».

Эта словесная невнятица и послужила ключом к воспоминанию, что одновременно взволновало и встревожило профессора Эйнджелла. Он расспросил скульптора с дотошностью ученого — и с жадной скрупулезностью изучил барельеф. Если верить Уилкоксу, ночью, проснувшись, как от толчка, потрясенный юноша обнаружил, что работает над пресловутой глиняной табличкой — продрогший, в одной пижаме. Впоследствии Уилкоккс рассказывал, что дед списывал не иначе как на свои преклонные годы тот досадный факт, что не сразу распознал иероглифы и изображение. Многие его вопросы показались гостю в высшей степени неуместными — в особенности те, что намекали на его связь со странными культами или обществами. Уилкоккс в упор не понимал настойчивых обещаний хранить тайну в обмен на допуск и членство в каком-то разветвленном мистическом или языческом религиозном сообществе. Когда же профессор Эйнджелл уверился, что скульптор действительно понятия не имеет ни о каком культе и ни о каком тайном знании, он засыпал гостя просьбами сообщать о своих снах и дальше. Результаты, причем на постоянной основе, не заставили себя ждать. После первой беседы в рукописи отмечались ежедневные визиты юноши, в ходе которых он пересказывал впечатляющие фрагменты ночных видений: в них неизменно фигурировали жуткие виды исполинских городов из темного влажного камня и подземный голос или разум, размеренно подающий загадочные импульсы смысла, что в записанном виде представляли собою полную тарабарщину. Чаще всего повторялись два звука: если передать их буквосочетаниями, то получалось «Ктулху» и «Р'льех».

23 марта, как гласила рукопись, Уилкоккс не пришел на встречу. Профессор навел справки на квартире скульптора;

выяснилось, что юношу поразила некая загадочная болезнь и его увезли в семейный особняк на Уотерман-стрит. Ночью он кричал во сне, перебудив еще нескольких художников, проживающих в здании, а с тех пор пребывал либо в беспамятстве, либо в бреде. Дед немедленно позвонил его родственникам и отныне и впредь бдительно следил за развитием событий и то и дело заглаживал в кабинет доктора Тоби на Тайер-стрит, выяснив, что пациента поручили ему. Лихорадочный разум юноши, по всей видимости, одолевали странные видения; пересказывая их, доктор то и дело вздрагивал. В них не только повторялись прежние сны, но в общем сумбуре возникала какая-то исполинская тварь, «во много миль высотой», ковылявшая тяжело и неуклюже. Уилкоккс так и не описал это существо в подробностях, но отрывочные безумные восклицания в пересказе доктора Тоби убедили профессора, что оно, по всей видимости, тождественно безымянному чудовищу, изображенному на скульптуре из сна. Доктор добавил, что, заговорив о глиняном барельефе, юноша неизменно впадал в летаргию. Как ни странно, температура его была немногим выше обычной, но общее состояние наводило на мысль скорее о горячке, нежели о душевном расстройстве.

2 апреля около трех часов пополудни все симптомы недуга разом исчезли. Уилкоккс сел в постели, с превеликим изумлением обнаружив, что находится дома. Он понятия не имел, что происходило с ним начиная с ночи 22 марта, будь то во сне или в действительности. Врач объявил его здоровым; спустя три дня юноша вернулся к себе на квартиру, но профессору Эйнджеллу он больше ничем помочь не мог. С выздоровлением все странные видения прекратились; примерно с неделю дед выслушивал бесполезные, не относящиеся к делу пересказы самых что ни на есть обыкновенных снов, после чего записи вести перестал.

На этом заканчивалась первая часть рукописи, но ссылки на разрозненные заметки дали мне немало материала для размышлений — на самом деле так много, что мое сохранившееся недоверие к художнику объясняется разве что моей

тогдашней философией, насквозь пропитанной скептицизмом. В пресловутых заметках описывались сны разных людей в течение того же периода, когда молодого Уилкокса посещали его странные химеры. Дед очень быстро, по всей видимости, создал разветвленную, обширную сеть наведения справок, охватив едва ли не всех своих друзей, которым мог задавать вопросы, не рискуя показаться дерзким: от них он требовал еженощных отчетов о снах и даты каких-либо примечательных видений за прошедшее время. На подобные просьбы люди, надо думать, реагировали по-разному, и все же при самых скромных подсчетах дед явно получал куда больше ответов, нежели удалось бы обработать без помощи секретаря. Исходная корреспонденция не сохранилась, но дедовы заметки представляли собою детальный и весьма показательный обзор. Люди самые что ни на есть обыкновенные, те, что вращаются в светском обществе и в деловых кругах — пресловутая «соль земли» Новой Англии, — результаты представили в большинстве своем отрицательные. Однако ж тут и там фигурировали отдельные случаи тревожных, но бесформенных ночных впечатлений: все они приходились на период между 23 марта и 2 апреля — когда молодой Уилкокс пребывал в бреду. Ученые оказались чуть более восприимчивы: четыре случая расплывчатых описаний наводят на мысль о мимолетных проблесках странных ландшафтов, и в одном случае упоминается ужас перед чем-то паранормальным.

Ответы по существу дали поэты и художники; я уверен, что будь у них возможность сравнить свои записи, вспыхнула бы настоящая паника. Но поскольку оригиналов писем в моем распоряжении не было, я отчасти заподозрил, что составитель либо задавал наводящие вопросы, либо отредактировал тексты сообразно желаемому результату. Вот почему мне по-прежнему казалось, что Уилкокс, каким-то образом получив доступ к более ранним сведениям, которыми располагал мой дед, намеренно ввел маститого ученого в обман. Отклики эстетов складывались в пугающую повесть. С 28 февраля и по 2 апреля многим из них снились странные, причудливые сны, причем их яркость безмерно усилилась в тот пе-

риод, когда скульптор пребывал в бреду. Примерно одна четвертая из числа тех, кто согласился поведать о своем опыте, сообщали о ландшафтах и отзвуках, очень похожих на описания Уилкокса; а кое-кто из сновидцев признавался, что ближе к концу появлялась гигантская безымянная тварь, внушавшая беспредельный страх. Один из случаев, весьма печальный, рассматривался особенно подробно. Субъект — широко известный архитектор, склонный к теософии и оккультизму, — в день, когда с молодым Уилкоксом приключился приступ, впал в буйное помешательство, неумолчно кричал, умоляя спасти его от какого-то сбежавшего из ада демона, — и несколькими месяцами позже скончался. Если бы дед ссылался на эти случаи, приводя имена, а не просто номера, я бы предпринял независимое расследование в поисках доказательств, но так, как есть, мне удалось установить личность лишь нескольких человек. Однако ж все они дословно подтвердили записи. Я частенько гадаю, все ли опрошенные были столь же озадачены, как эти немногие. Хорошо, что объяснения они так и не получают.

В газетных вырезках, как я уже сообщал, речь шла о вспышках паники, о маниях и психозах в указанный период. Профессор Эйнджелл, должно быть, нанял целое пресс-бюро, потому что количество выдержек было огромно, а источники — разбросаны по всему земному шару. Тут — ночное самоубийство в Лондоне: одинокий жилец с душераздирающим криком выбросился во сне из окна. Там — бессвязное письмо издателю газеты в Южной Америке: какой-то одержимый видениями фанатик предсказывал мрачное будущее. Официальное сообщение из Калифорнии описывало, как целая колония теософов облеклась в белые одежды ради некоего «великого совершения», которое так и не последовало; в то время как в статьях из Индии сдержанно говорилось о серьезных волнениях в среде местного населения ближе к концу марта. По Гаити прокатилась волна шаманских оргий; африканские аванпосты докладывали о недовольстве и ропоте. Американские офицеры на Филиппинских островах докладывали, что примерно в то же время отдельные племена сделались неспо-

койны, а в ночь с 22 на 23 марта в Нью-Йорке полицейских атаковала толпа истеричных левантинцев. В западной части Ирландии множились самые дикие слухи и легенды; весной 1926 года художник-фантаст по имени Ардуа-Бонно выставил в Парижском салоне свое кощунственное полотно под названием «Пригрезившийся пейзаж». А в психиатрических больницах отмечалось такое количество беспорядков, что не иначе как чудо помешало медицинской братии отследить странные параллели и прийти к озадачивающим выводам. В общем и целом — жутковатая подборка вырезок; и сегодня я с трудом понимаю свой тогдашний бездушный рационализм, заставивший меня от них отмахнуться. Впрочем, на тот момент я и впрямь был убежден, что молодой Уилкоккс знал о событиях более давних, профессором упомянутых.

II

ИСТОРИЯ ИНСПЕКТОРА ЛЕГРАССА

События более давние, в связи с которыми сон скульптора и барельеф показали моему деду столь важными, излагались во второй части пространной рукописи. Как выяснилось, в прошлом профессор Эйнджелл уже видел адские очертания безымянного чудовища, и ломал голову над неведомыми иероглифами, и слышал зловещую последовательность звуков, которую можно передать только как «Кгулху». И все это — в таком тревожном и страшном контексте, что не приходится удивляться, если он принялся забрасывать молодого Уилкоккса расспросами и настойчиво требовать все новых сведений.

Этот его более ранний опыт датируется 1908 годом, семнадцатью годами раньше. Американское археологическое общество съехало на ежегодную конференцию в Сент-Луис. Профессор Эйнджелл, как оно и подобает ученому настолько авторитетному и заслуженному, играл значимую роль во всех дискуссиях. Именно к нему в числе первых обратились несколько неспециалистов, что пришли на заседание, дабы по-

лучить правильные ответы на свои вопросы и разрешить проблемы силами экспертов.

Главным среди этих неспециалистов был ничем не примечательный человек средних лет, приехавший из самого Нового Орлеана в поисках узкоспециальной информации, которую местные источники предоставить ему не могли. Именно он вскорости оказался в центре внимания всего почтенного собрания. Звали его Джон Реймонд Лейграсс; работал он полицейским инспектором. Он принес с собой то, ради чего приехал: гротескную, омерзительную, по всей видимости очень древнюю каменную статуэтку, происхождение которой определить затруднялся. Нет, инспектор Лейграсс нисколько не интересовался археологией. Напротив, его любопытство было подсказано исключительно профессиональными соображениями. Статуэтку, идол, фетиш, или что бы уж это ни было, захватили несколькими месяцами раньше в заболоченных лесах к югу от Нового Орлеана, в ходе облавы на сборище предполагаемых шаманов-вудуистов. И столь необычные и отвратительные обряды были связаны с этой статуэткой, что полицейские не могли не осознать, что столкнулись с каким-то неведомым темным культом, бесконечно более страшным, нежели самые что ни на есть дьявольские секты африканских колдунов. О происхождении культа ровным счетом ничего не удалось выяснить — если не считать обрывочных и неправдоподобных признаний, исторгнутых у пленников. Поэтому полиция и решила обратиться к ученым, знатокам древности, в надежде с их помощью понять, что собой представляет кошмарный символ и через него выйти к истокам культа.

Инспектор Лейграсс даже представить себе не мог, какую сенсацию произведет его приношение. При одном только взгляде на загадочный предмет собрание ученых мужей разволновалось не на шутку. Окружив гостя плотным кольцом, все так и пожирала глазами фигурку: ее явная чужеродность и аура неизмеримо глубокой древности наводили на мысль о доселе неоткрытых архаичных горизонтах. Художественную школу, породившую эту страшную скульптуру, так и не удалось опознать, однако ж тусклая, зеленоватая поверхность

неизвестного камня словно бы хранила в себе летопись веков и даже тысячелетий.

Статуэтка, которую неспешно передавали из рук в руки для ближайшего и внимательного рассмотрения, в высоту была около семи-восьми дюймов и поражала мастерством исполнения. Она изображала чудовище неопределенно антропоидного вида, однако ж с головой как у спрута, с клубком щупалец вместо лица, с чешуйчатым, явно эластичным телом, с гигантскими когтями на задних и передних лапах и длинными, узкими крыльями за спиной. Это существо, по ощущению, исполненное жуткой, противоестественной злобности, обрюзгшее и тучное, восседало в отвратительной позе на прямоугольной глыбе или пьедестале, покрытом непонятными письменами. Концы крыльев касались черного края камня сзади, само сиденье помещалось в центре, а длинные, изогнутые когти поджатых, скрюченных задних лап цеплялись за передний край и спускались вниз примерно на четверть высоты пьедестала. Моллюскообразная голова выдавалась вперед, так что лицевые щупальца задевали с тыльной стороны громадные передние лапы, обхватившие задранные колени. Все в целом выглядело неправдоподобно живым — и тем более неуловимо пугающим, что происхождение идола оставалось неизвестным. В запредельной, устрашающей, бесконечной древности статуэтки не приходилось сомневаться, и однако ж ничто не указывало на какой-либо известный вид искусства, возникший на заре цивилизации — либо в любую другую эпоху. Перед нами было нечто особое, ни на что не похожее; даже сам материал и тот являл собою неразрешимую загадку: мылообразный, зеленовато-черный камень с золотыми и радужными вкраплениями и прожилками не походил ни на что знакомое из области геологии либо минералогии. Вязь письмен, начертанных вдоль основания постамента, озадачивала не меньше; никто из участников — несмотря на то что в собрании присутствовала половина мировых экспертов в этой области, — не имел ни малейшего представления о том, с какими языками это наречие хотя бы самым отдаленным образом соотносится. Иероглифы, точно так же, как сама скульп-

тура и ее материал, принадлежали к чему-то устрашающе далекому и чуждому человеческой цивилизации — такой, какой мы ее знаем; к чему-то пугающему, наводящему на мысль о древних и кощунственных циклах жизни, к которым наш мир и наши представления вообще неприложимы.

И однако ж, пока участники конференции по очереди качали головами и признавали свое бессилие перед задачей инспектора, нашелся в собрании один человек, которому померещилось, будто чудовищная фигура и письма ему до странности знакомы. Он-то и рассказал, смущаясь, о некоей памятной ему странной безделице. То был ныне покойный Уильям Чаннинг Уэбб, профессор антропологии Принстонского университета и небезызвестный исследователь. Сорок восемь лет назад профессор Уэбб участвовал в экспедиции по Гренландии и Исландии в поисках рунических надписей, отыскать которые ему так и не удалось. В верхней части побережья Западной Гренландии он обнаружил примечательное племя выродившихся эскимосов (а может, и не племя, а что-то вроде культа). Их религия, любопытная разновидность сатанизма, до глубины души ужаснула профессора своей нарочитой кровожадностью и гнусностью. Об этой вере прочие эскимосы почти ничего не знали, упоминали о ней с содроганием и говорили, что пришла она из бездонных глубин вечности за миллиарды лет до того, как был создан мир. В придачу к отвратительным обрядам и человеческим жертвоприношениям эта религия включала в себя извращенные, переходящие из поколения в поколение ритуалы, посвященные высшему, древнейшему дьяволу, иначе известному как *торнасу*; профессор Уэбб тщательно записал этот термин в транскрипции со слов престарелого жреца-шамана (иначе — *ангек*), как можно точнее передав звучание латинскими буквами. Но на данный момент интерес представлял фетиш, связанный с пресловутым культом: идол, вокруг которого отплясывали эскимосы, когда высоко над ледяными утесами полыхало северное сияние. То был примитивный каменный барельеф с изображением кошмарного монстра, покрытый загадочными письмами. Насколько профессор мог судить, в основных

чертах этот фетиш походил на чудовищную статуэтку, представленную ныне собранию.

Ученые мужи внимали Уэббу настороженно и потрясенно, а инспектор Лейграсс разволновался больше прочих; он в свою очередь принялся засыпать профессора расспросами. Полицейский некогда записал и скопировал устный ритуал со слов арестованных служителей болотного культа и теперь попросил ученого по возможности вспомнить последовательность звуков, зафиксированную среди дьяволопоклонников-эскимосов. Последовало придирчивое, дотошное сличение записей — и в зале повисло благоговейное молчание. Детектив и ученый установили, что фраза, общая для двух адских ритуалов, проводимых в разных концах земного шара, фактически идентична! То, что шаманы-эскимосы и жрецы с луизианских болот выкликали нараспев, вызывая к своим родственным идолам, по сути представляло собою приблизительно следующее: *«Пх'нглуи мглв'нафх Ктулху Р'льех вгах'нагл фхтагн»*.

Причем деление слов угадывалось по традиционным паузам во фразе в ходе пения.

Здесь инспектор Лейграсс на шаг опередил профессора Уэбба: несколько его арестантов-метисов сообщили ему со слов старших участников обряда, что означало пресловутое заклинание. А именно: «В своем чертоге в Р'льехе мертвый Ктулху грезит и ждет».

Теперь же, в ответ на общую настоятельную просьбу, инспектор Лейграсс поведал сколь можно более подробно о своем знакомстве со служителями болотного культа и рассказал историю, которой дед, как я понял, придавал огромное значение. В ней ощущался привкус безумных снов мифотворца и теософа и размах воображения воистину космического масштаба — совершенно, казалось бы, неожиданный в среде отверженных полукровок.

1 ноября 1907 года в новоорлеанскую полицию поступил срочный вызов из края озер и болот к югу от города. Тамошние скваттеры, люди по большей части простые, но добродушные, потомки отряда Лафитта, пребывали во власти слепого ужаса — нечто неведомое подкралось к ним в ночи. Ма-

гия вуду, по всей видимости, причем самой что ни на есть чудовищной, прежде неизвестной разновидности. С тех пор как в черной чаще заколдованного леса, куда не смел заходить никто из местных жителей, зазвучали неумолчные тамтамы, стали пропадать женщины и дети. Оттуда доносились безумные крики, душераздирающие вопли, пение, от которого кровь стыла в жилах, там плясало адское пламя, и, добавил перепуганный посыльный, люди не в силах больше выносить этого кошмара.

И вот ближе к вечеру отряд из двадцати полицейских в двух каретах и одном автомобиле выехал на место событий. Дрожащий от страха скваттер указывал путь. Со временем проезжая дорога закончилась; все вышли и на протяжении нескольких миль шлепали по грязи в безмолвии жутких кипарисовых лесов, не знающих света дня. Безобразные корни и зловеще нависающие петли «испанского мха» преграждали им путь; тут и там груды влажных камней или фрагмент гниющей стены, наводя на мысль о мрачном обиталище, еще больше усиливали ощущение подавленности, в которое вносили свой вклад каждое уродливое дерево, каждый губчатый островок. Наконец впереди показалось поселение скваттеров — жалкое скопление лачуг. Перепуганные жители выбежали за двери и обступили группу с фонарями тесным кольцом. Где-то далеко впереди и впрямь слышался приглушенный бой тамтамов; время от времени, когда менялся ветер, долетал леденящий душу вопль. Сквозь блеклый подлесок откуда-то из-за бескрайних аллей ночной чащи просачивался красноватый отблеск. Все до одного скваттеры — даже при том, что они панически боялись снова остаться одни, — наотрез отказались приближаться к сцене нечестивой оргии хотя бы на шаг. Так что инспектор Лейграсс и его девятнадцать соратников без проводника нырнули под темные аркады ужаса — туда, где никто из них не бывал прежде.

Область, куда ныне нагрянула полиция, испокон веков пользовалась дурной славой — белые туда не заглядывали и почти ничего о ней не знали. Легенды рассказывали о потаенном озере, которого веками не видел взгляд человеческий;

там обитала гигантская, бесформенная белесая полипообразная тварь со светящимися глазами; скваттеры перешептывались, что в полночь-де к ней на поклон из пещер в недрах земли вылетают дьяволы на крыльях летучих мышей. Поговаривали, что тварь эта жила там до д'Ибервиля, до Ла Сая, до индейцев и даже до привычных лесных зверей и птиц. В ней словно ожил ночной кошмар; увидеть чудище означало умереть. Но тварь насылала на людей сны, так что они знали достаточно, чтобы не соваться куда не надо. Нынешняя вудуистская оргия происходила на самой окраине ненавистой области, но и этого было довольно: возможно, поэтому место, выбранное под святилище, внушало скваттерам еще больший ужас, чем кошмарные звуки и происшествия.

Лишь поэт или безумец сумел бы воздать должное звукам, что слышали люди Леграсса, пробираясь вперед сквозь черную трясину в направлении алого отблеска и приглушенного рокота тамтамов. Разные тембры голоса присущи человеку и зверю; и страшно слышать одно вместо другого. Животная ярость и разнузданное непотребство здесь нарастали до демонического размаха: завывания и экстатические вопли неистовствовали и эхом прокатывались из конца в конец по ночному лесу, точно чумные бури из пучин ада. То и дело беспорядочное улюлюканье смолкало, и, по всей видимости, вымуштрованный хор хриплых голосов принимался монотонно выпевать эту мерзкую фразу или целое заклинание: «Пх'нглуи мглв'нафх Ктулху Р'льех вгах'нагл фхтагн».

Наконец полицейские выбрались из болота туда, где деревья поредели, — и глазам их внезапно открылось жуткое зрелище. Четверо пошатнулись, один рухнул в обморок, двое не сдержали иступленного крика — по счастью, голоса их потонули в безумной какофонии оргии. Леграсс плеснул водой в лицо потерявшему сознание; все застыли на месте, дрожа крупной дрожью, загипнотизированные ужасом.

На прогалине среди болот обнаружился поросший травой островок, протяженностью примерно в акр, безлесный и относительно сухой. На этом островке скакала и извивалась неопикуемая орда — скопище человеческих уродств, нарисо-

вать которые не под силу никому, кроме разве Сайма или Ангаролы. Голые, в чем мать родила, эти разношерстные ублюдки ревели, мычали и, корчась, выплясывали вокруг чудовищного кольца огня. Сквозь разрывы в огненной завесе можно было разглядеть, что в центре возвышается гигантский гранитный монолит примерно восьми футов в высоту; а на нем, несообразно-миниатюрная, стоит мерзкая резная статуэтка. На равном расстоянии от окаймленного огнем монолита по широкому кругу были расставлены десять виселиц, и на них висели, головами вниз, чудовищно изуродованные тела злополучных пропавших скваттеров. Внутри этого круга и бесновались с ревом служители культа, в массе своей двигаясь слева направо в нескончаемой вакханалии между кольцом мертвых тел и кольцом огня.

Возможно, это просто фантазия разыгралась; возможно, это было всего лишь эхо — но только одному из полицейских, впечатлительному испанцу, почудилось, будто он слышит ответные отзвуки, как бы вторящие ритуальному пению — откуда-то издалека, из неосвященной тьмы в глубине чаши, средоточия древних легенд и ужасов. Этого человека, именем Джозеф Д. Калвес, я впоследствии отыскал и расспросил; и да, как ни досадно, воображения ему было не занимать. На что он только не намекал — и на шелестящие взмахи гигантских крыльев, и на отблеск сверкающих глаз, и на смутно белеющую за дальними деревьями громаду — но я так полагаю, это он местных суеверий наслушался.

Строго говоря, потрясенное замешательство полицейских продлилось недолго. Служба — прежде всего; и хотя одержимой швали в толпе насчитывалось человек под сто, блюстители порядка, полагаясь на огнестрельное оружие, решительно ринулись в самую гущу гнусного сборища. Шум, гвалт и хаос первых пяти минут не поддаются никакому описанию. Сыпались яростные удары, гремели выстрелы, кому-то удалось бежать, но в конце концов Лэграсс насчитал сорок семь угрюмых пленников. Их заставили по-быстрому одеться и выстроили в цепочку между двумя рядами полицейских. Пятеро идолопоклонников были убиты на месте, а двоих тяже-

лораненых унесли на импровизированных носилках их же арестованные собраты. А статуэтку инспектор Леграсс осторожно снял с монолита и забрал с собой.

Путь назад оказался чрезвычайно тяжелым и утомительным. В полицейском отделении пленников допросили; все они оказались умственно отсталыми полукровками — самые что ни на есть отбросы общества. В большинстве своем это были матросы, и среди них — несколько мулатов и негров, главным образом уроженцев Вест-Индии и португальцев с Брава и других островов Кабо Верде: они-то и привносили оттенок вудуизма в разношерстный культ. Но уже после первых вопросов стало ясно, что речь идет о веровании более глубоком и древнем, нежели негритянский фетишизм. При всем своем невежестве и убожестве эти несчастные с удивительной согласованностью держались ключевой идеи своей омерзительной религии.

По их словам, они поклонялись Великим Древним, которые жили за много веков до появления первых людей и явились в только что созданный мир с небес. Теперь Древние ушли, они в недрах земли и в морских глубинах, но их мертвые тела поведали свои тайны через сны первым людям, а те создали культ, и культ этот жив по сей день. Это он и есть; арестанты уверяли, что культ существовал всегда и пребудет вечно, в дальней глуши и в темных укрывищах по всему свету — до тех пор, пока великий жрец Ктулху не восстанет в своем черном чертоге в могучем городе Р'льех под водой и снова не подчинит себе землю. Однажды, при нужном положении звезд, он позовет — а до тех пор тайный культ неизменно ждет своего часа, — дабы освободить Ктулху.

А до тех пор — более ни слова. Даже под пыткой служители культа не выдали бы своего секрета. Среди мыслящих земных существ человек не вовсе одинок, ибо из тьмы к немногим верным приходят призраки. Но это — не Великие Древние. Древних никому из людей видеть не доводилось. Резной идол изображает великого Ктулху, но никто не взялся бы утверждать, насколько похожи на него все прочие. Ныне никому не под силу прочесть древние письма, не многое

передавалось из уст в уста. Ритуальный речитатив тайной не являлся — о тайнах говорили не вслух, но шепотом. Песнопение означало всего-навсего: «В своем чертоге в Р'льехе мертвый Ктулху грезит и ждет».

Только двое арестованных оказались достаточно вменяемы, чтобы отправить их на виселицу; остальных поместили в соответствующие лечебницы. Свое участие в ритуальных убийствах все отрицали, уверяя, будто жертв умерщвляли Черные Крылья, прилетавшие со своего исконного места встречи в колдовском лесу. Но никакой связной информации об этих загадочных пособниках получить так и не удалось. Почти все, что полиции посчастливилось выяснить, сообщил престарелый метис по имени Кастро: он утверждал, будто причаливал в чужеземных гаванях и беседовал с бессмертными вождями культа в горах Китая.

Старик Кастро припомнил обрывки жуткой легенды, пред которой бледнели домыслы теософов, а мир и человек казались воистину юны и скоротечны. В незапамятные эпохи на земле царили Иные — Они возвели величественные города. То, что от них осталось (как якобы рассказывали бессмертные китайцы), сохранилось и по сей день: циклопическая кладка на островах Тихого океана. Все Они вымерли за много веков до появления человека; однако ж с помощью тайных искусств Их можно оживить, когда звезды снова встанут в нужное положение в цикле вечности. Сами Они некогда пришли со звезд и принесли с собою Свои изваяния.

Эти Великие Древние, продолжал Кастро, не вполне из плоти и крови. У Них есть обличье — разве не подтверждает того статуэтка со звезд? — но обличье это нематериально. При должном расположении звезд Они могут переноситься по небу из мира в мир, но когда звезды неблагоприятны, Они не живут. Однако и не будучи живыми, Они не могут умереть в полном смысле этого слова. Все Они покоятся в каменных чертогах в Своем великом городе Р'льех, защищенные чарами могучего Ктулху в преддверии славного воскрешения, когда звезды и земля снова будут готовы принять Их. Но в нужный час понадобится некая внешняя

сила, дабы помочь освободить Их тела. Чары, сохранявшие Их нетленными, не дают Им и воспрять; Они могут лишь бодрствовать во тьме, погруженные в думы, пока над землей текут бессчетные миллионы лет. Они знают обо всем, что происходит во вселенной, ибо речью Им служит обмен мыслями. Даже сейчас Они беседуют в Своих гробницах. Когда же на смену беспредельному хаосу появились первые люди, Великие Древние воззвали к наиболее чутким из них, придавая форму их снам, ибо только так мог Их язык воздействовать на плотский разум млекопитающих.

Тогда, прошептал Кастро, эти первые люди создали культ вокруг небольших идолов, что явили им Древние, — идолов, принесенных в сумеречные эпохи с темных звезд. Этот культ не умрет вовеки — до тех пор, пока звезды не примут вновь нужное положение; тогда тайные жрецы выведут великого Ктулху из гробницы, дабы Он оживил Своих подданных и вновь воцарился на земле. Распознать, что время пришло, будет нетрудно, ибо в ту пору человек уподобится Великим Древним — станет свободен и дик, вне добра и зла, отринет закон и мораль; мир захлестнут крики и вопли, кровопролитие и разгульное веселье. Тогда освобожденные Древние научат людей по-новому кричать, убивать, ликовать и радоваться, и по всей земле запыхает губительный пожар экзистенциальной свободы. Между тем культ, посредством подобающих обрядов, должен хранить память о древних обычаях, предвосхищая пророчество об их возрождении.

В былые времена избранные говорили с погребенными Древними через сны, а потом случилась великая катастрофа. Каменный город Р'льех вместе с его монолитами и гробницами ушел под воду. Бездонная пучина, средоточие той единственной исконной тайны, сквозь которую не проникнет даже мысль, оборвала призрачное общение. Но память не умирает; и верховные жрецы говорят, будто при благоприятном расположении звезд город поднимется вновь. Тогда из глубинных недр появились черные духи земли, гниlostные и неясные, неся смутные слухи из пещер под позабытым дном моря. Но о них старик Кастро не смел распространяться по-

дробнее. Он тут же прикусил язык, и никакими уговорами и хитростями так и не удалось вытянуть из него больше. Любопытно, что про *размеры* Древних он тоже отказался рассказывать. Что до культа, по предположениям Кастро, центр его находится в нехоженных пустынях Аравии, где дремлет Ирем многоколонный, сокрыт и нетронут. Культ никак не связан с европейским чернокнижием и за пределами круга посвященных практически неизвестен. Ни в одной книге не содержится о нем даже намеков, хотя бессмертные китайцы говорили, будто в «Некрономиконе» безумного араба Абдула Альхазреда многие фразы несут в себе двойной смысл, и посвященные вольны прочитывать их так, как считают нужным, особенно знаменитые строки:

Не мертв, кого навек обьяла тьма.
В пучине лет умрет и смерть сама.

Леграсс, глубоко потрясенный и немало озадаченный, напрасно допытывался о месте культа в истории. Кастро, по всей видимости, не солгал, утверждая, что культ хранится в глубокой тайне. Специалисты из Тулейнского университета не смогли сказать ничего определенного ни о культе, ни о статуэтке. И вот теперь инспектор обратился к светилам из светил, ведущим специалистам страны — и вынужден был удовольствоваться всего-то-навсего рассказом о Гренландии из уст профессора Уэбба.

Лихорадочный интерес, вызванный сообщением Леграсса и подогретый еще больше благодаря статуэтке, эхом звучит в последующей переписке участников конференции, хотя в официальных публикациях общества тема эта почти не затрагивается. Осмотрительность — девиз тех, кто привык то и дело сталкиваться с подлогом и шарлатанством. Леграсс на время ссудил идола профессору Уэббу, но после смерти ученого статуэтка вернулась к Леграссу и по сей день находится у него; не так давно я имел возможность с ней ознакомиться. Скульптура воистину жуткая и, несомненно, сродни барельефу из сна молодого Уилкокса.

Надо ли удивляться, что деда взволновала история скульптора! Ведь он уже знал о культе со слов Леграсса — и вот вам пожалуйста, судьба столкнула его с гиперчувствительным юношей, которому *приснилось* не только изображение и точные иероглифы как с болотного идола, так и с гренландской адской таблички, но который *во сне* услышал по меньшей мере три слова из заклинания, повторяемого как дьяволопоклонниками-эскимосами, так и полукровками-луизианцами! Естественно, профессор Эйнджелл тотчас же взялся за доскональное расследование; хотя я все еще подозревал про себя, что молодой Уилкокс каким-то косвенным образом прослышал о культе и просто-напросто выдумал серию сновидений, дабы нагнетать и всячески раздувать таинственность за счет моего деда. Записи снов и газетные вырезки из коллекции профессора, несомненно, явились весомыми доказательствами, но мой неистребимый рационализм и необычность всей этой истории неумолимо подталкивали меня к, казалось бы, самым разумным выводам. Так что, еще раз тщательно изучив рукопись и сопоставив фрагменты из теософских и антропологических трудов с Леграссовым рассказом о культе, я отправился в Провиденс, чтобы лично повидаться со скульптором и осыпать его, как мне казалось, заслуженными упреками за беззастенчивое издевательство над пожилым ученым.

Уилкокс по-прежнему проживал в одиночестве в здании «Флер-де-лис» на Томас-стрит — в этой чудовищной викторианской имитации бретонской архитектуры семнадцатого века, что выставляет напоказ оштукатуренный фасад среди очаровательных особняков колониальной эпохи на древнем холме, под сенью роскошнейшего из георгианских шпилей Америки. Я застал юношу за работой и уже по разбросанным тут и там образцам с первых же минут понял, что имею дело с подлинным, несомненным гением. Полагаю, в один прекрасный день он прославится как один из великих декадентов, ибо он запечатлел в глине, а в один прекрасный день отразит и в мраморе те фантазии и кошмары, что Артур Мейчен воплощает в прозе, а Кларк Эштон Смит являет в стихах и в живописи.

Темноволосый, хрупкого сложения и несколько неряшливого вида, он томно обернулся на мой стук и, не вставая, осведомился, что у меня за дело. Я представился; он выказал некоторый интерес — мой дед некогда возбудил его любопытство: расспрашивая о странных снах, он, однако ж, так и не объяснил, в чем состояла суть его исследований. На этот счет и я его просвещать не стал, но ненавязчиво попытался его разговорить. Очень скоро я убедился в совершенной его искренности: он говорил о снах в манере весьма характерной. Эти сновидения и отпечаток их в подсознании глубоко влияли на его творчество: Уилкоккс показал мне чудовищную статую, очертания которой просто-таки дышали зловещей недоговоренностью. Скульптор не помнил, чтобы ему доводилось видеть оригинал, вот разве что на его собственном барельефе из сна, но контуры фигуры возникали под его рукой сами собою. Несомненно, именно этот гигантский фантом являлся ему в бреду. Вскоре стало очевидно, что юноша в самом деле ничего не знал о тайном культе, кроме разве того, что проскальзывало ненароком в ходе дедова безжалостного допроса; и я вновь принялся ломать голову, где же Уилкоккс мог почерпнуть эти жуткие образы.

О снах Уилкоккс рассказывал в причудливой поэтической манере, так, что я с ужасающей яркостью представлял себе и сырой циклопический город из склизкого зеленого камня, *геометрия* которого, по невразумительному отзыву юноши, *насквозь неправильная*, и с боязливым предвкушением слышал неумолчный, словно бы мысленный зов из-под земли: «Ктулху фхтагн, Ктулху фхтагн». Эти слова складывались в страшный ритуал, повествующий о сонном бдении мертвого Ктулху в каменном склепе Р'льеха; и, несмотря на весь мой рационализм, меня пробрало до самых костей. Наверняка Уилкоккс где-то краем уха услышал о культе и вскорости позабыл о нем под наплывом столь же странных впечатлений от книг и грез. Однако ж впечатление запало юноше в душу и позже нашло выражение через бессознательное — в снах, в барельефе и в кошмарной статуе, что ныне стояла передо мной. Разумеется, деда он ввел в заблуждение не нарочно.

Такой тип молодых людей — одновременно слегка претенциозный и несколько развязный — я всегда не жаловал, однако ж теперь я был готов признать как незаурядный талант Уилкокса, так и его порядочность. Я дружески с ним распрощался и пожелал многообещающему гению всяческих успехов.

Между тем история культа по-прежнему меня завораживала; а порою я мечтал о том, как прославолюсь, досконально изучив происхождение культа и его связи. Я побывал в Новом Орлеане, потолковал с Леграссом и другими полицейскими, участниками той давней облавы, своими глазами увидел страшного идола и даже допросил нескольких арестантов-метисов, что дожили до сего дня. К сожалению, старик Кастро вот уже несколько лет как умер. То, что я теперь узнал из первых рук как наглядное подтверждение всего того, что записал мой дед, взволновало меня заново. Я был уверен, что попал на след самой настоящей, архисекретной и весьма древней религии и открытие это принесет мне известность как антропологу. Я по-прежнему подходил к культу с позиций убежденного материалиста — *хотел бы я оставаться таковым и сейчас!* — и с необъяснимым упрямством сбрасывал со счетов совпадения между записями снов и подборкой странных газетных вырезок, составленной профессором Эйнджеллом.

Единственное, что я тогда заподозрил, а теперь, боюсь, уверен в том доподлинно: дед мой умер отнюдь не естественной смертью. Он рухнул как подкошенный на узкой улочке, уводящей вверх по холму от старинной набережной, где кишмя кишел всякий заезжий сброд, — упал, после того как его случайно толкнул матрос-негр. Я хорошо помнил, что представляли собою служители культа в Луизиане: по большей части полукровки, по роду занятий связанные с морем, — не удивлюсь, если существуют разнообразные тайные способы и отравленные иголки, известные издревле и столь же немолчимые, как и загадочные обряды и верования. Леграсса и его людей оставили в покое, что правда, то правда, а вот некий моряк из Норвегии, насмотревшийся на то и это, тоже мертв. Что, если подробные расспросы моего деда после того, как он

пообщался со скульптором, дошли до недобрых ушей? Думается мне, профессор Эйнджелл погиб, потому что слишком много знал или был к тому близок. Посмотрим, постигнет ли та же участь и меня — ибо теперь я и впрямь знаю слишком много.

III БЕЗУМИЕ С МОРЯ

Если небеса когда-либо захотят меня облагодетельствовать, пусть они целиком и полностью сотрут из моей памяти последствия того, что однажды взгляд мой по чистой случайности упал на полку, застеленную ненужной бумагой. В моих повседневных занятиях ничего подобного мне бы в жизни не подвернулось: то был старый номер австралийского журнала «Сиднейский вестник» за 18 апреля 1925 года. Он ускользнул даже от внимания пресс-бюро моего деда, которое на тот момент жадно собирало материал для профессорских исследований.

Я уже почти бросил наводить справки о том, что профессор Эйнджелл называл «культом Ктулху». В ту пору я гостил у одного своего высокоученого друга в Патерсоне, штат Нью-Джерси: он был хранителем местного музея и известным минералогом. Однажды, рассматривая экспонаты резервного фонда, в беспорядке разложенные на полках хранилища в самой глубине музея, я случайно наткнулся на странную иллюстрацию в одном из старых журналов, подстеленных под камни. Это и был вышеупомянутый «Сиднейский вестник», ибо друг мой имел широкие связи во всех мыслимых уголках мира; иллюстрация представляла собою полутоновое изображение отвратительного каменного идола — точную копию того, что нашел на болотах Лепрасс.

Жадно высвободив журнал из-под ценных образцов, я внимательно просмотрел заметку: к моему вящему сожалению, она оказалась недлинной. Однако ж содержание ее оказалось чрезвычайно важным для моих безуспешных розысков; я ак-

куратно вырвал страницу, это неожиданное руководство к действию. Говорилось в заметке следующее:

«В МОРЕ ОБНАРУЖЕНО
ЗАГАДОЧНОЕ ПОКИНУТОЕ СУДНО

«Бдительный» возвращается с неуправляемой тяжеловооруженной новозеландской яхтой на буксире.

На борту обнаружены люди: один выживший и один покойник. История отчаянной битвы и смертей на море. Спасенный моряк отказывается делиться подробностями о пережитом. При нем найден странный идол. Ведется расследование.

Грузовое судно «Бдительный» компании «Моррисон», идущее из Вальпараисо, причалило нынче утром к пристани в гавани Дарлинг, ведя на буксире поврежденную, выведенную из строя, но тяжеловооруженную паровую яхту «Сигнал» из Данидина (Новая Зеландия). Яхта была обнаружена 12 апреля на 34° 21' южной широты, 152° 17' западной долготы, с двумя людьми на борту; один из них жив, один — мертв.

«Бдительный» покинул Вальпараисо 25 марта, а 2 апреля отклонился от курса заметно южнее по причине исключительной силы штормов и чудовищных волн. 12 апреля было замечено покинутое судно; на первый взгляд на нем не было ни души, но, поднявшись на борт, моряки обнаружили одного уцелевшего в полубредовом состоянии и один труп — по всей видимости, этот человек умер больше недели назад. Выживший судорожно сжимал в руке кошмарного каменного идола неизвестного происхождения, примерно в фут высотой, о природе которого специалисты из Сиднейского университета, Королевского общества и музея на Колледж-стрит пребывают в полном недоумении. Спасенный утверждает, что нашел статуэтку в каюте яхты, в маленьком, ничем не примечательном резном ковчеге.

Этот человек, придя в сознание, рассказал историю в высшей степени странную — о пиратстве и смертоубийстве. Зовут его Густав Йохансен, он норвежец, умом не обделен, был вторым помощником капитана на двухмачтовой шхуне «Эмма» из Окленда; шхуна отплыла в Кальяо 20 февраля, с экипажем

из одиннадцати человек на борту. По словам Йохансена, «Эмма» изрядно задержалась в пути и отклонилась от курса далеко к югу по причине сильного шторма, разыгравшегося 1 марта. 22 марта на 49° 51' южной широты, 128° 34' западной долготы она повстречала «Сигнал», команда которого, состоящая из канаков и метисов, вид имела недобрый и крайне подозрительный. Капитану Коллинзу безапелляционно приказали поворачивать назад, тот отказался, тогда странная шайка без предупреждения открыла яростный огонь по шхуне из батареи тяжелой артиллерии — из медных пушек, которыми была укомплектована яхта. Команда «Эммы» вступила в бой, рассказал уцелевший, и хотя шхуна начала тонуть — ее обстреляли ниже ватерлинии, — ей удалось-таки подойти вплотную к яхте. Матросы «Эммы» высадились на палубу неприятельского судна, схватились со свирепыми дикарями, которым ненамного уступали числом, и вынуждены были перебить их всех — ибо те сражались пусть и неумело, однако не на жизнь, а на смерть, не щадя никого.

Трое с «Эммы» погибли, в том числе капитан Коллинз и первый помощник Грин, а оставшиеся восемь под командованием второго помощника Йохансена взяли на себя управление захваченной яхтой и поплыли дальше в первоначальном направлении — проверить, в силу какой причины им велели поворачивать вспять. На следующий день они якобы высадились на небольшом островке, хотя в этой части океана никаких островов не отмечено; и шестеро членов экипажа там загадочным образом погибли. Эту часть истории Йохансен, как ни странно, замалчивает — говорит лишь, что они сгинули в скальном провале. Потом он и его единственный спутник, по-видимому, вернулись на яхту и попытались управлять ею, но 2 апреля разыгрался шторм и корабль оказался во власти ветров и волн. С того момента и вплоть до 12 числа, когда его спасли, Йохансен почти ничего не помнит — не знает даже, когда умер его напарник, Уильям Бриден. Смерть Бридена наступила по невыясненной причине — видимо, вследствие перевозбуждения или переохлаждения. По телеграфу из Данидина сообщили, что островное торговое судно

«Сигнал» было там хорошо известно и пользовалось в порту самой дурной репутацией. Владела им странная шайка, состоящая из людей смешанной крови; их частые сборища и ночные вылазки в лес вызвали немалое любопытство. Сразу после бури и землетрясения 1 марта судно поспешно снялось с якоря и вышло в море. Наш корреспондент из Окленда дает прекрасные отзывы об «Эмме» и ее экипаже, а Йохансен охарактеризован как человек порядочный и здравомыслящий. Начиная с завтрашнего дня адмиралтейство назначит расследование дела, в ходе которого Йохансена постараются убедить рассказать о происшедшем подробнее.

И это было все в придачу к изображению адской скульптуры, но что за поток мыслей всколыхнулся в моем сознании! Вот она — новая сокровищница фактов о культе Ктулху, вот оно — наглядное свидетельство тому, что культ ведет престранную деятельность как на суше, так и на море. Что за мотив побудил разношерстную команду приказать «Эмме» поворачивать вспять, в то время как сами эти люди плыли куда-то со своим омерзительным идиолом? Что это еще за неведомый остров, на котором погибли шесть человек из экипажа «Эммы» и о котором второй помощник Йохансен упорно хранил молчание? Что выявило расследование вице-адмиралтейства и многое ли известно о пагубном культе в Данидине? И самое удивительное: что это за подспудная и не иначе как сверхъестественная связь дат — связь, наделившая зловещей и теперь уже бесспорной значимостью разнообразные повороты событий, столь тщательно задокументированные моим дедом?

1 марта — наше 28 февраля согласно международной демаркационной линии времени: землетрясение и буря. «Сигнал» и его гнусная команда поспешно покидают Данидин, словно торопясь на властный зов, а на другой стороне земного шара поэты и художники видят во сне странный сырой циклопический город и молодой скульптор вылепливает во сне фигуру кошмарного Ктулху. 23 марта команда «Эммы» высаживается на неизвестный остров, шесть человек гибнут.

В тот же самый день сны гиперчувствительных людей обретают небывалую яркость и живость, окрашиваются ужасом перед злобным преследованием гигантского монстра; некий архитектор сходит с ума, а скульптор внезапно впадает в бредовое состояние! А как насчет шторма 2 апреля — именно тогда все сны о сыром городе прекратились, а Уилкоккс воспрял от странной лихорадки живой и невредимый? Как это все понимать — и как понимать намеки старика Кастро касательно погруженных в пучину звезднорожденных Древних, их грядущего царства, преданного им культа и *их способности управлять снами*? Уж не балансирую ли я на самой грани космических ужасов, вынести которые человеку не под силу? А если так, то это, должно быть, ужасы чисто умозрительно-го характера, ведь каким-то непостижимым образом 2 апреля положило конец чудовищной угрозе, взявшей было в осаду душу человечества.

Тем же вечером, в спешке отправив несколько телеграмм и предприняв все необходимые приготовления, я распрощался с моим хозяином и сел на поезд, идущий в Сан-Франциско. И месяца не прошло, как я уже был в Данидине, где, однако ж, обнаружил, что о странных служителях культа, некогда захаживавших в старые приморские таверны, почти ничего не известно. Порты вечно кишат всяким отребьем, но кто ж его запоминает? Однако ж ходили смутные слухи о том, как однажды эта разношерстная команда отправилась в глубь острова, и тогда на дальних холмах зажглось алое пламя и слышалось эхо барабанного боя. В Окленде я узнал, что по возвращении с поверхностного, чисто формального допроса в Сиднее Йохансен вернулся *седым*, при том что прежде был светловолос; продал свой домик на Уэст-стрит и отплыл с женой на родину, в Осло. Другим о своем необычайном приключении он рассказал не больше, чем чиновникам адмиралтейства; все, чем они смогли мне помочь, — это дать мне адрес Йохансена в Осло.

Я отправился в Сидней и поговорил с моряками и представителями адмиралтейского суда, да только все без толку. На Круговой набережной в сиднейской бухте я своими гла-

зами видел «Сигнал»: яхту продали, и теперь она использовалась в коммерческих целях. Ее ничем не примечательный корпус не открыл мне ничего нового. Фигурка монстра с моллюскообразной головой, драконьим телом и чешуйчатыми крыльями, замершего в полуприседе на покрытом иероглифами пьедестале, хранилась в музее в Гайд-парке. Я долго и придиричиво изучал статуэтку — то была скульптура воистину зловеющая в своем утонченном совершенстве, столь же непостижимо загадочная и чудовищно древняя, как и уменьшенная копия Леграсса — и из того же странного внеземного материала. Геологи, как сообщил мне хранитель музея, до сих пор ломают головы, уверяя, что в мире такого камня просто не существует. Я вздрогнул, вспомнив, что старик Кастро рассказывал Леграссу о первобытных Древних: «Они некогда пришли со звезд и принесли с собою Свои изваяния».

Все перевернулось в моей душе. Потрясенный как никогда, я решил во что бы то ни стало отыскать в Осло второго помощника Йохансена. Я отплыл в Лондон, тут же пересел на корабль, идущий в столицу Норвегии, и ясным осенним днем высадился на аккуратной, как картинка, пристани под сенью горы Эгберг. Дом Йохансена, как выяснилось, находился в Старом городе короля Харальда Сурового, что хранил имя Осло на протяжении всех веков, пока город более обширный щеголял названием Христиания. Я сел в такси и очень скоро уже постучался с неистово бьющимся сердцем в дверь чистенького старинного особняка с оштукатуренным фасадом. Мне открыла печальная женщина в черном — и можете представить себе мое разочарование, когда она сообщила мне на ломаном английском, что Густава Йохансена больше нет в живых.

После своего возвращения он прожил недолго, рассказывала миссис Йохансен, — происшедшее на море в 1925 году окончательно его сломило. Жене он рассказал не больше, чем общественности, но оставил объемную рукопись — «технические материалы», как сказал он сам, — причем на английском языке, по всей видимости, чтобы жена случайно не прочла опасную исповедь. Йохансен прогуливался по узкой

улочке близ гётеборгского дока, как вдруг из чердачного окна выпала пачка бумаг — и сбила его с ног. Двое матросов-индийцев тут же подбежали к нему и помогли подняться, но еще до прибытия «скорой помощи» он испустил дух. Врачи так и не смогли установить причину смерти и списали все на болезнь сердца и ослабленный организм.

Тут-то я и ощутил, как гложет меня изнутри темный ужас, которому не суждено утихнуть вплоть до того момента, когда и я расстанусь с жизнью, «по чистой случайности» или как-то иначе. Убедив вдову, что мое непосредственное отношение к пресловутым «техническим материалам» дает мне право на рукопись, я увез документ с собой и, еще не успев взойти на корабль, идущий в Лондон, тут же погрузился в чтение. То было безыскусное, сбивчивое повествование — попытка простодушного моряка вести дневник постфактум и описать день за днем то последнее, страшное путешествие. Я не возьмусь скопировать рассказ дословно, при всех его длиннотах и невнятице, но перескажу самую суть — достаточно, чтобы показать, почему плеск воды о корабельный борт сделался для меня невыносим и я заткнул уши ватой.

Йохансен, благодарение Господу, знал далеко не все, хотя и видел своими глазами и город, и Тварь. Но не знать мне ни сна, ни покоя, пока я думаю об извечных ужасах, что затаились за гранью жизни во времени и в пространстве, и о тех богомерзких дьяволах с древних звезд, что погружены в сон на дне морском, — их знают и чтят служители страшного культа и только и ждут своего часа, дабы выпустить их в мир, как только очередное землетрясение вновь вознесет чудовищный каменный город навстречу солнцу и воздуху.

Плавание Йохансена началось ровно так, как он и рассказывал представителям вице-адмиралтейства. «Эмма» вышла в балласте из Окленда в феврале 1920 года и в полной мере ощутила на себе силу порожденной землетрясением бури, которая, должно быть, и вознесла из пучины кошмары, наводившие людские сны. Когда кораблем снова стало возможно управлять, «Эмма» начала быстро нагонять упущенное время. 22 марта ее попытался задержать «Сигнал»; с искрен-

ним сожалением писал помощник капитана о том, как корабль обстреляли и затопили. О темнолицых служителях дьявольского культа с «Сигнала» Йохансен говорит с неподдельным страхом. Ощущалось в них нечто неопишимо омерзительное, отчего уничтожить это отребье представлялось едва ли не священным долгом, и Йохансен с нескрываемым недоумением выслушал обвинение в жестокости, выдвинутое против его людей в ходе расследования. Затем побуждаемые любопытством моряки поплыли дальше на захваченной яхте под командованием Йохансена, завидели, что над морем торчит гигантская каменная колонна, и на 47° 09' южной широты, 126° 43' западной долготы причалили к береговой линии, где над грязью и илом громоздилась затянута водорослями циклопическая кладка. Это была не иначе как осязаемая реальность величайшего из ужасов земли — кошмарный город-могильник Р'льех, возведенный за необозримые миллиарды лет до начала истории отвратительными гигантскими пришельцами с темных звезд. Там покоился великий Ктулху и его полчища, сокрытые в зеленых илистых склепах; оттуда наконец-то, спустя бесчисленные века, они слали мысли, насаждавшие страх в снах чутких провидцев, и властно обращались к своим преданным адептам, призывая их к паломничеству во имя освобождения и возрождения. Обо всем об этом Йохансен даже не подозревал, но, Господь свидетель, вскорости увидел он достаточно!

Полагаю, что над водой поднялась только одна из горных вершин — чудовищная, увенчанная монолитом цитадель, ставшая гробницей для Ктулху. Когда же я задумываюсь об истинном размахе всего того, что, вероятно, таится там, внизу, я с трудом удерживаюсь от самоубийства. Йохансен и его товарищи благоговейно взирали на космическое величие этого сочащегося влагой Вавилона старейших демонов; они, должно быть, и без подсказки догадались, что город не имеет отношения ни к этой, ни к любой другой нормальной планете. В каждой строчке пугающего описания живо ощущается священный ужас перед неправдоподобной величиной зеленых каменных глыб, и головокружительной высотой ги-

гантского изваянного монолита, и ошеломляющим сходством колоссальных статуй и барельефов со странной статуэткой, обнаруженной в ковчеге на борту «Сигнала».

Йохансен ведать не ведал, что такое футуризм, и, однако ж, рассказывая про город, он достиг весьма близкого эффекта; ибо, вместо того чтобы описывать какое-то определенное строение или здание, он передает лишь общие впечатления от неохватных углов и каменных плоскостей — поверхностей слишком обширных и явно неуместных для этой земли и в придачу испещренных богопротивными изображениями и иероглифами. Я упомянул про его рассуждения об *углах*, поскольку они отчасти перекликаются с тем, что поведал мне Уилкокс о своих жутких снах. Скульптор настаивал, что *геометрия* пригрезившегося ему места была аномальной, неевклидовой, и просто-таки дышала тошнотворными сферами и измерениями, чуждыми нам. А теперь и необразованный матрос ощутил то же самое перед лицом страшной реальности.

Йохансен и его люди высадились на отлогом илистом берегу этого чудовищного акрополя и, оскальзываясь, вскарабкались наверх по исполинским влажным глыбам явно нечеловеческой лестницы. Даже солнце небес словно бы представало в искаженном виде сквозь рассеивающие свет миазмы, клубящиеся над этим уродливым порождением моря. Извращенная угроза и смутная тревога плотоядно затаились среди безумных, ускользающих от понимания углов и плоскостей резного камня: там, где только что была выпуклость, мгновение спустя взгляд различал впадину.

Еще до того, как глазам открылось что-либо более определенное, нежели камень, ил и водоросли, исследователи ощутили нечто похожее на страх. Каждый из них уже обратился бы в бегство, если бы не опасался пасть в глазах остальных; с явной неохотой искали они — как выяснилось, напрасно — хоть что-нибудь, что можно было бы унести на память.

Португалец Родригес взобрался к самому подножию монолита — и громким криком возвестил о какой-то находке. Прочие последовали за ним и с любопытством уставились на

громадную резную дверь с уже знакомым барельефом в виде не то кальмара, не то дракона. По словам Йохансена, дверь была огромная, вроде амбарных ворот, и безошибочно распознавалась по изукрашенной притолоке, порогу и косяку, хотя было не вполне понятно, установлена ли она вплотную, вроде как дверца люка, или наклонно, как в подвале. Как сказал бы Уилкокс, геометрия этого места — насквозь неправильная. Невозможно было поручиться, что море и земля лежат в горизонтальной плоскости, и потому взаимное расположение всего прочего представлялось изменчивой фантазмагорией.

Бриден толкнул камень в нескольких местах — но безрезультатно. Затем Донован осторожно ощупал дверь вдоль края, нажимая на каждую из точек по очереди по мере продвижения. Он бесконечно долго карабкался вверх вдоль гротескного каменного карниза — то есть можно было бы сказать «карабкался», не будь эта плоскость все-таки горизонтальной, — а все недоумевали, откуда только взялась во вселенной дверь настолько огромная. И тут, беззвучно и плавно, панель площадью в акр в верхней своей части подалась внутрь; как выяснилось, она находилась в равновесии. Донован не то соскользнул, не то съехал вниз — или вдоль — косяка и присоединился к товарищам. Все заворуженно наблюдали, как покрытый чудовищной резьбой портал непостижимо уходит в глубину. В этом бреде призматического искажения он двигался неестественно, по диагонали, нарушая тем самым все законы материи и перспективы.

Провал наполняла тьма — тьма почти что материальная. Эта мгла воистину обладала положительным свойством: она затушевывала те части внутренних стен, что в противном случае открылись бы взгляду, и просто-таки выплескивалась наружу, как дым, из своего многовекового заточения, зримо затмевая солнце по мере того, как расплзалась все дальше, выплывала на съезжившееся плоско-выпуклое небо, взмахивая перепончатыми крыльями. Из разверстых глубин поднимался невыносимый смрад. Со временем чуткому Хокинсу почудилось, будто он слышит там, внизу, мерзкий хлю-

пающий звук. Все насторожились — все чутко вслушивались, когда показалось Оно: истекая слизью, тяжело и неуклюже Оно на ощупь протиснулось в черный проем всем своим зеленым и желеобразным громадным телом — и вылезло в тлетворную атмосферу отравленного града безумия.

Когда Йохансен дошел до этого места, у бедняги едва не отнялась рука. Из шестерых матросов, что до корабля так и не добрались, двое, по всей видимости, скончались на месте от ужаса. Описанию Тварь не поддается — не придумано еще языка, дабы воздать должное этим безднам истерического древнего безумия, этому сверхъестественному противоречию материи, силе и вселенскому миропорядку. Ходячая, ковыляющая гора! Боже праведный! Стоит ли удивляться, что в этот проклятый миг мыслепередачи на другом конце земли великий архитектор сошел с ума, а злополучный Уилкокс метался в лихорадочном бреду? Тварь, увековеченная в идолах, зеленое, липкое исчадие звезд, пробудилась — и явилась требовать своего. Звезды вновь встали в нужное положение, и то, чего не сумел исполнить преднамеренно многовековой культ, по чистой случайности совершила команда бесхитростных моряков. Спустя вигинтиллионы лет великий Ктулху вновь вырвался на свободу — и не было пределов его ликования.

Никто и оглянуться не успел, как Тварь уже подцепила троих своими вислыми когтями. Да упокоит бедняг Господь, если только есть во вселенной покой! То были Донован, Геррера и Ангстрем. Остальные трое сломя голову кинулись через бесконечные нагромождения позеленевшего камня обратно к кораблю. Паркер поскользнулся; и Йохансен клянется, что его поглотил угол здания, которого там и быть не могло: острый угол, который вел себя как тупой. Так что до лодки добежали только Бриден с Йохансеном, они отчаянно схватились за весла и во весь дух понеслись к «Сигналу», а чудовищная громадина плюхнулась на камни и замешкалась, бахтаясь на мелководье.

Несмотря на то что вся команда сошла на берег, паровой котел не был отключен вовсе, так что понадобилось лишь

несколько секунд лихорадочной беготни между штурвалом и машинным отделением, чтобы «Сигнал» пришел в движение. Мотор заработал — медленно, на фоне извращенных ужасов этой неопишуемой сцены, взрезая смертоносные воды, — а на каменной кладке этого нездешнего берега-мавзолея исполинская Тварь-со-звезд пускала слюни и бормотала что-то невнятное, как Полифем, проклиная корабль бежавшего Одиссея. Но великий Ктулху оказался храбрее легендарных циклопов: он маслянисто сполз в воду и кинулся вдогонку, широкими, вселенски-мощными взмахами поднимая громадные волны. Бриден оглянулся — и лишился рассудка, он пронзительно расхохотался и с тех пор то и дело раздражался хохотом, пока однажды ночью смерть не пришла за ним в каюту, когда Йохансен метался в бреду.

Но Йохансен не сдался. Понимая, что Тварь всенепременно настигнет «Сигнал», пока яхта не набрала скорость, он решился на отчаянную меру и, прибавив тягу, молнией метнулся на палубу и крутанул штурвал, дав обратный ход. Зловонная пучина вспенилась, взбурлила гигантским водоворотом, паровой котел набирал мощность, а храбрый норвежец направил корабль прямоком на преследующее его желе, что поднималось над грязной пеной, точно корма какого-то демонического галеона. Чудовищная кальмарья голова и шевелящиеся щупальца были почти вровень с бушпритом крепкой яхты, но Йохансен безжалостно гнал яхту вперед. Раздался взрыв — словно с треском лопнул громадный пузырь; гнусно, слякотно захлюпало, точно вспороли медузу, в воздухе разлилась вонь, точно из тысячи разверстых могил, послышался звук, воспроизводить который на бумаге автор записей не пожелал. На краткое мгновение корабль накрыло едкое и слепящее зеленое облако, за кормой ядовито вскипала и побулькивала вода, где — Господи милосердный! — вязкие ошметки этого неназываемого исчадия неба текуче *воссоединялись* в исходную отвратительную форму. Но с каждой секундой расстояние между ним и кораблем все увеличивалось: двигатель работал на полную мощность и «Сигнал» набирал скорость.

Вот, в сущности, и все. После того Йохансен лишь мрачно размышлял над идиолом в каюте да время от времени стряпал нехитрую еду себе и хохочущему маньяку рядом. После первого героического прорыва он уже не пытался управлять кораблем, на смену возбуждению пришел упадок сил, из души словно что-то ушло. Затем 2 апреля разразилась буря, и в сознании его сгустилась тьма. Было ощущение призрачного круговорота в водной пучине бесконечности, головокружительной гонки через мятущиеся вселенные на хвосте кометы и отчаянных прыжков из бездны до луны и с луны обратно в бездну, и все это оживлялось безудержным хохотом уродливых разнузданных древних богов и зеленых насмешливых бесов с крылами летучей мыши из преисподней.

Из этого сна явилось спасение: «Бдительный», суд вице-адмиралтейства, улицы Данидина, долгая дорога обратно домой в старый особнячок близ холмов Эгеберга. Рассказать всю правду как есть Йохансен не мог — его бы сочли сумасшедшим. Он мог лишь записать все, что знал, перед тем, как умрет — но только так, чтобы жена ни о чем не догадалась. Смерть была бы благом — если бы только обладала властью стереть воспоминания.

Вот какой документ я прочел; теперь я кладу его в жестяную коробку вместе с барельефом и бумагами профессора Эйнджелла. Туда же отправятся и эти мои записи — доказательство моего душевного здоровья; в них собрано вместе все то, что, я надеюсь, никогда больше не будет сведено воедино. Я узрел весь тот ужас, что содержит в себе вселенная, и теперь даже весенние небеса и цветы лета отныне и впредь будут для меня что яд. Но не думаю, что мне суждено прожить долго. Как ушел из жизни мой двоюродный дед, как ушел бедняга Йохансен, так уйду и я. Я слишком много знаю, а культ — жив.

Жив и Ктулху, полагаю я, — все в той же каменной расселине, в которой укрывался с тех пор, как солнце было молодо. Его проклятый город вновь ушел под воду, ибо «Бдительный» проплыл над тем местом после апрельского шторма, но служители Ктулху на земле и по сей день орут и вопят, отплясывают и проливают кровь вокруг увенчанных идолами

монолитов в глухих укывищах. Должно быть, монстр оказался в ловушке, когда канул на дно, запертый в своей черной бездне, иначе мир уже оглох бы от воплей безумия и страха. Но кому известен финал? То, что поднялось из глубин, может и затонуть; то, что затонуло, может подняться на поверхность. Тошнотворная мерзость ждет и грезит в пучине, города людей рушатся, расползается распад и тлен. Настанет время — но я не должен думать об этом, я не могу! Об одном молюсь: если я не переживу своей рукописи, пусть в моих душеприказчиках осторожность возобладает над храбростью и они позаботятся о том, чтобы страницы эти никому больше не попались на глаза!

ДАГОН

Я пишу в состоянии сильного душевного напряжения, поскольку сегодня ночью намереваюсь уйти в небытие. У меня нет ни гроша, а снадобье, единственно благодаря которому моя жизнь остается более или менее переносимой, уже на исходе, и я больше не могу терпеть эту пытку. Поэтому мне ничего не остается, кроме как выброситься из чердачного окна на грязную мостовую. Не думайте, что я слабовольный человек или дегенерат, коль скоро нахожусь в рабской зависимости от морфия. Когда вы прочтете эти написанные топорливой рукой страницы, вы сможете представить себе — хотя вам не понять этого в полной мере, — как я дошел до состояния, в котором смерть или забытие считаю лучшим для себя исходом.

Случилось так, что пакетбот, на котором я служил в качестве суперкарго, подвергся нападению немецкого рейдера в одной из наиболее пустынных и наименее посещаемых кораблями частей Тихого океана. Большая война в то время только начиналась, и океанская флотилия гуннов еще не погрязла окончательно в своих пороках, как это случилось немого погодя. Итак, наше судно было взято в качестве приза, а с нами, членами экипажа, обращались достаточно гуманно, как и подобает обращаться с пленными моряками по законам войны. Наши враги охраняли нас не очень-то тщательно, благодаря чему уже на шестой день со времени нашего пленения мне удалось бежать на маленькой лодке, имея на борту запас

воды и пищи, достаточный для того, чтобы выдержать довольно длительное путешествие.

Обретя наконец-то долгожданную свободу и бездумно положившись на волю волн, я имел весьма смутное представление о том, где нахожусь. Не будучи опытным навигатором, я смог только очень приблизительно определить по солнцу и звездам, что нахожусь где-то южнее экватора. О долготе я не имел ни малейшего представления; тщетной оказалась и надежда на то, что вскоре удастся увидеть полоску берега или какой-нибудь островок. Стояла хорошая погода, и в течение многих дней я дрейфовал под палящим солнцем, ожидая, что появится какой-нибудь корабль или течение принесет меня к берегу обитаемой земли. Однако ни корабль, ни земля так и не появились, и я начал впадать в отчаяние, осознавая свое полное одиночество посреди мерно вздымающейся синей громады нескончаемого океана.

Перемена произошла в то время, когда я спал, и мне неизвестны детали случившегося, поскольку сон мой, беспокойный и насыщенный различными видениями, длился довольно долго. Проснувшись же, я обнаружил, что меня наполовину засосало в слизистую гладь отвратительной черной трясины, которая простиралась вокруг меня настолько далеко, насколько хватало взора. Моя лодка лежала на поверхности этой трясины неподалеку от меня.

Хотя легче всего представить, что первым моим чувством было изумление от такой неожиданной и чудовищной трансформации пейзажа, на самом деле я скорее испугался, чем изумился, ибо зловоние и черная гниль вокруг произвели на меня самое гнетущее впечатление. Мерзкий запах исходил от разлагающихся останков рыб и других с трудом поддающихся описанию объектов, которые тут и там торчали из отвратительной грязи, образующей эту нескончаемую равнину. Вряд ли мне удастся описать словами угрюмый пейзаж, который окружал меня со всех сторон. Я не слышал ни звука, не видел ничего, кроме необозримого пространства черной трясины, а сама абсолютность тишины и однородность ландшафта подавляли меня, вызывая поднимающийся к горлу ужас.

Солнце сияло с небес, которые показались мне почти черными в своей безоблачной наготе, как будто они отражали это чернильное болото у меня под ногами. Забравшись в лежащую на поверхности трясины лодку и немного поразмыслив, я решил, что ситуации, в которой я оказался, может найтись только одно объяснение. Вследствие подводного извержения вулкана невиданной силы часть океанского дна поднялась на поверхность, причем наверх были вынесены слои, которые в течение многих миллионов лет лежали сокрытыми под необозримой толщей вод. Протяженность этой новой суши была столь велика, что, как я ни напрягал свой слух, я не смог уловить шума океанских волн. Не было видно и морских птиц, которые обычно в таких случаях слетаются в поисках добычи, каковую представляют собой мертвые морские организмы.

В течение нескольких часов я предавался размышлениям в лодке, которая лежала на боку и давала мне небольшую тень, в то время как солнце перемещалось по небу. На закате дня почва стала менее вязкой, и мне показалось, что она достаточно подсохла для того, чтобы в скором времени по ней можно было пройти пешком. В ту ночь я спал, но очень немного, а на следующий день занимался упаковкой тюка с водой и пищей, готовясь к поискам исчезнувшего моря и возможного спасения.

На третье утро я обнаружил, что почва стала уже настолько сухой, что по ней можно было шагать без особых затруднений. Запах гниющей рыбы сводил с ума, но я был слишком озабочен более серьезными вещами, чтобы обращать внимание на такие незначительные неудобства, и решительно направился к неведомой цели. Весь день я шел строго на запад, сверяя курс по отдаленному холму, вздымавшемуся посреди этой черной пустыни. В ту ночь я сделал привал под открытым небом, а наутро продолжил свое движение к холму, который, как мне показалось, почти не приблизился с того времени, когда я впервые его заметил. Наконец к вечеру четвертого дня я достиг подножия холма, который оказался гораздо выше, чем он виделся на расстоянии; перед ним лежала пологая впадина, благодаря чему он еще более резко выделялся

на фоне окружающего ландшафта. Я слишком устал, чтобы сразу начинать подъем, и прикорнул у окрашенного лучами заходящего солнца склона холма.

Я не знаю, почему мои сны были в ту ночь такими безумными, но еще до того, как убывающая, как-то странно изогнутая луна взошла на востоке, я проснулся в холодном поту, решив больше не засыпать. Слишком ужасными были мои ночные видения, чтобы я мог выносить их и дальше. И тут-то, в холодном сиянии луны, я понял, как опрометчиво поступал, путешествуя днем. Переждав дневные часы в каком-нибудь укрытии, куда не достигали лучи обжигающего и слепящего солнца, я мог бы сберечь немало сил для ночных переходов; и в самом деле, сейчас я чувствовал себя вполне способным совершить восхождение, на которое не решился перед закатом солнца. Подхватив свой тюк, я начал путь к гребню холма.

Я уже говорил, что монотонное однообразие холмистого пейзажа наполняло меня неясным страхом; но страх этот был пустяком по сравнению с тем ужасом, что я испытал, когда достиг вершины холма и глянул вниз на другую его сторону. Моему взору открылся бездонный провал или, если угодно, каньон, в черные глубины которого не проникал свет луны, взошедшей еще недостаточно высоко для того, чтобы пролить свои лучи за крутой скалистый гребень. У меня возникло такое чувство, будто я стою на самом краю мира и заглядываю в бездонный хаос вечной ночи, начинающийся за этим краем. В памяти пронеслись жуткие картины «Потерянного рая» и восхождения Сатаны из проклятого царства тьмы.

Когда луна поднялась выше, я заметил, что склоны провала были отнюдь не такими крутыми, как мне показалось вначале. Выступы и обнаженные слои породы образовывали хорошую опору для ног, благодаря чему можно было без особых проблем спуститься вниз, а через несколько сотен футов обрыв и вовсе переходил в пологий спуск. Под влиянием импульса, который я и сейчас не могу до конца объяснить себе, я начал спускаться вниз, цепляясь за выступы скал, и вскоре очутился на пологом склоне, вглядываясь в стигийские

глубины, которых никогда еще не достигал ни единый луч света.

Почти сразу же мое внимание привлёк странный предмет огромных размеров, расположенный на противоположном склоне, круто поднимавшемся примерно в сотне ярдов передо мной. Обласканный лучами восходящей луны, которых он не знал, наверное, уже миллионы лет, предмет этот испускал белое мерцающее сияние. Вскоре я убедился, что это была всего лишь гигантская каменная глыба, однако все же не мог отделаться от впечатления, что ее контуры и положение не являлись результатом деятельности одной только природы. Когда мне удалось разглядеть предмет более подробно, меня охватили чувства, которые я не в силах выразить, ибо, несмотря на чудовищную величину глыбы и ее присутствие в бездне, разверзшейся на морском дне еще во времена, когда мир был слишком молод, чтобы его могли населять люди, я вдруг совершенно отчетливо понял, что этот странный предмет являлся тщательно оконтуренным монолитом, массивное тело которого несло на себе следы искусной обработки и, возможно, служило когда-то объектом поклонения разумных существ.

Ошеломленный, испуганный и тем не менее испытывающий нечто вроде восхищения, присущего ученому или археологу, я еще раз внимательно огляделся. Луна, находившаяся почти в зените, ярко и таинственно светила над отвесными склонами, и в этом почти дневном сиянии мне удалось различить, что на дне каньона течет полноводная река — она извивалась и исчезала в противоположных его концах, попутно едва не задевая мои ноги. Мелкие волны на другой стороне ущелья плясали у основания громадного монолита, на поверхности которого я сейчас ясно видел как надписи, так и грубо высеченные фигурки. Надписи были выполнены в иероглифической системе, абсолютно мне незнакомой и состоящей по большей части из условных символов, связанных с водной средой. Среди знаков были рыбы, угри, осьминоги, ракообразные моллюски, киты и им подобные существа. Все это было совершенно непохоже на то, что я когда-либо видел

в ученых книгах. Некоторые символы представляли собой изображения каких-то морских существ, очевидно неизвестных современной науке, но чьи разложившиеся останки мне довелось ранее наблюдать на поднявшейся из океана равнине.

Но более всего я был очарован живописной резьбой. По ту сторону разделявшего меня и каменную глыбу потока воды находилось несколько барельефов, которые, благодаря их огромным размерам, можно было разглядеть, не напрягая зрения. Клянусь, их сюжеты могли бы вызвать зависть у самого Доре. Я думаю, что эти объекты, по замыслу, должны были представлять людей — или, по крайней мере, нечто вроде людей, хотя существа эти изображались то резвящимися, как рыбы, в водах какого-то подводного грота, то отдающими почести монолитной святыне, которая также находилась под волнами. Я не отваживаюсь останавливаться подробно на их лицах и формах, ибо одно лишь воспоминание об этом может довести меня до обморока. Гротескные в степени, недоступной, пожалуй, даже фантазии Эдгара По или Булвер-Литтона, они были дьявольски человекоподобными в своих общих очертаниях, несмотря на перепончатые руки и ноги, неестественно широкие и отвислые губы, выпученные стеклянистые глаза и другие особенности, вспоминать о которых мне и во все неприятно. Довольно странно, но они, похоже, были высечены почти без учета пропорций — например, одно из существ было изображено убивающим кита, который по величине лишь немного превосходил китобоя. Я сразу же отметил про себя гротескность фигур и их странные размеры, однако мгновение спустя решил, что это были просто боги, выдуманные каким-нибудь первобытным племенем рыбаков или мореходов, чьи последние потомки вымерли за многие тысячелетия до появления первого пилтдаунского человека или неандертальца. Охваченный благоговейным страхом, который вызвала во мне эта неожиданно возникшая картина прошлого, по дерзости своей превосходящая концепции наиболее смелых антропологов, я стоял в глубоком раздумье, а луна отбрасывала причудливые блики на поверхность лежавшего предо мною безмолвного потока.

И вот тогда я внезапно увидел *это*. Почти без плеска поднявшись над темными водами, *оно* плавно вошло в поле моего зрения. Громадное и отвратительное как Полифем, это подобие монстра из кошмарных снов устремилось к монолиту, обхватило его гигантскими чешуйчатыми руками и склонило к постаменту свою уродливую голову, издавая при этом неподдающиеся описанию ритмичные звуки. Наверное, в тот самый момент я и сошел с ума.

Я почти не помню свой стремительный подъем на гребень скалы и возвращение к брошенной лодке, которые я совершил в каком-то исступленном бреду. Мне кажется, всю дорогу я не переставал петь, а когда у меня не оставалось сил на пение, принимался бездумно смеяться. Остались смутные воспоминания о сильной буре, которая случилась через некоторое время после того, как я добрался до лодки; во всяком случае, я могу сказать, что слышал раскаты грома и другие звуки, которые природа издает только в состоянии величайшего неистовства.

Когда я вернулся из небытия, то обнаружил, что нахожусь в госпитале Сан-Франциско, куда меня доставил капитан американского корабля, подобравшего мою лодку в открытом океане. Находясь в бреду, я очень многое рассказал, однако, насколько я понял, эти бредовые речи были оставлены без внимания. Мои спасители ничего не знали ни о каком поднятии дна в акватории Тихого океана; и я решил, что не стоит убеждать их в том, во что они все равно не поверят. Уже потом я отыскал одного знаменитого этнолога и изумил его неожиданной дотошностью своих расспросов относительно древней филистимлянской легенды о Дагоне, Боге рыб, но очень скоро понял, что мой собеседник безнадежно ограничен, и оставил попытки что-либо у него вывести.

...Это бывает по ночам, особенно в периоды, когда луна находится на ущербе. Тогда это существо снова является мне. Я пробовал принимать морфий, однако наркотик дал только временную передышку, а затем захватил меня в плен, сделав рабом безо всякой надежды на освобождение. И сейчас, после того как я представил полный отчет, который станет источ-

ником информации или, скорее всего, предметом презрительного интереса окружающих, мне остается только покончить со всем этим. Я часто спрашиваю себя, не было ли все случившееся со мною чистой воды иллюзией — всего лишь причудливым результатом деятельности воспаленного мозга, когда после побега с немецкого военного корабля я лежал без сознания в открытой лодке под лучами палящего солнца. Я задаю себе этот вопрос, но в ответ мне тут же является омерзительное в своей одушевленности видение. Я не могу думать о морских глубинах без содрогания, которое вызывают у меня немыслимые твари, в этот самый момент, быть может, ползущие или тяжело ступающие по скользкому морскому дну, поклоняющиеся своим древним каменным идолам и вырезающие собственные отвратительные образы на подводных гранитных обелисках. И я мечтаю о том времени, когда они поднимутся над морскими волнами, чтобы схватить своими зловонными когтями и увлечь на дно остатки хилого, истощенного войнами человечества, — о времени, когда суша скроется под водой и темный океанский простор поднимется среди вселенского крошечного ада.

Конец близок. Я слышу шум у двери, как будто снаружи об нее бьется какое-то тяжелое скользкое тело. Оно не должно застать меня здесь. Боже, *эта рука!* Окно! Скорее к окну!

ЗА СТЕНОЙ СНА

Я чувствую предположение ко сну.

*У. Шекспир*¹

Хотел бы я знать, задумывается ли большинство людей о колоссальном значении снов и о самой природе загадочного темного мира, к которому они принадлежат. Хотя в массе своей наши ночные видения суть лишь слабые и причудливые отголоски дневных событий и впечатлений (если не принимать во внимание Фрейда с его наивным символизмом), встречаются среди снов и такие, происхождение которых восходит к неведомым нам сферам и не поддается логическому объяснению. Неясное, но по-особому волнующее воздействие таких снов наводит на мысль, что они приоткрывают нам доступ в сокровенные области сознания, не менее важные, чем физическое бытие, но отделенные от него почти непреодолимым барьером. Основываясь на собственном опыте, я могу утверждать, что человек, во время сна выходящий за пределы своего земного мироощущения, приобщается к иной, нематериальной форме жизни, резко отличной от всего известного нам в повседневности, но по пробуждении оставляющей в нас только смутные и обрывочные воспоминания. На основе этих сохранившихся в памяти обрывков мы можем о многом догадываться, но ничего не можем утверждать наверняка. Можно лишь предположить, что в мире снов бытие, материя и энергия не являются постоянными величинами, а пространство и время не существуют в том виде, как мы привыкли вос-

¹ «Сон в летнюю ночь» (акт IV, сц. 1). Перевод М. Лозинского.

принимать их в состоянии бодрствования. Порой мне кажется, что это менее материальное бытие и есть наша истинная жизнь, тогда как наше суетное существование на земле является чем-то вторичным, если не пустой формальностью.

Как раз подобного рода размышлениям я, будучи молодым врачом, предавался в тот самый день зимой с 1900-го на 1901 год, когда в нашу психиатрическую клинику был доставлен пациент, история которого не дает мне покоя по сей день. В документах он значился как Джо Слейтер (или, может, Слаадер) и выглядел как один из типичнейших уроженцев Катскильских гор — этих отталкивающего вида потомков ранних поселенцев, трехвековая изоляция которых в дикой горной местности, почти не посещаемой чужаками, привела к явственному вырождению, особенно если сравнивать с прогрессом их соплеменников, чьи предки когда-то облюбовали более подходящие для проживания и ныне уже густонаселенные районы. В среде этих опустившихся и деградировавших людей (на Юге таких именуют «белой швалью») не действуют законы и моральные понятия, а коэффициент их умственного развития, вероятно, является самым низким среди всех групп американского населения.

Джо Слейтер прибыл в клинику под конвоем четверых полисменов как лицо, представляющее опасность для общества, однако при первой встрече я не заметил в нем ничего угрожающего. Хотя он был довольно высокого роста и, похоже, обладал немалой физической силой, его скорее можно было счесть безобидным увальнем, каковое впечатление складывалось при виде этого вечно полусонного выражения маленьких водянисто-голубых глаз, жиденькой светлой бороды, никогда не знавшей бритвы, и безвольно отвисшей нижней губы. Точный возраст Слейтера был неизвестен, поскольку в его родных краях никто не регистрирует рождения и смерти, да и постоянные семейные связи там практически отсутствуют; но на основании таких деталей внешности, как обширная залысина и плачевное состояние зубов, главный

врач при предварительном осмотре дал пациенту около сорока лет.

Из медицинских и судебных заключений мы выяснили, что этот человек, бродяга и охотник, всегда выглядел странным в глазах своих сородичей. Он имел привычку спать дольше обычного, а по пробуждении рассказывал невероятные вещи в столь причудливой манере, что это порождало страх даже в заскоружлых душах людей, начисто лишенных воображения. Необычной была именно манера, а не язык, ибо он всегда говорил на корявом наречии тех мест, но в интонациях и эмоциональных оттенках его речи заключалось столько экспрессии и загадочной мощи, что слушателей неизменно охватывало ощущение чего-то пугающе чужеродного. Да и сам он зачастую был напуган и озадачен не менее своих слушателей, а в течение часа после пробуждения напрочь забывал свои рассказы — или, по крайней мере, то, чем эти рассказы были вызваны, — и возвращался к туповато-равнодушному состоянию, характерному для этих горцев.

С возрастом утренние припадки у Слейтера становились все более частыми и буйными, пока около месяца назад не произошла трагедия, ставшая причиной его ареста. Однажды около полудня, после глубокого сна (которому предшествовала попойка, начавшаяся около пяти часов дня накануне) он пробудился с таким жутким, душераздирающим воплем, что несколько ближайших соседей поспешили к его хижине — подобию грязного хлева, где он обитал со своей родней, столь же малопривлекательной, как и он сам. Между тем Слейтер выскочил из хижины на снег, воздел руки и начал высоко подпрыгивать, крича, что хочет попасть «в большой-большой дом, где свет на потолке, на стенах и на полу и где слышится громкая чудная музыка». Двое довольно крепких мужчин попытались его удержать, однако он сопротивлялся с силой и яростью, свойственной безумцам, громогласно выражая желание найти и убить какую-то «светящуюся тварь, которая трясется и хохочет». В конце концов он сильным ударом сбил с ног одного из противников и набросился на второго с воистину дьявольской кровожадностью, испуганно вопя, что

«прыгнет высоко-высоко и огнем спалит все, что попадет на пути».

Члены его семьи и соседи в панике бежали прочь, и только примерно через час самые отважные из них вернулись на место происшествия. Слейтера там уже не оказалось, а на снегу лежало кровавое месиво, еще недавно бывшее живым человеком. Никто из местных не решился преследовать убийцу, понадеявшись, что он и так погибнет в горах от холода; но когда через несколько дней поутру его вопли донеслись из отдаленного ущелья, стало ясно, что он как-то ухитрился выжить. Тогда все жители деревни согласились, что с этим делом пора кончать, и собрали вооруженный отряд, цели и функции которого (какими бы они ни были изначально) обрели вполне законный характер после того, как редкий в тех краях полицейский патруль случайно наткнулся на преследователей и, выяснив обстановку, присоединился к поискам.

На третий день Слейтера нашли без сознания в дупле дерева и доставили в ближайшую тюрьму, где он был обследован психиатрами из Олбани после того, как пришел в себя. Свои действия он объяснил чрезвычайно просто. По его словам, однажды он порядком нагрузился виски и заснул где-то на заходе солнца, а на другой день очнулся, стоя с окровавленными руками на снегу перед своей хижиной, а рядом лежало растерзанное тело его соседа, Питера Слейдера. Придя в ужас от увиденного, он бросился в лес, желая только оказаться как можно дальше от места преступления, им же, судя по всему, и совершенного. К этому он ничего не смог добавить, несмотря на все усилия экспертов, тщательно формулировавших вопросы в попытке хоть немного прояснить обстоятельства дела.

В ту ночь Слейтер спал спокойно и поутру держался как обычно, разве что в выражении лица произошли некоторые изменения. Наблюдавший пациента доктор Барнард подметил особенный блеск в его выцветших голубых глазах и чуть более твердую линию обычно отвислых губ, что могло указывать на принятие какого-то волевого решения. Однако в ходе последовавшего врачебного опроса пациент выказал все

ту же типичную для горцев тупую безучастность и только повторил все сказанное накануне.

На третье утро с ним случился первый зарегистрированный припадок. После беспокойного сна он пробудился в состоянии бешенства столь сильного, что лишь совместными усилиями четырех санитаров удалось надеть на него смирительную рубашку. Психиатры внимательно прислушивались к его речам, поскольку их еще ранее заинтересовали кое-какие необычные детали в путаных и зачастую противоречивых показаниях его родственников и соседей. Исступленный бред пациента на грубом горском диалекте продолжался в течение четверти часа; при этом упоминались громадные дворцы из лучей света, безбрежные пространства, волшебная музыка, призрачные горы и долины. Но более всего он говорил о некоей загадочной «светящейся твари», которая трясется, хохочет и издевается над ним. Это огромное, неясных очертаний существо воспринималось пациентом как главный враг, и его сильнейшим желанием было убить этого врага, свершив долгожданное возмездие, с каковой целью он намеревался «пролететь сквозь пустоту» и «спалить все преграды». По прошествии пятнадцати минут пациент прервал свои бредовые излияния на полуслове. Огонь безумия погас в его глазах, и он с тупым недоумением поинтересовался у врачей, как и почему он оказался связанным. Доктор Барнард распорядился снять с него смирительную рубашку, и на протяжении всего дня Слейтер был свободен от пут. Однако вечером доктор уговорил его добровольно подвергнуться смирительной процедуре — для его же собственного блага. На сей раз больной признал, что порой несет какую-то несусветную чушь, сам не ведая почему.

На следующей неделе было еще два подобных припадков, но врачи не почерпнули из них ничего нового. Они много размышляли над вероятным источником видений Слейтера, который не умел ни читать ни писать и за всю свою жизнь вряд ли слышал хоть одну легенду или сказку. Откуда же тогда возникали столь яркие фантастические образы? Тот факт, что их источником не могли быть какие-то мифы или

художественные произведения, подтверждался и примитивной речью несчастного безумца, который явно не пересказывал чужие повествования, а говорил о вещах, ему непонятных, но как будто пережитых на собственном опыте. Вскоре психиатры пришли к выводу, что в основе патологии лежат сны пациента с их необычайно яркими и красочными образами, которые могут еще какое-то время после пробуждения владеть убогим разумом этого человека. Соблюдая необходимые формальности, Слейтера судили по обвинению в убийстве, оправдали по причине невменяемости и направили в ту самую клинику, где в скромной должности подвизался я.

Как я уже говорил, меня с юных лет занимали вопросы жизни во сне, так что можете себе представить, с каким рвением я взялся за изучение нового пациента, как только ознакомился с историей его болезни. В свою очередь, он как будто уверился в моем дружеском расположении, возможно, почувствовав искренний интерес с моей стороны и оценив мягкую ненавязчивую манеру, в которой я вел расспросы. Не думаю, что он вообще замечал мое присутствие во время припадков, когда я, затаив дыхание, угадывал в его бреде картины грандиозного, космического масштаба; однако он узнавал меня в спокойные периоды, обычно занимаясь плетением корзин у зарешеченного окна и, вероятно, тоскуя по своим горам и навсегда утраченной свободе. Никто из родных его не навещал — должно быть, они вскоре нашли себе нового главу семейства, что в порядке вещей у этих деградировавших жителей гор.

Постепенно меня все сильнее увлекал мир безумных фантазий Джо Слейтера. Сам по себе он стоял на удручающе низком уровне в интеллектуальном и языковом отношении, однако его ослепительные, титанические видения — пусть даже переданные посредством корявого варварского жаргона — относились к разряду тех, которые способен породить только высокоразвитый, исключительно одаренный ум. Я часто спрашивал себя: как могло убогое воображение дегенерата с Катскильских гор создавать картины, одно лишь осознание ко-

торых предполагало наличие в человеке искры гения? Каким образом неотесанного болвана из лесной глухомани посещали образы величественных миров и гигантских пространств, залитых божественным сиянием, о которых в яростном бреду вопил Слейтер? И я все более склонялся к мысли, что внутри этой жалкой, заискивающей передо мной личности таилось нечто превосходившее мое понимание, как оно превосходило понимание и моих более опытных, но обладающих менее развитым воображением коллег-врачей и ученых.

Но я по-прежнему не мог вытянуть ничего определенно-го из этого человека. Вслушиваясь в его бред, я понял только то, что в полуматериальном мире своих снов Слейтер блуждал по каким-то прекрасным долинам, лугам, садам, городам и залитым светом дворцам — и все это происходило в необъятных, неведомых людям сферах. Похоже, в тех сферах он был не деревенским недоумком, а значительной и яркой личностью, исполненной гордости и достоинства. Единственной проблемой для него был некий смертельный враг, существо видимое, но бесплотное и бесформенное, которое Слейтер именовал не иначе как «тварью». Эта тварь причинила Слейтеру какой-то ужасный, хотя и неназванный вред, за что наш маньяк (если он был таковым) жаждал ей отомстить.

Судя по тому, что и как Слейтер говорил о своем враге, они оба принадлежали к одной расе, то есть в сновидениях он и сам представал в виде точно такой же светящейся твари. Это предположение подкреплялось частыми ссылками на «полеты сквозь пространства», когда он «сжигал» все, что становилось на его пути. Все это излагалось посредством неуклюжих оборотов, совершенно неподходящих для подобных описаний, из чего можно было заключить, что если тот мир сновидений действительно существовал, то устная речь не использовалась в нем для передачи мыслей. Возможно ли, чтобы душа, населяющая это ничтожество во снах, отчаянно пыталась выразить вещи, которые просто не мог передать его нескладный язык? Быть может, я имел дело с интеллектуальными проявлениями совершенно особого рода и загадка

прояснилась бы, научись я их распознавать и расшифровывать? Я не говорил на эту тему со старшими врачами, поскольку в их годы люди становятся скептиками и циниками, не склонными принимать новые идеи. Кроме того, главный врач клиники как раз в те дни по-отечески пожурил меня, сказав, что я слишком много работаю и нуждаюсь в отдыхе.

Я всегда считал, что в основе человеческой мысли лежит движение атомов или молекул, которое может преобразовываться в излучение тепловой, световой или электрической энергии. Как следствие, я пришел к выводу, что телепатия, или мысленная связь, может осуществляться при помощи соответствующих приборов, и еще в колледже изготовил приемное и передающее устройства, отчасти сходные с громоздкими аппаратами беспроволочного телеграфа, которые применялись в ту эпоху, еще до широкого распространения радио. Я провел испытания с участием друга, тоже студента, но не добился никаких результатов и убрал эти устройства с глаз долой, рассчитывая, впрочем, когда-нибудь в будущем продолжить исследования. И вот теперь, горя желанием проникнуть в мир сновидений Джо Слейтера, я вновь извлек на свет свое изобретение и потратил несколько дней на то, чтобы его наладить. Отныне я не упускал возможности испытать приборы на практике. Во время каждого припадка Слейтера я прикреплял контакты передатчика к его лбу, а контакты приемника — к своему и медленно вращал ручку настройки в попытке уловить гипотетические волны интеллектуальной энергии. Я плохо представлял себе, как среагирует мой мозг на эти волны в случае успешной передачи, но почему-то был уверен, что смогу их уловить и правильно истолковать. Таким образом, я продолжал свои эксперименты, никого о них не информируя.

Это произошло 21 февраля 1901 года. Сейчас, многие годы спустя, я и сам с трудом верю в реальность случившегося и порой спрашиваю себя: а может, старый доктор Фентон был прав, приписав все это моему разыгравшемуся воображе-

нию? Помнится, он очень внимательно и терпеливо выслушал мой рассказ, а затем дал мне успокоительное и тут же оформил мой полугодовой отпуск, начиная со следующей недели.

В ту достопамятную ночь я был чрезвычайно возбужден и встревожен, ибо, несмотря на прекрасный уход за больным, уже не оставалось сомнений в том, что Джо Слейтер умирает. Возможно, дело было в неизбывной тоске по вольной жизни в родных горах, а может, все это смятение в его мозгу сказалось на общем состоянии организма; как бы то ни было, огонек жизни едва тлел в этом измученном теле. Большую часть дня он провел в полудреме, а с наступлением темноты погрузился в беспокойный сон. На сей раз я решил обойтись без смиренной рубашки, которую обычно надевали на него перед отходом ко сну, видя, что он слишком слаб и не может быть опасен, даже если припадок наступит еще раз до того, как бедняга скончается. Однако я не забыл соединить его и мою головы контактами «космического радио», надеясь за небольшое оставшееся время все же получить первое и последнее послание из мира сновидений. В палате, кроме нас, находился еще только санитар, недалекий тип, не понимавший назначения моего устройства и не задававший по сему поводу никаких вопросов. Через пару часов он свесил голову на грудь и уснул, сидя в неудобной позе, но я предпочел его не будить. А вскоре я и сам задремал, убаюканный ритмичным дыханием двух людей: здорового и умирающего.

Разбудили меня звуки странной мелодичной музыки. Аккорды, вибрато и экзотические гармонии, казалось, доносились со всех сторон одновременно, а между тем перед моим изумленным взором разворачивалось зрелище невероятной красоты. Стены, колонны и архитравы, полные живого пламени, ослепительно сияли вокруг меня, как будто плывущего в воздухе, и устремлялись ввысь на головокружительную высоту, к венчавшему это помещение радужному куполу. Это царственное великолепие дополнялось — или, скорее, переменялось, как в калейдоскопе, — картинами бескрайних рав-

нин и цветущих долин, высоких гор и уютных гротов. Каждая из этих сцен таила в себе особое очарование, несказанно услаждая мой взор, а все вместе они создавали нечто целостное — яркое, воздушное и переливчатое, в равной мере сочитающее в себе духовную и материальную субстанции. При этом я чувствовал, что ключ ко всем этим метаморфозам находится не где-нибудь, а в моем собственном мозгу: каждый новый открывавшийся вид был мгновенным откликом на мое подспудное желание увидеть именно эту картину. И я отнюдь не был чужаком в этом сказочном царстве — мне были знакомы каждый звук и каждый пейзаж, словно я обитал здесь бесконечно долго и буду обитать вечно.

Затем ко мне приблизилась сияющая аура моего собрата во свете, и мы начали по-дружески общаться, обмениваясь мыслями без единого звука, но с идеальным взаимопониманием. Близился час его триумфа: наконец-то он навсегда избавится от никчемной телесной оболочки и тотчас устремится за своим ненавистным врагом, преследуя его в самых дальних уголках Вселенной, пока не свершит огненное возмездие, которое должно потрясти сферы! Некоторое время мы плыли рядом, беседуя, а потом предметы вокруг меня начали мутнеть и расплываться, словно некие силы призывали меня обратно в земной мир, куда мне менее всего хотелось возвращаться. Мой собрат также почувствовал эту перемену и стал подводить беседу к концу; при этом его образ тускнел не так быстро, как окружающие предметы. Напоследок мы обменялись еще несколькими мыслями, и я понял, что нам пришла пора вернуться в свое телесное рабство. Правда, для моего сияющего собрата это было последнее такое возвращение: он знал, что его земная оболочка распадется менее чем через час, после чего он ринется в погоню за врагом вдоль Млечного Пути, от ближних звезд и далее в бесконечность.

Видение утасаживающего света и земная реальность были четко разделены моментом моего действительного пробуждения, когда я, вздрогнув, пристыженно выпрямился на стуле и увидел, что умирающий начинает шевелиться. Джо Слейтер просыпался — вероятно, в последний раз. Приглядевшись, я за-

метил на его впалых щеках румянец, чего прежде никогда не было. Изменились и губы: теперь они были плотно сжаты, намекая на характер куда более сильный, чем у прежнего Слейтера. В целом черты его лица стали более четкими, голова беспокойно ворочалась на подушке, глаза оставались закрытыми. Я не стал будить санитаров, а вместо этого поправил сместившиеся головные контакты телепатического «радио», надеясь уловить последнее послание из мира снов. Вдруг умирающий резко повернул голову в мою сторону и открыл глаза, повергнув меня в изумление. Человек, еще недавно бывший Джо Слейтером, выродком с Катскильских гор, теперь глядел на меня сверкающими, широко открытыми глазами, голубизна которых стала заметно насыщеннее. Ничего маниакального или дегенеративного не ощущалось в этом взоре — передо мной, вне всяких сомнений, было лицо, отражавшее разум наивысшего порядка.

В следующий момент мой мозг начал улавливать сигналы, поступающие извне. Я закрыл глаза, чтобы лучше сконцентрироваться, и был вознагражден отчетливым пониманием, что *долгожданное послание из мира снов получено*. Теперь каждая передаваемая мысль мгновенно формулировалась в моем сознании, и, хотя в этом процессе не был задействован никакой язык, обмен информацией происходил столь же легко и естественно, как если бы велась обычная беседа на английском языке.

— Джо Слейтер мертв, — произнес леденящий душу голос из-за стены сна.

Открыв глаза, я с ужасом взглянул на койку, но голубые глаза по-прежнему спокойно глядели на меня, а лицо казалось вполне живым и одухотворенным.

— Его смерть — это к лучшему, — продолжил голос, — поскольку он был совершенно непригоден как телесная оболочка для космического разума. Его примитивная натура не подходила для поддержания равновесия между двумя формами жизни — земной и внеземной. В нем было слишком много от животного и слишком мало от человека, однако именно вследствие его неполноценности тебе удалось войти в контакт со

мною, при том что прямое общение между космическим разумом и земным сознанием является нарушением правил. На протяжении сорока двух земных лет он был моей пыткой, моей каждодневной тюрьмой. Я — такое же существо, каким бываешь ты, высвобождаясь из телесной оболочки, когда та спит глубоким сном без сновидений. Я твой собрат во свете, с которым ты совсем недавно общался в сияющих долинах. Мне не дозволено открывать твоему земному существу правду о твоей истинной природе; скажу лишь, что все мы — странники в пространствах и веках. Через год я, возможно, окажусь в том Египте, который вы именуете Древним, или в жестокой империи Цзян Чань, которая возникнет через три тысячи лет от данного времени. Нам с тобой случалось посещать миры, что вращаются вокруг красной звезды Арктур, и жить в телах насекомых-философов, с важным видом ползающих по поверхности четвертого спутника Юпитера. Как же мало знают земные существа о жизни и ее истинных масштабах! Впрочем, им и не следует знать больше — ради их же собственного спокойствия. О своем давнем враге я говорить не буду. Вы, земляне, сами того не ведая, ощущаете его отдаленное присутствие, и вы недаром нарекли эту мерцающую точку на небосводе именем Алголь, что означает Звезда-Дьявол. Безмерно долго я мечтал добраться до врага и уничтожить его, но меня сдерживали телесные оболочки, в которые я был поочередно заключен. Но этой ночью я наконец устремлюсь к нему, чтобы свершить справедливое, катастрофическое возмездие. *Ты увидишь меня на небе рядом со Звездой-Дьяволом.* Я больше не могу говорить, так как тело Джо Слейтера остывает и коченеет и мне все труднее использовать его грубый мозг для передачи мыслей. Ты был моим другом в космосе, ты был моим единственным другом на этой планете — единственной душой, которая смогла найти и опознать меня внутри уродливой оболочки, лежащей на этой койке. Мы с тобой еще встретимся — быть может, в сияющей дымке Пояса Ориона, а может, на холодном плоскогорье в доисторической Азии. Возможно, это случится сегодня во сне, который ты

поутру забудешь, или в каких-то иных телесных воплощениях далекого будущего, уже после гибели Солнечной системы...

На этом движение мысленных волн внезапно прекратилось, а глаза спящего — или, правильное сказать, мертвеца? — поблекли и остекленели. В полупрострации я склонился над койкой и пощупал его кисть — она была холодной и окоченевшей, пульс отсутствовал. Впалые щеки вновь побледнели, толстые губы разомкнулись, обнажив гнилые осколки зубов дегенерата Джо Слейтера. Я вздрогнул, накрыл это мерзкое лицо одеялом и разбудил санитаря, а затем покинул палату и молча отправился в свою комнату, так как жил в здании больницы. Я испытывал неодолимое желание поскорее заснуть, чтобы увидеть сны, которые по пробуждении не смогу вспомнить.

Вы спросите: а где же тут кульминация? Но разве может простое научное описание претендовать на подобные риторические эффекты? Я всего лишь записал некоторые вещи, которые считаю реальными фактами, а дальше судите сами. Как я уже отмечал, мой начальник, доктор Фентон, отрицает реальность всего мною рассказанного. Он посчитал, что я перенес тяжелый стресс на почве нервного переутомления и нуждаюсь в длительном оплачиваемом отпуске, который он мне тут же великодушно предоставил. Доктор заверил меня, ручаясь своей профессиональной честью, что Джо Слейтер был всего лишь заурядным параноиком, а его фантастический бред мог быть следствием каких-то старинных преданий, отголоски которых сохраняются даже в самых отсталых и деградировавших сельских общинах. Все это выглядит весьма убедительно, однако я не могу забыть то, что увидел в ночном небе вскоре после кончины Слейтера. А поскольку вы можете счесть меня предвзятым свидетелем, я передаю слово другому — и не исключено, что его показания все же доведут эту историю до столь ожидаемой вами кульминации. Я дословно процитирую выдержку из труда выдающегося авторитета в области астрономии, профессора

Гарретта П. Сервисса, касательно новой звезды в созвездии Персея:

«22 февраля 1901 года доктор Андерсон из Эдинбурга обнаружил новую яркую звезду, *расположенную неподалеку от Алголя*. Ранее на этом месте никаких звезд не наблюдалось. На протяжении следующих 24 часов свечение незнакомки усиливалось, пока она не превзошла яркостью Капеллу. Через неделю-две она заметно померкла, а еще через несколько месяцев ее уже нельзя было различить невооруженным глазом».

ГИПНОС

Что касается сна, этого мрачного и своенравного влестителя наших ночей, то безрассудство, с каким люди предаются ему еженощно, нельзя объяснить ничем иным, кроме как неведением относительно поджидающей их опасности.

Бодлер

Да хранят меня всемилостивые боги — если только они существуют — в те часы, когда ни усилие воли, ни придуманные людьми хитроумные снадобья не могут уберечь меня от погружения в бездну сна. Смерть милосерднее, ибо она уходит в края, откуда нет возврата; но для тех, кому довелось вернуться из мрачных глубин сна и сохранить в памяти все там увиденное, никогда уже не будет покоя. Я поступил как последний глупец в своем неистовом стремлении постичь тайны, не предназначенные для людей; глупцом — или богом — был мой единственный друг, указавший мне этот путь и вступивший на него раньше меня, чтобы в финале пасть жертвой ужасов, которые, возможно, предстоит испытать и мне.

Я помню, как впервые встретил его на перроне вокзала в окружении толпы зевак. Он лежал без сознания, скованный судорогой, из-за чего его некрупная худощавая фигура, облаченная в темный костюм, казалась окаменевшей. На вид ему можно было дать лет сорок, судя по глубоким складкам на изможденном, но притом безукоризненно овальном и красивом лице, а также по седым прядям в коротко подстриженной бороде и густых волнистых волосах, от природы черных как смоль. Его лоб идеальных пропорций цветом и чистотой был подобен пентелийскому мрамору. Наметанным глазом скульптора я тотчас углядел в этом человеке сходство со статуей какого-нибудь античного бога, извлеченной из-под руин

эллинского храма и чудесным образом оживленной только ради того, чтобы в наш тусклый безыскусный век мы могли с трепетом ощутить величие и силу всесокрушающего времени. А когда он раскрыл свои огромные, черные, лихорадочно горящие глаза, я вдруг отчетливо понял, что в этом человеке обрету своего первого и единственного друга, ибо прежде у меня никогда не было друзей. Именно такие глаза должны были видеть все величие и весь ужас иных миров за пределами обычного сознания и реальности — миров, о которых я мог лишь грезить без всякой надежды лицезреть их воочию. Я разогнал зевак и пригласил незнакомца к себе домой, выразив надежду, что он станет моим учителем и проводником в сфере загадочного и необъяснимого. Он слегка кивнул в знак согласия, не произнеся ни слова. Как выяснилось позднее, он обладал на редкость звучным и красивым голосом, в котором гармонично сочетались густое пение виол и нежный звон хрусталя. Много ночей и дней мы провели в беседах, пока я высекал из камня его бюсты или вырезал из слоновой кости миниатюры, стремясь запечатлеть в них различные выражения его лица.

Я не в состоянии описать то, чем мы занимались, поскольку эти занятия имели слишком мало общего с обыденной жизнью. Объектом нашего изучения была неизмеримая и устрашающая вселенная, лежащая вне познаваемых материй, времен и пространств, — вселенная, о существовании которой мы можем лишь догадываться по тем редким, особенным снам, которые никогда не посещают заурядных людей и лишь пару раз в жизни могут привидеться людям с богатым и ярким воображением. Мир нашего повседневного существования соотносится с этой вселенной, как соотносится мыльный пузырь с трубочкой, из которой его выдувает клоун, всегда могущий по своей прихоти втянуть пузырь обратно. Ученые мужи могут иметь кое-какие догадки на сей счет, но, как правило, они избегают об этом думать. Мудрецы пытались толковать такие сны, что вызывало лишь смех у бессмертных богов. А смертные в свою очередь насмеялись над одним человеком с восточными глазами, утверждавшим, что время

и пространство суть вещи относительные. Впрочем, и этот человек не был уверен в своих словах, а только высказал предположение. Я же мечтал зайти дальше простых догадок и предположений, к чему также стремился мой друг, преуспев лишь отчасти. А теперь мы объединили наши усилия и с помощью разных экзотических снадобий открыли для себя манящий и запретный мир сновидений, которые посещали нас в мастерской на верхнем этаже башни моего старинного особняка в графстве Кент.

Всякий раз пробуждение было мучительным, но самой мучительной из пыток оказалась неспособность выразить словами то, что я узнал и увидел, странствуя в мире снов, поскольку ни один язык не обладает подходящим для этого набором понятий и символов. Все наши сновидческие открытия относились к сфере особого рода ощущений, абсолютно несовместимых с нервной системой и органами восприятия человека, а пространственно-временные элементы этих ощущений попросту не имели конкретного, четко определяемого содержания. Человеческая речь в лучшем случае способна передать лишь общий характер того, что с нами происходило, назвав это погружением или полетом, ибо какая-то часть нашего сознания отрывалась от всего реального и сиюминутного, воспаряя над ужасными темными безднами и преодолевая незримые, но воспринимаемые преграды — нечто вроде густых вязких облаков. Эти бестелесные полеты сквозь тьму совершались нами иногда поодиночке, а иногда совместно. В последних случаях мой друг неизменно опережал меня, и я догадывался о его присутствии только по возникающим в памяти образам, когда мне вдруг являлось его лицо в ореоле странного золотого сияния: пугающе прекрасное и юношески свежее, с лучистыми глазами и высоким олимпийским лбом, оттененное черными волосами и бородой без признаков седины.

Мы в ту пору совсем не следили за временем, которое представлялось нам просто иллюзией, и далеко не сразу отметили одну особенность, так или иначе с этим связанную, а именно: мы перестали стареть. Амбиции наши были воистину чудо-

вищны и нечестивы — ни боги, ни демоны не решились бы на открытия и завоевания, которые мы планировали. Меня пробирает дрожь при одном лишь воспоминании об этом, и я не рискну передать в деталях суть наших тогдашних планов. Скажу лишь, что однажды мой друг написал на листе бумаги желание, которое он не отважился произнести вслух, а я по прочтении написанного немедленно сжег этот листок и опасно оглянулся на звездное небо за окном. Я могу позволить себе лишь намек: его замысел предполагал, ни много ни мало, установление власти над всей видимой частью Вселенной и за ее пределами, возможность управлять движением планет и звезд, а также судьбами всех живых существ. Лично я, могу поклясться, не разделял этих его устремлений, а если мой друг в каком-либо разговоре или письме утверждал обратное, это неправда. Мне никогда не хватило бы сил и смелости, чтобы затеять настоящую битву в таинственных сферах, а без такой битвы нельзя было рассчитывать на конечный успех.

В одну из ночей ветры неведомых пространств унесли нас в бескрайнюю пустоту за пределами бытия и мысли. Нас переполняли самые фантастические, непередаваемые ощущения, тогда вызывавшие эйфорию, а ныне почти изгладившиеся из моей памяти; да и те воспоминания, что сохранились, я все равно не смогу передать словами. Мы преодолели множество вязких преград и наконец достигли самых удаленных областей, до той поры нам недоступных. Мой друг, по своему обыкновению, вырвался далеко вперед, и, когда мы неслись сквозь жуткий океан первозданного эфира, в моей памяти возникло его слишком юное лицо, на сей раз искаженное гримасой какого-то зловещего ликования. Внезапно этот образ потускнел и исчез, а еще через миг я наткнулся на непреодолимое препятствие. Оно напоминало те, что попадались нам прежде, но было гораздо плотнее — какая-то липкая тягучая масса, если только подобные определения применимы к нематериальным объектам.

Итак, я был остановлен барьером, который мой друг и наставник успешно преодолел. Я хотел было предпринять но-

вую попытку, но тут закончилось действие наркотика, и я открыл глаза у себя в мастерской. В углу напротив лежал мой друг, мраморно-бледный и бесчувственный; его осунувшееся лицо показалось мне особенно прекрасным в золотисто-зеленом свете луны. Спустя недолгое время тело в углу шевельнулось — и не дай мне бог еще раз когда-нибудь услышать и увидеть то, что за этим последовало! Мне не под силу описать его истошный вопль и адские видения, отразившиеся в его глазах. Я лишился чувств и пришел в себя оттого, что мой друг отчаянно тряс меня за плечо, боясь остаться наедине со своими кошмарами.

На том и закончились наши добровольные странствия в мире снов. Глубоко потрясенный и чуть не до смерти напуганный, мой друг, побывавший за последней чертой, предостерег меня от новых подобных попыток. Он так и не решился рассказать мне, что он там видел, но, основываясь на своем страшном опыте, настоял, чтобы мы впредь как можно меньше спали, даже если ради этого придется использовать сильнодействующие стимуляторы. Вскоре я убедился в его правоте: стоило мне задремать, как меня охватывал невыразимый ужас. И всякий раз после краткого вынужденного сна я ощущал себя разбитым и постаревшим; что же касается моего друга, то его процесс старения шел с потрясающей быстротой. Тяжко было наблюдать, как у него ежедневно появляются все новые морщины и седые волосы. Наш образ жизни теперь совершенно переменялся. Прежде бывший затворником, мой друг — кстати, так ни разу и не обмолвившийся о своем настоящем имени и происхождении — теперь панически боялся одиночества. По ночам он не мог оставаться один, да и компании из нескольких человек ему было недостаточно, чтобы чувствовать себя более-менее спокойно. Единственным его утешением стали шумные многолюдные сборища и буйные пирушки, так что мы стали завсегдатаями мест, где обычно гуляла веселая молодежь. В большинстве случаев наши внешность и возраст вызывали насмешки, больно меня задевавшие, но мой спутник считал их меньшим злом по сравнению с одиночеством. Более всего он страшился остаться один сре-

ди ночи под звездным небом, а если ему все же случалось ночной порой очутиться вне дома, то и дело затравленно взглядывал вверх, словно ожидая нападения оттуда каких-то чудовищ. При этом я заметил, что в разные времена года его внимание приковывают разные точки на небосводе. Весенними вечерами такая точка находилась низко над северо-восточным горизонтом, летом он высматривал ее почти прямо над головой, осенью — на северо-западе, а зимой — на востоке, правда лишь ранним утром. Вечера в середине зимы были для него самым спокойным периодом. Прошло два года, прежде чем я догадался связать его страх с конкретным объектом и стал искать на небосводе точку, чья позиция менялась бы на протяжении года в соответствии с направлением его взглядов, — и таковая обнаружилась в районе созвездия Северная Корона.

К тому времени мы уже перебрались в Лондон, где снимали комнату под мастерскую и были по-прежнему неразлучны, но избегали говорить о тех днях, когда мы пытались разгадать тайны миров, находящихся за пределами нашей реальности. Мы оба сильно постарели и подорвали свое здоровье в результате злоупотребления наркотиками, беспорядочного образа жизни и нервного истощения; редющие волосы и борода моего друга сделались снежно-белыми. Мы приучили себя не спать более одного-двух часов подряд, дабы не оставаться надолго во власти забвения, представлявшего для нас смертельную угрозу.

И вот наступил туманный и дождливый январь, когда наши сбережения подошли к концу и не на что было купить стимулирующие препараты. Я давно уже распродал все свои мраморные бюсты и миниатюры из слоновой кости, а для изготовления новых у меня не было исходных материалов — как, впрочем, не было и сил работать, даже имеясь у меня материал. Мы оба ужасно страдали, а однажды ночью мой друг прилег на кушетку и, не выдержав, забылся сном, настолько тяжелым и глубоким, что мне никак не удавалось его пробудить. Я отчетливо помню эту сцену: запущенная мрачная комната под самой крышей, по которой беспрестанно

барабанит дождь; тикают единственные настенные часы, что сопровождается неслышным, но воображаемым таканьем наших наручных часов, лежащих на туалетном столике; поскрипывает незакрытый ставень на одном из нижних этажей; смутно слышатся звуки города, приглушенные туманом и расстоянием; и самое жуткое среди всего этого — глубокое мерное дыхание моего друга, как будто отсчитывающее секунды агонии его духа, унесенного в далекие запретные сферы.

Мое напряженное бдение становилось все более гнетущим; череда мимолетных впечатлений и ассоциаций стремительно пронеслась в моем расстроенном воображении. Откуда-то донесся бой часов — не наших настенных, поскольку они были без боя, — и это дало новое направление моим мрачным фантазиям: часы — время — пространство — бесконечность... Тут я вернулся к реальности, вдруг очень явственно представив себе, как где-то за скатом крыши, за дождем и туманом над северо-восточным горизонтом именно сейчас восходит Северная Корона. Это сияющее звездное полукольцо, наводившее такой ужас на моего друга, пусть сейчас и незримое, тянуло к нам свои лучи через космическую бездну. Внезапно мой обострившийся слух уловил новый звук в уже привычной какофонии шумов — это был низкий несмолкающий вой, жалобный, издевательский и зовущий одновременно, и доносился он издалека, *с северо-востока*.

Но не этот отдаленный вой приковал меня к месту и оставил в моей душе печать страха, от которой мне не избавиться вовеки; не он стал причиной моих последующих воплей и конвульсий, которые побудили соседей вызвать полицию и взломать дверь мастерской. Дело было не в том, что я услышал, а в том, что увидел: в темной комнате с запертой дверью и плотно зашторенным окном вдруг из северо-восточного угла вырвался злобещий золотисто-красный луч, который не рассеивал окружающую тьму, а только высветил откинутую на подушку голову спящего. И в этом свете я увидел то же самое юное лицо, какое являлось мне во время сновидческих полетов сквозь пространство и время, когда мой друг раньше

меня преодолевал все преграды, пока не проник за последний барьер, в самое средоточие ночных кошмаров.

Между тем голова его приподнялась с подушки, глубоко запавшие черные глаза раскрылись в ужасе, а тонкие бескровные губы искривились словно в попытке издать крик, который, однако, так и не прозвучал. И в этом мертвенно-бледном, высвеченном из тьмы и застывшем как маска лице отразился предельный, абсолютный ужас, какой только может существовать во вселенной. Мы оба не издали ни звука, а между тем далекий вой все нарастал. Когда же я проследил за направлением его взгляда и на мгновение увидел источник зловещего луча, этого мгновения оказалось достаточно: я тотчас издал пронзительный вопль и забился в припадке, как эпилептик, переполошив соседей и побудив их вызвать полицию. При всем желании я не смог бы описать, что именно мне довелось увидеть в тот момент; а что бы ни увидел мой бедный друг, он уже никогда не расскажет. Мне же впредь не остается ничего иного, как по возможности дольше не поддаваться властителю снов — коварному и ненасытному Гипносу, а также губительным силам звездного неба и безумным амбициям познания и философии.

До сих пор подробности этой истории являются загадкой не только для меня, но и для всех окружающих, поголовно ставших жертвами непонятной забывчивости, если только не группового помешательства. С какой-то стати они в один голос утверждают, что у меня никогда не было никакого друга и что вся моя злосчастная жизнь была без остатка заполнена искусством, философией и безумными фантазиями. В ту ночь соседи и полицейские попытались меня утихомирить, а затем вызвали врача, давшего мне успокоительное, но при этом все они дружно проигнорировали иные последствия разыгравшейся там трагедии. Их, в частности, нисколько не озаботила участь моего несчастного друга; совсем напротив — то, что они обнаружили на кушетке, вызвало с их стороны бурю восторгов и похвал в мой адрес, отчего меня едва не стошнило. За восторгами последовала и громкая слава, ныне с презрением отвергаемая мной: лысым седобородым стариком, жал-

ким, разбитым, усохшим и вечно одурманенным наркотиками, — когда я часами сижу, любясь и вознося молитвы предмету, найденному тогда в мастерской.

Ибо они утверждают, что я не продал самое последнее из своих творений, и без усталости восторгаются им — холодным, окаменевшим и навсегда умолкшим после прикосновения запредельного света. Это все, что осталось от моего друга и наставника, приведшего меня к безумию и катастрофе, — божественный мраморный образ, достойный резца лучших мастеров древней Эллады; неподвластное времени прекраснейшее юное лицо в обрамлении бородки, с приоткрытыми в улыбке губами, высоким чистым лбом и густыми выющимися кудрями, покрытыми венком из полевых маков. Говорят, это я изваял по памяти самого себя, каким я был в двадцать пять лет, однако на мраморном основании бюста начертано лишь одно имя — ГИПНОС.

УСПАЛЬНИЦА

Чтобы мирный приют я обрел хотя бы по смерти.
*Вергилий*¹

Принимая во внимание обстоятельства, которые привели к моему заточению в этом приюте для умалишенных, и само мое пребывание здесь, я вполне сознаю, что достоверность моего рассказа может вызвать естественные сомнения. Как ни печально, большинство людей мыслят слишком ограниченно для того, чтобы разумно и терпеливо оценить некоторые явления, лежащие за пределами повседневного опыта и доступные восприятию лишь немногих. Людям широких взглядов известно, что не существует четкого различия между реальным и нереальным, а все сущее есть лишь наше представление о нем, меняющееся в зависимости от индивидуальных умственных и физических особенностей каждого человека; однако прозаическое большинство считает безумием те проблески озарения, что проникают сквозь грубую завесу банального эмпиризма.

Меня зовут Джервас Дадли. С самого детства я был мечтателем и фантазером. Достаток семьи позволял мне не заниматься трудовой деятельностью, а неуравновешенность характера не содействовала регулярным научным занятиям или развлечениям в кругу знакомых. Я пребывал в сферах, далеких от реального мира, юность и молодость мои прошли за чтением старинных и редких книг, в странствиях по полям и рощам близ нашей родовой усадьбы. Не думаю, что я нахо-

¹ «Энеида» (книга VI, строка 371). Перевод С. Ошерова.

дил в этих книгах или видел в полях и рощах совершенно то же, что видели или находили другие, но не стану распространяться об этом, поскольку подробный рассказ лишь послужит подтверждением грубой клеветы на мой рассудок — клеветы, которую мне не раз доводилось слышать в опасливом перешептывании здешних служителей. Мне достаточно излагать события, не анализируя их причины.

Как уже было сказано, я пребывал вдали от реального мира, но это не значит, что я существовал один. Так жить никому не под силу, и лишенный сообщества живых неизбежно находит себе компанию среди не живущих более или среди предметов неодушевленных.

Неподалеку от нашего дома находилась поросшая лесом лощина. Там, в тенистых зарослях, я проводил почти все время — то читая, то предаваясь размышлениям и мечтам. По ее мшистым склонам я делал первые детские шаги, вокруг ее покрытых причудливыми наростами дубов сплетались мои мальчишеские фантазии. Я знал живших в этих деревьях дриад и не раз наблюдал их исступленные пляски в пробивающихся лучах тусклой луны... но об этом я не стану сейчас говорить. Я расскажу лишь об одинокой гробнице в самых темных зарослях; о заброшенной гробнице старинного благородного семейства Хайд, последний прямой потомок которого упокоился в этом темном обиталище за много десятилетий до моего рождения.

Усыпальница, о которой я веду речь, была сооружена из гранита, выветрившегося и выцветшего под воздействием туманов и сырости. Она была вырублена в горе, так что на поверхности виднелся лишь портал. Тяжелая каменная плита, висевшая на ржавых железных петлях, преграждала вход. Дверь была затворена неплотно — в этом угадывалось нечто зловещее — и заперта на тяжелые железные цепи с отвратительного вида висячими замками, бывшими в ходу около полувека назад. Усадьба рода, отпрыски которого лежали здесь, некогда венчала тот самый склон, в глубину которого уходила гробница, но уже много лет назад она пала жертвой пламени, вспыхнувшего от удара молнии. О полуночной буре,

разрушившей мрачный особняк, иногда, понизив голос, со страхом рассказывали старожилы здешних мест, глухо намекая на то, что они называли Божьим гневом. Но очарование скрытой под сенью леса усыпальницы, всегда пленявшее меня, от этого лишь усиливалось. Пожар унес жизнь только одного человека. Семейство Хайд перебралось в другую страну, и когда здесь, под сенью тишины и тени, должен был упокоиться последний из рода Хайдов, скорбную урну с его прахом доставили издалека. Здесь некому было положить цветы перед гранитным порталом, и редко кто отваживался пройти мимо гробницы в печальной тени, которая, казалось, странным образом задерживалась на отполированном водой камне.

Никогда не забуду вечера, когда я впервые набрел на почти скрытую зарослями обитель смерти. Стоял июль — время, когда алхимия лета преобразует лес в сливающуюся воедино яркую массу зелени, когда кружится голова от запахов пульсирующего моря, влажной листвы и неопределимых ароматов земли и плодов, когда перестаешь видеть мир в истинном свете, время и пространство становятся пустыми словами, а эхо давно минувших времен настойчиво звучит в очарованном сознании.

Целый день я бродил по таинственным рощам лощины, обдумывая то, что нет нужды обсуждать, беседуя с теми, кого нет нужды называть. В свои десять лет я видел и слышал много чудесного, недоступного другим, и в некоторых отношениях был на удивление взрослым. Когда, пробираясь меж густых зарослей шиповника, я вдруг нашел вход в усыпальницу, то не имел ни малейшего представления о том, что обнаружил. Темные гранитные плиты, странно приоткрытая дверь, траурные барельефы над аркой не пробудили во мне ни печальных, ни пугающих ассоциаций. О могилах и гробницах я много знал и много фантазировал, но, принимая во внимание особенности моего характера, родители оберегали меня от прямого соприкосновения с кладбищами и погостами. Удивительное каменное сооружение на поросшем лесом склоне лишь возбудило мое любопытство, так как его холодное влажное нутро, куда я тщетно пытался заглянуть сквозь драз-

нящую щель, не связывалось у меня со смертью и разложением. Вдруг любопытство сменилось диким, безрассудным желанием, которое и привело меня в это заключение, в этот ад. Повинуясь голосу, который шел, должно быть, из самой жуткой глубины леса, я решил проникнуть в манящую тьму, несмотря на преграждавшие путь тяжелые цепи. В угасающем свете дня я гремел их ржавыми звеньями, пытаюсь пошире открыть каменную дверь, потом пробовал протиснуться в щель; но ни то ни другое мне не удалось. И если поначалу меня снедало простое любопытство, тут я пришел в неистовство; в сумерках вернувшись домой, я поклялся сотне богов этой рощи, что *любой ценой* когда-нибудь окажусь в черных холодных глубинах, которые, казалось, призывали меня.

Доктор с седоватой бородкой, который ежедневно появляется в моей комнате, однажды сказал тому, кто навещал меня, что это решение знаменовало начало достойной сожаления мономании; но вынесение окончательного приговора я предоставляю моим читателям — после того как они узнают обо всем.

Месяцы, следовавшие за моим открытием, прошли в тщетных попытках взломать сложный замок чуть приоткрытой усыпальницы и в осторожных расспросах о характере и истории обнаруженного мною сооружения. Дети, как правило, имеют обыкновение прислушиваться к разговорам, таким образом я многое узнал, но привычка к скрытности не позволила мне ни с кем поделиться ни своим открытием, ни принятым решением. Наверное, следует упомянуть, что я не был ни удивлен, ни испуган, узнав об истинном назначении усыпальницы. В моих довольно своеобразных представлениях о жизни и смерти холодный прах и живое, трепещущее тело были связаны довольно слабо; я просто чувствовал, что злополучное благородное семейство каким-то образом представлено в одетом камнем пространстве, которое я стремился исследовать. Невнятные толки о таинственных ритуалах и нечестивых празднествах прошлых лет, которые совершались в старинной усадьбе, лишь усилили мой интерес к гробнице, и я ежедневно просиживал часами перед ее порталом. Одна-

жды я просунул свечу в узкую дверную щель, но не увидел ничего, кроме сырых каменных ступеней ведущей вниз лестницы. Запах усыпальницы и отпугивал, и околдовывал меня. Казалось, он знаком мне, знаком с давних, за пределами воспоминаний, времен, предшествовавших моему воплощению в теперешнем моем теле.

Через год после обнаружения гробницы я случайно наткнулся на старый, заплесневелый том перевода «Жизнеописаний» Плутарха на забитом книгами чердаке собственного дома. Читая жизнеописание Тезея, я поразился рассказу об огромном камне, под которым юный герой должен был найти знамения своей судьбы, как только станет достаточно взрослым, чтобы поднять такую тяжесть. Эта легенда умерила мое страстное желание проникнуть в усыпальницу, внушив мне, что время еще не пришло. Позже, сказал я себе, став сильнее и хитроумнее, я без труда открою тяжелую, запертую на цепь дверь, а пока надо покориться велению судьбы.

Таким образом, мои бдения около поросшего мхами портала стали реже, но большую часть времени я проводил в не менее странных занятиях. Иногда я потихоньку вставал по ночам и украдкой выбирался на прогулки по тем самым кладбищам и погостам, от которых оберегали меня родители. Что там делалось, я не буду рассказывать, потому что теперь не совсем уверен в реальности происходившего; но я помню, как после таких ночных прогулок я часто удивлял окружающих знанием подробностей, не сохранившихся в памяти поколений. Однажды я поразил домашних необычным рассказом о похоронах известного сквайра Брустера, влиятельного в наших местах и богатого человека, умершего в 1711 году; его надгробный памятник из серого, с синеватым отливом сланца, на котором были выбиты череп и скрещенные кости, с течением времени понемногу превращался в пыль. В порыве детской фантазии я объявил, что владелец похоронной конторы, Гудмен Симпсон, украл башмаки с серебряными пряжками, шелковую одежду и атласное белье покойника, и добавил, что сам сквайр, которого не совсем покинула жизнь,

дважды перевернулся в зарытом в землю гробу на следующий день после погребения.

Мысль о том, чтобы проникнуть в гробницу, не оставляла меня; неожиданно сделанное генеалогическое открытие: по материнской линии мои предки были в отдаленном родстве с Хайдами, род которых, как считалось, пресекался, — лишь укрепило мою решимость. Я оказался последним потомком не только отцовского рода, но также и этого, более древнего и более таинственного. Я начал ощущать, что эта гробница моя, и с нетерпением ждал, когда наконец, открыв дверь, смогу оказаться внутри и сойти по скользким каменным ступеням во тьму. У меня создалась привычка внимательно прислушиваться, сидя у приоткрытой двери; я выбирал для этих стран-ных бдений тихую полуночную пору. С годами мне удалось расчистить небольшую прогалину в зарослях перед замшелым каменным порталом на склоне холма, а ветви росших вокруг деревьев переплелись, образовав стены и купол лесного шатра. Этот шатер был моим храмом, закрытая дверь — святыней, и часто, когда я лежал там, растянувшись на мшистой земле, меня посещали удивительные мысли и удивительные грезы.

Ночь, когда я совершил первое открытие, была душевной. Очевидно, я задремал и, пробуждаясь, ясно услышал голоса. Их тон и произношение удержали меня от того, чтобы заговорить; их тембр заставил меня промолчать; могу поручиться, что лексика, манера говорить и сами высказывания разитель-но отличались от современных. Все особенности новоанглий-ского диалекта — от неблагозвучного произношения колони-стов-пуритан до характерной риторики полувековой давно-сти, — казалось, были представлены в этой беседе теней, хотя это я осознал только впоследствии. А в тот момент мое вни-мание привлекло совсем другое явление, настолько мимолет-ное, что я не поручился бы за его реальность. Просыпаясь, я увидел, как мелькнул и тут же погас свет внутри забытой гробницы. Это не вызвало у меня ни удивления, ни испуга, но убежден, что именно в ту ночь я коренным образом и на-всегда переменялся. Вернувшись домой, я поднялся на чер-дак, уверенно направился к полусгнившему сундуку и обна-

ружил там ключ. На следующий день я легко отпер дверь, которую так долго и напрасно старался открыть.

В мягких сумерках я в первый раз проник в усыпальницу на давно опустевшем склоне. Я был точно околдован, сердце бешено колотилось, я ощущал неописуемое ликование. Закрыв дверь, я стал спускаться по ступеням, как будто давно их знал; свеча то и дело мигала в удушливых испарениях, но я чувствовал себя в этом затхлом склепе, как дома. Оглядевшись, я увидел множество мраморных плит с гробами или остатками гробов. Некоторые были закрыты и совершенно целы, другие почти рассыпались, и их серебряные ручки и накладки валялись среди странных кучек беловатой пыли. На одной из серебряных пластин я прочел имя сэра Джеффри Хайда, приехавшего из Сассекса в 1640 году и умершего несколькими годами позже. В глубине просторной ниши стоял прекрасно сохранившийся гроб, украшенный только пластинкой с именем — именем, заставившим меня и улыбнуться, и вздрогнуть. Повинуясь странному импульсу, я влез на широкую плиту, погасил свечу и улегся в него. На рассвете я, пошатываясь, вышел из усыпальницы и запер дверь на цепь. Юность моя закончилась, хотя всего двадцать один раз зимние холода успели проморозить мое брненное тело. Жители деревни, рано начинавшие день, бросали на меня любопытные взгляды, удивляясь следам якобы бурной пирушки на лице юноши, который, как им было известно, вел уединенную и воздержанную жизнь. Перед родителями я решился предстать лишь после долгого освежающего сна.

С тех пор гробница служила мне убежищем каждую ночь. Не стану рассказывать о том, что я видел, слышал и делал. В первую очередь изменения произошли в моей речи, на которой всегда сказывалось влияние окружения, и появившаяся в ней архаичность вскоре была замечена. Неожиданно для себя я сделался на диво дерзким и безрассудным. Изменились манеры, я стал вести себя как светский человек, несмотря на то что жил всю жизнь отшельником. Прежняя замкнутость сменилась разговорчивостью, мне стало доступно и легкое изящество речи Честерфилда, и нечестивый цинизм Рочестера.

Я проявлял удивительную эрудицию, не имевшую ничего общего с чуть ли не монашеской образованностью, приобретенной мною в юности; я покрывал форзацы своих книг импровизированными легкими эпиграммами в духе Гея, Прайора и самых веселых римских остроумцев и рифмоплетов. Однажды за завтраком я сам приблизил катастрофу, вдохновенно продекламировав — с интонациями явно подвыпившего человека — стихотворение восемнадцатого века, эпохи короля Георга, игривую застольную песнь, которой не найти ни в одной книге, полную вакхического веселья и звучащую примерно так:

Мы эля в тяжелые чаши нальем
И выпьем за то, что пока мы живем;
Пускай громоздится в тарелке еда —
Поесть и напиться мы рады всегда.
Подставь же стакан!
Жизнь так коротка.
За гробом не выпьешь уже ни глотка!

Был красен от выпивки Анакреон,
Но счастлив и весел при этом был он.
Пусть буду я красным, но все же живым,
Чем белым, как мрамор, и столь же немым!
Эй, Бетти, друг мой!
Целуйся со мной!
В аду не найти мне подружки такой!

Красавчика Гарри держите, не то,
Парик потеряв, упадет он под стол!
А сами наполним мы кубки опять,
Все ж лучше под лавкой, чем в яме, лежать!
Здесь смех и вино,
Веселья полно;
В могиле тебе недоступно оно.

Черт, как я надрался! Шагнуть не могу,
Стоять не могу, и язык — ни гугу!
Хозяин, порядок пора навести!
До дома попробую я добрести.
Кто мне бы помог?
Не чувствую ног,
Но весел, пока не прибрал меня Бог!¹

¹ Перевод Дм Раевского

Примерно в это же время я стал бояться огня и молний. Прежде они не производили на меня никакого впечатления, теперь же я испытывал перед ними непреодолимый ужас и спасался в самых укромных уголках, как только на небе разворачивалась грозовая панорама. Излюбленным убежищем мне служил разрушенный подвал сгоревшего в огне особняка Хайдов; сидя в нем, я старался вообразить, каким было это здание прежде. И однажды поразил одного из окрестных жителей, безошибочно указав ему вход в неглубокий дополнительный подвал, о котором я, как выяснилось, откуда-то знал, несмотря на то что о его существовании многие годы никто не вспоминал.

Наконец произошло то, чего я давно опасался. Мои родители, встревоженные переменами в манерах и облике единственного сына, из самых благих побуждений учредили слежку за моими передвижениями, и это грозило катастрофой. Я никому не рассказывал о посещении гробницы, с детских лет благоговейно храня свои тайны; теперь же я вынужден был с еще большей осторожностью пробираться по лесному лабиринту, чтобы отделаться от возможного преследования. Ключ от усыпальницы висел у меня на шее на шнурке, и никто не подозревал о его существовании. Я ни разу не вынес наружу ни одного предмета, найденного в усыпальнице.

Как-то утром, выйдя из сырой гробницы и закрывая замок на цепи не совсем твердою рукой, я заметил на соседнем склоне испуганное лицо соглядата. Конец был явственно виден, ведь мое убежище обнаружено, цель ночных странствий раскрыта. Соглядатай не остановил меня, и я поспешил домой, чтобы постараться подслушать, что он станет рассказывать моему измученному беспокойством отцу. Неужели о моем пребывании за запертой цепями дверью станет известно всем?

Вообразите же радость и облегчение, которые я испытал, услышав, что соглядатай рассказывает боязливым шепотом, будто я *провел ночь возле усыпальницы*, обратясь лицом к неплотно закрытой двери! Каким чудом он мог так обмануться?

Несомненно, сверхъестественные силы покровительствовали мне! Ободренный этим обстоятельством, я вновь стал

не таясь посещать усыпальницу, уверенный, что никому не дано увидеть, как я вхожу внутрь. Целую неделю я наслаждался загробным общением, которое не стану описывать, а потом произошло *это*, и я был привезен сюда, в ненавистную обитель, где царят печаль и однообразие.

В ту ночь я не собирался выходить: в тучах погромыхивал гром, а на дне лощины дьявольскими огоньками фосфоресцировало мерзкое болото. И даже зов мертвых звучал по-иному. Меня тянуло не к гробнице на склоне, а к обугленному подвалу на вершине, словно обитавший там демон манил меня невидимой рукой. Пройдя рощицу и оказавшись на ровном месте перед развалинами, я увидел в неверном свете луны то, чего всегда в какой-то мере ожидал. Перед моим восхищенным взором вновь возник во всем своем великолепии особняк, рухнувший столетие назад; все окна сияли блеском множества свечей. По подъездной аллее одна за другой кареты везли гостей из Бостона, а многочисленные обитатели соседних усадеб, разодетые, напудренные, подходили пешком. Я смешался с толпой гостей, хотя и сознавал, что мне подобает находиться среди хозяев. В зале царили музыка и смех, у каждого в руке был бокал с вином. Несколько лиц оказались знакомы мне, хотя я знал их уже ссохшимися, тронутыми смертью и разложением. В этой дикой нечестивой толпе я был самым диким и самым беспутным. Из моих уст изливался поток богохульств, я произносил речи, в которых отрицал все законы — и божеские, и человеческие, и природные.

Внезапно над самой крышей, перекрыв шум неистового веселья, раздался удар грома. Разбушевавшиеся весельчаки в ужасе смолкли. Красные языки пламени и опаляющий жар охватили здание; участники празднества, испуганные обрушившимся на них бедствием, которое, казалось, было ниспослано свыше, с пронзительными криками исчезли. Я остался один, меня удержал на месте унижительный страх, какого я никогда прежде не испытывал. Но вдруг он сменился новым ужасом. Если я сгорю тут дотла, а пепел мой развеется по ветру, *мне никогда не лежать в усыпальнице Хайдов!* Разве не ждет меня *мой* гроб? Разве нет у меня законного права на

вечный покой среди потомков сэра Джеффри Хайда? Вечный! Я стремился получить свое посмертное наследство во что бы то ни стало, пусть даже моей душе пришлось бы столетиями искать воплощения в теле, которое сможет упокоиться в нише склепа. *Джервас Хайд* не разделит печальной участи Палинура!

Когда видение горящего дома растаяло в воздухе, я вдруг ощутил, что иступленно кричу и бьюсь в руках двух мужчин, один из которых — тот самый шпион, который выслеживал меня у гробницы. Дождь лил как из ведра, а на южной стороне неба, у горизонта, вспыхивали молнии, какие недавно сверкали у нас над головой. Я кричал, я требовал похоронить меня в склепе, а мой отец скорбно стоял поодаль и время от времени просил удерживавших меня людей обходиться со мной как можно мягче. На полу разрушенного подвала чернел круг, след мощного удара, ниспосланного с небес; из этого развороченного ударом молнии места несколько любопытствующих жителей деревни извлекли и принялись рассматривать при свете фонарей небольшую шкатулку старинной работы.

Прекратив тщетную и теперь уже бесполезную борьбу, я наблюдал за тем, как они любовались найденными в земле сокровищами, как, получив дозволение, принялись их делить. В шкатулке, замок которой был разбит, находилось множество бумаг и ценных предметов, но я не мог отвести глаз от одного из них. Это была миниатюра на фарфоре, с инициалами «Дж. Х.», изображавшая молодого человека в изящно завитом по моде восемнадцатого века парике. Насколько я мог разглядеть, его лицо было точной копией того, что я ежедневно видел в своем зеркале.

На следующий же день я оказался в этой комнате с зарешеченными окнами, но кое-что мне продолжает сообщать старый слуга — простая душа, — которого я любил в детстве и которому, как и мне, нравятся кладбища. Все мои рассказы о пребывании в усыпальнице вызывают у слушателей только сочувственные улыбки. Отец, который часто навещает меня, утверждает, что я ни разу не входил в запертую на цепь дверь

и что, как оказалось при ближайшем рассмотрении, ржавого замка в течение последних пяти десятков лет никто не трогал. Он даже говорит, что о моих прогулках к гробнице знали все окрестные жители и что меня часто видели у мрачного портала. Я спал с открытыми глазами, устремленными на неплотно прилегающую дверь. Никаких вещественных доказательств, с помощью которых я мог бы опровергнуть эти утверждения, у меня нет, ведь ключ от замка был утерян, когда я в ту ужасную ночь бился в руках своих преследователей. Удивительные знания о прошлом, которые я почерпнул во время ночных встреч с мертвецами, отец считает плодом многолетнего беспорядочного чтения старинных книг из фамильной библиотеки. И если бы не мой старый слуга Хайрам, я бы сейчас не сомневался в собственном безумии. Но Хайрам, преданный Хайрам, поддерживает во мне веру. Он совершил нечто, позволяющее сделать мою историю — или, по крайней мере, часть ее — достоянием публики. Неделю назад он взломал замок, запиравший цепи на неизменно приоткрытой двери, и спустился с фонарем в мрачные глубины. На плите в каменной нише он обнаружил старый, но пустой гроб, на потускневшей серебряной пластине которого стоит лишь одно слово: *Джервас*. И я получил обещание, что после смерти буду лежать в этом гробу, в этой усыпальнице.

ПОГРЕБЕННЫЙ С ФАРАОНАМИ

I

Тайна притягивает тайну. С тех пор как я приобрел широкую известность в качестве исполнителя невероятных трюков, я постоянно попадаю во всякого рода загадочные истории, каковые публика, зная мою профессию, связывает с моими интересами и занятиями. Порой эти истории вполне невинны и тривиальны, порой глубоко драматичны и увлекательны, насыщены роковыми и опасными приключениями, а иной раз даже заставляют меня ударяться в обширные научные и исторические изыскания. О многом я уже рассказывал и буду рассказывать впредь без утайки; но есть один случай, о котором я всегда говорю с большой неохотой, и если я теперь собираюсь это сделать, то лишь по настоятельным и назойливым просьбам издателей данного журнала, до которых дошли неясные слухи об этой истории от моих родственников.

Событие это, до сего дня хранившееся мною в тайне, произошло четырнадцать лет назад, во время моего посещения Египта в качестве обыкновенного туриста. Я молчал о нем по нескольким причинам. Во-первых, мне не хотелось предавать гласности некоторые вполне реальные факты и обстоятельства, о которых даже не догадываются полчища туристов, осаждающих пирамиды, и которые тщательно скрываются властями Каира, хотя последние, конечно, не могут о них не знать. Во-вторых, мне как-то неудобно излагать инцидент, где такую важную роль играла моя собственная неумная

фантазия. Происходило ли то, свидетелем чему я был, на самом деле — с достоверностью сказать нельзя; скорее, случившееся следует рассматривать как следствие моих тогдашних штудий в области египтологии и навеянных ими размышлений, на которые меня к тому же естественным образом наталкивала окружающая обстановка. Подогретое названными причинами воображение в сочетании с возбуждением, явившимся результатом действительного происшествия, — все это, без сомнения, и привело к кошмару, увенчавшему ту давнюю фантастическую ночь.

В январе 1910 года, отработав по контракту в Англии, я подписал договор на турне по театрам Австралии. Условия договора предоставляли мне возможность самому выбрать сроки поездки, и я решил воспользоваться случаем и совершить одно из тех путешествий, до коих я большой охотник. Вместе с женой мы без спешки проехали с севера на юг всю Францию и в Марселе сели на пароход «Мальва», направлявшийся в Порт-Саид. Оттуда я намеревался отправиться в экскурсию по главным историческим достопримечательностям Нижнего Египта и уж затем отплыть в Австралию.

Вояж получился очень милым, в том числе и благодаря нескольким забавным происшествиям, от которых ни один иллюзионист не застрахован даже тогда, когда находится на отдыхе. Я предполагал держать свое имя в секрете, дабы во время путешествия меня никто не беспокоил; но среди пассажиров оказался один факир, чьи настойчивые потуги ошеломить пассажиров показом самых заурядных трюков были настолько смехотворны, что я не мог удержаться от соблазна поставить его на место и повторил те же фокусы с гораздо большим профессионализмом, в результате чего мое инкогнито было безвозвратно погублено. Я рассказываю об этом не ради красного словца, но с учетом тех последствий, к которым привела моя неосторожность и которые мне следовало предусмотреть, прежде чем разоблачать себя перед целой толпой туристов, готовых вскоре рассеяться по долине Нила. Куда бы я отныне ни направился, меня всюду обгоняла моя известность, лишая нас с супругой спокойствия, к которому

мы так стремились. Путешествуя в поисках диговин, я сам зачастую становился объектом разглядывания как своего рода диговина.

Отправившись в Египет за яркими и мистическими впечатлениями, мы были немало разочарованы, когда по прибытии в Порт-Саид увидели одни невысокие песчаные дюны, плавающие в мелкой воде буйки и типичный европейский городок, где все было скучно и неинтересно, за исключением разве что громадной статуи Лессепса. Тем сильнее охватило нас желание увидеть что-нибудь более заслуживающее внимания, и, посоветовавшись, мы решили не мешкая ехать в Каир, к пирамидам, а оттуда — в Александрию, где можно будет сесть на корабль, отплывающий в Австралию, а между делом осмотреть все те греко-римские достопримечательности, которыми изобилует эта древняя метрополия.

Путешествие поездом было не из худших: за какие-то четыре с половиной часа мы успели увидеть значительную часть Суэцкого канала, вдоль которого железная дорога тянется до самой Исмаилии, а немного погодя и ощутить вкус Древнего Египта, зацепив взглядом краешек канала с пресной водой, прорытого еще в эпоху Среднего царства и недавно восстановленного. Но вот наконец и Каир, мерцающая огнями в сгущающихся сумерках, предстал перед нами, как некое созвездие, тусклый блеск которого превратился в ослепительное сияние, когда мы прибыли на грандиозный центральный вокзал.

И вновь нас постигло разочарование, ибо все, что мы увидели, оказалось в европейском стиле, не считая нарядов и лиц. Банальнейший подземный переход вел на площадь, запруженную экипажами, такси, трамваями и залитую ярким светом электрических огней на высоченных зданиях; и даже театр, где меня тщетно уговаривали выступить и куда я впоследствии попал как зритель, незадолго до нашего приезда был переименован в «Американский космограф». Намереваясь остановиться в отеле «Шепард», мы взяли такси и помчались по широким авеню с фешенебельной застройкой; и среди окружившего нас в отеле комфорта (в основном англо-

американского образца), среди всех этих лифтов и вышколенной прислуги волшебный Восток с его седой стариной представлялся нам чем-то бесконечно далеким и нездешним.

Однако уже на другой день мы с наслаждением окунулись в самую гущу атмосферы «Тысячи и одной ночи», и в лабиринте улиц, в экзотических контурах Каира на фоне неба, казалось, вновь ожил сказочный Багдад времен Гаруна аль-Рашида. Сверяясь по путеводителю, мы миновали площадь Эзбекие и двинулись по улице Муски на восток, в сторону кварталов, населенных коренными жителями. Довольно скоро мы очутились в руках энергичного «чичероне», который, как я должен признать, несмотря на все позднейшие события, был мастером своего дела.

Тогда я еще не понимал, какую ошибку совершил, не обратившись в отеле к услугам официального гида. Теперь перед нами стоял гладко выбритый, сравнительно аккуратный субъект с удивительно глухим голосом; внешне он напоминал фараона, сошедшего с древней фрески, и представился нам как Абдул Раис эль-Дрогман. Было очевидно, что он пользуется большим авторитетом среди прочих представителей своего ремесла; правда, в полиции нам потом сообщили, что человек под таким именем им не известен, что слово «раис», по всей видимости, служит частью обращения к любому уважаемому человеку, а «Дрогман» — это, без сомнения, не что иное, как искаженная форма слова «драгоман», обозначающего руководителя туристических групп.

Абдул показал нам такие чудеса, о которых мы раньше только читали или мечтали. Старый Каир уже сам по себе — город-сказка, город-греза: лабиринты узких улочек, окутанных таинственными благовониями; балконы самых прихотливых форм, сходящиеся почти вплотную над вымощенными булыжником мостовыми; типично азиатский водоворот уличного движения с его многоязыким гамом, щелканьем бичей, дребезжанием повозок и скрипом телег, звоном монет и криком ослов; калейдоскоп цветастых одежд, тюбанов, чадр и фесок; водоносы и дервиши, собаки и кошки, гадалки и брадобреи; а надо всем этим — причитания нищих слепцов, скрю-

жившихся в своих нишах, и заунывные азаны муэдзинов на минаретах, тонко вычерчивающихся на фоне яркого, безукоризненно синего неба.

Не менее экзотическими оказались и крытые базарные ряды, где к тому же было не так шумно. Пряности, духи, ароматические шарики, ковры, шелка, медь; старый Махмуд Сулейман сидит, скрестив ноги, среди своих сосудов с ароматическими смолами, рядом юноши, весело переговариваясь, толкут горчичные зерна в углублении капители древнеримской классической колонны коринфского ордера, завезенной сюда, вероятно, из соседнего Гелиополя, где размещался один из трех египетских легионов императора Августа. А еще мечети и музей — мы осмотрели их все, при этом сияясь сохранить навесный арабской улицей жизнерадостный настрой, когда на нас хлынули темные чары Египта фараонов, бесценные сокровища которого предлагал нашему взору музей. Большого мы пока и не искали, а потому сосредоточили свое внимание на средневековой сарацинской роскоши халифов, пышные надгробия-мечети которых составляют помпезный феерический некрополь на краю Аравийской пустыни.

Напоследок Абдул сводил нас по улице Шариа-Мухаммед-Али к старинной мечети султана Хасана и воротам Баб-эль-Азаб с башнями по бокам, сразу за которыми проход меж двух круто поднимающихся стен ведет к величественной цитадели, возведенной самим Саладином из блоков разрушенных пирамид. Солнце уже заходило, когда мы взобрались на эту кручу, обошли кругом современную мечеть Мухаммеда Али и, встав у парапета, окинули взором с головокружительной высоты волшебный Каир, весь в золоте резных куполов, воздушных минаретов и цветущих садов.

Высоко над городом возносился огромный романский купол нового музея, а за ним, по другую сторону загадочного желтого Нила, отца времен и династий, таили вечную угрозу пески Ливийской пустыни, волнистые, переливающиеся всеми цветами радуги, стерегущие темные тайны веков.

Вслед за багряным закатом пришел пронизывающий холод египетской ночи. Глядя на солнце, балансирующее на краю

мира, как древний бог Гелиополя Ра-Хараhti, или Солнце горизонта, мы четко различили на фоне алого пожара зари зловещие очертания пирамид Гизы, этих древних гробниц, на которых к тому времени, когда Тутанхамон всходил на золотой престол в далеких Фивах, уже лежала пыль тысячелетий. И тогда нам стало ясно, что Каира сарацинского с нас хватит и настала пора прикоснуться к сокровенным тайнам Египта изначального — страны Ра и Амона, Исиды и Осириса.

Экскурсия к пирамидам состоялась на следующий день. В легком двухместном экипаже мы пересекли остров Гезиру с его гигантскими деревьями и по небольшому мосту, выстроенному в английском стиле, выехали на западный берег. Далее наш путь лежал меж двух рядов внушительной высоты деревьев, а затем мимо обширного зоологического сада в сторону Гизы, пригорода Каира, где впоследствии был воздвигнут мост, соединяющий Гизу непосредственно с Каиром. Свернув на Шариа-эль-Харам, мы миновали район зеркально-гладких каналов и убогих туземных деревушек, и вот наконец впереди замаячила цель наших исканий, проступая сквозь рассветную дымку и отражаясь в перевернутом виде в придорожных лужах. Воистину, сорок веков взирали на нас с этой высоты, как говорил Наполеон своим солдатам.

Дорога взмыла круто вверх, и вскоре мы достигли пункта пересадки между трамвайной станцией и отелем «Мена-хаус». Мы не успели оглядеться, как наш проводник уже раздобыл билеты на посещение пирамид и нашел общий язык с толпой шумных и агрессивных бедуинов, которые жили в соседней деревеньке, нищей и грязной, и приставали ко всем путешественникам. Абдул держался с достоинством и не только не подпустил никого к нам, но даже раздобыл у туземцев пару отличных верблюдов для меня и жены и мула для себя, а также нанял группу мальчишек и взрослых мужчин в качестве погонщиков. Все это было, впрочем, совершенно излишне, да к тому же и накладно, ибо расстояние, которое нам предстояло преодолеть, было столь незначительным, что вполне можно было обойтись без верблюдов. Но мы не пожалели о том, что пополнили свой опыт представлением

об этом довольно неудобном средстве передвижения по пустыне.

Пирамиды Гизы располагаются на высоком скалистом плато по соседству с самым северным из царских и аристократических некрополей, построенных в окрестностях ныне не существующего города Мемфиса, который находился на том же берегу Нила, что и Гиза, но только чуть южнее, и процветал в период между 3400 и 2000 годами до Рождества Христова. Крупнейшая из пирамид, так называемая Большая пирамида, стоит ближе всех остальных к современной дороге. Она была возведена фараоном Хеопсом, или Хуфу, около 2800 года до нашей эры; высота ее составляет более 450 футов. К юго-западу от нее в один ряд следуют пирамиды Хефрена и Микерина. Первая из них была сооружена спустя поколение после пирамиды Хеопса и имеет чуть меньшую высоту, хотя и кажется более высокой оттого, что расположена на возвышенном месте. Пирамида Микерина, построенная около 2700 года, значительно уступает по высоте двум первым. К востоку от второй пирамиды, на самом краю плато, возвышается чудовищный Сфинкс — немой, загадочный и умудренный знаниями тысячелетий. Он стоит здесь с незапамятных времен, и никому неизвестно, каков был его первоначальный облик, потому что в правление фараона Хефрена черты лица его были изменены с целью придать им сходство с ликом царственного реставратора.

По соседству с тремя великими пирамидами находится также множество второстепенных пирамид; некоторые неплохо сохранились, от других же остались жалкие развалины. Кроме того, все плато испещрено могилами египетских вельмож. Гробницы эти изначально представляли собой глубокие погребальные ямы, или камеры, с установленными над ними мастабами — каменными сооружениями в форме скамей. Надгробия такого рода были обнаружены в других мемфисских некрополях; образцом их может считаться гробница Пернеба, выставленная в нью-йоркском музее Метрополитен. В Гизе, однако, все видимые следы мастаб оказались либо уничтоженными временем, либо расхищенными любителями пожи-

вы, и только вырубленные в скалистом грунте камеры, одни из которых по-прежнему занесены песком, другие расчищены археологами, свидетельствуют о том, что здесь некогда находились захоронения. С каждой могилой соединялась своего рода часовня, где жрецы и родня предлагали пищу и молитву витающему над усопшим ка, или его жизненному началу. Часовни малых гробниц размещались в уже упомянутых надстройках-мастабах; похоронные же часовни пирамид, где покоился царственный прах фараонов, представляли собой как бы отдельные храмы, каждый из которых располагался к востоку от своей пирамиды и соединялся дорожкой с довольно помпезным парадным входом, находившимся на краю скалистого плато.

Вход в храм второй пирамиды, почти погребенный под песчаными заносами, зияет бездонной глубиной к юго-востоку от Сфинкса. Традиция упорно именует эти руины «Храмом Сфинкса», что, может быть, справедливо, если, конечно, лицо Сфинкса на самом деле представляет собой подлинное изображение Хефрена, строителя второй пирамиды. Самые чудовищные слухи ходят о том, как выглядел Сфинкс до Хефрена, — но каковы бы ни были изначальные черты его лица, монарх заменил их своими собственными, чтобы люди могли глядеть на колосса без содрогания.

Именно в огромном входном храме неподалеку от Сфинкса была найдена диоритовая статуя Хефрена в натуральную величину. Ныне она хранится в Египетском музее; я сам стоял перед ней, охваченный благоговейным трепетом. Не знаю, раскопано ли это сооружение к настоящему дню, но тогда, в 1910 году, большая его часть оставалась под землей, и вход туда на ночь надежно запирался. Раскопками занимались немцы, так что весьма вероятно, что довести дело до конца им помешала война или что-нибудь еще. Учитывая то, что мне самому довелось пережить, а также кое-какие слухи, имеющие хождение среди бедуинов и почти неизвестные и, уж во всяком случае, не принимаемые на веру в Каире, я бы много отдал за то, чтобы узнать, чем кончилась история с одним колодцем в поперечной галерее, где в свое время были обна-

ружены статуи фараона в довольно странном соседстве со статуями бабуинов.

Дорога, по которой мы следовали на верблюдах в то утро, описывала крутую дугу, минуя деревянное здание полицейского участка, почту, аптеку и магазины, а затем сворачивала на юг и далее на восток, делая, таким образом, почти полный круг и одновременно поднимаясь на плато, так что мы даже не заметили, как очутились лицом к лицу с пустыней с подветренной стороны от Большой пирамиды. Словно неким циклопом было воздвигнуто грандиозное сооружение, восточную грань которого мы теперь огибали, глядя на простирающуюся далеко внизу долину с малыми пирамидами. Еще дальше, к востоку от этих пирамид, сверкал древний Нил, а к западу от них мерцала вечная пустыня. Совсем рядом с нами устрашающе высились три главные пирамиды. У самой крупной из них полностью отсутствовала наружная облицовка, за счет чего были видны громадные глыбы, составляющие ее основу. У двух других тут и там виднелись ладно пригнанные куски облицовки, благодаря которой поверхность пирамид в свое время выглядела ровной и гладкой.

Мы спустились к Сфинксу и застыли перед ним, не в силах произнести ни слова, как бы зачарованные его тяжелым невидящим взглядом. На его могучей каменной груди различался символ Ра-Харахти, за изображение которого ошибочно принимали Сфинкса в эпоху поздних династий, и, хотя каменная плита между огромными лапами чудовища была покрыта песком, мы вспомнили слова, начертанные на ней Тутмосом IV, и о видении, что посетило его, когда он был еще царевичем. С этого момента улыбка Сфинкса стала вселять в нас безотчетный ужас, и в памяти нашей всплыли легенды о подземных переходах под исполином, уходящих глубоко вниз, в такие бездны, о которых даже страшно подумать, — бездны, связанные с тайнами более древними, чем тот Египет, который раскапывают современные археологи, и имеющие зловещее отношение к наличию в древнем пантеоне долины Нила безобразных богов с головами животных. Именно в этот миг я впервые задался праздным вопросом, все кош-

марное значение которого прояснилось лишь много часов спустя.

Тем временем к нам стали присоединяться другие туристы, и мы проследовали к погребенному под заносами песка Храму Сфинкса. Он находится в пятидесяти ярдах к юго-востоку от гиганта и уже упоминался мною как парадный вход в коридор, ведущий в погребальный храм Второй пирамиды, расположенный на плато. Большая часть храма все еще оставалась не раскопанной, и, хотя нас провели по современному коридору в алебастровую галерею, а оттуда в вестибюль с колоннами, в меня закралось подозрение, что Абдул и местный служитель-немец показали нам далеко не все, что заслуживало внимания.

Затем мы совершили традиционную прогулку по плато с пирамидами, в ходе которой осмотрели Вторую пирамиду с характерными руинами погребального храма к востоку от нее, Третью пирамиду с ее миниатюрными южными спутницами и разрушенным восточным храмом, каменные надгробия и могилы представителей четвертой и пятой династий и, наконец, знаменитую «гробницу Кемпбелла», зияющую черным провалом в пятьдесят три фута глубиной с находящимся на дне саркофагом. Один из наших погонщиков очистил последний от песка, спустившись в головокружительную бездну на веревке.

Внезапно до нас донеслись крики со стороны Большой пирамиды, где группу туристов буквально осаждала толпа бедуинов, наперебой предлагавших продемонстрировать быструю пробежку на вершину пирамиды и обратно. Рекордное время для такого подъема и спуска, как говорят, составляет семь минут, однако некоторые крепкие мужчины и молодые парни уверяли нас, что смогут уложиться в пять, если только им будет предложен, так сказать, необходимый стимул в виде щедрого бакшиша.

Никакого стимула они не получили, зато мы сами в сопровождении Абдула поднялись на вершину пирамиды, откуда открывался непревзойденно величественный вид не только на Каир, который виднелся на фоне золотисто-лиловых хол-

мов, но и на все пирамиды в окрестностях Мемфиса — от Абу-Роаша на севере до Дашура на юге. Саккарская ступенчатая пирамида, представляющая собой переходную форму между невысокой мастабой и собственно пирамидой, заманчиво четко вырисовывалась вдалеке среди песков. Именно рядом с этим переходным сооружением была в свое время обнаружена знаменитая гробница Пернеба, то есть более чем в четырехстах милях к северу от долины Фив, где покоится Тутанхамон. И в который уже раз я словно онемел, объятый неизъяснимым трепетом. Глубокая древность, подступающая со всех сторон, и тайны, которые, казалось, хранил в себе каждый из этих памятников старины, наполнили меня таким благоговением, какого я прежде не испытывал.

Измученные восхождением и докучливыми бедуинами, поведение которых выходило за рамки всех приличий, мы почли за благо избавиться себя от экскурсий внутрь пирамид, куда вели очень тесные и душные проходы (на наших глазах несколько неугомонных туристов готовились к посещению самого крупного из памятников — пирамиды Хеопса). Оплатив с лихвой и отпустив свой местный эскорт, мы пустились в обратный путь, припекаемые послеполуденным солнцем и опекаемые верным Абдулом Раисом. Лишь на половине пути мы пожалели о своей нелюбознательности. Ибо о нижних коридорах пирамид — коридорах, не упоминаемых в путеводителях, — ходили самые фантастические слухи; было также известно, что археологи, которые открыли эти коридоры и приступили к их обследованию, тут же заблокировали входы в них и с той поры держат их местонахождение в тайне.

Разумеется, все эти сплетни были по большей части безосновательны, по крайней мере на первый взгляд; и все же то упорство, с каким проводился запрет на посещение пирамид по ночам, а самых нижних ходов и склепа Большой пирамиды — независимо от времени суток, наводило на некоторые размышления. Впрочем, что касается второго запрета, то причиной ему, вероятно, служило опасение, что психологическое воздействие на посетителя может оказаться слишком сильным: согнувшийся в три погибели бедняга будет чувствовать

себя как бы погребенным под гигантской каменной грудой, где единственной связью с внешним миром является узкий туннель, по которому можно передвигаться лишь ползком и вход в который в любой момент может быть завален в результате случайности или злого умысла. Одним словом, все это звучало столь загадочно и интригующе, что мы решили при первой же возможности нанести пирамидам повторный визит. Мне эта возможность представилась гораздо ранее, чем я мог ожидать.

В тот же вечер, когда наши спутники, несколько утомленные напряженной программой дня, устроились отдыхать, мы с Абдулом пошли прогуляться по живописным арабским кварталам. Я уже любовался ими при дневном свете, и мне не терпелось узнать, как выглядят эти улицы и базары в сумерках, когда чередование сочных густых теней с мягкими закатными лучами должно лишь подчеркивать их своеобразную прелесть. Толпы прохожих редели, но в городе было по-прежнему многолюдно. Проходя по рынку медников Су-кен-Наххасин, мы наткнулись на компанию веселящихся бедуинов, которыми, по всем признакам, верховодил молодой парень с грубыми чертами лица и в лихо заломленной набекрень феске. Он еще издали нас приметил, и, судя по тому далеко не дружелюбному взгляду, которым он одарил Абдула, мой верный проводник был здесь хорошо известен и, вероятно, слыл за человека насмешливого и заносчивого.

Возможно, юнца возмущала та странная копия полуулыбки Сфинкса, которую я сам столь часто замечал на лице Абдула и которая вызывала во мне любопытство пополам с раздражением; а может быть, ему был неприятен глухой, как бы замогильный тембр голоса моего проводника. Как бы то ни было, обмен ругательствами и поношениями с упоминанием имен родных и близких состоялся незамедлительно и носил весьма оживленный характер. Этим, однако, дело не кончилось. Али Зиз, как звал Абдул своего обидчика, когда не употреблял более энергичных прозвищ, принялся дергать моего спутника за халат, тот не заставил себя ждать с ответным действием, и вот уже оба неприятеля самозабвенно тузили друг

друга. Еще немного, и внешний вид соперников был бы изрядно попорчен, тем более что они уже потеряли свои головные уборы, составлявшие предмет священной гордости обоих, но тут вмешался я и силой разнял драчунов.

Поначалу обе стороны не слишком благосклонно отнеслись к моим действиям, однако в конце концов пусть не мир, но перемирие состоялось. Противники в угрюмом молчании стали приводить в порядок свою одежду. Немного поостыв, каждый из них стал держаться с необыкновенным достоинством, и эта резкая перемена выглядела довольно комично. Затем неприятели заключили своего рода договор чести, являющийся в Каире, как я вскоре узнал, традицией, освященной веками. В соответствии с договором спор предстояло уладить посредством ночного поединка на кулаках на вершине Большой пирамиды после ухода последнего любителя поглазеть на пирамиды при лунном свете. Каждый из дуэлянтов обязывался привести с собой секундантов. Поединок должен был начаться в полночь и состоять из нескольких раундов, проводимых в как можно более цивилизованной манере.

Много было в упомянутых условиях такого, что возбудило во мне живейший интерес. Дуэль уже сама по себе обещала быть не просто ярким, но и уникальным зрелищем, а когда я представил себе сцену борьбы на этой древней громаде, что высится над допотопным плато Гизы при бледном свете луны, воображение мое распалилось еще сильнее. Абдул охотно согласился принять меня в число своих секундантов, и весь оставшийся вечер мы рыскали с ним по всевозможным притонам в самых злочных районах города — преимущественно к северо-востоку от площади Эзбекие, — где он вылавливал самых махровых головорезов и сколачивал из них отборную шайку, которой суждено было стать, так сказать, фоновым батальоном.

Уже минуло девять, когда наша компания верхом на ишаках, прозванных в честь царственных либо часто поминаемых туристами особ вроде Рамзеса, Марка Твена, Дж. П. Моргана и Миннеаги, неторопливо двинулась через лабиринты

улиц, минуя то восточные, то европейские кварталы. По мосту с бронзовыми львами мы пересекли мутные воды Нила, утыканного лесом мачт, и легким галопом направились по обсаженной деревьями дороге, ведущей в Гизу. Путь наш длился немногим более двух часов. Подъезжая к месту, мы встретили остатки туристов, возвращавшихся в Каир, и помахали рукой последнему трамваю, следовавшему туда же. Наконец мы остались лицом к лицу с ночью, древностью и луной.

А потом перед нами выросли пугающие громады пирамид. Казалось, они таили в себе некую допотопную угрозу, чего я не заметил прежде, при дневном свете. Теперь же даже наименьшая из них заключала в себе как бы намек на что-то потустороннее. Впрочем, разве не в этой именно пирамиде во времена шестой династии была погребена царица Нитокрис — коварная Нитокрис, пригласившая однажды всех своих врагов на пир в храме под Нилом и утопившая гостей, приказав отворить шлюзы? Я вспомнил, что о Нитокрис среди арабов ходят странные слухи и что при определенных фазах луны они сторонятся Третьей пирамиды. Да и не эту ли царицу имел в виду поэт Томас Мур, когда слагал следующие строки (их любят повторять мемфисские лодочники):

Живет в подводных тайниках,
Вся в золоте и жемчугах,
Та нимфа, что слывет в веках
Хозяйкой Пирамиды.

Как мы ни спешили, Али Зиз и его клеветы оказались расторопнее. Мы еще издали заметили их ишаков: фигуры животных четко вырисовывались на фоне пустынного плато. Вместо того чтобы следовать прямой дорогой к отелю «Менахаус», где нас могла увидеть и задержать полусонная и обычно безобидная полиция, мы свернули к Кафрел-Хараму, убогой туземной деревушке, расположенной рядом со Сфинксом и послужившей местом стоянки для ишаков Али Зиза. Грязные бедуины разместили своих верблюдов и ишаков в каменных гробницах придворных Хефрена, а затем мы вскарабка-

лись по скалистому склону на плато и песками прошли к Большой пирамиде. Арабы шумным роем обсыпали ее со всех сторон и принялись взбираться по стертым каменным ступеням. Абдул Раис предложил мне свою помощь, но я в ней не нуждался.

Почти каждому, кто путешествовал по Египту, известно, что исконная вершина пирамиды Хеопса источена веками, в результате чего теперь ее венчает относительно плоская площадка в двенадцать ярдов по периметру. На этом-то крохотном пятнышке мы и расположились, образовав как бы живой ринг, и уже через несколько секунд бледная луна пустыни сардонически скалилась на поединок, который, если не брать в расчет характер выкриков со стороны болельщиков, вполне мог бы происходить в любом американском спортивном клубе низшей лиги. Здесь так же, как и у нас, не ощущалось нехватки в запрещенных приемах, и моему не вполне дилетантскому глазу практически каждый выпад, удар и финт говорил о том, что противники не отличаются разборчивостью в методах. Все это длилось очень недолго, и, несмотря на свои сомнения относительно использовавшихся приемов, я ощутил нечто вроде гордости, когда Абдул Раис был объявлен победителем.

Примирение свершилось с необыкновенной быстротой, и среди последовавших за ним объятий, возлияний и песнопений я готов был усомниться в том, что ссора имела место на самом деле. Как ни странно, но мне также показалось, что я в большей степени приковываю к себе внимание, нежели бывшие антагонисты. Пользуясь своими скромными познаниями в арабском, я заключил из их слов, что они обсуждают мои профессиональные выступления, где я демонстрирую свое умение освобождаться от самых различных пут и выходить из импровизированных темниц. Манера, в которой велось обсуждение, отличалась не только изумительной осведомленностью обо всех моих подвигах, но и явным недоверием по отношению к ним. Только теперь я постепенно стал осознавать, что древняя египетская магия не исчезла бесследно, но оставила после себя обрывки тайного оккультного знания

и жреческой культовой практики, каковые сохранились среди феллахов в форме суеверий столь прочных, что ловкость любого заезжего хахви, или фокусника, вызывает у них справедливую обиду и подвергается сомнению. Мне снова бросилось в глаза разительное сходство моего проводника Абдула с древнеегипетским жрецом, или фараоном, или даже улыбающимся Сфинксом, я вновь услышал его глухой, утробный голос — и содрогнулся.

Именно в этот момент, как бы в подтверждение моих мыслей, произошло то, что заставило меня проклинать ту доверчивость, с которой я принимал события последних часов за чистую монету, между тем как они представляли собой чистой воды инсценировку, притом весьма грубую. Без предупреждения (и я думаю, что по сигналу, незаметно поданному Абдулом) бедуины бросились на меня всей толпой, и вскоре я был связан по рукам и ногам, да так крепко, как меня не связывали ни разу в жизни — ни на сцене, ни вне ее.

Я сопротивлялся, сколько мог, но очень скоро убедился, что в одиночку мне не ускользнуть от двадцати с лишним дюжих дикарей. Мне связали руки за спиной, согнули до предела ноги в коленях и намертво скрепили между собой запястья и лодыжки. Удушающий кляп во рту и повязка на глазах дополнили картину. Затем арабы взвалили меня на плечи и стали спускаться с пирамиды. Меня подбрасывало при каждом шаге, а предатель Абдул без устали говорил мне колкости. Он издевался и глумился от души; он заверял меня своим утробным голосом, что очень скоро мои «магические силы» будут подвергнуты величайшему испытанию, которое живо собьет с меня спесь, приобретенную в ходе выступлений в Америке и Европе. Египет, напомнил он мне, стар, как мир, и таит в себе множество загадочных первозданных сил, непостижимых для наших современных знатоков, все попытки которых поймать меня в ловушку столь дружно провалились.

Как далеко и в каком направлении меня волокли, я не знаю — положение мое исключало всякую возможность точной оценки. Определенно могу сказать одно: расстояние не

могло быть значительным, поскольку те, кто нес меня, ни разу не ускорили шага, и в то же время я находился в подвешенном состоянии на удивление недолго. Вот именно ошеломляющая краткость пройденного пути и заставляет меня вздрагивать всякий раз, как я подумаю о Гизе и этом плато; сама мысль о близости к каждодневным туристическим маршрутам того кошмара, что существовал там в описываемое время и, должно быть, существует по сей день, повергает меня в трепет.

Та чудовищная аномалия, о которой я веду речь, обнаружилась не сразу. Опустив меня на песок, мошенники обвязали мою грудь веревкой, протащили меня несколько футов и, остановившись возле ямы с обрывистыми краями, погрузили меня в нее самым невежливым образом. Словно целую вечность, а то и не одну, я опускался, ударяясь о неровные стены узкого колодца, вырубленного в скале. Поначалу я думал, что это одна из тех погребальных шахт, которыми изобилует плато, но вскоре чудовищная, почти неправдоподобная глубина ее лишила меня всех оснований для каких бы то ни было предположений.

С каждой секундой весь ужас переживаемого мною становился все острее. Что за абсурд — так бесконечно долго опускаться в дыру, проделанную в сплошной вертикальной скале, и до сих пор не достигнуть центра земли! И разве могла веревка, изготовленная человеческими руками, оказаться настолько длинной, чтобы спустить меня в эти адские бездонные глубины? Проще было предположить, что мои чувства вводят меня в заблуждение. Я и по сей день не уверен в обратном, потому что знаю, сколь обманчивым становится чувство времени, когда ты перемещаешься против своей воли или когда твое тело находится в неудобном согнутом положении. Вполне я уверен лишь в одном: до поры до времени я сохранял логическую связность мыслей и не усугублял и без того ужасную в своей реальности картину продуктами собственного воображения. Самое большее, что могло иметь место, — это своего рода мозговая иллюзия, которой бесконечно далеко до настоящей галлюцинации.

Вышеописанное, однако, не имеет отношения к моему первому обмороку. Суровость испытания шла по возрастающей, и первым звеном в цепи всех последующих ужасов явилось весьма заметное прибавление в скорости моего спуска. Те, кто стоял наверху и травил этот нескончаемо длинный трос, похоже, удесятерили свои усилия, и теперь я стремительно мчался вниз, обдираясь о грубые и как будто даже сужавшиеся стены колодца. Моя одежда превратилась в лохмотья, все тело сочилось кровью — ощущение от этого по неприятности своей превосходило самую мучительную и острую боль. Не меньшим испытаниям подвергался и мой нюх: поначалу едва уловимый, но постепенно все усиливавшийся запах затхлости и сырости не походил на все знакомые мне запахи; он заключал в себе элемент пряности и даже благовония, что делало его каким-то противоестественным.

Затем произошел психический катаклизм. Он был чудовищным, он был ужасным — не поддающимся никакому членораздельному описанию, ибо охватил всю душу целиком, не упустив ни единой ее части, которая могла бы контролировать происходящее. Это был экстаз кошмара и апофеоз дьявольщины. Внезапность перемены можно назвать апокалипсической и демонической: еще только мгновение назад я стремительно низвергался в узкий, ощерившийся миллионом клыков колодец нестерпимой пытки, но уже в следующий миг я мчался, словно на крыльях нетопыря, сквозь бездны преисподней; взмывая и пикируя, преодолевал бессчетные мили безграничного душного пространства; то воспарял в головокружительные высоты ледяного эфира, то нырял так, что захватывало дух, в засасывающие глубины всепожирающего смердящего вакуума...

Благодарение Богу, наступившее забытие вызволило меня из когтей сознания, терзавших мою душу подобно гарпиям и едва не доведших меня до безумия! Эта передышка, как бы ни была она коротка, вернула мне силы и ясность ума, достаточные для того, чтобы вынести еще более мерзкие порождения вселенского безумия, что притаились на моем пути.

II

Постепенно я приходил в чувство после жуткого полета через стигийские бездны. Процесс оказался чрезвычайно мучительным и был окрашен фантастическими грезами, в которых своеобразно отразилось то обстоятельство, что я был связан. Содержание этих грез представлялось мне вполне отчетливо лишь до тех пор, пока я их испытывал; потом оно как-то сразу потускнело в моей памяти, и последующие страшные события, реальные или только воображаемые, оставили от него одну голую канву. Мне чудилось, что меня сжимает огромная желтая лапа, волосатая пятипалая когтистая лапа, которая воздвиглась из недр земли, чтобы захватить и раздавить меня. И тогда я понял, что эта лапа и есть Египет. В забытьи я оглянулся на происшествия последних недель и увидел, как меня постепенно, шаг за шагом, коварно и исподволь обольщал и завлекал некий злой дух древнего нильского чародейства, что был в Египте задолго до появления первого человека и пребудет в нем, когда исчезнет последний.

Я увидел весь ужас и проклятье египетской древности с ее неизменными страшными приметами — усыпальницами и храмами мертвых. Я наблюдал фантазмагорические процессии жрецов с головами быков, соколов, ибисов и кошек; призрачные процессии, беспрерывно шествующие по подземным переходам и лабиринтам, обрамленным гигантскими пропилеями, рядом с которыми человек выглядит как жалкая кошка, и приносящие диковинные жертвы неведомым богам. Каменные колоссы шагали в темноте вечной ночи, гоня стада скалящихся человекофинксов к берегам застывших в неподвижности безбрежных смоляных рек. И за всем этим пряталась неистовая первобытная ярость некромантии, черная и бесформенная; она жадно ловила меня во мраке, чтобы разделаться с духом, посмевающим ее передразнивать.

В моем дремлющем сознании разыгралась зловещая драма ненависти и преследования. Я видел, как черная душа Египта выбирает меня из многих и вкрадчивым шепотом призывает к себе, очаровывая наружным блеском и обаянием сара-

цинства и при этом настойчиво толкая в древний ужас и безумие фараонства, в катакомбы своего мертвого и бездонного сердца.

Постепенно видения стали принимать человеческие облики, и мой проводник Абдул Раис предстал предо мной в царском облачении с презрительной усмешкой Сфинкса на устах. И тогда я увидел, что у него те же черты лица, что и у Хефрена Великого, воздвигшего Вторую пирамиду, изменившего внешность Сфинкса так, чтобы тот походил на него самого, и построившего гигантский входной храм с его бесчисленными коридорами, тайну которых не ведают отрывшие их археологи — о ней знают лишь песок да немая скала. Я увидел длинную, узкую, негнущуюся руку Хефрена, точно такую, какая была у статуи в Египетском музее — статуи, найденной в жутком входном храме. Теперь я поразился тому, что не вскричал от ужаса в тот момент, когда заметил, что точно такие же руки были у Абдула Раиса... Проклятая рука! Она была отвратительно ледяной и хотела раздавить меня... О, этот холод и теснота саркофага... стужа и тяжесть Египта незапамятных времен!.. Рука эта была самим Египтом, сумеречным и замогильным... Эта желтая лапа... Недаром о Хефрене говорят такие вещи...

Тут я начал приходить в себя; во всяком случае, теперь я уже не всецело находился во власти грез. Я вспомнил и поединок на вершине пирамиды, и нападение вероломных бедуинов, и жуткий спуск на веревке в бездну колодца, пробурленного в скале, и бешеные взлеты и падения в ледяной пустыне, источающей одновременно гниlostное зловоние и благоухание. Я понял, что лежу на сыром каменном полу и что веревки впиваются в меня с прежней силой. Было очень холодно, и мне чудилось, будто меня овеивает некое тлетворное дуновение. Раны и ушибы, причиненные мне неровными стенами каменной шахты, нестерпимо ныли и жгли, болезненность их усугублялась какой-то особенной едкостью упомянутого сквозняка, и поэтому одной попытки пошевелиться хватило, чтобы все мое тело пронзило мучительной пульсирующей болью.

Ворочаясь, я ощутил натяжение веревки и сделал вывод, что верхний ее конец по-прежнему выходит на поверхность. Находится ли он в руках арабов или нет, я не знал; не ведал я и того, на какой глубине нахожусь. Я знал наверняка лишь одно: что меня окружает полный или почти беспросветный мрак, ибо ни единый проблеск света не проникал сквозь мою повязку. С другой стороны, я не настолько доверял своим чувствам, чтобы ощущение большой продолжительности спуска, испытанное мною, принимать за свидетельство непомерной глубины.

Исходя из того, что я, судя по всему, находился в довольно просторном помещении, имеющем выход на поверхность через отверстие, расположенное прямо над моей головой, можно было предположить, что темницей для меня послужил погребенный глубоко под землей храм Хефрена, тот, что называют Храмом Сфинкса; возможно, я попал в один из тех коридоров, которые скрыли от нас наши гиды в ходе утренней экскурсии и откуда я смог бы легко выбраться, если бы мне удалось найти дорогу к запертому входу в коридор. В любом случае мне предстояло блуждать по лабиринту, но вряд ли настоящая ситуация была труднее тех, в которые я уже не раз попадал.

Первым делом, однако, следовало избавиться от веревки, кляпа и повязки на глазах. Я полагал, что операция эта не представит для меня большой сложности, поскольку за время моей долгой и разнообразной карьеры в качестве артиста-эскаписта гораздо более изощренные эксперты, нежели эти арабы, испробовали на мне весь мировой ассортимент уз, пут и оков и ни разу не преуспели в состязании с моими методами.

Потом я вдруг сообразил, что, когда я начну освобождаться от веревки, она придет в движение, и арабы, если они, конечно, держат в руках ее конец, поймут, что я пытаюсь бежать, и встанут у входа, чтобы встретить и атаковать меня там. Правда, соображение это имело вес лишь в том случае, если я действительно находился в хефреновском Храме Сфинкса. Отверстие в потолке, где бы оно ни скрывалось,

вряд ли могло находиться на слишком большом расстоянии от современного входа рядом со Сфинксом, если, конечно, речь вообще могла идти о каких-либо значительных дистанциях, ибо площадь, известная посетителям пирамид, отнюдь не велика. Во время своего дневного паломничества я не заметил ничего похожего на это отверстие, но вещи такого рода очень легко проглядеть среди песчаных заносов.

Скорчившись на каменном полу со связанными руками и ногами и предаваясь вышеописанным размышлениям, я почти забыл обо всех ужасах своего головокружительного спуска в пропасть, который еще совсем недавно довел меня до беспамятства. Мысли мои были заняты лишь одним: как перехитрить арабов. И тогда я решил немедленно приступить к делу и освободиться от пут как можно скорее, при этом не натягивая веревки, чтобы не дать арабам даже намека на то, что я пытаюсь сбежать.

Принять решение, однако, оказалось намного легче, чем осуществить его. Несколько пробных движений убедили меня в том, что без изрядной возни многого не добьешься, и, когда после одного особенно энергичного усилия я почувствовал, как рядом со мной и на меня падает, сворачиваясь кольцами, веревка, я нисколько не удивился. «А чего ты хотел? — сказал я себе. — Бедуины, конечно же, заметили твои движения и отпустили свой конец веревки. Теперь они, вне всякого сомнения, поспешат к подлинному входу в храм и будут ждать тебя там в засаде с самыми кровожадными намерениями».

Перспектива рисовалась неутешительная, но в жизни своей я сталкивался с худшим — и не дрогнул, так что не должен был дрогнуть и теперь. В первую очередь надо было развязаться, а потом уже положиться на свое искусство и постараться выбраться из храма целым и невредимым. Сегодня меня даже смешит та безоговорочность, с которой я убедил себя в том, что нахожусь в древнем храме Хефрена на довольно небольшой глубине.

Убежденность моя рассыпалась в прах, и все первобытные страхи, связанные со сверхъестественными безднами и демо-

ническими тайнами, восстали во мне с удвоенной силой, когда я вдруг обнаружил, что в то самое время, пока я хладнокровно обдумываю свои намерения, одно чудовищное обстоятельство, весь ужас и значение которого я прежде не осознавал, прирастает и в том и в другом отношении. Я уже говорил, что веревка, падая, свивалась в кольца, которые складывались рядом со мной и на мне. Теперь же я вдруг понял, что она продолжает падать и свиваться, меж тем как ни одна нормальная веревка не могла бы оказаться настолько длинной. Более того, скорость падения ее возросла, и она обрушивалась на меня лавиной. На полу вырастала гора пеньки, погребая меня под своими витками, число которых беспрерывно множилось. Очень скоро меня завалило с головой и мне стало трудно дышать, в то время как кольца продолжали накапливаться и отбирать у меня последний воздух.

Мысли мои снова смешались. Тщетно пытался я отвести от себя угрозу, страшную и неминуемую. Ибо весь ужас моего положения заключался даже не в тех нечеловеческих муках, которые я испытывал, и не в том, что во мне по капле иссякали дух и жизненная сила, но в осознании того, что стоит за этой невообразимой длиной падающей на меня веревки и какие безмерные неведомые пространства в глубинах недр земных, должно быть, окружают меня в этот момент. Все это означало, что бесконечный спуск и захватывающий дух полет через сатанинские бездны были реальностью и теперь я лежу без всякой надежды на спасение в каком-то безымянном запредельном мире неподалеку от центра земли. Не в силах человеческих было вынести эту ужасную, горькую правду, внезапно обрушившуюся на меня, и я снова впал в спасительное беспамятство.

Говоря о беспамятстве, я вовсе не разумею отсутствия видений. Напротив, моя отрешенность от внешнего, реального мира сопровождалась видениями самыми чудовищными и неопикуемыми. Боже!.. И зачем только я прочел так много книг по египтологии перед тем, как посетить эту землю, родину всемирного мрака и ужаса?! Этот второй обморок заново озарил мой дремлющий разум страшным постижением

самой сути этой страны и ее сокровенных тайн, и по какой-то проклятой прихоти рока грезы мои обратились к уходящим в глубь веков представлениям о мертвых и о том, как они иногда восстают и живут, с душой и во плоти, во чреве загадочных гробниц, более напоминающих дома, нежели могилы. В памяти моей всплыло, приняв причудливый образ, которого я, к счастью, уже не помню, оригинальное и хитроумное устройство египетской погребальной камеры; припомнил я также нелепые и дикие суеверия, породившие это устройство.

Все мысли древних египтян вращались около смерти и мертвецов. Они понимали воскрешение в буквальном смысле — как воскрешение тела. Именно это побуждало их с особой тщательностью мумифицировать тело и хранить все жизненно важные органы в прикрытых сосудах рядом с усопшим. Между тем помимо тела они верили в существование еще двух элементов: души, которая после того, как ее оценивал и одобрял Осирис, обитала в стране блаженных, и темного зловещего ка, или жизненного начала, что, сея страх, странствует по верхнему и нижнему мирам, нисходя временами в погребальную часовню к сохраняемому телу, дабы отведать жертвенной пищи, приносимой туда жрецами и набожной челядью, а иногда — чтобы войти в тело или в его деревянного двойника, которого всегда кладут рядом, и, покинув пределы гробницы, блуждать по окрестностям, верша свои темные дела.

Тысячелетиями покоились тела в помпезных саркофагах, уставив вверх свои безжизненные очи (если их не посещало ка), в ожидании того дня, когда Осирис возродит в них ка и душу и выведет легионы окоченевших мертвецов из глухих обителей сна на свет. Каким триумфом могло бы обернуться это воскрешение! Но, увы, не все души получают благословение, не все могилы останутся неоскверненными, и потому неизбежно следует ждать нелепых ошибок и чудовищных извращений. Недаром и по сей день среди арабов ходят слухи о запретных сборищах и богомерзких культах, вершимых в самых затаенных уголках нижнего мира, куда могут без стра-

ха заходить лишь крылатые невидимые ка да бездушные мумии.

Пожалуй, самые жуткие предания, заставляющие холодеть кровь в жилах, — это те, что повествуют о неких прямо-таки бредовых произведениях деградировавшего жреческого искусства. Я имею в виду *составные мумии*, представляющие собой противоестественные комбинации человеческих туловищ и членов с головами животных и призванные имитировать древнейших богов. Во все периоды египетской истории существовала традиция мумифицирования священных животных — быков, кошек, ибисов, крокодилов и так далее, с той целью, чтобы в назначенный момент они могли вернуться в мир. Но лишь в период упадка древней египетской культуры возникла тенденция к составлению мумий из человека и животного — тогда, когда люди перестали понимать истинные права и прерогативы ка и души.

О том, куда подевались те *составные мумии*, легенды умалчивают; определенно можно сказать лишь то, что до сих пор их не находил ни один египтолог. Молва арабов на этот счет слишком походит на досужие домыслы, чтобы относиться к ней всерьез. Ведь они в своих утверждениях доходят до того, что будто бы старый Хефрен — тот, что имеет отношение к Сфинксу, Второй пирамиде и зияющему входу в храм, — до сих пор живет глубоко под землей со своей супругой, царицей злых духов-гулей Нитокрис, и повелевает мумиями, не похожими ни на людей, ни на зверей.

Все это стало предметом моих грез: Хефрен, его царственная половина, причудливое сонмище гибридных мертвецов, — и, правду сказать, я очень рад, что все сколько-нибудь отчетливые детали этих грез выветрились из моей памяти. Самое кошмарное из моих видений имело непосредственное отношение к праздному вопросу, которым я задавался накануне, когда глядел на высеченное в скале лицо Сфинкса, эту вечную загадку пустыни; глядел и спрашивал себя, в какие неведомые глубины ведут потайные ходы из храма, расположенного близ Сфинкса. Вопрос этот, казавшийся мне в тот момент таким невинным и пустяковым, приобрел в моих снах характер на-

вязчивой идеи: так какое же исполинское, противоестественное и отвратительное чудовище изначально изображали черты лица Сфинкса?

Мое второе пробуждение, если его можно назвать пробуждением, сохранилось в памяти как мгновение беспредельного ужаса, подобного которому — и еще тому, что было пережито мною после, — я не испытывал за всю свою жизнь, а жизнь моя была насыщена перипетиями сверх всякой человеческой меры. Напомню, что я лишился чувств в тот момент, когда на меня каскадом обрушивалась веревка, что свидетельствовало о непомерной глубине, на которой я находился. Так вот, придя в сознание, я не ощутил на себе никакой тяжести и, перевернувшись на спину, убедился в том, что, пока я лежал в обмороке — связанный, с кляпом во рту и повязкой на глазах, — *какая-то неведомая сила полностью удалила навалившуюся на меня и почти задушившую меня гору пеньки*. Правда, осознание всей чудовищности того, что произошло, пришло ко мне не сразу, но оно довело бы меня до очередного обморока, если бы к этому моменту я не достиг той степени духовного изнеможения, что никакое новое потрясение уже не могло его усугубить. Итак, я был один на один... *с чем?*

Впрочем, я не успел хоть сколько-нибудь об этом поразмыслить, чем, вероятно, только бы измучил себя перед новой попыткой освободиться от пут, как о себе заявило еще одно обстоятельство, а именно: страшная боль, какой я не испытывал ранее, терзала мои руки и ноги, и все тело мое, казалось, было покрыто толстой коркой засохшей крови, что никак не могло явиться результатом моих прежних порезов и ссадин. Грудь мою также саднило от ран — как будто ее истреблял какой-то гигантский кровожадный ибис. Что бы ни представляла собой та сила, что убрала веревку, она явно была настроена ко мне враждебно и, вероятно, нанесла бы мне и более серьезные повреждения, если бы что-то ее не остановило. Можно было ожидать, что после всего этого я окончательно паду духом, однако все вышло как раз наоборот, и, вместо того чтобы впасть в бездну отчаяния, я ощутил себя готовым к борьбе. Теперь я знал, что преследующие меня злые силы

имеют физическую природу, с которыми бесстрашный человек может сразиться на равных.

Ободренный вышеприведенным соображением и используя весь опыт, накопленный мною в течение жизни, я принялся распутывать веревку, как часто делал это в ослепительном свете огней под бурные аплодисменты толпы. Привычные подробности процесса освобождения совершенно завладели моим вниманием, и теперь, когда веревка, которой я еще недавно был спеленат, как младенец, постепенно сходила с меня, я вновь почти уверовал в то, что все пережитое мною представляло собой обыкновенную галлюцинацию, и никогда не было ни этого ужасного колодца, ни головокружительной бездны, ни бесконечной веревки, и лежал я теперь не где-нибудь, а во входном храме Хефрена возле Сфинкса, куда, пока я был в обмороке, прокрались вероломные арабы, чтобы подвергнуть меня истязанию. Тем более мне следовало поторопиться с распутыванием. Дайте мне только встать на ноги без кляпа и повязки на глазах, чтобы я мог видеть свет, откуда бы он ни исходил, и тогда я даже буду рад сразиться с любым врагом, каким бы злым и коварным он ни оказался!

Как долго я распутывался, сказать трудно. Во всяком случае, на публике, когда я не был ни изранен, ни изнурен, как теперь, я справлялся с этим значительно быстрее. Но вот наконец я освободился и вздохнул полной грудью. Дурной запах, витавший в сыром и холодном воздухе, показался мне теперь еще более смрадным, нежели прежде, когда кляп и края повязки мешали мне обонять его в полной мере. Ноги мои затекли, во всем теле ощущалась неимоверная усталость, и я был не в состоянии тронуться с места. Не знаю, долго ли я так пролежал, пытаюсь распрямить члены, значительное время пребывавшие в неестественно искривленном состоянии, и напряженно всматриваясь в темноту в надежде уловить хотя бы проблеск света и определить свое местонахождение.

Постепенно к моему телу возвратились сила и гибкость, однако глаза мои по-прежнему ничего не различали. С трудом поднявшись на ноги, я осмотрелся по сторонам — кругом был мрак столь же непроницаемый, как тот, в котором я пребывал

с повязкой на глазах. Я сделал несколько шагов; измученные ноги едва слушались меня, и все же я убедился, что могу идти, так что оставалось только решить, в каком направлении. Ни в коем случае нельзя было двигаться наобум, поскольку я мог уйти в сторону, прямо противоположную той, где находился искомый выход. Поэтому я остановился и постарался определить, откуда исходит холодное, наполненное запахом натра дуновение, которое я все это время не переставал чувствовать. Предположив, что источником сквозняка, вероятно, является вход в подземелье, я решил ориентироваться по нему и двигаться строго в ту сторону, откуда он исходил.

Отправляясь накануне вечером на прогулку, я захватил с собой коробок спичек и маленький электрический фонарик, но после всех пережитых встрясок в моих карманах — точнее, в тех лохмотьях, что от них остались, — не сохранилось ни одного сколько-нибудь крупного предмета. Чем дальше я продвигался, тем явственнее становилась тяга и назойливей запах, пока наконец я совершенно не уверился в том, что иду навстречу зловонному испарению, струящемуся из какой-то дыры, наподобие сказочного джинна, что являлся рыбаку в виде клубов дыма, вырывающихся из кувшина. О Египет, Египет... Воистину, темна эта колыбель цивилизации и вечный источник невыразимых ужасов и несказанных чудес!

Чем больше я размышлял над природой подземного воздушного потока, тем сильнее во мне росло беспокойство. Если раньше я, почти не задумываясь над тем, почему у него такой запах, предполагал, что источником его является какой-нибудь, пусть даже не прямой, выход во внешний мир, то сейчас я абсолютно уверился в том, что это смрадное испарение не имеет ничего общего с чистым воздухом Ливийской пустыни и что в нем нет ни малейшей примеси последнего. Мне стало ясно, что это смердят какие-то мрачные бездны, расположенные еще глубже под землей, и что, следовательно, я избрал неверное направление.

После минутного раздумья я решил не менять своего выбора и продолжил следовать тем же курсом. Как бы там ни было, сквозняк оставался моей единственной надеждой, ибо

каменный пол, однообразный даже в своей неровности, не давал мне никаких ориентиров. Двигаясь же навстречу этому таинственному испарению, я рано или поздно должен был добраться до какой-либо дыры или щели, а соответственно, и до стены, и затем, следуя вдоль нее, достигнуть противоположного конца этого грандиозного чертога. Я прекрасно понимал, что все расчеты мои могут оказаться неверными — ведь даже если я действительно находился во входном храме Хефрена, то попал в ту его часть, куда не водят туристов. Более того, могло случиться, что именно этот зал был неизвестен даже археологам и одни только подлые арабы, которые всюду суют свой нос, случайно наткнулись на него и решили использовать его в качестве темницы для меня. Если так, то мог ли я вообще рассчитывать найти выход если не наружу, то хотя бы в какую-нибудь другую, известную часть храма?

Если разобраться, я не имел никаких доказательств в пользу того, что нахожусь во входном храме. На мгновение все самые чудовищные из моих прежних догадок нахлынули на меня, мешаясь с действительными впечатлениями. Я живо представил себе и свой спуск, и парение в пространстве, и веревку, и раны, и грезы — да-да, грезы, теперь я точно это знал! Так неужели мне и вправду пришел конец? И может быть, умереть именно теперь, в этот самый момент было бы для меня даже величайшим благом? Ни на один из этих вопросов не мог я найти ответа и механически продолжал свой путь, пока Судьба в третий раз не принудила меня к забвению.

На этот раз внезапность случившегося лишила меня не только сознания, но и подсознания. В том месте, где встречный напор сквозняка усилился настолько, что я с трудом преодолевал его сопротивление, начинался ряд уходящих вниз ступеней, о чем я тогда, разумеется, не подозревал. Делая очередной шаг, я опустил ногу на первую ступеньку, расположенную ниже уровня пола, потерял равновесие и кубарем покатился с лестницы в зловещую бездну беспросветного мрака.

Если я не испустил дух, то лишь благодаря своему крепкому здоровью и кошачьей живучести. Оглядываясь на со-

бытия той памятной ночи, я иногда просто не могу удержаться от смеха, когда представляю себе эти периодически повторяющиеся обмороки; их регулярность невольно заставляет меня вспомнить дешевые киномелодрамы тех лет. Не исключено, что никаких потерь сознания не было вовсе и что все подробности моего подземного кошмара были всего лишь эпизодами одного длительного бреда, начавшегося в результате душевного потрясения, вызванного падением в пропасть, и закончившегося благодаря целительному воздействию открытого воздуха и солнца, восход которого застал меня распростертым на горячих песках Гизы под сардоническим ликом Великого Сфинкса, розовеющим в рассветных лучах.

Я изо всех сил стараюсь придерживаться этого последнего объяснения. Я испытал большое облегчение, когда в полиции мне сообщили, что решетка, преграждающая вход в храм Хефрена, была обнаружена незапертой и что недалеко от входа действительно имеется довольно широкая расщелина, которая ведет в еще не раскопанную часть храма. Не меньшее облегчение доставили мне уверения докторов в том, что полученные мною раны естественны в такой ситуации, когда тебя хватают, связывают, бросают в колодезь, когда тебе приходится избавляться от пут, падать со значительной высоты (возможно, в какую-то яму во внутренней галерее храма), ползти к выходу, выбираться наружу и так далее... Ничего не скажешь, очень утешительный диагноз! И все-таки я убежден, что все не так просто, как выглядит на первый взгляд. То незабываемое падение в бездну и по сей день представляется мне так, как будто случилось вчера, и я не могу просто взять и выбросить его из головы. Еще на большие сомнения наводит меня тот факт, что так и не был найден человек, приметы которого совпадали бы с приметами моего проводника Абдула Раиса эль-Дрогмана, говорившего замогильным голосом и напоминавшего внешним видом и усмешкой покойного фараона Хефрена.

Я вижу, что отступил от последовательного изложения фактов — вероятно, я сделал это в слабой надежде на то, что мне удастся избежать пересказа финальной сцены, имевшей

наибольшее сходство с галлюцинацией, нежели все предыдущие. Но я обещал рассказать все до конца, а нарушать обещания не в моих правилах. Когда я очнулся — если только я действительно очнулся — после падения с тех черных каменных ступеней, я был по-прежнему один и в полной темноте. Зловонное испарение, изрядно досаждавшее мне и ранее, перешло теперь все границы, однако я уже настолько успел к нему привыкнуть, что переносил эту пытку стоически. Инстинктивно я начал отползать прочь от его источника; мои окровавленные пальцы ощущали под собой огромные плиты, составлявшие пол грандиозного помещения, в котором я находился. Пятясь, я ударился головой обо что-то твердое; нащупав предмет рукой, я понял, что это основание колонны — колонны невероятных размеров, — на поверхности которой были высечены гигантские иероглифы, хорошо различимые на ощупь.

Продолжая отступать, я наткнулся еще на несколько колонн, столь же громадных, как и первая; промежутки между ними были непомерно велики. Внезапно мое внимание было привлечено одним явлением, действие которого на мой слух началось, по всей видимости, значительно раньше, нежели его уловил мой рассудок.

Откуда-то снизу, из глубины, из самых недр земных доносились мерные и отчетливые звуки, разительно отличавшиеся от всего, что мне когда-либо доводилось слышать. Почти интуитивно ощутил я глубокую древность и явно обрядовый характер этих звуков, а мои познания в египтологии вызвали во мне ассоциации со звуками флейты, самбуки, систра и тимпана. В этом ритмичном гудении, свисте, стуке и треске мне почудился какой-то леденящий душу ужас, превосходящий любой из земных ужасов; нечто до странности непохожее на индивидуальный человеческий страх, как бы некое безликое соболезнование всей нашей планете в целом — соболезнование по поводу того, что ей приходится скрывать в своих недрах такие чудовищные, такие кошмарные вещи, существование которых возвещалось всей этой адской какофонией. Звуки становились все громче, и мне стало ясно, что они при-

ближаются. Вдруг — о боги всех пантеонов мира, сойдитеесь воедино и охраните мой слух от подобного впредь! — вдруг я расслышал, как где-то в отдалении едва слышно раздается мертвящая душу маршеобразная *поступь шагающих*.

Жутко становилось уже оттого, что звуки шагов, столь несхожие между собой, сочетались в идеальном ритме. Муштра нечестивых тысячелетий стояла за этим шествием обитателей сокровенных земных глубин — шагающих, бредущих, крадущихся, ползущих, мягко ступающих, цокающих, топающих, грохочущих, громыхающих... и все это под невыносимую разноголосицу издевательски настроенных инструментов. Неужели... Господи, сделай так, чтобы я забыл все эти жуткие арабские легенды! Бездушные мумии... сборище странствующих ка... орда мертвецов сорокавековой истории страны фараонов, будь они прокляты!.. *Составные мумии*, шествующие в непрогляднейшем мраке подземных пустот во главе с царем Хефреном и его верной супругой Нитокрис, царицей злых духов-вампиров...

Процессия неумолимо приближалась. О небо! Избавь меня от этих звуков, от стука этих ног и копыт, от шуршания этих лап, от скрежета этих когтей, — я слышу их все отчетливее! Вдали, на необъятных просторах этой уходящей в бесконечность площади замерцал, заколыхался на отравленном сквозняке отблеск света, и я счел за благо укрыться за подножием колонны-колосса, чтобы хоть на время оградиться от ужаса, что надвигался на меня миллионами ног, проходивших маршем по гигантскому залу — средоточию нечеловеческого страха и уму непостижимой древности. Свечение усилилось; грохот шагов и нестройный ритм достигли такой громкости, что мне стало дурно. Предо мною в мерцающем оранжевом свете постепенно вырисовывалась картина, исполненная такой пугающей величественности, что я на время забыл свой страх и отвращение и открыл в изумлении рот... Какой же высоты должны достигать эти колонны, если уже одни основания их настолько колоссальны, что Эйфелева башня в сравнении с любой из них будет выглядеть, как спичечный коробок? И что это были за руки, которые высекли иероглифы на

основаниях колонн в этой грандиозной пещере, где свет дня представляется слабой, неудачной выдумкой?

Я просто *не стану* на них смотреть. Как за спасительную соломинку, ухватился я за это решение, когда, замирая от страха, услышал, как скрипят их суставы, как отвратительно они хрипят, заглушая и унылую мертвую музыку, и свою однообразную, размеренную поступь. Хорошо еще, что они безмолвствовали... Но боже! *Их богомерзкие факелы стали отбрасывать тени на поверхность этих умопомрачительных колонн! Нет, нет, только не это!!! Где это видано, чтобы у гиппопотамов были человеческие руки и в них — факелы?.. Чтобы у людей были головы крокодилов?..*

Я отвернулся, чтобы ничего этого не видеть, но увы! — тени, звуки, нечистые запахи были повсюду. Я вспомнил способ, которым в детстве, находясь в мучительном промежуточном состоянии между бодрствованием и сном, отгонял преследовавшие меня кошмары, и стал повторять про себя слова: «Это мне снится! Это всего лишь сон!» Но все мои усилия были тщетны, и мне ничего не оставалось, как только закрыть глаза и молиться... Во всяком случае, мне кажется, что именно так я и сделал, ибо никогда нельзя быть уверенным, когда пересказываешь свои видения, а что все случившееся было не более чем видением, я знаю сегодня наверняка.

Не переставая думать о том, как бы мне выбраться отсюда, я временами украдкой приоткрывал глаза и озирался по сторонам, пытаясь разглядеть хоть что-нибудь, кроме уходящих в необозримую высоту колонн и этих неестественных, карикатурных, причудливых, кошмарных теней в потоках гнилостных испарений. Снопы огня, треща, вырывались из факелов, количество которых все прибывало, и вскоре все помещение было залито ослепительно ярким светом, так что если бы оно не было полностью лишено стен, то я рано или поздно увидел бы его предел. Но тут мне снова пришлось закрыть глаза — я просто не мог этого не сделать, когда осознал, сколько их здесь собралось, и когда увидел одну фигуру, что выступала гордо и торжественно и выделялась среди прочих *отсутствием верхней половины тела.*

Внезапно дьявольский звук, напоминавший предсмертный булькающий хрип и улюлюкающий вой одновременно, с громовым треском разорвал атмосферу склепа — атмосферу, наполненную ядовитыми испарениями и пламенем смоляных факелов, — и превратил ее в один согласный хор, исходивший из бесчисленного количества богопротивных глоток этих гротескных и уродливых фигур. Глаза мои открылись вопреки моей воле — правда, всего лишь на мгновение, но и этого мгновения было достаточно, чтобы узреть во всем объеме сцену, которую даже вообразить было бы невозможно без страха, лихорадочной дрожи и физического изнеможения. Все эти исчадия ада выстроились в одну шеренгу, лицом в ту сторону, откуда исходил ядовитый воздушный поток. При свете факелов мне были видны их склоненные головы — по крайней мере, головы тех, у кого они были. Они отправляли культ перед огромной черной дырой, изрыгающей клубы поганого, зловонного пара; две гигантские лестницы отходили от нее под прямыми углами с обеих сторон, концы их терялись в непроницаемом мраке. Лестница, с которой я упал, без сомнения, была одной из них.

Размеры дыры были выдержаны в точной пропорции с размерами колонн: обычный дом потерялся бы в ней, а любое общественное здание средней величины можно было бы легко задвинуть туда и выдвинуть обратно. Отверстие было таким огромным, что взгляд не мог охватить его целиком, — огромным, зияющим угольной чернотой и испускающим отвратительное зловоние. Прямо к порогу этого разверстого входа в жилище Полифема они бросали какие-то предметы — судя по всему, жертвоприношения. Впереди всех стоял Хефрен, надменный царь Хефрен, он же проводник Абдул Раис, в золотом венце и с презрительной усмешкой на устах; заупокойным голосом он нараспев произносил монотонные слова заклинаний. Рядом с ним преклонила колени прекрасная царица Нитокрис; всего одно мгновение лицезрел я ее профиль — и успел отметить, что правая половина лица ее была съедена крысами или какими-то другими плотоядными тварями. И снова я был вынужден закрыть глаза — вынужден

потому, что увидел, *какие предметы* предлагаются в качестве жертвоприношений этой зловонной дыре и обитающему в ней местному божеству.

Судя по той церемонности и торжественности, с которой отправлялся обряд, то, что скрывалось во мраке дыры, почиталось чрезвычайно высоко. Что это было за божество — Осирис? Исида? Гор? Анубис? или, быть может, какой-то грандиозный и неведомый Бог Мертвых? Ведь существует же предание, что еще задолго до того, как стали почитать известных ныне богов, воздвигались чудовищные алтари и колоссы Неведомому.

Теперь, когда я уже настолько закалился духом, что мог без содрогания смотреть на то, как эти твари справляют свой истовый загробный культ, мысль о побеге снова пришла мне в голову. Зал был залит тусклым светом, колонны отбрасывали густую тень. Пока эти гротескные персонажи дурного сна были всецело поглощены своим леденящим душу занятием и сосредоточенно священнодействовали, у меня еще было время проскользнуть к дальнему концу одной из лестниц и взойти по ней незамеченным; а там, когда я достигну верхних пределов, судьба и мастерство авось да и выведут меня на свет божий. О том, где же я все-таки нахожусь, я по-прежнему не имел понятия — да, признаться, и не задумывался об этом. Был момент, когда мне даже показалось забавным, что я так серьезно обдумываю побег из своего собственного сна — ибо чем еще могло быть то, что меня окружало? Не исключено, впрочем, что местом моего погребения служила какая-то никому не известная подвальная часть входного храма Хефрена, того самого, который в течение поколений традиция упорно именует Храмом Сфинкса. Однако я не мог тратить времени на догадки и потому решил положить-ся на силу своих мускулов и быстроту реакции, надеясь, что они вернут меня в наружный мир в здравом рассудке.

Извиваясь, как червь, я пополз по-пластунски к подножию левой лестницы, которая показалась мне более доступной. Не стану утомлять читателя описанием подробностей своего трудоемкого пути и ощущений, которые я испытал; о них

легко можно догадаться, если принять во внимание тот отвратительный спектакль, который разыгрывался предо мной в зловещем колеблющемся свете факелов и который, чтобы не быть обнаруженным, я вынужден был постоянно держать в поле зрения. Как я уже говорил, нижний конец лестницы терялся в густом мраке; сама она круто возносилась вверх, не делая никаких поворотов, и заканчивалась площадкой с парапетом, расположенной на головокружительной высоте прямо над исполинским дверным проемом. Таким образом, последний этап моего многотрудного пути пролегал на приличном расстоянии от нечестивого ритуала. Тем не менее лицезрение сборища приводило меня в трепет и тогда, когда оно осталось далеко по правую руку от меня.

С горем пополам добравшись до ступеней, я пополз наверх, стараясь держаться ближе к стене, покрытой росписями самого отталкивающего характера. Поручкой моей безопасности являлось то всепоглощающее, восторженное внимание, с которым эти чудовища вперяли глаза в извергающую клубы нечистот клоаку и в непотребную жертвенную пищу, что была разложена на каменном полу перед ней, как на алтаре. Крутая громада лестницы была сложена из грандиозных порфировых блоков, как если бы она предназначалась для ступней исполина; я поднимался по ней, казалось, целую вечность. Боязнь быть обнаруженным в сочетании с чудовищной болью от ран, возобновившейся в результате прилагаемых усилий, превратили мое восхождение в одну долгую мучительную пытку, воспоминание о которой по сей день причиняет мне почти физическую боль. Я решил, что, достигнув площадки, не стану задерживаться на ней ни секунды, но сразу продолжу свой путь наверх по первой попавшейся лестнице, если, конечно, таковая попадется. Я не испытывал ни малейшей охоты окидывать прощальным взглядом толпу богомерзких отродий, шаркавших лапами и преклонявших колени в 70–80 футах подо мной. Однако в тот момент, когда я уже всходил на площадку, вновь раздался оглушительный хор мертвенных булькающих хрипов и надтреснутых голосов. Судя по его церемонному звучанию, он не являлся признаком того, что меня

обнаружили, и потому я нашел в себе смелость остановиться и осторожно выглянуть из-за парапета.

Оказалось, что таким своеобразным способом собравшиеся приветствовали того, кто наконец-то высунулся из отвратительной дыры, чтобы взять приготовленную для него сатанинскую пищу. Даже с высоты моего наблюдательного пункта обитатель норы производил впечатление чего-то громадного; это было нечто грязно-желтое, косматое, с необычной, как бы судорожной манерой двигаться. Величиной он был, пожалуй, с доброго гиппопотама, но внешний вид имел особый. Казалось, у него нет шеи: пять отдельных лохматых голов росли в один ряд прямо из туловища, имевшего форму неправильного цилиндра; первая из них была меньше остальных, вторая — средней величины, третья и четвертая — одного размера и самые крупные, пятая — довольно маленькая, хотя и покрупнее первой.

Из голов стремительно вылетали своего рода щупальца; словно ястребы, они набрасывались на разложенную на полу непотребную пищу и хватали ее непомерно большими порциями. Временами чудовище как бы прядало вверх, временами удалялось в свое логово посредством весьма необычных маневров. Его манера двигаться была настолько странной и необъяснимой с точки зрения здравого смысла, что я глядел на него как зачарованный и страстно желал, чтобы оно показалось целиком.

И оно *показалось*... Оно показалось, и в ту же секунду я в ужасе отвернулся и бросился вверх по лестнице, что вздымалась за моей спиной и уходила во тьму. Я мчался без оглядки, избегая по каким-то немыслимым ступеням, карабкаясь по приставным лестницам, с трудом удерживая равновесие на наклонных плоскостях; мчался туда, куда меня не вели ни логика, ни обычное человеческое зрение, но, вероятно, лишь законы царства бредовых видений — иного объяснения я не нахожу и не найду вовек. Такое могло происходить лишь во сне, иначе восход солнца не застал бы меня живым на песках Гизы под сардоническим ликом Великого Сфинкса, розовеющим в рассветных лучах.

Великий Сфинкс! Боже! Вот праздный вопрос, который я задавал себе в то благословенное солнечное утро: какое исполинское и отвратительное чудовище призваны были изображать первоначальные черты лица Сфинкса? Будь проклято то зрелище, во сне ли оно было, наяву ли, в котором мне явился предельный, абсолютный ужас — неведомый Бог Мертвых, облизывавшийся в предвкушении поживы в своем огромном жутком логове и получавший богомерзкие лакомства из рук бездушных тварей, которые не имеют права на существование... Пятиглавый монстр, высунувшийся из норы... *Этот пятиглавый монстр величиной с гиппопотама был всего лишь передней лапой!..*

Но я остался жив и знаю, что это был всего лишь сон.

БЕЗЫМЯННЫЙ ГОРОД

Приблизившись к Безымянному городу, я сразу ощутил тяготевающее над ним проклятие. Я ехал по мрачной выжженной равнине, залитой лунным светом, и еще издали увидел его: таинственно и зловеще выступал он из песков — так высовываются части трупа из неглубокой, кое-как закиданной землею могилы. Ужасом веяло от источенных веками камней этого пережившего Великий потоп древнего чуда, этого пращура самой старой из пирамид; а исходившее от него легкое дуновение, казалось, отталкивало меня и внушало мысль отступить от жутких древних тайн, которых не знает и не должен знать ни один смертный.

Далеко в Аравийской пустыне лежит Безымянный город, разрушенный и безмолвный; его низкие стены почти полностью занесены песками тысячелетий. Этот город стоял здесь задолго до того, как были заложены первые камни Мемфиса и обожжены кирпичи, из которых воздвигли Вавилон. Нет ни одной легенды настолько древней, чтобы в ней упоминалось название этого города или описывались те времена, когда он еще был полон жизни. Зато о нем шепчутся пастухи возле своих костров, о нем бормочут старухи в шатрах шейхов, и все как один остерегаются его, сами не зная почему. Это было то самое место, которое безумный поэт Абдул Аль-хазред увидел в своих грезах за ночь до того, как сложил загадочное двустипшие:

То не мертво, что вечность охраняет,
Смерть вместе с вечностью порою умирает.

Мне было известно, что арабы остерегаются Безымянного города — зловещего места, упоминаемого в причудливых сказаниях и до сих пор сокрытого от людских глаз; однако я отогнал от себя мысли о возможных причинах этих страхов и отправился верхом на верблюде в нехоженую пустыню. Я единственный, кому довелось его увидеть, и потому ни на одном лице не застыло такой печати ужаса, как на моем, и ни одного человека не охватывает такая страшная дрожь, как меня, когда по ночам ветер сотрясает оконные стекла. Когда я подступал к городу, замершему в жуткой тишине нескончаемого сна, он смотрел на меня, остывая от пустынного зноя под лучами холодной луны. И, возвратив ему этот взгляд, я забыл торжество, которое испытал, найдя его, и остановил своего верблюда, дожидаясь рассвета.

После нескольких часов ожидания на востоке повис предрассветный полумрак, звезды поблекли, а затем серые сумеречные тона оттеснил розовый свет, окаймленный золотом. Вдруг я услышал стонущий звук и увидел песчаный смерч, бушевавший среди древних камней, хотя небо было ясным и обширные пространства пустыни оставались неподвижными. Затем над линией горизонта, окаймлявшей пустыню, появился огненный край солнца, который был виден сквозь дымку уносившегося прочь вихря, и мне, охваченному какой-то лихорадкой, почудился доносившийся из неведомых глубин протяжный металлический звук — он словно приветствовал огненный диск, как некогда приветствовал его Мемнон с берегов Нила. В ушах моих стоял звон, воображение бурлило, пока я неспешно погонял своего верблюда, приближаясь к этому затерянному в песках безмолвному месту, которое из всех живущих на земле удостоился созерцать я один.

Я бродил тут и там среди бесформенных фундаментов домов, не находя ничего похожего на резьбу или надписи, которые напоминали бы о людях (если то были люди), построивших город и живших в нем необозримое число лет назад. В здешнем налете древности было что-то нездоровое, и боль-

ше всего на свете мне хотелось увидеть какие-нибудь знаки или свидетельства того, что город и в самом деле был задуман и заложен представителями рода человеческого. Сами пропорции и размеры этих развалин вызывали у меня какие-то неприятные ассоциации. Располагая набором инструментов и снаряжения, я сделал множество раскопок внутри двориков, окруженных стенами разрушенных сооружений; однако дело продвигалось медленно, и я не обнаружил ничего существенного. С наступлением лунной ночи я почувствовал дуновение прохладного ветра, а вместе с ним новый приступ отступившего было страха и не решился заночевать в городе. Когда я покидал древние стены, чтобы уснуть за их пределами, за моей спиной снова возник небольшой песчаный смерч, с воем пронесшийся над серыми камнями, хотя луна была яркой, а пустыня по большей части оставалась спокойной.

Я пробудился на рассвете, вырвавшись из хоровода кошмарных сновидений, и в ушах моих стоял звон, подобный колокольному. Я увидел, как оранжевый край солнца пробивается сквозь оседающий столб смерча над Безымянным городом, и отметил про себя безмятежность всего остального ландшафта. Я побродил среди развалин, которые вздувались под толстым слоем песка, как тело какого-нибудь сказочного великана под покрывалом, и еще раз попытался откопать реликвии забытой расы, но вновь безрезультатно. В полдень я отдохнул, а затем длительное время посвятил исследованию стен, следов бывших улиц и контуров почти исчезнувших зданий. Все говорило о том, что некогда это был могучий город, и я задумался, в чем же состоял источник его величия. В моем воображении возникла живая картина века столь отдаленного, что о нем не могли знать и халдеи. Перед моим внутренним взором промелькнули таинственные образы: обреченный Сарнат, стоявший на земле Мнара, когда человечество было еще молодо; загадочный Иб, высеченный из серого камня задолго до появления на земле рода человеческого.

Неожиданно я наткнулся на место, где из песков вздымалась невысокая, но крутая скала, и здесь с великой радостью обнаружил следы, оставленные народом, явно жившим задолго до Великого потопа. Отверстия, вырубленные в скале, несомненно являлись входами в жилища или небольшие храмы, и я подумал, что их интерьер наверняка хранит не одну тайну невообразимо далеких столетий, тогда как резные изображения на их фасадах могли давным-давно стереть песчаные бури.

Ближайшие ко мне темные проемы располагались очень низко и были засыпаны песком, но я расчистил один из них лопатой и пополз вперед, держа перед собой зажженный факел. Очутившись внутри, я понял, что вырубленное в скале пространство действительно было храмом, сохранившим кое-какие следы народа, который поклонялся здесь своим богам задолго до того, как эти места превратились в пустыню. Были здесь примитивные и удивительно низкие алтари, колонны, ниши; мне не удалось обнаружить ни скульптур, ни фресок, зато здесь в изобилии присутствовали камни странных форм, явно обработанные и выглядевшие как некие символы. Потолок зала был очень низок: даже стоя на коленях, я едва мог выпрямиться, — что меня немало озадачило. Однако сам зал был настолько велик, что мой факел освещал лишь незначительную часть его пространства. Когда же я добрался до дальнего конца зала, меня бросило в дрожь, ибо имевшиеся там алтари и камни напомнили мне о забытых обрядах, ужасных, отвратительных и необъяснимых по своей природе. Что за люди могли воздвигнуть и посещать такой храм? Внимательно осмотрев помещение, я выполз наружу, охваченный жадной узнать, какие еще тайны скрываются в этих подземельях.

Уже смеркалось, однако все увиденное пробудило во мне такое неодолимое любопытство, что я, пересилив страх, решил остаться на ночь среди длинных, отбрасываемых в лунном свете теней, наполнивших меня ужасом в тот момент, когда я впервые увидел Безымянный город. В сумерках я

расчистил другой проем и заполз в него с новым факелом; внутри я обнаружил еще большее количество камней и символов, столь же непонятных, как и в первом храме. Комната была такой же низкой, но гораздо менее просторной и заканчивалась очень узким проходом меж рядами мрачных алтарей или надгробий. Я пристально разглядывал их, как вдруг шум ветра и крик моего верблюда нарушили царившую вокруг тишину, и мне пришлось выбраться наружу, чтобы узнать, что так встревожило животное.

Над допотопными руинами ярко сияла луна, освещая плотное облако песка, поднятое, как мне показалось, сильным, но уже стихавшим ветром, который дул со стороны вздымавшейся надо мною скалы. Я посчитал, что этот холодный ветер, несущий песок, и напугал моего верблюда, и хотел было отвести его в более надежное укрытие, как вдруг бросил случайный взгляд наверх и увидел, что над скалой вихря не было. Меня вновь охватил страх, но я тут же вспомнил о внезапно налетающих и ограниченных малым пространством смерчах, которые наблюдал до того на восходе и закате солнца, и пришел к выводу, что здесь это обычное дело. Я решил, что ветер дует из какой-нибудь расщелины, ведущей в пещеру, и попытался проследить его источник. Вскоре выяснилось, что он вылетал из черного устья храма, расположенного далеко к югу от меня — настолько далеко, что я едва мог разглядеть его. Я направился в ту сторону, преодолевая сопротивление удушливого песчаного облака, и по приближении обнаружил, что этот храм крупнее прежних мною виденных, а вход в него забит спекшимся песком в гораздо меньшей степени. Я попытался было войти внутрь, но ледяной поток воздуха ужасающей силы остановил меня, едва не погасив мой факел. Ветер рвался из темной двери наружу с фантастической силой и зловеще завывал, вздымая песок и развевая его среди таинственных развалин. Однако вскоре он начал слабеть, и поднятый им песок понемногу оседал на землю. В то же время среди призрачных камней города мне почудилось чье-то незримое присутствие, а взглянув на луну, я увидел, что она подрагивает и колышется, словно отражение в подер-

нутой рябью воде. Трудно найти слова, чтобы передать мой страх, и все же он не заглушил жажды открытий, а потому, когда ветер окончательно стих, я вошел в темный зал, откуда он вырывался еще минуту назад.

Этот храм, как я заметил еще снаружи, был больше других; скорее всего, он располагался в пещере естественного происхождения, имевшей и другие выходы, раз по ней свободно гулял ветер. Здесь я мог стоять в полный рост, но алтари и камни были такими же приземистыми, как и в предыдущих храмах. Наконец-то я увидел следы изобразительного искусства древнего народа — на стенах и потолочном своде видны были остатки засохшей краски, которая уже почти выцвела и осыпалась. Со все возрастающим волнением я разглядывал хитросплетения тонко очерченных резных узоров. Подняв факел над головой, я осмотрел потолочный свод и обнаружил, что для естественного углубления он имеет чересчур правильную форму. Доисторические каменотесы, должно быть, обладали немалым мастерством.

Яркая вспышка факельного пламени открыла мне то, что я искал, — отверстие, ведущее в недра скалы, откуда исходили внезапные порывы ветра. У меня подкосились колени, когда я увидел, что это была не какая-то расщелина, а явно рукотворный дверной проем, прорубленный в твердой породе. Я просунул в проем факел и увидел черный туннель, под низким сводчатым потолком которого обнаружились мелкие, грубо высеченные ступеньки, круто сбегавшие вниз. О, эти ступеньки будут сниться мне всегда с той поры, как мне открылась их тайна. А в ту минуту я даже не знал, как их лучше назвать — ступеньками или просто выщербинами для упора ног при крутом спуске. В голове у меня роились безумные мысли; казалось, слова и предостережения арабских пророков плывут над пустыней из ведомых людям краев в Безымянный город, о котором людям лучше ничего не знать. После минутного колебания я шагнул вперед и начал осторожный спуск по ступенькам, пробуя каждую из них ногой, словно это была шаткая приставная лестница.

Такой жуткий спуск может привидеться разве что в тяжелом бреду или в страшном наркотическом дурмане. Узкий проход увлекал меня все дальше и дальше вниз; он был бесконечен, словно страшный, населенный нечистью колодец, и света моего факела было недостаточно, чтобы озарить те неведомые глубины, в которые я опускался. Я потерял чувство времени и забыл, когда последний раз смотрел на часы, а мысль о расстоянии, пройденном мною в этом туннеле, заставляла меня содрогаться. Местами спуск становился более крутым или, напротив, более пологим, местами менялось его направление; однажды мне попался длинный, низкий, пологий проход, в котором я тут же едва не вывихнул себе ногу, споткнувшись на неровном полу. Продвигаться пришлось с величайшей осторожностью, держа факел впереди себя на расстоянии вытянутой руки. Потолок здесь был таким низким, что я не мог полностью распрямиться. Затем опять начались пролеты крутых ступенек. Я все еще продолжал свой бесконечный спуск, когда мой слабеющий факел погас. Кажется, я не сразу заметил это, ибо когда все же обнаружил, что остался без огня, моя рука по-прежнему была вознесена над головой, как если бы он продолжал гореть. Состояние неизвестности наполнило меня тревогой — я почувствовал себя ничтожным скитальцем, явившимся в далекие древние места, охраняемые неведомыми силами.

Во тьме на мое сознание обрушился поток разнообразных мыслей и видений — отрывки из ценных своей редкостью демонологических трудов, сентенции безумного араба Альхазреда, цитаты из кошмарных апокрифов Дамаския и нечестивые строки из бредового «Образа мира» Гюте де Метца. Я твердил про себя обрывки причудливых фраз и что-то бессвязно бормотал об Афрасиабе и демонах, плывущих с ним по течению Окса; неоднократно в голове моей мелькало выражение из сказки лорда Дансени: «неотражаемая чернота бездны». Один раз, когда спуск неожиданно круто пошел вниз, я начал нараспев цитировать строфу из Томаса Мура и остановился лишь тогда, когда почувствовал, что эти строки навевают на меня самый настоящий ужас:

Вместилище бездонной тьмы
Черно, как ведьмины котлы
С кипящим зельем. Наклонясь,
Чтоб отыскать какой-то путь
Сквозь эту бездну, я узрел,
Насколько мог проникнуть взор,
Стеклянный отблеск темных стен,
Сверкающих, как черный лак,
И мрак, что сквозь осклизлый зев
Обитель Гибели струит¹.

Мне уже начало казаться, что время остановилось, как вдруг я вновь почувствовал, что ноги мои стоят на ровном горизонтальном полу, и обнаружил, что нахожусь в каком-то помещении. Оно было ненамного выше комнат в двух меньших храмах, находившихся сейчас наверху, невообразимо далеко от меня. Я не мог стоять в полный рост: распрямить спину по-прежнему можно было, только опустившись на колени. Не видя ничего вокруг, я начал наугад двигаться в разных направлениях и очень скоро понял, что нахожусь в узком коридоре, вдоль стен которого стоят рядами деревянные ящики со стеклянными крышками — последнее я определил на ощупь. Отполированное дерево и стекло — в этой палеозойской бездне? Мысли о том, что может скрываться за всем этим, заставили меня содрогнуться. Ящики были расставлены по обе стороны прохода на одинаковом расстоянии друг от друга. Они имели продолговатую форму и стояли горизонтально, своими размерами и очертаниями напоминая гробы, что в очередной раз наполнило меня ужасом. Попытавшись сдвинуть с места два или три ящика, я обнаружил, что они прочно закреплены на месте.

Проход этот, насколько я мог судить, был довольно длинным; поэтому, не опасаясь встретить на своем пути никаких препятствий, я устремился вперед в полусогнутом положении — наверное, со стороны это выглядело довольно нелепо, но кто мог увидеть меня в этой крошечной тьме? Время от времени я ощупывал пространство то слева, то справа от се-

¹ Перевод Дм. Раевского.

бя — лишь для того, чтобы убедиться, что стены и ряды ящиков все еще тянутся вдоль прохода. Как всякий человек, я настолько привык мыслить визуальными образами, что вскоре почти забыл о темноте и рисовал в своем воображении бесконечный однообразный коридор с расставленными вдоль него ящиками из дерева и стекла, как если бы эта картина была доступна моим глазам. И в какой-то миг я понял, что *действительно вижу* коридор.

Я не могу сказать точно, когда мое воображение трансформировалось в видение; просто в определенный момент я заметил впереди постепенно усиливающееся свечение, и до меня дошло, что я различаю смутные очертания коридора и ящиков, проступавшие вследствие какой-то неизвестной подземной флуоресценции. В первые минуты все было точь-в-точь как я себе представлял, поскольку свечение было очень слабым; но по мере того, как, спотыкаясь и едва удерживая равновесие, я продолжал механически продвигаться в направлении усиливавшегося света, становилось все более очевидным, что мое воображение рисовало лишь слабое подобие подлинной картины. В отличие от грубой отделки храмов наверху этот зал был совершенным памятником на редкость величественного и в то же время экзотического искусства. Яркие, насыщенные, вызывающе фантастические узоры и рисунки складывались в непрерывную настенную роспись, линии и цвета которой не поддаются описанию. Ящики были изготовлены из необычного золотистого дерева, а внутри их, под крышками из гладкого прозрачного стекла, покоились мумифицированные фигуры, по своей гротескности превосходившие образы самых жутких ночных кошмаров.

Я не могу передать всю степень их уродливости. Более всего подошло бы сравнение с рептилиями; в их очертаниях сквозило что-то от крокодила и в то же время угадывалось нечто тюлень. Но в целом они были абсолютно фантастическими существами, о которых едва ли слышал хотя бы один земной биолог или палеонтолог. По своим размерам они приближались к человеку маленького роста, а их передние ко-

нечности завершались маленькими подобиями человеческих ладоней с хорошо развитыми пальцами. Более всего меня поразили их головы, очертания которых противоречили всем известным канонам биологии. Невозможно назвать ничего такого, с чем можно было бы сравнить эти головы — в ми-молетной вспышке мне представилась отвратительная помесь кошки, бульдога, мифического сатира и человека. Сам Юпитер не мог бы похвалиться таким огромным выпуклым лбом, а наличие рогов, крокодилья челюсть и пустое место там, где должен находиться нос, не позволяли втиснуть это уродство в рамки известных классификаций. Некоторое время я раздумывал о подлинности этих мумий, склоняясь к серьезному подозрению, что это всего лишь рукотворные идола, но в конце концов остановился на том, что предо мной лежали все же подлинные представители неких архидревних видов, обитавших здесь во времена, когда Безымянный город переживал свой расцвет. В качестве завершающего штриха к нелепому облику чудовищ можно отметить их одеяния — как ни поразительно, но большинство из них было завернуто в роскошнейшие ткани и увешано украшениями из золота, драгоценных камней и неизвестных мне блестящих металлов.

Значение этих пресмыкающихся тварей было, должно быть, огромным, поскольку они занимали первое место в буйных сюжетах фантастических фресок на стенах и потолке. С бесподобным мастерством художник изобразил жизнь в их мире, где города и сады были построены и размечены в соответствии с их размерами, но я не мог отделаться от мысли, что история, запечатленная на этих изображениях, — не более чем аллегория на историю народа, который поклонялся этим странным существам. Я решил, что для людей, населявших Безымянный город, они были тем же, чем была волчица для Рима или тотемные животные для индейцев.

Отталкиваясь от этой точки зрения, я воочию перебирал вехи несомненно замечательной истории Безымянного города. Я словно внимал сказанию о могучей метрополии на морском побережье, жители которой правили миром до того, как

Африка поднялась из океанских волн; я наблюдал за ходом борьбы с пустыней, которая после отступления моря надвинулась на плодородную долину вокруг столицы. Я видел войны, в которых участвовали ее обитатели, их триумфы и поражения, беды и радости и, наконец, стал свидетелем отчаянной борьбы города с наступавшей пустыней, когда его жители (аллегорически представленные здесь в виде гротескных рептилий) были вынуждены прорубать сквозь скалы подземный путь в другой мир, о существовании которого говорили их пророки. Все эти сюжеты, совершенно сверхъестественные на первый взгляд, были представлены весьма правдоподобно, и связь изображений с леденящим душу спуском, который я совершил, не вызвала сомнений. На некоторых фресках я даже узнавал пройденные мной участки пути.

Медленно продвигаясь по коридору в направлении источника света, я увидел изображения последующих этапов истории — исход народа, который в течение десяти миллионов лет населял Безымянный город и окружающую долину; тяжелое расставание с местами, где их пращуры, бывшие некогда кочевниками, осели в пору юности Земли и где все последующие поколения хранили воздвигнутые в девственной скале первобытные храмы, продолжая поклоняться заключенным в них святыням. Свет усилился, и я смог рассмотреть изображения более тщательно. По-прежнему полагая, что странные рептилии символизировали древних людей, я попытался мысленно дополнить картину их жизни и обычаев. Многие казались мне странным и необъяснимым. Цивилизация, имевшая свою письменность, находилась — и это было очевидно — на более высоком уровне, чем появившиеся гораздо позднее египетские и халдейские народы, и вместе с тем ее облик был обрисован далеко не полно. Например, я так и не смог отыскать хотя бы одного изображения смерти или погребального обряда — они встречались только среди картин, запечатлевших сцены войны, насилия и эпидемий. На сцены естественной смерти было как будто на-

ложено табу. Похоже было, что иллюзорный идеал бессмертия довлел над этим народом в течение жизни многих поколений.

Сцены, изображенные ближе к концу прохода, отличались наибольшей живописностью и экстравагантностью: лунный пейзаж Безымянного города, опустевшего и лежавшего в развалинах, резко контрастировал с видом неких райских куш, к которым, должно быть, пробили путь сквозь скалы его жители. На этих фресках город и пустынная долина были неизменно показаны в лунном свете, а над рухнувшими стенами поднимался золотой нимб, приоткрывая завесу, за которой таилось лучезарное совершенство прежних времен — словно некий бесплотный призрак вышел в тот момент из-под кисти художника. Пышность сцен райской жизни настолько была в глаза, что невозможно было поверить в их подлинность, — мне открылся неведомый мир вечного дня, с роскошными городами, цветущими холмами и долинами. Рассматривая же последние фрески, я решил, что вижу признаки творческого кризиса художника. Изображения были выполнены менее искусно, а их сюжеты отличались неуместной фантастичностью — в этом они намного превосходили даже самые неправдоподобные из ранних сцен. Скорее всего, это было запечатленное в красках свидетельство медленного упадка древнего народа и одновременного возрастания ненависти этих людей к внешнему миру, который наступал на них вместе с пустыней. Фигуры людей — по-прежнему аллегорически представленных в виде рептилий — постепенно уменьшались и истощались, однако их души, изображенные в виде облаков, парящих над руинами в лунном свете, сохраняли прежние пропорции. Изнуренные жрецы — на фресках это были рептилии в красочных одеждах — посылали проклятия принесенному извне воздуху и всем, кто вдыхал его; леденящая кровь финальная сцена изображала, как обычного вида человек — вероятно, один из первых обитателей Ирема, Города Столбов — был растерзан представителями более древней расы. Вспомнив, как боялись арабы Безымянного города, я с

облегчением заметил, что на этом фрески обрывались, а далее шли уже не расписанные стены и потолок.

Увлеченный непрерывной чередой запечатленных на стенах исторических сюжетов, я незаметно для себя достиг конца этого низкого зала и обнаружил ворота, сквозь которые пробивалось фосфоресцирующее излучение, освещавшее мой путь. Приблизившись к ним вплотную, я не смог сдержать крика изумления, вызванного зрелищем, открывшимся мне по ту сторону ворот; ибо вместо ожидаемой мною анфилады других, более ярко освещенных комнат предо мной предстала безграничная пустота, заполненная однородным сиянием — такое сияние видит человек, стоя на вершине Эвереста и устремляя взор в бескрайние просторы подернутого дымкой и ласкаемого лучами солнца воздушного океана. Позади меня остался проход, настолько тесный, что я не мог выпрямиться в полный рост; впереди лежала лучезарная подземная бесконечность.

Проход завершался площадкой, с которой брала начало круто уходящая в бездну лестница — нескончаемая череда мелких ступенек, похожих на те, что остались далеко позади, в темных коридорах. Однако я мог видеть лишь на расстоянии четырех-пяти футов — все остальное было скрыто от взора светящимся туманом. Слева от прохода висела на петлях распахнутая внутрь массивная медная дверь; необычайно толстая и украшенная причудливыми барельефами, дверь эта, если ее затворить, могла полностью изолировать подземный мир лучезарного света от пробитых в скале проходов. Я посмотрел на ступеньки и решил, что ни за что на свете не стану спускаться вниз. Затем я без сил опустился на каменный пол, даже смертельная усталость не могла избавить меня от потока безумных мыслей.

Закрыв глаза, я лежал и предавался размышлениям, и снова в голове моей возникали сюжеты фресок — но на сей раз они были наполнены новым, зловещим смыслом. Я говорю о сценах, запечатлевших расцвет Безымянного города, растительный мир долины вокруг него и дальние страны, с которыми вели торговлю его купцы. Для меня оставалось загадкой

выдающееся положение аллегорических пресмыкающихся тварей, и я подумал, что представленная в картинах история, скорее всего, достаточно точно отражала истинное положение вещей. Пропорции Безымянного города на фресках были подогнаны под размеры рептилий. Я задумался над тем, какими же должны были быть подлинные размеры и пропорции Безымянного города. И вновь вспомнил о необычайно низких потолках первобытных храмов и подземных коридоров, вырубленных таким образом несомненно для того, чтобы выразить свое подобострастие перед пресмыкающимися божествами, которым здесь поклонялись: их почитатели волей-неволей должны были опуститься на четвереньки. Возможно, сами обряды предполагали передвижение ползком для имитации движений этих рептилий. Однако никакая религиозная теория не могла убедительно объяснить, почему горизонтальные проходы этого страшного спуска были такими же тесными, как и храмы, — или еще теснее, поскольку в них невозможно было выпрямиться, даже стоя на коленях. Новый приступ страха охватил меня, когда я подумал об этих древних мумифицированных рептилиях. Рождающиеся в сознании ассоциации бывают очень причудливыми, и я весь сжался от мысли, что, за исключением того несчастного, растерзанного толпой на последней фреске, я был единственным носителем человеческого облика среди этого скопища реликвий и символов первозданной жизни.

Но — в который уже раз — страх, затаившийся в моей мятущейся душе, был побежден любопытством. Лучезарная пропасть манила меня. Увидеть и явить миру то, что она веками скрывала в себе, почел бы за величайшую честь самый выдающийся исследователь. Я ни на минуту не сомневался в том, что эта череда ступенек вела в чудесный, таинственный элизиум, изображенный на фресках, и надеялся обнаружить там свидетельства существования представителей человеческого рода, которых не нашел в покрытом росписями коридоре. Фрески этого подземного царства изображали сказочные города и долины, и моя фантазия уже парила над величественными руинами, ожидавшими меня внизу.

Мои страхи относились скорее к прошлому, нежели к будущему. Даже физический страх, вызванный моим нахождением здесь — в этом тесном коридоре с его мертвыми рептилиями и допотопными фресками, за много миль от привычного верхнего мира, перед лицом мира иного, исполненного тумана и гнетущего света, — не мог сравниться со смертельным ужасом, навеваемым атмосферой восставшей из первозданного хаоса древности. Казалось, из первобытных камней и вырубленных в скале храмов Безымянного города выступала сама вечность, неподвластная никаким измерениям; на позднейшей из увиденных мною на фресках географических карт были изображены океаны и континенты, неизвестные современному человеку, и лишь немногие из контуров смутно напоминали мне сегодняшние очертания некоторых земель и берегов. И теперь уже никому не дано узнать, что произошло в ту геологическую эру, когда прервалась череда настенных росписей и скатилась в омерзительную трясику упадка некогда гордая раса, не приемлющая смерть. Было время, когда в этих пещерах и в лежащих за ними лучезарных сферах ключом была жизнь, но сейчас среди уцелевших памятников глубокой древности не было никого, кроме меня, и я содрогался при мысли о бесчисленных эпохах, на протяжении которых эти реликвии пребывали здесь в молчаливом бдении.

Внезапно я почувствовал новый приступ безумного страха — того самого страха, который временами завладевал моим сознанием с тех пор, как я впервые увидел жуткую долину и Безымянный город под холодной луной; и несмотря на то, что силы мои были на исходе, я весь напрягся, присел на корточки и устремил взгляд в черный коридор, ведущий наверх, в мир, населенный людьми. Чувства, охватившие меня, были сродни тем, что не позволили мне оставаться на ночь в Безымянном городе, и были они столь же мучительны и необъяснимы. Однако мгновение спустя я испытал еще большее потрясение, услышав звук — первый звук, взломавший глухую тишину этих замогильных глубин. Это был глубокий, низкий стон — словно скопище духов, обреченных на вечные

муки, стеноло под землей; стон исходил из темного коридора, в который я впери́л свой взор. Звук стремительно нарастал, и наконец в низком проходе раскатилось громовое эхо. В тот же миг я ощутил усилившийся поток холодного воздуха — он струился из туннелей со стороны лежавшего наверху города. Холодный воздух несколько взбодрил меня и привел в состояние душевного равновесия, ибо мгновение спустя я вспомнил о внезапных порывах ветра, которые каждый раз на восходе и на закате возникали вокруг устья, открывавшего вход в бездну; как раз один из таких порывов и помог мне обнаружить потайные туннели. Я посмотрел на часы — близилось время восхода солнца — и приготовился оказать сопротивление воздушному потоку, который устремился в недра земли, служившие ему домом, с таким же неистовством, с каким он вечером рвался наружу. Страх мой растаял, что было вполне объяснимо: мои размышления над неизвестным феноменом прервало проявление естественной природной стихии.

Между тем, становясь все неистовее, стон перерастал в пронзительный визг, с которым ветер ночи устремлялся в подземную пучину. Я снова упал ничком и лихорадочно вцепился в пол, в ужасе представив себе, как шквальный поток швырнет меня сквозь распахнутую дверь в разверзшуюся за нею фосфоресцирующую бездну. Боязнь сорваться в эту пропасть целиком овладела мной; однако к тому времени, когда я заметил, что мое тело и впрямь скользит по камням к зияющему провалу, я был уже пленником тысячи новых страхов, заполонивших мое воображение. Неумолимость воздушного потока пробудила во мне самые невероятные фантазии; содрогнувшись, я вновь сравнил себя с тем увиденным мною в жутком коридоре одиноким представителем рода человеческого, который был разорван в клочья сыновьями Безымянного города, — ибо в той беспощадной силе, с которой терзал меня ветер, угадывалось нарастающее с каждой секундой мстительное неистовство, казалось, вызванное неспособностью быстро расправиться со мной. Кажется, в последний момент из моей груди вырвался дикий вопль, — я почти по-

терял рассудок, — но даже если это было так, мой крик рас-
творился в шуме этой преисподней, наполненной завывав-
шими ветрами-призраками. Я попытался ползти, преодоле-
вая натиск незримого убийственного потока, но не смог даже
удержаться на месте — струя воздуха медленно и неумолимо
подталкивала меня ко входу в неизвестный мир. Остатки ра-
зума покинули меня, загадочное двустушии безумного араба
Альхазреда, увидавшего Безымянный город во сне, вновь за-
вертелось в моей голове, и я принялся безостановочно повто-
рять его вслух:

То не мертво, что вечность охраняет,
Смерть вместе с вечностью порою умирает.

Одни только сумрачные боги пустыни знают, что произо-
шло потом: как отчаянно я боролся во тьме с несущим смерть
потоком, какой Абаддон вернул меня к жизни, в которой я
обречен всегда помнить о ночном ветре и дрожать при его
появлении до тех пор, пока забытие — или что-нибудь поху-
же — не овладеет мною. Что это было? Нечто чудовищное,
неестественное, колоссальное — поверить в реальность по-
добного невозможно, разве что в безмолвные, отягощенные
проклятием бессонницы предрассветные часы.

Как я уже говорил, ярость обрушившегося на меня воз-
душного потока была поистине адской, а его звучание напол-
нило меня ужасом и омерзением, ибо в нем ощущалась из-
вечная, запредельная злоба. А вскоре хаотичные звуки сти-
хии, доносившиеся из коридора передо мной, дополнились
новыми, которые, терзая мой мозг, раздавались как будто по-
зади меня — оттуда, из могилы бесконечно древней цивили-
зации, миллионы лет скрытой от солнечного мира людей,
теперь неслись леденящие кровь, вполне членораздельные
вопли на неизвестном мне языке. Обернувшись, я увидел чет-
ко вырисовывавшиеся на фоне лучезарного эфира контуры
кошмарных созданий, возникавших из тьмы коридора и мчав-
шихся мимо меня в недра земли, — воистину орда демонов
во всеоружии, с перекошенными от ненависти мордами. Да,
это были они, полуматериальные дьяволы, порождение расы,

БЕЗЫМЯННЫЙ ГОРОД

о которой люди не имеют ни малейшего понятия. Это были ползучие рептилии Безымянного города!

Наконец ветер стих, и я погрузился в крошечный мрак, ибо за последней из тварей захлопнулась тяжелая медная дверь, и оглушительное протяжное эхо ее металлического лязга вырвалось в далекий мир людей, приветствуя восходящее солнце, как некогда приветствовал его Мемнон на берегах Нила.

ПРИТАИВШИЙСЯ УЖАС

1

ТЕНЬ НА ОЧАГЕ

В ночном воздухе погромыхивало, когда я отправился в заброшенный дом на Вершине Бурь, чтобы разыскать притаившийся там ужас. Отправился не в одиночестве, ибо любовь к риску тогда еще не сопутствовала моей любви к пугающему и ужасному, благодаря которой я на протяжении своей карьеры сумел разобраться в нескольких странных и жутких делах — как по описаниям в прессе, так и на месте событий. Со мною были два верных и крепких помощника, которых я призвал, когда настало время действовать. Мы давно сотрудничали в опаснейших расследованиях, для которых они были словно созданы.

Из деревни мы выехали тайком, избегая газетчиков, которые все еще сновали в округе со времени невообразимой паники, случившейся здесь месяц назад, после явления крадущейся кошмарной смерти. Позже, думал я, они могут пригодиться, но не теперь. Если бы Господь тогда надоумил меня взять репортеров с собой, не пришлось бы так долго хранить секрет из страха, что люди посчитают меня безумцем или сами сойдут с ума, вовлекшись в это дьявольское дело. Сейчас я рассказываю об этом, дабы под тяжестью знания не сойти с ума, и жалею, что прежде был так скрытен. Ибо только я один на свете знаю природу ужаса, притаившегося в этом логове призраков на безлюдной горе.

Наш маленький автомобиль одолел несколько миль первозданных лесов, пока сомкнувшиеся заросли и слишком кру-

той подъем не сделали дальнейшего продвижение на нем невозможным. В ночном мраке, без множества спящих вокруг людей местность выглядела еще более зловещей, тем более что мы избегали включать ацетиленовые фары, дабы не привлекать к себе внимание. Пейзаж не был приятен и при свете дня; уверен, я смог бы заметить его нездоровый характер, даже не зная заранее о бродящем здесь ужасе. Дикие животные не попадались: они чувствуют, когда смерть подкрадывается близко. Древние деревья со шрамами от ударов молний казались чудовищно большими и искривленными; остальные растения — неестественно раздувшимися и словно воспаленными, а причудливые холмики на изрытой молниями земле напоминали клубки змей или людские черепа, разросшиеся до гигантских размеров.

Ужас таился на Вершине Бурь более столетия. О нем я узнал из газетных сообщений о катастрофе, привлекавшей к этой местности внимание всего мира. Это было изолированное плато в той части гор Катскилл, где некогда прозябала недолговечная голландская колония, оставившая по себе лишь развалины зданий да выродившихся скваттеров, живущих в жалких деревушках на склонах гор. Посланцы большого мира редко навещали эти места, пока не была сформирована полиция штата, но и потом патрульные заглядывали сюда нечасто. Как бы то ни было, страх вошел в традицию этих деревушек; он был главной темой разговоров у нищих полукровок, когда они приезжали из своих долин и торговали корзинами ручной работы — чтобы на вырученные деньги приобрести те немногие предметы первой необходимости, которые не могли сами добыть охотой, или вырастить, или смастерить.

Ужас притаился в брошенном, всеми избегаемом особняке Мартенсов, что венчал высокую, но не особо крутую гору, названную Вершиной Бурь из-за особо частых гроз, которые она как будто притягивала. Более сотни лет об этом старинном, окруженном лесом каменном доме ходили дикие, чудовищные и отвратительные истории, повествовавшие о молчаливой гигантской крадущейся смерти, которая бродит окрест

в летнее время. Скваттеры передавали из уст в уста пугающие рассказы о демоне, который в темноте хватает одиноких путников и либо уносит их, либо бросает в чудовищно изуродованном виде, растерзанными на куски. Иногда шепотом рассказывали о кровавых дорожках, издалека тянущихся к дому. Некоторые говорили, что громовые раскаты вызывают притаившийся ужас из его обиталища; другие утверждали, что гром — это его голос.

За пределами окрестных лесов никто не верил многочисленным противоречивым историям, невнятным и преувеличенным описаниям призрачных демонов; однако ни один фермер, ни один деревенский житель не сомневался в том, что особняк Мартенсов населен какой-то нечистью, хотя расследования, проводившиеся после появления особо жутких сообщений, не обнаруживали в доме никаких признаков потусторонней силы. Старухи рассказывали странные мифы о призраке Яна Мартенса, мифы о самом семействе Мартенсов, об их удивительной наследственной разноглазости, о долгой и странной истории их рода и об убийстве, навлекшем на них проклятие.

Приведший меня сюда ужасный случай внезапно подтвердил самым прискорбным образом дикие легенды горных жителей. Летней ночью, после грозы неслыханной ярости, всю округу подняло на ноги паническое бегство горцев, каковое не могло быть следствием одних лишь страшных слухов. Несчастные люди сбились в толпы, рыдали и стонали, словно пораженные необъяснимым ужасом, так что было трудно усомниться в их искренности. Они ничего не видели, но слышали такие душераздирающие вопли в одной из окрестных деревушек, что поняли: туда крадучись явилась смерть.

Путру горожане и патрульные пошли за дрожащими от страха горцами на то место, куда, как они утверждали, приходила смерть. И смерть действительно побывала там. Земля под деревушкой просела от удара молнии, уничтожив несколько жалких затхлых лачуг, однако гибель имущества бледнела рядом с уничтожением живых существ. Из семидесяти пяти человек, населявших это место, там не обнаружи-

лось ни одного живого. Изрытая земля была залита кровью и усеяна человеческими останками с явственными метками дьявольских зубов и когтей, однако не удалось проследить никаких следов, ведущих от этой бойни. Все быстро сошлись на том, что побоище мог устроить какой-то огромный зверь, и ни у кого язык не повернулся сказать, что таинственная гибель людей могла быть результатом взаимной резни, характерной для подобных нравственно разложившихся общин. Делу дали ход лишь тогда, когда нашлись примерно двадцать пять жителей деревни, избежавших гибели, но даже после этого трудно было поверить, что уцелевшие перебили вдвое больше народу. Достоверно было известно лишь одно: летней ночью с небес ударила молния, после чего в этом месте нашли мертвую деревню и ужасающе изувеченные, изодранные когтями и зубами трупы.

Округа была взволнована, люди немедленно связали происшедшее с проклятым домом Мартенсов, хотя он и отстоял от деревушки на три мили. Патрульные отнеслись к этому скептически; они среди прочего обследовали и особняк, нашли его совершенно заброшенным и оставили это дело. Деревенские же и хуторские жители, в свою очередь, обыскали его тщательнейшим образом, перевернули вверх дном все в доме, обшарили прудики и ручьи, порубили кустарник и прочесали ближние леса. Все было понапрасну: погибель, явившаяся неизвестно откуда, не оставила никаких следов, кроме множества трупов.

Ко второму дню розысков все дело подробнейшим образом было описано в газетах — репортеры заплотнили окрестности Вершины Бурь. Газетчики взяли множество интервью у местных старух, дабы прояснить подробности страшного события. Я, будучи знатоком всяческих ужасов, поначалу следил за этим с ленцой, однако через неделю некая смутная тревога подвигла меня отправиться в те края. Так что пятого августа 1921 года я уже был среди репортеров, толпившихся в гостинице Леффертс-Корнерс — ближайшей к Вершине Бурь деревни, где расположилась штаб-квартира следствия. Еще три недели спустя репортеры рассеялись, развязав мне руки

для опаснейшего предприятия, основанного на тщательном изучении обстоятельств дела и исследований местности, которые я к тому времени провел.

Итак, летней ночью, под отдаленные раскаты грома, я оставил автомобиль и двинулся со своими вооруженными помощниками вверх по склону холма, к дому на Вершине Бурь. Лучи электрических фонарей прыгали по призрачно-серым стенам, маячившим впереди, за гигантскими дубами. В эту скверную ночь, при столь слабом освещении массивное строение, казалось, таило угрозу, невидимую при свете дня. Однако же я не колебался, полный решимости проверить свою идею, согласно которой гром вызывал демона смерти из некоего убежища, и, будь этот демон существом во плоти или бестелесным призраком, я намеревался увидеть его собственными глазами.

Развалины уже были внимательнейшим образом обследованы и план подготовлен: местом моего ночного бдения станет комната Яна Мартенса, убийство которого было средоточием местных легенд. Я предчувствовал, что жилище этой давней жертвы насилия подойдет мне лучше всего. Комната была примерно в двадцать квадратных ярдов; там, как и в других помещениях, валялись обломки мебели и прочий мусор. Спальня располагалась на втором этаже, в юго-восточном углу здания; широкое окно выходило на восток, узкое — на юг; оба были без рам и ставен. Напротив большого окна помещался огромный голландский очаг, на изразцах которого была изображена библейская притча о блудном сыне. Напротив узкого окна в стенной нише стояла широкая кровать.

Поначалу окружающий лес приглушал раскаты далекого грома, но с течением времени он становился все слышнее. Мы занялись детальным исполнением моего плана и прежде всего прикрепили к подоконнику широкого окна три веревочные лестницы — их мы принесли с собой. Я знал, что они опустились на травяном пятачке, удобном для приземления — это было заранее проверено. Затем мы приволокли из другой комнаты остов широкой кровати с пологом, поставили ее перед окном, устлали еловыми ветвями и легли отдыхать с пи-

столетами наготове: пока двое спали, третий бодрствовал. Откуда бы ни появился демон, у нас был путь для отступления. Если он появится изнутри дома, уйдем по лестницам; если снаружи — через дверь. Судя по описаниям предыдущего нападения, он не должен был нас особо преследовать.

Я сторожил с полуночи до часу, а затем, несмотря на зловещую обстановку, на незащищенное окно и приближающуюся грозу, почувствовал, что неодолимо засыпаю. Рядом лежали два моих товарища, Джордж Беннет со стороны окна и Уильям Тоби со стороны очага. Беннет спал: его одолела та же необычная сонливость, что и меня, так что пришлось назначить на следующую вахту Тоби, хотя и он клевал носом. Уже засыпая, я с какой-то странной настойчивостью продолжал всматриваться в очаг.

Должно быть, из-за приближающегося грома мой недолгий сон изобиливал апокалиптическими видениями. Один раз я почти проснулся — наверное, потому что Беннет беспокойно задвигался и уронил руку мне на грудь. Я не мог очнуться окончательно и убедиться, что Тоби блюдет свой пост, однако ощущал явственное беспокойство по этому поводу. Никогда прежде присутствие зла не давило на меня так неодолимо. Наверное, затем я опять провалился в сон, поскольку бродил в фантазмагорическом хаосе своих видений, когда ночь взорвалась жуткими воплями — ничего подобного я прежде не слышал и не мог вообразить.

Вопли были исполнены страха и муки — крики души, безнадежно и отчаянно сопротивляющейся черному забвению. Я проснулся, слыша, как крики — это воплощение ужаса — слабели, отдаваясь эхом. В темноте я ощутил, что место справа от меня свободно: Тоби пропал, и лишь Господу известно, где он теперь. Поперек моей груди еще лежала тяжелая рука того, кто спал слева от меня.

Затем последовал сокрушительный удар молнии; она сотрясла всю гору, осветила самые темные тайники дубовой рощи и расколола самое древнее и могучее из окрестных деревьев. В свете чудовищной вспышки огненного шара я увидел, как спящий вскочил, и его черная тень скользнула по

изразцам очага, от которого я по-прежнему не мог отвести глаз.

То, что я до сей поры жив и в здравом уме, есть чудо, коего я не могу понять. Не могу понять этого, ибо тень на печной трубе не принадлежала Джорджу Беннету или иному человеческому существу, она была богохульной насмешкой, гнусностью, вышедшей из самых глубин ада, — безымянное и бесформенное уродство, непостижимое уму и не поддающееся описанию. В следующий миг я остался в проклятом доме один, трясаясь и что-то бормоча. Джордж Беннет и Уильям Тоби исчезли, не оставив даже следов борьбы. С тех пор о них не было никаких известий.

2

СКВОЗЬ БУРЮ

После столь чудовищного испытания и вызванного им нервного потрясения я несколько дней не вставал с постели в своем гостиничном номере в Леффертс-Корнерс. Не могу припомнить, как удалось мне добраться до автомобиля, завести мотор и беспрепятственно доехать до деревни. В памяти не сохранилось ничего отчетливого, кроме раскинувших ветви титанов-деревьев, дьявольского бормотания грома и потусторонних теней на низких холмиках, усеявших округу.

Лихорадочно размышляя о природе этой твари, опустошающей сознание, я догадался, что вызвал к жизни один из главнейших земных ужасов — одну из тех безымянных разрушительных сил, дьявольское брожение которых мы иногда чувствуем на самой периферии видимого нам мира, но, к счастью, не можем разглядеть отчетливо благодаря несовершенству человеческого зрения. Тень, мелькнувшую на очаге, я не осмеливался ни определять, ни анализировать. Некое существо лежало между мною и окном в ту ночь, но меня начинало трясти, как только я пытался представить, кто это мог быть. Если бы оно рычало, или выло, или неистово хохотало, тут же обнаружилась бы его демоническая сущность. Но оно мол-

чало. Оно положило тяжелую руку (или иную конечность) мне на грудь... Несомненно, существо это обладало плотью — по крайней мере, в прошлом. Ян Мартенс, комнату которого я занял, похоронен на кладбище рядом с особняком... Я обязан найти Беннета и Тоби, если они еще живы... Почему оно схватило их и оставило меня невредимым? Дремота душила меня, и сны были страшными...

Вскоре я понял, что должен рассказать кому-нибудь эту историю, чтобы избежать умопомешательства. И уже решил не отступать, не оставлять поисков притаившегося ужаса, опрометчиво полагая, что полужнание много хуже, чем полная ясность, какой бы ужасной она ни оказалась. В соответствии с этим я начал продумывать наилучший способ действий, прикидывая, кому можно довериться и как выследить тварь, уничтожившую двух человек, тварь, чья кошмарная тень мелькнула на очаге.

В Леффертс-Корнерс я успел свести знакомство и даже подружиться с несколькими репортерами, которые все еще оставались в деревне, собирая последние сведения о трагедии. Из них я и вознамерился выбрать сотоварища, и чем дольше размышлял, тем более отдавал предпочтение Артуру Манро, темноволосому сухощавому человеку лет тридцати пяти, образование, вкусы, ум и характер которого как будто показывали, что он не из тех, кто слепо цепляется за общепринятые идеи и воззрения.

И вот как-то вечером в первых числах сентября я рассказал Артуру Манро свою историю. Он слушал меня с интересом и сочувствием, а затем высказался о случившемся весьма проникательно и рассудительно. Его советы тоже оказались кстати: он порекомендовал отложить операцию в особняке Мартенсов до тех пор, пока мы не получим более подробных исторических и географических сведений. По его инициативе мы прочесали округу, выискивая все, что могло иметь отношение к семье Яна Мартенса, и обнаружили человека, у которого сохранился дневник его предков, проливающий свет на многое. И мы наконец-то подробно побеседовали с теми из местных горцев, кто еще не сбежал в ужасе и смятении на

отдаленные склоны; мы также предварили исполнение решающей акции детальным обследованием мест, которые в легендах поселенцев связывались с различными трагическими событиями.

Результаты этого обследования поначалу были не слишком обнадеживающими, однако когда мы их систематизировали, выявилась многозначительная тенденция: самые страшные события случались либо поблизости от заброшенного дома, либо в местах, соединенных с ним участками мрачного, нездорово разросшегося леса. Исключения были, это верно, — ведь последнее ужасное дело, привлечшее внимание широкой общественности, случилось на горной пустоши, удаленной и от особняка, и от прилегающего к нему леса.

Что же до природы и облика притаившегося ужаса, то мы ничего не добились от запуганных и недалеких обитателей хижин. В своих путаных рассказах они могли назвать его змеем и великаном, громовым дьяволом и летучей мышью, грифом-стервятником и бродячим деревом. Однако же мы, поразмыслив, рассудили, что это живое существо, весьма восприимчивое к электрическим бурям. Хотя в некоторых рассказах ему приписывали крылья, мы решили, что его отвращение к открытым пространствам делает более вероятной гипотезу о перемещениях по земле. Единственное, что ей не соответствовало, — стремительность, с которой эта тварь должна была передвигаться, дабы сотворить все, что ей приписывали.

Познакомившись с поселенцами поближе, мы нашли их во многих смыслах весьма симпатичными. Простодушные создания, постепенно деградирующие — вот чем они стали из-за своего злосчастного происхождения и отупляющей изоляции. Чужаков они боялись, но к нам постепенно привыкли и под конец помогали прорубаться сквозь заросли и обыскивать все закоулки дома в поисках притаившегося ужаса. Когда же мы попросили их помочь найти Беннета и Тоби, они впали в уныние, поскольку при всем желании быть нам полезными они были уверены, что эти жертвы ушли из мира так же бесповоротно, как и их пропавшие земляки. То, что многие из их сородичей были убиты или похищены (притом

что все крупные хищники в округе были давно уже истреблены), мы, конечно же, знали доподлинно и теперь в глубокой тревоге ждали очередных неизбежных трагедий.

К середине октября мы поняли, что почти ничего не достигли. Ночи стояли ясные, поэтому никаких новых таинственных нападений не происходило, и после тщательных и бесполезных поисков в доме и в его окрестностях мы почти уверились, что притаившийся ужас есть нечто нематериальное. Мы опасались, как бы наступление холодов не положило конец поискам, ибо все сходилось на том, что зимою демон, как правило, не объявляется. Поэтому мы отчаянно спешили, последний раз обследуя разоренную деревушку, где теперь никто не жил — скваттеры обходили ее стороной.

Это злосчастное поселение было безымянным и располагалось в укрытом от ветров, хотя и безлесном месте, в расщелине между Конической горой и Кленовым холмом, ближе к последнему. Некоторые из неказистых жилищ на деле были землянками, врытыми в его склон. Деревушка находилась в двух милях к северо-западу от Вершины Бурь и в трех — от особняка с его старыми дубами. При этом между деревушкой и особняком лежали две с четвертью мили совершенно открытого пространства, вполне ровного, если не считать нескольких вытянутых змееподобных бугров, и росла там лишь трава да кое-где кустарник. Разобравшись в этой топографии, мы решили наконец, что демон, должно быть, явился со стороны Конической горы, лесистый южный склон которой тянулся почти до западного отрога Вершины Бурь. Полосу вспученной земли мы придирчиво осмотрели вплоть до одинокого дерева на склоне Кленового холма, расщепленного ударом молнии, — явственный знак дьявольского присутствия.

Когда мы с Артуром Манро, наверное, в двадцатый раз скрупулезно изучали каждый дюйм истребленной деревни, мы оба ощутили неясный, неизвестный нам прежде страх. В высшей степени странно и жутко — даже здесь, где странность и жуть были обычны, — не обнаружить никаких следов на месте, где происходили ошеломляющие события. С печаль-

ным усердием, какое обычно сопутствует ощущению беспомощности при необходимости действовать, мы бродили под свинцовым небом, но работали серьезно и дотошно: еще раз вошли в каждый дом, снова искали тела в землянках на склонах холма, проверили каждый фут жесткой земли — нет ли там нор или пещер, и все безрезультатно. И вот, как я уже сказал, новые смутные страхи угрожающе повисли над нами, словно огромные крылатые грифоны, хищно вззирающие из космических глубин.

Приближался вечер, становилось все труднее рассмотреть что-либо, рокотала гроза, собиравшаяся над Вершиной Бурь. Понятно, что эти звуки, слышимые в таком месте, угнетали нас — хотя и не так сильно, как это было бы ночью. Мы очень надеялись, что гроза продолжится и после наступления темноты, и с этой надеждой оставили бесцельные поиски на холме и направились к ближайшей деревне, чтобы найти поселенцев для помощи в изысканиях. Они были люди робкие, однако несколько мужчин помоложе, бывало, соглашались помочь, полагаясь на наши руководство и защиту.

Но мы не успели отойти далеко, как с неба вдруг обрушилась слепящая стена дождя, от которого нужно было срочно искать убежище. Из-за необычайной, почти ночной темноты мы постоянно спотыкались, но благодаря частым вспышкам молний и отличному знанию деревушки скоро добрались до наименее дырявой из здешних хижин, кое-как сколоченной из досок и бревен; ее дверь и единственное крошечное окно выходили на Кленовый холм. Закрыв дверь, чтобы защититься от свирепого ветра и дождя, мы поставили на место неказистый ставень — так как мы часто здесь бывали, то знали, где его искать. Угнетающее занятие — сидеть на хлипких ящиках в полной тьме, но мы курили трубки и время от времени светили вокруг карманными фонариками. То и дело сквозь щели в стенах сверкали молнии; было так темно, что каждая вспышка казалась неестественно яркой.

Разгул бури напомнил мне о жуткой ночи на Вершине Бурь, и я содрогнулся. Мои мысли вернулись к тому, что непрерывно тревожило меня после этого кошмара; я снова спросил

себя, почему демон, набросившийся на нас то ли со стороны окна, то ли изнутри дома, начал с людей, лежавших с краю, оставив среднего напоследок, пока гигантская молния не прогнала его? Почему он не хватал свои жертвы по порядку, откуда бы он ни появился? В любом случае я должен был быть вторым. Как он орудовал своими всепроникающими щупальцами? Или он знал, что я — главный, и поэтому сохранил меня для участи еще худшей, чем участь моих товарищей?

В разгар этих размышлений, словно для того, чтобы придать им еще больше драматизма, поблизости ударила ужасающей силы молния, затем послышался шум оползня, и сейчас же волчий вой ветра поднялся в дьявольском стонущем крещендо. Мы поняли, что на Кленовом холме сокрушено еще одно дерево, и Манро, встав со своего ящика, подошел к оконцу, чтобы оценить масштабы разрушений. Едва он снял ставень, как вой ветра и дождя оглушил нас, и я не расслышал его слов. Я сидел и ждал, а Манро высунулся, пытаясь разобрататься в этом аду.

Тем временем ветер стал утихать, а необычная тьма рассеивалась — буря уходила. У меня была надежда, что она продлится до ночи, что помогло бы нашему расследованию, однако сквозь дыру в стене проглянул робкий солнечный лучик, значит, рассчитывать на это не приходилось. Сказав Манро, что стоит впустить побольше света, даже если дождь вновь усилится, я открыл грубо сколоченную дверь. Снаружи были сплошные лужи и грязь, лежали свежие груды земли от недавнего оползня, и не видно было ничего интересного, ничего такого, что мой товарищ мог бы рассматривать, высунувшись в окно. Я подошел к нему, тронул за плечо — он не шевельнулся. Тогда я шутливо потряс его, повернул к себе и ощутил ледяную хватку ужаса, уходящего корнями в неимоверно далекое прошлое и непредставимые глубины ночи, властвующей над временем.

Артур Манро был мертв. И то, что оставалось на его изгрызенной, изжеванной голове, не могло больше считаться лицом.

КРАСНЫЙ ОТБЛЕСК

Ночью восьмого ноября 1921 года, под изнурительным дождем и ветром, с фонарем, отбрасывающим кладбищенские тени, я в одиночку с тупым упрямством раскапывал могилу Яна Мартенса. Работа началась после полудня, поскольку надвигалась гроза, и теперь я радовался темноте и тому, что гроза бушевала над толстой крышей листвы.

Я сознаю, что несколько повредился в уме после событий пятого августа: дьявольская тень в особняке, сильнейшее напряжение и разочарование — и еще то, что произошло в хижине во время октябрьской бури. После случившегося в хижине я выкопал могилу человеку, чья смерть была мне непонятна. Было очевидно, что и другие не смогут ее понять, так что пусть думают, будто Артур Манро уехал. Его искали и не нашли. Скваттеры, возможно, были в состоянии понять, что случилось, но мне не хотелось пугать их еще сильнее. Я же до странности очерствел. Потрясение, испытанное в особняке, сказалось на моем разуме, и я мог думать только о своей цели, о поисках ужаса, выросшего до масштабов стихии в моем воображении, о расследовании, из-за которого Артур Манро погиб и тем самым обрек меня на молчание и одиночество.

Одна только картина производимых мною раскопок могла бы лишить спокойствия мирного обывателя. Зловещие реликтовые деревья пугающей толщины — древние, причудливо изогнутые — высились надо мною подобно колоннам дьявольского друидского замка; они поглощали шум грозы, гасили резкий ветер и почти не пропускали дождя. За их искалеченными стволами вздымались, освещаемые пробившимися сквозь листву слабыми вспышками молний, мокрые, заросшие плющом стены брошенного дома; меня отделял от них запущенный голландский сад, дорожки и клумбы которого были осквернены никогда не видевшей солнца белесой грибовидной порослью, источавшей зловоние. Ближе всего ко мне было кладбище, где кривые деревья простирали свои больные ветви и выворачивали корнями неосвященные плиты, выс-

сывая отраву из того, что находилось под ними. Там и здесь под коричневым саваном гниющих листьев различались зловещие очертания бугорков и рытвин, характерных для мест, куда часто бьют молнии.

К древней могиле меня привела история. Ничего, кроме истории, у меня не осталось, все остальное было лишь дьявольской насмешкой. Теперь я уверился, что притаившийся ужас не был существом во плоти, но неким призраком с волчьими клыками, оседлавшим полуночные молнии. И я уверился, разобравшись вместе с Артуром Манро в местных легендах, что это был призрак Яна Мартенса, умершего в 1762 году. Поэтому я с дурацким упорством раскапывал его могилу.

Особняк Мартенсов был возведен в 1670 году Герритом Мартенсом, состоятельным купцом из Нового Амстердама, которому не нравились новые порядки под властью Англии и он построил себе великолепный дом здесь, на удаленной лесистой вершине. Ему доставляла удовольствие ее никем не нарушаемая уединенность и необычное местоположение. Единственным заметным недостатком этой местности были неистовые летние грозы. Когда минхер Мартенс выбирал место и возводил особняк, он еще мог полагать, что эти частые природные катаклизмы — случайность, однако со временем убедился, что холм как нарочно приспособлен для таких явлений. Наконец он посчитал, что бури вызывают у него головную боль, и оборудовал погреб, в котором мог скрываться от их самых свирепых налетов.

О наследниках Геррита Мартенса известно меньше, чем о нем, поскольку все они были тверды в ненависти к английской культуре и научились держаться в стороне от колонистов, ее принявших. Они жили на редкость замкнуто, и в округе утверждали, что Мартенсы с трудом говорят и с трудом понимают других людей. Их внешность была отмечена особой наследственной чертой: один глаз у них у всех был голубой, а другой — карий. С соседями они общались все реже и реже, пока не начали наконец вступать в браки со своими слугами. Многие члены этой разросшейся семьи выродились, переселились на другую сторону долины, смешались с тамош-

ними полукровками и со временем превратились в жалких скваттеров. Другие угрюмо влачили жизнь в родовом особняке, становясь все более необщительными и обнаруживая нервическую чувствительность к частым в этих местах грозам.

Большая часть этих сведений стала известна за пределами округа благодаря юному Яну Мартенсу; будучи человеком неумным, он вступил в армию колоний после того, как слух о конгрессе в Олбани достиг Вершины Бурь. Ян был первым из потомков Геррита, повидавшим свет, и, когда в 1760 году он возвратился после шестилетней кампании, отец, дядя и братья встретили его с ненавистью, как чужака, несмотря на его характерные мартенсовские глаза. Теперь он не разделял мартенсовских чудачеств и предрассудков, и даже горные грозы перестали действовать на него, как прежде. Зато его угнетало окружение, и он часто писал своему другу в Олбани, что собирается покинуть родительский кров.

Весной 1763 года этот его друг, Джонатан Гиффорд, обеспокоился молчанием своего корреспондента — тем более что знал об обстановке и ссорах в мартенсовском особняке. Решив лично навестить Яна, он оседлал коня и отправился в горы. В дневнике Джонатана указано, что он достиг Вершины Бурь двадцатого сентября и обнаружил усадьбу в крайне запущенном состоянии. Мартенсы угрюмо смотрели на него своими странными глазами — их мерзкий, почти звериный облик потряс его. На ломаном гортанном языке они объяснили, что Ян умер. Уверяли, что прошлой осенью его убило молнией и он похоронен в низине за давно уже заброшенным садом. Они показали гостю могилу — холмик земли без каких-либо памятных знаков и надписей. Что-то в поведении Мартенсов вызвало у Гиффорда сильнейшее отвращение и дало ему повод для подозрений. Неделью спустя он вернулся с лопатой и киркой, чтобы тайно исследовать захоронение, и обнаружил то, что и ожидал найти: череп, разбитый беспощадными, свирепыми ударами, так что, вернувшись в Олбани, он открыто обвинил Мартенсов в убийстве их родича.

Хотя сказать это со всей определенностью было нельзя, слухи стремительно распространились по всей округе, и с той

поры Мартенсы сделались изгоями. Никто не желал иметь с ними дела, и все сторонились их имения как места проклятого. Они же, видимо, приспособились жить независимо, на том, что производили сами, — ибо временами с отдаленных холмов были видны огни, указывавшие на присутствие в имении людей. Огни появлялись — хотя и все реже — вплоть до 1810 года.

Между тем возник целый свод страшных легенд об особняке и о горе. Этих мест стали избегать с еще большим тщанием, а к прежним легендам прибавлялись все новые. Дом не посещали вплоть до 1816 года, когда скваттеры наконец обратили внимание на длительное отсутствие огней. После этого несколько человек пошли на разведку; дом оказался необитаемым и частично разрушенным.

Там не нашли человеческих скелетов, поэтому причиной исчезновения Мартенсов сочли отъезд, а не смерть. Казалось, семейство отбыло за несколько лет до того, а по более поздним пристройкам можно было судить, насколько многочисленным оно стало ко времени своего переселения. В культурном отношении Мартенсы совершенно опустили: на это указывала разломанная мебель и валявшееся кругом столовое серебро, которым, должно быть, перестали пользоваться задолго до отъезда. Однако, хотя зловещие Мартенсы и ушли, ужас перед их домом сохранился и стал еще пронзительней, когда новые странные истории стали растекаться среди обитателей гор. Так и стоял этот дом — брошенный, внушающий страх и навешаемый мстительным призраком Яна Мартенса. Так он и стоял в ночь, когда я раскапывал могилу.

Я уже назвал свое занятие дурацким, таким оно и было — и по тому, *что* я искал, и по тому, *как* я это делал. В выкопанном гробу обнаружилось только немного праха, но я в неистовом стремлении извлечь призрака Мартенса продолжал бессмысленно и неуклюже рыть. Одному Богу ведомо, чего я ожидал, — а ощущал я лишь то, что все глубже копаю могилу человека, призрака которого бродит по ночам.

Трудно сказать, на какой чудовищной глубине лопата, а за ней и мои ноги провалились в землю. Происшествие чрезвычайное.

чайное и пугающее, поскольку существование подземелья давало моим безумным теориям ужасное подтверждение. Скатываясь вниз, я повредил фонарь и теперь достал карманный электрический фонарик. В обе стороны уходил узкий коридор, достаточно просторный, чтобы по нему можно было ползти; и хотя никто в здравом рассудке не решился бы на это, я, обуреваемый лихорадочным стремлением отыскать притаившийся ужас, забыл об опасности, о разумной осторожности и брезгливости. Решив, что буду двигаться в направлении дома, я отчаянно пополз туда по узкому проходу, стремительно и почти вслепую, лишь изредка включая фонарик.

Кто сумел бы описать подобное зрелище: человек, затерянный под невероятной толщей земли, он скребется, извивается, едва дышит, изо всех сил продвигается на четвереньках сквозь толщу древней тьмы, не думая о времени, безопасности, направлении и цели... Ужасно, но именно этим я и занимался. Занимался так долго, что жизнь поблекла, как старые воспоминания, остались лишь темнота и я, словно превратившийся в крота или гусеницу. Лишь долгое время спустя я снова вспомнил об электрическом фонаре и осветил проход в пласте глины, который шел прямо, а затем плавно поворачивал.

Какое-то время еще я пробирался по нему на четвереньках, свет фонарика стал совсем тусклым, затем проход круто пошел вверх, так что пришлось двигаться медленней. Я поднял глаза и внезапно увидел вдалеке два жутких отражения моего гаснущего фонаря — два отражения, излучавшие погибель и пробуждавшие туманные воспоминания, способные свести с ума. Непроизвольно я остановился — хотя отступить не догадался. Глаза приближались, кроме них у этой твари различима была только когтистая лапа. Но какая это была лапа! Где-то над головой послышался знакомый грохот — неистовый гром разыгравшейся в горах яростной грозы. Должно быть, я довольно далеко прополз вверх и оказался вблизи поверхности. И пока громыхал этот приглушенный гром, глаза смотрели на меня с бессмысленной злобой.

Благодарение Богу, я тогда не стал выяснять, что это такое, иначе мне пришлось бы расстаться с жизнью. Спасла меня та

самая гроза, которая вызвала эту тварь из небытия: после минуты страшного ожидания с невидимых небес ударила одна из тех частых в горах молний, следы которых — борозды взрытой или горелой земли — я замечал во многих местах. Неистовой силы молния пробила своды проклятой норы, ослепив и оглушив меня, но не обездвигив полностью.

Беспомощно барахтаясь, я выкарабкивался из-под осыпающейся земли, пока наконец потоки дождя не привели меня в чувство. Я понял, что выбрался на поверхность в знакомом месте, на крутом безлесном склоне с юго-западной стороны горы. Непрерывные вспышки молний освещали изрытую почву и остаток странной низкой насыпи, тянущейся вниз с лесистого склона, но в этом хаосе я не нашел даже следа того места, где выбрался из смертоносных катакомб. В моей голове царил такой же хаос, как на земле, и, глядя на мерцавший вдалеке, с южной стороны, красный отблеск, я вряд ли признавал весь ужас того, через что мне пришлось пройти.

Но два дня спустя, узнав от скваттеров, что означал красный отблеск, я ощутил еще большее потрясение, чем в глиняном лазе, видя страшные глаза и лапу. Еще большее — из-за ошеломляющего предположения. Вслед за ударом молнии, благодаря которой я очутился на поверхности, в деревушке, что была в двадцати милях оттуда, разыгралась очередная трагедия: безвестная тварь прыгнула на хлипкую крышу одной из хижин с нависшего над ней дерева. Она получила свою жертву, но скваттеры в неистовстве успели поджечь хижину прежде, чем тварь ускользнула, и она обрушилась в тот самый миг, когда земля поглотила тварь, глаза и лапу которой я видел.

4

УЖАС В ГЛАЗАХ

Вряд ли можно считать человека душевно здоровым, если он, зная все, что знал я об опасностях Вершины Бурь, собрался в одиночку отыскивать притаившийся там ужас. Хотя два

воплощения ужаса были уничтожены, это давало весьма слабую гарантию душевной и физической безопасности в здешнем подземном царстве многоликой дьявольщины; я истинно стремился к цели, между тем как события, а с ними и мои выводы становились все более чудовищными.

Узнав спустя два дня после жуткой встречи в подземном лазе, что в тот самый миг, когда глаза твари сверкнули передо мною, еще одна ей подобная объявилась в двадцати милях от того места, я испугался чуть не до смерти. Однако к страху примешивалось столь сильное изумление и ощущение причудливости происходящего, что ощущение казалось почти приятным. Порой в кульминации ночного кошмара, когда невидимые силы влекут тебя над крышами странных мертвых городов к ухмыляющейся пропасти Никты, с каким облегчением и даже удовольствием можно завопить во весь голос, кидаясь в бездонную всепоглощающую пучину ночных образов. Примерно так же действовали на меня новые происшествия на Вершине Бурь. Обнаружив, что здесь обитали два чудовища, я ощутил бешеное стремление перерыть всю землю в проклятом месте и голыми руками вытащить наружу свирепую смерть, таившуюся в каждом дюйме отравленной земли.

При первой возможности я пришел на могилу Яна Мартенса и стал копать на прежнем месте, но напрасно. Сильнейший обвал засыпал все следы подземного прохода, да и от ямы почти ничего не осталось и нельзя было понять, насколько глубоко я пробился в прошлый раз. Затем я совершил нелегкое путешествие в отдаленную деревушку, где сожгли смертоносную тварь, но был мало чем вознагражден за труды. Среди пепла роковой хижины нашлось несколько костей, по всей видимости, не принадлежавших чудовищу. По словам скваттеров, жертва была только одна, но я счел, что они ошиблись, поскольку кроме целого человеческого черепа там нашелся обломок другого, разбитого, по-видимому, тогда же. Многие видели стремительный прыжок чудовища, но никто не мог сказать доподлинно, на что оно походило; скваттеры именовали его просто дьяволом. Я обследо-

вал огромное дерево, на котором эта тварь пряталась, и не отыскал никаких определенных мет. Попытался также найти след, ведущий в чернолесье, но в этот раз не смог выдержать вида чудовищно огромных стволов и толстых змееподобных корней, зловеще выходящих по поверхности, прежде чем нырнуть под землю.

Затем мне предстояло тщательнейшим образом еще раз исследовать заброшенную деревушку, где смерть нанесла самый страшный удар, где Артур Манро видел нечто, о чем не успел рассказать. Я и в прошлый раз вел поиски предельно внимательно, хотя и безрезультатно; теперь же у меня появились новые основания для их проверки: страшный путь ползком под землею убедил меня, что по крайней мере одна разновидность ужаса была подземной тварью. В этот раз, четырнадцатого ноября, моей главной задачей было изучить склоны Конической горы и Кленового холма, обращенные к злосчастной деревушке, причем особое внимание я обращал на рыхлую землю оползней на Кленовом холме.

Полдня поисков ничего не прояснили, и в сумерках я стоял на этом холме, глядя вниз на деревушку и — через долину — на Вершину Бурь. Догорел великолепный закат; взошла почти полная луна; она заливала серебристым светом равнину, отдаленный склон горы и странные низкие холмики, вздымающиеся там и сям. Картина идиллическая, но я знал, *что* под нею скрыто, и потому ненавидел все это. Ненавидел обманщицу-луну, лживо-мирную долину, набухшую, как нарыв, гору и эти зловещие холмики. Казалось, на всем лежит печать какой-то вредоносной силы, чьей-то тайной и страшной власти.

Рассеянно оглядывая залитую лунным светом панораму, я вдруг отметил своеобразие ландшафта, некую повторяющуюся топографическую деталь. Не обладая специальными познаниями в геологии, я с самого начала заинтересовался холмиками и насыпями, характерными для этой местности. Отметил, что они во множестве разбросаны вокруг Вершины Бурь, что их меньше в долинах, чем у вершины, где доисторические ледники, несомненно, встречали меньшее сопротив-

ление своим причудливым подвижкам. И сейчас, при свете низкой луны, меня вдруг осенило: отдельные точки и ряды этой системы холмиков, отбрасывающих таинственные тени, были явно и странно связаны с верхней точкой Вершины Бурь. Она была несомненным центром, от которого расходились их неровные линии, словно дряхлый особняк Мартенсов выпустил зримые щупальца ужаса. Мысль об этих вредоносных щупальцах отозвалась во мне необъяснимой дрожью, и я впервые усомнился в ледниковом происхождении этих холмиков.

Чем больше я раздумывал, тем больше сомневался в этом, и с моих глаз словно спала пелена. Я почувствовал: между тем, что я видел в подземелье, и тем, что происходило на поверхности, существует причудливая пугающая связь. Еще не до конца поняв, в чем дело, я стал лихорадочно бормотать: «О господи!.. Кротовины... проклятое место все изрыто... как их много... той ночью в доме... они сначала утащили Беннета и Тоби... по обеим сторонам...» И принялся раскапывать ближайший холмик, копать отчаянно, неистово, даже ликуя, и наконец громко вскрикнул от некоего невнятного чувства, дорывшись до туннеля или лаза, точно такого, по какому я полз тою дьявольской ночью.

Помню, что затем я бросился бежать с лопатой в руке; это был бешеный бег по залитым луной, покрытым холмиками лугам, сквозь мрак зловещего призрачного леса на крутом склоне холма; вскрикивая, задыхаясь, я мчался прыжками к страшному особняку Мартенсов. Помню, как наудачу раскапывал заросший шиповником погреб — копал, чтобы найти самую сердцевину губительной сети. И помню, как хохотал, провалившись в подземный проход, в отверстие у основания старого камина, поросшего бурьяном; трава отбрасывала тревожные тени в свете свечи, которая случайно оказалась у меня с собой. Сколько еще тварей притаилось в этом адском улье, ожидая грозы, чтобы выйти наружу, я не знал. Две были убиты — возможно, больше их не существовало. Но я горел решимостью добраться до последней тайны ужаса, который снова казался мне конкретным и телесным.

Мои нерешительные раздумья о том, стоит ли исследовать проход немедленно и в одиночку, с этим жалким источником света, или попытаться собрать команду скваттеров, были прерваны внезапным порывом ветра, погасившим свечу и оставившим меня в непроглядной тьме. Луна больше не светила сквозь отверстия и проемы в стенах; с чувством обреченности я услышал злое, многозначительный рокот надвигающейся грозы. Мысль о том, что может произойти, заставила меня отступить в дальний угол погребца. Но я не сводил глаз с пугающего отверстия у основания камина. Отдаленные вспышки молний проникали сквозь заросли, окружавшие погреб, и освещали развалившиеся стены, выхватывая из темноты битые кирпичи и полузасохший бурьян. Меня снедали страх и любопытство. Что вызовет к жизни эта буря — и есть ли там, в глубине, то, что может быть вызвано? При свете молнии я выбрал себе укрытие, густой бурьян, сквозь который мог видеть отверстие, оставаясь сам невидимым.

Если небеса проявят милосердие, я когда-нибудь смогу забыть увиденное и мирно доживу положенные мне годы. Сейчас же я не сплю ночами, а при грозах вынужден принимать опий. Это началось внезапно, без предупреждения: из неведомой норы, подобно крысе, метнулась одна тварь, раздалось дьявольское пыхтение и приглушенное хрюканье, и потом из отверстия под камином хлынули потоком омерзительные, словно изъеденные проказой, уродливые твари, страшнее самой смерти и самого безумия. Вскипая, булькая, пузырясь подобно змеиному яду, этот поток изливался из зияющего отверстия, растекался, как гной, и устремлялся из погреба, чтобы распространиться по проклятому полуночному лесу, неся с собой ужас, безумие и смерть.

Бог знает, сколько их было — должно быть, сотни. Вид этого потока при мерцающем свете молний потрясал душу. Когда он поредел и стали мелькать отдельные твари, я увидел, что они похожи на гномов — уродливые волосатые не то черти, не то обезьяны, чудовищная дьявольская карикатура на обезьянье племя. Они были отвратительно безмолвны, лишь однажды послышался визг, когда один из отставших принял-

ся умело и привычно свежевать ослабевшего соседа. Другие тоже набросились на останки и, истекая слюной, пожирали их. После этого, как ни странно, болезненное мое любопытство взяло верх над оцепенением, страхом и отвращением: когда последний уродец выбрался из подземелий неведомых кошмаров, я достал автоматический пистолет и в момент громового удара застрелил его.

Вереница вопящих ускользящих теней багрового безумия — они охотились друг на друга под кроваво-красными полосами грозового неба... бесформенные фантомы и мгновенная смена отвратительных сцен... чудовищно разбухшие дубы, змееподобные корни которых, извиваясь, сосали неведомые яды из земли, отравленной мириадами дьяволов-каннибалов... холмики-щупальца чудовищного подземного осьминога... жуткие сполохи молний над мрачными стенами, поросшими плющом... ужасные аллеи с бесцветной грибовидной порослью... Благодарение небу, инстинкт привел меня к людскому поселению, к мирной деревне, спавшей под спокойными звездами на прояснившемся небе.

Неделю я приходил в себя, затем послал в Олбани за командой взрывников, чтобы динамитом стереть с лица земли особняк Мартенсов на Вершине Бурь, уничтожить все холмики, подземные ходы и насосавшиеся ядов деревья, само существование которых казалось мне символом несчастья. Когда все это было проделано, я понемногу начал спать, но истинный отдых невозможен, пока жива память о тайне притаившегося ужаса. Она будет преследовать меня, ибо кто может поручиться, что уничтожение было полным, что подобных явлений более не существует в природе? Кто, обладая моими знаниями, может думать о неведомых подземных пустотах, не мучаясь страшными видениями грядущих бед? До сих пор мне трудно смотреть на колодец или вход в подземку... почему врачи не могут дать мне достаточно сильных лекарств, чтобы я спал по ночам, чтобы успокоить меня, когда налетает гроза?

То, что я увидел при вспышке молнии после того, как застрелил тварь, отставшую от потока, оказалось таким прос-

тым, что прошла минута, прежде чем я понял все это — и впал в иступление. Существо было тошнотворно: грязно-белое подобие гориллы с острыми желтыми клыками и взъерошенной шерстью — результат вырождения, устрашающий продукт кровосмешения и пожирания себе подобных на земле и под землею; воплощение рычащего хаоса и ухмыляющегося ужаса, что таится по ту сторону жизни. Умирая, оно глядело на меня странными глазами, такими же, как те, что уставились на меня в подземелье, пробуждая туманные воспоминания. Один глаз был голубой, другой — карий: глаза Мартенсов, описанные в старых легендах. И, застыв от ужаса, я понял, что случилось с исчезнувшей семьей и страшным, притягивающим молнии домом Мартенсов.

ПРАЗДНИК

Efficiut Daemones, ut quae non sunt, sic tamen
quasi sint, conspicienda hominibus exhibeant.

*Лактанций*¹

Мой дом остался далеко позади, и я весь был во власти чар восточного моря. Уже стемнело, когда я услышал шум прибоя и понял, что море находится вон за тем холмом с прихотливыми силуэтами ив на фоне прояснившегося неба и первых ночных звезд. Я должен был исполнить завет отцов и потому бодро шагал по дороге, покрытой тонким слоем свежевывавшего снега, вверх по склону холма — в ту сторону, где Альдебаран мерцал среди ветвей. Я спешил в старинный город на берегу моря, где ни разу прежде не бывал, хотя часто грезил о нем.

Это было в дни праздника, который люди называют Рождеством, в глубине души зная, что он древнее Вифлеема и Вавилона, древнее Мемфиса и самого человечества. Именно в эти дни я добрался до старинного города на берегу моря, где некогда жил мой народ — жил и отмечал этот праздник еще в те незапамятные времена, когда он был запрещен. Несмотря на запрет, из поколения в поколение передавался наказ: отмечать праздник каждые сто лет, дабы не угасала память о первозданных тайнах. Народ мой был очень древним, он был древним уже триста лет назад, когда в этих краях появились первые переселенцы. Предки мои были чужими в здешних местах, ибо пришли сюда из южных стран, где в са-

¹ Силы зла могут заставить людей поверить в такие вещи, которых не существует в действительности (*лат.*).

дах пьяняще благоухают орхидеи. Это были темноволосые нелюдимые люди, говорившие на непонятном языке и лишь постепенно освоившие наречие местных голубоглазых рыбаков. Потом мой народ разбросало по свету, и объединяли его одни лишь ритуалы, тайный смысл которых навеки утерян для ныне живущих. Я был единственным, кто согласно завету в эту ночь вернулся в старинный рыбацкий поселок, ибо только бедные и одинокие умеют помнить.

Я достиг вершины холма и в наступивших сумерках разглядел у его подножия Кингспорт: заснеженный город с затейливыми флюгерами и шпилями, старомодными крышами и дымниками на печных трубах, причалами и мостками, деревьями и погостами; с бесчисленными лабиринтами улочек, узких, извилистых и крутых, сбегających с крутого холма в центре города, увенчанного церковью, которую пощадило время; с невообразимой мешаниной домов колониального периода, разбросанных тут и там и громоздящихся под разными углами и на разных уровнях, словно кубики, раскиданные рукой младенца. Древность парила на седых крылах над посеребренными морозом кровлями. Один за другим в окнах вспыхивали огни, вместе с Орионом и бессмертными звездами освещая холодные сумерки. Волны прибоя мерно ударили в полусгнившие пристани — там затаилось море, вечное загадочное море, откуда некогда вышел мой народ.

Рядом, чуть в стороне от дороги, возвышался еще один холм, лишенный растительности и открытый всем ветрам. На нем располагалось кладбище — я понял это, когда, приглядевшись, увидел черные надгробия. Они зловеще вырисовывались в темноте, словно полусгнившие ногти гигантского мертвеца. Дорога выглядела заброшенной, снег на ней был нетронут. Временами мне чудилось, будто издалека доносится какой-то звук, жуткий и размеренный, напоминающий скрип виселицы на ветру. В 1692 году в этих местах были повешены по обвинению в колдовстве четверо моих родичей, но точное место казни мне было неизвестно.

Спускаясь по дороге, прихотливо петлявшей по склону, я изо всех сил прислушивался, пытаюсь уловить оживленный

гомон, столь обычный для таких небольших городков в вечерние часы, но не расслышал ни звука. Тогда, подумав о том, что на дворе Рождество, я решил, что освященные веками традиции здешних пуритан вполне могут отличаться от общепринятых и, вероятно, предполагают тихую набожную молитву в кругу домочадцев. После этого я больше не прислушивался и не искал взглядом попутчиков, но спокойно продолжал свой путь мимо тускло освещенных фермерских домов и погруженных во мрак каменных оград — туда, где вывески на старинных лавках и тавернах для моряков поскрипывали на соленом морском ветру, где вычурные кольца на дверях зданий поблескивали при свете крошечных занавешенных окон, выходящих на безлюдные немощные улочки.

Я заранее ознакомился с планом города и знал, как пройти к дому, где меня должны были признать за своего и оказать мне радушный прием — деревенские обычаи живут долго. Уверенным шагом я проследовал по Бэк-стрит к зданию окружного суда, пересек по свежему снегу единственную в городе плиточную мостовую и очутился за Маркет-хаусом, где начиналась улица Грин-лейн. Планы города, изученные мною, были составлены очень давно, однако с тех пор Кингспорт ничуть не изменился, и я не испытывал никаких затруднений, выбирая дорогу. Правда, в Аркхеме мне сказали, что здесь ходят трамваи, но я не видел над собой проводов; что же касается рельсов, то их все равно не было бы видно из-под снега. Впрочем, я не пожалел, что решил идти пешком — с вершины холма заснеженный городок выглядел таким привлекательным! Чем ближе я подходил к цели, тем непреодолимее становилось мое желание постучать в двери дома, где жили мои соплеменники, седьмого по счету дома на левой стороне Грин-лейн, со старомодной остроконечной крышей и выступающим вторым этажом, как строили до 1650 года.

Когда я подошел к нему, внутри горел свет. Судя по ромбовидным окнам, дом поддерживался в состоянии, весьма близком к первоначальному. Верхняя его часть выдавалась вперед, нависая над узкой улочкой и едва не касаясь выступающего верхнего этажа дома напротив, так что я оказался

как бы в туннеле. Низкий каменный порог был полностью очищен от снега. Тротуара я не заметил; входные двери многих соседних домов располагались высоко над землей, к каждой из них вели лестницы в два пролета с железными перилами. Все это выглядело довольно необычно: я не был уроженцем Новой Англии и никогда не видел ничего подобного. В целом мне здесь понравилось, и, вероятно, я бы даже нашел окружающий вид приятным для глаза, если бы еще по улицам ходили люди, если бы на снегу виднелись следы, если бы хоть на некоторых окнах были подняты шторы.

Взявшись за железное дверное кольцо, я ощутил какой-то безотчетный страх. Ощущение это вызревало во мне давно; причинами его могли служить и необычность моего положения, и промозглые сумерки, и непонятная тишина, царившая в этом старинном городе с его странными обычаями. И когда мой стук вызвал отклик, я струсил окончательно — ибо перед тем, как дверь, скрипя, отворилась, я не услышал ничего похожего на звуки приближающихся шагов. Впрочем, испуг мой длился недолго: у открывшего мне дверь старика в домашнем халате и шлепанцах было доброе лицо, и это меня несколько успокоило. В руках он держал перо и восковую табличку, на которой тут же нацарапал витиеватое, в старинном стиле приветствие, предварительно показав мне жестами, что он немой.

Поманив меня за собою, хозяин провел меня в освещенную свечами комнатуху с массивными открытыми стропилами на низком потолке, скудно обставленную скромной, потемневшей от времени мебелью семнадцатого века. Вся комната была олицетворением прошлого; ни одна деталь не была упущена. Здесь была и разверстая пасть очага, и прятка, у которой спиной ко мне сидела согбенная старушка в халате и чепце. Несмотря на праздничный день, она была занята работой. В воздухе ощущалась какая-то непонятная сырость, и я подивился тому, что в очаге не горит огонь. Слева от меня, напротив ряда занавешенных окон, стояла скамья, повернутая ко мне своей высокой спинкой, и мне показалось, что на ней кто-то сидит, однако я не был в этом уверен. Обстановка по-

действовала на меня угнетающе, и я вновь ощутил давешний безотчетный страх. Более того, страх этот усилился, и причиной этому было именно то, что лишь недавно его заглушило: я имею в виду доброе лицо старика, ибо чем дольше я в него всматривался, тем более меня ужасала сама доброта его. Неподвижные, застывшие зрачки, кожа белая, как воск... Внезапно я понял, что это вовсе не лицо, а маска, дьявольски искусная маска. И еще меня поразило то, что старик был в перчатках. Трясущимися руками он снова нацарапал что-то на табличке. Я прочел: мне вежливо предлагалось немного подождать, прежде чем меня отведут к месту празднества.

Указав на стул, стол и стопку книг, хозяин удалился. Усевшись, я принялся рассматривать книги; это были старинные, почтенные фолианты, но притом самого шокирующего свойства: «Чудеса науки» Морристера, «Saducismus Triumphatus» Джозефа Глэнвилла, изданный в 1681 году, «Демонология» Ремигия, напечатанная в 1595 году в Лионе, и, наконец, самый жуткий из вышеперечисленных опусов, чудовищный и непотребный «Некрономикон» безумного араба Абдула Альхазреда в запрещенном латинском переводе Олауса Вормия — я ни разу не видел этой книги, но слышал о ней самые ужасные вещи. Со мной не вступали в разговор, тишина нарушалась лишь скрипом уличных вывесок, колеблемых ветром, да мерным жужжанием прялки, у которой старушка в чепце все пряла и пряла свою бесконечную пряжу. И комната, и книги, и хозяева дома — словом, все вокруг действовало на меня угнетающе, вселяло безотчетную тревогу, но я должен был исполнить завет отцов и принять участие в этих странных торжествах, с какими бы неожиданностями мне ни пришлось столкнуться. Поэтому я взял себя в руки и принялся за чтение. Вскоре моим существом всецело, до дрожи, завладело одно место в этом проклятом «Некрономиконе», где высказывалась некая мысль и приводилась некая легенда — и та и другая настолько жуткие, что противоречили здравому рассудку и просто не укладывались в голове. Однако я бросил книгу, не дочитав до конца страницы, поскольку мне послышалось, как закрывается одно из окон напротив скамьи — получается,

что перед этим оно было тихо отворено? Затем до меня донесся какой-то шум, совсем не похожий на звук хозяйкиной прялки. Впрочем, здесь я мог и ошибиться, потому что старуха работала очень энергично, а еще прежде раздался бой старинных часов. Что бы там ни было, но с этого момента у меня пропало ощущение, будто на скамье кто-то сидит, и я снова погрузился в чтение, трепеща над каждым словом, а потом в комнату вернулся хозяин. Он был одет в широкую старинную мантию и опустился на ту самую скамью, так что теперь я не мог его видеть. Да, ожидание было не из приятных, и нечестивая книга в моих руках делала его неприятным вдвойне. Но вот пробило одиннадцать, старик встал, скользнул к громоздкому резному сундуку в углу комнаты и вынул из него два плаща с капюшонами. Один из них он надел на себя, другим облек свою хозяйку, которая наконец-то оставила свое монотонное занятие. Затем они оба направились к выходу; старуха ковыляла, прихрамывая, а хозяин забрал у меня книгу, дал мне знак следовать за ним и натянул капюшон на свое неподвижное лицо-маску.

В то время как мы шли по безлунным извилистым улочкам этого невообразимо древнего города, в занавешенных окошках один за другим гасли огни, и Сириус мрачно взирал с небес на фигуры в рясах с капюшонами, которые безмолвно выходили из всех домов. Эти жуткие процессии шествовали по улицам города мимо скрипучих вывесок и допотопных фронтонов, соломенных крыш и ромбовидных окошек; ползли по крутым переулкам с навалившимися друг на друга скобоченными и полуразрушенными зданиями, пробирались через проходные дворы; и многочисленные фонари, качаясь, походили на леденящие душу пьяные созвездия.

Среди этих бесшумных толп двигался и я вслед за своим безмолвным вожатым; в мои бока упирались локти, казавшиеся неестественно мягкими; меня теснили тела, на удивление податливые, но я так и не разглядел ни одного лица, не услышал ни единого звука. Все выше и выше всходили кошмарные вереницы, и тут я увидел, что все они сливаются в один грандиозный широкий поток в том самом месте на вер-

шине горы в центре города, где сходились, как в фокусе, все эти улицы и где стояла величественная белокаменная церковь. Я уже видел ее с гребня холма над Кингспортом в сгущающихся сумерках и, помнится, затрепетал, когда мне показалось, будто Альдебаран на мгновение застыл на ее призрачном шпиле.

Церковь стояла в центре пустыря, часть которого была определена под кладбище, а другая часть представляла собой наполовину замощенную площадь, открытую всем ветрам и потому почти лишенную снежного покрова. Площадь окружали невообразимо древние дома с остроконечными крышами и нависающими фронтонами. Блуждающие огоньки танцевали над могилами, освещая унылые надгробия, которые, как ни странно, не отбрасывали теней. Глядя с вершины холма поверх кладбища, где ничто не загораживало обзора, я различал отблеск звезд на водной глади в бухте, в то время как сам город был погружен во мрак. Лишь изредка я замечал, как то один, то другой фонарь приближается со стороны города по одной из кривых улочек, чтобы присоединиться к толпе, которая между тем бесшумно входила в храм. Я стоял и ждал, пока все не скроется в черном проеме двери, в том числе и отставшие. Старик тянул меня за рукав, но я твердо решил войти последним. Уже переступая порог храма, в беспросветном мраке которого скрылись толпы, я обернулся, чтобы кинуть прощальный взгляд туда, где кладбищенские огоньки заливали тусклым светом мостовую. И, обернувшись, я содрогнулся. Как я уже говорил, почти весь снег был сметен ветром, но несколько белых пятен осталось на дорожке перед входом; так вот, обернувшись, я не различил на снегу ни единого отпечатка чьей-либо ступни, чужой или моей собственной.

Несмотря на множество внесенных фонарей, церковь была едва освещена, поскольку большая часть толпы уже скрылась. Отставшие спешно двигались по проходу между скамьями с высокими спинками и исчезали в темном провале люка, зиявшем прямо перед кафедрой. Вслед за ними и я спустился в черное душное подземелье. Хвост этой мрачной колонны

жутковато извивался, а когда я увидел, как он вползает в старый склеп, зрелище это показалось мне просто невыносимым. Очутившись внутри, я заметил, что процессия устремляется в какое-то отверстие в полу склепа, и через несколько секунд уже спускался вместе со всеми по грубо обтесанным ступеням узкой извилистой лестницы. Бесконечной спиралью она уходила в самые недра горы, извиваясь меж стен из оштукатуренных каменных блоков, сочащихся влагой. Это был долгий, утомительно долгий и безмолвный спуск, и через некоторое время я заметил, что стены и ступени приобретают совершенно другой вид, как если бы они были высечены в сплошной скале. Более всего меня угнетало то, что бесчисленные шаги не производили ни звука и не отдавались эхом. Казалось, прошла уже целая вечность, а мы все спускались и спускались, и тут мое внимание привлекли боковые коридоры или, скорее, ходы, ведущие из неведомых уголков векового мрака в эту инфернальную шахту, призванную служить сценой для ночной мистерии. Ходов становилось все больше — они были бесчисленны, эти нечестивые пугающие катакомбы. Тяжелый запах гниения, исходящий из них, становился все въедливее и невыносимее. Я не сомневался в том, что мы прошли всю гору сверху донизу и теперь находимся ниже уровня самого города, и не мог не содрогнуться при мысли о том, насколько древним должен быть этот город, если даже самые недра его источены червями зла.

Потом впереди забрезжил свет, тусклый и зловещий, и вскоре послышался тихий плеск подземных вод. И вот уже в который раз меня пробрала дрожь — слишком уж не по душе мне было все, что принесла с собой эта ночь, и я горько жалел о том, что послушался зова предков и решил принять участие в этом первобытном ритуале. По мере того как лестница и коридор становились шире, я все яснее различал новый звук — жалобную и жалкую пародию на флейту, и вдруг предо мной развернулась грандиозная панорама подземного мира: обширное болотистое побережье, озаряемое столпом огня нездорового зеленоватого оттенка, извергающимся из недр его, и омываемое широкой маслянистой рекой, струящейся из ка-

ких-то невообразимых бездн, чтобы слиться с бездоннейшими из пучин первозданного океана.

Мне стало дурно; я задыхался, глядя на эту богомерзкую заплесневелую преисподнюю с ее вредоносным пламенем и вязкими водами, в то время как люди в мантиях выстраивались в полукруг лицом к пылающему столпу. Начинался рождественский ритуал, который древнее человечества и которому суждено пережить человечество: первобытный ритуал солнцестояния, сулящего победу весны и зелени над зимой и снегом; ритуал огня и обновления, света и музыки. Именно этот ритуал и вершился теперь на моих глазах в адском подземелье. Я наблюдал за тем, как мои спутники поклоняются столпу болезнетворного огня и пригоршнями бросают в воду какую-то слизистую поросль, сообщающую зеленоватый оттенок болезненно-желтому зареву. И еще я видел, как нечто бесформенное сидело на корточках в стороне от света и пронзительно дудело в свою флейту, и сквозь эти звуки мне слышалось как бы хлопанье крыльев, приближавшееся из зловонной тьмы, непроницаемой для взора. Но более всего меня пугал огненный столп: извергаясь из немыслимых глубин, он не порождал теней, как положено нормальному пламени, зато покрывал мертвые стены тошнотворной и ядовитой зеленой накипью. И все это яростное полыхание не несло в себе ни толики тепла, а только липкий холод смерти и разложения.

Тем временем мой провожатый протиснулся сквозь толпу прямо к тому месту, откуда изрыгалось пламя, обратился лицом к собравшимся и принялся производить размеренные обрядовые жесты. В определенные моменты все низко склонялись, особенно когда он воздевал руки с тем самым ненавистным «Некрономиконом». И я отвечивал поклоны заодно со всеми, ибо был призван на этот праздник заветами своих отцов. Затем старик подал сигнал притаившемуся в полумраке флейтисту, и тот, сменив тональность, заиграл громче и пронзительнее. Кошмар, который за этим последовал, превосходил всякое воображение. При его проявлении я чуть не рухнул на обезображенную лишайником почву, пронзенный

страхом не от мира сего, не от мира того и не от мира любого — страхом безумных межзвездных пространств.

Из невообразимой гущи мрака по ту сторону гангренозного дыхания негреющего огня, из сатанинских пространств, где влачит свои волны маслянистая река, неслышно, невидимо и неодолимо, приближалась, ритмично хлопая крыльями, стая неких дрессированных тварей, в уродстве своем недоступных ни охвату незамутненным взором, ни осмыслению неповрежденным рассудком. Какие-то гибриды из ворон, кротов, муравьев, летучих мышей и полуразложившихся людских тел... словом, это было нечто такое, о чем я не могу, да и не хочу вспоминать. Медленно и неуклюже приближались они, частично на своих перепончатых лапах, частично с помощью перепончатых крыльев, и, когда они наконец достигли толпы священнодействующих, те принялись хватать и седлать их — и один за другим уносились прочь вдоль подземной реки в глубины преисподней, в галереи страха, туда, где отравленные ручьи пополняют чудовищные водопады, навеки скрытые от глаз людских.

Старая прядильщица умчалась вместе со всеми, старик же остался, потому что я ответил отказом, когда он подал мне знак оседлать одну из тварей и следовать за остальными. Выпрямившись на нетвердых ногах, я обнаружил, что все исчезли: и люди, и животные, и даже бесформенный флейтист, — и только две крылатые бестии терпеливо ждали неподалеку. Я продолжал упираться, и тогда старец вновь извлек свои перо и дощечку и начертал слова, из коих следовало, что он действительно является полномочным представителем моих отцов, основателей святочного культа на этой древней земле, что имеется распоряжение, в соответствии с которым я должен был сюда вернуться, и что самые главные таинства еще впереди. Почерк его был старомодно затейлив, а в подтверждение своих слов, ибо я по-прежнему пребывал в нерешительности, он вынул откуда-то из многочисленных складок своей просторной мантии перстень с печаткой и часы. На обоих предметах красовался наш фамильный герб. И все же это было негодное доказательство, поскольку из бумаг, имевшихся

в семейном архиве, я знал, что эти самые часы были зарыты в землю вместе с телом моего прапрапрапрадедушки еще в 1698 году.

Тогда старик откинул капюшон, чтобы продемонстрировать наше фамильное сходство, но я лишь пожал плечами, потому что знал: никакое это не лицо, а дьявольски искусная восковая маска. Тем временем порхающие твари стали проявлять признаки беспокойства и рыть когтями землю, поросшую лишайником; старик, похоже, тоже начал терять терпение. Когда одно из существ, устав от ожидания, стало потихоньку пятиться, старик рванулся, чтобы остановить его, и от этого резкого движения восковая маска слетела с того места, где у него должно было находиться лицо. То порождение горячечного бреда, что предстало предо мной в этот миг, загородило мне путь обратно к лестнице, по которой мы сюда спустились, а потому я бросился, не помня себя, в подземную реку, влачащую маслянистые воды свои в неведомые морские гроты; бросился вниз головой в эту зловонную квинтэссенцию подземных ужасов, не дожидаясь того момента, когда мои истошные вопли навлекли бы на меня все загробные легионы, какие только могли таиться в этих ядовитых безднах.

В больнице, где я очнулся, мне сообщили, что меня обнаружили на рассвете в водах кингспортской гавани, полуокоченевшего, вцепившегося мертвой хваткой в кусок дерева, ниспосланный мне Провидением. По следам на снегу было установлено, что накануне вечером, переходя через гору, я свернул не на ту развилку и упал со скал Оранжевого мыса. Мне нечего было на это возразить — просто нечего, и все: из широких окон больничной палаты открывался вид на море крыш, среди которых старинные составляли лишь какую-нибудь пятую часть; с улиц доносился шум трамваев и автомобилей. Мне клялись, что это Кингспорт, и я согласно кивал. Узнав, что больница расположена по соседству со старым кладбищем на Центральном холме, я впал в истерику, и тогда меня перевезли в больницу Святой Марии в Аркхеме, где я должен был получить более основательный уход. Там мне очень понравилось, тем более что тамошние доктора отлича-

лись либеральными взглядами и даже посодействовали мне в получении копии злополучного «Некрономикона» Альхазреда, снятой с оригинала, хранившегося под замком в библиотеке Мискатоникского университета. Поскольку болезнь моя была каким-то образом связана с психозом, мне посоветовали выкинуть из головы всякие навязчивые идеи.

Читая ту чудовищную главу, я трепетал вдвойне, ибо клянусь: содержание ее было мне не в диковинку. Я уже читал ее прежде, что бы там ни показывали следы на снегу, а где я читал ее... об этом лучше не вспоминать. В часы, свободные от сна, нет никого, кто мог бы мне об этом напомнить; зато все сны мои с некоторых пор превратились в кошмары, и причиной тому слова, которые я не смею процитировать. Я могу привести лишь один абзац; вот как он выглядит в моем переводе с неуклюжей вульгарной латыни:

«Нижние из пещер подземных, — писал безумный араб, — недоступны глазу смотрящего, ибо чудеса их непостижимы и устрашающи. Проклята земля, где мертвые мысли оживают в новых причудливых воплощениях; порочен разум, пребывающий вне головы, его носящей. Великую мудрость изрек Ибн Шакабао, сказав: блажен тот погост, где нет колдуна; блажен тот город, чьи колдуны обращены во прах. Ибо древнее поверье гласит, что душа, проданная дьяволу, не спешит покидать пределы склепа, но питает и научает самого червя грызущего, пока сквозь тлен и разложение не пробьется новая чудовищная жизнь и жалкие поедатели падали не наберутся хитроумия, чтобы вредить, и силы, чтобы губить. Огромные ходы тайно проделываются там, где хватило бы обычных пор земных, и рожденные ползать научаются ходить».

СТРАШНЫЙ СТАРИК

Как-то раз Анджело Риччи, Джо Чанек и Мануэль Сильва надумали заглянуть на огонек к Страшному старику. Старик живет совсем один в обветшалом доме по Водяной улице, что проходит по самому берегу моря; его считают невероятно богатым и столь же невероятно дряхлым, что не может не заинтересовать представителей той почтенной профессии, которой всецело посвятили себя господа Риччи, Чанек и Сильва и которая иногда попросту именуется грабежом.

В Кингспорте о Страшном старике говорят и думают немало такого, что до поры до времени избавляло его от визитов джентльменов вроде мистера Риччи и его коллег — и это несмотря на упорные слухи об огромных богатствах, хранящихся где-то в недрах его затхлой и мрачной обители. Старик этот и впрямь не без странностей (говорят, что в свое время он был капитаном клипера и много раз ходил к берегам Индии); о его возрасте можно лишь строить догадки, ибо никто из местных старожилов не помнит его молодым и лишь очень немногие могут похвастаться тем, что знают его настоящее имя. Среди узловатых деревьев, сгрудившихся перед фасадом его ветхого жилища, старик разместил довольно необычную композицию из огромных камней, столь причудливо расставленных и раскрашенных, что на ум невольно приходят идолы из какого-нибудь древнего восточного храма. Эта своеобразная выставка отпугнула от дома не одного сорванца из числа тех, кто любит подразнить старика на предмет его длинных

седых волос и бороды или запустить в его подслеповатое окно парой подвернувшихся под руку предметов. Впрочем, есть там и такое, что способно отвратить даже великовозрастных граждан Кингспорта, которые порой подкрадываются к дому, чтобы бросить взгляд внутрь через пыльные стекла. По их описаниям, посреди нежилой комнаты на первом этаже стоит стол, а на столе наличествует множество странной формы бутылочек, внутри каждой из которых находится кусочек свинца, подвешенный на леске наподобие маятника. Но это еще далеко не все: многие утверждают, будто Страшный старик говорит с бутылочками, называя их по именам — Джек, Меченый, Долговязый Том, Джо-Испанец, Питерс и Дружиса Эллис, и, когда он обращается к какой-нибудь из них, заключенный в ней маятник начинает совершать определенные движения как бы в ответ. Те, кто хоть однажды заставлял высокого и тощего старика за подобной беседой, вряд ли захотят повидать его еще раз. Но Анджело Риччи, Джо Чанек и Мануэль Сильва были людьми не местной закваски. Они принадлежали к тому новому разношерстному племени, которому были совершенно чужды традиции и сам уклад жизни небольших новоанглийских поселений; в их глазах Страшный старик был всего-навсего жалкой, почти беспомощной развалиной, которая не могла передвигаться иначе, как опираясь трясущимися руками на толстую сучковатую палку. Им было даже по-своему жаль одинокого и нелюдимого старца, от которого все шарахались и которого облаивали почему зря все окрестные псы. Но дело есть дело, а для грабителя, всю душу вкладывающего в любимое ремесло, ничто не представляет такого соблазна, как старый и немощный человек, который не имеет счета в банке, а в деревенской лавке оплачивает свои скромные потребности золотыми и серебряными монетами, отчеканенными пару веков назад.

Для своего визита господина Риччи, Чанек и Сильва избрали ночь на двенадцатое апреля. Беседу с убогим старым джентльменом взяли на себя мистеры Риччи и Сильва, а мистер Чанек в это время должен был ожидать их возвращения с увесистыми, как предполагалось, гостинцами в крытом автомобиле на

Корабельной улице, прямо напротив калитки в стене, ограждавшей владения гостеприимного хозяина с тыльной стороны. Все было устроено с таким расчетом, чтобы в случае непредвиденного появления полиции они могли спокойно и тихо удалиться, не докучая стражам порядка ненужными объяснениями.

Как и было условлено, трое искателей приключений отправились на дело порознь, дабы впоследствии не стать объектами всяческих злонамеренных пересудов. Мистеры Риччи и Сильва встретились на Водяной улице у главных ворот стариковского дома. Хотя при виде мрачных камней под лунным светом, струившимся сквозь узловатые ветви деревьев, им стало слегка не по себе, они решили быть выше дурацких суеверий — тем более что им и без того хватало забот. Ибо впереди их ждала довольно неприятная обязанность — разговорить Страшного старика на предмет накопленных им сокровищ, а старые морские волки, как известно, люди упрямые и несговорчивые. И все же он был слишком немощен и стар, а их как-никак было двое. Мистеры Риччи и Сильва достигли больших высот в искусстве делать несговорчивых людей словоохотливыми, а вопли слабого и согбенного летами старца можно было легко заглушить. Поэтому они без колебаний направились к единственному освещенному окну и, заглянув в него, увидели старика, непринужденно беседовавшего со своими бутылочками. Герои натянули маски и вежливо постучали в обшарпанную дубовую дверь...

С точки зрения мистера Чанека, беспокойно ерзавшего на сиденье автомобиля у задней калитки дома Страшного старика по Корабельной улице, ожидание что-то уж слишком затянулось. Обладая необыкновенно чувствительным сердцем, он не мог спокойно выносить душераздирающие крики, доносившиеся из старого дома с того самого момента, как пробил час начала операции. Разве он не просил своих коллег вести себя как можно вежливее с несчастным старым капитаном? Нервно, он неотрывно следил за узенькой дубовой калиткой в увитой плющом каменной стене, часто поглядывал на часы и не переставая дивился, чем могла быть вызвана

такая задержка. Может быть, старик умер, так и не успев назвать место, где спрятаны монеты, в результате чего возникла необходимость в тщательном обыске? Мистеру Чанеку очень не нравилось это ожидание в крошечной тьме, да еще и в таком месте. Наконец он уловил чьи-то мягкие, приглушенные шаги на дорожке за стеной, услышал скрип ржавой щеколды и увидел, как отворилась узкая тяжелая калитка. Свет единственного уличного фонаря был неверен и тускл, и ему пришлось напрячь зрение, чтобы рассмотреть, что же вынесли его друзья из злобещего дома, чьи очертания смутно маячили неподалеку. Но он увидел совсем не то, что ожидал: не двое его коллег, а Страшный старик собственной персоной стоял в воротах, опираясь на свою сучковатую палку и скаля щербатый рот в отвратительном подобии улыбки. Никогда раньше Чанек не обращал внимания на цвет его глаз; теперь он увидел, что они желтые...

В маленьком городишке любое, даже пустяковое событие может наделать много шума, потому стоит ли удивляться, что жители Кингспорта всю весну и все лето только и говорили, что о трех неопознанных трупах, вынесенных на берег приливом. Тела были так ужасно искромсаны, словно их рубил саблями целый эскадрон, и так ужасно истоптаны, как будто по ним прошелся батальон солдат в тяжелых ботинках. Кое-кто даже пытался увязать эти события с такими, на первый взгляд, банальными вещами, как пустой автомобиль, обнаруженный на Корабельной улице, или совершенно нечеловеческие крики, слышанные в ночи бдительными горожанами и издававшиеся, скорее всего, каким-нибудь бездомным животным или перелетной птицей. Но все эти досужие деревенские домыслынисколько не интересовали Страшного старика. Он был от природы нелюдим, а для старого беззащитного человека это является лучшей гарантией спокойного существования. К тому же сей старый морской волк во времена своей далекой и уже позабытой молодости наверняка бывал свидетелем и куда более драматических событий.

ЗАГАДОЧНЫЙ ДОМ НА ТУМАННОМ УТЕСЕ

По утрам у скал за Кингспортом с моря поднимается туман. Белый и слоистый, он поднимается из морских глубин к своим собратьям-облакам, принося им видения подводных пастбищ и таинственных пещер Левиафана. Позднее частички этих видений возвращаются на землю вместе с тихими летними дождями, которые, падая на островерхие крыши, вдохновляют живущих под ними поэтов. Человеку в этой жизни трудно обойтись без тайн и старинных легенд, без тех сказочных историй, что по ночам нашептывают друг другу далекие планеты. Когда в подводных гротах тритонов и в древних затонувших городах звучат первобытные мелодии Великих Древних, великие туманы поднимаются к небесам, неся с собой тайное знание, недоступное человеку. В такие минуты глаза, устремленные в сторону моря, видят одну лишь белесую пустоту, как если бы край утеса был краем вселенной, а колокола на невидимых бакенах звонят торжественно и протяжно, словно паря в волшебном океане эфира.

К северу от Кингспорта скалы образуют террасы, нагроможденные одна на другую и достигающие огромной высоты. Последняя из них висит подобно застывшему серому облаку, принесенному бризом. Открытая всем ветрам, она одиноко парит в безграничном просторе, поскольку берег здесь круто поворачивает — как раз в этом месте впадает в море подводный Мискатоник, который течет по равнине мимо Аркхе-ма, неся с собой легенды далекого лесного края и мимолетные

воспоминания о холмах Новой Англии. Для жителей Кингс-порта этот утес имеет такое же значение, как для какого-нибудь морского народа Полярная звезда, Большая Медведица, Кассиопея или Дракон. В их представлении этот утес являет собой одно целое с небесной твердью. Туман закрывает его точно так же, как скрывает он солнце и звезды. К некоторым из утесов местные жители относятся с любовью. Одному из них они дали имя Отец Нептун за его фантастический профиль, ступенчатые уступы другого нарекли Большой Дамбой. Но этой скалы люди явно боятся — уж очень она высока и неприступна. Впервые увидев ее, португальские моряки суеверно перекрестились, а местные старожилы-янки до сих пор уверены, что, если бы кто и смог взобраться на такую высоту, последствия для него были бы ужаснее смерти. Тем не менее на этом утесе стоит древний дом, и по вечерам люди видят свет в его небольших квадратных окошках.

Этот дом всегда стоял там — ходят слухи, что в нем живет Некто, говорящий с утренними туманами, которые поднимаются из глубин. Он якобы наблюдает чудеса, открывающиеся в океанской дали в те часы, когда кромка утеса становится краем вселенной и колокола на бакенах торжественно звенят, свободно паря в туманном эфире. Но все это только домыслы. На грозном утесе никто никогда не бывал. Даже просто взглянуть на него в подзорную трубу решались немногие. Правда, люди, приезжающие сюда летом на отдых, не раз направляли в ту сторону свои щегольские бинокли, но видели только серую остроконечную крышу, поднимающуюся чуть ли не от самого фундамента, да еще тусклый свет маленьких окон в сумерках. Приезжие не верят, что пресловутый Некто живет в этом доме на протяжении сотен лет, но не могут доказать свою правоту коренным кингспортцам. Даже Страшный старик, который беседует со свинцовыми маятниками, подвешенными в бутылках, расплачивается с бакалейщиком старинными испанскими дублонами и держит каменных идолов во дворе своего дома на Водяной улице, может сказать лишь то, что дела с домом обстояли точно так же еще в те времена, когда его дед был мальчишкой, и даже много раньше, когда

Белчер или Ширли — не говоря уж про Паунела или Бернарда — были губернаторами его королевского величества колонии Массачусетс.

Однажды летом в Кингспорт приехал некий философ. Звали его Томас Олни; он преподавал какие-то скучные предметы в колледже, что расположен неподалеку от Наррагансетского залива. Философ приехал на отдых вместе с дородной женой и шумливыми детьми. Глаза его устали видеть одно и то же в течение многих лет, а ум утомился от однообразных, ставших уже шаблонными мыслей. Олни наблюдал туманы с вершины Отца Нептуна и пытался проникнуть в их таинственный мир, взбираясь по крутым ступеням Большой Дамбы. Каждое утро он подолгу лежал на утесах и, вглядываясь в загадочную пелену за краем земли, прислушивался к призрачному звону колоколов и далеким пронзительным крикам, которые вполне могли быть криками обыкновенных чаек. А после того, как туман рассеивался и море принимало свой будничный вид, он со вздохом спускался в город, где любил бродить по узким древним улочкам, петляющим на склонах холма, и изучать потрескавшиеся, полуразрушенные фасады и двери с фантастическими резными украшениями в домах, где обитали многие поколения рыбаков и мореходов. Он даже как-то раз потолковал со Страшным стариком, который, хотя и не особенно жаловал посторонних, пригласил-таки его в свое мрачное жилище, где низкие потолки и изъеденные жучком панели не раз отражали эхо весьма странных ночных монологов.

Само собой разумеется, Олни обратил внимание на серый, никем не посещаемый дом на зловещем северном утесе, который, по слухам, был посвящен в тайны морских туманов и представлял собой одно целое с небесной твердью. Он висел над Кингспортом всегда и во все времена был загадкой для его обитателей. Страшный старик сиплым голосом рассказал Олни слышанную от отца историю о том, как однажды из островерхого дома к облакам поднялся ослепительный столб огня; а бабушка Орн, обитавшая в крохотном домике на Корабельной улице, поведала, что ее бабка в свое время знавала

людей, своими глазами видевших, как какие-то призраки входили в единственную узкую дверь этого неприступного жилья прямо из глубины тумана. А дверь эта, надо заметить, расположена всего в нескольких дюймах от края скалы и может быть видна только с борта корабля.

В конце концов, изголодавшись по новым впечатлениям и презрев всеобщий кингспортский страх и обычную лень сезонного дачника, Олни принял роковое решение. Вопреки консервативному воспитанию — а возможно, как раз благодаря ему, ибо однообразная жизнь пробуждает томительную жажду неизведанного, — он вознамерился забраться на таинственный утес и войти в древний заоблачный дом. Здравый смысл подсказывал ему, что обитатели дома могут добраться до него более легкой дорогой со стороны устья Мискатоника. Может быть, зная неприязнь к ним кингспортцев или будучи не в состоянии спуститься в город по отвесному южному склону, они делали необходимые закупки в Аркхеме. Тщательно осмотрев это место, Олни еще раз убедился в его неприступности. С востока и севера вертикальные стены поднимались от самой воды. Оставался необследованным лишь западный гребень скалы, направленный в сторону Аркхема.

И вот однажды, ранним августовским утром, Олни выступил в поход. Он двигался на север по живописным проселочным дорогам, мимо пруда Хупера и старой кирпичной мельницы. Луговой склон плавно поднимался к горному кряжу над Мискатоником. Отсюда открывался дивный вид на белые георгианские шпили Аркхема и на широкие поля за ними по ту сторону реки. Олни обнаружил узкую тенистую тропинку, ведущую к Аркхему. Того, что он искал, — дороги в сторону океана — не было и в помине. Устье реки было окружено сплошными лесами, и ничто здесь не говорило о присутствии человека — он не приметил ни остатков каменной ограды, ни отбившейся от стада коровы. Кругом росли только подпиравшие небо деревья, высокая трава да жесткие колючие кусты — пейзаж, должно быть, мало изменился с тех пор, когда тут бродили индейцы. С трудом продираясь сквозь эти заросли, Олни задавался вопросом, как обитателям дома удастся вы-

бираться в большой мир и часто ли они бывают на рынке в Аркхеме.

Вскоре лес поредел, и далеко внизу он увидел холмы, шпили и черепичные крыши Кингспорта. Даже центральный городской холм казался карликом с этой высоты. Олни еле различил старое кладбище рядом с больницей Конгрегации, под которой, согласно местным легендам, находились какие-то потайные пещеры или подземные ходы. Вверх по склону росла невзрачная травка да чахлые побеги черники, а за ними виднелась лишь голая скала да серый дом, застывший на ее вершине. Гребень скалы становился все уже, и у Олни начала кружиться голова. Он вдруг остро ощутил свое одиночество и беспомощность: к югу от него была наводящая ужас пропасть над Кингспортом, к северу — отвесная стена высотой не менее мили и устье реки где-то далеко внизу. Внезапно перед ним открылась расселина футов в десять глубиной. Он повис на руках и спрыгнул на покатое дно, а затем с риском для жизни полез вверх по трещине в противоположной стене. Ему пришло в голову, что обитателям этого жутковатого дома придется несладко во время путешествий между небом и землей.

Когда он выбрался из расселины, уже начал собираться утренний туман, но ему был ясно виден впереди высокий дом, серые, под цвет скалы, стены и острый конек крыши, окутанный молочно-белыми морскими испарениями. Олни рассмотрел стену дома, обращенную к суше. Пара решетчатых окон с тусклыми стеклами, забранными свинцом в манере XVII века, — и ни намека на дверь. Облако тумана продолжало сгущаться, и он уже не видел внизу ничего, кроме сплошной белой завесы. Он остался один на один с этим странным, пугающе-безмолвным домом. Когда же он неверным шагом приблизился к нему и увидел, что передняя стена составляла одну плоскость со скалой, а до единственной узкой дверцы нельзя было добраться иначе, кроме как шагнув прямо по воздуху, Олни ощутил прилив ужаса, который нельзя было объяснить одной лишь головокружительной высотой. При этом он все же успел заметить, что крыша дома прогнила по-

чти насквозь, а кирпичная кладка печной трубы держалась только чудом — настолько она была ветхой.

В сгущающемся тумане Олни ползком обследовал окна на северной, западной и южной стенах — все они были заперты. Он испытал смутное облегчение от этого, ибо ему все меньше хотелось попасть внутрь. Вдруг его остановили какие-то звуки. Бряцание замка, стук засова, скрип — словно где-то рядом медленно и осторожно открывали тяжелую дверь. Все это происходило со стороны океана, сам он не мог видеть ту стену. Узкая входная дверь распахнулась над тысячефутовой бездной. Затем внутри раздались тяжелые шаги, и Олни услышал, как открыли окно сначала на северной стене, с противоположной стороны дома, потом — на западе, за углом. Вслед за этим должны были открыть окно под низко свисавшим карнизом на южной стороне — там, где он стоял. Надо признаться, ему стало очень неудобно. Впереди — этот зловещий дом, позади — глубокая пропасть. Когда за ближайшей створкой послышался звук открываемых задвижек, Олни снова перебрался на западную сторону, плотно прижимаясь к стене с открытыми теперь окнами. Очевидно, вернулся хозяин. Откуда? Со стороны суши никто не появлялся, к дому не подлетал ни шар, ни любое другое мыслимое воздушное судно. Шаги опять приблизились к нему. Олни метнулся к северу, но скрыться не успел: послышался спокойный негромкий голос. Судя по всему, встречи с хозяином дома было не избежать.

Из западного окна высунулось лицо, обрамленное черной густой бородой. Взгляд блестящих глаз хозяина был пронзителен. Но голос его звучал мягко, с какими-то архаичными интонациями, потому Олни не испытал шока, увидев протянутую ему загорелую руку. С помощью хозяина он перелез через подоконник и очутился в низкой комнате, обитой черными дубовыми панелями и уставленной резной мебелью эпохи Тюдоров. Мужчина был одет в старомодный кафтан и по виду напоминал моряка со средневекового галеона. Олни не слишком много запомнил из того, что тот ему рассказывал. Сейчас он даже не может с определенностью сказать, кем был

бородач, но утверждает, что был он необычен, добр и что, находясь рядом с ним, он как никогда остро ощущал бесконечность времени и величие космоса. Маленькая комнатка была наполнена тусклым зеленоватым светом, словно от лучей солнца, проходящих сквозь воду. Олни заметил, что окна на восточной стороне дома отделяли помещение от туманного эфира темными, почти непрозрачными стеклами. Хозяин на первый взгляд казался достаточно молодым, однако глаза его были глазами древнего старца. Из его слов можно было и впрямь заключить, что он жил здесь, общаясь с морскими туманами, задолго до тех времен, когда на равнине появились первые поселенцы и увидели высоко над собой его молчаливый дом. День шел своим чередом, а Олни все внимал его рассказам о старине и далеких чудесных краях. Он услышал о том, как цари Атлантиды боролись с громадными скользкими морскими гадами, выползавшими из расселин на дне, узнал, что Храм Посейдона, украшенный мраморными колоннами и увитый водорослями, до сих пор иногда является взору матросов, чей корабль обречен на гибель. Вспоминал рассказчик и времена Титанов, и те смутные века царства хаоса, когда еще не было ни богов, ни даже Великих Древних, а *Иные боги* веселились и танцевали на вершине горы Хатек-Кла в каменистой пустыне близ Ултара, что лежит за рекой Скай.

Неожиданно раздался стук в дверь — в старинную дубовую дверь, украшенную гвоздями с квадратными шляпками, за которой была одна лишь бездна. Олни вздрогнул от неожиданности, но бородач сделал успокаивающий жест, на цыпочках прошел к двери и заглянул в глазок. Вероятно, ему не понравилось то, что он увидел, потому что, приложив палец к губам, он обошел комнату кругом, закрывая окна. Только после этого он занял свое место напротив гостя. Олни увидел, как неясный черный силуэт появился поочередно в каждом из полупрозрачных окон и чуть погодя исчез во мгле. Философ почувствовал облегчение от того, что хозяин не открыл двери. Таинственный пришелец из бездны — кто бы он ни был — вряд ли приходил сюда с добрыми намерениями.

Понемногу начали сгущаться тени — сначала едва заметные под столом, затем все более плотные по углам. Бородатый хозяин совершал какие-то ритуальные действия и, передвигаясь по комнате, зажигал высокие свечи в старинных, прекрасной работы подсвечниках. Он все посматривал на вход, словно кого-то ожидая. В конце концов, как бы в ответ на его вопросительный взгляд, послышалась серия легких ударов в дверь — что-то вроде условного пароля. На этот раз хозяин даже не заглянул в глазок, а сразу отодвинул массивный засов и широко распахнул дверь в туман, навстречу звездам.

И под звуки удивительной музыки в комнату из океанских глубин хлынули ожившие воспоминания и грезы древних обитателей Земли. Яркие языки пламени на миг ослепили Олни, когда он встал, чтобы должным образом приветствовать гостей. Был тут и Нептун с трезубцем в руке, и игривые тритоны, и фантастические nereиды. На спинах дельфинов возлежала огромная раковина с зубчатым краем, в которой помещался грозного вида старик — то был Ноденс, Хозяин Великой Бездны. Тритоны извлекали сверхъестественные ноты из своих перламутровых раковин, а nereиды поднимали ужасный шум, ударяя в гулкие панцири неведомых морских моллюсков. Ноденс протянул морщинистую руку и помог Олни с бородачом забраться в свой просторный экипаж. При этом раковины и панцирные гонги взвыли и загрохотали с удвоенной силой. Сказочный кортеж покинул утес и растаял в безбрежном эфире, а производимый им шум потонул в раскатах надвигающейся грозы...

Всю ночь в Кингспорте наблюдали высокий утес, изредка появлявшийся между летящими тучами. Когда ближе к утру в его окнах погасли огни, суеверные люди шептались — не иначе, мол, быть беде. А дети и жена Олни всю ночь усердно молились Всевышнему и очень надеялись, что путешественник одолжит у кого-нибудь зонтик и плащ, если дождь не утихнет к утру. Как обычно, с рассветом поднялся туман и разнесся торжественный звон бакенных колоколов. А в полдень свирели эльфов запели над океанским простором, возвестив о возвращении Томаса Олни. Он шел легкой походкой, в со-

вершенно сухой одежде, взгляд же его был задумчив и как-то странно рассеян. При этом он не смог толком объяснить, что именно произошло с ним в вознесенном под небеса жилище безымянного отшельника, не помнил, как спустился с высоты, и вообще не желал ни с кем говорить о своем путешествии. Разве что со Страшным стариком, который позднее на все любопытные расспросы отвечал коротко и маловразумительно — что, мол, спустился не совсем тот, кто поднимался, и что якобы под островерхой крышей, а может быть, и где-нибудь в недостижимых туманных высях все еще блуждает потерянная душа того, кто прежде был Томасом Олни.

С тех пор в течение долгих однообразных лет философ трудился, ел, спал — словом, покорно влачил существование добропорядочного гражданина — и никогда больше не проявлял интереса к вещам чудесным и сверхъестественным. Дни его сейчас текут спокойно и размеренно, женушка все толстеет, а дети выросли, поумнели и стали хорошей опорой для стареющего отца, который не упускает случая этим похвастаться. Взгляд его давно уже утратил огонек беспокойства, и если он когда и прислушивается к торжественным колоколам или дальним свирелям эльфов, то лишь во снах, с годами посещающих его все реже и реже. Никогда больше семейство Олни не приезжало в Кингспорт — им не пришлось по вкусу нелепые старые домишки и вечная сырость этого приморского городка. Теперь они каждое лето отдыхают в нарядном бунгало на Бристольском нагорье, где нет крутых утесов, а соседи в большинстве своем являются культурными городскими дачниками.

Между тем в Кингспорте ходят самые невероятные слухи; даже Страшный старик допускает, что его дедушка рассказал далеко не все из того, что ему было известно. Ибо теперь всякий раз, когда северный ветер обдувает высокий дом, который, как говорят, составляет единое целое с небесной твердью, над округой уже не царит зловещая тишина, многие годы пугавшая жителей Кингспорта. Теперь кое-кто из них утверждает, будто бы в высях поют ангельские голоса, слышен смех, исполненный неземной радости, а маленькие окошки

небесного дома светятся ярче, нежели раньше. Они подметили также, что ослепительное сияние все чаще загорается над островерхим домом, и тогда на фоне голубоватых зарниц утес и дом выглядят каким-то фантастическим черным миражем. Утренние туманы стали еще более непроницаемы, и многие моряки сомневаются в том, что висящий над морем торжественный звон и впрямь исходит от бакенов.

В то же самое время — что хуже всего — молодежь Кингспорта, отринув страхи, с любопытством прислушивается к далеким завываниям северного ветра. Они клянутся, что старый дом не может служить источником беды и зла, поскольку в доносящихся оттуда голосах звенит радость, а с ними вместе слышны смех и музыка. Им неизвестно, что происходит вверху за призрачной пеленой тумана, но они жаждут уловить хоть какой-то намек на те чудеса, что тихо стучатся в дверь дома, когда тому наступает срок. Старейшины всерьез опасаются, что однажды все молодые люди один за другим отправятся на вершину разведать, какие древние тайны скрывает дом под своей островерхой крышей. Они не сомневаются в том, что эти отчаянные смельчаки вернутся обратно, но боятся, что в их глазах погаснет прежний огонь, а сердца охладят к жизни. Им не хочется, чтобы Кингспорт с его узкими улочками, карабкающимися по холмам, и резными фронтонами старинных зданий год за годом жил вялой апатичной жизнью, в то время как смеющийся хор, пополняясь новыми голосами, звучал бы все громче и громче на той неприступной скале, где отдыхают морские туманы по пути к небесам.

Они не хотят, чтобы души молодых людей покинули уютные домашние очаги и таверны старого Кингспорта; не хотят, чтобы смех и пение наверху с каждым годом усиливались и разрастались. Ведь если всего лишь один присоединившийся к хору голос принес новые туманы с моря и сделал огни на утесе ярче, то другие голоса добавят еще туманов и голубоватых огней, и, может быть, сами Старые боги (на чье существование они робко намекают, боясь, что эта ересь достигнет ушей приходского священника) явятся из морских глубин и с вершины неведомого Кадата, затерянного среди холодной

пустыни, чтобы вновь поселиться на дьявольском утесе, в опасной близости от ласковых холмов и долин Новой Англии. Они не хотят этого, ибо простым людям общение с потусторонними силами никогда не приносило добра. Кроме того, Страшный старик частенько вспоминает слова Олни о том первом стуке, которого устрасился отшельник, и о черном силуэте за полупрозрачными окнами дома.

Все эти тайны ведомы лишь Великим Древним и никогда не станут достоянием людей. А пока же густой туман каждое утро поднимается от подножия утеса на головокружительную высоту к серому дому с остроконечной крышей, где по вечерам зажигаются таинственные огни, и тогда северный ветер доносит до города отголоски безудержного веселья. Белый слоистый туман восходит из глубины к своим собратьям-облакам, принося с собой видения цветущих морских долин и мрачных пещер Левиафана. Когда в подводных гротах тритонов, в древних затонувших городах звучат первобытные мелодии Великих Древних, великие туманы поднимаются к небесам, а Кингспорт, ютясь на склоне холмов под надзором зловещего каменного часового, видит в стороне моря лишь мутно-белую пустоту, как если бы кромка берега была краем Вселенной — в такие минуты колокола на невидимых бакенах звонят торжественно и протяжно, словно паря в бесконечном океане эфира.

ОН

Я встретил его в одну из бессонных ночей, когда скитался по городу, отчаянно пытаюсь спасти свою душу и свой поэтический дар. Мой приезд в Нью-Йорк оказался ошибкой: я надеялся испытать здесь прилив вдохновения, открывая для себя новый удивительный мир в многолюдных лабиринтах старинных улиц, берущих начало от затерянных тупичков, площадей и причалов и после долгого плутания по городу упирающихся в столь же затерянные тупички, площади и причалы, или же в современных домах-башнях, что наподобие Вавилонской черными силуэтами устремляются к небу под светом ущербной луны; однако вместо этого я испытал только ужас и чувство подавленности, которые грозили завладеть мной, парализовать мою волю и полностью меня уничтожить.

Разочарование наступило не сразу. Впервые я увидел этот город с моста, подъезжая к нему на закате: он величественно вздымался над водами, и все эти невероятные здания, увенчанные шпилями и пирамидальными надстройками, вырастали из лилового тумана как некие экзотические цветы, чтобы составить компанию пламенеющим золотым облакам и пока еще бледным вечерним звездам на небосводе. Затем город начал одно за другим зажигать свои окна, и свет их отражался, подрагивая, в речной глади, по которой скользили огни кораблей, и перекличка пароходных гудков создавала порой удивительные созвучия, да и вся эта картина под мечтательным звездным небом была насыщена волшебной музыкой,

напоминающей о чудесах Каркассона, Самарканда, Эльдорадо и им подобных прославленных и полупоэтичных городов. А вскоре я уже бродил по столь дорогим моему воображению старым улицам — узким и кривым, огражденным рядами краснокирпичных георгианских домов, мансардные окошки которых над колоннами портиков в свое время видели позолоченные кареты и роскошные портшезы. В те первые минуты знакомства с городом мне казалось, что я наконец реализовал свою давнюю мечту и добрался до сокровищ, которые со временем помогут мне стать настоящим поэтом.

Но ожидаемые успех и счастье, увы, обошли меня стороной. Яркий свет дня обнажил мерзость и убожество каменных нагромождений над головой и бесконечных мостовых под ногами там, где лунное сияние предполагало очарование и магию старины. А в толпах людей, сновавших по этим похожим на ущелья улицам, преобладали коренастые смуглые чужаки с жесткими лицами и настороженным прищуром, практичные, далекие от мечтаний и ничем не привязанные к этому месту, они не представляли никакого интереса для голубоглазого потомка первых поселенцев, хранившего в сердце любовь к зеленым лужайкам и белым сельским колокольням Новой Англии.

Таким образом, вместо поэтического вдохновения, каковое я рассчитывал найти в Нью-Йорке, я ощутил лишь опустошенность и несказанное одиночество, осознав ужасную правду и тайну тайн, которую дотоле никто не решался озвучить: этот город из камня и металла не сумел сохранить дух своего предшественника, старого Нью-Йорка, как сохранились старый Лондон и старый Париж в Лондоне и Париже современных. Старый Нью-Йорк, увы, сгинул безвозвратно, а его распростертый, небрежно забальзамированный труп кишел паразитами, не имеющими ничего общего с тем городом, каким он был при жизни. После этого открытия я уже не мог спокойно спать и лишь отчасти восстановил душевное равновесие, заведя привычку не выходить на улицы в дневное время и совершать прогулки только по ночам, когда тьма пробуждала то небольшое, что еще сохранилось от прошлого, и перед

подъездами старых домов можно было различить призрачные тени людей, когда-то давно здесь проходивших. Такая смена образа жизни принесла мне некоторое облегчение, так что я даже сочинил пару-другую стихотворений и не спешил с возвращением к своим пенатам, не желая предстать перед родными и знакомыми в роли сломленного неудачника.

И однажды, во время очередной прогулки бессонной ночью, я встретил *его*. Случилось это в одном из замкнутых внутренних двориков в Гринвич-Виллидж — как простодушный провинциал, я поселился в этом районе, будучи много слышан о нем как об излюбленном пристанище поэтов и художников. Меня действительно восхитили старинные улицы и особняки с попадающимися тут и там маленькими площадями и уютными двориками; и я сохранил привязанность к этим местам даже после того, как убедился, что здешние поэты и художники — не более чем претенциозные горлопаны, вся жизнь которых посвящена отрицанию чистой красоты в поэзии и в искусстве. Я часто представлял себе Гринвич в его бытность тихой деревушкой, еще не поглощенной городом, и в предракетные часы, когда последние гуляки расползались по домам, любил в полном одиночестве бродить по этим извилистым улочкам и размышлять о загадках и тайнах, оставленных здесь прошлыми поколениями. Эти прогулки подпитывали меня энергией и подстегивали воображение, не давая угаснуть поэтической искре, тлевшей где-то в глубине моей души.

Он возник передо мной туманным августовским утром, около двух пополудни, когда я обследовал ряд глухих двориков, некогда составлявших живописный проулок, а ныне доступных только через неосвещенные коридоры на первых этажах разделивших их зданий. Я узнал о существовании этих двориков совершенно случайно, ибо они не были указаны ни на одной из современных карт города; и тот факт, что они совершенно забыты, придавал им особую привлекательность в моих глазах, так что я вел поиски с удвоенным усердием. А когда я их наконец отыскал, это еще более подстегнуло мой пыл, ибо само их расположение указывало на то, что эти за-

мкнутые дворики являются лишь несколькими звеньями в длинной цепи им подобных, затерявшихся меж высоких стен и пустых домов в глубине квартала или смутно маячивших в темноте за арочными проходами. Их обходили вниманием суетливые чужестранцы, а порой намеренно скрывали от посторонних отдельные нелюдимые представители божьего мира, избегавшие общества и дневного света.

Он заговорил без предисловий, оглядев меня при слабом свете, падавшем из-за ажурного переплета окна, когда я изучал какое-то крыльцо с допотопным дверным молотком и чугунными перилами. При этом сам он оставался в тени, а его лицо к тому же скрывала широкополая шляпа, вполне гармонизировавшая со старомодным покроем плаща. Впрочем, я ощутил смутное беспокойство еще до того, как услышал его речь. Он был очень худ — буквально скелет, обтянутый кожей, — а его тихий неглубокий голос относился к разряду тех, что именуют замогильными. По его словам, он уже не первый раз замечает меня блуждающим ночью по улицам, на каковом основании он сделал вывод, что я питаю интерес к немногим следам былых времен, еще сохранившимся в этих краях. По такому случаю не пожелаю ли я взять в провожатые человека, уже давно занимающегося подобными изысканиями и могущего поведать вещи, которые приезжий вроде меня вряд ли сможет разгадать самостоятельно?

Пока он говорил, я мельком увидел его лицо в желтоватом свете от окна мансарды — единственного освещенного окна в ближайшем доме. Это было лицо пожилого человека с правильными, можно даже сказать, красивыми чертами, и мне сразу подумалось, что такие утонченные породистые лица не очень-то согласуются с нынешней эпохой и данным местом. Ко всему прочему, в его лице, хоть и довольно привлекательном, было нечто тревожащее — возможно, чрезмерная бледность и невыразительность или все то же явное несоответствие окружающей обстановке, — что не позволяло мне чувствовать себя уверенно и спокойно в обществе этого человека. Тем не менее я последовал за ним, поскольку в тот тягостный период лишь красота и загадочность старины могли поддер-

жать во мне почти угасший интерес к жизни, и я посчитал редкостным подарком судьбы встречу с человеком, чья осведомленность в данной области, судя по всему, далеко превосходила мои скромные открытия.

Возможно, в самой атмосфере ночи таилось нечто, удерживавшее моего спутника от лишних слов, и на протяжении последующего часа ходьбы он ограничивался краткими комментариями по поводу старых названий, дат и событий, а путь указывал по преимуществу жестами. Мы протискивались в какие-то щели, бесшумно крались по коридорам многоквартирных домов, перелезали через кирпичные стены, а однажды пришлось ползти на четвереньках под сводчатым потолком какого-то заваленного прохода, настолько длинного и извилистого, что я окончательно потерял ориентацию и даже отдаленно не представлял себе, где мы находимся. По пути нам попадались удивительно древние вещи — во всяком случае, они казались таковыми в редких рассеянных лучах света; я отчетливо помню покосившиеся ионические колонны, пилястры с каннелюрами, столбы чугунных оград с навершиями в виде ваз, конусовидные оконные перемычки и декоративные наддверные окошки зданий, которые выглядели все более причудливыми по мере нашего продвижения в глубь этого лабиринта, казавшегося неисчерпаемым кладезем архитектурных изысков.

За это время мы не встретили ни единого человека, да и освещенные окна попадались все реже и реже. Уличные фонари поначалу были масляными, старинного ромбовидного фасона, потом я заметил несколько фонарей со свечами, а еще чуть погодя мы пересекли мрачный, абсолютно лишенный освещения двор (в крошечной тьме мой проводник направлял меня затянутой в перчатку рукой) и через узкую деревянную калитку в высокой стене вышли в проулок, где фонари горели лишь перед каждым седьмым домом, причем это были допотопные жестяные фонари колониальных времен, с коническими верхушками и дырочками по бокам. Дорога круто шла в гору — гораздо круче, чем я считал возможным в этой части Нью-Йорка, — и в конце подъема уткнулась в уютную

плющом стену частной усадьбы. За стеной виднелась куполообразная крыша и верхушки деревьев, шевеливших листвою на фоне уже начавшего светлеть неба, а в стене обнаружилась низкая арка с дубовой дверцей, которую мой спутник отпер большим ключом. Далее он в полной темноте провел меня по гравийной дорожке и каменным ступеням крыльца и наконец распахнул передо мной дверь дома.

Войдя внутрь, я едва не потерял сознание от хлынувшей навстречу затхлой вони, должно быть, столетиями копившейся в этом запущенном и обветшалом здании. Однако хозяин этого как будто не заметил, и я из вежливости воздержался от замечаний, проследовав за ним по винтовой лестнице и через верхний холл до комнаты, дверь которой он, судя по звуку, запер на задвижку после того, как пропустил меня вперед. Первым делом он раздвинул шторы на трех небольших окнах, за которыми слабо обозначилось предраассветное небо, а затем с помощью кремня и огнива зажег две свечи в стоявшем на каминной полке массивном канделябре с двенадцатью розетками и жестом предложил мне располагаться поудобнее.

При слабом, колеблющемся свете я увидел, что мы находимся в просторной, обшитой дубовыми панелями библиотечной комнате, меблировку которой можно было отнести к первой четверти восемнадцатого столетия. Комнату украшали вычурные наддверные фронтоны, карниз в дорическом стиле и резная плита над камином, в верхней части которой среди завитков было изображено нечто вроде погребальной урны. Вдоль стен, над плотно заставленными книжными полками, с равными интервалами размещались весьма недурно выполненные фамильные портреты, причем лица на потемневших от времени полотнах имели несомненные черты сходства с человеком, который указал мне на кресло рядом с изящным столиком красного дерева. Сам он, прежде чем сесть по другую сторону стола, замешкался, как бы в смущении, а потом медленно снял перчатки, широкополую шляпу и плащ, с некоторой долей театральности открыв моему взору облик джентльмена середины восемнадцатого века, точный во всех

деталей: от заплетенных в косичку волос и кружевного воротника до бриджей, шелковых чулок и тупоносых туфель с пряжками, которые я как-то упустил из виду прежде. Усевшись наконец на стул со спинкой в форме лиры, он принял-ся внимательно меня разглядывать.

Теперь, без шляпы, он выглядел глубоким стариком — намного старше, чем показался мне изначально. Не исключено, что именно эта печать неимоверного долголетия и стала подспудной причиной моего беспокойства, возникшего в первый момент нашей встречи. Когда же он заговорил приглушенным, временами дрожащим голосом, мне стоило немалых усилий следить за смыслом сказанного, ибо к моему изумлению при-мешивалась необъяснимая тревога, возраставшая с каждой минутой.

— Вы видите перед собой, сэр, — начал хозяин, — человека весьма эксцентричных привычек, чему свидетельством этот костюм, за который, впрочем, мне нет необходимости извиняться перед джентльменом вашего ума и ваших склонностей. Постоянно размышляя о славных старых временах, я взял на себя труд досконально усвоить тогдашние манеры и одеяние, каковая прихоть вряд ли может кого-нибудь оскорбить, если ее нарочито не выставлять напоказ. По счастью, мне удалось сохранить в неприкосновенности сельское поместье моих предков, хотя оно было поочередно поглощено двумя городами — Гринвичем в самом начале тысяча восьмисотых и Нью-Йорком лет тридцать спустя. Существовало множество причин, по которым мое семейство так упорно держалось за свое родовое гнездо, и здесь я не нарушил семейной традиции. Джентльмен, унаследовавший этот дом в тысяча семьсот шестьдесят восьмом году, занимался особого рода науками и достиг поразительных результатов, причем все они были тесно связаны с особенностями, присущими именно этому участку земли, и потому его крайне важно сохранять в неприкосновенности. Я хочу продемонстрировать вам кое-какие весьма любопытные открытия этого джентльмена, но при условии сохранения их в строжайшей тайне. Я достаточно хорошо разбираюсь в людях, чтобы не сомне-

ваться в вашей искренней заинтересованности и вашей порядочности.

Он сделал паузу, глядя на меня, но я смог лишь кивнуть головой. Я уже говорил о растущем во мне тревожном чувстве, но, поскольку для моей души не было ничего губительнее суетного дневного мира Нью-Йорка, мне оставалось только внимать этому человеку — будь он безобидным чудаком или хранителем зловещих тайн — в надежде утолить свою жажду новых открытий, что бы он там ни предложил. Поэтому я сидел и слушал.

— Мой... предок, — с некоторой запинкой продолжил он, — полагал, что человеческой воле присущи особые, совершенно удивительные свойства, при умелом использовании которых человек способен управлять не только своими действиями и действиями других людей, но и любыми силами природы, а также многими стихиями в иных измерениях, выходящих далеко за рамки известного нам мира. Достаточно сказать, что он ставил под сомнение непреложность таких вещей, как пространство и время, и что он нашел необычное применение тайным ритуалам полудиких индейцев, святилище которых когда-то находилось на этом самом холме. Когда здесь построили усадьбу, индейцы были сильно раздражены и неоднократно просили допустить их на эту землю в периоды полнолуния. Но даже не получая разрешения, они из года в год тайком пробирались сюда, чтобы исполнить свои обряды. И вот в тысяча семьсот шестьдесят восьмом году новый хозяин усадьбы застал их во время такого обряда и буквально остолбенел от увиденного. После этого он заключил с индейцами сделку, позволив им посещать усадьбу в определенные ночи, а они в обмен посвятили его в суть своих таинств. При этом они утверждали, что ритуал только отчасти унаследован ими от краснокожих предков, тогда как некоторые секреты стали им известны от одного старого голландца во времена Генеральных штатов. Хозяин же — чума на его голову! — мне так думается, угостил индейцев подпорченным ромом, уж не знаю, со злым умыслом или нет, но спустя неделю после того, как выведал тайну, он остался единственным живым челове-

ком, кому она была известна. Вы будете первым чужаком, кто о ней услышит за многие годы. Лопни моя селезенка, если я выдам ее всяким там властям предержажим, но вы похожи на человека, прямо-таки одержимого стариной, а уж это дело совсем другого рода...

Я вздрогнул, когда старик, разволновавшись, вдруг начал использовать в речи смесь из простонародных и архаичных оборотов. Между тем он продолжил:

— Вам следует знать, сэр, что сведения, полученные... моим предком... от этих дикарей, были всего лишь малой частью великих секретов, которыми он овладел впоследствии. Он не впустую потратил время в Оксфорде и не зря провел много времени в беседах с одним старым алхимиком и астрологом в Париже. В конечном счете он убедился, что весь этот мир суть не более чем дым, порождаемый нашими интеллектами. Грубой черни сие понимание недоступно, однако мудрецы могут преспокойно затягиваться дымом этого мира и выпускать его клубами, как будто куря первосортный виргинский табак. Мы легко можем получить все, что нам нужно, отбрасывая прочь все, что нам не нравится. Впрочем, я не стану решительно утверждать, что на деле все обстоит так просто, однако этот принцип действен в достаточной степени для того, чтобы время от времени устраивать славный спектакль. Думаю, вам доставит удовольствие созерцание прошлых лет — куда более живое и отчетливое, чем может подсказать вам воображение. Так отбросьте все страхи и взгляните на то, что я хочу вам продемонстрировать. Подойдите к окну и, что бы вы ни увидели, сохраняйте спокойствие.

Он взял меня за руку и повел к одному из двух окон в более длинной стене этой пропитанной зловонием комнаты. Когда его рука — на сей раз уже без перчатки — коснулась моей, меня мгновенно пробрал холод и я с трудом удержался от того, чтобы не отстраниться, ибо эти сухие жесткие пальцы оказались буквально ледяными на ощупь. Однако мысль о гнетущей пустоте повседневной реальности укрепила меня в намерении следовать за этим необыкновенным человеком, куда бы он меня ни повел. Приблизившись к окну, он пощи-

ре раздвинул желтые шелковые шторы и предложил мне вглядеться во тьму снаружи. Поначалу я не увидел там ничего, кроме мириад танцующих огоньков где-то вдали. Затем, словно в ответ на едва заметное движение руки старика, за окном вспыхнула ослепительная зарница, и передо мной открылось море буйной растительности — там, где по здравому разумению полагалось находиться морю городских крыш. Справа серебрились воды Гудзона, а впереди на большом удалении отблескивала гиблая солончаковая топь с вьющимися над ней тучами светляков. Зарница угасла, а на восковом лице старого колдуна промелькнула злобещая ухмылка.

— Это было еще до моих времен... то есть до времен моего ученого предка. Как насчет того, чтобы попробовать еще раз?

Я был близок к обмороку, испытывая слабость еще бо́льшую, нежели та, которую обычно вызывал во мне вид проклятого современного города.

— Боже правый! — прошептал я. — И вы можете вот так перенестись *в любую эпоху*?

Он кивнул, обнажая в подобии улыбки желто-черные корешки зубов, и мне пришлось вцепиться в штору, чтобы устоять на ногах. Он поддержал меня под локоть своей жуткой ледяной клешней, а другой рукой проделал все тот же едва уловимый жест.

И снова полыхнула зарница, на сей раз открыв картину, более-менее узнаваемую. Это был Гринвич, но не современный, а очень давний, с отдельными зданиями или группами зданий, сохранившимися по сей день, но также с тропинками между зеленых изгородей, участками возделанной земли и общинных пастбищ. Солончак по-прежнему блестел вдали, а за ним на горизонте обозначились самые высокие из строений тогдашнего Нью-Йорка, включая церковь Троицы, часовню Святого Павла и краснокирпичную колокольню пресвитерианской церкви, нечеткие силуэты которых проглядывали сквозь завесу дыма из печных труб. У меня перехватило дыхание, но не столько от самого зрелища, сколько от мысли о новых удивительных возможностях, уже рисовавшихся моему воображению.

— А вы можете... вы рискнете... заглянуть в *будущее*? — промолвил я с трепетом, и мне показалось, что на мгновение этот трепет передался и старику, но затем его лицо вновь исказила зловещая ухмылка.

— *Будущее*? То, что мне доводилось видеть, заставит тебя окаменеть от ужаса! Из далекого прошлого в далекое будущее — ты этого хочешь? Ну так смотри, жалкий недоумок!

Пробормотав последние слова уже шепотом, он повторил давешний жест, и небеса озарила вспышка гораздо ярче предыдущих. После этого в течение трех долгих секунд я наблюдал воистину дьявольское зрелище, которое с той поры всегда будет терзать меня в кошмарных снах. Небо заполонили странного вида летающие объекты, а от земли в подлунную высь рвались мрачные черные башни и пирамиды нечестивого города, рассеченного гигантскими каменными террасами и светящегося сатанинскими огнями бесчисленных окон. На открытых галереях я разглядел желтолицых косоглазых обитателей этого города в одеждах кричащих красно-оранжевых тонов, безумно пляшущих под лихорадочные ритмы литавр, дикое бречание струн и утробные приглушенные стоны духовых инструментов, — и все эти звуки вздымались и опадали подобно волнам адского асфальтового моря.

Я видел эту картину как наяву и отчетливо слышал — или мысленно воспринимал — чудовищную какофонию, ее сопровождавшую. В целом это казалось квинтэссенцией всех кошмаров, какие когда-либо порождал в моем сознании город-труп. Забыв о просьбе хозяина сохранять спокойствие, я издал пронзительный вопль и, уже не в силах совладать с собой, продолжал вопить так громко, что даже стены дома как будто начали вибрировать.

А когда вспышка угасла, я заметил, что старика бьет дрожь, а гримаса ярости на его лице, вызванная моими воплями, постепенно сменяется выражением дикого ужаса. Он покачнулся, цепляясь за штору, как это недавно делал я, и завертел головой, напоминая зверя, обложенного охотниками. И тому были причины, ибо как только угасло эхо моих воплей, стали слышны иные звуки, столь недвусмысленные, что лишь на-

ступившее после истерики общее притупление чувств избавило меня от помешательства. Это было равномерное поскрипывание ступеней за запертой дверью, словно по лестнице крадучись поднималось множество босых либо обутой в мягкую обувь людей; затем с той стороны осторожно подергали дверь, пробуя крепость задвижки, на медной поверхности которой отблескивали огни свечей. Старик по-прежнему не отпускал штору, а другой рукой потянулся ко мне и хрипло забормотал, покачиваясь и брызжа слюной:

— Полнолуние... черт тебя дери, визгливый ты пес... это *ты* их призвал, и теперь они явились за мной! Шаги в мокалинах... мертвецы... чтоб вам провалиться, краснокожие дьяволы, не отравлял я ваш ром... и разве не я сохранил ваши проклятые магические секреты? Вы сами упились до смерти, поганые ублюдки, и не вам обвинять джентльмена! Прочь, твари, прочь! Не троньте задвижку! Для вас меня здесь нет...

В следующий миг три неторопливых, выверенных удара сотрясли дверь, а на губах обезумевшего от страха колдуна выступила белая пена. Чуть погодя его страх сменился безысходным отчаянием и новой вспышкой ярости, направленной против меня, и он шагнул к столу, на край которого я в тот момент опирался. Штора, все еще зажатая в его правой руке (тогда как левой он пытался достать меня), натянулась и оборвалась, что усилило поток лунного света, врывавшийся в комнату, так как небо к тому времени совершенно очистилось от облаков. Яркий зеленоватый свет полной луны затмил пламя свечей и обнажил новые свидетельства упадка и разрушения в затхлой комнате с источенными червем стенными панелями, просевшими досками пола, осыпавшейся облицовкой камина, шаткой мебелью и рваной драпировкой. Лучи света не миновали и старика, который — то ли под их действием, то ли от смеси страха и бешенства — съежился и почернел лицом, продолжая тянуть ко мне свои хищные лапы. При этом глаза его сверкали все ярче по мере того, как темнело и сушилось его лицо.

Между тем удары в дверь стали более настойчивыми и теперь сопровождались металлическим призывом. Сущест-

во передо мной обратилось в темную бесформенную кучу, из которой выделялась лишь голова с горящими глазами, но оно еще делало попытки продвинуться в мою сторону по все более проседавшему полу, временами издавая невнятные, но полные бешеной злобы звуки. А на ветхую дверь обрушилась новая серия резких и частых ударов, и в разраставшейся прореже блеснуло лезвие томагавка. Будучи не в силах сдвинуться с места, я мог лишь оторопело наблюдать за тем, как дверь развалилась на части и в проем хлынула черная масса, в которой звездочками мерцало множество злобных глаз. Подобная потоку густой вязкой нефти, она снесла прогнившую перегородку, опрокинула кресло и прошла под столом, направляясь к тому месту, откуда на меня глазела потемневшая голова старого колдуна. Масса сомкнулась над этой головой, поглотила ее и — унося свою добычу, но не тронув меня — потекла назад к двери и вниз по лестнице, которая вновь закрипела как от множества шагов, на сей раз удалявшихся.

Тут наконец не выдержали гнилые балки, пол провалился, и я рухнул в темную комнату первого этажа, весь облепленный вековой паутиной и полумертвый от ужаса. Зеленый свет луны, проникая сквозь разбитые окна, позволил мне разглядеть, что дверь в холл приоткрыта. Выбираясь из-под груды обломков и кусков штукатурки, я заметил, как мимо двери прокатился чудовищный черный поток с мелькающими в его глубине мрачными огоньками глаз. Он искал дверь в подвал и, найдя ее, исчез вниз. Вслед за тем я ощутил, как проседает пол и этой комнаты, а сверху донесся треск, и мимо окна пролетели останки того, что еще недавно было куполом крыши. Рывком высвободившись, я устремился через холл к наружной двери, однако та оказалась запертой на ключ; тогда я схватил стул, высадил им ближайшее окно, совершил отчаянный бросок и приземлился на густую сорную траву запущенной лужайки, по которой скользил лунный свет. Окружавшая усадьбу стена была высока, а ворота заперты, но я нашел поблизости несколько ящиков, взгромоздил их один на другой в углу двора и вскарабкался наверх, уцепившись за большую каменную урну, которая венчала угловой столб.

В полном изнеможении я огляделся вокруг и увидел только стены, окна и двускатные крыши совершенно незнакомых мне зданий. Улицы с крутым подъемом, по которой я сюда пришел, нигде видно не было, да и обзор ухудшался с каждой секундой из-за тумана, быстро наползавшего со стороны реки, при том что полная луна светила по-прежнему ярко. Внезапно урна наверху столба, за которую я держался, зашаталась, словно ей передались мое головокружение и смертельная усталость, и спустя миг я уже летел вниз, навстречу неведомой судьбе.

Нашедший меня на улице человек сказал, что я перед тем, должно быть, проделал ползком очень долгий путь, если судить по оставленному мной кровавому следу, начало которого он не решился искать. Прошедший вскоре дождь смыл этот след и тем самым оборвал единственную нить, могущую привести к месту, где я подвергся страшному испытанию. Из показаний свидетелей явствовало лишь то, что я невесть откуда возник у входа в маленький тенистый дворик близ Перри-стрит.

Сам я ни разу не попытался вернуться в те мрачные лабиринты и не советую здравомыслящим людям предпринимать их поиски. Понятия не имею, что такое явилось тогда из подземелья, но, как я уже отмечал, этот город мертв и полон ужасных тайн. Сгинул ли *он* навсегда, мне неизвестно; ну а я вскоре после того возвратился домой, к нежно-зеленым лужайкам Новой Англии, по вечерам овеваемым свежим дыханием океанских бризов.

СЛУЖИТЕЛЬ ЗЛА

Сумрачного вида седобородый мужчина в костюме неярких тонов проводил меня до комнаты в мансарде и, остановившись на верхних ступенях лестницы, обратился ко мне со словами:

— Да, он жил именно здесь, однако я советую вам воздержаться от каких бы то ни было действий. Любознательность может стоить вам слишком дорого. Мы никогда не заходим сюда по ночам, и, кабы не его воля, мы бы давным-давно все отсюда повыбрасывали. Вам должно быть известно, чем он занимался и к чему это привело. После его ужасной кончины все хлопоты взяла на себя эта гнусная Организация, и нам по сей день неведомо даже место, где он похоронен. Не существует никаких законных — да и любых иных — средств повлиять на Организацию. Надеюсь, вы успеете покинуть это место еще до наступления темноты. И умоляю вас, ни в коем случае не трогайте лежащую на столе вещицу — вон ту, наподобие спичечного коробка. Мы не знаем ее назначения, но подозреваем, что она как-то связана с его темными делами. Мы опасаемся даже случайно задерживать на ней взгляд.

После этого мужчина покинул мансарду, и я остался один. Полутемная пыльная комната была меблирована крайне скудно, но царивший здесь безукоризненный порядок отличал ее от обычных трущобных жилищ. Книжные полки у стен были сплошь заставлены трудами средневековых теологов и классических авторов, в шкафу за стеклом хранились трактаты

по магии — Парацельс, Альберт Великий, Тритемий, Гермес Трисмегист, Бореллий и другие, чьи названия, написанные знаками неизвестного мне алфавита, я так и не смог разобрать. Мебель была сработана грубо, но прочно, а за единственной имевшейся в комнате дверью я обнаружил глухой чулан. Роль входа выполнял квадратный люк в полу, к которому снизу поднималась очень крутая лестница. Окна мансарды походили на два круглых бычьих глаза, а толстые перекрытия из почерневшего дуба не оставляли сомнений в том, что здание это было построено очень и очень давно. Судя по всему, оно находилось где-то в Старом Свете. Тогда я, кажется, представлял себе, где именно, но сейчас уже не могу припомнить в точности. Ясно только, что это был не Лондон. У меня сохранилось смутное ощущение небольшого приморского городка.

Вещица, лежавшая на столе, все сильнее и сильнее притягивала мое внимание. Казалось, я знал, что с ней следует делать; по крайней мере, я, не задумываясь, извлек из кармана электрический фонарик — или нечто вроде этого — и принялся нервно щелкать переключателем. Луч оказался не обычного желтовато-белого, а скорее фиолетового цвета и больше напоминал радиоактивное излучение, нежели свет как таковой. Впрочем, я в тот момент не воспринимал эту штуковину как фонарь — у меня действительно был при себе электрический фонарик, но он так и остался лежать в другом кармане.

Начинало темнеть, старинные крыши с высокими трубами оформились в причудливый рельеф за круглыми рамами окон. Я наконец собрался с духом, приподнял один край таинственной коробочки, подперев ее валявшейся на столе книгой, и направил на нее луч, состоявший — на сей раз это было явственно видно — из стремительного потока микроскопических фиолетовых частиц. Ударяясь о блестящую поверхность коробочки, они издавали негромкое сухое потрескивание, как это бывает при прохождении искровых разрядов в вакуумной трубке. Темная до той поры поверхность постепенно приобретала розоватый оттенок, а в центре ее начал

вырисовываться смутный белый силуэт. Тут я заметил, что нахожусь в комнате не один, и быстро спрятал в карман лучевой аппарат.

Вошедший, однако, не проронил ни слова. Более того, для меня внезапно исчезли все звуки мира, и дальнейшие события происходили в абсолютной тишине. Это была пантомима теней, наблюдаемая как бы сквозь легкую дымку, при том что все фигуры, появлявшиеся в комнате, находились одновременно и совсем рядом со мной, и где-то вдали, словно они подчинялись законам какой-то иной, фантастической геометрии.

Стоявший передо мной человек в облачении англиканского священника был сравнительно невысок ростом, худ и темноволос. На вид ему было около тридцати лет. Черты его болезненно-желтоватого лица можно было бы назвать правильными, но пропорции нарушались из-за неестественно огромного лба. Волосы незнакомца были аккуратно подстрижены и причесаны; свежевыбритый подбородок отсвечивал синевой. Он носил очки без оправы, стекла которых крепились к тонким стальным дужкам. Облик его вполне соответствовал бы моим представлениям о священниках, не будь этого несоразмерно высокого лба, слишком острого и цепкого взгляда и никак не приличествующего служителю церкви выражения угрюмой злобы. В целом это лицо отмечала едва заметная, но несомненная печать порока. Пока я его разглядывал, священник успел зажечь тусклую масляную лампу и теперь нервными движениями одну за другой бросал магические книги в жерло ранее не замеченного мною камина, находившегося в простенке между окнами мансарды — в том месте, где стена делала резкий изгиб. Пламя жадно заглатывало древние фолианты, взвиваясь вверх разноцветными языками и распространяя вокруг невыразимо удушливое зловоние всякий раз, когда очередная порция покрытых непонятными мне иероглифами листов, скрепленных обветшалым переплетом, темнея и корчаась, обращалась в золу. Внезапно я увидел в комнате еще нескольких фигур — сердито настроенных священнослужителей, один из которых, судя по

одеянию, был в сане епископа. Не имея возможности что-либо слышать, я смог лишь понять, что они объявляют первому незнакомцу какое-то исключительно важное решение. У меня сложилось впечатление, что вновь вошедшие ненавидят и в то же время как будто боятся его и что он, в свою очередь, испытывает по отношению к ним совершенно аналогичные чувства. Лицо его исказилось зловещей гримасой, а правая рука заметно дрожала, пытаясь нащупать спинку стоящего позади стула. Епископ указал сначала на опустевший шкаф, а затем на камин, в котором посреди бесформенной обуглившейся массы слабо шевелилось пламя. Тогда первый человек криво усмехнулся и потянулся левой рукой к лежащему на столе предмету. Это движение повергло всех прочих в совершеннейший ужас. Святые отцы, агрессивно жестикулируя, отступили к отверстию люка и один за другим исчезли вниз. Последним удалился епископ.

Тотчас после этого хозяин комнаты направился к чулану, расположенному в ее дальнем конце, и достал оттуда моток веревки. Визвавшись на стул, он привязал веревку к здоровенному крюку, вбитому в дубовую потолочную балку, и начал делать петлю. Угадав финал столь недвусмысленных приготовлений, я ринулся вперед, намереваясь остановить или спасти его в последний миг. Тут он впервые заметил меня и тотчас оставил свое занятие, причем во взоре его промелькнуло торжествующее выражение, что меня озадачило и напугало. Он неторопливо спустился со стула и двинулся в мою сторону. На потемневшем тонкогубом лице появилась ухмылка, напоминающая звериный оскал.

Почуввав смертельную опасность, я почти бессознательно выхватил из кармана лучевой аппарат, пытаясь воспользоваться им как единственным средством защиты. Не знаю, с какой стати я вообразил, будто он может мне помочь. Включив прибор, я направил луч прямо в лицо священнику и увидел, как оно осветилось сперва фиолетовыми, а затем розоватыми бликами. Выражение свирепого торжества начало уступать место безумному страху, которому, однако, не удалось полностью взять верх, и в конце концов оба этих чувст-

ва отобразились в искривившей его лицо неописуемо жуткой гримасе. Он замер на месте, а потом начал пятиться, дико размахивая руками. Когда он таким образом приблизился к самому краю открытого лестничного колодца, я крикнул, пытаясь предостеречь его, но он меня не услышал. В следующее мгновение он шагнул назад, в последний раз взмахнул руками и пропал из виду.

Я не сразу сумел добраться до люка, ибо каждое движение давалось мне с огромным трудом. Наконец заглянув туда, я вопреки ожиданиям не увидел распростертого внизу неподвижного тела. Вместо этого до меня донеслись голоса и топот людей, поднимавшихся вверх по лестнице с зажженными фонарями. Заклятие призрачной тишины было снято, и я вновь мог слышать и видеть вещи в привычной трехмерной перспективе. Хотя была ли тишина на самом деле? Что-то же привлекло сюда всю эту толпу. Может быть, я просто временно оглох, тогда как остальные явственно слышали шум наверху?

Между тем двое простолюдинов, шедшие впереди остальных, разглядев меня, замерли, словно сраженные внезапным параличом. Один из них только и смог пронзительно вскрикнуть:

— А-а-ах!.. Это вы, ваша милость?.. Неужто опять все сначала?!

После чего все они развернулись и в панике бросились наутек. Впрочем, один человек остался. Когда топот убежавших стих внизу, я заметил на ступеньках седобородого мужчину, приведшего меня сюда. Он стоял с фонарем в руке и смотрел на меня в сильнейшем изумлении, но без признаков испуга. Затем, поборов минутное замешательство, он начал медленно подниматься по лестнице.

Оказавшись лицом к лицу со мной, он понимающе покачал головой:

— Итак, вы все-таки не смогли удержаться. Жаль. Молчите — я знаю, что произошло. Это уже случалось однажды, но тот человек не выдержал и застрелился. Вам не следовало вызывать его, вы ведь знаете, чего он добивается. Но уж те-

перь-то вы не должны терять голову, как это случилось с вашим предшественником. К счастью, дело не зашло настолько далеко, чтобы ему удалось завладеть вашим рассудком и самой личностью. Сохраняйте хладнокровие, смиритесь с необходимостью круто изменить свою жизнь, и вы по-прежнему сможете пользоваться плодами учености и всеми прочими радостями, что доставляет нам окружающий мир. Разумеется, вам нельзя будет оставаться здесь — сомневаюсь также, чтобы вы захотели вернуться в Лондон. Я бы посоветовал вам Америку. Да, и не пытайтесь больше экспериментировать с этой вещью. Пути назад у вас уже нет. Вы, конечно, можете вызвать определенные изменения, но они всегда будут только в худшую сторону. Сказать по правде, вы отделались сравнительно легко — так бегите же поскорее и как можно дальше от этих мест! И благодарите Бога, что все ограничилось только внешностью... Ну вот, я, как мог, постарался вас подготовить. Что до случившихся перемен, то вам следует знать: встречи с *ним* неизменно заканчиваются подобным образом. Уехав отсюда и поселившись в далекой стране, где вас никто не знает, вы со временем пообвыкнете. А сейчас прошу вас подойти к зеркалу на той стене комнаты. Вероятно, это будет для вас потрясением, хотя ничего особо ужасного вы не увидите.

Меня била дрожь, и ему пришлось, взяв со стола тусклую лампу (свой еще более тусклый фонарь он оставил на полу рядом с люком), другой рукой поддерживать меня на протяжении тех нескольких шагов, что потребовалось пройти до зеркала. Вот что увидел я в нем.

Передо мной стоял худой темноволосый человек среднего роста в облачении англиканского священника, лет тридцати или около того, в очках, стальные дужки которых поблескивали из-под уродливо огромного лба. Это был все тот же безмолвный незнакомец, несколько минут назад жегший в камине древние фолианты.

И отныне я был обречен провести остаток своих дней в облике этого человека и тем самым еще на какое-то время продолжить в себе его жизнь.

АРТУР ДЖЕРМИН

1

Жизнь ужасна сама по себе, и тем не менее на фоне наших скромных познаний о ней проступают порою такие дьявольские оттенки истины, что она кажется после этого ужасней во сто крат. Наука, увечающая наше сознание своими невероятными открытиями, возможно, станет скоро последним экспериментатором над особями рода человеческого — если мы сохранимся в качестве таковых, ибо мозг простого смертного вряд ли будет способен вынести изрыгаемые из тайников жизни бесконечные запасы неведомых дотоле ужасов. Знай мы, кто и откуда мы есть, возможно, и мы поступили бы так же, как сэр Артур Джермин, который в последнюю ночь своей жизни облил себя керосином и поднес огонь к пропитанной горючим одежде. Никто не отважился поместить в урну его обгоревшие останки или установить надгробие в память о нем, ибо в его доме были найдены некие документы и некий предмет, хранившийся в ящике. Люди, нашедшие их, постарались как можно скорее забыть об этом, а некоторые из тех, кто был лично знаком с их обладателем, до сих пор отказываются признать, что Артур Джермин вообще существовал на земле.

В тот роковой день Артур Джермин вскрыл ящик, присланный ему из Африки, и увидел упакованный в него предмет, а когда наступила ночь, вышел на болото и предал себя огню. Поводом для самосожжения послужил именно этот предмет, а вовсе не внешность погибшего, которая была, мяг-

ко говоря, более чем необычной. Для многих из нас жизнь была бы пыткой, обладай мы такой наружностью. Но сэр Артур, будучи по складу ума поэтом и ученым, не обращал на свое уродство ни малейшего внимания. Страсть к учению была у него в крови — его прадед, сэр Роберт Джермин, баронет, был знаменитым антропологом, а прапрапрадед, сэр Уэйд Джермин, снискал известность как один из первых исследователей бассейна Конго. Он оставил после себя пространные труды, в которых тщательно описал природу этого края, его флору и фауну, населявшие его племена и гипотетическую древнюю цивилизацию, якобы существовавшую там много веков назад. Страсть к познанию мира была у сэра Уэйда почти маниакальной, а его никем не признанная гипотеза о наличии в Конго некой белой расы, сохранившейся с доисторических времен, вызвала шквал насмешек, последовавший сразу же после выхода в свет его книги «Обзор некоторых регионов Африки». В 1765 году сей бесстрашный исследователь был помещен в сумасшедший дом в Хантингдоне.

Безумие было семейным недугом Джерминов, и окружающим оставалось только радоваться немногочисленности их рода. В каждом поколении неизменно оказывался только один наследник мужского пола, а с гибелью Артура Джермина род угас окончательно. Трудно сказать, как поступил бы Артур после ознакомления с вышеупомянутым предметом, если бы у него был наследник. Все Джермины были уродливы, но Артур выделялся своей уродливостью даже среди своих странных родственников. Впрочем, на старых семейных портретах в доме Джерминов можно было увидеть тонкие, умные лица, не тронутые печатью безумия. Определенно, семейный недуг овладел родом начиная с сэра Уэйда, чьи невероятные рассказы об Африке вызывали у его немногочисленных друзей чувство восторга пополам с ужасом. Его коллекция африканских трофеев явно свидетельствовала о ненормальности ее владельца, ибо никакой здравомыслящий человек не стал бы собирать и хранить у себя дома такие отвратительные и зловещие экспонаты. И уж особого разговора

заслуживало то воистину восточное заточение, в котором он содержал свою жену. По его словам, она была дочерью португальского торговца, с которым он встретился в Африке. Жена сэра Уэйда не любила Англии и ее обычаев. Она и ее маленький сын, родившийся в Африке, появились в доме Джерминов после возвращения сэра Уэйда из второго и самого длительного его путешествия. Очень скоро Уэйд Джермин отправился в третье, взяв жену с собой, и она не вернулась из этого путешествия. Никто не видел ее вблизи, даже слуги; впрочем, ни у кого из них и не возникало желания столкнуться с нею лицом к лицу, ибо, по слухам, она отличалась буйным и необузданным нравом. Во время пребывания в доме Джерминов она занимала отдаленное крыло здания, и сэр Уэйд был единственным человеком, чьими услугами она пользовалась. Он вообще был ярым приверженцем изоляции членов своей семьи, а потому, когда он бывал в отъезде, за его малолетним сыном дозволялось присматривать одной лишь няньке — невероятно уродливой чернокожей уроженке Гвинеи. Вернувшись в Англию без леди Джермин, исчезнувшей в Африке навсегда, он сам взялся за воспитание сына.

Поводом для того, чтобы счесть сэра Уэйда сумасшедшим, стали разговоры, которые он вел на людях, особенно будучи навеселе. В ту насквозь пропитанную духом рационализма эпоху, какой заслуженно считается XVIII век, со стороны ученого человека было в высшей степени неразумно с серьезным видом рассказывать о жутких образах и невероятных пейзажах, якобы виденных им под конголезской луной, о гигантских стенах и колоннах заброшенного города, полуразрушенного и заросшего лианами, о безмолвных каменных ступенях, ведущих вниз, в непроглядную тьму бездонных подвалов и запутанных катакомб с погребенными там сокровищами. Но самым большим его промахом были рассуждения о предполагаемых обитателях тех мест — существах, происходивших наполовину из джунглей, наполовину из древнего языческого города и бывших созданиями столь сказочными, что, верно, и сам Плиний описал бы их с известной долей скептицизма. Эти существа якобы начали появляться на свет по-

сле набега гигантских человекообразных обезьян на умирающий город. Возвратясь домой из последнего своего африканского путешествия, сэр Уэйд рассказывал обо всем этом с таким жутковатым пылом (аудиторией для его выступлений служил зал таверны «Голова рыцаря»), что слушавшие его невольно содрогались. После третьего стакана сэр Уэйд начинал похвально своим находками, сделанными в джунглях, и с пьяной спесью повествовал о том, как он жил в полном одиночестве среди страшных развалин, местонахождение которых было известно ему одному. В конце концов его упрятали в приют для умалишенных, и местные жители облегченно вздохнули, ибо они были сыты по горло сэром Уэйдом и его кошмарными историями. Сам сэр Уэйд, когда его поместили в зарешеченную комнату в Хантингдоне, не очень-то огорчился. Последнее обстоятельство объяснялось его весьма своеобразным восприятием мира. Он невзлюбил дом, в котором жил, еще в пору отрочества своего сына, а позже вообще стал избегать его. «Голова рыцаря» некоторое время была для него самой настоящей штаб-квартирой, а когда его изолировали от общества, он испытал даже нечто вроде благодарности к своим стражам, полагая, что заточение охранит его от некой нависшей над ним опасности. Три года спустя он умер.

Сын Уэйда Джермина Филипп тоже был весьма своеобразной личностью. Несмотря на сильное физическое сходство с отцом, он отличался настолько грубой внешностью и неотесанными манерами, что окружающие старательно его избегали. Ему не передалось безумие отца, чего так боялись многие, но он был безнадежно туп и, кроме того, подвержен вспышкам неудержимой ярости. Небольшого роста и неширокий в плечах, он отличался огромной физической силой и невероятной подвижностью. Через двенадцать лет после получения наследства и титула он женился на дочери своего лесника, который, по слухам, происходил из цыган, однако, даже не дождавшись рождения сына, внезапно пошел служить на флот простым матросом, чем вызвал яростное форте в хоре всеобщего осуждения, понемногу нараставшего после его вступления в брак с женщиной столь низкого происхождения.

По завершении американской войны он плывал на торговом судне, совершавшем рейсы в Африку, и заслужил популярность среди моряков своими силовыми трюками и бесстрашным лазанием по вантам и мачтам. В одну из ночей, когда корабль пристал к берегу Конго, он бесследно исчез.

В отпрыске Филиппа Джермина фамильная особенность, которую тогда никто уже не оспаривал, приняла весьма странное и фатальное выражение. Высокий и, несмотря на незначительные диспропорции телосложения, довольно миловидный, с налетом загадочной восточной грации, Роберт Джермин начал свой жизненный путь в качестве ученого и исследователя. Он первым глубоко изучил обширную коллекцию реликвий, привезенных из Африки его сумасшедшим дедом, и первым же прославил фамилию Джерминов среди этнографов в такой же степени, в какой она уже была известна среди географов-исследователей. В 1815 году сэр Роберт женился на дочери виконта Брайтхолма, которая родила ему одного за другим троих детей. Старшего и младшего из них никто и никогда не видел: родители держали их взаперти, не желая выставлять на всеобщее обозрение их физическую и умственную неполноценность. Глубоко опечаленный таким поворотом семейной жизни, сэр Роберт нашел утешение в работе и организовал две длительные экспедиции в глубь Африки. Его средний сын, Невил, был необычайно отталкивающей личностью и явно сочетал в себе угрюмость Филиппа Джермина с надменностью Брайтхолмов. В 1849 году он сбежал из дома с простой танцовщицей, но уже через год вернулся обратно и получил прощение. К тому времени он уже был вдовцом и папашей маленького Альфреда, которому суждено было стать отцом Артура Джермина.

Друзья сэра Роберта говорили, что его помешательство наступило из-за несчастий, выпавших на его долю, но, скорее всего, истинной причиной был африканский фольклор. Ученый-исследователь собирал легенды о племенах онга, живших неподалеку от того района, где проводил свои изыскания сэр Уэйд. В этих легендах Роберт Джермин надеялся найти обоснование невероятным историям своего предка о затерянном

в джунглях городе, населенном странными существами-гибридами. Кое-какие документы, найденные у сэра Уэйда, свидетельствовали о том, что воображаемые видения безумца наверняка подпитывались африканскими мифами. 19 октября 1852 года в дом Джерминов заглянул Сэмюэл Ситон, который некоторое время жил среди племен онга и составил о них обширные заметки. Ситон полагал, что кое-какие легенды о каменном городе гигантских белых обезьян, над которыми властвовал белый бог, могли бы оказаться ценными для этнографа. В своей беседе с Робертом Джермином Ситон наверняка представил тому множество разного рода дополнительных свидетельств, однако об их содержании мы можем только весьма приблизительно догадываться, ибо мирный разговор двух антропологов совершенно неожиданно обернулся чередой трагических и кровавых событий. Выйдя из библиотеки, где проходила встреча, сэр Роберт Джермин оставил в ней труп задушенного Сэмюэла Ситона, а затем, не успев прийти в себя после содеянного, хладнокровно лишил жизни своих троих детей — как обоих неполноценных, которых никто и никогда не видел, так и Невилу, убежавшего из дома в 1849 году. Приняв смерть от руки отца, Невил все же сумел защитить своего двухлетнего сына, который был явно включен старым безумцем в схему этого ужасного преступления. Сам же сэр Роберт, после нескольких попыток самоубийства и упорного нежелания произнести хотя бы единственное слово, умер от апоплексического удара на втором году своей изоляции.

Сэр Альфред Джермин стал баронетом на четвертом году жизни, но его вкусы и пристрастия никогда не соответствовали этому титулу. В двадцать лет от роду он связался с труппой артистов мюзик-холла, а в тридцать шесть оставил жену и сына на произвол судьбы и уехал на гастроли с бродячим американским цирком. Его жизнь оборвалась совершенно ужасным и бесславным образом. В цирке среди животных был огромный самец гориллы необычно светлой окраски; обезьяна эта была удивительно кроткой (что никак не вязалось с ее внушительными размерами) и этим заслужила го-

рячую любовь всех артистов. Что касается Альфреда Джермина, то он был совершенно очарован ею; очень часто они, разделенные решеткой, сидели один напротив другого и нежно смотрели друг другу в глаза. В конце концов Альфред добился разрешения дрессировать животное и достиг в этом деле результатов, которые одинаково изумляли и публику, и его коллег. Однажды утром (это было в Чикаго) Альфред репетировал с гориллой боксерский матч, в ходе которого обезьяна нанесла дрессировщику-любителю удар, гораздо более сильный, нежели требовали правила игры, тем самым причинив своему противнику неприятные ощущения и больно задев его самолюбие. О том, что произошло потом, люди из «Величайшего шоу на Земле» — так назывался бродячий цирк — предпочитают не вспоминать. Они никак не ожидали, что Альфред Джермин вдруг издаст пронзительный нечеловеческий визг, схватит своего огромного противника обеими руками, прижмет к полу клетки и яростно вцепится зубами в его заросшее шерстью горло. Первые несколько секунд горилла была ошеломлена, но затем быстро пришла в себя, и к тому времени, когда подросел дрессировщик-профессионал, тело баронета было изувечено до неузнаваемости.

2

Артур Джермин был сыном Альфреда и никому не известной певички из мюзик-холла. Когда муж и отец оставил семью, мать привезла ребенка в дом Джерминов, где сразу же сделала полновластной хозяйкой. Она не забывала о дворянском титуле своего сына и постаралась дать ему образование настолько высокое, насколько позволяли скудные денежные средства. Семейные ресурсы таяли на глазах, и дом Джерминов совершенно обветшал, однако молодой Артур полюбил это старое сооружение вкупе со всей заполнявшей его рухлядью. Артур не походил ни на одного из своих предшественников — он был поэтом и мечтателем. Те из соседей, которым было известно о таинственной португальской жене старого Уэйда Джермина, утверждали, что ее романская кровь

еще даст о себе знать, однако большинство издевательски посмеивалось над его восприимчивостью к прекрасному, объясняя это чертами, унаследованными от матери, певички неизвестного происхождения. Поэтическая изысканность Артура Джермина была просто выдающейся и никак не вязалась с его уродливой внешностью. Почти все Джермины отличались хрупким сложением и довольно неприятными чертами лица, но Артур превзошел в этом всех своих предков. Трудно хотя бы приблизительно описать его уродство или сравнить его с чем-нибудь. Несомненно одно: резкие, выступающие черты лица и неестественной длины руки заставляли содрогаться от отвращения всякого, кто видел Артура Джермина в первый раз.

Однако его физическое уродство совершенно искупалось необычайным умом и талантом. Одаренный и эрудированный, он был удостоен самых почетных наград Оксфорда и вознес интеллектуальную славу своего рода на новые высоты. По своему складу он был скорее поэтом, нежели ученым. И тем не менее в его планы входило продолжить работу своих предков в области африканской этнографии. В его распоряжении была замечательная конголезская коллекция сэра Уэйда, и Артур много размышлял о доисторической цивилизации, в существование которой так упрямо верил сумасшедший исследователь, одновременно пытаясь связать воедино многочисленные легенды и не менее многочисленные заметки, оставшиеся от его прапрапрадеда. По отношению к таинственной гибридной расе, обитавшей в конголезских джунглях, он испытывал какое-то особое чувство симпатии, смешанное со страхом; размышляя об этом, он пытался найти разгадку в более поздних свидетельствах, собранных его прадедом и Сэмюэлом Ситоном среди племен Онга.

В 1911 году, после смерти матери, сэр Артур Джермин решил всецело посвятить себя поискам неведомого города. Продав часть своего поместья, он снарядил экспедицию и отплыл в Конго. Наняв с помощью бельгийских властей проводников-аборигенов, он отправился в глубь джунглей и провел год в стране онга и калири, неустанно собирая сведения о

заброшенном городе. Вождем племени калири был старый Мвану; он обладал крепкой памятью и ясным умом и знал множество старинных легенд и преданий. Старый вождь подтвердил правдивость всех легенд, слышанных Артуром Джермином, и дополнил их своими соображениями по поводу каменного города и белых человекообразных обезьян.

По словам Мвану, город этот действительно стоял когда-то в джунглях и его действительно населяли существа-гибриды, но много лет тому назад они были уничтожены воинственным племенем н'бангу. Воины н'бангу, разрушив почти все сооружения города и истребив его население, унесли с собой мумию богини, ради которой они и совершили набег на город. Богиня эта представляла собой белую человекообразную обезьяну, и странные существа, населявшие каменный город, поклонялись ей. Жители Конго считали, что она походила на принцессу, некогда правившую этим городом. Мвану не имел ни малейшего понятия об этих странных существах, но полагал, что именно они построили город, ныне лежащий в руинах. Будучи не в состоянии разработать сколько-нибудь стройную гипотезу, Джермин тем не менее сумел вытянуть из Мвану весьма живописную легенду о мумифицированной богине.

Принцесса в образе белой обезьяны, гласила легенда, стала супругой великого белого бога, пришедшего на эту землю с запада. Долгое время они вместе правили городом, но после рождения сына все трое покинули его. Они вернулись некоторое время спустя, но уже без сына, а после смерти принцессы ее божественный супруг забальзамировал тело и поместил его в большой каменный мавзолей, где оно стало объектом всеобщего поклонения. После этого он навсегда ушел из города. У этой легенды имелось три возможных завершения. Согласно одному из них, ничего существенного после описанных событий не произошло, а мумия богини стала считаться символом могущества племени, обладавшего ею. Именно поэтому н'бангу совершили набег на город и похитили ее. Во втором варианте говорилось о том, что белый бог вернулся в город и умер в ногах у священного тела своей жены.

В третьем же упоминалось о возвращении сына, ставшего к тому времени взрослым мужем — то ли богом, то ли обезьяной, в зависимости от фантазии сказителя, — но не имевшего понятия о своем высоком происхождении. Безусловно, чернокожие аборигены с их буйным воображением исказили до неузнаваемости те немногие реальные факты, которые могли лечь в основу этой весьма занятой легенды.

Артур Джермин больше не сомневался в том, что описанный сэром Уэйдом город действительно существует, и потому не очень удивился, когда в начале 1912 года набрел на то, что от него осталось. Его размеры были явно скромнее тех, что упоминались в легендах, и тем не менее валявшиеся повсюду обработанные камни говорили о том, что это была не просто негритянская деревня. К своему огромному огорчению, Артур не нашел среди развалин никаких резных изображений, а многочисленность членов экспедиции помешала расчистить хотя бы один из проходов, ведущих в упоминавшиеся сэром Уэйдом катакомбы. Артур переговорил со всеми местными вождями о белых человекообразных обезьянах и забальзамированной богине, но полученные сведения необходимо было уточнить у какого-нибудь европейца, жившего в этих местах. И Артур нашел такого человека — это был мсье Верхерен, бельгийский агент, обитавший на одной из конголезских торговых факторий. Выслушав Артура, бельгиец пообещал ему не только отыскать, но и доставить мумию богини. Хотя о ней мсье Верхерен слышал лишь краем уха, он рассчитывал на помощь племени н'бангу, которое в то время состояло на службе у правительства короля Альбера; бельгиец не без основания полагал, что ему удастся достаточно легко убедить их расстаться с этим мрачным божеством, которое некогда было похищено из каменного города их предками. Отплывая в Англию, Джермин думал о том, что через каких-нибудь несколько месяцев он, может быть, получит бесценную для этнографа реликвию, которая подтвердит самые безумные гипотезы его прапрапрадеда. Одна эта мысль заставляла его дрожать от волнения. Впрочем, деревенские жители, жившие неподалеку от поместья Джерминов, могли бы рассказать

Артуру гораздо более леденящие душу истории на конголезскую тему, унаследованные ими от своих дедов, прадедов и прапрадедов, последние из которых имели честь лично присутствовать на выступлениях сэра Уэйда в «Голове рыцаря».

Артур Джермин терпеливо ждал вестей от мсье Верхерена, между тем основательно изучая рукописи своего безумного пращура. Постепенно ощутив нечто вроде духовной близости с сэром Уэйдом, он энергично взялся за поиски свидетельств о его жизни в Англии, тогда как до этого Артура интересовали только африканские приключения предка. Несмотря на обилие устных преданий о загадочной жене-португалке, Артуру не удалось отыскать ни одного вещественного подтверждения тому, что таковая вообще жила в доме Джерминов. Казалось, память о ней была намеренно вычеркнута из семейных анналов. Артур пытался понять, почему так получилось, и в конце концов решил, что причиной этого умышленного забвения явилось сумасшествие ее мужа. Артур Джермин вспомнил, что его прапрапрабабка была дочерью португальца, который вел торговлю в Африке. Без сомнения, она превосходно знала Черный континент и обладала определенной практической сметкой, унаследованной от отца. Гипотезы сэра Уэйда наверняка вызывали у нее издевательскую усмешку, а такой мужчина, как Уэйд Джермин, вряд ли мог простить ей подобное поведение. Она умерла в Африке — скорее всего, муж увез ее туда специально для того, чтобы убедить в своей правоте. Рассуждая таким образом, Артур отдавал себе отчет в том, что все это не более чем догадки, а установить истину вряд ли удастся, так как после смерти его странных предков прошло уже добрых полтора столетия.

В июне 1913 года Джермин получил письмо от мсье Верхерена, в котором последний сообщал о том, что поиски мумии увенчались успехом. Эта мумия, писал бельгиец, представляет собой совершенно необычный экспонат, классифицировать который было бы не под силу простому любителю. Только специалист мог бы определить, кому именно — человеку или обезьяне — принадлежало это забальзамирован-

ное тело, а процесс идентификации еще более затруднен ввиду его весьма плачевного состояния. Неумолимое время и влажный климат Конго никак нельзя отнести к факторам, благоприятствующим сохранности мумий, особенно в случаях, когда бальзамирование выполнено на любительском уровне, как в данном случае. На шее у мумии имеется золотая цепочка с пустым медальоном, на поверхности которого изображен некий герб; несомненно, медальон был снят разбойниками н'бангу с какого-нибудь незадачливого белого путешественника и нацеплен на шею богини в знак преклонения. Подробно остановившись на чертах лица мумифицированной богини, мсье Верхерен позволил себе привести фантастическое сравнение, или, скорее, шутливое предположение относительно того, насколько эти черты могут поразить его корреспондента; впрочем, письмо носило в основном строго научный характер, и упоминание о чертах лица богини было единственным легкомысленным его местом. Бельгиец писал, что ящик с мумией прибудет примерно через месяц после получения письма.

Помещенный в ящик предмет был доставлен в дом Джерминов 3 августа 1913 года во второй половине дня. Сэр Артур тут же распорядился унести его в большой зал, где хранилась коллекция африканских образцов, начатая сэром Робертом и завершенная самим Артуром.

О дальнейших событиях повествуют свидетельства слуг, документы и вещественные доказательства, которые позже подверглись самому тщательному изучению. Из всех свидетельств наиболее полным и связным был рассказ старого Сомса, дворецкого в доме Джерминов. Он показал, что после того, как ящик был установлен в комнате-музее, сэр Артур приказал всем покинуть помещение. Как только его приказание было выполнено, он тут же принялся вскрывать ящик, о чем свидетельствовал стук молотка и зубила. Потом наступила тишина; сколько она продолжалась, Сомс точно не помнил, однако менее чем через четверть часа дворецкий услышал леденящий душу вопль, исходивший, вне всякого сомнения, из груди Артура Джермина.

В следующее мгновение сэра Артур выскочил из комнаты и с бешеной скоростью устремился к парадному выходу, словно его преследовало некое жуткое чудовище. Выражение неопишемого ужаса на его лице потрясло Сомса, которому отчасти передан страх его хозяина. Почти добежав до парадного, сэра Артур внезапно остановился, поколебался секунду-другую, а затем повернулся и сбежал вниз по ступенькам, ведущим в подвал.

Ошеломленные слуги молча смотрели на дверь, за которой скрылся хозяин дома, ожидая, что он вот-вот появится обратно, но этого так и не произошло. За дверью не было слышно ни звука; только сильный запах керосина начал распространяться по дому. После наступления темноты слуги услышали, как хлопнула дверь, ведущая из подвала во двор. Последним, кто видел живого Артура Джермина, был конюх; по его словам, с ног до головы облитый керосином сэра Артур, воровато озираясь, устремился в сторону раскинувшегося неподалеку от дома болота и вскоре исчез во тьме. Далее ужасные события развивались с огромной быстротой: слуги увидели на пустыре яркую вспышку, столб пламени, в котором корчился самоубийца, и через минуту все было кончено.

Причину, по которой обгоревшие останки сэра Артура Джермина не были собраны и захоронены, следует искать на дне ящика, полученного покойным из Африки. Вид мумифицированной богини был ужасен: полуразложившаяся, изъеденная, она вызывала тошноту, но даже ничего не смыслящий в антропологии дилетант мог бы понять, что перед ним лежит мумия белой человекообразной обезьяны неизвестного вида, характеризующегося гораздо менее густым, нежели у других обезьян, волосатым покровом и значительно большим сходством с человеком; следует добавить, что последнее было просто невыносимо.

Не будем вдаваться в подробности, дабы не пробудить у читателя весьма неприятных эмоций, однако упомянем о двух немаловажных деталях, которые потрясающе стыкуются с некоторыми заметками сэра Уэйда о его африканских экспедициях, а также с конголезскими легендами о белом боге и

богине в образе человекообразной обезьяны. Во-первых, герб на медальоне, который украшал мумифицированную богиню, был семейным гербом Джерминов; во-вторых, полушутливый намек мсье Верхерена относительно сходства сморщенного лица богини с некой известной персоной относился не к кому иному, как к пораженному сверхъестественным ужасом Артуру Джермину, прапраправнуку сэра Уэйда Джермина и никем никогда не виданной женщины. Члены Королевского антропологического института предали мумию огню, а медальон выбросили в глубокий колодец, и многие из них до сих пор не желают признать, что Артур Джермин вообще существовал на земле.

ИЗ ГЛУБИН МИРОЗДАНИЯ

Странная, не поддающаяся рациональному объяснению перемена произошла в моем друге Кроуфорде Тиллингасте. Я не встречал его с того самого дня, когда два с половиной месяца назад он поведал мне, к какой цели вели его физические и метафизические исследования. Тогда на мои опасения и увещания он ответил тем, что в приступе ярости выдворил меня из своего дома. Я знал, что после этого он заперся в лаборатории с этой ненавистной мне электрической машиной, принимая пищу от случая к случаю и отвергая помощь прислуги. Однако я не думал, что такой короткий промежуток времени, как десять недель, способен столь сильно изменить и обезобразить человеческое существо. Согласитесь, не так уж приятно видеть некогда цветущего человека неожиданно и сильно исхудавшим, а еще неприятнее замечать, что его обвисшая кожа желтеет, а местами становится серой, глаза проваливаются, округляются и жутко поблескивают, лоб покрывается сетью морщин с проступающими сквозь них кровеносными сосудами, а руки дрожат и подергиваются. Если же к этому еще добавить и отталкивающую неряшливость, неразборчивость в одежде, нечесаную и начинающую редеть шевелюру, давно не стриженную седую бороду, почти скрывающую некогда гладкое лицо, то невольно испытываешь нечто близкое к шоку. Именно таким предстал передо мной Кроуфорд Тиллингаст в ночь, когда его малопонятная записка заставила меня после нескольких недель изгнания вновь по-

явиться у знакомой двери. То, что предстало передо мной со свечой в трясущейся руке на пороге старого, уединенного дома на Беневолент-стрит, скорее напоминало тень человека — карикатурный образ, поминутно озирающийся по сторонам и пугающийся каких-то невидимых либо видимых только ему одному вещей.

Слухи о том, что Кроуфорд Тиллингаст когда-то занимался наукой и философией, являются не более чем слухами. Заниматься такими вещами впору беспристрастному человеку с холодным рассудком, а для чувственного и импульсивного человека, каким был мой друг, наука сулила две равные по своим трагическим последствиям возможности — отчаяние в случае провала или невыразимый и неописуемый ужас в случае успеха. Однажды Тиллингаст уже потерпел неудачу и, как следствие, развил в себе склонность к затворничеству и меланхолии. Теперь же, по страху, который он испытывал, я понял, что он стал жертвой собственного успеха. Я предупредил его об этом еще десять недель назад, когда, увлеченный своей фантастической идеей, он с головой ушел в исследования. Тогда он был чрезвычайно возбужден, раскраснелся и излагал свои идеи неестественно высоким, но, как всегда, монотонным голосом.

— Что знаем мы об этом мире и о Вселенной? — говорил он. — У нас до абсурдного мало органов чувств, а наши представления об окружающих предметах до невероятного скудны. Мы видим вещи такими, какими мы созданы их видеть, и мы не в состоянии постичь абсолютную их суть. Со своими пятью жалкими чувствами мы лишь обманываем себя, иллюзорно представляя, будто воспринимаем весь безгранично сложный космос. В то же самое время иные существа, с более сильным и широким спектром чувств, могут не только по-иному воспринимать предметы, но способны видеть и изучать целые миры материи, энергии и жизни, которые окружают нас, но которые никогда не постичь земными чувствами. Я всегда верил, что эти странные, недостижимые миры существуют рядом с нами, а сейчас, как мне кажется, я *нашел способ разрушить преграду, отделяющую нас от них*. Я не шучу.

Через двадцать четыре часа вот эта машина, что стоит у стола, начнет генерировать энергию, способную оживить наши атрофированные или, если угодно, рудиментарные чувства. Эта энергия откроет доселе неизвестные человеку перспективы в постижении органической жизни. Мы узрим причину, по которой ночью воют собаки, а кошки наостряют слух. Мы увидим это и многое другое из того, что недоступно обыкновенным смертным. Мы преодолеем время, пространство и границы измерений и, не сходя с этого места, проникнем в сокровенные глубины мироздания.

Когда Тиллингаст закончил свою речь, я принялся всячески отговаривать его от этой затеи, ибо, зная его достаточно хорошо, испытал скорее испуг, чем чувство радости и торжества. Но он был фанатично одержим своей идеей и, не пожелав меня слушать, выставил из дома. Его фанатизм не иссяк и сейчас, но желание высказаться оказалось сильнее обиды, и он прислал мне несколько строк, написанных в повелительном тоне, но при этом почерком, который я едва смог разобрать. Войдя в обиталище друга, который так неожиданно превратился в трясущееся подобие горгульи, я похолодел от ужаса, который, казалось, исходил от всякой тени в этом сумеречном доме. Слова и заверения, прозвучавшие здесь десять недель тому назад, словно бы приобрели физическую плоть и отчетливые очертания. Я вздрогнул при звуке глухого, изменившегося до неузнаваемости голоса хозяина. Я хотел было кликнуть прислугу, но Тиллингаст заявил, что все слуги покинули его три дня тому назад. Это сообщение пришлось мне очень не по душе. Мне показалось по меньшей мере странным, что старый верный Грегори оставил хозяина, даже не сообщив об этом мне — его давнему и испытанному другу. Именно от Грегори получал я известия обо всем происходившем здесь с того дня, как Тиллингаст в припадке ярости выставил меня из дома.

Но понемногу обуревавшее меня чувство страха вытеснялось все возрастающим любопытством. О том, что именно потребовалось Кроуфорду Тиллингасту от меня на сей раз, я мог только догадываться, — но то, что он обладал великой

тайной, которой жаждал поделиться, не вызывало у меня ни малейших сомнений. Прежде я всячески противился его желанию прорваться в неведомые сферы бытия; но сейчас, когда он, похоже, добился определенных успехов, я был почти готов разделить его ликование, хоть и видел, какой страшной ценой досталась ему эта победа. И вот я безмолвно двигался по темным пустынным комнатам туда, куда вело меня неяркое желтое пламя свечи в дрожащей руке этой пародии на человека. Электричество было отключено по всему дому, а когда я спросил почему, Кроуфорд ответил, что так и должно быть.

— Но это уж слишком... Я никогда не осмелюсь... — различил я среди сплошного потока невнятных фраз, которые мой друг бормотал себе под нос. Это весьма встревожило меня, ибо ранее за ним никогда не водилось привычки разговаривать с самим собой.

Мы вошли в лабораторию, и я снова увидел эту отвратительную электрическую машину, излучавшую жуткий фиолетовый свет. Она была подключена к мощной химической батарее, но, по-видимому, была обесточена, ибо в данный момент не вибрировала, издавая устрашающие звуки, как мне это случалось наблюдать раньше. В ответ на мои расспросы Тиллингаст пробубнил, что свечение, исходящее от машины, не имеет электрической природы.

Он усадил меня слева от нее и повернул выключатель, расположенный под рядом стеклянных ламп. Послышались привычные звуки, сначала напоминающие плевки, затем переходящие в жалобный вой и завершающиеся постепенно сходящим на нет жужжанием. Одновременно свечение то усиливалось, то ослабевало и наконец приобрело какой-то бледный, тревожащий цвет или, точнее, палитру цветов, которую я не мог не то чтобы описать, но даже вообразить. Тиллингаст, который внимательно наблюдал за мною, усмехнулся, увидев мою озадаченную гримасу.

— Хочешь знать, что это такое? — прошептал он. — *Это ультрафиолет.*

Я изумленно выпучил глаза, а он, не переставая ухмыляться, продолжал:

— Ты считал, что ультрафиолетовые лучи не воспринимаются зрением, — и был абсолютно прав. Но *сейчас* ты можешь наблюдать их, как и многое другое, ранее недоступное человеческому взору. Я объясню. Волны, вырабатываемые машиной, пробуждают в нас тысячи спящих чувств, унаследованных нами за период, простирающийся от первых до последних шагов эволюции, от состояния свободных электронов до формирования человеческого организма. Я лицезрел *истину* и теперь намерен открыть ее тебе. Хочешь посмотреть, как она выглядит? Сейчас покажу. — Тиллингаст сел, задув свечу, напротив меня и не мигая уставился мне в глаза. — Органы чувств, которые у тебя имеются, и прежде всего слух, уловят множество новых, доселе неизвестных ощущений. Затем появятся другие. Ты когда-нибудь слышал о шишковидном теле? Мне становится смешно, когда я думаю об этом жалком эндокринологе, об этом запутавшемся вконец человекишке, этом выскочке Фрейде. Тело — это есть величайший орган из всех, которые только имеются у человека, *и открыл это я*. Подобно глазам, оно передает зрительную информацию непосредственно в мозг. Если ты нормален, ты получаешь эту информацию в полной мере... естественно, я имею в виду образы, приходящие *из глубин мироздания*.

Я окинул взором огромную, с наклонной южной стеной мансарду, залитую тусклыми лучами, недоступными обычному глазу. Дальние ее углы были по-прежнему темны, и все помещение казалось погруженным в нереальную дымку, скрывавшую его действительную природу и влекущую воображение в мир фантомов и иллюзий. Тиллингаст замолчал. Мне представилось, что я нахожусь в некоем огромном экзотическом храме давно умерших богов, некоем сплетенном из тумана строении с неисчислимыми колоннами черного камня, взлетающими от основания влажных плит к облачным высотам, что простираются за пределами моего видения. Картина эта некоторое время сохраняла отчетливость, но постепенно перешла в жуткое ощущение полного, абсолютного одиночества посреди бесконечного, невидимого и беззвучного пространства. Казалось, меня окружает одна пустота и больше

ничего. Я почувствовал, как на меня наваливается ужас, какого я не испытывал с самого детства. Он-то и заставил меня выхватить из кармана револьвер — с тех пор, как я подвергся нападению в Ист-Провиденсе, я всегда ношу его с собой, покидая дом в темное время суток. Затем откуда-то из бесконечно удаленных в пространстве и времени областей до меня начал доноситься *звук*. Он был едва уловимым, слегка вибрирующим и, вне всякого сомнения, музыкальным, но в то же время в нем был оттенок какой-то исступленной дикости, заставивший все мое естество испытать нечто похожее на медленную, изощренную пытку. Затем раздался другой звук, напоминающий царапанье по шероховатому стеклу. Одновременно потянуло чем-то вроде сквозняка, казалось, исходившего из того же источника, что и звук. В то время как, затаив дыхание, я напряженно вслушивался, звук и поток воздуха усиливались, и внезапно я увидел себя привязанным к рельсам на пути быстро мчащегося поезда. Но стоило мне заговорить с Тиллингастом, как видение это мгновенно прекратилось. Передо мной снова были только человек, уродливая машина и погруженное в полумрак пространство за ней. Тиллингаст омерзительно скалился, глядя на револьвер, почти бессознательно вынутый мною из кармана. По выражению его лица я понял, что он видел и слышал все то, что видел и слышал я, если только не больше. Я шепотом пересказал ему свои впечатления. В ответ он посоветовал мне оставаться по возможности спокойным и сосредоточенным.

— Не двигайся, — предупредил он. — Мы можем видеть в этих лучах, но не забывай о том, что *и нас видят тоже*. Я уже говорил тебе, что слуги ушли из дома, но не сказал каким образом. Эта глупая баба, моя экономка, включила вниз свет, хотя я строго-настрого предупреждал ее не делать этого. Естественно, в следующее мгновение колебания тока в энергосети пришли в резонанс с излучением. Должно быть, это было страшно: их истошные вопли доносились до меня, прорываясь сквозь пелену всего того, что я видел и слышал в другом измерении. Нужно признаться, что и меня пробрал озноб, когда я обнаружил одежду, кучками валявшуюся вокруг дома. Одеж-

да миссис Апдайк лежала возле выключателя в холле — тут-то я все и понял. *Оно* утатило их всех до единого. Но пока мы не двигаемся, мы в безопасности. Не забывай о том, что мы контактируем с миром, в котором мы беспомощны, как младенцы... Не шевелись!

От этого шокирующего откровения и последовавшей за ним резкой команды я испытал нечто вроде ступора, и в этом необычном состоянии моему разуму вновь предстали картины, идущие из того, что Тиллингаст назвал «глубинами мироздания». Я погрузился в водоворот звуков, неясных движений и размытых картин, разворачивающихся перед моими глазами. Очертания комнаты окончательно расплылись, и в образовавшемся черном пространстве появилось отверстие, своеобразный фокус, откуда исходил, постепенно расширяясь, поток непонятных клубящихся форм, казалось, пробиравший невидимую мне крышу дома в какой-то определенной точке вверху и справа от меня. Передо мной вновь предстало видение храма, но на этот раз колонны уходили в океан света, из которого вырывался слепящий луч, уже виденный мною прежде. Картины и образы сменяли друг друга в бешеном калейдоскопе. В потоке видений, звуков и незнакомых мне доселе чувственных впечатлений я ощутил в себе желание и готовность раствориться в них или просто исчезнуть. Одну такую вспышку образов я запомнил навсегда. На какое-то мгновение мне привиделся клочок ночного неба, исполненного светящихся вращающихся сфер. Затем видение отступило, и я увидел мириады сияющих солнц, образывавших нечто вроде созвездия или галактики необычной формы, смутно напоминавшей искаженные очертания лица Кроуфорда Тиллингаста. В следующий момент я почувствовал, как огромные живые тела касаются, а некоторые даже *просачиваются сквозь меня*. Тиллингаст, судя по всему, внимательно наблюдал их движение. Я вспомнил, что он говорил о шишковидном теле, и мне стало интересно узнать, какие неведомые откровения являются его сверхъестественному взору.

Неожиданно все окружающее предстало мне в увеличенном виде. Сквозь светящийся эфемерный хаос проступила

картина, в которой хотя и нечетко, но все же различимо присутствовали элементы некоей связности и постоянства. Это было что-то очень знакомое, точнее, что-то неестественно наложенное на привычную окружающую действительность, подобно тому как кинокадр проецируется на расписной театральный занавес. Я видел лабораторию, электрическую машину и размытые очертания Тиллингаста, который сидел напротив меня. Но пространство, свободное от привычных глаз вещей, было до отказа заполнено неописуемыми живыми и неживыми формами, сплетающимися друг с другом в отвратительные клубки, а возле каждого знакомого предмета кишели сонмы непостижимых чужеродных существ. Казалось, все земные предметы вступали в сложные взаимодействия с чужеродными — и наоборот. Среди живых объектов выделялись желеобразные, чернильного цвета чудовища, извивавшиеся в унисон с вибрацией машины. Они кружили вокруг в пугающем изобилии, и я с ужасом взирал на то, как они сливались и разделялись, — их текучесть позволяла им просачиваться сквозь что угодно, даже сквозь тела, которые мы аксиоматично полагаем твердыми. Эти существа не стояли на месте, а неустанно плавали во всех направлениях, как если бы были одержимы какой-то зловещей целью. Временами они пожирали друг друга — атакующий стремительно бросался к жертве, и в следующее мгновение последняя бесследно исчезала. Внутренне содрогнувшись, я догадался, как исчезли несчастные слуги, и после того уже не мог избавиться от мысли об этих существах, продолжая наблюдать открывшийся мне запредельный мир. Тиллингаст, не спуская с меня глаз, произнес:

— Ты их видишь их? Видишь? Ты видишь этих плывущих и прыгающих вокруг тебя, этих проникающих сквозь тебя существ? Ты видишь то, что составляет наш чистый воздух и наше голубое небо? Разве не преуспел я в ломке старых представлений и не показал тебе мир, скрытый от глаз простых смертных?

Он продолжал истошно вопить среди всего этого хаоса, угрожающе приблизив свое лицо к моему. Глаза его горели,

как два раскаленных уголька, и только теперь я заметил, что они были полны ненависти. Машина исторгала из своих недр невыносимые звуки.

— Ты, наверное, вообразил, что эти неповоротливые существа утащили моих слуг? Глупец, они безобидны! Но слуги *исчезли*, не так ли? Ты пытался остановить меня, ты пытался разуверить меня, когда я больше всего нуждался в твоей поддержке. Ты убоился вселенской истины, жалкий трус, но ничего — сейчас ты в моих руках! Что унесло слуг? Что заставило их так кричать?.. Не знаешь, да? Подожди, скоро узнаешь. Смотри мне в глаза и слушай меня внимательно. Ты полагаешь, что существуют пространство и время. Ты также уверен в том, что миру присущи материя и форма. Я же исследовал такие глубины мироздания, которые твой убогий мозг просто не в состоянии представить. Я заглянул за границы беспредельного и воззвал к демонам звезд... Я обуздал духов, которые, путешествуя из одного мира в другой, повсюду сеют смерть и безумие... Космос отныне принадлежит мне! Ты слышишь? Эти существа сейчас охотятся за мной — существа, которые пожирают и переваривают все живое, но я знаю, как спастись от них. Вместо меня они заберут *тебя*, как до этого забрали слуг... Что, испугался, мой дорогой? Я предупреждал тебя, что здесь опасно шевелиться. Этим я спас тебя от смерти, но спас только для того, чтобы ты мог еще немного поглазеть вокруг да послушать меня. Если бы ты хоть чуточку шелохнулся, они бы уже давным-давно тебя слопали. Не беспокойся, они не сделают тебе *больно*. Слугам тоже не было больно — просто один вид этих тварей заставил бедняг орать что есть мочи. Мои любимцы не очень-то красивы, но ведь они из миров, где эстетические стандарты слегка отличаются от наших. Переваривание, уверяю тебя, происходит почти мгновенно. Но я хочу, чтобы ты прежде *увидел их по-настоящему*. Сам я стараюсь их не видеть, поскольку знаю, когда нужно остановиться. Ну как, тебе интересно? Нет? Я так и знал, что ты не настоящий ученый! Дрожишь, а? Дрожишь от нетерпения лицезреть высших существ, обнаруженных мной? Почему же ты не хочешь шевельнуться? Что,

устал? Брось, не волнуйся, дружище, *они уже близко...* Взгляни, да взгляни же, будь ты проклят!.. Смотри, одно из них как раз зависло над твоим левым плечом!..

О том, что последовало за этим, рассказывать неинтересно, да в этом и нет никакой надобности. Вы наверняка все знаете из газет. Проходившие мимо полицейские услышали выстрел в доме — Тиллингаста обнаружили мертвым, а меня без сознания. Сначала меня арестовали, так как револьвер, из которого стреляли, принадлежал мне, однако уже через три часа я был на свободе. Экспертиза установила, что Тиллингаст скончался от апоплексического удара, а я стрелял по машине, бесполезные обломки которой теперь были разбросаны по всему полу лаборатории. Об увиденном мною в ту ночь я не проронил ни слова, опасаясь, что следователь отнесется к этому со вполне понятным недоверием. Из уклончивых показаний, которые я предоставил на дознании, врач заключил, что я находился под гипнотическим воздействием мстительного и одержимого жаждой убийства маньяка.

Хотелось бы верить врачу. Тогда я смог бы наконец пересмотреть свои вновь приобретенные представления о строении воздуха и небесных сфер и привести в порядок мои расстроенные вконец нервы — а заодно избавиться от гнетущего ощущения чьего-то постоянного присутствия за моей спиной. Единственный факт, который до сих пор заставляет меня сомневаться в правоте доктора, заключается в том, что полиции так и не удалось обнаружить тела пропавших слуг, убитых, по их мнению, Кроуфордом Тиллингастом.

ГЕРБЕРТ УЭСТ, РЕАНИМАТОР

I

ИЗ МРАКА

О Герберте Уэсте, с которым я дружил, учась в колледже и в последующие годы, я могу говорить не иначе как с чувством безграничного ужаса. Этот ужас, порожденный не только зловещими обстоятельствами недавнего исчезновения Уэста, но и общим характером его занятий, я впервые ощутил необычайно остро более семнадцати лет назад, когда мы оба были студентами третьего курса медицинского факультета Мискатоникского университета в Аркхеме. Пока он находился рядом, удивительная и демоническая природа его экспериментов чрезвычайно пленяла меня и я был его ближайшим помощником. Теперь, когда он исчез, чары рассеялись, а страх сделался еще сильнее. Воспоминания и предчувствия ужаснее любой реальности.

Первое из череды жутких событий, которыми отмечено наше знакомство, стало для меня величайшим потрясением, и я рассказываю о нем лишь в силу необходимости. Как я уже говорил, это произошло во время нашей учебы на медицинском факультете, где Уэст успел снискать дурную славу благодаря своим безумным теориям о природе смерти и возможности преодолеть ее искусственным путем. Его взгляды, служившие предметом многочисленных насмешек со стороны преподавателей и сокурсников, основывались на механистическом представлении о природе жизни и предполагали возможность вновь запустить, посредством продуманного химического воздействия, органический механизм человека,

в котором уже остановились все естественные процессы. Экспериментируя с различными оживляющими растворами, он искалечил и умертвил несметное число кроликов, морских свинок, кошек, собак и обезьян, пока не сделался парией всего колледжа. Несколько раз ему действительно удалось добиться появления признаков жизни у животных, которые, как предполагалось, были мертвы; в большинстве случаев оставались лишь следы насилия; но вскоре он понял, что совершенствование процесса, если оно вообще возможно, неизбежно потребует целой жизни непрерывных исследований. К тому же стало очевидно, что, поскольку одни и те же растворы по-разному воздействуют на различные виды живых существ, для дальнейшей и более детальной работы ему потребуются человеческие особи. Здесь-то и начался его конфликт с руководством колледжа — продолжать эксперименты ему запретило ни больше ни меньше как сам декан, просвещенный и добросердечный доктор Аллан Хэлси, чья забота о пациентах памятна каждому старожилу Аркхема.

Я всегда очень терпимо относился к исследованиям Уэста, и мы часто обсуждали его теории, за которыми открывалось почти бесконечное множество возможных следствий. Соглашаясь с Геккелем в том, что жизнь — это совокупность химических и физических процессов, а так называемая душа — не более чем миф, мой друг полагал, что искусственное воскрешение мертвых зависит только от состояния тканей и что, пока не начался их распад, тело, не получившее каких-либо повреждений, можно вновь оживить, применив необходимые для этого средства. Уэст ясно сознавал, что чувствительные клетки мозга, которые хотя бы ненадолго постигнет смерть, могут подвергнуться необратимым изменениям, которые станут препятствием для последующей психической или интеллектуальной деятельности. Сперва он надеялся найти реактив, который оказывал бы оживляющее действие до того, как наступила смерть, но из серии неудачных опытов на животных стало ясно, что естественное стремление организма к жизни и искусственные стимулы несовместимы друг с другом. Тогда он начал искать совсем свежие экземпляры, кото-

рым вводил в кровь свои растворы незамедлительно после кончины. Именно это и вызвало оказавшийся столь опрометчивым скепсис профессоров, не всегда уверенных в том, что факт смерти действительно имеет место, и потому внимательно наблюдавших за происходящим.

Вскоре после того, как власти факультета наложили запрет на его работу, Уэст поведал мне, что намерен доставать тем или иным способом свежие трупы и втайне продолжать эксперименты, которые не может проводить открыто. Слушать его разглагольствования на эту тему было довольно неприятно, так как в колледже нам не приходилось раздобывать анатомические образцы самостоятельно. Если тела в морге отсутствовали, к делу привлекались двое местных негров, которым не задавали ненужных вопросов. Уэст был невысоким, стройным, светловолосым юношей с тихим голосом, тонкими чертами лица и голубыми глазами, которые скрывали стекла очков, — и странное возникало чувство, когда он пускался в пространные сравнения кладбища при церкви Христа с кладбищем для бедняков. В конце концов выбор был сделан в пользу второго, поскольку едва ли не каждый, кого хоронили на церковном кладбище, перед погребением подвергался бальзамированию — обстоятельство, безусловно катастрофическое для исследований Уэста.

Так я стал его деятельным и преданным помощником и отныне способствовал всем его начинаниям, подыскивая не только необходимый трупный материал, но и подходящее место для нашей отвратительной работы. Именно мне пришла мысль перебраться в заброшенный дом на ферме Чапмена за Медоу-хилл, на первом этаже которого мы оборудовали операционную и лабораторию, занавесив в них все окна, дабы скрыть наши полночные занятия. Место это находилось в стороне от дорог, других строений поблизости не было, и тем не менее предосторожности представлялись нелишними: слух о странных огнях в доме, пущенный случайными ночными бродягами, мог быстро положить конец нашему предприятию. На случай, если нас все же обнаружат, мы условились называть наше пристанище химической лабораторией. Постепен-

но мы оснастили эту мрачную обитель науки оборудованием, купленным в Бостоне или же тайком позаимствованным в колледже, и тщательно замаскировали его, так что распознать его назначение смог бы только глаз знатока; кроме того, мы заготовили кирки и лопаты для многочисленных будущих захоронений в подвале. В колледже мы пользовались кремационной печью, но для нашей нелегальной лаборатории это была бы слишком большая роскошь. Тела всегда доставляли немало хлопот — даже тушки морских свинок, над которыми Уэст тайно экспериментировал в своей комнате в пансионе.

Словно вампиры, мы следовали по пятам каждой смерти в округе, ведь необходимые нам образцы должны были обладать весьма специфическими свойствами. Нам требовались тела умерших, захороненные сразу после их кончины, без применения искусственных средств консервации; желательно, чтобы они не были затронуты болезнью; и конечно, непременным условием являлось наличие всех жизненно важных органов. Жертвы несчастных случаев были нашей заветной мечтой. На протяжении многих недель нам не везло, хотя мы и запрашивали, якобы в интересах колледжа, морги и больницы — настолько часто, насколько могли это делать, не вызывая подозрений. Обнаружив, что колледж обладает в таких случаях приоритетным правом, мы решили остаться в Аркхеме на время каникул, когда в университете читаются только немногочисленные летние курсы. Наконец нас посетила удача. Однажды мы прознали о почти идеальном случае: крепкий молодой рабочий утонул рано утром в пруду Самнера и был незамедлительно захоронен на кладбище для бедняков; ни о каком бальзамировании, разумеется, не было и речи. В тот же день мы отыскиали свежую могилу и решили приступить к делу после полуночи.

Предпринятое нами в недолгие ночные часы было омерзительно — хотя в ту пору кладбища еще не вызывали в нас того ни с чем не сравнимого ужаса, который развился позднее. Мы принесли с собой лопаты и потайные масляные фонари (электрические фонарики тогда уже производились, но были не столь надежны, как сегодняшние). Вскрытие могилы, в

котором иные художественные натуры могли бы усмотреть нечто жутковато-поэтичное, для нас, людей науки, было занятием рутинным и грязным, и мы почувствовали радость, услышав наконец стук наших лопат о дерево. Когда сосновый гроб оказался полностью откопан, Уэст забрался в яму, снял крышку, извлек тело и приподнял его. Я же, нагнувшись, выволок труп из могилы, а затем мы вдвоем потратили немало сил, чтобы придать ей прежний вид. Вся эта сцена стала серьезным испытанием для наших нервов — особенно застывшее тело и безучастный вид нашего первого трофея, — и все же мы сумели уничтожить все следы своего визита. Утрамбовав лопатой последнюю горсть земли, мы уложили добытый образец в холщовый мешок и отправились к дому старика Чапмена, что за Медоу-хилл.

На импровизированном анатомическом столе в старом фермерском доме, освещенный мощной карбидной лампой, наш подопечный ничуть не походил на привидение. Это был крепко сложенный парень здорового плебейского типа, с серыми глазами и каштановыми волосами; настоящее животное, при жизни явно не отличавшееся развитым воображением и психологической утонченностью и наверняка обладавшее незатейливой и исправной физиологией. Теперь, когда глаза его были закрыты, он казался скорее спящим, чем мертвым, хотя тщательное обследование, проведенное моим другом, не оставило никаких сомнений на этот счет. Нам наконец удалось найти то, что так жадно искал Уэст, — воплощенный идеал мертвеца, который был готов к принятию внутрь раствора, специально синтезированного для введения в организм человека. Мы были крайне взволнованы, поскольку не рассчитывали на полный успех и терзались страхами по поводу возможных гротескных последствий частичного воскрешения. Более всего нас беспокоило состояние мозга и рефлексов подопытного — ведь за время, прошедшее с момента его смерти, в некоторых особенно чувствительных церебральных клетках могли произойти необратимые изменения. Что до меня, я все еще придерживался традиционных представлений о том, что принято считать человеческой душой, и ощущал священ-

ный трепет при мысли о тайнах, которые мог поведать восставший из мертвых. Я спрашивал себя, какие картины довелось узреть в недоступных нам сферах этому безмятежному юноше и что сможет он рассказать, если полностью вернется к жизни. Впрочем, эти вопросы не могли всецело поглотить мой ум, ибо в главном я был приверженцем материалистических воззрений своего друга. А тот держался гораздо спокойнее меня и уверенно ввел в вену трупа изрядную дозу заготовленного раствора, после чего надежно перевязал место укола.

Ожидание было томительным, но Уэст полностью владел собой. То и дело он прикладывал к груди покойного стетоскоп, с философским спокойствием отмечая отсутствие изменений. Примерно через три четверти часа, не увидев никаких признаков жизни, он с досадой заявил, что раствор неудовлетворителен и что, прежде чем мы избавимся от нашего жуткого трофея, нужно изменить формулу препарата и повторить попытку. Еще днем мы вырыли в подвале могилу, в которой до рассвета собирались схоронить мертвеца, — ибо, несмотря на то что мы запирали двери дома, желательно было избежать даже малейшего риска разоблачения нашей отвратительной работы. Кроме того, до следующей ночи труп все равно не сохранил бы даже подобия свежести. Поэтому мы перебрались в смежную лабораторию, захватив с собой карбидную лампу и оставив нашего безмолвного гостя лежащим в темноте на столе, и сосредоточили все свои усилия на приготовлении нового раствора, ингредиенты для которого Уэст взвешивал и отмерял с какой-то фанатичной аккуратностью.

Ужасное событие произошло внезапно и застало нас обоих врасплох. Я переливал какую-то жидкость из одной пробирки в другую, а Уэст возился со спиртовкой, заменявшей нам в этом заброшенном здании газовую горелку, когда из погруженной во мрак комнаты, которую мы недавно оставили, донеслись самые чудовищные и демонические крики, какие нам когда-либо доводилось слышать. Даже если бы сама преисподняя разверзлась и исторгла вопли страдающих грешников, хаос адских голосов не мог бы быть более неописуемым, ибо в услышанной нами невероятной какофонии сли-

лись запредельный ужас и бесконечное отчаяние воскрешенного естества. Эти крики не были человеческими — человек не способен издавать подобные звуки; и мы оба, Уэст и я, не думая более ни о нашей недавней работе, ни о том, что ее могут обнаружить, рванулись, как раненые звери, к ближайшему окну, опрокидывая пробирки, реторты и лампу, и совершили безумный прыжок в усеянную звездами бездну деревенской ночи. Полагаю, мы сами издавали истошные крики, когда, спотыкаясь, неслись по направлению к городу, хотя, достигнув его окраин, мы постарались принять более сдержанный вид, прикинувшись запоздалыми гуляками, возвращающимися домой после попойки.

Не расставаясь, мы пробрались в комнату Уэста, где при свете газового рожка проговорили шепотом до наступления утра, после чего, немного успокоенные различными теориями и планами дальнейших действий, проспали весь день, проигнорировав занятия. Но вечером две никак не связанные друг с другом газетные заметки опять лишили нас сна. Старый заброшенный дом Чапмена по неизвестной причине превратился в бесформенную кучу пепла — мы объяснили себе этот пожар опрокинутой лампой. Кроме того, на кладбище для бедняков была предпринята попытка разрыть совсем свежую могилу — казалось, кто-то тщился раскопать ее голыми руками, не прибегая к помощи лопаты. Этого мы понять не могли, так как помнили, что перед уходом старательно утрамбовали землю, образующую могильный холм.

Даже по прошествии семнадцати лет после той ночи Уэст нередко косился через плечо и жаловался, что ему чудятся шаги за спиной. А теперь он исчез.

II

ДЕМОН ЭПИДЕМИИ

Мне никогда не забыть то ужасное лето, в которое по Аркхему, точно злобный ифрит из чертогов Эблуса, стал распространяться, ища добычу, брюшной тиф. С тех пор прошло

шестнадцать лет, но и по сей день живы воспоминания о той дьявольской каре, о кошмаре, что распростер тогда перепончатые крылья над рядами могил на кладбище при церкви Христа; для меня же то время наполнено еще большим ужасом — ужасом, который теперь, после исчезновения Герберта Уэста, ве́дом лишь мне одному.

Мы с Уэстом посещали тогда летние аспирантские курсы на медицинском факультете Мискатоникского университета, где мой друг успел приобрести печальную известность благодаря своим экспериментам по реанимации мертвых. После того как он извел в научных целях бесчисленное количество мелких животных, на его странные изыскания наложил официальный запрет наш декан доктор Аллан Хэлси; однако Уэст втайне продолжал проводить различные опыты в своей убогой комнатке в пансионе, а однажды совершенно ужасным и незабываемым образом выкопал из могилы на кладбище для бедных человеческий труп, который доставил в заброшенный дом на ферме за Медоу-хилл. Я был его соучастником в этом отвратительном предприятии и видел, как он впрыснул в мертвую вену эликсир, который, как он надеялся, хотя бы отчасти восстановит в теле химические и физические процессы. Последствия оказались ужасны — и хотя страх, пережитый нами тогда, мы приписали впоследствии нервному переутомлению, Уэст так никогда и не смог избавиться от сводящего с ума ощущения, будто за ним непрерывно следят. Труп, с которым он экспериментировал, оказался недостаточно свежим для восстановления нормальных психических функций. Пожар, случившийся в старом доме, помешал нам захоронить останки, а мы чувствовали бы себя куда спокойнее, если бы знали, что они покоятся под землей.

После того случая Уэст на некоторое время прекратил свои исследования, но затем энтузиазм прирожденного ученого постепенно взял свое и мой друг начал вновь осаждать руководство колледжа, добиваясь права пользоваться факультетской операционной и свежими трупами для работы, которую он полагал чрезвычайно важной. Все его просьбы, однако, не

возымели действия: решение доктора Хэлси было неколебимо, а остальные профессора единодушно поддержали приговор своего начальника. В радикальной теории воскрешения они усматривали всего-навсего незрелую причуду молодого энтузиаста, чье субтильное сложение, светлые волосы, голубые глаза, скрытые за стеклами очков, и тихий голос ничем не выдавали сверхъестественной, почти дьявольской силы его холодного ума. Его тогдашний облик сам собой всплывает в моей памяти — и меня пробирает дрожь. С годами он посуровел лицом, но не стал выглядеть старше. А теперь произошло это несчастье в психиатрической лечебнице в Сесфоне, и Уэст исчез.

В конце нашего последнего учебного семестра он сошелся с доктором Хэлси в ожесточенном словесном поединке, в котором проявил себя куда менее достойно, чем добрейший декан. Уэст чувствовал, что бессмысленно расточает время, необходимое для продолжения крайне серьезной работы; эту работу он, конечно, мог бы проводить своими силами и дальше, однако ему не терпелось приступить к делу безотлагательно, пока у него была возможность использовать уникальное университетское оборудование. Тот факт, что консервативно мыслящие старики оставляют без внимания плодотворные результаты его экспериментов с животными и упорно отрицают саму возможность воскрешения, неимоверно возмущал и приводил в недоумение такого юношу, как Уэст, с его строго логическим складом ума. Лишь возраст и жизненный опыт могли бы привести его к осознанию неизбежной умственной ограниченности этого типа людей, порожденно-го веками истового пуританства: их доброту, совесть, мягкость и дружелюбие сводили на нет всегдашняя узость мысли, нетерпимость, зашоренность и неприятие перемен. Зрелый человек относится более терпимо к этим несовершенным, хотя и возвышенным характерам, чьим наихудшим грехом является робость и чья интеллектуальная ущербность — будь то приверженность птолемеевой либо кальвинистской доктрине, антидарвинизму, антииницианству, обязательным воскресным походам в церковь или строгому соблюдению

налогового законодательства — в конце концов наказывается всеобщим осмеянием. Уэст, при всех его поразительных научных достижениях, был еще очень юн и слишком нетерпелив по отношению к доброму доктору Хэлси и его ученым коллегам; он испытывал всевозрастающую обиду вкупе с желанием доказать свои теории этим праведным тупицам каким-либо поразительным и драматическим способом. Подобно большинству молодых людей, он с упоением предался мечтам о мести, триумфе и финальном великодушном прощении.

А затем из кошмарных пещер Тартара пришла кара, ухмыляющаяся и смертоносная. Мы с Уэстом к тому времени уже закончили учебу, но остались для дополнительных занятий на летних курсах, и нам довелось увидеть всю силу той демонической ярости, с которой эпидемия обрушилась на Аркхем. Еще не получившие врачебных лицензий, мы тем не менее уже были дипломированными медиками, и, поскольку количество заболевших непрерывно росло, нас привлекли для оказания срочной помощи горожанам. Ситуация грозила выйти из-под контроля, одна смерть так стремительно сменялась другой, что местные гробовщики перестали справляться с работой. Погребения проводились поспешно, ни о каком сохранении тел не было и речи, и даже кладбищенский морг при церкви Христа заполнили гробы с покойниками, не подвергшимися бальзамированию. Уэст был весьма впечатлен этим обстоятельством и часто размышлял об иронии ситуации: так много свежих образцов — и ни один не становится объектом его подпольных исследований! Крайнее переутомление, в котором мы пребывали, и ужасающее нервное и умственное напряжение повергали моего друга в мрачную, болезненную задумчивость.

Между тем добродетельные противники Уэста были ничуть не меньше измотаны своими утомительными обязанностями. Колледж фактически закрылся, все доктора с медицинского факультета, как могли, помогали бороться с эпидемией. Особенно самоотверженно трудился на этом поприще доктор Хэлси, подаривший свои умения и искреннюю заботу

тем больным, от которых другие врачи, из боязни заражения или ввиду явной безнадежности пациентов, уже отказались. Не прошло и месяца, как бесстрашный декан стал в глазах окружающих подлинным героем, хотя сам он, казалось, не осознавал собственной славы, пребывая на грани физического и нервного истощения. Уэст не мог не восхищаться силой духа своего недоброжелателя, но именно поэтому он еще решительнее, чем прежде, вознамерился доказать ему правоту своих поразительных теорий. Воспользовавшись неразберихой, царившей в колледже и в муниципальных инструкциях по здравоохранению, он ухитрился раздобыть тело одного только что умершего больного, тайком доставил его под покровом ночи в университетскую анатомичку и там в моем присутствии ввел ему свой новый раствор. Мертвец открыл глаза, вперил в потолок взгляд, полный цепящего душу ужаса, а затем впал в проstration, из которой его уже ничто не могло вывести. Уэст сказал, что экземпляр был недостаточно свежим, — летняя жара не идет на пользу трупам. В тот раз нас едва не застали с мертвым телом на руках, и Уэст сказал, что впредь не следует столь дерзко злоупотреблять лабораторией колледжа.

В августе эпидемия тифа достигла своего пика. Мы с Уэстом были полумертвы от усталости, а доктор Хэлси четырнадцатого числа умер на самом деле. Днем позже на поспешные похороны собрались все его студенты, купившие пышный венок, который, впрочем, затмили другие, присланные зажиточными горожанами и муниципалитетом. Похороны стали событием почти что общественного значения, ибо декан определенно был благодетелем граждан Аркхема. После погребения все мы ощущали некоторую подавленность и провели остаток дня в баре Торговой палаты, где Уэст, хотя и потрясенный смертью своего главного оппонента, шокировал остальных изложением своих пресловутых теорий. Ближе к вечеру студенты по большей части разошлись — кто направился домой, кто вернулся к делам, — меня же Уэст убедил поспособствовать ему в «успехе этой ночи». Хозяйка, у которой он снимал комнату, видела, как примерно в два часа ночи мы

ввалились к нему, ведя под руки кого-то третьего; она еще сказала мужу, что, судя по всему, мы основательно набрались за ужином.

Очевидно, это язвительное наблюдение было верным, так как около трех часов ночи весь дом переполошили крики, донесшиеся из комнаты Уэста. Когда выломали дверь, то обнаружили, что мы вдвоем лежим без сознания на покрытом кровавыми пятнами ковре, избитые, исцарапанные, истерзанные, а вокруг разбросаны осколки склянок и инструментов. Распахнутое настежь окно объясняло, что случилось с нападавшим, и многие задавались вопросом, как он сумел уцелеть после столь ужасного прыжка с третьего этажа на лужайку, который ему, по-видимому, пришлось совершить. В комнате также нашли странного вида одежду, но Уэст, придя в себя, сказал, что эти вещи не принадлежат незнакомцу, а были взяты им самим на бактериологический анализ, цель которого — установить способ передачи болезнетворного вируса, и распорядился не откладывая сжечь их в просторном камине. Полиции мы заявили, что ничего не знаем о том, кем был наш ночной спутник. Уэст нервно объяснил, что мы встретили его в одном из баров в центре города и он показался нам подходящей компанией. Все мы были тогда слегка навеселе, и потому ни Уэст, ни я не настаивали на розыске нашего драчливого приятеля.

В ту же ночь Аркхем стал ареной другого кошмара, который, на мой взгляд, затмил собой ужасы эпидемии. На церковном кладбище произошло страшное убийство — тамошний сторож был растерзан с такой жестокостью, которая заставляла усомниться в том, что его совершил человек. Нашлись свидетели, подтвердившие, что далеко за полночь жертва была еще жива, — а на рассвете открылось неопишемое зрелище. В соседнем Болтоне был допрошен владелец цирка, который поклялся, что ни один зверь не сбегал у него из клетки. Те, кто обнаружил тело, заметили кровавый след, тянувшийся к моргу, перед бетонированным входом в который виднелась красная лужа. Менее отчетливый след тянулся к лесу, но вскоре пропал.

Следующей ночью на крышах Аркхема плясали демоны, а в порывах ветра слышался вой чудовищного безумия. По взбудораженному городу кралась беда, которая, как говорили одни, была страшнее эпидемии и, как шептали другие, являла собой воплощение ее злого духа. Безымянное нечто посетило восемь домов, повсюду сея красную смерть, — всего этот вездесущий, безмолвный и жестокий монстр оставил на своем пути семнадцать изуродованных тел. Несколько человек, смутно видевших его во мраке, утверждали, что он был белокожим и походил на безобразную обезьяну или на дьявола в человеческом обличье. В ряде случаев останки были фрагментарными, ибо нападавший утолял голод плотью своих жертв. Четырнадцать человек он убил на месте, трое других умерли в городских больницах.

На третью ночь разъяренные группы добровольцев, руководимые полицией, разыскали и схватили чудовище в доме на Крейн-стрит, неподалеку от кампуса Мискатоникского университета. Поиски были организованы очень тщательно, связь между группами поддерживалась при помощи специально оборудованных телефонных пунктов, и, когда из района, прилегающего к университету, сообщили о том, что кто-то скребется в запертое окно, сеть оказалась раскинута без промедления. Благодаря общей бдительности и осторожности поимка монстра обошлась без массовых жертв — пострадали только два человека. Преследуемый получил пулю, которая не была смертельной, и затем срочно доставлен в местную больницу, сопровождаемый всеобщим ликованием и отвращением.

Ибо выяснилось, что, несмотря на омерзительный взгляд, обезьянью немоту и дьявольскую жестокость, это создание все же было человеком. Ему перевязали рану и отправили в психиатрическую клинику в Сефтоне, где он на протяжении шестнадцати лет бился головой об обитые войлоком стены палаты, пока — совсем недавно — не сбежал при обстоятельствах, которые мало кому захочется упоминать. Кстати, поисковой группе из Аркхема бросилась в глаза одна подробность, которая показалась им особенно отвратительной:

издевательское, невероятное сходство отмытой от грязи физиономии монстра с лицом просвещенного и самоотверженного мученика, погребенного тремя днями ранее, — покойного доктора Алана Хэлси, всеобщего благодетеля и декана медицинского факультета Мискатоникского университета.

У меня и у пропавшего ныне Герберта Уэста эта новость вызвала величайший ужас и отвращение. Я и теперь вздрагиваю в ночи, едва подумаю об этом, — вздрагиваю даже сильнее, чем в то утро, когда Уэст пробормотал сквозь скрывавшие его лицо бинты: «Черт побери, он был *недостаточно* свежим!»

III

ШЕСТЬ ВЫСТРЕЛОВ В ЛУННОМ СВЕТЕ

Довольно странно шесть раз подряд палить из револьвера в ситуации, когда достаточно одного выстрела, но в жизни Герберта Уэста многое было странным. К примеру, нечасто молодой врач, выпускник университета, вынужден скрывать мотивы, которыми он руководствуется при выборе места жительства и работы, однако с Гербертом Уэстом дело обстояло именно так. Получив дипломы об окончании медицинского факультета Мискатоникского университета, Уэст и я обрели возможность выбиться из нужды, открыв частную практику; при этом мы тщательно скрывали, что выбор дома для наших занятий был обусловлен его удаленностью от других строений и близостью к кладбищу для бедных.

Подобная скрытность почти всегда имеет свои причины, и наш случай не был исключением: необходимость этого диктовал характер того дела, которому мы посвятили наши жизни и которое определенно не пользовалось популярностью у окружающих. На первый взгляд, мы были обыкновенными врачами, но за этой видимой простотой скрывались куда более великие и страшные цели — ибо смыслом существования Герберта Уэста являлись поиски в темных, запретных облас-

тях непознанного, блуждая в которых он надеялся раскрыть тайну жизни и найти способ навечно возвращать в мир холодный кладбищенский прах. Для подобных исследований требуются необычные материалы, в том числе свежие человеческие трупы; и чтобы поддерживать их приток, нужно жить незаметно и желательно поблизости от места неофициальных захоронений.

Мы с Уэстом познакомились в колледже, где я был единственным, кто одобрял его отвратительные эксперименты. Мало-помалу я сделался его верным помощником, и, окончив колледж, мы решили держаться вместе. Найти хорошую вакансию сразу для двоих врачей было непросто, но благодаря ходатайству университета нам в конце концов удалось получить практику в Болтоне — фабричном городке неподалеку от Аркхема, где располагался наш колледж. Многоязыкий рабочий люд Болтонской ткацкой фабрики — самой крупной в Мискатоникской долине — никогда не был в чести у тамошних докторов. Мы крайне тщательно выбирали место, где нам предстояло обосноваться, и в итоге остановились на довольно неказистом строении в конце Понд-стрит; пять соседних домов пустовали, а от местного кладбища для бедных его отделял луг, в который с севера вдавалась узкая полоса довольно густого леса. Расстояние это было несколько больше, чем нам бы хотелось, но дома, стоявшие ближе к кладбищу, находились с другой его стороны, за пределами фабричного района. Местоположение дома, впрочем, имело то преимущество, что между нами и мрачным источником нашего сырья не было ни единой живой души. Путь до кладбища был неблизкий, но зато мы могли беспрепятственно доставлять в наше жилище свои безмолвные трофеи.

С самого начала у нас оказалось на удивление много работы — такой обширной практике был бы рад любой молодой врач, но для ученых, чьи истинные интересы лежали в иной области, она оказалась скучной и обременительной. Рабочие с фабрики отличались довольно буйным нравом, и помимо обычных заболеваний их частые стычки и драки с поножовщиной доставляли нам немало хлопот. На деле же все наши

мысли занимала тайно оборудованная в подвале лаборатория с длинным столом и подвесными электрическими лампами, где в короткие предрассветные часы мы нередко вводили приготовленные Уэстом растворы в вены трупов с кладбища для бедняков. Уэст как одержимый подбирал все новые компоненты, стремясь отыскать состав, который вернул бы человеческому организму жизненные функции, утраченные вследствие так называемой смерти, но раз за разом наталкивался на непредвиденные трудности. Для разных видов живых существ требовались различные по составу растворы: то, что годилось для морских свинок, не действовало на человеческие особи, каждая из которых в свою очередь требовала индивидуального сочетания компонентов.

В своих экспериментах мы могли использовать только совсем свежие тела, поскольку разложение мозговой ткани даже в самой начальной стадии делало полноценное воскрешение невозможным. Собственно, это и составляло главную проблему еще со времен ужасающих подпольных опытов с трупами сомнительной сохранности, которые Уэст проводил, учась в колледже. Последствия частичного воскрешения были гораздо плачевнее тех случаев, когда мы терпели полное фиаско, и оставили неизгладимый и жуткий след в нашей памяти. Со дня нашего первого дьявольского эксперимента, предпринятого в заброшенном доме на ферме возле Медоухилл в Аркхеме, мы непрестанно чувствовали давящую угрозу; и даже Уэст, хладнокровный светловолосый голубоглазый ученый-автомат, не раз признавался мне, что нередко вздрагивает от ощущения, будто за ним тайно следят. Ему казалось, что его кто-то преследует; это была мания, вызванная расшатанными нервами и усугубленная тревожным сознанием того, что по крайней мере один из оживленных нами мертвецов — безобразная плотоядная тварь в обитой войлоком палате сефтонской психиатрической клиники — все еще жив. Но существовал и еще один — наш первый подопытный, чью судьбу мы доподлинно так никогда и не узнали.

В Болтоне нам здорово везло с материалом для наших опытов — гораздо больше, чем в Аркхеме. Не прошло и недели,

как мы заполучили в свое распоряжение — в ночь после похорон — жертву несчастного случая и сумели добиться того, чтобы покойник открыл глаза, продемонстрировав удивительно осмысленный взгляд, после чего раствор перестал действовать. Погибший потерял в катастрофе руку; возможно, не будь тело повреждено, мы преуспели бы больше. До января мы сумели раздобыть еще троих; с первым нас постигла неудача, у второго нам удалось вызвать видимое сокращение мышц, третий же приподнялся и издал какой-то невразумительный звук, заставив меня и Уэста содрогнуться. Затем удача на время от нас отвернулась: захоронений стало меньше, а когда они все же имели место, тела оказывались или слишком истерзаны болезнью, или серьезно искалечены и не могли быть использованы в наших опытах. Мы тщательно отслеживали все случаи смерти и обстоятельства, при которых они происходили.

Впрочем, в одну мартовскую ночь нам в руки неожиданно попал труп, не успевший побывать в земле. В Болтоне, где царил пуританский дух, бокс находился под запретом — с очевидными последствиями: тайные, плохо организованные поединки были обычным делом среди фабричных рабочих, и порой в них участвовали и второразрядные профессиональные бойцы. Той ночью как раз состоялся один такой матч, который, по-видимому, закончился плачевно, так как к нам явились двое испуганных поляков, которые принялись шепотом, перебивая друг друга, умолять тайком осмотреть больного, находившегося в отчаянном положении. Мы проследовали за ними в заброшенный сарай, где поредевшая толпа испуганных иммигрантов глазела на молчаливую черную фигуру, расprostертую на полу.

Бой произошел между Малышом О'Брайеном — неуклюжим, дрожавшим теперь от страха парнем с необычным для ирландца крючковатым носом — и Баком Робинсоном по прозвищу Гарлемская Сажа. Негр пребывал в нокауте, и даже из беглого осмотра стало понятно, что он останется там навсегда. Это был безобразный гориллоподобный малый с непропорционально длинными руками, которые так и подмывало

назвать передними лапами, и лицом, навевавшим мысли об ужасных тайнах Конго и об игре на тамтамах при свете луны. При жизни он, должно быть, выглядел еще отвратительнее — но мало ли существует на свете уродливых зрелищ! Жалкая толпа, собравшаяся вокруг, была охвачена страхом, так как никто не знал, что его ждет в том случае, если дело не удастся замять; поэтому все выразили искреннюю благодарность Уэсту, когда тот, не обращая внимания на невольно охватившую меня дрожь, предложил потихоньку избавиться от трупа — преследуя при этом цель, которая была слишком хорошо мне известна.

Бесснежный город озарял яркий свет луны, однако мы рискнули оттащить мертвеца по пустынным улицам и лужайкам к нам домой, одев его и подхватив с двух сторон, как уже некогда делали одной жуткой ночью в Аркхеме. Мы приблизились к дому со стороны поля, расстилавшегося на задворках, вошли со своей ношей через черный ход, спустили ее по лестнице в подвал и там подготовили к успевшей стать традиционной процедуре. Несмотря на то что мы рассчитали время таким образом, чтобы не столкнуться с патрульным, обходившим этот район, нас не отпускал ставший уже навязчивым страх перед полицией.

Результат наших усилий был удручающим. Омерзительный трофей никак не реагировал ни на один из вводимых в его черную руку растворов, приготовленных, впрочем, на основании опытов с представителями белой расы. Поэтому, когда время опасно приблизилось к рассветной поре, мы поступили с нашим подопытным так же, как и с прежними: сволокли его через луг в лес возле кладбища и закопали в яме, настолько вместительной, насколько это позволяла мерзлая земля. Могила, хотя и не слишком глубокая, получилась не хуже той, что мы вырыли для предыдущего покойника — того, который поднялся и что-то пробормотал. Светя себе потайными фонарями, мы старательно присыпали место захоронения листьями и сухими ветками, уверившись в том, что полиция никогда не обнаружит его в таком густом и темном лесу.

Однако на следующий день я с еще большей тревогой, чем накануне, ожидал визита полиции, ибо один из пациентов сообщил о распространившихся по городу слухах про подпольный поединок и гибель боксера. Что до Уэста, у него был и другой повод для беспокойства: днем его вызвали к больной, и это посещение закончилось неприкрытой угрозой в его адрес. Одна итальянка впала в истерику из-за исчезновения своего ребенка — пятилетнего мальчика, который пропал рано утром и не вернулся к обеду; от волнения у нее развились симптомы, крайне опасные ввиду хронической сердечной недостаточности, которой она страдала. Для подобной истерики не было серьезных причин, поскольку мальчишка и прежде частенько исчезал из дому; но итальянские простолюдины очень суеверны, и тревога этой женщины, похоже, основывалась не на фактах, а на дурных предзнаменованиях. Около семи часов вечера она скончалась, и ее обезумевший от горя супруг устроил безобразную сцену — осыпал проклятиями Уэста, не сумевшего спасти его жену, и попытался убить его. Он выхватил стилет, но друзья удержали его, и Уэст удалился, сопровождаемый нечеловеческими воплями, бранью и обещаниями мести. Последнее несчастье, кажется, заставило итальянца забыть о своем ребенке, который не объявился и с наступлением ночи. Кто-то предложил начать поиски в лесу, но большинство друзей семьи хлопотали возле умершей женщины и ее не унимавшегося мужа. Уэст места себе не находил, одолеваемый тяжелыми мыслями о полиции и об одержимом итальянце.

Мы легли спать около одиннадцати вечера, но сон ко мне не шел. Местная полиция работала на удивление хорошо для такого заштатного городка, и я со страхом думал о том, какая кутерьма поднимется в Болтоне, если откроются события минувшей ночи. Это поставило бы крест на нашей работе здесь — а возможно, и привело бы нас обоих за тюремные стены. Мне не нравились слухи о поединке, которые стали циркулировать по городу. После трех часов ночи луна начала светить мне в лицо, но я поленился вставать и опускать шторы, а просто повернулся на другой бок. Тогда-то я и расслышал какой-то отчетливый шум возле черного хода.

Я в удивлении затаился, но вскоре в мою дверь постучался Уэст. Он был в ночном халате и шлепанцах, а в руках держал револьвер и электрический фонарик. При виде оружия я понял, что его мысли больше занимает безумный итальянец, чем полиция.

— Нам лучше пойти вдвоем, — прошептал он. — В любом случае прятаться не следует. Не исключено, что это пациент — один из тех олухов, что лезут с черного хода.

Мы на цыпочках спустились по лестнице, охваченные страхом, который отчасти был оправдан ситуацией, отчасти же являлся всегдашним спутником таинственных предутренних часов. Шум между тем продолжался и постепенно становился громче. Когда мы приблизились к двери, я осторожно снял засов и отворил ее. Когда лунный свет озарил стоявшую снаружи фигуру, Уэст повел себя неожиданно. Невзирая на риск привлечь чье-нибудь внимание и тем самым предать нас обоих в руки полиции — риск, к счастью, не оправдавшийся благодаря уединенному расположению нашего дома, — мой друг внезапно, не сумев совладать с собой, разрядил револьвер, выпустив все шесть пуль в ночного гостя.

Ибо этим гостем был не итальянец и не полицейский. Смутно вырисовываясь в неверном свете луны, нашим взорам предстала огромная бесформенная фигура, какую можно увидеть не иначе как в кошмарном сне: иссиня-черный призрак с остекленевшим взглядом стоял на четвереньках, перепачканный землей и запекшейся кровью с прилипшими к ней листьями и сухими стеблями. В его блестящих зубах было зажато нечто белоснежное, ужасающее, продолговатое, с крошечными пальцами на конце.

IV

ВОПЛЬ МЕРТВЕЦА

Вопль мертвеца пробудил во мне то внезапное и острое чувство ужаса перед доктором Гербертом Уэстом, которое терзало меня все последующие годы нашего общения. Вполне

естественно, что вопль, испускаемый мертвецом, вселяет в человека ужас, — явление это не рядовое и определенно не слишком приятное. Впрочем, я уже успел привыкнуть к подобным вещам, и меня страшил не сам покойник — мой ужас был вызван исключительными обстоятельствами происшедшего.

Научные интересы Герберта Уэста, чьим другом и помощником я был, простирались много дальше обычных занятий провинциального врача. Вот почему, открывая практику в Болтоне, он выбрал себе стоявший на отшибе дом возле кладбища для бедных. Если называть вещи своими именами, то надо признать, что единственной, всепоглощающей страстью Уэста было тайное изучение хрупкого феномена жизни, а конечной целью — возможность реанимировать мертвых путем введения им стимулирующих растворов. Для этих отвратительных экспериментов был необходим постоянный приток свежих человеческих трупов — абсолютно свежих (так как процесс распада, едва начавшись, приводил к непоправимым повреждениям мозговых клеток) и непременно человеческих, поскольку обнаружилось, что для различных видов живых организмов нужны разные по составу растворы. В жертву нашим опытам было принесено несчетное множество кроликов и морских свинок, но этот путь завел нас в тупик. Уэсту ни разу не удалось добиться полного успеха с человеческими трупами, и причиной тому была недостаточная свежесть рабочего материала. Ему требовались тела, которые едва успела покинуть жизнь, тела, в которых каждая клетка цела и готова воспринять импульс, возвращающий организм в то активное состояние, что именуется жизнью. Сперва мы надеялись посредством регулярных инъекций сделать эту вторую, искусственную жизнь вечной, но вскоре выяснилось, что носители обычной, естественной жизни никак не реагируют на наши манипуляции. Чтобы искусственное движение стало возможным, естественная жизнь должна угаснуть — тело должно быть безупречно свежим, но при этом безусловно и несомненно мертвым.

Эти зловещие исследования Уэст начал еще в те времена, когда мы учились на медицинском факультете Мискатоник-

ского университета в городе Аркхеме, где он впервые убедился в сугубо механической природе жизни. События, о которых здесь идет речь, произошли семь лет спустя, однако для Уэста они пролетели словно один день — он был все тем же невысоким, тихим, гладко выбритым блондином в очках, и лишь изредка в его холодных голубых глазах загорался огонек фанатизма, возраставшего и крепнувшего под влиянием его ужасных опытов. Результаты наших экспериментов часто бывали отвратительны до крайности, особенно в случаях неполной реанимации, когда кладбищенский прах под действием очередной модификации оживляющего раствора обретал способность к движению — болезненному, неестественному и бессмысленному.

Один из подопытных, будучи воскрешен, испустил пронзительный, душераздирающий крик; другой в ярости вскочил, избил нас обоих до потери сознания, а затем, пребывая в страшном неистовстве, напал на кого придется, пока его не схватили и не заперли в сумасшедшем доме; третий же, мерзкий чернокожий монстр, сумел выбраться из своей неглубокой могилы и совершил жуткое злодеяние, после чего Уэст был вынужден его пристрелить. Нам никак не удавалось заполучить мертвеца, который оказался бы достаточно свежим для того, чтобы по воскрешении выказать хоть какой-то проблеск разума, и в результате мы, сами того не желая, плодили омерзительных чудовищ. Нас серьезно беспокоило, что один, а возможно, и двое из них еще живы, — эта мысль тайно преследовала меня и Уэста до тех самых пор, пока он не исчез при ужасных обстоятельствах. Но в то время, когда в лаборатории, оборудованной в подвале уединенного болтонского дома, раздался тот пронзительный крик, наши страхи еще уступали страстному желанию заполучить свежайший образец. Уэст был одержим этим больше, чем я, и мне стало казаться, что он как-то хищно поглядывает на всякого живого и пышущего здоровьем человека.

В июле 1910 года полоса преследовавших нас неудач с образцами как будто закончилась. Я долго гостил у родителей в Иллинойсе, а вернувшись, нашел Уэста в чрезвычайно при-

поднятом настроении. Он взволнованно сообщил мне, что, по всей видимости, сумел решить проблему свежести рабочего материала, применив совершенно иной подход, а именно — искусственную консервацию. Я знал, что он работает над новым, весьма необычным бальзамирующим составом, и потому не был удивлен услышанным; однако, пока он не посвятил меня в детали, я недоумевал, для чего этот состав может нам пригодиться: ведь мы проводили опыты с мертвыми телами, которые, увы, утрачивали свежесть раньше, чем попадали к нам в руки. Но Уэст, как я понял, ясно сознавал это — и создал свой бальзамирующий состав скорее в расчете на будущее, надеясь, что судьба вновь пошлет нам труп только что умершего человека, не успевший побывать в могиле, как это произошло несколько лет назад с телом негра, погибшего во время боксерского поединка. И судьба оказалась к нам благосклонна: в нашей тайной лаборатории в подвале, как выяснилось, уже лежал труп, разложение которого удалось счастливым образом предотвратить. Уэст не стал делать прогнозов относительно того, чем закончится воскрешение и каковы шансы восстановить память и разум покойного. Этот эксперимент должен был стать поворотным пунктом в наших изысканиях, и Уэст сохранил тело до моего приезда, чтобы, как обычно, разделить со мной роль зрителя.

Он рассказал мне, каким образом ему удалось заполучить этот экземпляр. Это был крепкий на вид, хорошо одетый незнакомец, только что приехавший в Болтон для заключения какой-то сделки с ткацкой фабрикой. Путь по городу оказался неблизким, и к тому моменту, когда приезжий остановился около нашего дома, чтобы спросить дорогу до фабрики, его сердце было крайне переутомлено. Отказавшись от лекарства, он мгновением позже упал замертво. Уэст, как и следовало ожидать, счел происшедшее даром небес. Из краткого разговора с приезжим он понял, что в Болтоне того никто не знает, а осмотрев карманы трупа, выяснил, что умершего звали Робертом Ливиттом, семьи у него не было, и, следовательно, его исчезновение не повлечет за собой настойчивых

розысков. Если этого человека и не удастся вернуть к жизни, никто не узнает о нашем эксперименте — мы просто захороним останки в густом лесу между домом и кладбищем. Если же у нас, напротив, получится его воскресить, мы покроем себя немеркнувшей славой. Поэтому Уэст незамедлительно ввел в запястье покойного состав, призванный предохранить тело от разложения до моего приезда. Тот факт, что у Ливитта, по-видимому, было слабое сердце, на мой взгляд, ставил под вопрос успех нашей затеи, но Уэста это, кажется, не слишком беспокоило. Он надеялся наконец добиться того, что ему не удавалось прежде, — повторно возжечь искру разума и вернуть в мир нормальное живое существо.

Итак, в ночь на 18 июля 1910 года мы с Гербертом Уэстом стояли в нашей подвальной лаборатории, взирая на безмолвную белую фигуру, залитую ослепительным светом дуговой лампы. Бальзамирующий состав произвел поистине необыкновенное действие: с изумлением оглядев крепкое тело, пролежавшее две недели без каких-либо признаков трупного окоченения, я обернулся к Уэсту, желая услышать подтверждение того, что этот человек действительно мертв. Он с готовностью заверил меня в этом, напомнив, что никогда не применяет оживляющий раствор, не удостоверившись в смерти исходного материала; ибо средство не подействует, если прежняя, естественная жизнь в организме еще не угасла. Уэст занялся подготовительными процедурами, а я пребывал под впечатлением от невероятной сложности нового эксперимента, в силу которой мой друг мог доверить его лишь собственным искусным рукам. Запретив мне даже прикасаться к телу, он сделал укол в запястье мертвеца, рядом с тем местом, где еще виднелся след от его шприца с консервирующим веществом. По его словам, эта инъекция должна была нейтрализовать действие консерванта и вернуть организм в обычное состояние, в котором он легко усвоит оживляющий раствор. Через некоторое время, когда по мертвым членам пробежала слабая дрожь и вид их несколько изменился, Уэст с силой прижал к подергивавшемуся лицу что-то вроде подушки и не отнимал до тех пор, пока тело не перестало содрогаться, по-

зволив нам приступить к делу. Бледный, но полный энтузиазма, он для пущей надежности провел еще ряд тестов, остался ими удовлетворен и затем впрыснул в левую руку трупа точно отмеренную дозу жизненного эликсира, который приготовил днем — притом много тщательнее, чем мы привыкли со времен колледжа, когда были неопытны и действовали вслепую. Невозможно описать, с каким волнением мы, затаив дыхание, ожидали результатов эксперимента с нашим первым по-настоящему свежим подопытным — первым, из чьих уст не без основания надеялись услышать разумную речь, возможно, даже рассказ об увиденном за гранью непостижимой бездны.

Уэст был материалистом, не верил в существование души и всю деятельность сознания полагал исключительно телесным феноменом; соответственно, он не ждал никаких откровений об ужасных тайнах бездонных глубин, лежащих за порогом земного бытия. Теоретически я не отрицал его правоты, но вместе с тем во мне жили неясные инстинктивные отголоски примитивной веры моих предков, и потому, глядя на труп, я испытывал некоторый благоговейный трепет и мистические предчувствия. К тому же я не мог изгнать из памяти тот жуткий, нечеловеческий вопль, который мы с Уэстом услышали в ночь нашего первого эксперимента в заброшенном доме на аркхемской ферме.

Очень скоро я понял, что на этот раз попытка воскрешения, по крайней мере, не обернется провалом. Щеки, прежде белые как мел, окрасились румянцем, который постепенно разлился по всему лицу, покрытому необычайно густой рыжей щетиной. Уэст, державший руку мертвеца, проверяя пульс, внезапно со значением кивнул; и тотчас же зеркальце, поднесенное к губам трупа, затуманилось. Последовало несколько судорожных сокращений мышц, грудь испытуемого начала вздыматься, и до нас донесся шум его дыхания. Я глядел на опущенные веки, и вдруг мне показалось, что они встрепенулись. Затем человек открыл глаза — серые, спокойные, живые глаза, в которых, однако, еще отсутствовал проблеск мысли или хотя бы любопытства.

Повинуясь странному капризу, я прошептал в порозовевшее ухо несколько вопросов о других мирах, о которых наш подопытный, быть может, еще хранил воспоминания. Пережитый впоследствии ужас изгнал их из моей памяти, но, думаю, последним, что я спросил, было: «Где вы были?» До сих пор не могу с уверенностью сказать, получил я ответы или нет, ибо ни единого звука не слетело с красиво очерченных губ; но в тот момент я был твердо уверен, что эти тонкие губы беззвучно шевельнулись, и в этом движении — если оно вообще имело какой-либо смысл — можно было разобрать слова «только сейчас». Как я уже сказал, в ту минуту меня переполняла уверенность, что великая цель наконец достигнута: возвращенный к жизни человек впервые произнес внятные, вдохновленные разумом слова. Триумф казался неоспоримым, поскольку раствор должным образом выполнил свою задачу и вернул мертвецу — пускай временно — рассудок и членораздельную речь. Но это чувство триумфа сменилось величайшим ужасом — не перед заговорившим покойником, а перед самим деянием, которое мне довелось увидеть, и человеком, с которым оказалась связана моя профессиональная судьба.

Ибо воскрешенный нами безупречно свежий труп, наконец полностью придя в сознание и вспомнив последние минуты своей земной жизни, широко раскрыл глаза и выбросил вперед руки, неистово рубя ими воздух, словно от кого-то отбиваясь; и внезапно, перед тем как вновь, теперь уже безвозвратно, уйти в небытие, он выкрикнул слова, которые и по сей день звучат в моем больном мозгу:

— Помогите! Прочь, проклятый маленький белообрый изверг, — убери от меня этот чертов шприц!

V

УЖАС ИЗ ТЬМЫ

Со многими людьми на полях мировой войны происходили ужасные вещи, о которых никогда не упоминалось в печати. Некоторые из этих историй заставляли меня терять со-

знание, другие вызывали приступ мучительной дурноты, прочие же доводили до дрожи и побуждали бросить взгляд назад, в темноту; однако, какими бы жуткими ни были эти истории, тот шокирующий, невероятный, исходящий из глубин тьмы ужас, который случилось испытать мне, полагаю, не идет ни в какое сравнение с ними.

В 1915 году я служил в чине первого лейтенанта в канадском полку, расквартированном во Фландрии, где исполнял обязанности полкового врача, и был одним из многих американцев, которые вступили в эту масштабную битву раньше своего правительства. Я оказался в армии не по собственной инициативе, а, скорее, вследствие того, что в ее рядах состоял человек, чьим неизменным помощником я являлся, — знаменитый бостонский хирург доктор Герберт Уэст. Он мечтал о возможности применить свои профессиональные навыки в условиях большой войны и, когда такой случай представился, увлек меня за собой едва ли не вопреки моей воле. К тому времени у меня уже были причины все сильнее тяготиться совместной медицинской практикой с Уэстом и радоваться возможности расстаться с ним; однако, когда он отправился в Оттаву и благодаря содействию коллеги получил звание майора, я не смог воспротивиться его настойчивым уговорам и согласился сопровождать его в своей обычной роли помощника.

Говоря о стремлении доктора Уэста оказаться на военной службе, я совсем не имел в виду, что ему была свойственна врожденная воинственность или тревога за судьбы цивилизации. Сколько я его знал, этот хрупкий голубоглазый блондин в очках всегда оставался холодной интеллектуальной машиной; полагаю, он укладкой посмеивался над приливами моего воинского энтузиазма и моим негодованием по поводу проводимой Америкой безвольной политики нейтралитета. И вместе с тем на полях сражений Фландрии было нечто, в чем он нуждался и ради чего надел военную форму, — нечто весьма далекое от потребностей и желаний других людей и связанное с той специфической областью медицины, которую он избрал предметом своих тайных занятий и в которой до-

стиг поразительных и подчас устрашающих результатов. Ему был нужен обильный урожай свежих трупов различной степени расчлененности, не больше и не меньше.

Свежие трупы требовались Герберту Уэсту потому, что делом всей его жизни было воскрешение мертвых. Эта деятельность оставалась скрытой от той модной клиентуры, у которой он, обосновавшись в Бостоне, стремительно приобрел известность, но была слишком хорошо известна мне, его ближайшему другу и единственному помощнику со времен учебы на медицинском факультете Мискатоникского университета в Аркхеме. Именно тогда он начал проводить свои ужасающие эксперименты — сперва на мелких животных, а потом и на нелегально добытых человеческих трупах. Он вводил им в вены особый раствор, и в тех случаях, когда они обладали необходимой свежестью, реакция на препарат оказывалась поразительной. Уэст долго бился над тем, чтобы отыскать оптимальную формулу раствора, поскольку для каждого биологического вида требовался свой стимулирующий состав. Когда он вспоминал о былых неудачных опытах, о кошмарных созданиях, обязанных своим появлением неверной формуле или недостаточной свежести исходного материала, в его душу закрадывался страх. Несколько монстров осталось в живых: один был заперт в психиатрической лечебнице, другие исчезли, — и, размышляя о возможных, хотя и крайне маловероятных последствиях, к которым могло привести их пребывание на свободе, Уэст нередко, сохраняя видимое спокойствие, внутренне содрогался.

Он довольно скоро установил, что залогом успеха его экспериментов является идеальная сохранность используемого материала, и, дабы залучить в свое распоряжение мертвые тела, прибег к самым отталкивающим и противоестественным средствам. В колледже и в период нашей совместной практики в фабричном городке Болтоне я относился к нему едва ли не с благоговейным восхищением, но, по мере того как методы его исследований становились все более дерзкими, меня начал точить страх. Мне не нравилось, каким взглядом он окидывает живых и здоровых людей, а затем последовал тот

кошмарный опыт, во время которого я узнал, что очередной испытуемый попал в руки Уэста, еще будучи живым. То был первый случай, когда ему удалось пробудить в мертвце способность разумно мыслить; и этот успех, купленный столь отвратительной ценой, вконец ожесточил его.

Не решаюсь рассказывать о методах его работы в последние пять лет. Я не порывал с ним только из страха и был свидетелем таких зрелищ, которые человеческий язык описать не в силах. Постепенно Герберт Уэст стал вызывать у меня куда больший ужас, чем все то, что он делал; до меня вдруг дошло, что естественное стремление ученого продлить человеческую жизнь незаметно переродилось в нем в болезненное, омерзительное любопытство, в тайную зачарованность кладбищенской красотой. Его научная увлеченность превратилась в извращенное влечение ко всему отталкивающему и патологическому; он невозмутимо взирал на созданных им чудовищ, при виде которых всякий нормальный человек упал бы замертво от страха и отвращения; за бледным ликом интеллектуала скрывался утонченный Бодлер физического эксперимента, томный Элагабал могил.

Опасности он встречал бесстрашно, преступления совершал хладнокровно. Полагаю, что апофеозом его безумия стал момент, когда он убедился, что может восстановить деятельность разума, и ринулся покорять новые сферы, инициировав опыты по оживлению отдельных частей человеческого тела. Им овладела фантастическая и оригинальная идея независимости жизненных свойств клеток и нервной ткани от естественных физиологических систем, и он добился некоторых первоначальных успехов: используя эмбрионы какой-то неведомой тропической рептилии, он получил из них неумирающую ткань, чья жизнедеятельность поддерживалась искусственным образом. Уэста чрезвычайно волновали два вопроса: во-первых, возможны ли хоть в какой-то степени работа сознания и разумные действия без участия головного мозга, лишь вследствие функционирования спинного мозга и различных нервных центров, и, во-вторых, существует ли какая-то нематериальная, неуловимая связь

между отделенными друг от друга частями некогда единого живого организма? Вся эта исследовательская работа требовала огромного количества свежерасчлененной человеческой плоти — именно за ней Герберт Уэст и отправился на войну.

В одну из ночей в конце марта 1915 года в полевом госпитале за расположением наших войск в Сен-Элуа произошло фантастическое, неописуемое событие. Даже сейчас я не устаю спрашивать себя, насколько реальным было это дьявольское наваждение. Уэст имел в своем распоряжении лабораторию, предоставленную ему по его личной просьбе для разработки новых радикальных методов лечения увечий, считавшихся неизлечимыми. Лаборатория находилась в восточной части похожего на амбар временного строения; там он и трудился, словно мясник среди окровавленных туш, сортируя фрагменты тел с легкостью, к которой я так никогда и не смог привыкнуть. Временами он действительно выказывал чудеса хирургического искусства, возвращая к жизни раненых солдат; однако его главные достижения, куда менее филантропического свойства, были скрыты от посторонних глаз. Ему не раз приходилось объясняться по поводу доносившихся из лаборатории звуков, которые казались необычными даже посреди царившей вокруг дьявольской неразберихи. В числе этих звуков были и револьверные выстрелы, раздававшиеся довольно часто; вполне естественные на поле боя, они производили странное впечатление в стенах госпиталя. Но дело в том, что реанимированным образцам доктора Уэста не были суждены долгая жизнь и широкое внимание публики. Кроме человеческой ткани Уэст активно экспериментировал с образцом эмбриональной ткани рептилии, достигнув в этом беспрецедентных успехов. Свойства этой ткани лучше, нежели человеческий материал, подходили для поддержания жизни в отделенных друг от друга органах, и именно она стала главным предметом исследований моего друга. В темном углу лаборатории, над горелкой причудливой формы, выполнявшей роль инкубатора, Уэст разместил вместительный закрытый сосуд с упомянутой клеточной тканью, которая,

отвратительно раздуваясь, непрерывно разрасталась и множилась.

В ночь, о которой я рассказываю, в нашем распоряжении оказался превосходный экземпляр — человек физически крепкий и вместе с тем наделенный высокоразвитым интеллектом, свидетельствовавшим об утонченной нервной организации. По иронии судьбы это был тот самый офицер, который некогда помог Уэсту получить воинское звание и которому теперь предстояло стать нашим подопытным материалом. Более того, в прошлом он тайно изучал — в том числе под руководством Уэста — теорию воскрешения. Состоявший в чине майора сэр Эрик Морленд Клэпхэм-Ли, кавалер ордена «За выдающиеся заслуги», был лучшим хирургом нашей дивизии; когда вести о тяжелых боях в районе Сен-Элуа достигли штаба, майора срочно откомандировали нам в помощь, и он вылетел на аэроплане, которым управлял бесстрашный лейтенант Рональд Хилл. Самолет сбили прямо над местом назначения. Падение было зрелищным и ужасным; труп Хилла, по сути, не подлежал опознанию, а у талантливого хирурга оказалась почти оторвана голова, тогда как тело не пострадало вовсе. Уэст с жадностью завладел безжизненными останками того, кто когда-то был его другом и коллегой. Меня передернуло, когда он окончательно отделил голову от туловища и, чтобы сохранить ее для будущих опытов, поместил в свой отвратительный сосуд с бесформенной тканью рептилии, после чего занялся обезглавленным телом, лежавшим на операционном столе. Он сделал переливание крови, сшил порванные вены, артерии и нервные волокна на обрубленной шее и скрыл страшную рану куском кожи, взятым у неопознанного трупа в офицерской форме. Я знал, чего он хочет: выяснить, способно ли это высокоорганизованное, но лишившееся головы тело обнаружить какие-либо признаки той умственной деятельности, которая отличала при жизни сэра Эрика Морленда Клэпхэма-Ли. Изучавший некогда теорию воскрешения, майор сам теперь был призван служить ее безмолвным наглядным пособием.

Я как сейчас вижу Герберта Уэста в зловещем свете электрической лампы, вводящего свой живительный раствор в руку безголового трупа. Я не в силах описать обстановку, в которой это происходило; когда я пытаюсь сделать это, мне становится дурно, ибо настоящее безумие царило в этой комнате, наполненной рассортированными частями тел и кусками человеческой плоти, местами по щиколотку покрывавшими скользкий от крови пол, а также чудовищными порождениями ткани рептилии, разросшимися, пузырившимися и кипевшими на тусклом голубовато-зеленом пламени, что разгоняло черные тени в дальнем углу.

Подопытный, как еще раз отметил Уэст, обладал превосходной нервной системой, и от него многого можно было ожидать; при первых же сокращениях мышц мертвеца мой друг, охваченный лихорадочным интересом, изменился в лице. Полагаю, он готовился получить подтверждение своей все возраставшей вере в то, что сознание, разум и сама личность существуют независимо от головного мозга, что в человеке нет главенствующего, объединяющего начала, что он — всего-навсего механизм, состоящий из множества нервных клеток, каждая часть которого более или менее независима от остальных. Одним успешным экспериментом Уэст надеялся низвести тайну жизни до уровня устаревшего мифа. Тело вздрагивало все сильнее, затем мертвец начал приподниматься, и, несмотря на ужас и отвращение, мы не могли оторвать глаз от его беспокойно шевелившихся рук, судорожно вытянутых ног и конвульсивно сокращавшихся мышц. Внезапно обезглавленный труп простер перед собой руки; его жест бесспорно свидетельствовал об отчаянии — осмысленном отчаянии — и наглядно подтверждал все предположения Герберта Уэста. Несомненно, нервы сохранили память о последнем прижизненном действии этого человека — безнадежной попытке выбраться из падавшего аэроплана.

О том, что произошло дальше, я не могу говорить с абсолютной уверенностью. Не исключено, что это целиком и полностью было галлюцинацией, ставшей следствием шока, в который нас повергло внезапное разрушение здания в резуль-

тате немецкого артобстрела, — кто может подтвердить или опровергнуть увиденное, если мы с Уэстом являлись единственными свидетелями? Исчезнувший ныне Уэст в то время, когда мы еще были вместе, предпочитал считать это иллюзией, но иногда его одолевали сомнения: казалось странным, что одна и та же иллюзия возникла у нас обоих. Смысл того, что случилось, был куда важнее самих деталей происшествия, которые можно описать всего несколькими словами.

Лежавший на столе труп поднялся и стал наугад шарить руками вокруг себя, а потом до нас донесся некий звук, слишком ужасный, чтобы называть его голосом. Впрочем, ужаснее всего был не тембр и даже не смысл услышанного нами крика: «Прыгай, Рональд, ради всего святого, прыгай!» Ужаснее всего был сам источник звука.

Ибо этот звук исходил из большого крытого сосуда, стоявшего в том мерзком углу, где плавали черные тени.

VI

ЛЕГИОНЫ СМЕРТИ

После того как около года назад доктор Герберт Уэст исчез, полиция Бостона учинила мне жесткий допрос. Меня подозревали в сокрытии фактов, а возможно, и в чем-то более серьезном; однако рассказать правду я не мог — ибо в нее никто бы не поверил. Полиции, впрочем, было известно, что деятельность Уэста выходила за общепринятые рамки: его жуткие эксперименты по воскрешению мертвых начались так давно и успели приобрести такой размах, что соблюдать полную секретность стало уже невозможно. Однако катастрофа, положившая конец его изысканиям, оказалась столь сокрушительной и сопровождалась столь фантастическими и дьявольскими обстоятельствами, что даже я не мог не усомниться в реальности увиденного.

Долгое время я был ближайшим другом и помощником Уэста, единственным человеком, которому он всецело доверял. Мы познакомились много лет назад, будучи студентами

медицинского факультета, и мне довелось стать свидетелем и участником его первых ужасающих опытов. Он терпеливо пытался усовершенствовать раствор, который, будучи введен в вены недавно умершего человека, возвращал бы его к жизни; для этой работы в изобилии требовались свежие трупы, что, в свою очередь, предполагало участие в самых противозаконных занятиях. Еще более шокирующими оказывались результаты большинства наших экспериментов — омерзительные куски мертвой плоти, пробужденные к слепой, тошнотворной, лишенной разума жизни. Для возвращения рассудка были необходимы безупречно свежие образцы, в чьих мозговых клетках еще не начался процесс распада.

Эта потребность в идеально свежих трупах и стала причиной нравственной гибели Уэста. Доставать их было трудно, и в один роковой день он осмелился использовать для своих целей живого, полного сил человека. Борьба, шприц и сильнодействующий алкалоид превратили его в мертвеца необходимой Уэсту кондиции, и эксперимент увенчался кратким, но впечатляющим успехом. Однако сам Уэст вышел из него с омертвелой, опустошенной душой — об этом говорил ожесточенный взгляд, которым он порой оценивающе окидывал окружающих людей, особенно тех, что отличались физической крепостью или утонченной нервной организацией. Со временем я стал смертельно бояться Уэста, ибо он начал посматривать подобным образом и на меня. Люди вокруг, похоже, не замечали его взглядов, но заметили мой страх, который позднее, после исчезновения Уэста, явился поводом для нелепейших подозрений.

На самом деле Уэст был напуган еще больше, чем я, поскольку эти отвратительные исследования вынудили его вести жизнь отшельника и шарахаться от каждой тени. Среди прочего он опасался полиции, но главной причиной его глубокого и смутного беспокойства были те не поддающиеся описанию существа, которым он даровал противозаконную жизнь и у которых не успел ее отобрать. Как правило, он завершал свои опыты выстрелом из револьвера, но в некоторых случаях проявил недостаточную расторопность. Так бы-

до с его первым подопытным, который впоследствии пытался голыми руками разрыть собственную могилу. Так было и с трупом архемского профессора, который преданся людоедству, после чего был схвачен и помещен неопознанным в сумасшедший дом в Сефтоне, где на протяжении шестнадцати лет бился головой о стены. О других предположительно выживших объектах его опытов говорить сложнее, ибо в последние годы энтузиазм ученого выродился в Уэсте в нездоровую, гротескную манию: он стал применять свое мастерство реаниматора уже не к целым телам, а к отдельным частям тел, иногда соединяя их с тканью других органических форм. Ко времени его исчезновения эти эксперименты сделались настолько омерзительными и жестокими, что я не могу говорить о них даже намеками. Его тяге к подобным занятиям весьма способствовала мировая война, в годы которой мы оба служили фронтовыми хирургами.

Говоря, что страх Уэста перед своими созданиями был смутным, я имел в виду прежде всего сложную природу этого чувства. Отчасти это чувство было вызвано самим фактом существования подобных жутких монстров, отчасти же — сознанием той угрозы, которую они могли в определенных обстоятельствах представлять лично для него. Ужас ситуации усугублялся их исчезновением — Уэсту была известна судьба лишь одного из них, несчастного пациента сумасшедшего дома. Кроме того, существовал и другой, еще более трудноуловимый страх — совершенно фантастическое ощущение, возникшее в результате необычного эксперимента, который Уэст провел, состоя на службе в канадской армии, в 1915 году. В разгар жестокого сражения он вернул к жизни майора Эрика Морленда Клэпхэма-Ли, кавалера ордена «За выдающиеся заслуги», своего коллегу-врача, который хорошо знал о его опытах и был способен их повторить. У трупа была отсечена голова, что давало возможность подтвердить либо опровергнуть факт присутствия сознательной жизни в самом теле. Эксперимент увенчался успехом за несколько мгновений до того, как здание, где он проводился, было разрушено немецким снарядом: тело совершило явно осмысленный жест, и,

сколь бы невероятным это ни казалось, мы оба услышали звуки членораздельной речи, которые, несомненно, издала отсеченная голова, находившаяся в затененном углу лаборатории. Снаряд пощадил нас, однако Уэст не был полностью уверен, что лишь мы двое выбрались живыми из-под развалин, и не раз высказывал ужасные предположения о том, на что способен обезглавленный врач, умеющий воскрешать мертвых.

Последним местом жительства Уэста стал изящный старинный дом, окна которого выходили на одно из самых первых кладбищ Бостона. Он выбрал это жилище по чисто символическим и эстетическим мотивам — большинство захоронений на кладбище относились к колониальному периоду и, следовательно, были бесполезны для ученого, ставящего опыты на свежих человеческих трупах. В полуподвальном помещении располагалась тайно оборудованная рабочими-иммигрантами лаборатория с огромной кремационной печью, что позволяло хозяину дома надежно и незаметно уничтожать тела, их фрагменты и гротескные гибриды, порожденные его патологическими экспериментами и кощунственными развлечением. Обустраивая этот подвал, рабочие наткнулись на очень древнюю каменную кладку; это был подземный ход, который вел к старому кладбищу, однако он пролегал слишком глубоко, чтобы сообщаться с каким-либо из известных склепов. Проведя некоторые вычисления, Уэст заключил, что этот ход связан с тайником, расположенным под склепом семейства Эверилл, последнее захоронение в котором состоялось в 1768 году. Я присутствовал при осмотре влажных, пропитанных селитрой стен, обнажившихся под ударами лопат и мотыг, и готовился испытать мрачный трепет, который вызывает в нас раскрытие вековых могильных тайн; но впервые природное любопытство Уэста уступило его боязливости, и он изменил своей нездоровой натуре, приказав оставить кладку нетронутой и заново ее оштукатурить. В таком виде, скрытый одной из стен тайной лаборатории, этот ход и пребывал вплоть до той дьявольской ночи, которая оказалась для Уэста последней. Должен уточнить, что, говоря о его нездоровой

натуре, я имел в виду исключительно внутренний мир и умственный облик; внешне же он до конца оставался прежним Уэстом: спокойным, хладнокровным, хрупким голубоглазым блондином в очках, над чьим юношеским обликом, казалось, были не властны ни годы, ни испытания. Он выглядел спокойным, даже когда, вспоминая о разрытой руками могиле, косился через плечо и даже когда задумывался о плотоядном монстре, что царапал и грыз больничные решетки в Сефтоне.

Развязка наступила в один из вечеров, когда мы сидели в нашем общем кабинете и Уэст читал газету, временами поглядывая на меня. Листая мятые страницы, он наткнулся на странный заголовок — и словно гигантский омерзительный коготь настиг его по прошествии шестнадцати лет. В сефтонской психиатрической лечебнице, в пятидесяти милях от Бостона, случилось нечто страшное и невероятное, что потрясло тамошних жителей и привело в недоумение местную полицию. Рано утром группа людей в полном молчании зашла на территорию клиники, и грозного вида человек, возглавлявший процессию, разбудил медицинский персонал. Он был одет в военную форму и говорил не разжимая губ, словно чревовещатель, и казалось, что его голос исходит из большого черного ящика, который он держал в руках. Его бесстрастное лицо было ослепительно красивым, но, когда на него упал электрический свет из холла, потрясенный управляющий увидел перед собой восковую маску с глазами из цветного стекла. Очевидно, этот человек стал жертвой какого-то несчастного случая. За ним следом двигался верзила самой отвратительной наружности, чья синюшная физиономия была изъедена какой-то неизвестной болезнью. Военный потребовал освободить чудовищного людоеда, доставленного в клинику из Аркхема шестнадцать лет назад, и, получив отказ, подал своим спутникам знак, ставший началом жестокой бойни. Изверги избивали, давили и рвали зубами всех, кто не сумел спастись бегством; умертвив четверых, они в конце концов освободили монстра. Те из жертв, которые смогли восстановить подробности инцидента, не впадая в истерику, показали, что нападавшие вели себя не как живые люди, а ско-

рее как бессмысленные автоматы, руководимые своим предводителем с восковым лицом. К тому времени, когда наконец подоспела помощь, незваные гости и безумец, за которым они пришли, исчезли бесследно.

По прочтении этой заметки Уэст погрузился в глубокое оцепенение, из которого его вывел лишь звонок в дверь, раздавшийся ровно в полночь и чрезвычайно его напугавший. Слуги уже спали наверху, и потому открывать пришлось мне. Как я позднее показал в полиции, на улице не было ни повозок, ни экипажей — только несколько человек странного вида. Они внесли в холл объемный квадратный ящик, и один из них промычал в высшей степени неестественным голосом: «Срочный груз — доставка оплачена». Затем они дерганым шагом вышли наружу и, как мне показалось, свернули в сторону кладбища, к которому примыкала задняя сторона дома. Когда я захлопнул за ними дверь, Уэст спустился на первый этаж и оглядел доставленный груз. На ящике, площадь которого составляла около двух квадратных футов, были написаны имя и нынешний адрес Уэста, а также имя и адрес отправителя: «От Эрика Морленда Клэпхэма-Ли, Сен-Элуа, Фландрия». Именно там шестью годами ранее воскрешенное тело доктора Клэпхэма-Ли и его отсеченная голова, которая предположительно издала членораздельные звуки, были погребены под развалинами госпиталя, разрушенного прямым попаданием немецкого снаряда.

Уэст в этот момент не выглядел взволнованным — его состояние было много хуже. Он бросил коротко: «Это конец... Но давай сожжем... это». Тревожно прислушиваясь к любому шороху, мы перетасили ящик в лабораторию. Подробностей того, что мы делали, я не помню — можете вообразить, в каком умонастроении я находился; но утверждение, будто я сжег тело Герберта Уэста, — не что иное, как гнусная ложь. Мы общими усилиями засунули деревянный ящик в печь, не решившись открыть его, закрыли дверцу и пустили ток. Из ящика при этом не донеслось ни единого звука.

Уэст первым заметил, как от стены, за которой скрывалась древняя каменная кладка, начала отваливаться штукатурка.

Я собрался было бежать, но он остановил меня. Затем я увидел, как в стене возникло маленькое черное отверстие, ощутил мерзкое леденящее дуновение и гнилостный запах могильных недр. В мертвой тишине неожиданно погас электрический свет, и на фоне тусклого мерцания, исходившего из этого адского мира, я увидел силуэты безмолвно трудившихся тварей, которых могло породить только безумие — или нечто худшее, чем безумие. На людей эти существа походили в разной степени — кто полностью, кто наполовину, кто лишь отчасти, а кое-кто не походил вовсе: толпа была невероятно пестрой. Неторопливо, камень за камнем, они разбирали вековую стену. Затем, когда проем сделался достаточно большим, они друг за другом вошли в лабораторию, ведомые горделивым созданием с прекрасной восковой головой. Следовавшее за ним чудовище с безумными глазами схватило Герберта Уэста, который не сопротивлялся и не издал ни единого звука. После этого они скопом набросились на него и на моих глазах разорвали на части, которые утащили в свое на редкость омерзительное подземное обиталище. Голову Уэста унес их воскоголовый предводитель, облаченный в форму офицера канадской армии. Провожая взглядом этот трофей, я увидел, как голубые глаза моего друга за стеклами очков впервые осветились подлинным чувством — безумным и жутким.

Наутро слуги обнаружили меня лежащим без чувств. Уэст исчез. В кремационной печи нашли только неясного происхождения золу. Детективы учинили мне допрос, но что я мог им сказать? Они не усматривали связи сефтонской трагедии ни с исчезновением Уэста, ни с людьми, доставившими ящик, — более того, они даже не верили в существование этих посыльных. Я упомянул о подземном ходе, но полицейские указали на неповрежденную штукатурку и подняли меня на смех. Тогда я перестал говорить. Они думают, что я или сумасшедший, или убийца, — что ж, возможно, я и в самом деле сошел с ума. Но этого могло бы и не случиться, если бы те проклятые легионы мертвецов не были столь молчаливы.

I

Они все не стихают, эти невыносимые звуки: хлопанье невидимых гигантских крыльев и отдаленный, едва слышный лай какого-то огромного пса, — и продолжают мучить меня. Это не сон, боюсь, даже не бред — слишком много всего произошло, чтобы у меня еще сохранились спасительные сомнения. Все, что осталось от Сент-Джона, — это обезображенный труп; лишь я один знаю, что с ним случилось, и знание это таково, что легче бы мне было самому раскроить себе череп, чем с ужасом дожидаться, когда и меня постигнет та же участь. Бесконечными мрачными лабиринтами таинственных видений подбирается ко мне невыразимо страшное Возмездие и приказывает безмолвно: «Убей себя!»

Простят ли небеса те безрассудства и нездоровые пристрастия, что привели нас к столь чудовищному концу?! Утомленные обыденностью повседневной жизни, способной обесценить даже самые романтические и изысканные радости, мы с Сент-Джоном, не раздумывая, отдавались любому новому эстетическому или интеллектуальному веянию, если только оно сулило хоть какое-нибудь убежище от невыносимой скуки. В свое время мы отдали восторженную дань и сокровенным тайнам символизма, и экстатическим озарениям префаэлитов, и еще многому другому; но все эти увлечения слишком быстро теряли в наших глазах очарование и привлекательность новизны.

Мрачная философия декадентства была последним средством, которое еще могло подстегивать воображение, но и это удавалось лишь благодаря непрестанному углублению наших познаний в области демонологии. Бодлер и Гюисманс скоро потеряли свою первоначальную привлекательность, и нам приходилось прибегать к более сильным стимулам, какие мог доставить только опыт непосредственного общения со сверхъестественным. Эта зловещая потребность во все новых и новых возбудителях и привела нас в конце концов к тому отвратительному увлечению, о котором и теперь, несмотря на весь ужас моего настоящего положения, я не могу вспоминать иначе, как с непередаваемым стыдом и страхом; к пристрастию, которое не назовешь иначе, как самым гнусным проявлением человеческой разнузданности; к мерзкому занятию, имя которому — грабеж могил.

Нет сил описывать подробности наших ужасных раскопок или перечислить, хотя бы отчасти, самые жуткие из находок, украсивших кошмарную коллекцию, которую мы втайне собирали в огромном каменном доме, где жили вдвоем, отказавшись от помощи слуг. Наш домашний музей представлял собою место поистине богомерзкое: с каким-то дьявольским вкусом и неврастенической извращенностью создавали мы там целую вселенную страха и тления, чтобы распалить свои угасавшие чувства. Находился он в потайном подвале глубоко под землей; огромные крылатые демоны из базальта и оникса, оскалившись, изрыгали там неестественный зеленый и оранжевый свет, потоки воздуха из спрятанных в стенах труб заставляли прыгать в дикой пляске смерти полоски алой погребальной материи, вплетенные в тяжелые черные занавеси. Особое устройство позволяло наполнять разнообразными запахами воздух, поступающий через трубы в стенах; потворствуя самым диким своим желаниям, мы выбирали иногда аромат увядших лилий с надгробий, иногда — дурманящие восточные благовония, словно доносящиеся из неведомых капищ царственных мертвецов, а порой — я содрогаюсь, вспоминая теперь об этом, — тошнотворный смрад разверстой могилы.

Вдоль стен ужасной комнаты были расставлены многочисленные ящики; в одних лежали древние мумии, в других — совсем недавние образцы чудесного искусства таксидермистов; тут же имелись и надгробия, собранные со старейших кладбищ всего мира. В нишах хранились черепа самых невероятных форм и человеческие головы в различных стадиях разложения: полусгнившие лысины великих государственных мужей и необычайно свежие детские головки, обрамленные нежным золотом мягких кудрей. Тут было множество картин и скульптур, неизменно на загробные темы, в том числе и наши с Сент-Джоном живописные опыты. В специальной папке из тонко выделанной человеческой кожи, всегда запертой, мы держали несколько рисунков на такие сюжеты, о которых я и сейчас не смею говорить; автор работ неизвестен — предполагают, что они принадлежат кисти самого Гойи, но великий художник никогда не решался признать это публично. Здесь же хранились наши музыкальные инструменты, как струнные, так и духовые: нам доставляло удовольствие упражняться в диссонансах, поистине дьявольских в своей изысканности и противоестественности. В многочисленные инкрустированные шкатулки мы складывали главную свою добычу — самые невероятные, невообразимые предметы, какие только можно похитить из склепов или могил, вооружившись для этого всем безумием и извращенностью, на которые только способен человеческий разум. Но об этом я менее всего смею распространяться — слава богу, у меня хватило духу уничтожить наши страшные трофеи задолго до того, как меня впервые посетила мысль о самоубийстве.

Тайные вылазки, доставлявшие нам все эти ужасные сококровища, всякий раз становились для нас своего рода эстетическим событием. Ни в коем случае не уподоблялись мы вульгарным кладбищенским вора́м, но действовали только там и тогда, где и когда имелось для того сочетание вполне определенных внешних и внутренних условий, включая характер местности, погодные условия, время года, даже определенную фазу луны и, конечно, наше собственное состояние.

Для нас занятие это всегда было формой артистического самовыражения, ибо к каждой детали раскопок мы относились с требовательностью истинных художников. Неправильно выбранное время очередной экспедиции, слишком яркий свет, неловкое движение при разрытии влажной почвы — все это могло полностью лишить нас того острого удовольствия, что мы получали, извлекая из земли какую-нибудь очередную ее зловеще оскаленную тайну. Поиск новых мест для раскопок и все более острых ощущений становился лихорадочным и безостановочным — причем инициатива всегда принадлежала Сент-Джону. Именно он в конце концов отыскал то проклятое место, где нас начал преследовать страшный неотвратимый рок.

Какая злая судьба завела нас на то ужасное голландское кладбище? Думаю, виной всему были смутные слухи и предания о человеке, захороненном там пять столетий назад: в свое время он тоже грабил могилы и якобы нашел в одном из склепов некий предмет, обладавший сверхъестественными свойствами. Я отчетливо помню ту ночь на кладбище: бледная осенняя луна над могильными крестами, огромные страшные тени, причудливые силуэты деревьев, мрачно склонившихся над густой высокой травой и потрескавшимися надгробными плитами, тучи необычно крупных летучих мышей на фоне блеклой луны, поросшие плющом стены древней часовни, ее шпиль, безмолвно указующий на темно-серые небеса, какие-то светящиеся жучки, скачущие в извечной пляске смерти среди зарослей тиса у ограды, запах плесени, гнилости, влажной травы и еще чего-то неопределенного в смеси с ветром, налетающим с дальних болот и моря; но наиболее тягостное впечатление произвел на нас обоих едва слышный в отдалении, но, должно быть, необычайно громкий лай какого-то, по-видимому, огромного пса, хотя его самого не было видно — более того, нельзя было даже примерно определить, с какой стороны этот лай доносится. Тем не менее одного этого звука было вполне достаточно, чтобы задрожать от ужаса, ибо мы хорошо помнили, что рассказывали в окрестных деревнях: обезображенный труп того, кого мы искали, был несколько-

ми веками раньше найден в этом самом месте. Его растерзала огромными клыками неведомая гигантская тварь.

Я помню, как мы вскрывали гробницу кладбищенского вора, как вздрагивали, глядя то друг на друга, то на могилу; я помню бледную всевидящую луну, страшные гигантские тени, громадных нетопырей, древнюю часовню, танцующие мертвенные огоньки; помню тошнотворные запахи и странный, неизвестно откуда доносившийся лай, в самом существовании которого мы не были до конца уверены. Но вот вместо рыхлой сырой земли лопата ткнулась во что-то твердое, и скоро нашему взору открылся продолговатый полусгнивший ящик, покрытый коркой солевых отложений. Гроб, необыкновенно массивный и крепкий, был все же достаточно старым, а потому нам без особого труда удалось взломать крышку и насладиться открывшимся зрелищем.

Он сохранился очень хорошо, просто на удивление хорошо, хотя пролежал в земле уже пять столетий. Скелет, в нескольких местах поврежденный клыками безжалостной твари, выглядел поразительно прочно. Мы с восхищением разглядывали чистый белый череп с длинными крепкими зубами и пустыми глазницами, в которых когда-то горел такой же лихорадочный, вождедеющий ко всему загробному взгляд, какой отличал ныне нас. Мы нашли в гробу еще кое-что — это был очень любопытный, необычного вида амулет, который покойник, очевидно, носил на цепочке вокруг шеи. Он представлял собою странную фигурку сидящей крылатой собаки, или сфинкса с собачьей головой, искусно вырезанную в древней восточной манере из небольшого куса зеленого нефрита. И все в этой твари служило напоминанием о смерти, жестокости и злобе. Внизу имелась какая-то надпись: ни Сент-Джону, ни мне никогда прежде не доводилось видеть таких странных букв, — а вместо клейма мастера на обратной стороне был выгравирован жуткий стилизованный череп.

Едва увидев амулет, мы поняли, что он непременно должен стать нашим: из всех существующих на свете вещей лишь этот необычайный предмет мог быть достойным вознаграждением за наши усилия. Мы возжелали бы его даже в том случае, если

бы он был нам совершенно незнаком; однако, рассмотрев загадочную вещицу поближе, мы убедились, что это не так. Амулет и в самом деле не походил ни на что известное рядовому читателю учебников по истории искусств, но мы сразу узнали его: в запрещенной книге «Некрономикон», написанной безумным арабом Абдулом Альхазредом, этот амулет упоминается в качестве одного из зловещих символов души в культе некрофагов с недоступного плато Ленг в Центральной Азии. Мы хорошо помнили описание страшного амулета в этом труде арабского демонолога; очертания его, писал Альхазред, отражают таинственные, сверхъестественные свойства души тех людей, которые истязают и пожирают мертвецов.

Мы забрали нефритовый амулет и, бросив последний взгляд на выбеленный временем череп с пустыми глазницами, закрыли гроб, ни к чему более не прикасаясь. Сент-Джон положил наш трофей в карман пальто, и мы поспешили прочь от ужасного места; в последний момент нам показалось, что огромная стая нетопырей стремительно опускается на только что ограбленную могилу. Впрочем, то мог быть всего лишь обман зрения — ведь свет осенней луны так бледен и слаб.

Утро следующего дня застало нас на борту судна, направлявшегося из Голландии в Англию; нам по-прежнему казалось, будто издалека доносится лай огромного пса. Скорее всего, у нас просто разыгралось воображение, подстегнутое нагонявшими тоску и грусть завываниями осеннего ветра.

II

Не прошло и недели со дня нашего возвращения на родину, как начали происходить очень странные события. Мы жили настоящими отшельниками, не имея ни друзей, ни родственников, ни даже слуг, в старинной усадьбе на краю болотистой пустоши, и лишь очень редкий посетитель нарушал наш покой нежданным стуком в дверь. Теперь, однако, по ночам слышались какие-то шорохи и стуки не только у входных дверей, но и у окон, как верхнего, так и нижнего этажа.

Однажды вечером (мы тогда сидели в библиотеке) нам обоим даже показалось, что какая-то огромная тень на мгновение заслонила собою заглядывавшую в окно луну; другой раз нам послышалось нечто вроде глухого хлопанья огромных крыльев где-то невдалеке. Наши попытки выяснить, что же все-таки происходит вокруг дома, ничего не дали, и мы приписали все это причудам воображения — в ушах у нас до сих пор стоял отдаленный глухой лай, почудившийся нам во время вылазки на старое голландское кладбище. Нефритовый амулет хранился в одной из ниш в нашем тайном музее, и порою мы зажигали перед ним свечи, источавшие экзотический аромат. Из «Некрономикона» мы почерпнули много новых сведений о свойствах этого магического предмета, о связи духов и призраков с тем, что он символизирует; все прочитанное нами не могло не вселять опасений. Но самое ужасное было впереди.

В ночь на 24 сентября 19... года я сидел у себя в комнате, когда раздался негромкий стук в дверь. Я решил, конечно, что это Сент-Джон, и пригласил его войти — в ответ послышался резкий смех. За дверью никого не оказалось. Я бросился к Сент-Джону и разбудил его; мой друг ничего не мог понять и был встревожен не меньше моего. Той же самой ночью глухой далекий лай над болотами обрел для нас ужасающую в своей неумолимости реальность. Четырьмя днями позже, находясь в нашей потайной комнате в подвале, мы услышали, как кто-то тихо заскребся в единственную дверь, что вела на лестницу, по которой мы спускались в подвал из библиотеки. Мы испытывали в тот момент удвоенную тревогу, ведь кроме страха перед неизвестностью нас постоянно мучило опасение, что кто-нибудь может обнаружить нашу отвратительную коллекцию. Потушив все огни, мы осторожно подкрались к двери и в следующее мгновение резко ее распахнули, — но за ней никого не оказалось, и только неизвестно откуда взявшаяся тугая волна сперттого воздуха ударила нам в лицо да в тишине отчетливо прозвучал непонятный удаляющийся звук, представлявший смесь какого-то шелеста, тоненького смеха и бормотания. В тот момент мы не могли

сказать, сошли ли мы с ума, бредим ли или все же остаемся в здравом рассудке. Замерев от страха, мы осознавали только, что быстро удаляющийся от нас невидимый призрак что-то бормотал *по-голландски*.

После этого происшествия ужас и неведомые колдовские чары опутывали нас все крепче и крепче. Мы, в общем, склонялись к тому простому объяснению, что оба постепенно сходим с ума под влиянием своего чрезмерного увлечения сверхъестественным, но иногда нам приходила в голову мысль, что мы стали жертвами немилосердного злого рока. Необычайные явления стали повторяться настолько часто, что их невозможно было даже перечислить. В нашей одинокой усадьбе словно поселилось некое ужасное существо, о природе которого мы и не догадывались; с каждым днем адский лай, разносившийся по продуваемым всеми ветрами пустошам, становился все громче. 29 октября мы обнаружили на взрыленной земле под окнами библиотеки несколько совершенно невероятных по размерам и очертаниям следов. Гигантские эти отпечатки поразили нас не менее, чем стаи нетопырей, собиравшихся вокруг дома в невиданном прежде и все возраставшем количестве.

Кошмарные события достигли своей кульминации вечером 18 ноября; Сент-Джон возвращался домой с местной железнодорожной станции, когда на него напала какая-то неведомая и ужасная хищная тварь. Крики несчастного донеслись до нашего дома, и я поспешил на помощь, но было уже слишком поздно: на месте ужасной трагедии я успел только услышать хлопки гигантских крыльев и увидеть бесформенную черную тень, мелькнувшую на фоне восходящей луны. Мой друг умирал. Я пытался расспросить его о происшедшем, но он уже не мог отвечать связно. Я услышал только прерывистый шепот: «Амулет... проклятье...» После чего Сент-Джон умолк навеки, и все, что от него осталось, было недвижимой массой истерзанной плоти.

На следующий день я похоронил своего друга — ровно в полночь, в глухом заброшенном саду, пробормотав над свежей могилой слова одного из тех сатанинских заклятий, которые

он так любил повторять при жизни. Прочитав последнюю строку, я вновь услышал приглушенный лай огромного пса где-то вдали за болотами. Взошла луна, но я не смел взглянуть на нее. А чуть погода в ее слабом свете я увидел огромную смутную тень, перелетавшую с холма на холм, и, не помня себя, без чувств повалился на землю. Не знаю, сколько времени пролежал я там; поднявшись наконец, я медленно побрел домой и, спустившись в подвал, совершил демонический обряд поклонения амулету из зеленого нефрита, лежавшему в своей нише, словно на алтаре.

Было страшно оставаться одному в старом пустом доме на заболоченной равнине, и поутру я отправился в Лондон, прихватив с собой нефритовый амулет, а остальные предметы нашей святотатственной коллекции частью сжег, а частью закопал глубоко в землю. Но уже на четвертую ночь в городе я вновь услышал отдаленный лай; не прошло и недели со времени моего приезда, как с наступлением темноты я стал постоянно ощущать на себе чей-то пристальный взгляд. Однажды вечером я вышел подышать свежим воздухом на набережную королевы Виктории. Я медленно брел вдоль берега, как вдруг отражение одного из фонарей в воде заслонила чья-то черная тень и на меня неожиданно обрушился порыв резкого ветра. В эту минуту я понял, что участь, постигшая Сент-Джона, ожидает и меня.

На другой день я тщательно упаковал нефритовый амулет и повез его в Голландию. Не знаю, какого снисхождения мог я ожидать в обмен на возврат таинственного талисмана его владельцу, ныне бездвижному и безмолвному. Но я полагал, что ради своего спасения обязан предпринять любой шаг, если в нем есть хоть капля смысла. Что такое был этот пес, почему он преследовал меня — оставалось все еще неясным; но впервые я услышал лай именно на старом голландском кладбище, а все дальнейшие события, включая гибель Сент-Джона и его последние слова, указывали на прямую связь между обрушившимся на нас проклятием и похищением амулета. Вот отчего испытал я такое непередаваемое отчаяние, когда после ночлега в одной из роттердамских гостиниц об-

наружил, что единственное средство спасения было у меня похищено.

Той ночью лай был особенно громким, а на следующий день из газет я узнал о чудовищном злодеянии. Кровавая трагедия произошла в одном из самых сомнительных городских кварталов. Местный сброд был до смерти напуган: на мрачные трущобы легла тень ужасного преступления, перед которым померкли самые гнусные злодеяния их обитателей. В каком-то воровском притоне целое семейство преступников было буквально разорвано в клочья неведомым существом, которое не оставило после себя никаких следов. Никто ничего не видел — соседи слышали только негромкий гулкий лай огромного пса, не умолкавший всю ночь.

И вот я снова стоял на мрачном погосте, где в свете бледной зимней луны все предметы отбрасывали жуткие тени, голые деревья скорбно клонились к пожухлой заиндевевшей траве и растрескавшимся могильным плитам, а шпиль поросшей плющом часовни злобно рассекал холодное небо, — и надо всем этим безумно завывал ночной ветер, дувший со стылых болот и ледяного моря. Лай был едва слышен той ночью, более того, он смолк окончательно, когда я приблизился к недавно ограбленной могиле, спугнув при этом необычно большую стаю нетопырей, которые принялись описывать круги над кладбищем с каким-то зловещим любопытством.

Зачем я пришел туда? Совершить поклонение, принести клятву верности или покаяться безмолвным белым костям? Не могу сказать точно, но я набросился на мерзлую землю с таким остервенением и отчаянием, будто кроме моего собственного разума мною руководила какая-то внешняя сила. Раскопать могилу оказалось значительно легче, чем я ожидал, хотя меня ждало неожиданное препятствие: одна из многочисленных когтистых тварей, летавших над головой, вдруг ринулась вниз и стала биться о кучу вырытой земли; мне пришлось прикончить нетопыря ударом лопаты. Наконец я добрался до полуистлевшего продолговатого ящика и снял тяжелую, пропитанную могильной влагой крышку. Это было последнее осмысленное действие в моей жизни.

В старом гробу, скорчившись, весь облепленный шевелящейся массой огромных спящих летучих мышей, лежал украденный нами не так давно скелет, но ничего не осталось от его прежней безмятежности и чистоты: теперь его череп и кости — в тех местах, где их было видно, — были покрыты запекшейся кровью и клочьями человеческой кожи с приставшими к ней волосами; горящие глазницы смотрели со значением и злобой, острые окровавленные зубы сжались в жуткой гримасе, словно предвещавшей мне ужасный конец. Когда же из оскаленной пасти прогремел низкий, как бы насмешливый лай и я увидел среди мерзких окровавленных костей чудовища недавно украденный у меня амулет из зеленого нефрита, разум покинул меня. Пронзительно завопив, я бросился прочь, и вскоре мои вопли напоминали уже скорее взрывы истерического хохота.

Звездный ветер приносит безумие... Эти когти и клыки веками стачивались о человеческие кости... Кровавая смерть на крыльях нетопырей из черных как ночь развалин разрушенных временем храмов Велиала... Сейчас, когда лай мертвого бесплотного чудовища становится все громче, а хлопанье мерзких перепончатых крыльев слышно все ближе у меня над головой, только револьвер сможет дать мне забвение — единственное надежное убежище от того, чему нет названия и что называть нельзя.

ЛУННАЯ ТОПЬ

Куда, в какую дальнюю жуткую страну ушел от нас Денис Барри, мне не дано узнать. Я был рядом с ним в последнюю ночь, что он провел среди людей, и слышал его ужасные вопли в ту минуту, когда все свершилось. На поиски тела была поднята вся полиция графства Мит и множество окрестных селян. Его искали долго, но без успеха. С тех самых пор я не могу слышать, как лягушки квакают на болотах, и не выношу лунного света, особенно когда остаюсь один.

Я был близок с Денисом Барри еще в Америке, где он нажил свое огромное состояние, и в числе первых поздравил его с покупкой старого родового замка, что стоял на краю топей в древнем захолустном местечке Килдерри. Еще его отец жил там, и Барри решил, что ему приятнее всего будет наслаждаться своим достатком на родине предков. Некогда его предки владели всем Килдерри — они-то и построили этот замок и веками жили в нем; но те времена давно миновали, и на протяжении жизни вот уже нескольких поколений замок пустовал и медленно превращался в груды развалин. Переселившись в Ирландию, Барри регулярно писал мне о том, как его стараниями старый замок поднимается из руин, башня за башней восстанавливая свою былую красу; как плющ несмело взбирается по вновь отстроенным стенам, повторяя уже пройденный много веков тому назад путь; как крестьяне благословляют нового хозяина поместья за то, что его заморское золото возвращает тамошним местам былое процветание.

Но все эти удачи вскоре сменились несчастьями; простолюдины забыли прежние восхваления и стали один за другим покидать родные места, словно их гнал оттуда какой-то злой рок. А еще через некоторое время он прислал письмо, в котором умолял меня приехать, ибо он остался в замке почти в полном одиночестве и, за исключением нескольких новых слуг и батраков, выписанных им с севера страны, ему не с кем было перекинуться даже парой слов.

Как сообщил мне Барри в вечер моего приезда, причиной всех его бед были окрестные болота. Я добрался до Килдерри на закате чудесного летнего дня; золотистое небо бросало яркие отсветы на зеленые холмы, овраги и голубые водные оконца среди трясины, в глубине которой, на островке твердой почвы, мерцали неверной белизной какие-то странные и явно очень древние руины. Вечер выдался на редкость приятным, но его немного омрачило то обстоятельство, что на станции в Баллилохе крестьяне пытались меня о чем-то предупредить и туманно намекали на какое-то проклятие, лежавшее на Килдерри. Наслушавшись их рассказней, я и вправду почувствовал невольный озноб при виде позолоченных закатным солнцем башен замка. Там, в Баллилохе, меня дожидался присланный Денисом автомобиль — Килдерри был расположен в стороне от железной дороги. Бывшие на станции фермеры старались держаться подальше от машины и ее водителя — чужака с севера Ирландии, а узнав, что этот транспорт предназначен для меня, стали подходить ко мне и с испуганным видом отговаривать от поездки в Килдерри. Лишь вечером, встретившись с Барри, я наконец смог понять, что все это означало.

Крестьяне покинули Килдерри, потому что Денис Барри задумал осушить Большую топь. При всей своей любви к Ирландии, он слишком хорошо усвоил практическую сметку американцев, чтобы спокойно взирать на прекрасный, но совершенно бесполезный участок земли, на котором можно было бы добывать торф и возделывать поля. Местные предания и суеверия совершенно не трогали Барри, и он только посмеивался над своими арендаторами, когда те сначала от-

казывались помочь в работах, а потом, увидев, что их землевладелец и не думает отступаться, от намеченной цели, осыпали его проклятиями и, собрав нехитрые пожитки, уехали в Баллилох. На их место он выписал батраков с севера, а вскоре ему пришлось заменить и домашних слуг. Но среди чужаков Денис чувствовал себя одиноко и потому пригласил в гости меня.

Когда я узнал подробнее, какие именно страхи выгнали обитателей Килдерри из их родных лачуг, я рассмеялся еще сильнее, чем Барри: здешнее простонародье было подвержено совершенно диким и сумасбродным фантазиям. Все местные жители поголовно верили в какую-то нелепую легенду об охранявшем эти топи мрачном духе, который якобы обитал в древних руинах на дальнем островке среди болота — тех самых руинах, что бросились мне в глаза еще по пути сюда. По деревням ходили дурацкие сказки об огоньках, танцующих над трясинной, о необъяснимых порывах ледяного ветра, случающихся иногда теплыми летними ночами, о привидениях в белом, парящих над водой, и, наконец, о призрачном каменном городе, что якобы скрывается в глубине под болотной тиной. Но самым распространенным и единогласно признанным за непреложную истину было поверье об ужасном проклятии, которое ждет всякого, кто осмелится потревожить эту топь, не говоря уже о том, чтобы ее осушить. Есть тайны, рассуждали простолюдины, которых лучше не трогать, ибо они существуют со времен Великого моря, что покарал потомков Партолона в те незапамятные времена, когда еще не было истории. В «Книге завоеваний» говорится, что все эти потомки греков вымерли и были погребены в Таллате, но килдеррийские старики рассказывали, что один из их городов был пощажен благодаря заступничеству покровительствовавшей ему богини Луны, которая позднее укрыла город под лесистыми холмами, когда немедийцы приплыли из Скифии на тридцати кораблях.

Вот такие бредни и заставили крестьян покинуть Килдерри; нет ничего удивительного в том, что Денис Барри не отнеся к ним должным образом. Между тем он живо интере-

совался древностями и по осушении топи предполагал провести здесь археологические раскопки. Ему доводилось часто бывать и на дальнем острове, где белели древние развалины; их почтенный возраст не вызывал сомнений, а очертания были очень нетипичными для Ирландии. К сожалению, слишком сильные разрушения не позволяли судить с достаточной степенью достоверности об их первоначальном виде и назначении. Подготовка к дренажным работам почти закончилась, и недалек уже был час, когда выписанные с севера батраки сорвут с запретной трясины ее наряд из зеленых мхов и рыжеватого вереска, заставят умолкнуть крохотные ручейки с усеянным ракушками дном и обмелят тихие голубые озера, обрамленные кустарником.

Когда рассказ Барри подошел к концу, у меня уже вовсю слипались глаза: путешествие, занявшее целый день, было довольно утомительным, да и наша беседа затянулась далеко за полночь. Слуга проводил меня в комнату, отведенную мне в дальней башне замка. Окна ее выходили на деревню, за которой начинались примыкавшие к болоту луга, а далее и само болото. Мне были видны крыши безмолвных домишек, в которых вместо прежних хозяев ютились теперь батраки-северяне, ветхая приходская церковь со старинным шпилем и — вдаль, за темной трясинной — древние руины, сиявшие прозрачным отраженным светом луны. Я уже почти заснул, как вдруг мне послышались какие-то слабые отдаленные звуки: диковатые, но несомненно музыкальные, они наполнили меня странным возбуждением и придали необыкновенную окраску моим снам в ту ночь. По пробуждении я понял, что это были всего лишь сны, причем куда более чудные, нежели дикий посвист флейты, под который я засыпал. Вероятно, под влиянием рассказанных Денисом Барри легенд мое спящее сознание перенесло меня в величественный город посреди зеленой равнины; там я видел улицы и статуи из мрамора, просторные дворцы и храмы, барельефы и надписи на стенах — то были величественные картины древней Эллады. Я рассказал о своем сне Барри, и мы вместе от души посмеялись над ним, хотя в то утро мой друг не мог скрыть серьез-

ную озабоченность по поводу наемных рабочих. Вот уже шестой день подряд они выходили на работу с опозданием, так как ни один из них не мог вовремя проснуться; поднявшись же наконец, они долго приходили в себя, еле шевелились и поголовно жаловались на недосыпание — и это при том, что все они ложились спать довольно рано.

Я провел утро и большую часть дня, гуляя в одиночестве по деревне и заговаривая время от времени с бездельничающими поденщиками. Барри был занят последними приготовлениями к осушению болота. Без всякой видимой причины его люди казались вялыми и истощенными; насколько я понял из бесед, почти все они безуспешно пытались вспомнить, что видели во сне прошедшей ночью. Я рассказал им о своем сне, но они никак не реагировали на рассказ до тех пор, пока я не упомянул о почудившихся мне необычных звуках флейты. Тут мои собеседники в некотором замешательстве признались, что также помнят нечто подобное.

За ужином Барри объявил мне, что планирует начать основные работы через два дня. Я был рад этому, рассудив, что хоть и неприятно будет наблюдать, как исчезают с лица земли мхи и вереск, ручейки и озерца, но зато я смогу увидеть собственными глазами древние тайны, возможно, таящиеся глубоко под залежами торфа. Той ночью сон с поющими флейтами и мраморными колоннами неожиданно прервался на какой-то тревожной ноте, и я видел, как в город пришел мор, как наступали на него леса и как погребли они под собой усеянные трупами улицы, оставив в неприкосновенности один только стоявший на возвышенности храм Артемиды, в котором, холодная и безмолвная, лежала жрица луны по имени Клея, а ее посеребренную годами голову украшал венец из слоновой кости.

Я проснулся среди ночи в сильной тревоге. Какое-то время я даже не мог понять, продолжаю ли спать или уже бодрствую, потому что пронзительный свист флейт все еще стоял у меня в ушах. Но когда я увидал на полу полосы холодного лунного света, струившегося сквозь частый переплет старинного окна, я решил, что все-таки проснулся, как и следовало

ожидать, в своей постели в замке Килдерри. Я еще более уверился в этом, услышав, как часы в одной из нижних комнат пробили два раза. Но тут откуда-то издалека опять донесся терзавший меня во сне свист — дикая, сверхъестественная мелодия, напоминавшая экстатическую пляску меналийских фавнов. Эти звуки не давали заснуть, и я в раздражении вскочил с постели. Не могу сказать, почему я подошел именно к тому окну, что выходило на север, или зачем стал разглядывать безмолвную деревню и луга, лежавшие по краю болота. У меня не было ни малейшего желания глазеть на окрестности, ибо я хотел спать; но от свиста не было спасения, и мне нужно было посмотреть, что там, в конце концов, происходит, и попытаться каким-нибудь образом остановить эту дикуую свистопляску. Откуда я мог знать, что мне предстоит увидеть?

В лунном свете, затопившем просторный луг, моим глазам предстало зрелище, которое я не смогу забыть во всю оставшуюся жизнь. Под пение тростниковых флейт, разносившееся над болотом, извиваясь в жутком нечеловеческом танце, по лугу скользила странная толпа; все происходящее напоминало одну из древних мистерий, справлявшихся где-нибудь на Сицилии в честь богини Деметры в первое полнолуние после сбора винограда. Огромный луг, золотистый свет луны, пляшущие тени и царившая надо всем этим резкая монотонная мелодия флейт — эта невысказанная сцена буквально парализовала меня; несмотря на невыносимый страх, я успел заметить, что половину танцоров составляли поденщики, которым давно полагалось спать в своих кроватях, а другую... До сих пор я не знаю, что представляли собой эти призрачные существа в белоснежных одеяниях; почему-то я решил, что это печальные наяды, обитающие в здешних болотных озерах. Должно быть, я простоял немало минут, глядя на это невысказанное действо из своего окна в башне, а потом вдруг провалился в тяжелое забытие без сновидений, от которого очнулся, только когда солнце уже приближалось к зениту.

Первым моим желанием было немедленно рассказать обо всем увиденном ночью Денису Барри, но яркое солнце, заглядывавшее в мои окна, успокоило меня и внушило уверен-

ность в том, что все эти кошмары не имеют никакой связи с действительностью. Я подвержен довольно странным видениям, но мне всегда хватало силы воли не верить в их реальность. Вот и на сей раз я ограничился тем, что расспросил некоторых рабочих: нынче они опять проспали и, как и в прошлый раз, ничего не могли припомнить из своих снов, кроме какого-то пронзительного монотонного свиста. Постоянные упоминания об этих загадочных звуках сильно меня озадачили, но, в конце концов, это могли быть просто осенние кузнечики, что появились раньше времени и своим стрекотом тревожили всех нас во сне. Днем я встретил Барри — он сидел в библиотеке и размышлял над планами работ, которые должны были начаться уже завтра, и тут-то, вспомнив об этом, я впервые испытал нечто вроде бессознательного ужаса, который изгнал из Килдерри местных крестьян. По какой-то необъяснимой причине меня ужаснула сама мысль о том, чтобы потревожить покой болота и его темные тайны. Перед моим внутренним взором вставали леденящие кровь картины, доселе скрытые на неведомой глубине под многовековым торфяником. Теперь мне казалось безумием обнажать эти сокровенные глубины пред лицом дневного светила, и я пожалел, что у меня нет убедительного повода немедленно уехать из замка. Я попытался заговорить об этом с Барри, но при первых же моих словах он принялся так громко смеяться, что я не осмелился продолжать. Мне оставалось только молча наблюдать, как сияющее солнце заходит за далекие холмы и весь Килдерри, словно замерев в ожидании чего-то, зажигается алыми и золотыми огнями.

Я до сих пор не могу сказать с определенностью, насколько реальны были события той ночи. В одном нет у меня сомнений: все происшедшее намного превосходит самую буйную человеческую фантазию. С другой стороны, если то был лишь бред, то как объяснить исчезновения людей, о которых впоследствии стало широко известно? Исполненный самых мрачных предчувствий, я лег довольно рано и долго не мог заснуть в зловещей тишине старой башни. Было очень темно: луна уже пошла на убыль, и ясное небо осветилось как сле-

дует только после полуночи. Я лежал и размышлял о Денисе Барри и о том, что случится завтра с болотом; мною все больше овладевало острое желание немедленно выскочить из дома, сесть в автомобиль Дениса и уехать как можно быстрее из этих злополучных мест. Но прежде чем мой страх оформился в какие-либо действия, я заснул — и во сне опять увидел холодный мертвый город в долине, безмолвно раскинувшийся под покровом ужасной тени.

Разбудил меня, должно быть, все тот же резкий свист, но, едва открыв глаза, я сразу же потерял способность к чему-либо прислушиваться. Я лежал спиной к выходившему на топи восточному окну; по всем законам логики в тот момент в него должна была заглядывать ущербная луна и бросать свои блики на противоположную стену — но то, что я увидел, не было бледным светом луны. Сквозь небольшое окно в комнату врвался невероятно мощный поток неестественного ярко-красного сияния, заставлявшего все окружающие предметы сверкать каким-то неземным блеском. Мои дальнейшие действия могут показаться странными, но только в детских сказках герой всегда совершает решительные и правильные поступки. Я же вместо того, чтобы выглянуть из окна и посмотреть на болото, откуда исходило необычайное свечение, старательно отводил от него взгляд и, объятый ужасом, неловко натягивал на себя одежду, лихорадочно перебирая в уме возможные способы бегства. Помню, как схватил револьвер и шляпу, но тут же засунул их куда-то, не успев ни воспользоваться оружием, ни покрыть голову. Но в конце концов невероятное алое свечение настолько зачаровало меня, что, преодолевая страх, я подкрался к восточному окну и выглянул наружу; совершенно точно помню, что в эту минуту над замком и над деревней разносился безумный и настойчивый свист флейт.

Из древних развалин на далеком острове, подобно раскаленной лаве, растекался над болотом сияющий поток зловещего пурпурного света. Не берусь описать вид самих развалин, ибо некоторое время я, должно быть, пребывал в прострации: руины представились мне восставшими в своем былом

величии и совершенстве. Гордое и прекрасное, каким оно было в незапамятные времена, стояло вдали великолепное здание в окружении стройных колонн, и сверкающий мрамор крыши разрезал небо подобно навершию древнего храма на высокой горе. Неумолчно пели флейты, барабаны отбивали ритм, а я, пораженный и испуганный, не мог оторвать глаз от темных фигур, безумно кривлявшихся на фоне белевшего мрамора и блеска огней. Впечатление было потрясающее, немыслимое, и я мог бы до бесконечности стоять так, глядя во все глаза, если бы вдруг где-то слева от меня не раздался самый настоящий взрыв музыки. Дрожа от страха, странным образом смешанного с восторгом, я пересек свою круглую комнату и подошел к северному окну, из которого открывался вид на деревню и луга по кромке болота. Глаза мои снова округлились от удивления, словно до того момента я видел только самые обычные вещи: по залитому жутким багровым светом лугу двигалась длинная процессия странных существ, извивавшихся, как в самом кошмарном сне.

То скользя по земле, то паря в воздухе, одетые в белое духи болот медленно возвращались домой — к незбылемым топям и развалинам на острове; их силуэты образовывали какие-то странные переплетения, похожие на фигуры древних ритуальных плясок. Полупрозрачными руками размахивали они в такт ужасной мелодии невидимых флейт, увлекая к болоту толпу батраков, неуверенно шагавших за ними со скотской, слепой, бессмысленной покорностью, словно их толкала вперед невидимая, но властная злая сила. Когда наяды уже приближались к трясине, из дверей замка под моим окном вышла еще одна кучка спотыкавшихся, покачивавшихся, как во хмелю, людей; они на ощупь пересекли двор и влились в основную толпу на лугу. Несмотря на значительное расстояние, я сразу же узнал в маленькой группке, присоединившейся к толпе, выписанную с севера прислугу; особенно выделялась среди остальных уродливая, нескладная фигура повара. Его черты и движения, ранее вызывающие у окружающих только смех, казались теперь исполненными глубокого трагизма. Флейты продолжали свою страшную песнь, а с разва-

лин на острове снова послышался барабанный бой. Безмолвные наяды грациозно скользнули в болото и растаяли в нем одна за другой. Ковылявшие за ними люди не были столь уверены в своих движениях: они неловко плюхались в трясину и исчезали в водоворотах зловонных пузырьков, едва видных в багровом свете. И как только последний из несчастных — а им оказался толстяк повар — дотащился до берега и грузно повалился в болотную жижу, флейты и барабаны смолкли, призывные красные лучи погасли, и обреченная деревня осталась лежать в запустении, освещенная тусклым светом ущербной луны.

Я был раздавлен всем случившимся. Что это? Сошел ли я с ума или все еще находился в здравом рассудке? Сон это или явь? Меня спасло лишь милосердное оцепенение, в котором я пребывал все это время. Пусть это покажется смешным, но в тот момент я исступленно молился всем древним богам, каких только помнил из школьного курса классической мифологии, — Артемиде, Латоне, Деметре, Персефоне и Плутону. Самые дикие предрассудки ожили во мне. Я понял, что стал свидетелем гибели целой деревни и теперь в огромном пустом замке остались только мы с Денисом Барри, чьи дерзость и упрямство и обрекли окружающих на страшную смерть. Как только я подумал о нем, новый приступ отчаянного ужаса овладел мною, и, лишившись последних сил, я упал там, где стоял. Это был не обморок, но полное физическое истощение. Через некоторое время я почувствовал порыв ледяного ветра из восточного окна и услышал душераздирающие крики, что неслись откуда-то с нижних этажей замка. Скоро эти вопли достигли такой неопишуемой силы и пронзительности, что от одного воспоминания о них я и теперь почти лишаюсь чувств. Однако я совершенно точно могу сказать, что голос, столь отчаянно вопивший в тишине, принадлежал моему несчастному другу.

Очевидно, холодный ветер и крики снова подняли меня на ноги, потому что я отчетливо помню, как бежал сломя голову по темным комнатам и коридорам, а потом через двор в окружившую замок ужасную тьму. Меня нашли на рассвете:

не помня себя, я бродил в окрестностях Баллилоха. Однако, прежде чем закончить, мне следует остановиться на тех событиях, которые довели меня до помрачения рассудка. Выйдя из леса навстречу обнаружившим меня людям, я пытался поведать им о двух невероятных вещах, что привиделись мне в ночь моего бегства; сами по себе незначительные, они до сих пор тревожат мой разум, стоит лишь мне оказаться в болотистой местности или увидеть свет луны.

Когда я бежал из проклятого замка вдоль края топей, ушей моих достиг непривычный звук: его можно услышать во многих заболоченных местах нашей планеты, но я уверен, что в Килдерри его доселе не слыхали. В стоячих водах, до того совершенно лишенных всякой живности, теперь кишели огромные склизкие лягушки, непрерывно и пронзительно квакавшие в темноте, — но тембр этого мерзкого кваканья как-то очень не вязался с их размерами. Они надувались и поблескивали зеленой кожей, устремляя свои круглые глаза куда-то вверх. Я проследил взгляд одной из мерзких тварей, что была особенно уродлива, неловка и жирна, и увидел то, что навсегда лишило меня душевного равновесия.

Мой взгляд уперся в развалины на отдаленном островке: от них напрямую к луне восходил широкий луч слабого мерцающего света, не отражавшегося в воде. В верхней части этого светящегося столба я увидел некую отчаянно извивавшуюся, чудовищно искаженную тень — казалось, она боролась с тащившими ее неведомо куда демонами. Почти лишившись остатков разума, я все же умудрился разглядеть в этой ужасной тени чудовищное, невероятное, омерзительное, гнусное сходство с тем, кто был когда-то Денисом Барри.

ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА

Из выходящего на север окна моей комнаты видна Полярная звезда. Долгими осенними ночами, когда снаружи завывает и неистовствует северный ветер, а деревья, шелестя огненной листвою, переговариваются между собой, я сижу у окна и безотрывно наблюдаю за ее зловещим мерцанием. Незаметно проходят часы, и ночная мгла понемногу начинает таять в серых предрассветных сумерках. Постепенно тускнеет высокомерная Кассиопея, Большая Медведица поднимается над беспокойно шелестящими кронами деревьев, которые всю ночь надежно скрывали ее от моего взора, повисший над кладбищенским холмом Арктур начинает нервно помигивать, предвещая скорый рассвет, а Волосы Вероники, струящиеся далеко на востоке, начинают излучать мягкое таинственное сияние: одна лишь Полярная звезда неподвижно висит там, где появилась с наступлением темноты. Я смотрю на небосвод и вижу ее жуткий мерцающий свет. Она напоминает мне всевидящее око неведомого безумца, что жаждет донести до людей некое диковинное послание и тщетно силится восстановить его в своей памяти, но не может вспомнить ничего, кроме того, что послание это еще совсем недавно обременяло его мозг. И лишь когда по ночам небо заволакивают тучи, ко мне приходит сон.

Я хорошо помню ночь великой Авроры, когда над болотом, обрамленным деревьями с огненной листвою, вспыхнул безумный фейерверк демонических огней. Потом набежавшие облака скрыли пламя небес, и я сразу же заснул.

...Тонкий бледный серп луны смотрел вниз с ночного неба, и я впервые увидел город. Спокойный и сонный, он раскинулся в центре широкого плато, окруженного со всех сторон причудливыми горными вершинами. Его стены и башни были выстроены из мертвенно-бледного мрамора; из того же мрамора были сложены его колонны и купола. Вдоль мощенных камнем улиц стояли мраморные столбы, верхушки которых украшали резные изображения суровых бородатых людей. Теплый воздух был прозрачен и недвижим. И над этим величественным городом, отклонившись от зенита не более чем на десять градусов, мерцало всевидящее око Полярной звезды. Я долго смотрел на город, однако так и не дождался наступления дня. Но после того, как повисший над горизонтом и никогда не заходящий за него красный Альдебаран неспешно преодолел четверть небосвода, я увидел огни и движение в домах и на улицах. Повсюду прохаживались странно одетые, но притом исполненные благородства фигуры; озаемые светом тонкого бледного серпа луны люди спокойно и неторопливо беседовали друг с другом, и я хорошо понимал их язык, хотя он и не был похож ни на одно из известных мне наречий. А когда красный Альдебаран проделал половину своего небесного пути, тишина и мгла вновь воцарились над горизонтом.

Я проснулся другим человеком. Память моя хранила образ города, но в душе всплыло иное, более смутное воспоминание, происхождение которого было загадкой для меня. После этого я часто видел город во снах, одолевавших меня пасмурными ночами; иногда он предстал передо мною в жарких золотистых лучах солнца, что медленно катилось вдоль горизонта, не заходя за него. Но ясными ночами сон покидал меня, и, подняв глаза к черному небосводу, я встречал там лишь взгляд Полярной звезды, холодный и пристальный как никогда.

Через некоторое время я принялся рисовать себе картины моего пребывания в этом необыкновенном городе. Сначала я желал оставаться неким бестелесным и всевидящим призраком, дабы наблюдать жизнь города со стороны, но затем

возжаждал погрузиться в гущу городской суеты и вести неспешные беседы с людьми, которые ежедневно собирались на площадях. «Это не сон, — говорил я себе, — ибо чем могу я доказать, что жизнь в этом городе менее реальна, нежели мое существование в каменном доме, расположенном к югу от мрачного болота и кладбища на пригорке, — в доме под Полярной звездой, которая еженощно заглядывает в северные окна?»

Однажды ночью я отчетливо услышал речи людей, собравшихся на большой, украшенной причудливыми статуями площади. Я ощутил в себе какую-то перемену и внезапно понял, что перестал быть призраком и обрел наконец-то материальную форму. Я не был более чужаком на улицах Олатоэ, что лежал на плато Саркия между вершинами Нотон и Кадифонек. Я слышал голос моего друга Алоса, и произносимые им речи ласкали мой слух, ибо это были речи настоящего мужа и патриота. Той ночью в город пришли вести о падении Дайкоса и о наступлении инутов — это страшное племя желтокожих карликов-убийц пять лет тому назад явилось с неведомого Запада, чтобы опустошить наше царство. Им удалось взять множество наших городов, они овладели укреплениями у подножий гор, и теперь им были открыты все пути на плато. Они возьмут и его, если только мы все как один не выйдем на защиту нашего города и не отразим нападение врагов, превосходящих нас числом в десятки раз. Это будет очень нелегко, ибо эти малорослые дьяволы очень искусны в ведении войн и к тому же не обременяют себя законами чести, которые удерживают высокорослый сероглазый народ Ломара от жестоких завоевательных походов.

Последней надеждой на спасение был мой друг Алос — он командовал силами, которые защищали город на плато. Спокойно и твердо говорил он о предстоящих опасностях и призывал мужей Олатоэ, храбрейших во всем Ломаре, вспомнить о великих подвигах их предков. Много веков назад далекие пращуры обитателей Ломара были вынуждены уйти из Зобны, спасаясь от нашествия гигантского ледника. Путь зобнийцев лежал на юг, где их подстерегали гнофкесы — длин-

норукие, заросшие с головы до пят отвратительной шерстью кровожадные каннибалы. И все же нашим отважным предкам, говорил Алос, удалось смести их со своего пути и продолжить исход на спасительный юг. Алос призывал всех сограждан взять в руки оружие и отразить вторжение инутов. Я был едва ли не единственным исключением — моя физическая слабость и подверженность частым обморокам во время большого напряжения сил не были теми качествами, которые необходимы воину. Однако я обладал самым острым во всем городе зрением (и это несмотря на то, что в течение многих лет подолгу изучал Пнакотические рукописи и заветы Отцов Зобны), и мой начальственный друг оказал мне великую честь, доверив пост на сторожевой башне Тапнен. Я должен был наблюдать за узким горным проходом у подножия пика Нотон, которым могли воспользоваться инуты, чтобы подобраться к городу вплотную и застать врасплох его защитников. Моей же задачей было подать при появлении врагов сигнал нашим солдатам, предотвратив тем самым падение и гибель города.

Я находился на башне один, без помощника, ибо каждый боеспособный мужчина был на счету там, внизу, где стояли насмерть храбрейшие сыны Ломара. Мозг мой, в течение нескольких суток не знавший ни сна, ни отдыха, был перевозбужден от волнения и страшной усталости, но я решил исполнить свой долг до конца во что бы то ни стало, ибо страстно любил свою родную землю, что именовалась Ломаром, и в особенности мраморный город Олатоэ, раскинувшийся между вершинами Нотон и Кадифонек.

Оказавшись в самой верхней комнате башни, я увидел тонкий бледный серп луны, зловеще подрагивавший в серой дымке, которая заволокла далекую долину Баноф. А сквозь отверстие в потолке поблескивала Полярная звезда — она то игриво подмигивала, то пристально глядела на меня, и это был взгляд недруга и искуателя. Я подозреваю, что именно она сослужила мне дурную службу, навеяв предательский сон вкрадчивым нашептыванием дьявольского десятистишья, которое раз за разом повторялось в моем мозгу:

Спи, дозорный, звездный год
 Совершит круговорот —
 Шесть и двадцать тысяч лет,
 И уловишь вновь мой свет
 Там, где нынче упустил
 Посреди иных светил,
 Что утешат душу впрок
 И избавят от тревог.
 Круг замкнется... Слышишь стук?
 Прошлое явилось вдруг.

Я тщетно боролся с овладевавшей мною дремотой, пытаюсь найти связь между этими странными строками и знаниями, почерпнутыми из Пнакотических рукописей. Моя отяжелевшая голова упала на грудь, и когда я устремил свой взор вверх — а это было уже во сне, — то увидел, что Полярная звезда насмешливо смотрела на меня в окно; она висела так высоко над горизонтом, что ее не могли скрыть огромные, узловатые ветви деревьев, которые, сгибаясь под ураганным ветром, шумели листвою над угрюмым болотом. Все это происходило во сне — и я до сих пор от него не очнулся.

Иногда, охваченный стыдом и отчаянием, я бешено кричу, взывая к персонажам моих снов и умоляя их разбудить меня до того, как инуты пройдут незамеченными через горный проход у пика Нотон и овладеют беззащитным городом; но демоны сновидений лишь громко смеются и уверяют меня, что я вовсе не сплю. Они издеваются надо мной, не давая очнуться от сна, в то время как низкорослые желтокожие враги скользят мимо ничего не подозревающих защитников цитадели и овладевают ею. Я не исполнил своего долга, я предал мраморный город Олатоэ и не оправдал доверия Алоса, моего друга и командира. И тени моих снов все еще смеются надо мной. Они говорят, что земли Ломар никогда не было на нашей планете и что это всего-навсего плод моих ночных фантазий. Они говорят, что в тех краях, где Полярная звезда сияет высоко в небе, а красный Альдебаран медленно оборачивается по самому краю небосвода, нет и никогда не было ничего, кроме тысячелетних льдов и снегов, и что здесь никогда не обитало никакой иной расы, кроме приземистых существ с

желтой, отполированной жестокими ледяными ветрами кожей, и что существа эти именуются эскимосами.

Охваченный мучительным сознанием своей вины, стремясь во что бы то ни стало спасти город, над которым нависла страшная опасность, я тщетно стараюсь стряхнуть с себя эту дьявольскую дремоту и избавиться от навязчивого образа каменного дома, расположенного к югу от угрюмого болота и кладбища на пригорке; а Полярная звезда, безжалостная и насмешливая, смотрит вниз с черного небосвода, зловеще подмигивая мне и напоминая собой всевидящее око неведомого безумца, который жаждет донести до людей некое дикийное послание и тщетно силится восстановить его в своей памяти, но не может вспомнить ничего, кроме того, что послание это еще совсем недавно обременяло его мозг.

БЕЛЫЙ КОРАБЛЬ

Я — Бэзил Элтон, смотритель маяка на Норт-Пойнт. Это занятие досталось мне от отца, а отцу — от деда. Мой маяк стоит в отдалении от берега, возвышаясь над покрытыми слизью скалами, которые обнажаются во время отлива, а во время прилива полностью скрываются под водой. Вот уже два столетия мимо этого маяка проплывают величественные корабли, странствующие по семи морям. Во времена моего деда их было неисчислимое множество; потом, когда смотрителем стал мой отец, число их несколько уменьшилось, а сейчас они стали такими редкими гостями в наших краях, что порою я испытываю чувство неизбывного одиночества, как будто я остался последним человеком на планете.

Большие старинные корабли с белоснежными парусами приходили сюда издалека — с таинственного Востока, где ярко и горячо светит солнце, а белые минареты купаются в сладчайших ароматах чудесных садов. К моему деду часто заглядывали старые капитаны и рассказывали ему разные истории, которые тот излагал потом моему отцу, а отец пересказывал мне, когда мы сидели с ним долгими осенними вечерами у огня, внимая зловещему завыванию ветра. Много историй услышал я тогда от него, но еще больше вычитал из книг, которые дарили мне ученые люди в ту пору, когда я был юн и охотно верил в чудеса.

Знания, почерпнутые мною из книг и из рассказов старых людей, были завораживающими, но более всего очаровали ме-

ня откровения, которые подарил мне океан. Лазурный, изумрудный, седой, свинцовый, черный, спокойный, взволнованный или неистовствующий — океан никогда не молчал. Целыми днями смотрел я на него и внимал его голосу и в конце концов научился понимать океан с полуслова. Сначала он рассказывал мне лишь короткие незатейливые сказки о тихих пляжах и ближних портах, но со временем мы стали с ним близкими друзьями, и он начал доверять мне самые сокровенные свои тайны. Он говорил о людях, землях и событиях, которые были странны, необычайны и бесконечно далеки от меня во времени и пространстве. Иногда с наступлением сумерек на горизонте раздвигалась серая дымка, и я видел проблески неведомых путей, уводящих в безграничную даль; бывало, что по ночам темные морские воды становились прозрачными и фосфоресцирующими и дарили моему взору проблески неведомых путей, уводящих в безграничную глубину. Пути эти когда-то существовали или могли существовать в нашем мире; они виделись мне так же часто, как и пути, которые существуют сейчас, ибо океан очень стар — он древнее гор, он хранит в себе память и мечты бесконечного Времени.

Когда высоко в небе светила полная луна, с юга приходил Белый корабль. Он мягко и бесшумно скользил по воде; море при этом могло быть спокойным или взволнованным, дружественным или враждебным — в любую погоду Белый корабль шел одинаково мягко и бесшумно. Паруса его были припущены, а ряды весел взлетали в однообразном ритме, поднимая соленые брызги. Однажды ночью я увидел на палубе корабля бородатого человека, который кивнул мне, казалось, приглашая взойти на борт и отплыть к дальним неведомым берегам. После этого я еще много раз видел его в полнолуние, и всякий раз он кивал он мне, зазывая на корабль.

И в одну яркую лунную ночь я откликнулся на зов. Я побежал по океанским водам и взошел на Белый корабль по мосту, сотканному из лунного света. Человек, приглашавший меня кивком головы, приветствовал меня на мягком певучем языке, которого я не знал, но очень хорошо понял. И в течение

многих часов, которые были заполнены звучными песнями гребцов, плыли мы в сторону юга, таинственного и золотого в сиянии полной луны.

А когда заалел рассвет, я увидел зеленую полосу берега дальней земли — чудесной, неповторимой и неизвестной мне земли. Непосредственно от воды вверх поднимались полосы пышной зеленой растительности, в которой там и тут виднелись сверкавшие белые крыши и колоннады необыкновенных храмов. Когда мы приблизились к зеленому берегу, человек с бородой поведал мне историю этого края. Земля эта называется Зар, сказал он, и здесь обитают все мечты и мысли о прекрасном, которые когда-либо осеняли людей, а потом были ими забыты. И когда я снова окинул взглядом зеленые полосы растительности, я понял, что все сказанное им — правда, ибо среди картин, представших моему взору, было много таких, которые прежде открывались мне за расступившейся дымкой над горизонтом и в фосфоресцирующих глубинах океана. Здесь были фантазии, превзошедшие по своему великолепию все, что я когда-либо знал, — видения молодых поэтов, умерших в нищете и безвестности, не дождавшись того, что мир узнает их откровения. Но мы не коснулись стопами своими лугов Зара, ибо сказано было, что ступивший на эту землю никогда не вернется на родной берег.

Прошло немало времени после того, как Белый корабль безмолвно уплыл прочь от сокрытых в зеленых рощах храмов Зара, и мы увидели далеко на горизонте шпили могучего города. Человек с бородой сказал мне:

— Это Таларион, Город Тысячи Чудес; в нем обитают все тайны, которые стремились разгадать люди, но которые так и не открылись им.

И я снова взглянул на город, на этот раз более пристально, и увидел, что он превосходит своими размерами все виденные мною ранее города, а также все города, о которых я когда-либо слышал или мечтал. Шпили храмов подпирали небесный свод, и ни один смертный не смог бы дотянуться взглядом до них — так высоко вознеслись они; далеко за горизонт уходили угрюмые серые стены, поверх которых можно было

разглядеть лишь несколько крыш, зловещих и мрачных, но притом украшенных роскошными фризами и соблазнительными скульптурами. Я страстно возжелал войти в этот очаровательный и в то же время отталкивающий город и умолял человека с бородой высадить меня на сияющем причале у огромных резных ворот Акариэля, но он, мягко улыбнувшись, сказал мне:

— Не проси об этом. Многие вошли в Таларион, Город Тысячи Чудес, но никому не удалось вернуться оттуда. Там бродят демоны и безумцы, которые давно уже перестали быть людьми, а улицы его белы от непогребенных костей тех, перед чьим взором предстал идол Лати, который повелевает городом.

И Белый корабль проследовал на юг мимо стен Талариона, и много дней летела вслед за нами птица, чьи яркие перья, казалось, были отлиты из небесной лазури, что породила ее и послала вслед за Белым кораблем.

А потом мы увидели ласковый берег, сплошь покрытый ковром из цветов всех оттенков; вглубь его тянулись чудесные рощи, пронизанные расходящимися аллеями. Яркое полуденное солнце сияло надо всем этим великолепием. Мы слышали пение невидимых голосов и нежные, гармоничные звуки лиры, перемежавшиеся легким смехом, столь прелестным, что я в нетерпении приказал гребцам как можно скорее причалить к неведомому берегу, ибо сгорал от желания увидеть скрытые от меня чудеса своими глазами. И человек с бородой не произнес ни слова, а только пристально посмотрел на меня, в то время как мы приближались к отороченному лилиями берегу. Внезапно налетевший с цветущих лугов и густых лесов ветер принес запах, вызвавший у меня дрожь. А потом ветер усилился, и воздух наполнился зловонным могильным духом зачумленных городов и их страшных кладбищ. И когда мы в страхе отплыли прочь от этого берега, человек с бородой наконец разомкнул уста, сказав мне:

— Это Ксура, Страна Несбывшихся Радостей.

И снова Белый корабль поплыл за небесной птицей по теплым водам благословенного моря, ласкаемый ароматными бризами. Мы плыли много дней и ночей, и, когда над нами всходила полная луна, мы внимали звучным песням гребцов, и песни эти казались мне так же хороши, как и в ту далекую ночь, когда я покинул родной берег. В одну из лунных ночей мы бросили якорь в гавани Сона-Ниль. Ее покой надежно охраняют два хрустальных мыса, что поднимаются из моря и сходятся друг с другом, образуя великолепную сияющую арку. Это была Страна Мечты, и мы сошли на ее зеленеющий берег по золотому мосту, сотканному из лунных лучей.

В стране Сона-Ниль нет ни времени, ни пространства, ни страдания, ни смерти, и я остался жить в ней на многие тысячелетия. В этой стране привольно раскинулись роскошные дуга и рощи, там цветут яркие ароматные цветы, весело журчат голубые ручьи и реки, бьют прозрачные освежающие фонтаны и гордо вздымаются могучие храмы, замки и города. И нет конца этой земле, ибо за одной великолепной перспективой открывается другая, еще более прекрасная. В городах и селениях живет безмятежный народ, и каждый человек наделен безукоризненным изяществом манер и движений, а в придачу — ничем не омраченным счастьем. Тысячи лет прожил я на этой земле, и все это время я беззаботно бродил в садах, где из-за подстриженных кустов выглядывали аккуратные беседки, а белые дорожки были размечены чудесными цветами. Я взбирался вверх по пологим холмам, с вершин которых мне открывались чарующие картины. Я видел селения, разбитые на дне мирных зеленых долин, видел золотые купола огромных городов, блестевшие далеко на горизонте, за которым лежала бесконечность. Когда же наступала ночь и всходила полная луна, я смотрел на мерцающую поверхность моря и на хрустальные ворота гавани, где бросил якорь Белый корабль.

Это было в незабвенный год Тарпа. Однажды, стоя на холме и пристально глядя на полную луну, я внезапно увидел на ее фоне зовущие очертания небесной птицы и почувствовал шевельнувшееся в моей душе беспокойство. Потом я обра-

тился к человеку с бородой и поведал ему о своих новых устремлениях — мне хотелось отплыть в далекую Катурию, которую никто никогда не видел, но о которой было известно, что она лежит далеко на западе, за базальтовыми скалами. Это Земля Надежды, вместилище идеальных образов всего того, о чем мы знаем; по крайней мере, так говорили о ней люди. Но человек с бородой сказал мне:

— Остерегайся тех гибельных морей, за которыми лежит Катурия. В Сона-Ниль нет боли и смерти, а что знаешь ты о земле, которая лежит за базальтовыми скалами на западе?

Однако я настаивал на своем, и в следующее полнолуние человек с бородой неохотно покинул безмятежную гавань, чтобы отправиться со мною на Белом корабле в нехоженые моря.

И снова небесная птица летела перед нами и вела нас на запад, к базальтовым скалам, но на сей раз не раздавались под полной луной звучные песни гребцов. В своем воображении я часто рисовал неведомую землю Катурии с ее пышными рощами и великолепными дворцами и со сладостным замиранием сердца представлял себе радости и удовольствия, которые ожидали меня. «Катурия, — говорил я себе, — это обители богов и страна неисчислимых городов, выстроенных из чистого золота. Ее чудесные сандаловые леса с ровными и стройными рядами деревьев напоминают благоуханные рощи Каморина, и веселые птицы поют в густых кронах. На покрытых зеленью и цветами холмах Катурии стоят храмы из розового мрамора, щедро украшенные резными изображениями, которые прославляют ратные подвиги их создателей; во дворах храмов блистают серебряными струями фонтаны, ароматные воды которых издают завораживающие музыкальные звуки, а приходят те воды из берущей свое начало в подземном гроте реки Нарг. И опоясаны города Катурии золотыми стенами, и улицы их тоже вымощены золотом. В садах растут дивные орхидеи и слышится плеск небольших озер, дно которых выложено янтарем и кораллами. Ночью сады и улицы залиты светом фонарей, сделанных из трехцветного панциря гигантской морской черепахи, а в воздухе плывут тихие зву-

ки лютни и голоса певцов. Все дома Катурии роскошны и достойны называться дворцами, и каждый из них стоит на берегу благоухающего канала, несущего воды священного Нарга. Дома сложены из порфира и мрамора, а их позолоченные крыши отражают яркие лучи солнца, и города выглядят еще более великолепными и радуют взоры блаженных богов, когда те смотрят на них с высоких дальних гор. Прекраснейший из всех дворцов — дворец монарха Дориба, которого некоторые считают полубогом, а иные и вовсе богом. Высоко в поднебесье взметнулся дворец Дориба, окруженный стенами со множеством мраморных башен. Бесчисленные толпы людей собираются в его просторных залах, а на стенах тут и там висят трофеи многолетних походов. Крыша этого дворца сделана из чистого золота и держится на высоких столбах из рубинов и лазурита, и такие великолепные резные скульптуры героев и богов установлены на ней, что тот, кто взирает на них, может представить себя смотрящим на живых обитателей Олимпа. Пол во дворце сделан из стекла, под которым текут хитроумно осветленные воды Нарга, несущие в себе рыб дивной окраски, неизвестных за пределами прелестной Катурии».

Так разговаривал я сам с собою о вожденной Катурии, но человек с бородой уговаривал меня повернуть назад и возвратиться в Сона-Ниль, ибо все знают о счастливой земле Сона-Ниль, а неведомую Катурию не доводилось еще видеть никому.

И наступил тридцать первый день с тех пор, как мы отправились вслед за птицей, и мы увидели базальтовые скалы Запада. Они были окутаны белым туманом, словно саваном, и нельзя было разглядеть их вершины — они и впрямь могли доставать до небес. И человек с бородой опять принялся умолять меня повернуть назад, но я и слушать его не хотел, ибо из-за окутанных мертвенным туманом утесов донеслись до меня голоса певцов и звуки лютни, которые были слаще сладчайших песен Сона-Ниль и звучали гимном, прославляющим меня, смельчака, который в ночь полной луны отправился в далекое путешествие и тысячу лет жил в Стране Мечты. И Бе-

лый корабль устремился на звук мелодии — прямо в туман между скалами. А когда музыка смолкла и туман рассеялся, мы увидели, что вместо благословенной Катурии перед нами бурлит стремительное, непреодолимое течение. И это течение подхватило наше беспомощное судно и понесло его в неизведанные дали. Вскоре мы услышали отдаленный грохот падающей воды, и нашему взору открылся фонтан брызг, вздымаемый на горизонте гигантским водопадом, который вбирал в себя воды всех океанов мира и обрушивал их в бездонное небытие. И человек с бородой сказал мне, не в силах сдержать слез:

— Мы отказались вернуться в прекрасную страну Сона-Ниль, которую нам уже больше никогда не увидеть. Боги сильнее людей, и они победили.

Я закрыл глаза в ожидании катастрофы, и небесная птица, отчаянно бьющая лазурными крылами над краем потока, перестала видаться мне.

После адского грохота, сопровождавшего кораблекрушение, наступила кромешная тьма, и я слышал дикие вопли людей и существ, которые не были людьми. С востока поднялся ураган и обдал меня своим леденящим дыханием; я бессознательно сжался, ощутив под собой холодную гладкую поверхность какого-то большого камня, который непостижимым образом поднялся из морских глубин и стал моей опорой и спасением. Грохот повторился, а потом наступила тишина, и я решился открыть глаза. И когда я сделал это, то обнаружил, что нахожусь на платформе маяка, который покинул миллион лет тому назад, уплыв в океанские просторы на Белом корабле. Маяк был погружен во тьму; впервые с тех пор, как он перешел к моему деду, его фонарь погас. Внизу, во мраке, смутно вырисовывались обломки разбитого судна.

Не дожидаясь рассвета, я вошел внутрь башни и увидел на стене календарь, который показывал тот самый день, когда я уплыл на Белом корабле. И когда рассвет озарил океан, я спустился вниз и попытался рассмотреть обломки корабля, налетевшего на скалу, но не увидел ничего, кроме странной

мертвой птицы цвета лазурного неба да одного-единственного деревянного бруса, который своей необычайной белизной превосходил морскую пену и снежные шапки на вершинах гор.

И после этого океан уже не раскрывал мне своих тайн; и много раз потом всходила над ним полная луна, но Белый корабль больше не являлся ко мне с юга.

КАРАЮЩИЙ РОК НАД САРНАТОМ

В стране Мнар есть большое тихое озеро, в которое не впадает и из которого не вытекает ни рек, ни ручьев. Десять тысяч лет тому назад на его берегу стоял могучий город, который назывался Сарнат; однако сейчас там не найти и следов этого города.

Говорят, что в незапамятные времена, когда мир был еще молодым, а люди Сарната еще не появились в землях Мнара, у озера стоял другой город; он был выстроен из серого камня и назывался Иб. Древний, как само озеро, он был населен очень странными существами. Они были на редкость уродливы, что вообще характерно для существ, появившихся на свет еще при зарождении мира. На сложенных из кирпичей колоннах Кадатерона есть надписи, свидетельствующие о том, что населявшие город Иб существа имели кожу зеленоватого цвета — точно такого же, как вода в озере и как поднимающийся над ним туман; у них были очень выпуклые глаза, толстые отвислые губы и уши совершенно необычной формы. Кроме того, они были безголосы. Еще на этих колоннах можно прочесть, что в одну из ночей эти странные существа спустились с луны в повисший над землей Мнара густой туман, и вместе с ними спустилось на землю большое тихое озеро и серый каменный город Иб. Обитатели серого города поклонялись каменному идолу цвета зеленой озерной воды, формы которого повторяли очертания Бокруга, огромной водяной ящерицы; перед этим идолом устраивали они свои жуткие

пляски накануне полнолуний. Однажды, как записано в папирусах Иларнека, они научились добывать огонь и после этого постоянно зажигали его на своих многочисленных церемониях. В целом об этих существах известно немного — ведь они жили в глубокой древности, а род человеческий слишком молод, чтобы помнить о своих далеких предшественниках.

Прошли многие тысячелетия, прежде чем на землю Мнара явились люди — племена темнокожих кочевников со стадами тонкорунных овец; они построили города Траа, Иларнек и Кадатерон на берегах извилистой реки Ай. А самые отважные из кочевых племен добрались до берегов озера и построили Сарнат на том самом месте, где были найдены в земле драгоценные металлы.

Эти бродячие племена заложили первые камни Сарната неподалеку от серого города Иб — и вид его обитателей вызвал изумление у пришельцев. Однако к изумлению этому примешивалась ненависть, ибо пришельцы считали, что существа со столь омерзительной внешностью не должны осквернять своим присутствием только недавно зародившийся мир людей. Необычные скульптуры, украшавшие серые монолиты Иба, тоже не понравились жителям Сарната — слишком уж долго стояли они на земле, хотя им пора было исчезнуть с ее лика еще до прихода людей на тихую землю Мнара, лежавшую в немыслимой дали от других стран яви и грез.

Чем чаще обитатели Сарната обращали свои взоры на жителей Иба, тем сильнее они их ненавидели — и ненависть эта только усиливалась оттого, что недруги казались им слабыми и немощными, а их рыхлые студенистые тела были уязвимы для камней и стрел. И вот однажды молодые воины — лучники, копьеносцы и пращники — ворвались в Иб и истребили всех его обитателей, столкнув трупы в озеро длинными копьями, ибо не желали они прикасаться руками к их омерзительным желеобразным телам. Ненавистные пришельцам серые монолиты, увенчанные скульптурами, тоже были брошены в озеро; волоча их к воде, завоеватели не могли не

изумляться огромному труду, который был затрачен на то, чтобы доставить их сюда из неведомого далека, ибо таких камней не было ни в земле Мнара, ни в соседних землях.

Так был разрушен древний город Иб, и не осталось от него ничего, кроме идола, вырезанного из камня цвета зеленой озерной воды, — идола, так похожего на Бокруга, водяную ящерицу. Этого идола молодые воины взяли с собой как символ победы над поверженными богами и жителями Иба, а также как знак своего господства на земле Мнара. Они водрузили его в своем храме, но в ту же ночь в храме произошло нечто жуткое; над озером взошли тогда таинственные огни, а наутро пришедшие в храм люди обнаружили, что идол исчез, а верховный жрец Таран-Иш лежит мертвый с гримасой невообразимого ужаса на лице. Умирая, верховный жрец непослушной рукой изобразил на хризолитовом алтаре Знак Рока.

Много верховных жрецов сменилось в Сарнате после Таран-Иша, но зеленый каменный идол цвета озерной воды так и не был найден. Много лет и веков прошло после того страшного и загадочного события. Все это время Сарнат рос и процветал, в нем царило благоденствие, и только жрецы да дряхлые старухи помнили о знаке, начертанном Таран-Ишем на хризолитовом алтаре. Между Сарнатом и Иларнеком пролегал теперь караванный путь, и добываемые из недр земных золото и серебро обменивались сарнатцами на другие металлы, дорогие одежды, самоцветы, книги, инструменты для искусных ремесленников и на разнообразные предметы роскоши, какие только были известны людям, населявшим берега реки Ай. Сарнат стал средоточием мощи, красоты и культуры; его армии завоевывали соседние города, и правители Сарната скоро стали властелинами не только всей земли Мнара, но и многих других окрестных земель.

Великолепен был город Сарнат, и во всем мире вызывал он гордость и изумление. Окружавшие его стены были сложены из отполированного мрамора, добытого в прилегавших к городу каменоломнях. Стены эти достигали трехсот локтей

в высоту и семидесяти пяти локтей в ширину, так что наверху их могли свободно разъехаться две колесницы. Стены простирались в длину на добрых пятьсот стадий и обрывались только у озера, на берегу которого дамба из зеленого камня сдерживала натиск волн, которые ежегодно во время празднования даты разрушения Иба странным образом вздымались на неслыханную высоту. В Сарнате было пятьдесят улиц, соединявших берега озера с воротами, от которых начинались караванные пути, и улицы эти пересекались пятьюдесятью другими. Почти все они были вымощены ониксом, и только те из них, по которым проводили слонов, лошадей и верблюдов, имели гранитную мостовую. Каждая улица, берущая начало у озера, заканчивалась воротами, и ворота эти были отлиты из бронзы и украшены фигурами львов и слонов, вырезанными из камня, который в наше время неизвестен людям. Дома в Сарнате были построены из глазурованного кирпича и халцедона, и около каждого дома стоял окруженный ажурной решеткой сад с бассейном, стены и дно которого были выложены горным хрусталем. Дома отличались странной архитектурой — ни в одном другом городе не было подобных домов, и путешественники, приезжавшие в Сарнат из Траа, Иларнека и Кадатерона, восторженно любовались их сверкающими куполами.

Но самыми величественными сооружениями Сарната были дворцы, храмы и сады, заложенные и построенные старым царем Зоккаром. Много дворцов было в Сарнате, и самый скромный из них превосходил по величию и мощи любой из дворцов соседних Траа, Иларнека и Кадатерона. Дворцы Сарната были так высоки, что, оказавшись внутри, можно было представить себя находящимся под открытым небом, а в свете просмоленных факелов на их стенах можно было увидеть огромных размеров росписи, изображавшие царей и ведомые ими войска. Великолепие этих росписей ошеломяло зрителя и одновременно вызывало у него чувство божественного восторга. Интерьер дворцов украшали нескончаемые колонны — они были высечены из цветного мрамора и отличались непередаваемой красотой форм. Пол во дворцах представлял

собой мозаику из берилла, лазурита, сардоникса и других ценных камней — ступавшим по такому полу казалось, что они идут по девственному лугу, на котором растут самые красивые и редкие цветы. А еще были во дворцах не менее изумительные фонтаны, испускавшие ароматные водяные струи самых причудливых форм. Все дворцы были великолепны, но самым прекрасным из них был дворец царей Мнара и прилегавших к Мнару земель. Царский трон покоился на загнувшем двух золотых львов, припавших к земле как перед прыжком; он сильно возвышался над сверкающим полом, а потому, чтобы приблизиться к нему, нужно было преодолеть множество ступенек. Трон был вырезан из цельного куска слоновой кости, и вряд ли кто-нибудь смог бы объяснить происхождение столь огромного бивня. Было в том дворце большое число галерей и множество амфитеатров, на арене которых гладиаторы развлекали царей, сражаясь со львами и слонами. Иногда амфитеатры заполнялись водой, поступавшей из озера через огромные акведуки, и тогда на потеху царствующим особам в них устраивались бои между пловцами и разными смертоносными морскими гадами.

Семнадцать храмов Сарната напоминали своими формами огромные башни. Они были очень высокими и величественными и сложены были из яркого многоцветного камня, нигде более не известного. Самый большой из них взметнулся ввысь на добрую тысячу локтей и служил жилищем верховным жрецам, которые были окружены невообразимой роскошью, едва ли уступавшей той, в коей купались цари Мнара. Нижние помещения храма представляли собой залы, такие же обширные и великолепные, как и залы во дворцах; жители Сарната приходили сюда молиться Зо-Калару, Тамашу и Лобону, своим главным богам, чьи окуриваемые фимиамом алтари с виду напоминали троны монархов. Не в пример другим богам, лики Зо-Калара, Тамаша и Лобона были переданы настолько живо, что можно было поклясться — это сами милостивые боги восседают на тронах из слоновой кости. Сложенная из циркона нескончаемая лестница вела в башню с покоями, из которых верховные жрецы взирали днем на город, долину и

озеро, а ночью молча смотрели на таинственную луну, исполненные одним им понятного смысла звезды, планеты и их отражение в большом тихом озере. В этой башне исполнялся древний тайный обряд, имеющий целью выказать величайшее отвращение к Бокругу, водяной ящерице, и здесь же стоял хризолитовый алтарь со Знаком Рока, начертанным на нем Таран-Ишем.

Столь же прекрасными были сады, заложенные старым царем Зоккаром. Они располагались в центре Сарната, занимая довольно обширное пространство, и были окружены высокой стеной. Над садами был возведен огромный стеклянный купол, сквозь который в ясную погоду проходили лучи солнца, звезд и планет; а когда небо было затянуто тучами, сады освещались их сверкающими подобиями, подвешенными под куполом. Летом сады охлаждались ароматным свежим бризом, навеваемым хитроумным воздуходушным устройством, а зимой отапливались скрытыми от глаз очагами, и в садах этих царствовала вечная весна. По блестящим камушкам среди зеленых лужаек сбегали небольшие ручейки, через которые было переброшено множество мостиков. Ручьи образовывали живописные водопады и пруды, по зеркальной глади которых величественно плавали белоснежные лебеди. Пение экзотических птиц чудесной музыкой разливалось над волшебными садами. Зеленые берега поднимались от воды правильными террасами, увитыми плющом и украшенными яркими цветами. Можно было бесконечно любоваться этой великолепной картиной, присев на одну из многочисленных скамеек из мрамора и порфира. Там и тут стояли маленькие храмы и алтари, где можно было отдохнуть и помолиться богам.

Каждый год праздновали в Сарнате дату разрушения Иба, и в такие дни все пили вино, танцевали и веселились. Великие почести возлагались теням тех, кто стер с лица земли город, населенный мерзкими древними тварями. Память о жертвах нашествия и их богах неизменно подвергалась издевательским насмешкам увенчанных розами из садов Зоккара танцоров и музыкантов. А цари Мнара смотрели на озеро

и посылали проклятия костям лежавших на его дне мертвецов.

Поначалу верховные жрецы не одобряли эти празднества, ибо им-то хорошо были известны зловещие предания о таинственном исчезновении зеленого идола и о странной смерти Таран-Иша, который оставил Знак Рока на хризолитовом алтаре. С их высокой башни, говорили они, видны иногда огни, блуждающие под водами озера. Но с тех пор прошло уже много лет, и никаких бедствий так и не выпало на долю Сарната. Люди забыли о Знаке Рока и каждый год праздновали дату вторжения в Иб, смеясь над жертвами и проклиная их; и даже жрецы стали без страха участвовать в этих безумных оргиях. В конце концов, разве сами они не совершали древний тайный обряд, проникнутый всепожирающим отвращением к Бокругу, водяной ящерице? Тысяча лет радости и изобилия пронеслась над Сарнатом — чудом света и гордостью всего человеческого племени.

Роскошным сверх всякого представления было празднование тысячелетия разрушения Иба. О грядущем событии стали говорить еще за десять лет до его наступления. Накануне торжественного дня в Сарнат съехались на лошадях, верблюдах и слонах многие жители Траа, Иларнека и Када-терона, а также гости из других городов Мнара и земель вокруг него. В предпраздничную ночь под мраморными стенами Сарната возведены были шатры князей и палатки простолюдинов. В зале для царских пиров, в окружении веселящейся знати и услужливых рабов, восседал повелитель Мнара Нагрис-Хей, опьяненный старым вином из подвалов недавно завоеванного Пнора. Столы ломились от самых изысканных яств: здесь были запеченные павлины с островов Нариэль в Срединном море, молочные козлята с дальних гор Имплана, пятки верблюдов из пустыни Бназик, орехи и пряности из рош Сидатриана и растворенные в траальском уксусе жемчужины из омываемого волнами Мталя. Было также невообразимое количество соусов и приправ, приготовленных искуснейшими поварами, которых специально для этой цели собрали со всей земли Мнара. А наиболее изысканным уго-

щением стола считались выловленные в озере огромные рыбы, подаваемые на украшенных алмазами и рубинами золотых подносах.

Царь и его свита пировали во дворце, с вождением поглядывая на ожидавшие их золотые подносы с необыкновенно вкусной рыбой, — но не только они веселились в тот час. Все жители и гости Сарната, охваченные неопишущим восторгом, праздновали тысячелетие славной даты. Веселье шло и в башне великого храма жрецов; предавались возлияниям в своих раскинутых под стенами Сарната шатрах князя соседних земель. Первым заметил неладное верховный жрец Гнай-Ках: в свете почти полной луны какие-то мрачные тени опустились на зеркальную гладь озера, от которого им навстречу поднималась зеленая дымка, зловещим саваном окутывая башни и купола безмятежно веселящегося города. Вскоре и все остальные увидели, что на поверхности воды появились какие-то странные огни, и серая скала Акурион, прежде гордо возвышавшаяся над гладью озера неподалеку от берега, почти скрылась под водой. И в душах людей начал стремительно нарастать страх. Князя Иларнека и далекого Рокола первыми свернули шатры и, едва ли сами сознавая причину своего беспокойства, поспешно покинули Сарнат.

А ближе к полуночи все бронзовые ворота Сарната внезапно распахнулись настежь и выплеснули в открытое поле толпы обезумевших людей, при виде которых стоявшие под стенами города князя и простолюдины в испуге бросились прочь, ибо лица этих людей были отмечены печатью безумия, порожденного невообразимым ужасом, а слова, мимоходом слетавшие с их уст, воссоздавали такую кошмарную картину, что ни один из услышавших их не пожелал остановить свой стремительный бег, дабы убедиться в их правдивости. Глаза людей были широко раскрыты от непередаваемого страха, а из раздававшихся в ночной мгле воплей можно было понять, что нечто ужасное произошло в зале, где пировал царь со своей свитой. Силуэты Нагрис-Хея и окружавших его знати и рабов, прежде отчетливо видимые в окнах дворца, вдруг превратились в скопище омерзительных безмолвных существ с

зеленой кожей, выпуклыми глазами, толстыми отвислыми губами и ушами безобразной формы. Эти твари кружились по залу в жутком танце, держа в лапах золотые подносы, украшенные алмазами и рубинами, и каждый поднос был увенчан языком яркого пламени. Когда же князья и простолюдины, в панике покидавшие Сарнат верхом на слонах, лошадях и верблюдах, снова посмотрели на окутанное дьявольской дымкой озеро, они увидели, что серая скала Акурион полностью скрылась под водой.

Вся земля Мнара и все соседние земли наполнились слухами о чудовищной катастрофе, постигшей Сарнат; караваны не искали более путей к обреченному городу и его россыпям драгоценных металлов. Много времени понадобилось для того, чтобы путники отважились наконец пойти туда, где раньше стоял Сарнат; это были храбрые и отчаянные молодые люди, золотоволосые и голубоглазые, и происходили они не из тех племен, что населяли землю Мнара. Люди эти смело приблизились к самому берегу озера, желая взглянуть на город Сарнат. Они увидели большое тихое озеро и серую скалу Акурион, возвышавшуюся над водной гладью неподалеку от берега, но не увидели они чуда света и гордости всего человечества. Там, где некогда возвышались стены в триста локтей, за которыми стояли еще более высокие башни, простиралась однообразная болотная топь, кишущая отвратительными водяными ящерицами, — вот и все, что увидели путники на месте могучего града, в котором обитало некогда пятьдесят миллионов жителей. Шахты и россыпи, в которых добывали драгоценные металлы, тоже бесследно исчезли. Сарнат пал страшной жертвой карающего рока.

Но не только кишущее ящерицами болото обнаружили следопыты на месте погибшего Сарната. На берегу его они нашли странного древнего идола, напоминавшего своими очертаниями Бокруга, огромную водяную ящерицу. Идол был доставлен в Иларнек и помещен там в одном из храмов, где под яркой луной в канун полнолуния жители со всего Мнара воздавали ему самые великие почести.

КОШКИ УЛТАРА

Говорят, в городке Ултаре, что за рекой Скай, никому не дозволено убивать кошек, и я не могу не одобрить этот запрет, глядя на кота, уютно мурлычущего на коврике перед камином. Ибо этим скрытным и загадочным существам ведомо многое из того, что недоступно человеческому знанию. Кошки олицетворяют дух Древнего Египта и хранят предания давно исчезнувших городов Мероэ и Офира. Они состоят в близком родстве с владыками джунглей и хранят зловещие тайны древней Африки. Сфинкс приходится им кузеном; они говорят на одном языке, но кошачье племя гораздо старше Сфинкса и сохранило в памяти многое из того, о чем он даже не имеет понятия.

В прежние времена, еще до запрета убивать кошек, в Ултаре жил один старик с женой, и эта парочка находила особое удовольствие в том, чтобы ловить и убивать соседских кошек. Почему они так поступали, доподлинно неизвестно; быть может, им по ночам досаждали кошачьи концерты или же они не выносили вида кошек, в сумерках шныряющих по окрестным дворам и садам. Как бы то ни было, старик и старуха явно испытывали наслаждение, расправляясь с очередной кошкой, имевшей несчастье оказаться вблизи их лачуги, и, судя по звукам, ночами доносившимся оттуда, способы умерщвления были изощренно жестокими. Однако никто из жителей городка ни разу не попробовал разобраться по-свойски со стариком и его женой — отчасти по причине на редкость

злобного выражения, никогда не сходявшего со сморщенных старческих физиономий, а отчасти потому, что лачуга стариков находилась в не самом приятном для визитов месте: под угрюмой сенью древних дубов в глубине запущенного донельзя двора. Сказать по правде, как бы сильно хозяева кошек ни ненавидели этих двоих, еще сильнее они их боялись. Вот почему вместо того, чтобы хорошенько проучить жестоких убийц, они лишь старались не подпускать своих любимцев к их мрачному жилищу. Если же по недосмотру кошка пропадала, а после того из тьмы доносились душераздирающие вопли, владельцы несчастного животного отводили душу в стенаниях и бессильных проклятиях, благодаря судьбу хотя бы за то, что подобная участь не постигла их ребенка. Ибо жители Ултар, люди простодушные и недалекие, ничего не знали о древнем и благородном происхождении кошек.

И вот однажды караван необычных пришельцев с далекого юга появился на узких булыжных мостовых Ултар. Эти смуглолицые люди сильно отличались от прочих кочевников, дважды в год проходивших через Ултар. На рыночной площади они предсказывали судьбу за серебряные монетки и охотно покупали у торговцев яркие бусы. Никто не знал, где находилась родина этих людей, но все дивились их странным молитвам и причудливо размалеванным фургонам: там были изображены существа с человеческими телами и головами кошек, ястребов, баранов или львов. А их вождь щеголял в головном уборе с парой рогов, меж которых помещался какой-то диковинный диск.

Среди пришельцев был маленький мальчик, оставшийся без отца и матери, с одним только черным котенком, который был его единственным утешением после того, как безжалостная чума унесла его родителей. А когда ты еще так юн и уже так несчастен, тебе не найти лучшей отрады, чем пушистый шаловливый котенок. Так что мальчик, которого соплеменники именовали Менесом, чаще улыбался, чем плакал, играя с котенком на подножке разрисованного фургона.

Но на третье утро после прибытия каравана в Ултар мальчик нигде не смог найти своего котенка. Когда он горько ры-

дал на рыночной площади, кто-то из местных рассказал ему о старике и его жене, а также о звуках, доносившихся прошлой ночью со стороны их жилища. Выслушав все это, мальчик перестал рыдать и задумался, а чуть погодя начал молиться. Он простирали руки к солнцу и читал молитвы на языке, непонятном никому из горожан; последние, впрочем, и не слишком старались понять, поскольку их внимание было поглощено происходящим в небе, где облака удивительным образом меняли очертания. А когда мальчик произнес заключительные слова молитвы, все увидели вверху облачные фигуры странных существ — людей со звериными или птичьими головами, увенчанных рогами с диском посередине. Что и говорить, природа щедра на чудеса, способные потрясти того, кто не обделен хотя бы толикой воображения.

Той же ночью караван покинул Ултар и больше никогда там не появлялся. А вскоре жители городка переполошились, не находя нигде своих кошек. Ни в одном доме не было слышно привычного мурлыканья, исчезли все кошки до единой: большие и маленькие, черные, серые, полосатые, рыжие и белые. Старый Кренон, здешний бургомистр, был уверен, что кошек похитили смуглые чужаки в отместку за убийство котенка Менеса, и без устали посылал проклятия вдогонку каравану, и мальчишке в особенности. А тощий нотариус Нит заявил, что в этом преступлении, скорее всего, повинны мерзкий старик и его жена, чья ненависть к кошкам ни для кого не являлась секретом, а безнаказанность делала их все более дерзкими. Но и на сей раз никто не решился открыто выступить с обвинением зловещей четы даже после того, как Атал, юный сын трактирщика, сообщил, что накануне в сумерках своими глазами видел в том проклятом дворе всех кошек Ултара, медленно и сосредоточенно шествующих вокруг лагуги, по две в ряд, словно они совершали какой-то доселе неведомый звериный ритуал. Горожане сомневались, стоит ли верить словам такого юнца; и хотя многие склонялись к мысли, что двое извергов действительно умертвили кошек с помощью неких злых чар, связываться со стариком они не хотели — во

всяком случае до тех пор, пока он не встретится им за пределами своего пугающе темного двора.

Наконец город погрузился в сон, измученный горем и бесильной яростью, а когда на рассвете люди проснулись... только представьте! — все кошки Ултаря как ни в чем не бывало грелись на своих привычных местах у очагов! Все до единой: большие и маленькие, черные, серые, полосатые, рыжие и белые. С виду гладкие и упитанные, они громко и довольно мурлыкали. Горожане обсуждали это событие, немало изумляясь и недоумевая. Старый Кренон знай гнул свое, обвиняя в похищении смуглокожих пришельцев, потому как еще ни одна кошка не возвращалась живой из дома стариков. При этом единодушное изумление у всех вызывало одно обстоятельство: кошки дружно воротили носы от предложенных им обычных порций мяса и молока. И еще два дня после того кошки Ултаря не прикасались к еде, а лишь дремали у теплой печки или на солнышке.

Только по прошествии недели горожане обратили внимание на то, что по вечерам в окнах лачуги под старыми дубами не загорается свет. Тут и тощий Нит припомнил, что никто не видел старика и его жену с той самой ночи, когда из домов уходили кошки. Прошла еще неделя, прежде чем бургомистр собрался с духом и по долгу службы нанес визит в темный и безмолвный дом, предусмотрительно захватив с собой в качестве понятых кузнеца Шанга и камнереза Тула. Не дождавшись ответа на стук и без труда выломав хлипкую дверь, они обнаружили два дочиста обглоданных человеческих скелета на земляном полу да еще каких-то отвратительных жуков, кишмя кишевших по темным углам.

Тут среди горожан пошли толки и пересуды. Дотошный следователь Зат долго совещался с нотариусом Нитом и буквально завалил вопросами Кренона, Шанга и Тула. Даже малыш Атал, сын трактирщика, был вызван для допроса как свидетель и получил в награду леденец. Много всего было сказано о старике и старухе, о караване смуглых странников, о мальчике Менесе и его черном котенке, о молитве Менеса

и сопровождавших ее небесных явлениях, о странном поведении кошек в ночь отбытия каравана и о том, что было найдено в лачуге под сумрачной сенью деревьев в глубине заросшего двора.

А по окончании всех дискуссий городской совет принял достопамятный закон, о котором и поныне судачат торговцы в Хатеге и путешественники в Нире, — закон, согласно которому в Ултаре никому не дозволено убивать кошек.

ДЕРЕВО

Fata viam invenient¹.

На цветущем склоне горы Меналон, что в Аркадии, неподалеку от развалин древней виллы растет оливковая роща. Рядом с ней возвышается надгробие с величественными скульптурами, некогда прекрасное, но ныне полуразрушенное, как и дом. У одного края могилы, раздвинув потемневшие от времени плиты пентелийского мрамора, растет необычайных размеров олива. Вид ее вызывает отвращение сходством с каким-то уродливым человеком или с телом, обезображенным смертью. Селяне избегают ходить мимо этого дерева по ночам, когда лунный свет едва пробивается сквозь его кривые ветви. Гора Меналон — излюбленное место козлоногого Пана, которого всегда окружает множество странных спутников и приятелей. Простые деревенские парни уверены, что олива каким-то образом связана со всей этой нечистой компанией. Но старый пасечник, живущий в доме неподалеку, рассказывал мне совсем другое.

Много лет тому назад, когда вилла на склоне была новой и великолепной, в ней проживали два скульптора — Калос и Мусид. Их прекрасные творения славились повсюду от Лидии до Неаполя, при этом никто не осмелился бы утверждать, что один превосходит другого в мастерстве. Гермес работы Калоса стоял в мраморной раке в Коринфе, а Паллада Мусида венчала колонну, установленную рядом с афинским Пар-

¹ Жизнью управляет рок (*лат.*).

феноном. Все отдавали должное таланту скульпторов, удивляясь их братской дружбе и отсутствию между ними зависти.

Но хотя и жили они в гармонии, характеры их были на редкость разными. Пока окруженный городскими бездельниками Мусид кутил по ночам в Тегее, Калос оставался дома. Он укрывался от взглядов своих рабов в уединенном прохладном уголке оливковой рощи и там размышлял над переполнявшими его образами, чтобы потом обессмертить красоту в оживающем мраморе. Иные пустомели утверждали, что Калос беседует с духами рощи и что его статуи суть образы фавнов и дриад, с которыми он там встречается, ибо живой натурой он никогда не пользовался.

Настолько знамениты были Калос и Мусид, что никто не удивился, когда к ним прибыли посланники от тирана Сиракуз. Они приехали договариваться о создании весьма дорогостоящей статуи богини удачи Тихэ, которую тиран задумал поставить в городе. Скульптура должна была достигать огромных размеров, но при этом выполнить ее нужно было весьма тонко, чтобы она стала еще одним чудом света и привлекла в Сиракузы тысячи путешественников. По словам посланцев, тот, чью работу примут, будет возвеличен безмерно. За эту-то честь Калос и Мусид были приглашены посоревноваться. Их братская любовь была широко известна, и хитрый тиран рассудил, что каждый, вместо того чтобы скрывать свою работу от другого, предложит другу помощь и совет. Эта душевная щедрость должна была породить два образа неслыханной красоты, лучший из которых затмил бы мечты поэтов.

Скульпторы с радостью приняли предложение тирана. Все последующие дни их рабы слышали неумолимый стук молотков. Калос и Мусид скрывали свою работу от всех остальных, но отнюдь не друг от друга. Ничьи иные глаза, кроме их собственных, не созерцали божественные фигуры, которые от Сотворения мира были сокрыты в грубых глыбах, а сейчас высвобождались силой их гения. Как и прежде, по вечерам Мусид посещал пиры в Тегее, а Калос бродил в одиночестве

по оливковой роще. Но с течением времени в неизменно веселом и жизнерадостном Мусиде стали проявляться признаки уныния. Люди принялись гадать о причинах столь угнетенного состояния человека, у которого есть блестящая возможность завоевать своим искусством величайшую награду. Прошло немало месяцев, но кислое выражение лица Мусида так и не сменилось признаками радостного предвкушения, которое столь естественно должно было проявиться в подобном случае.

Но вот однажды Мусид рассказал о болезни Калоса, и всем стала понятна его печаль, поскольку искренняя и чистая дружба двух скульпторов была общеизвестна. Тогда многие принялись навещать Калоса; и действительно, все как один отмечали его странную бледность. Но при этом было в нем и выражение счастливой безмятежности, что делало его взгляд более загадочным, чем взгляд Мусида. Мусид же был охвачен необычайным волнением и, пожелав самостоятельно ухаживать за своим другом, удалил от него всех рабов. Скрытые тяжелыми занавесями, стояли в мастерской две незаконченные фигуры, к которым в последнее время нечасто прикасались резцы больного и его преданного друга.

А Калос продолжал слабеть, несмотря на помощь озадаченных врачей и нежную заботу друга. Все чаще просил он, чтобы его перенесли в возлюбленную им рощу и оставили одного, как если бы желал побеседовать с кем-то невидимым. Мусид безропотно выполнял все просьбы Калоса, хотя глаза его и наполнялись слезами при мысли, что брат его больше печется о нимфах и дриадах, чем о себе самом. Наконец настал день, когда Калос заговорил о смерти. Рыдающий Мусид пообещал ему изваять памятник более восхитительный, чем знаменитая гробница царя Мавсола. Но Калос попросил его не говорить более о мраморных красотах. Лишь одно желание преследовало умирающего — чтобы в изголовье его гроба положили веточки, обломленные по его указанию с нескольких олив из рощи. И однажды ночью, сидя в одиночестве во тьме оливковой рощи, Калос скончался.

Неописуемой красоты был монумент, что высек из мрамора охваченный скорбью Мусид для своего возлюбленного друга. Никто другой не изваял бы таких барельефов, казалось, вобравших в себя все великолепие Элизиума. Не забыл Мусид положить в могилу и веточки, обломленные в оливковой роще.

Когда боль утраты несколько поутихла, он возобновил работу над фигурой Тихэ. Вся слава теперь должна была принадлежать ему одному, поскольку тиран Сиракуз жаждал получить только творение Калоса или Мусида и никого другого. Выполнение заказа дало выход чувствам скульптора, и с каждым днем он трудился все упорнее, избегая развлечений, которым некогда предавался. Все вечера он неизменно проводил у могилы своего друга, где уже успела взойти молодая олива. Так быстр был ее рост и настолько необычен вид, что все, кто видел ее, не могли сдержать возгласа удивления. Да и сам Мусид выглядел очарованным, хотя порою испытывал к дереву нечто похожее на отвращение.

Через три года после кончины Калоса Мусид отправил к тирану посланника. На агоре в Тегее прошел слух, что величественная статуя завершена. К этому времени олива у могилы приобрела поразительные размеры, превзойдя высотой все остальные деревья своего вида. Одна особенно тяжелая ветвь простиралась над крышей дома, в котором трудился Мусид. Многие приходили посмотреть на необычайно большое дерево и заодно восхититься работой скульптора, поэтому Мусид редко бывал один. Но толпы гостей не досаждали ему. Напротив, теперь, когда его работа была закончена, он, казалось, страшился одиночества. Холодный ветер с гор вздыхал в ветвях оливковой рощи и дерева на могиле, и вздохи эти навевали ужас, ибо в них чудились невнятные звуки неведомой речи.

В тот вечер, когда в Тегею прибыли посланники тирана, в небе сгустились грозовые облака. Всем было известно, что сиракузцы приехали забрать великолепное изваяние Тихэ, обессмертив тем самым имя Мусида. Правитель города устроил им теплый прием. Ночью над горой Меналон разразился

ураган, но люди из далеких Сиракуз не замечали его, уютно устроившись во дворце. Они рассказывали о своем прославленном тиране, о блеске его столицы и бурно радовались великолепию статуи, которую Мусид изваял для Сиракуз. А тегейцы в ответ говорили о доброте Мусида и о его неизмеримой скорби по ушедшему другу; о том, что даже грядущие лавры вряд ли утешат его в отсутствие Калоса, который, может быть, носил бы их вместо Мусида. Упомянули они и о дереве, что выросло на могиле. Как раз в этот миг ветер завыл еще ужаснее, и все — как сиракузцы, так и жители Аркадии — вознесли молитву Эолу.

На следующее утро, согретое ласковыми лучами солнца, горожане повели посланцев вверх по склону к обители скульптора. Вскоре они обнаружили, сколь страшный след оставил после себя ночной ураган. Еще издалика услышав вопли рабов, они ускорили шаг и, прибыв на место, замерли от ужаса: сверкающая колоннада просторного зала, где мечтал и творил Мусид, больше не возвышалась посреди оливковой рощи. От дома остались только стены, поскольку на легкий и некогда роскошный перистиль обрушилась тяжелая ветвь того самого необычного дерева, о котором много говорилось накануне. Мраморная поэма, творение гениев, со сверхъестественным тщанием была превращена в неприглядный могильник. Как гости, так и тегейцы, объятые страхом, стояли среди руин, безмолвно вперив взор в зловещее дерево, причудливо напоминавшее человеческий силуэт, корни которого уходили в глубину усыпальницы Калоса. Их недоумение и страх безмерно усилились после осмотра развалин. Благородный Мусид и его чудесно выполненная статуя бесследно исчезли. Среди колоссальных руин царил полнейший хаос. Представители двух городов удалились глубоко разочарованными — сиракузцы из-за того, что им нечего было везти домой, тегейцам же было некого отныне восхвалять. Тем не менее Сиракузы получили через некоторое время прекрасную статую из Афин, а тегейцы утешились тем, что возвели на агоре храм, увековечив гений, добродетели и братскую преданность Мусида.

А оливковая роща по-прежнему растет на том же самом месте, растет и дерево на могиле Калоса. Старый пасечник рассказывал мне, что иногда ветви его шепчутся на ночном ветру, бесконечно повторяя: «Oida! Oida! — Мне ведомо! Мне ведомо!»

СЕЛЕФАИС

Во сне Куранес увидел город в долине, побережье моря за ним, покрытую снегом вершину горы, возвышающуюся над морем, и ярко раскрашенные галеры, отправляющиеся из гавани к тем далям, где море встречается с небом. Куранесом его звали во снах. Наяву он носил другое имя. Может быть, такая смена имен и была естественной для него, последнего представителя древнего рода, одиноко прозябавшего в многомиллионном равнодушном Лондоне.

Редко кто разговаривал с ним и мог бы напомнить ему, кем он был раньше. Он промотал все свое состояние, мало заботясь об отношении к этому окружающих и предпочитая созерцать и описывать свои сны. Его сочинения высмеивали все, кто их читал; со временем он перестал показывать их своим знакомым и в конце концов совсем бросил писать. Чем больше он удалялся от мира, тем чудеснее становились его сны, но все попытки изложить их на бумаге были заранее обречены на неудачу. Куранес был старомоден и мыслил не так, как остальные писатели. В то время как они силились лишить жизнь ее чудесных красочных покровов и показать во всей наготе убожество нашей реальности, Куранес искал одну только красоту. Когда истина и опыт не могли помочь ему в этих поисках, он погружался в мир собственного воображения и находил прекрасное у самого порога своей двери, среди туманных воспоминаний, детских сказок и снов.

Каких только чудесных открытий мы не совершаем в юности. Будучи детьми, мы слушаем сказки и мечтаем, но мысли наши несовершенны. Когда же, став взрослыми, мы пытаемся вернуть детские грезы, мы уже отравлены ядом повседневности, который делает нас скучными и прозаичными. Лишь некоторых из нас посещают ночами причудливые видения цветущих холмов и садов, поющих в солнечном свете фонтанов, золотых скал, о подножье которых разбиваются морские волны, пологих долин, спускающихся к спящим городам, одетым в бронзу и камень, призрачных кавалькад на ослепительно-белых конях, скачущих по опушкам дремучих лесов. И тогда мы понимаем, что на миг заглянули в чудесный мир за воротами из слоновой кости, в мир, который был в нашей власти до того, как мы поумнели и стали несчастными.

Куранес соприкоснулся с миром своего детства внезапно. Однажды ему приснился дом, где он родился: огромный каменный замок с увитыми плющом стенами, где жили тринадцать поколений его предков и где он сам, когда настанет срок, хотел бы умереть. В лунном свете он крадучись вышел в благоуханную летнюю ночь, проскользнул через сады, сбежал вниз по террасам мимо кряжистых дубов парка и зашагал по длинной белой дороге, ведущей к селу. Село было старым и как-то неравномерно застроенным, отчего при взгляде сверху напоминало шедшую на убыль луну.

Куранес все время задавался вопросом, что именно — смерть или же просто сон — скрывалось под этими остроконечными крышами. Улицы поросли длинными стеблями травы, а стекла в домах были либо разбиты, либо затянuty странной дымчатой пеленой. Куранес брел не задерживаясь, влекомый какой-то неведомой силой и боясь только одного — что цель его путешествия окажется пустой иллюзией, как это уже не раз бывало с ним наяву. Но вот он свернул в узкий переулок, за которым маячили крутые утесы пролива, и вскоре пришел к месту, где все заканчивалось, — к обрыву над пропастью. Здесь и деревня, и весь мир низвергались в бездонную пустоту, не возвращавшую эха; даже небо впереди было пус-

тынно и не освещалось ни звездами, ни тусклой ущербной луной.

Повинуясь далекому зову, он шагнул через край обрыва и полетел вниз, вниз, мимо темных, бесформенных, невиданных снов, мимо слабо мерцающих сфер, которые могли быть наполовину пригрезившимися снами, мимо веселящихся крылатых существ, которые, казалось, поднимали на смех всех в мире созерцателей снов. Затем перед ним словно бы открылся просвет во тьме, и он увидел долину и город, лучезарно сверкающий далеко внизу, море и небо, сходящиеся на горизонте, и высокую гору в снеговой шапке у самого побережья.

Куранес проснулся в тот самый миг, когда увидел город. Однако одного беглого взгляда ему было достаточно, чтобы понять, что это было не что иное, как Селефаис в долине Оот-Наргая, по ту сторону Танарианских гор. Именно там обитала его душа на протяжении целого часа в тот бесконечно далекий летний день, когда ему удалось ускользнуть от няни и теплый морской бриз баюкал его на краю утеса за деревней, где он лежал, наблюдая полет облаков. Он протестовал, когда его нашли, разбудили и отнесли домой, потому что он чуть было не отправился в плавание на золотой галере в те пленительные дали, где небо и море встречаются друг с другом.

Сейчас ему также не хотелось просыпаться. Он обрел свой сказочный город после сорока лет скучного прозябания. И через три ночи Куранес опять вернулся в Селефаис. Как и раньше, ему сперва пригрезилась то ли мертвая, то ли спящая деревня, затем — бездна, в которую нужно было молчаливо падать, после чего вновь появился просвет, а в нем — сверкающие башни города, грациозные галеры, стоявшие на якоре в голубой гавани, и деревья на склонах горы Аран, качающие ветвями под теплым дыханием бриза. На сей раз его не отнесло в сторону, и он плавно, как на крыльях, опустился на травянистый откос холма. Итак, он опять возвратился в долину Оот-Наргая к великолепному городу Селефаису.

Вниз по склону, по пряным травам и ярким цветам шел Куранес, и далее по маленьким деревянным мосткам над журчащей Нараксой, на перилах которых он вырезал свое имя так много лет тому назад. Он шел через мирно шелестевшую рощу к огромному каменному мосту у городских ворот. Все было как встарь — не выцвел мрамор стен, не потускнели изваяния на них, и даже лица часовых на крепостном валу были все те же, такие же молодые, какими он их запомнил. Когда он миновал бронзовые ворота и вошел в город по тротуару, мощенному разноцветным камнем, купцы и погонщики верблюдов приветствовали его, как приветствуют хорошего знакомого, с которым расстались только накануне. То же повторилось и у стен бирюзового храма Нат-Хортата, где священники в венках из орхидей сказали ему, что в Оот-Наргае время стоит, а юность живет вечно. Куранес прошел по улице вдоль колоннады, ведущей к морю, где собирались торговцы, моряки и странники из тех краев, где встречаются море и небо. Долго стоял он там, вглядываясь в кипящую красками гавань; поверхность воды блестела под ярким солнцем, а по ней плавно скользили галеры, приплывавшие сюда с разных концов света. Созерцал он и гору Аран, что царственно возвышалась над побережьем, утопая в зелени деревьев и касаясь небес своей снежной вершиной.

Сильнее чем когда-либо Куранесу захотелось поплыть на галере к тем местам, о которых он слышал столько удивительного. И он стал искать капитана по имени Атиб, который когда-то согласился взять его с собой. Капитан сидел на том же самом ящике со специями и, казалось, не понимал, что со времени их последней встречи прошло уже сорок лет. Они вместе поднялись на борт галеры, гребцы налегли на весла, и корабль закачался на беспокойных волнах Серенарианского моря. В течение нескольких дней они плыли вперед, пока наконец не достигли горизонта, где море встречается с небом. Но и там галера не остановилась, а легко и свободно поплыла в синеве, прямо по гребням перистых облаков. Далеко внизу под килем Куранес наблюдал чужие земли, реки и удивительной красоты города, праздно раскинувшиеся в солнечном

свете, который не ослабевал ни на минуту. Наконец Атиб сообщил ему, что их путешествие приближается к концу. Вскоре они должны были прибыть в гавань Серанниана, города из розового мрамора, стоящего среди облаков. Он построен на эфирных берегах в том краю, где рождается западный ветер. Но как только вдали показались высокие ажурные башни города, откуда-то сверху донесся неожиданно громкий звук, и Куранес проснулся в своей постели среди убогой обстановки лондонской мансарды.

Напрасно в течение многих последующих месяцев Куранес пытался отыскать изумительный Селефаис и его галеры, плывущие в небеса. И хотя сны уносили его во многие сказочно прекрасные места, никто не мог указать ему путь в долину Оот-Наргая, по ту сторону Танарианских гор. Однажды ночью он пролетал над темными горами, где слабо мерцали одинокие костры и, звеня колокольчиками, бродили стада огромных косматых животных. И в самой дремучей части этой почти безлюдной страны он вдруг обнаружил невероятно древнюю стену, похожую на каменный вал, что шел зигзагами через долины и опушки лесов, — слишком огромный для того, чтобы быть творением рук человека. За этим валом уже перед рассветом Куранес увидел сплошное море цветущих вишневых садов. А когда встало солнце, он на какой-то миг даже забыл о Селефаисе — столь прекрасна была эта новая земля, вся в белых и розовых цветах, изумрудной листве деревьев и лужаек, с белыми дорожками и хрустальными ручьями, впадавшими в голубые озера, ажурными мостиками и пагодами под красной кровлей. Но, шагая по белой тропе к одной из пагод, он наверняка вспомнил и спросил бы обитателей этого райского уголка о Селефаисе, оказался там хоть кто-либо, кроме птиц, пчел и мотыльков. В другом сне Куранес поднимался в тумане по бесконечной спиральной лестнице. Добравшись до башенного окна, он увидел из него бескрайнюю величественную равнину и реку в свете полной луны. В расположении зданий молчаливого города, раскинувшегося на берегу реки, ему привиделось нечто знакомое. Он хотел было спуститься и спросить дорогу к Оот-Наргае, но вдруг некое

зловещее сияние распространилось по всему горизонту, и он увидел безжизненную пустоту городских улиц и стоячую воду в реке, заросшей седым камышом. Смерть была хозяином этой страны, наказанной богами за жестокость и алчность ее царя Кинаратолиса.

Каждую ночь продолжались поиски Селефаиса и его галер, идущих в небесный Серанниан, но все они были безрезультатны. Зато Куранес встречал много иных чудес. А однажды он едва спасся от гнева священника в желтой шелковой маске, одиноко живущего в древнем каменном монастыре на пустынном холодном плато Ленг. Понемногу его начало тяготить светлое время суток, и он стал искать средства, чтобы продлить сон. Гашиш оказался хорошим подспорьем. Однажды под его воздействием он попал в такую область мироздания, где вообще не существуют формы и где обитают одни только подвижные светящиеся газы. Некий живой эфир фиолетового цвета поведал ему, что это пространство лежит за пределами того, что называют бесконечностью. Газ этот не имел никакого понятия ни о планетах, ни об органической жизни. Куранес был для него лишь пришельцем из той области бесконечности, где существуют материя, энергия и гравитация. Со временем, сгорая от желания увидеть наконец свой Селефаис, он все увеличивал и увеличивал дозы наркотиков. В конце концов у него иссякли деньги, и однажды летним днем его выселили из мансарды. Куранес бесцельно бродил по улицам, пока его не занесло в район за мостом, где тесно лепились друг к другу убогие лачуги бедноты. Там-то его и встретил рыцарский кортеж из Селефаиса. Они явились во всем великолепии и блеске, верхом на чалых лошадях, в сияющих доспехах и плащах золотого шитья, и были так многочисленны, что он сперва было принял их за чью-то армию. Но, как оказалось, этот почетный эскорт был послан за тем только, чтобы доставить Куранеса в Селефаис. Именно он создал Оот-Наргаю в своих снах, и отныне там его навечно избрали чем-то вроде верховного божества. Куранеса усадили на лошадь и поставили в голове кавалькады, которая торжественно проследовала через все графство Суррей

в те места, где родился Куранес и где некогда жили его предки.

Как ни удивительно, но всадники, казалось, двигались вспять во времени. Когда в сумерках они скакали по сельской местности, им встречались жители и здания времен Чосера или даже его предшественников. Изредка навстречу попадались верховые рыцари с немногими сопровождавшими их вассалами. Когда наступала ночь, они ускоряли бег своих коней, пока те не начинали буквально лететь по воздуху, не касаясь копытами земли. Серым туманным утром они прибыли в ту самую деревню, которую Куранес когда-то в детстве видел наяву, а позднее — брошенной и безлюдной — в своих снах. Сейчас она была полна жизни, и рано вставшие поселяне сгибались в поклонах, когда всадники с грохотом проносились по главной улице. Затем кортеж свернул на тропу, которая заканчивалась бездной. Раньше Куранес видел ее лишь ночью, и ему было любопытно, как она выглядит при свете дня. Он беспокойно вглядывался вперед, пока колонна приближалась к краю пропасти.

В эту минуту западный небосклон осветился ярким золотым сиянием, и перед ними в кипящем хаосе розового и лазурного великолепия открылась бездна. Когда кавалькада устремилась вниз и грациозно поплыла мимо блестящих серебристых облаков, невидимый хор запел торжественный гимн. А всадники опускались все ниже, их боевые кони легко гарцевали по волнам эфира, похожим на золотые пески. Но вот светящийся туман рассеялся, и Куранес увидел Селефаис, и морской берег за городом, и снежный пик, возвышающийся над морем, и ярко раскрашенные галеры, уплывающие из гавани в те края, где море встречается с небом.

С этого дня Куранес стал правителем Оот-Наргаи и всей волшебной страны снов и грез. Его двор находился попеременно то в Селефаисе, то в заоблачном Серанниане. Он счастливо царствует там и теперь, и так будет продолжаться вечно. А между тем близ утесов Инсмута волны пролива, словно издеваясь, играли телом какого-то бродяги — того самого, что прошел полуброшенной деревней на рассвете. Раз за разом

волны бросали его на скалы к подножию Тревор-Тауэрз, старинного замка со стенами, увитыми плющом, где с недавних пор поселился один невероятно толстый миллионер, сколотивший себе состояние на торговле пивом и ради забавы пожелавший окунуться в атмосферу исчезающего ныне аристократизма.

ИРАНОН

Однажды в гранитный город Телос забрел юноша в венке из виноградной лозы. Мирра блестела в его выгоревших до желтизны волосах, пурпурный плащ был изодран о колючие кусты склонов горы Сидрак, что высится напротив древнего каменного моста. Обитатели квадратных домов Телоса, люди недалекие и суровые, хмуро расспрашивали странника, откуда пришел он, как зовут его и каковы его средства. Так отвечал им юноша:

— Я Иранон, родом из Эйры, далекого города, который я почти забыл и жажду снова отыскать. Я исполняю песни, знакомые мне по жизни в том городе, и призвание мое — создавать красоту из своих детских воспоминаний. Мое богатство — в том немногом, что я помню, в грезах, что я воспеваю в садах, когда нежно сияет луна, а западный ветер колышет бутоны лотоса.

Услышав это, зашептались между собой жители Телоса. В их гранитном городе отродясь не слыхали ни смеха, ни песен, но даже эти угрюмые люди посматривают иногда по весне на Картианские холмы, и в голову им приходят мысли о лютнях далекого города Оонаи, о котором так часто рассказывают путешественники. Поразмыслив, они попросили странника остаться и спеть на площади перед Башней Млина, хотя не понравился им ни цвет его поношенного одеяния, ни мирра в волосах, ни венок из виноградных листьев, ни музыка юности, что звучала в его звонком голосе. Вечером пел

Иранон, и, пока он пел, какой-то старец принялся молиться, а один слепой потом утверждал, что видел светящийся нимб вокруг головы певца. Но большинство слушателей зевало и смеялось, иные же отправились спать, поскольку не поведал им Иранон ничего полезного, а пел лишь свои воспоминания, грезы и надежды.

— Я помню сумерки, луну, и тихие песни, и окно, подле которого меня укачивала мать. И была за окном улица с золотыми огнями, и тени плясали на стенах зданий. Я помню квадрат лунного света — света, какого я не встречал больше нигде, и видения, плясавшие в луче этого света, покуда моя мать пела мне. Помню яркое утреннее солнце над многоцветными летними холмами, и сладкий аромат цветов, приносимый западным ветром, от которого пели деревья. О Эйра, город из мрамора и изумрудов, не перечать твоих красот! Как любил я теплые и благоухающие рощи за кристально чистой рекой Нитрой и перекаты крохотной Кра, что текла по зеленой долине! В тех лесах и долах дети сплетали друг другу венки, а когда над раскидистыми деревьями, что росли на горе в виду городских огней, вплетенных в отраженную водами Нитры звездную ленту, сгущались сумерки, меня начинали посещать странные, сладкие грезы. И были в городе дворцы из цветного, с прожилками мрамора, с позолоченными куполами и расписными стенами, зеленые сады с лазурными прудами и хрустальными фонтанами. Часто играл я в тех садах, и плескался в прудах, и лежал, утопая в блеклых цветах, что росли под густыми кронами деревьев, и мечтал обо всем на свете. Бывало, на закате я поднимался длинной улицей, что взбегала по склону холма к акрополю, и, остановившись на открытой площадке перед ним, смотрел вниз на Эйру, чудесный город из мрамора и изумрудов, окутанный дымкой золотистых огней. Как давно тоскую я по тебе, Эйра, — ведь был я очень мал, когда мы отправились в изгнание! Но мой отец был твоим царем, и, если будет на то воля рока, я вновь увижу тебя. Семь земель прошел я в поисках тебя, и настанет час, когда я начну править твоими рощами и садами, улицами и дворцами. Я буду петь людям, знающим, о чем я пою; и не

отвернутся, не высмеют меня, ибо я есть Иранон, бывший в Эйре принцем.

Той ночью обитатели Телоса положили путника в хлеву, а поутру к нему пришел правитель города и повелел идти в мастерскую сапожника Атока и стать его подмастерьем.

— Но ведь я Иранон, певец, — ответил он, — и не лежит у меня душа к ремеслу сапожника.

— Все в Телосе обязаны усердно трудиться, — возразил архонт. — Таков закон.

Тогда отвечал ему Иранон:

— Зачем же трудитесь вы? Разве не затем, чтобы жить во счастье и довольстве? А если для того ваши труды, чтобы работать все больше, то когда же вы обретете счастье? Вы трудитесь, чтобы обеспечить себе жизнь, но разве жизнь не соткана из красоты и песен? И если в трудах ваших не появилось среди вас певцов, то где же плоды ваших усилий? Труд без песни похож на утомительное и бесконечное путешествие. Разве не была бы смерть более желанной, чем такая жизнь?

Но иерарх оставался угрюм, не внял словам юноши и в ответ упрекнул его:

— Ты очень странный юноша. Не нравятся мне ни обличье твое, ни голос. Слова, что ты говоришь, богохульны, ибо изрекли боги Телоса, что труд есть добро. После смерти нам обещан богами приют света, где будет вечный отдых и хрустальная прохлада. Мысль там не будет досаждать сознанию, красота — глазам. Иди же к Атоку-сапожнику, иначе прогонят тебя из города до заката. Здесь каждый обязан приносить пользу, а пение есть безделица.

Иранон вышел из хлева и побрел узкими каменными улочками между унылых прямоугольных домов из гранита. Он надеялся увидеть зелень, но его окружал лишь серый камень. Лица встречных были хмуры и озабоченны. На набережной медлительной Зуро сидел отрок с грустными глазами и пристально смотрел на поверхность воды, выискивая на ней зеленые веточки с набухшими почками, которые нес с гор паводок. И отрок этот обратился к Иранону:

— Не ты ли тот, кто, по слухам, ищет далекий город в прекрасной земле? Я, Ромнод, хоть и телосской крови, но еще не успел состариться и стать похожим на остальных; я тоскую по теплым рощам и дальним землям, где обитают красота и песни. За Картианским хребтом лежит Оонаи, город лютни и танца. Люди шепчутся о нем как о прекрасном и ужасном одновременно. Вот куда пошел бы я, будь я достаточно взрослым, чтобы найти дорогу. Не пойти ли туда и тебе? Там у песен твоих нашлись бы хорошие слушатели. Давай вместе уйдем из Телоса и отправимся по весенним холмам. Ты покажешь мне путь, а я буду внимать твоим песням по вечерам, когда звезды одна за другой навевают грезы мечтателям. И, может статься, Оонаи, город лютни и танца, и есть прекрасная Эйра, которую ты ищешь. Говорят, ты очень давно не видел Эйру, а названия городов, как известно, могут меняться. Пойдем в Оонаи, о золотоволосый Иранон, где люди, узнав наши цели и устремления, примут нас как братьев. И никто из них не засмеется и не нахмурится нам в лицо.

Так отвечал ему Иранон:

— Да будет по-твоему, малыш. Если кто-нибудь в этом каменном мешке возжаждет красоты, ему нужно искать ее в горах, как можно дальше отсюда. Мне не хочется оставлять тебя томиться у медлительной Зуро. Но не думай, что восхищение искусством и понимание его обитают сразу за Картианским хребтом. Их нельзя отыскать за день, год или пять лет пути. Послушай, когда я был юн, как ты, я поселился в долине Нартоса, у холодной реки Ксари. Там никто не желал внимать моим мечтам. И я решил, что, как только подрасту, пойду в Синару, на южный склон горы, где спою на базаре улыбчивым погонщикам одnogорбых верблюдов. Но, достигнув Синары, я нашел караванщиков пьяными и погрязшими в пороках; я увидел, что песни их вовсе не схожи с моими. И тогда я отправился на лодке вниз по Ксари — до города Джарена, чьи стены украшены плитками разноцветного оникса. Но солдаты в Джарене подняли меня на смех и прогнали прочь. С таким же успехом бродил я и по многим другим городам. Я видел Стефелос, что лежит ниже великого водопа-

да, и проходил мимо топи, на месте которой некогда стоял Сарнат. Я посетил Траю, Иларнек и Кадатерон на извилистой реке Эй, долго жил в Олаттоэ, что в земле Ломар. Желających послушать меня всегда набиралось немного. И потому я уверен, что привет и ласка ждут меня только в Эйре, городе из мрамора и изумрудов, где когда-то царствовал мой отец. Мы вместе будем искать Эйру. Однако я согласен с тобой: нам не мешало бы посетить и благословенно-лютневый город Оонаи за Картианским хребтом. Он и впрямь может оказаться Эйрой, хотя я не думаю, что это так. Красоту Эйры невозможно вообразить, и никто не в состоянии говорить о ней без восторга. А об Оонаи перешептываются одни только караванщики, да еще и плотоядно ухмыляются при этом.

На закате Иранон и юный Ромнод покинули Телос и долгое время странствовали по зеленым холмам и тенистым лесам. Труден и запутан был их путь. Казалось, никогда им не прийти в Оонаи, город лютни и танца. Но в сумерках, когда высыпали звезды, Иранон заводил песню об Эйре и ее красотах, Ромнод же внимал ему, и оба чувствовали себя на редкость счастливыми. Они питались фруктами и красными ягодами и не замечали течения времени, а между тем прошло, должно быть, много лет. Маленький Ромнод заметно вытянулся, голос его теперь звучал ниже, но Иранон оставался все тем же и по-прежнему украшал свои золотистые волосы виноградской лозой и ароматными смолами лесов. И пришло время, когда Ромнод стал выглядеть старше Иранона. А ведь был он очень юн при первой их встрече на берегу ленивой, одетой в камень Зуро, где он сидел и искал веточки с набухшими почками.

Но вот однажды в полнолуние путники взошли на высокий горный гребень и взглянули вниз на мириады огней Оонаи. Недаром селяне говорили им, что они были уже совсем близко от города. Тут понял Иранон, что это не его родная Эйра. Огни Оонаи были совсем другими — резкими и слепящими, тогда как в Эйре они светили мягко и волшебным, подобно лунному свету, переливающемуся на полу подле окна, у которого мать Иранона некогда убаюкивала его своей

колыбельной. Но так или иначе, Оонаи был городом лютни и танца, а потому спустились Иранон с Ромнодом по крутому склону, чтобы отыскать людей, которым песни и мечты доставили бы радость.

Едва вошли они в город, как оказались в толпе бражников, что в венках из роз бродили из дома в дом, свешивались с балконов и выглядывали из окон. Они усердно внимали песням Иранона. Когда же он кончил петь, то они осыпали его цветами и аплодисментами. Тогда ненадолго уверовал Иранон, что нашел наконец тех, кто думал и чувствовал подобно ему самому, хотя город этот никогда не мог бы сравниться красотой с незабвенной Эйрой. На рассвете же огляделся Иранон по сторонам, и его охватило смятение, ибо купола Оонаи не сияли золотом, а были серыми и мрачными, а горожане были бледными от гульбы, тупыми от вина и даже отдаленно не напоминали лучезарных жителей Эйры. Но поскольку эти люди осыпали его цветами и аплодировали его песням, Иранон решил остаться в городе, а вместе с ним и Ромнод, которому по душе пришлись шумные пирушки. Теперь он постоянно носил в волосах мирт и розы.

Часто пел Иранон веселым гулякам по ночам, но, как и раньше, был увенчан лишь лозой из горных лесов и никак не мог забыть мраморных улиц Эйры и кристальной чистоты Нитры. Пел он и в чертогах монарха, стены которых были изукрашены фресками. Стоя на хрустальном возвышении над зеркальным полом, пением своим он рождал в воображении слушателей удивительные картины. Зеркало пола, казалось, отражало уже не хмельные физиономии пирующих, а нечто иное, нечто прекрасное и полузабытое. И повелел ему царь сбросить с плеч своих поношенный пурпур, и одел певца в атлас и золотое шитье, и украсил персты его кольцами зеленого нефрита, а запястья — браслетами из слоновой кости. Ночевал певец в позолоченной, увешанной богатыми гобеленами спальне, на узорчатом ложе под цветным шелковым балдахинном. Так жил Иранон в Оонаи, городе лютни и танца.

Неизвестно, сколько времени провел певец в Оонаи, но вот однажды привез царь во дворец неистовых, круживших-

ся, как волчки, танцоров из Лиранийской пустыни и смуглых флейтистов из восточного города Дринена. После этого на пирах чаще стали бросать цветы танцорам и флейтистам, чем певцу Иранону. Ромнод же, что был маленьким мальчиком в каменном Телосе, с каждым днем становился все тупее и черствее. Лицо его оплывало и краснело от выпитого вина, он все реже и реже предавался мечтам и все с меньшим воодушевлением слушал песни товарища. А Иранон стал тих и печален, но по вечерам все так же не уставал повествовать об Эйре, городе из мрамора и изумрудов.

Но вот однажды ночью Ромнод, обрюзгший и краснолицый, укутанный в вышитые маками шелка, тяжело захрипел на своем затрапезном ложе и в жутких корчах скончался. В это время Иранон, все такой же бледный и стройный, тихо пел самому себе песни, сидя в дальнем углу. Когда же певец оросил слезами могилу друга и осыпал ее зелеными распускающимися ветвями, столь милыми прежде сердцу Ромнода, он сбросил с себя шелка и пышные украшения и ушел прочь из Оонаи, города лютни и танца. Он покинул город всеми забытый, никем не замеченный, облачившись в свой рваный пурпур — тот самый, в котором пришел когда-то, увенчанный свежими лозами с гор. Он ушел на закате и снова пустился на поиски своей родной земли и людей, что восхитились бы его мечтами и песнями. В городах Сидатрии и в землях, что лежат за пустыней Бназик, над его ветхозаветными песнями и поношенным пурпурным одеянием вовсю потешались дети. А Иранон все так же оставался молодым и носил венки в соломенных волосах, и все так же воспевал Эйру, усладу прошлого и надежду будущего.

Однажды вечером вышел он к убогой хижине дряхлого пастуха, грязного и согбенного, который пас свое стадо на каменистом склоне над зыбучими песками и болотами. Обратился к нему Иранон, как и ко многим другим:

— Не подскажешь ли ты мне путь к Эйре, городу из мрамора и изумрудов, где протекает кристально чистая Нитра и где перекаты крохотной Крэй поют свои песни цветущим холмам и долам, поросшим кипарисами?

Услышав это, пастух пристально и как-то странно взгляделся в Иранона, будто вспоминая что-то очень далекое, потерянное во времени. Он пристально рассмотрел каждую черточку облика незнакомца, не обойдя вниманием и золотистые волосы, и венок из виноградных листьев. Но был он стар и, покачав головой, ответил:

— О путник, я и в самом деле слышал это название — Эйра — и другие, о которых говорил ты. Но возвращаются они ко мне из бесконечно далекой пустыни прожитых лет. Слышал я их еще в далеком детстве из уст товарища по играм, мальчика из нищей семьи, склонного к странным мечтаниям. Он, бывало, сплетал длинные повести о луне, и цветах, и западном ветре. Мы часто смеялись над ним, ибо мы-то знали его с самого рождения. Он же воображал себя сыном царя. Был он очень хорош собой, совсем как ты, но всегда был полон глупых и странных фантазий. Он покинул дом совсем маленьким, чтобы найти кого-нибудь, кто захотел бы выслушать его песни и поверить в его мечты. Как часто пел он мне о дальних странах, коих не было и в помине, и о разных невозможных вещах. Часто он рассказывал мне об Эйре, и о реке Нитре, и о перекатах крохотной Крэй. Там, как он утверждал, был он некогда принцем, хотя мы-то знали его от рождения. Нет и не было никогда ни мраморного города Эйры, ни тех, кто хотел бы найти усладу в его странных песнях. Разве что это было в мечтах моего друга детства — а звали его Ираноном, — но он давно и бесследно пропал.

В сумерках, когда на небосводе зажигались одна за другой звезды, а луна проливала на болото сияние, похожее на то, что предстает глазу ребенка, которого на ночь укачивает мать, шел в глубину смертоносных зыбей старик. Был он в рваном пурпурном плаще, голова его была увенчана высохшими виноградными листьями. Пристально вглядывался он в даль, будто высматривая впереди золоченые купола прекрасного сказочного города, где люди еще верят в мечты. Той ночью вечно юная и прекрасная мелодия перестала звучать в повзрослевшем мире.

В СТЕНАХ ЭРИКСА

Прежде чем попытаться уснуть, я должен сделать кое-какие записи, предваряющие мой официальный отчет обо всем происшедшем. Явление, с которым мне довелось столкнуться, кажется настолько своеобразным и настолько противоречащим нашему прошлому опыту и нашим видам на будущее, что несомненно заслуживает самого подробного описания.

Я прибыл на главный космодром Венеры 18 марта по земному, или VI.9 по местному, календарю. Будучи зачислен в состав основной группы под началом Миллера, я получил необходимое снаряжение — включая часы, настроенные на более быстрое планетарное вращение Венеры, — и прошел обычный курс адаптации к работе в газовой маске. Через два дня я был признан годным к исполнению своих обязанностей.

На рассвете VI.9 я покинул факторию «Кристалльной компании» на Терра-Нове¹ и двинулся южным маршрутом, нанесенным на карту воздушной разведкой Андерсона. Начало пути было не из легких — после дождя эти джунгли всегда становятся труднопроходимыми. Влага придает сплетающимся лианам и ползучим растениям необычайную упругость и жесткость, так что над иными из них ножу приходилось трудиться по десятку минут. Ближе к полудню начало подсыхать,

¹ Терра-Нова — Новая Земля (*лат.*).

стебли растений размякли и разрубались уже с одного удара, но и теперь я не смог развить достаточную скорость. Эти кислородные маски Картера слишком тяжелы, постоянное их ношение уже само по себе утомительно. Маски Дюбуа с губчатым резервуаром вместо трубок ничуть не уступают им в надежности при вполнине меньшем весе.

Детектор кристаллов функционировал исправно, все время указывая направление, совпадающее с данными Андерсона. Меня всегда занимал принцип работы этого прибора, не имеющего ничего общего с жалким надувательством вроде тех «чудодейственных прутьев», с помощью которых когда-то давным-давно на Земле разные шарлатаны якобы открывали залежи подземных богатств. Судя по показаниям детектора, в пределах тысячи миль отсюда находилось очень крупное месторождение кристаллов, которое, впрочем, наверняка было под охраной этих гнусных полулюдей-полуящериц. Вероятно, они полагают нас, прибывших на Венеру за кристаллами, такими же дураками, какими мы полагаем их самих, падающих ниц и пресмыкающихся в грязи при одном только виде подобных шуток или же водружающих их на пьедесталы в центре своих храмов. Им для своей же пользы было бы гораздо лучше обзавестись каким-нибудь другим объектом поклонения. Не будь в этом замешана религия, они позволили бы нам взять столько кристаллов, сколько мы сочтем нужным, — ведь даже если бы они научились извлекать из них энергию, запасов все равно с лихвой хватило бы и на эту планету, и на нашу Землю. Лично мне уже надоело обходить стороной главные месторождения и рыскать в поисках единичных кристаллов по долинам заросших джунглями рек. В ближайшее время я намерен обратиться в соответствующие инстанции с просьбой о посылке армии для поголовного уничтожения этих чешуйчатых тварей. Двадцати кораблей с десантом будет вполне достаточно для того, чтобы повернуть всю операцию. Нельзя же, в самом деле, приравнять этих существ к людям только из-за их так называемых городов и башен. Если не брать во внимание кое-какие навыки в строительстве да еще, пожалуй, их мечи и отравленные дротики,

то остается признать, что они совершенно никчемны и примитивны; сами же эти «города» вряд ли представляют собой нечто большее, нежели земные муравейники и бобровые плотины. Мне также кажется весьма сомнительной их способность к полноценному языковому общению: все рассуждения насчет обмена мыслями посредством особых, расположенных на груди щупалец поражают меня своей нелепостью. Что вводит многих в заблуждение, так это их манера передвигаться на двух задних конечностях — случайное совпадение, делающее их отдаленно похожими на людей.

Я надеялся на этот раз миновать полосу венерианских джунглей, не встретив на своем пути туземцев с их проклятыми дротиками. В былые времена, до того как мы начали охотиться за кристаллами, такая встреча могла закончиться вполне мирно, однако в последнее время эти мерзавцы превратились в сущее бедствие: нападения на людей, а то и перерезание наших водопроводных линий стали вполне обычным явлением. Я все больше убеждаюсь в наличии у них особого чутья на кристаллы — в этом смысле они не уступают самым точным нашим приборам. Никто не помнит случая, чтобы они напали на человека, который не имел при себе кристаллов, — не считая, конечно, обстрелов с дальних дистанций.

Около часа пополудни сильно пущенный дротик едва не сбил шлем с моей головы; в первую секунду мне даже показалось, что повреждена одна из кислородных трубок. Хитрые твари подкрадывались абсолютно бесшумно и благодаря своей окраске были неразличимы на фоне джунглей, но, резко крутнувшись на каблуках и целясь по шевелящимся растениям, я все же достал троих из лучевого пистолета. Один из убитых оказался ростом в добрые восемь футов, с головой, чем-то напоминающей морду тапира. Двое других были обычного семифутового роста. Они всегда нападают группами, стараясь взять числом; один полк солдат с лучевым оружием мог бы преподать хороший урок несметной орде таких горе-воjak. Удивительно, как они вообще сумели стать господствующим видом на планете. Впрочем, здесь нет каких-

либо иных живых существ, превышающих по уровню развития змеевидных акманов и скорохов или летающих туканов с другого континента, — если, конечно, в пещерах Дионейского плато не скрывается что-нибудь, пока еще нам неизвестное.

Около двух часов дня стрелка детектора сместилась к западу, показывая наличие отдельных кристаллов впереди и справа по курсу. Это подтверждало сообщение Андерсона, и я уверенно повернул в ту сторону. Идти стало труднее, местность поднималась в гору и кишела различными мелкими гадами и побегами плотоядных растений. Мне то и дело приходилось разрубать ножом угратов или давить ботинками скорохов; мой кожаный комбинезон был весь в пятнах от разбивавшихся о него с налету крупных насекомообразных дарохов. Солнечный свет едва пробивался сквозь поднимающуюся от земли дымку, слякоть не просыхала; с каждым шагом я погружался в нее на пять или шесть дюймов, вытаскивая ноги с гулким чавкающим звуком. Кожа моего комбинезона — не самый подходящий материал для этого климата. Обычная ткань, разумеется, еще хуже — она бы здесь просто сгнила; но тонкая прочная ткань из металлических волокон (наподобие специального свитка для записей, болтавшегося в герметичной кассете у меня на поясе) пришлось бы куда более кстати.

Приблизительно в половине четвертого я остановился пообедать — если, конечно, пропихивание пищевых таблеток через щель в маске можно назвать обедом. Продолжив путь, я очень скоро обратил внимание на разительную перемену в окружающем пейзаже: со всех сторон ко мне подступали огромные ядовито-яркие цветы, которые непрерывно меняли свою окраску, исчезая и вновь проступая в невообразимой радужной круговерти оттенков и полутонов. Очертания предметов то расплывались, то становились отчетливо резкими, ритмически мерцая в странном согласии с медленно танцующими здесь и там пятнами света. Казалось, сама атмосферная температура колеблется в том же устойчивом однообразном ритме.

Постепенно все вокруг было охвачено размеренной мощной пульсацией, заполнявшей собой каждую точку пространства и проходившей через каждую клетку моего тела и мозга. Я почти полностью утратил чувство равновесия и едва мог держаться на ногах; попытка избавиться от наваждения, плотно зажмурив глаза и закрыв ладонями уши, не привела ни к чему. Однако сознание мое оставалось достаточно ясным, и несколько минут спустя я сообразил, что именно произошло.

Я встретился с одним из тех удивительных, вызывающих миражи растений, о которых ходит немало историй в среде изыскателей. Андерсон предупреждал меня об этой опасности, он же дал мне точное описание растения: ворсистый стебель, остроконечные листья и испещренные крапинками цветы, чьи эфирные выделения как раз и являются причиной галлюцинаций, свободно проникая сквозь любую из существующих защитных масок.

Вспомнив о том, что случилось с Бэйли, когда три года тому назад он попал в сходную ситуацию, я в первый момент поддался панике и начал бесцельно и беспорядочно метаться в этом сумбурном калейдоскопическом мире, созданном испарениями зловещих цветов. Но вскоре, взяв себя в руки, я понял, что единственным выходом для меня было движение в сторону, противоположную эпицентру пульсации — безотносительно того, какие призрачные видения встанут мне поперек дороги, — движение до тех пор, покуда не удастся выбраться из зоны действия этих эфиров.

Голова моя сильно кружилась, почва уходила из-под ног; поминутно спотыкаясь и наугад размахивая ножом, я продирался сквозь заросли, стараясь не отклоняться от первоначально взятого направления. В действительности я, вероятно, делал большие зигзаги, потому что прошло, как мне показалось, несколько часов, прежде чем этот мираж начал наконец рассеиваться. Понемногу исчезали танцующие световые пятна, мерцающий многоцветный пейзаж обретал свой естественный облик. Когда я окончательно пришел в себя и посмотрел на часы, они, к моему великому изумлению, показывали

лишь двадцать минут пятого. Стало быть, вся борьба с призраками, представлявшаяся мне бесконечно долгой, заняла на деле чуть более получаса.

Однако любая, даже самая незначительная задержка была бы крайне нежелательной, и к тому же я сбился с маршрута, стремясь по возможности дальше уйти от опасного места. Сверившись с показаниями детектора, я продолжил подъем в гору, прилагая максимум усилий, чтобы наверстать потерянное время. Растительность вокруг была по-прежнему обильной, но представители фауны попадались все реже. Один раз крупный плотоядный цветок захватил мою правую ногу, вцепившись в нее с такой силой, что мне пришлось повозиться, разрезая ножом лепестки и высвобождаясь из хищных объятий.

Прошло еще немного времени, и джунгли начали редеть; около пяти часов я вступил в полосу древовидных папоротников с мелким и чахлым подлеском, миновав которую оказался на краю широкого, покрытого мхами плато. Идти стало гораздо легче; дрожание стрелки детектора предвещало близость искомых кристаллов, что весьма меня озадачило, поскольку единичные экземпляры этих яйцевидных сфероидов встречаются, как правило, в джунглях по берегам рек и никогда — на открытых безлесных пространствах.

Когда полчаса спустя я преодолел наконец подъем и достиг гребня холма, передо мной открылась просторная равнина, окаймленная по линии горизонта смутно темнеющими лесными массивами. Это, вне всякого сомнения, было плато, нанесенное на карту пилотом Мацугавой пятьдесят лет назад под названием «плато Эрикс» или «Эрицийское нагорье». Мое внимание сразу же привлек небольшой предмет, расположенный почти в самом центре равнины. Яркая сверкающая точка, казалось, притягивала и концентрировала в себе проходящие сквозь дымку испарений желтоватые лучи солнца. Этой точкой мог быть только кристалл — удивительное творение природы, редко превосходящее размерами куриное яйцо, но способное в течение года обеспечивать теплом целый земной город. Наблюдая издали это сияние, я в глубине души

посочувствовал убогим людям-ящерам, которые, обожествляя кристаллы, не имеют ни малейшего понятия о заключенной внутри их огромной энергии.

Стремясь побыстрее добраться до желанной цели, я перешел на бег и продолжал двигаться в том же темпе даже тогда, когда плотный ковер мха под ногами сменился отвратительно хлюпающей жидкой грязью, над которой лишь местами поднимались жалкие пучки травы. Я не глядел по сторонам, совершенном забыв об опасности; впрочем, туземцы вряд ли смогли бы устроить засаду на этой плоской, хорошо просматриваемой местности. С каждым шагом свечение кристалла казалось все более ярким, одновременно я начал подмечать некоторую странность в его расположении. Это был, безусловно, редкостный экземпляр; в предвкушении крупной добычи я мчался вперед, не разбирая дороги, брызги грязи веером разлетались у меня из-под ног...

С этого момента я постараюсь быть как можно более точным в своем описании, ибо далее речь пойдет о вещах неподобных — хотя, по счастью, вполне поддающихся проверке. Итак, со всей возможной быстротой я приближался к небольшому возвышению посреди залитой грязью равнины, на котором и находился кристалл. Я был от него уже на расстоянии сотни ярдов, когда страшной силы удар по груди и костяшкам сжатых кулаков опрокинул меня навзничь в мутную слякоть.

Несмотря на болотистость почвы и удачно попавший как раз под голову травяной островок, я получил довольно серьезное сотрясение, от которого далеко не сразу оправился. Поднявшись в конце концов на ноги, я почти машинально принялся чистить залепленный грязью комбинезон.

Я все еще не мог взять в толк, что же со мной произошло. Впереди не было видно никакого препятствия — ни в момент столкновения, ни сейчас, некоторое время спустя. Неужели я просто-напросто поскользнулся в грязи? Но разбитые кулаки и боль в груди убеждали в обратном. Или все это было только галлюцинацией, навеянной еще одним растущим где-нибудь поблизости «миражетворным» цветком? Тоже ма-

ловей, если учесть отсутствие прочих знакомых уже мне симптомов и равнинный характер местности, на которой негде было укрыться столь приметному растению. Случись все это на Земле, я мог бы предположить здесь наличие заградительного силового поля, обычно устанавливаемого правительством по периметру какой-нибудь запретной зоны, но в этих безлюдных краях подобная вещь была немыслимой.

Так и не придя ни к какому однозначному выводу, я решился на эксперимент. Выставив как можно дальше вперед руку с ножом, я начал осторожно продвигаться по направлению к сверкавшему неподалеку кристаллу. Уже на третьем шаге мне пришлось остановиться — кончик ножа уперся в твердую гладкую поверхность. Да — именно уперся в некую твердую гладкую поверхность там, где я не видел абсолютно ничего.

Инстинктивно отпрянув, я после минутного колебания набрался храбрости, протянул вперед левую руку и ощутил под перчаткой невидимую твердую преграду — или, быть может, иллюзию такой преграды. Проведя рукой по гладкой, как стекло, поверхности, я не нащупал ни выступов, ни следов стыка отдельных блоков. Тогда (не без внутренней дрожи) я снял перчатку и дотронулся до поверхности голой рукой. Она действительно была твердой, гладкой и очень холодной, чем резко контрастировала с температурой окружающей среды. Сколько ни напрягал я зрение, мне так и не удалось обнаружить никаких видимых признаков плотного вещества. Оно не преломляло солнечные лучи — иначе я заметил бы искажение перспективы по ту сторону преграды — и не отражало их, судя по отсутствию солнечных бликов на прозрачной поверхности, под каким бы углом я на нее ни пытался смотреть.

Крайне заинтригованный этим обстоятельством, я приступил к более тщательному обследованию странного объекта. Оказалось, что он простирается неопределенно далеко как влево, так и вправо и, кроме того, уходит вверх на недостижимую для моих рук высоту. Таким образом, это было нечто

вроде стены, построенной здесь с какой-то совершенно непонятной целью из неведомого мне материала. Я снова вспомнил о растении, способном вызывать в сознании любые, самые причудливые образы, но, поразмыслив здраво, был вынужден отказаться от этой версии.

Я долго стучал по стене рукояткой ножа и пинал ее своими тяжелыми ботинками, надеясь по звуку ударов составить хоть какое-нибудь представление о чудесном строительном материале. На слух он воспринимался как бетон, тогда как на ощупь скорее напоминал стекло или металл. В конечном счете я убедился в том, что имею дело с явлением, выходящим за рамки обычных земных представлений.

Следующим вполне логичным шагом было определение размеров препятствия, причем если вопрос о его высоте оставался открытым, то прочие параметры — прежде всего, протяженность и конфигурация — казались легко доступными для измерения. Итак, придерживаясь руками за стену, я начал осторожно двигаться вдоль нее налево и очень скоро заметил, что иду не по прямой линии. Возможно, стена эта являлась частью обширной окружности или эллипса. И тут мое внимание вновь переключилось на сверкавший в отдалении драгоценный кристалл.

Как уже отмечалось выше, даже с гораздо большей дистанции мне бросилась в глаза некоторая необычность в расположении кристалла, пьедесталом которому служил небольшой холмик, резко выделявшийся на фоне плоской болотистой равнины. Теперь, с расстояния в сто ярдов, я смог, несмотря на легкую дымку, разглядеть, что представлял собой этот холмик. То был труп человека в форменном комбинезоне «Кристалльной компании», лежавший на спине со снятой кислородной маской, край которой торчал из грязи в нескольких дюймах от тела. В его правой руке, конвульсивным жестом прижатой к груди, и находился предмет моих вожеланий — великолепный экземпляр сфероида, столь крупный, что мертвые пальцы не могли его целиком охватить. Даже издали было видно, что человек умер совсем недавно. Признаки разложения почти отсутствовали, что с учетом здешнего клима-

та позволяло датировать наступление смерти не далее как вчерашним днем. Скоро над телом начнут тучами виться трупные мухи-фарноты. Я попробовал догадаться, кто мог быть этим несчастным. Безусловно, никто из тех, кого я встречал на Венере в последнее время. Скорее всего, это был какой-то ветеран, который находился в долгосрочном поисковом рейде и, не располагая данными аэросъемки Андерсона, забрался в эти края по чистой случайности. Здесь он и обрел покой, до последнего мгновения сжимая огромный кристалл в коченеющих пальцах.

Минут пять я простоял совершенно неподвижно, полный самых мрачных предчувствий; затем внезапный приступ необъяснимого страха едва не обратил меня в паническое бегство. Виновниками его смерти не могли быть туземцы, поскольку кристалл все еще находился при нем. Не имелось ли здесь какой-нибудь связи с этим таинственным сооружением? И где он нашел кристалл? Приборы Андерсона обнаружили излучение в этом квадрате задолго до того, как он погиб. Теперь невидимая преграда казалась мне чем-то зловещим, и я отпрянул от нее с невольным содроганием. Как бы то ни было, я должен был взять на себя разрешение этой загадки, действуя быстро и четко во избежание новой трагедии.

Вернувшись мыслями непосредственно к стоявшей передо мной проблеме, я нашел средство измерить высоту стены или хотя бы узнать, есть ли у нее вообще верхний предел. Зачерпнув горсть грязи, я выжал из нее воду, слепил более-менее плотный комок и попытался перебросить его через прозрачный барьер. На высоте около четырнадцати футов комок разбился о невидимую поверхность и стремительно соскользнул вниз, не оставив на стене сколько-нибудь заметных следов. Что ж, высота была довольно впечатляющей. Вторая пригоршня грязи, запущенная под еще более острым углом, ударилась о стену в восемнадцать футах над землей и исчезла внизу так же быстро, как и ее предшественница.

Зачерпнув третью горсть, я долго и старательно прессовал комок в руках, а затем, собрав все силы, бросил его так круто

вверх, что сперва даже засомневался, долетит ли он до преграды вообще. Он, однако, долетел и, перевалив на сей раз через стену, шлепнулся в грязь по ту сторону. Наконец-то я получил представление о вертикальных размерах невидимого объекта: последний мой бросок достиг высоты двадцати или двадцати одного фута.

Имея перед собой гладкую двадцатифутовую стену, нечего было и думать о попытке на нее взобраться. Оставалось идти вдоль преграды в надежде ее обогнуть, а заодно найти какой-нибудь проход или место, где она обрывается. Предстояло выяснить, является ли она окружностью или иной замкнутой фигурой либо же имеет форму дуги или полукруга. Действуя в соответствии с этим планом, я возобновил медленное перемещение налево, ощупывая обеими руками незримую поверхность, дабы не пропустить окно или какую-нибудь щель. Перед началом движения я попытался выковырять ногой углубление в почве, отметив тем самым свою исходную позицию, но грязь оказалась слишком жидкой для этого, и из моей затеи ничего не вышло. Тогда я выбрал в качестве ориентира высокое дерево, поднимавшееся над полосой отдаленного леса и находившееся как раз на одной линии со сверкающей точкой кристалла в сотне ярдов от меня. Теперь, на случай если бы я не нашел никакого отверстия, я мог, по крайней мере, заметить то место, в котором полный обход стены по периметру будет завершен.

Продолжая двигаться вдоль стены и внимательно следя за ее изгибом, я довольно скоро пришел к выводу, что она должна образовывать окружность с диаметром приблизительно в сто ярдов — разумеется, если форма окружности была правильной. Отсюда следовало, что мертвец лежал совсем близко от стены в точке прямо противоположной той, из которой я начал свой обход. А вот где именно он находился — снаружи или внутри замкнутого пространства, — мне еще предстояло узнать.

Я медленно огибал преграду, не встречая по пути никаких признаков двери, окна или иного хотя бы самого малого отверстия. Чем яснее вырисовывался внешний контур стены,

тем отчетливее было видно, что тело находится внутри незримого кольца. Приближаясь к нему, я как будто уже начал различать смутно знакомые черты. В выражении мертвого лица, в его остекленевшем взгляде было нечто, заставившее меня насторожиться. Подойдя к труп почти вплотную, я опознал — или мне показалось, что опознал, — в нем некоего Дуайта, ветерана, с которым я не был знаком лично, но которого как-то раз, около года тому назад, видел в главном форте компании. Кристалл в его руке и впрямь был настоящим сокровищем — во всяком случае, он был крупнее всех когда-либо мною виденных.

Я находился уже на расстоянии вытянутой руки от тела — хотя нас по-прежнему разделяла стена, — когда вдруг почувствовал под только что скользившими по гладкой поверхности пальцами пустоту. Еще через секунду я нашарил в невидимой стене разрыв шириною в три фута, уходивший от самой земли на неопределенную высоту. Это не был дверной проем в обычном понимании, ибо я не нашел по его краям никаких следов крепления двери. Без колебаний я ступил внутрь и сделал пару шагов по направлению к распростертому телу — он лежало под прямым углом к тому странному подобию коридора, по которому я сейчас шел. К моему величайшему изумлению, обширное пространство внутри ограждения оказалось, в свою очередь, разделенным на множество небольших помещений.

Осмотрев труп, я не обнаружил на нем никаких следов ранений, что, впрочем, мало меня удивило, поскольку наличие кристалла однозначно указывало на непричастность к этому делу туземных полурептилий. Оглядываясь по сторонам в поисках каких-либо следов, могущих прояснить обстоятельства его гибели, я прежде всего обратил внимание на кислородную маску, валявшуюся в грязи у самых ног мертвеца. Это уже кое-что значило. Без этого устройства ни один человек не может дышать воздухом Венеры более тридцати секунд, и Дуайт — если, конечно, это был он — каким-то образом умудрился ее потерять. Вероятно, он плохо застегнул пряжку, в этом случае трубки могли своим весом оттянуть

скрепляющие ремни — нелепая трагедия, которой могло бы не быть, располагай он более совершенной маской Дюбуа с губчатым резервуаром. Этих последних тридцати секунд ему не хватило для того, чтобы, опомнившись от неожиданности, быстро наклониться, поднять слетевшую маску и приладить ее на место. Здесь также могло сыграть свою роль внезапное повышение (что порою случается) концентрации циана в окружающей атмосфере. Возможно, как раз в тот момент он любовался действительно великолепным — где бы он его ни нашел — экземпляром кристалла. Он, похоже, только перед тем достал его из накладного кармана комбинезона, поскольку клапан кармана был расстегнут.

Я не без труда извлек кристалл из окоченевших в предсмертной судороге пальцев. Огромный, размером больше кулака, сфероид отливал каким-то удивительно живым, чуть красноватым светом в лучах заходящего солнца. Впервые дотронувшись до его поверхности, я испытал нечто вроде испуга, почему-то вообразив, будто вместе с этим предметом мне достается в наследство печальная участь его прежнего обладателя. Однако этот приступ малодушия вскоре прошел, я опустил кристалл в карман своего комбинезона и аккуратно его застегнул. Как и всякий нормальный человек, я не лишен недостатков и слабостей, но суеверие к числу последних не относится.

Закрыв лицо трупa его же собственным шлемом, я поднялся с корточек и двинулся невидимым коридором к выходу в наружной стене. Во мне снова пробудился интерес к странному зданию, неизвестно кем, из какого материала и с какой целью воздвигнутому посреди этого пустынного плато. Само собою разумеется, это не могло быть делом рук человека. Первые наши корабли достигли Венеры семьдесят два года тому назад, и с тех пор единственными более или менее постоянно жившими на ней людьми были обитатели базы Терра-Нова. К тому же земная наука пока еще не преуспела в создании столь идеально прозрачного, не отражающего и не преломляющего свет твердого материала. Посещение землянами Венеры еще в доисторическую эпоху было, конечно же, исклю-

чено; стало быть, я столкнулся с явлением сугубо местного происхождения. Быть может, какая-нибудь ныне исчезнувшая и забытая раса высокоразвитых существ господствовала на планете задолго до того, как ей на смену пришли эти ничемные люди-ящерицы. Последним, правда, нельзя отказать в своеобразном градостроительном мастерстве, но одно только предположение, что они могут создавать нечто подобное, сделало бы им слишком много чести. Нет, тут явно не обошлось без вмешательства иной, более развитой цивилизации; возможно даже, мне довелось обнаружить последнее осязаемое свидетельство ее бывшего могущества. Хотя — кто знает? — может быть, последующие земные экспедиции найдут еще что-нибудь в этом роде. Что же касается целей, которым служил этот объект, то здесь можно было гадать до бесконечности; впрочем, столь странный и не сказать чтобы очень практичный строительный материал сам собой наводил на мысль о его культовом назначении.

Сознавая свою неспособность разобраться сейчас со всеми этими проблемами, я предпочел перейти к исследованию внутренних помещений здания. Я был уверен, что весь этот на первый взгляд нетронутый участок равнины в действительности покрыт целой сетью коридоров и комнат, изучение плана которых могло, по моему убеждению, многое прояснить. Ощупывая руками стены, я решительно устремился в незримый проем, обогнул мертвеца и направился по коридору в глубь сооружения, туда, где предположительно побывал мой предшественник. Помещение, в котором находился труп, я решил обследовать на обратном пути.

Со стороны я, наверное, напоминал слепого, который, неуклюже размахивая руками, в тусклом свете вечернего солнца медленно движется по абсолютно ровной местности. Вскоре коридор сделал резкий поворот и начал убывающими по спирали кругами приближаться к центру здания. То и дело мне под руку попадались боковые ходы, пересекающие основной коридор, который, в свою очередь, нередко разделялся на два, три, а то и четыре направления. В таких случаях я всегда выбирал тот маршрут, который казался мне продолжением спи-

рального коридора. Все эти ответвления можно было изучить после, а сейчас я спешил добраться до самого центра. Невозможно передать словами то странное ощущение, которое я испытывал, блуждая в стиснутом невидимыми стенами пространстве и прикасаясь к следам древней культуры, чьи носители исчезли с лица этой планеты задолго до появления здесь людей.

Внезапно стены коридора расступились, и я почувствовал, что нахожусь в каком-то довольно просторном помещении, которое, как вскоре обнаружилось, имело форму круга диаметром около десяти футов. Сверившись с местоположением мертвеца относительно более удаленных лесных ориентиров, я пришел к выводу, что камера эта должна была находиться в самом центре или в непосредственной близости от центра строения. Из нее брали начало еще пять отдельных коридоров, не считая шестого, по которому я сюда прибыл и вход в который заметил, проведя мысленно прямую линию от него через мертвое тело до высокого дерева на горизонте, отличавшегося от других особой формой кроны.

В этой комнате я, однако, не нашел ничего, кроме толстого слоя все той же вездесущей слякоти на полу. Решив проверить, имеется ли над этой частью здания перекрытие, я повторил свой эксперимент с метанием вверх комьев грязи и убедился, что оно здесь также отсутствовало. Следовательно крыша — если она вообще когда-нибудь имелась — обрушилась в столь давние времена, что обломки ее успели уйти глубоко в почву, ибо я ни разу не ощутил под ногами что-либо их напоминающее. Одновременно меня удивил тот факт, что такая безусловно древняя постройка нигде не обнаруживала признаков осыпания кладки, провалов в стенах и прочих явлений, неизбежно сопутствующих обветшанию.

Так что же это за сооружение? Что оно собой представляло в прошлом? Из чего и как оно было построено? Почему я нигде не мог найти стыков между отдельными блоками, всюду встречая лишь ровную, гладкую, как стекло, поверхность? Почему, наконец, ни наружный вход, ни проемы, разделяющие внутренние помещения, не несли на себе никаких следов

дверных креплений? Неизвестно. Таким образом, мне удалось выяснить совсем немного: я знал только, что нахожусь в здании, имеющем круглую в плане форму с диаметром около ста ярдов, лишенном дверей и крыши и сложенном из твердого, гладкого, идеально прозрачного, не отражающего и не преломляющего свет материала; что внутренняя часть этого здания представляет собой затейливое переплетение коридоров, сходящихся к расположенной в его центре небольшой круглой комнате.

Солнце меж тем склонялось все ниже к западному горизонту, его золотисто-багровый диск уже наполовину погрузился в нависшее над лесом облако испарений, окрашивая их в оранжевые и пурпурные тона. Мне следовало поспешить, если я хотел до наступления темноты найти себе сухое место для ночлега. Я еще раньше принял решение заночевать на гребне покрытого мхом холма, за которым начинался спуск с плато, — это было то самое место, откуда я впервые увидел сиявший вдали кристалл. Не исключая возможности ночного нападения людей-ящеров, я полагался в этом случае на свое обычное везение. Я неоднократно уже предлагал отправлять в поисковые партии по двое и более человек, чтобы они могли спать по очереди, охраняя друг друга, но администрация компании не шла навстречу этим пожеланиям, ссылаясь на действительно весьма малый процент ночных нападений. Похоже, что эти чешуйчатые уроды неважно ориентировались в темноте даже со своими потешными факельными лампами.

Найдя коридор, по которому я проник в центр здания, я начал двигаться к выходу. Дальнейшее изучение удивительного феномена пришлось отложить до следующего раза. Я старался как можно точнее повторять свой маршрут по спиральному коридору, полагаясь при этом лишь на память и на те немногие приметы, вроде островков травы на равнине, которые могли подсказать мне правильное направление. Довольно скоро я вновь оказался поблизости от мертвеца, над закрытым шлемом которого уже вились первые мухи-фарноты, что указывало на начавшийся процесс разложения. Я поднял

было руку, чтоб отогнать отвратительных насекомых, — и тут произошло нечто, поразившее меня, как удар грома. Невидимая стена, остановившая взмах моей руки, весьма убедительно указала на то, что, несмотря на все свое старание, я все же сбился с правильного пути, выйдя в конечном счете в коридор, параллельный тому, где лежал труп. Вероятно, я сделал в каком-то месте лишний поворот или взял неверное направление на одной из многочисленных развилок этого запутанного лабиринта.

Надеясь обнаружить проход где-нибудь дальше по коридору, я продолжил движение вперед до тех пор, пока не уперся в тупик. Теперь мне оставалось только возвратиться в центральную камеру и начать все сначала. Я не мог сказать наверняка, где я ошибся. Взглянув на землю в надежде увидеть каким-либо образом сохранившиеся отпечатки моих ног, я лишь еще раз убедился в том, что жидкая грязь могла сохранять следы всего несколько мгновений. Я сравнительно быстро добрался до центра здания, где ненадолго задержался, рассчитывая в уме предстоящий маршрут. Накануне я, видимо, слишком забрал вправо. Теперь мне следовало свернуть в левый коридор на одной из развилок — на какой именно, я должен был решить по ходу дела.

На ощупь двигаясь вперед, я с каждым шагом все больше уверялся в правильности выбранного маршрута. Взяв чуть левее в том месте, которое считал наиболее подходящим, я как будто уже начал узнавать коридор, не так давно приведший меня внутрь здания. Делая круг за кругом по спирали, я все внимание теперь направил на то, чтобы не попасть по ошибке в какой-нибудь из боковых проходов. Но спустя еще немного времени я, к своему глубокому разочарованию, вдруг обнаружил, что моя траектория лежит далеко в стороне от мертвого тела: судя по всему, этот коридор должен был выйти к наружной стене совсем в другом месте. Тем не менее, полагая, что как раз в этой части стены, которую я не успел обследовать ранее, может оказаться еще один проход, я сделал несколько дополнительных шагов и сразу же наткнулся на глухую преграду. Очевидно, система внутренних помещений

невидимого архитектурного комплекса была куда более сложной, чем я предполагал в самом начале.

Теперь у меня имелось на выбор два варианта продолжения поиска: либо вернуться обратно к центру и вновь раскручивать спираль оттуда, либо попробовать пробраться к телу одним из боковых коридоров. Во втором случае я рисковал окончательно заблудиться в переплетениях невидимых ходов; подумав, я счел за благо отказаться от этой затеи до той поры, пока не найду способ как-нибудь обозначать свой маршрут. А найти такой способ при всем желании не удавалось. Я не имел в своем распоряжении предметов, могущих оставлять заметный след на стене, мне также не из чего было выложить дорожку на поверхности грязи.

Моя ручка для этих целей не годилась: она беспомощно скользила по гладкой плоскости стены, — а о том, чтобы использовать в качестве меток драгоценные пищевые таблетки, не могло быть и речи. Впрочем, даже решившись на такой шаг, я не достиг бы желаемого эффекта: во-первых, потому что таблеток было для этого явно недостаточно, а во-вторых, они все равно затонули бы в недостаточно плотной жиже. Я обшарил свои карманы в поисках старинной записной книжки (подобные вещи не являются обязательным элементом экипировки, но многие изыскатели по старой привычке пользуются ими и здесь, на Венере, хотя в местном климате бумага довольно быстро гниет и разлагается), страницами которой, разорвав их на части, я мог бы пометить пройденный путь. Как назло, в этот раз книжки в карманах не оказалось. Что касается моего свитка для записей, то мне было просто не по силам разорвать его сверхпрочную металлическую ткань, а кожаным комбинезоном или нижним бельем я не мог воспользоваться без серьезного риска для жизни, принимая в расчет особенности венерианской атмосферы.

Я попробовал мазать невидимую стену грязью, но она соскальзывала вниз и исчезала из виду так же стремительно, как и те комки, что ударялись о преграду, когда я ранее измерял ее высоту. Напоследок я вытащил нож и попытался его

острием нацарапать на прозрачной поверхности линию, которую по крайней мере можно было бы нащупать пальцами. Но и здесь меня ждала неудача — лезвие ножа не оставило ни малейшей царапины на удивительном материале.

Отчаявшись разрешить проблему меток, я повернулся кругом и, руководствуясь одной интуицией, двинулся обратно к центру. Вернуться туда оказалось гораздо более легким делом, нежели найти единственно верный маршрут, выводящий наружу. Отныне, наученный опытом, я отмечал в свитке для записей каждый поворот коридора, нарисовав таким образом приблизительную схему своего пути с указанием всех отходящих влево и вправо боковых коридоров. Это была на редкость утомительная работа, я продвигался вперед очень медленно, так как приходилось все проверять на ощупь; при этом вероятность ошибки была чрезвычайно велика, но я терпеливо продолжал свой труд, полагая, что рано или поздно он принесет нужные результаты.

Когда я наконец достиг центральной комнаты, над равниной уже начали сгущаться долгие вечерние сумерки. Тем не менее я по-прежнему рассчитывал выбраться отсюда до наступления темноты. Внимательно изучив только что нарисованную схему, я как будто нашел точку, в которой была допущена изначальная ошибка, и уверенно зашагал вперед по невидимым коридорам. На этот раз я отклонился влево еще дальше, чем в двух предыдущих попытках, старательно помечая на схеме все повороты на случай, если вновь сойбьусь с дороги. В сумерках я смутно угадывал темное пятно трупa, над которым тяжелым густым облаком висели мухи-фарноты, привлеченные запахом гниющего мяса. Пройдет еще немного времени, и со всего плоскогорья сползутся обитающие в грязи сификлиги, которые успешно завершат начатую мухами работу. Не без чувства брезгливости я приблизился к телу и уже собрался было пройти мимо, когда внезапное столкновение со стеной убедило меня в ошибочности моих казавшихся непогрешимыми расчетов.

Только сейчас я по-настоящему понял, что заблудился. Хитросплетение ходов внутри невидимого здания оказалось

куда сложнее, чем я предполагал вначале. Импровизировать здесь было бессмысленно; только организованный, методический поиск мог открыть мне путь к спасению. Я все еще надеялся к ночи выйти на сухое место; посему, в очередной раз возвратившись в центральную комнату, предпринял серию поспешных — и уже хотя бы потому обреченных на неудачу — попыток выбраться из этой западни, не забывая, однако, при свете электрического фонарика вносить поправки и дополнения в свою схему. Интересно, что луч фонарика без малейших искажений проходил сквозь прозрачные стены, тем самым еще раз демонстрируя удивительные свойства этого материала, отмеченные мною еще днем.

Полная темнота застала меня за прохождением очередного участка лабиринта. Большая часть небосвода была затянута густым слоем облаков, скрывавшим почти все планеты и звезды, но крохотный зелено-голубой диск Земли по-прежнему ярко сиял на юго-востоке. Земля совсем недавно миновала точку противостояния с Венерой и сейчас находилась в превосходной позиции для наблюдения в телескоп. Даже без помощи последнего я смог разглядеть Луну в те моменты, когда она проходила на фоне тонкого венчика земной атмосферы. Мертвое тело — мой единственный ориентир — теперь совершенно исчезло из виду, и мне волей-неволей пришлось отложить дальнейшие поиски до рассвета. После нескольких неверных поворотов, каждый раз принуждавших меня возвращаться обратно, я добрался наконец до центральной камеры, где и начал устраиваться на ночлег. Жидкая грязь, разумеется, являлась далеко не идеальным ложем, но выбирать не приходилось; к счастью, мой непромокаемый комбинезон позволял даже здесь чувствовать себя более-менее сносно. Должен заметить, что в прошлых своих экспедициях мне уже доводилось спать в подобных — если не в худших — условиях, к тому же я надеялся на то, что предельное физическое утомление поможет мне быстро забыть обо всех неудобствах этого временного пристанища.

В данный момент я сижу на корточках в залитой грязью комнате и пишу эти строки при свете электрического фо-

нарика. Есть, безусловно, нечто комическое в моем теперешнем невероятном положении. Оказаться пленником в здании, лишенном всяких дверей и запоров, — в здании, которое я даже не способен увидеть! Я, конечно же, выйду отсюда уже рано утром и, самое позднее, завтра к вечеру прибуду на базу Терра-Нова, причем прибуду туда не с пустыми руками. Этот кристалл и впрямь великолепен — как удивительно сверкает и переливается он даже в слабом свете моего фонаря! Я только что достал его из кармана, чтобы как следует рассмотреть. Уснуть никак не удастся; я уже провел за составлением этих записей гораздо больше времени, чем рассчитывал. Теперь пора заканчивать. Вряд ли мне, находясь в этом месте, стоит опасаться нападения туземцев. Менее всего мне нравится соседство с трупом — хорошо еще, что моя кислородная маска не пропускает запахов. Я стараюсь экономнее расходовать хлоратовые кубики. Сейчас приму пару пищевых таблеток — и на боковую. Об остальном напишу позже.

Позже — после полудня, VI.13

Трудности оказались большими, нежели я ожидал. Я все еще нахожусь внутри этого сооружения. Отныне мне следует действовать быстро и расчетливо, если я намерен к концу дня добраться до твердой земли. Накануне я долго не мог заснуть, но зато потом проспал почти до полудня. Возможно, я спал бы дольше, не разбудил меня яркий луч солнца, пробившийся сквозь пелену облаков. Мертвец, целиком облепленный копошащимися отвратительными сификлигами и окруженный целой тучей мух, представлял собой жуткое зрелище. Каким-то образом шлем свалился с его лица, на которое теперь было страшно смотреть. Я вновь с облегчением вспомнил о своей кислородной маске.

Поднявшись на ноги и наскоро почистив комбинезон, я проглотил две пищевые таблетки и вставил в электролизер маски новый кубик хлората калия. До сих пор я расходовал эти кубики очень медленно, но все же мне не помешало бы иметь их в запасе побольше. После сна я почувствовал се-

бя значительно лучше и был уверен, что очень скоро найду выход.

Изучая сделанные накануне записи и схематические наброски, я вновь подивился сложности и запутанности внутренней структуры здания; одновременно меня посетила мысль о возможной ошибке, допущенной еще в самом начале поиска. Из шести сходящихся в центральной камере коридоров я вчера выбрал тот, который, казалось, вполне совпадал с моими визуальными ориентирами. Стоя в его проеме, я видел на одной линии лежавший в пятидесяти ярдах труп и вершину огромного дерева — подобия земного лепидодендрона, — поднимающуюся над кромкой отдаленного леса. Однако точность такой проекции была весьма относительной, так как слишком большое расстояние между мной и мертвым телом позволяло наблюдать практически одну и ту же картину на линии, проходящей через него к горизонту от любого из трех расположенных рядом коридоров. Более того, выбранное мною дерево-ориентир почти ничем не отличалось от других видневшихся вдали крупных лепидодендронов.

Тщательно проверив все три варианта, я, к своей досаде, обнаружил, что не могу с уверенностью выбрать какой-либо из них как единственно верный. Не означало ли это, что в каждой из вчерашних попыток я мог двигаться поочередно в разных системах коридоров? На сей раз я выясню это наверняка. Не имея возможности обозначать свой путь видимыми следами, я все же нашел способ хоть как-то пометать отправную точку своего маршрута. Я не мог пожертвовать своим комбинезоном, но вполне мог — при моей густой шевелюре — временно обойтись без шлема. Эта достаточно большая и легкая полусфера способна была удержаться на поверхности грязи. Итак, сняв с головы шлем, я положил его у входа в один из коридоров — самый правый из трех, что мне предстояло обследовать.

Я решил — исходя из предположения, что это именно тот коридор, который мне нужен, — руководствоваться своей старой схемой, внося в нее все необходимые дополнения. Если

с первой же попытки выйти не удастся, я начну методически прослеживать до конца каждое из боковых ответвлений; если же поиски вновь не дадут результата, то, исчерпав все возможные здесь варианты, я перейду в соседнюю систему коридоров, а затем, если потребуется, и в третью. Рано или поздно я найду выход из лабиринта, надо лишь запастись терпением. Даже при наименее благоприятном развитии событий у меня были все шансы выбраться на открытое пространство равнины до наступления темноты и устроить свой следующий ночлег где-нибудь в более сухом и удобном месте.

Первая серия попыток оказалась безуспешной, но зато, потеряв чуть больше часа, я мог теперь уверенно исключить правый коридор из дальнейших поисков. Он, как выяснилось, давал начало множеству тупиковых направлений, проходивших далеко в стороне от мертвеца и ни в коей мере не совпадавших с моей вчерашней схемой. Как и прежде, я без особых затруднений нашел обратный путь к центру.

Около часа пополудни я поместил свой шлем перед входом во второй по счету коридор и приступил к его исследованию. Сперва я как будто начал узнавать развилки и повороты, но, постепенно продвигаясь дальше, забрел в абсолютно незнакомые мне переплетения ходов. Я так и не смог приблизиться к трупу, более того, я теперь, похоже, был отрезан и от центральной комнаты — и все это несмотря на подробную запись буквально каждого своего шага. Впрочем, нарисованная от руки схема не могла достаточно точно передать некоторые особо хитроумные изгибы и перекрестки, время от времени встречавшиеся мне на пути. Смесь ярости и отчаяния — примерно так я могу определить охватившее меня чувство. Прекрасно понимая, что только терпение может привести меня к желанной цели, я видел, что предстоящая работа будет неимоверно долгой, мучительной и кропотливой.

Прошел еще час бесполезных блужданий по невидимым коридорам; все время ощупывая стены и поминутно оглядываясь то на свой шлем, то на мертвое тело, я вычерчивал

новую схему уже без тени былой самоуверенности. Попутно я проклинал собственную неосторожность и дурацкое любопытство, завлекшее меня в этот кошмарный лабиринт, — уйти я отсюда сразу после того, как завладел кристаллом, то сейчас давно уже отдыхал бы на главной базе.

Размышляя подобным образом, я внезапно наткнулся на новый, еще не опробованный вариант спасения. Быть может, мне удастся прорыть туннель под невидимой стеной и через него проникнуть если не наружу, то хотя бы в смежный коридор, откуда уже легче будет найти выход. Я не имел представления о том, насколько глубоко залегает фундамент здания, но вездесущая грязь — точно такая же, как и повсюду на этой равнине — была аргументом в пользу отсутствия здесь какого-либо пола. Повернувшись лицом в сторону уже совершенно обезображенного трупа, я начал лихорадочно работать широким и острым клинком своего ножа.

Углубясь на шесть дюймов в полужидкое месиво, я добрался до более плотной породы, заметно отличавшейся цветом от верхнего слоя, — это была серая глина вроде той, что попадает в геологических пластах вблизи северного полюса Венеры. Ниже грунт становился все более твердым. Поверхностная грязь заливала яму с той же скоростью, с какой вынималась очередная порция глины, но я не обращал на это особого внимания. Если бы мне удалось сделать проход под стеной, грязь не явилась бы столь уж серьезным препятствием.

Однако начиная с глубины трех футов пошел грунт, равного которому по плотности я еще не встречал доселе ни на этой планете, ни где-нибудь еще. Вдобавок ко всему он еще был невероятно тяжелым. Отдельные куски, с трудом отколотые и извлеченные из ямы, напоминали скорее цельные камни или слитки металла, нежели спрессованную глину. Но вскоре даже откалывание и крошение частиц породы стало невозможным, и я был вынужден прекратить работу, так и не достигнув нижнего края стены.

Попытка подкопа, отнявшая у меня целый час времени, оказалась столь же утомительной, сколь и бесплодной; она

потребовала от меня огромных затрат энергии, так что мне пришлось принять добавочную пищевую таблетку и вставить в маску новый хлоратовый кубик. Кроме того, эта неудача заставила меня приостановить дальнейшие исследования лабиринта, поскольку я едва держался на ногах от усталости. Кое-как очистив от грязи перчатки и рукава комбинезона, я уселся спиной к невидимой стене, отвернувшись от трупа, и продолжил свои записи.

В данный момент мертвец являет собой сплошную шевелящуюся массу, состоящую из разнообразных любителей падали: запах привлек даже крупных слизистых акманов из отдаленных джунглей. Я заметил, что несколько растений-некрофагов с равнины пытаются дотянуться до трупа своими щупальцами-отростками, но не думаю, чтобы они в этом преуспели, — слишком уж велико расстояние. Хорошо бы появились какие-нибудь настоящие хищники вроде скорохов, которые могли бы, учуяв мой запах, проползти внутрь здания. Эти твари прекрасно умеют угадывать нужное им направление. Я мог бы тогда проследить или даже зарисовать их маршрут, что впоследствии послужило бы мне весьма неплохим подспорьем. На случай же непосредственной встречи с хищниками у меня всегда наготове надежный лучевой пистолет. Однако мне вряд ли стоит всерьез рассчитывать на такого рода помощников. Сейчас допишу эти строки, еще немного отдохну и снова отправлюсь на поиски выхода. Первым делом надлежит вернуться в центральную камеру, что, как я полагаю, будет не так уж трудно сделать, — а затем на очереди третий из основных коридоров. Я все еще не теряю надежды покончить с этим до темноты.

Ночь — VI.13

Новые неприятности. Мой путь к спасению осложняется непредвиденными обстоятельствами. Отныне мне предстоит выдержать не только еще одну ночевку в этой грязи, но и настоящий бой по выходе отсюда. Накануне днем, сократив свое время отдыха, я в четыре часа вновь уже был на ногах, а спустя еще пятнадцать минут без особых проблем достиг

центральной части сооружения. Оставив свой шлем у входа в последний из трех выбранных мной коридоров, я начал движение вперед, отмечая по ходу все большее количество совпадений с моим старым планом; но через пять минут я остановился, неожиданно заметив нечто, потрясшее меня гораздо сильнее, чем можно было бы ожидать в других, не столь экстремальных условиях.

Это была группа из четырех или пяти гнусных людей-ящериц, появившихся на опушке леса у дальнего края равнины. Я не мог достаточно хорошо видеть их на таком расстоянии, но мне показалось, что они оживленно жестикулируют, повернувшись к ближайшим деревьям, после чего к первой группе присоединилась еще добрая дюжина особей. Собравшись вместе, они напрямик направились к невидимому зданию. Я внимательно следил за их приближением, впервые получив возможность наблюдать строение тела и повадки этих тварей на открытом месте и при нормальном освещении, а не в пропитанном испарениями сумраке джунглей.

Внешним видом они и впрямь напоминали рептилий, хотя сходство, разумеется, было чисто случайным, поскольку обитатели этой планеты в действительности не имели ничего общего с земными животными. Когда они подошли поближе, я убедился в справедливости этого заключения: если не брать в расчет плоскую форму черепа и покрытую слизью зеленоватую, как у лягушки, кожу, они мало чем походили на пресмыкающихся. Передвигались они, поддерживая вертикальное положение тела, на толстых коротких ножках, широкие ступни-присоски которых издавали забавный чавкающий звук при каждом шаге. Все особи были обычного для туземцев роста — около семи футов — и имели на груди по четыре длинных тонких щупальца. Движения этих щупалец — согласно теориям Фогга, Экберга и Дженета, которым я, надо сознаться, не очень-то верил до последнего времени, — означали, что существа ведут друг с другом оживленный разговор.

Я вытащил из кобуры лучевой пистолет и приготовился к схватке. Врагов было много, но преимущество в вооружении давало мне шанс на успех. Если эти твари знают расположение ходов внутри здания, они попробуют добраться до меня и таким образом сами укажут мне путь к спасению — то есть сделают как раз то, чего я тщетно ожидал от скорохов либо иных плотоядных пришельцев джунглей. В намерении туземцев напасть на меня я не сомневался: даже не видя драгоценного кристалла, хранившегося в моем кармане, они наверняка давно уже учуяли его благодаря своей удивительной способности, о которой я уже говорил.

Но, как ни странно, атаки не последовало. Вместо этого они рассыпались цепью и образовали вокруг меня широкое кольцо, судя по всему, совпадавшее с внешней линией невидимого барьера. В полной тишине они с любопытством разглядывали меня, жестикулируя своими щупальцами и время от времени кивая головами или помахивая верхними конечностями. Немного погодя я заметил новую партию, вышедшую из леса и вскоре примкнувшую к толпе «зрителей». Те, кто стоял ближе к трупам, изредка поглядывали на него, но не предпринимали попыток подобраться к телу вплотную. Вид последнего был ужасен, но на людей-ящеров это, похоже, не производило ни малейшего впечатления. Лишь иногда кто-нибудь из них отгонял взмахом грудного щупальца или верхней конечности особо надоедливых мух-фарнотов либо давил дисковидной ступней-присоской вертялых сификлигов, акманов или подобравшиеся слишком близко побеги растения-некрофага.

Непрерывно озираясь по сторонам, я повсюду видел их гадкие рожи и в любую минуту ожидал начала атаки, совершенно забыв о схеме, которую все еще сжимал в руке, и о необходимости продолжать поиски выхода. Вместо этого я стоял, безвольно привалившись спиной к невидимой преграде и постепенно переходя от ступора, вызванного внезапным изменением ситуации, к построению логической цепочки догадок и умозаключений. Сотни невероятных вещей и собы-

тий, прежде ставивших меня в тупик, теперь обрели новый, довольно пугающий смысл; мне никогда ранее не случалось испытывать столь пронзительного ощущения ужаса, как в те мгновения.

Я, кажется, понял, чего ожидали стоявшие вокруг омерзительные существа. Одновременно был наконец разгадан секрет этого прозрачного сооружения. Редкостного качества кристалл, завлекший меня на это плоскогорье, труп человека, нашедшего этот кристалл задолго до моего прихода, — все-му этому было одно зловещее и недвусмысленное объяснение.

Моя неспособность найти выход из этого чудовищного переплетения невидимых коридоров отнюдь не была следствием нагромождения обычных случайностей. Ничего подобного. Это здание, безусловно, было с самого начала задумано как ловушка — лабиринт, сознательно построенный проклятыми туземцами, к мастерству и уровню интеллекта которых я, на свою беду, привык относиться с презрительным высокомерием. А ведь мог бы насторожиться и заподозрить неладное, зная об их неординарных архитектурных талантах! Теперь стала ясной и цель строительства. Конечно же, это была западня, но западня не простая, а предназначенная для поимки именно нас, людей — недаром же в качестве приманки использовался драгоценный сфероид. Таким образом местные жители, ведущие непримиримую войну с собирателями кристаллов, перешли к новой тактике, используя против нас нашу же собственную алчность.

Дуайт — если это и впрямь его гниющий труп валяется там в грязи — оказался первой жертвой. Он, должно быть, попался уже давно и не смог найти выход наружу, в конечном счете сойдя с ума от недостатка воды или израсходовав весь наличный запас хлоратовых кубиков. Да и маска, похоже, не случайно слетела с его лица — скорее всего, это было самоубийство. Он предпочел один роковой шаг медленному ожиданию смерти, сорвав кислородную маску и позволив губительной атмосфере поставить последнюю точку в этой трагедии. Жуткая ирония судьбы заключалась в самом расположении

трупа — лишь в нескольких футах от выхода, который ему так и не удалось обнаружить. Еще небольшое усилие — и он был бы спасен.

А теперь уже я попался в расставленную ловушку. Попался на радость этим безобразным тварям, стоящим кружком и смеющимся над моей беспомощностью. Мысль эта была невыносимой, и я едва не сошел с ума от отчаяния — иначе как было объяснить тот факт, что в диком приступе паники, не разбирая дороги, я пустился бежать по невидимым коридорам. В течение нескольких последующих минут я вел себя как настоящий безумец: спотыкался, падал, бросался со всего размаху на стены и в конце концов неподвижно скорчился в грязи — задыхающийся окровавленный ком лишенной разума плоти.

Падение меня немного отрезвило, и, медленно поднявшись на ноги, я вновь обрел способность видеть и осознавать происходящее. Собравшиеся вокруг зрители в каком-то особенном однообразном ритме покачивали грудными щупальцами — это было похоже на смех; в бессильной ярости я погрозил мерзавцам кулаком. Этот жест вызвал у них прилив издевательского веселья, несколько рептилий даже попытались его спародировать, неуклюже задрав сверху свои зеленоватые конечности. Устыдившись собственной нелепой горячности, я постарался собраться с мыслями и критически оценить ситуацию.

В конце концов, мои дела были не так плохи, как у Дуайта. В отличие от него мне была известна вся подоплека случившегося — как говорится, кто предостережен, тот вооружен. Я точно знал, что выход в принципе достижим, и никогда бы не повторил его продиктованного отчаянием поступка. И потом, мертвое тело — или скелет, который останется от него в скором времени, — служило мне постоянным ориентиром, находясь вблизи отверстия в наружной стене, так что мои терпение и настойчивость рано или поздно должны были принести плоды.

С другой стороны, я имел дополнительное осложнение в лице окружавших здание рептилий. Как я уже убедился на

примере этой ловушки, невидимый материал которой превосходил все известные достижения земной науки и техники, мне ни в коем случае нельзя было недооценивать способности своих противников. Даже лучевой пистолет не давал полной гарантии успеха; быстрота и решительность — вот что должно было стать моим главным оружием в предстоящей схватке.

Но прежде следовало выбраться на открытое место, если только я не найду способ заманить рептилий внутрь лабиринта. Осмотрев пистолет и пересчитав запасные обоймы, я внезапно задался вопросом: какое действие может оказать разряд боевого луча на невидимую стену? И почему я с самого начала не использовал этот вполне вероятный шанс на спасение? Мне ничего не было известно о химическом составе преграды — быть может, огненный луч разрежет ее в мгновение ока, как кусок сыра. Выбрав для эксперимента стену, отделявшую меня от трупа, я разрядил свой пистолет почти в упор, после чего пощупал кончиком ножа то место, куда был направлен луч. Никаких изменений. Я видел, как пламя растекалось в стороны, едва соприкоснувшись с прозрачной поверхностью, — стало быть, и эта моя надежда оказалась тщетной. Приходилось вновь возвращаться к старому испытанному способу: мне предстояло долгое и утомительное исследование всех закоулков хитроумного сооружения.

Итак, приняв пищевую таблетку и заложив новый кубик в электролизер маски, я вернулся в центральную комнату, чтобы оттуда возобновить свои поиски. Постоянно сверяясь с планом и делая в нем очередные пометки, я проходил коридор за коридором, каждый из которых неизменно заканчивался тупиком. На равнину меж тем опускались вечерние сумерки. Во время своих хождений я то и дело посматривал на молчаливо веселившуюся публику, отметив постоянно происходившие в их рядах замены. Небольшие группы рептилий периодически отделялись от остальных и уходили в сторону леса, откуда тотчас же появлялись другие и занимали их место в оцеплении. Чем дольше я изучал эту их тактику,

тем меньше она мне нравилась; понемногу намерения туземцев вырисовывались все отчетливей. Они в любой момент могли бы приблизиться ко мне и вступить в бой, но вместо этого предпочли наблюдать издали мою борьбу с путаницей невидимых коридоров. Чувствовалось, что они получают удовольствие от спектакля; перспектива попасть в руки этим садистам заставила меня содрогнуться.

С наступлением темноты я прекратил поиски и присел отдохнуть. В данный момент пишу при свете фонаря и в ближайшее время намереваюсь лечь спать. На завтрашний день я возлагаю все свои последние надежды — моя фляга почти пуста, а лаколевые таблетки не могут в достаточной мере заменить собой воду. Прекрасно зная, что вода в болотистых районах планеты годится для питья только после дистилляции, я не рискну попробовать влагу, добытую из хлюпающего под ногами грязного месива. Именно ввиду этого обстоятельства мы вынуждены протягивать такие длинные водопроводные линии к местам залегания желтоземных пород — или же обходиться исключительно дождевой водой в тех случаях, когда паршивые туземцы выводят из строя наши трубопроводы. Мой запас хлоратовых кубиков не так уж велик, и мне придется уменьшить подачу кислорода. Попытка подкопа и недавние панические метания по коридорам поглотили огромное количество энергии. Завтра я намерен сократить физическую активность до необходимого минимума, сохраняя силы для встречи с рептилиями. Мне потребуется много кислорода на обратный путь до Терра-Новы. Враги по-прежнему окружают меня; я вижу кольцо слабо тлеющих факелов. Огоньки эти наводят на меня гнетущий страх, и я вряд ли смогу заснуть.

Ночь — VI.14

Еще один день поисков — и вновь без успеха! Меня все больше беспокоит проблема воды — к полудню фляга опустела окончательно. По счастью, после обеда пошел сильный дождь; я поспешил возвратиться в центральную камеру, где валялся в грязи мой шлем, и, используя его как чашу, набрал

до полулитра воды. Большую ее часть я сразу же выпил, остальное слил во флягу. Лаколевые таблетки мало помогают против настоящей жажды, и остается лишь надеяться на повторный ливень этой ночью. На всякий случай я положил шлем раструбом кверху, чтобы не упустить ни капли. Пищевых таблеток тоже осталось немного, но пока что ситуация с едой не внушает серьезных опасений. Отныне я уменьшу рацион вдвое. Гораздо хуже дело обстоит с хлоратовыми кубиками; несмотря на мои старания быть предельно экономным, целый день бесконечной ходьбы весьма ощутимо сказался на их запасе. Я чувствую себя ослабевшим — как вследствие постоянного недостатка кислорода, так и по причине все возрастающей жажды. Сокращение рациона, безусловно, ослабит меня еще больше.

С этим лабиринтом творится что-то неладное. Я могу поклясться, что исследовал все боковые ответвления каждого коридора, но всякая новая попытка опровергает правильность моей схемы, внося в нее дополнения или исключая уже нарисованные ходы. Никогда раньше меня не посещала мысль о том, как беспомощны мы в своей повседневной жизни без привычных зрительных ориентиров. Слепому человеку было бы сейчас куда легче, но для большинства из нас зрение является венцом всех чувств. Осознав тщетность своих усилий, я совсем пал духом. Теперь я могу себе представить, каково было бедняге Дуайту. От его тела ныне остался один скелет; сификлиги, акманы и мухи-фарноты сделали свое дело и удалились прочь. Им на смену пришли представители флоры, чьи побеги дотянулись наконец до бранных останков — они росли куда быстрее, нежели я предполагал — и сейчас рвут на части кожаный комбинезон. Между тем новая партия злорадствующих зрителей расположилась по периметру прозрачного барьера, беззвучно хохоча и наслаждаясь видом моих страданий. Еще один день в этой ловушке, и я сойду с ума, если только прежде не скончаюсь от потери сил и отсутствия жизненно необходимых веществ.

Как бы то ни было, я намерен бороться до конца. Дуайт спасся бы, продержись он еще пару-другую минут. Скоро бу-

дет трое суток с той поры, как я покинул Терра-Нову; пройдет еще немного времени, и наши люди, хватившись меня, начнут поиски. Все мышцы болят, лежание в этой проклятой грязи вряд ли можно назвать отдыхом. Прошлой ночью, несмотря на страшную усталость, я спал лишь урывками; и сегодня, похоже, повторится то же самое. Я пребываю в каком-то бесконечном кошмаре на грани между явью и сном — не в силах пробудиться или заснуть по-настоящему. Писать становится все труднее из-за дрожи в руках. Кольцо тлеющих факелов — это невыносимо.

Конец дня — VI.15

Наконец-то дело сдвинулось с места! Еще ничего не потеряно. Правда, я очень ослаб; я почти не спал этой ночью, а задремав уже на рассвете, проснулся в полдень совершенно разбитым. Дождей больше не было, и я ужасно страдаю от жажды. Принял еще одну таблетку сверх назначенной себе нормы, но без воды от нее мало толку. Попробовал было выпить немного болотной жижи, но меня сразу же вывернуло наизнанку, а жажда после этого стала еще более мучительной. С целью экономии хлоратовых кубиков я настолько снизил подачу кислорода, что рискую потерять сознание от удушья. Уже не пытаюсь подняться на ноги и передвигаюсь по грязи на четвереньках. Около двух часов пополудни мне начали попадаться знакомые коридоры, я подобрался к труп — точнее, к скелету — значительно ближе, чем в прошлые заходы. Однажды только я забрел в тупик, но быстро разобрался в ситуации, сверившись со своей схемой. Главная трудность с этими чертежами заключается в их невероятной громоздкости. Они занимают целых три фута свитка, и мне каждый раз приходится, остановившись, подолгу искать на плане нужный отрезок пути. Жажда, усталость и удушье отразились и на моих умственных способностях, так что мне не всегда удастся расшифровать даже собственные пометки. Эти пакостные зеленые твари продолжают наблюдать за мной, иронически жестикулируя щупальцами — порой мне кажется, будто в этакой шутиливой форме они обсуждают мои

шансы на спасение и только что не делают ставок «за» и «против».

В три часа дня я наконец попал на верный след. Я обнаружил проход, не обозначенный в моей схеме, и, двигаясь по нему, начал круг за кругом приближаться к опутанному побегами растений скелету. Коридор раскручивался по спирали, все больше напоминая тот, по которому я в первый раз дошел до центра здания. Встречая боковые ответвления или перекрестки, я старался придерживаться маршрута, повторяющего мой первоначальный путь. В то время как я все ближе и ближе подползал к своему жуткому ориентиру, оживление снаружи нарастало, зрители заметно активизировались, повсюду, куда ни глянь, меня преследовали бурная жестикуляция и беззвучный сардонический хохот. Очевидно, они находили мою настойчивость весьма забавной, полагая меня совершенно беспомощным и рассчитывая легко взять верх, когда дело дойдет до открытого столкновения. Я предоставил им веселиться, сколько влезет; сознавая свою физическую слабость, я полагался на лучевой пистолет с его многочисленными запасными обоймами: в случае чего это оружие поможет мне пробиться сквозь целую фалангу подлых и кровавых уродов.

Надежды мои крепили с каждой минутой, но я не спешил подниматься на ноги, предпочитая ползти на четвереньках и экономить силы для решающей схватки с рептилиями. Продвигался я очень медленно; возможность сбиться с пути, забредя в тупиковую ветвь коридора, была велика; и все же я видел, как расстояние, отделявшее меня от цели, неуклонно сокращается. Близость избавления взбодрила меня, и я временно забыл о своей боли, жажде и нехватке кислорода. Все рептилии теперь собрались толпой у входа, возбужденно размахивая конечностями, переминаясь с ноги на ногу и не прекращая своего дурацкого смеха. Очень скоро мне предстоит непосредственное знакомство со всей этой шайкой — а возможно, и с подкреплениями, которые подоспеют из леса.

Сейчас я нахожусь в нескольких ярдах от скелета; я задержался ненадолго, чтобы дополнить свои дневниковые за-

писи, прежде чем выйти наружу и вступить в бой с этими отвратительными существами. Я уверен, что, собрав остатки сил, смогу обратить их в бегство или уложу всех до одного — убойная сила моего пистолета практически неограниченна. Затем последует ночевка на сухом мху у края плато, а с утра — утомительный переход через джунгли до Терра-Новы. Я буду страшно рад снова увидеть живых людей и нормальные, построенные человеческими руками здания. Обглоданный череп скалит свои ярко-белые зубы в зловещей ухмылке.

Ближе к ночи — VI.15

Ужас и отчаяние. Вновь неудача! Закончив предшествующую запись, я направился было к скелету, но, приблизившись почти вплотную, ударился головой о преграду. Вновь я обманулся; это, похоже, было то же самое место, куда я уже попадал три дня назад во время первой своей безуспешной попытки выбраться из лабиринта. Не помню, кричал ли я что-нибудь в это момент, — впрочем, скорее всего, я был слишком измучен для того, чтобы издать хоть малейший звук. Я просто распластался в грязи и долго-долго лежал без движения, глядя прямо перед собой, а зеленые твари за перегородкой меж тем веселились пуще прежнего.

Спустя некоторое время я полностью пришел в сознание. Усталость, жажда и удушье навалились на меня свинцовой тяжестью. С огромным трудом я поднял руку и вставил в электролизер новый кубик, не думая об экономии и о предстоящем переходе до Терра-Новы. Свежий приток кислорода меня подкрепил, и я смог оглядеться уже более осмысленно.

Мне показалось, что на сей раз я нахожусь несколько дальше от останков злосчастного Дуайта, чем это было при моей самой первой попытке: может быть, я попал в другой, параллельный изначальному коридор? Надежда была крайне слабой, но все же, подтягиваясь на руках, я прополз еще немного вдоль стены и — оказался в том же самом тупике, что и три дня назад.

Это уже был конец. Трое суток борьбы отняли у меня все силы, не приведя ни к какому результату. Скоро я обезумею от жажды, да и с кислородом дела обстоят неважно — оставшихся кубиков явно не хватит на обратный путь. А все-таки странно: почему эти кошмарные создания собрались всей толпой у наружного входа, будто поджидая меня? Впрочем, они могли это сделать просто насмешки ради, чтобы тем самым направить меня по заведомо ложному маршруту и вдоволь повеселиться, глядя на мои мучения.

Долго мне не продержаться, хотя я и не собираюсь торопить события, как это сделал Дуайт. Как раз в эту минуту его ухмыляющийся череп, сдвинутый одним из растений, пожирающих лохмотья кожаного комбинезона, повернулся в мою сторону. Призрачный взгляд этих пустых глазниц пугает меня гораздо больше, чем целая сотня глаз гнусных рептилий. Он придает какой-то особый, зловещий смысл мертвому оскалу черепа.

Я неподвижно лежу в грязи, экономя последние силы. Эти записки, которые, я надеюсь, когда-нибудь попадут людям и послужат им предостережением от повторения моих ошибок, скоро будут завершены. После этого я отдохну и затем, дождавшись темноты, которая скроет меня от туземцев, попробую перебросить свиток через стену и промежуточный коридор на открытую равнину. Надо будет послать его как можно левее, чтобы не угодить в толпу этих неутомимых весельчаков, по-прежнему блокирующих выход. Возможно, все это окажется напрасным, и свиток затеряется, потонет в жидкой грязи; но не исключено, что он упадет на одну из многочисленных травянистых кочек и впоследствии будет подобран людьми.

Если только эти записки будут прочитаны, они должны сделать больше, нежели просто предупредить людей о ловушке, в которой я волей судьбы оказался. Я хочу обратиться к представителям моей расы с предложением оставить в покое эти удивительные кристаллы. Они принадлежат Венере и никому больше. Наша родная планета не так уж нуждается в этом источнике энергии, и я думаю, что, пытаюсь захватить

побольше кристаллов, мы нарушаем какой-то таинственный закон, неведомым нам образом заложенный в самой природе космоса. Кто знает, какие темные могущественные и всепроникающие силы побуждают этих рептилий столь ревностно охранять свои сокровища. Дуайт и я уже заплатили своими жизнями, и многие другие наверняка заплатили тоже, и многие еще заплатят. Но кто может поручиться, что эта череда смертей не является всего лишь прелюдией к грядущим великим и страшным событиям? Так оставьте же Венере то, что может и должно принадлежать только ей.

* * *

Я чувствую приближение смерти и боюсь, что с наступлением темноты не смогу перебросить свиток через стену. Если мне это не удастся, свиток станет добычей рептилий, которые, возможно, догадаются о его назначении. Они, разумеется, не захотят оставлять людям ключ к разгадке тайны невидимого лабиринта: откуда им знать, что письмо это может в конечном счете положительно отразиться на их судьбе. Только в преддверии смерти я начинаю понимать, что был несправедлив к этим созданиям. В космических масштабах бытия никому не дано судить о том, чей уровень развития выше, а чей ниже и какая из цивилизаций — их или наша — больше соответствует нормам вселенского разума.

* * *

Я только что извлек кристалл из накладного кармана, чтобы видеть его перед собой в последние минуты жизни. Он сияет каким-то мрачным, враждебным светом в красноватых лучах уходящего дня. Заметив его, группа туземцев заволновалась, характер их жестов решительным образом изменился. Не понимаю, почему они продолжают стоять у входа, вместо того чтобы переместиться в ближайшую ко мне точку по ту сторону внешней стены.

* * *

Тело мое немеет, я не могу больше писать. Голова сильно кружится, но сознание не замутнено. Смогу ли я перекинуть свиток через стену? Кристалл сияет с прежней яркостью, хотя сумерки уже подступают ко мне со всех сторон.

* * *

Темнота. Очень ослаб. Они продолжают толпиться у входа, запалив свои дьявольские факелы.

* * *

Что это — они уходят? Мне как будто послышался звук... какой-то свет с небес...

*Донесение Уэсли П. Миллера,
командира группы А,
Венерианская Кристальная компания
(Венера, Терра-Нова — VI.16)*

На рассвете VI.12 наш сотрудник Кентон Дж. Стэнфилд (личный номер А-49; земной адрес: Виргиния, Ричмонд, Маршалл-стрит, 5317) отправился с базы Терра-Нова в ближний поисковый рейд, согласованный с данными детекторной съемки. Должен был возвратиться 13-го или 14-го числа. Не появился к вечеру 15-го, и в 20.00 я с пятью своими людьми вылетел на самолете-разведчике «FR-58» по обозначенному детектором курсу. Стрелка не показывала каких-либо отклонений от результатов произведенных накануне замеров.

Следуя в направлении Эрицийского нагорья, мы постоянно освещали местность прожекторами. Трехствольные лучевые пушки и цилиндры D-излучения были готовы к применению против традиционно враждебных нам туземцев или опасных скоплений хищников.

Пролетая над голой равниной на плато Эрикс, мы заметили группу огней, в которых распознали характерные факельные лампы туземцев. С нашим приближением они бросились

врассыпную, спеша укрыться в близлежащих лесных массивах. Детектор показал наличие кристалла в том месте, где они только что группировались. Спланировав ниже, мы высветили на поверхности равнины два отдельных объекта: скелет человека, опутанный ползучими побегами растений, и неподвижное тело футак в десяти от него. На повторном заходе мы снизились еще больше и врезались концом крыла в какое-то препятствие, которого мы не смогли разглядеть.

После аварийной посадки мы пешком направились в сторону упоминавшихся выше объектов, но на подходе к ним были остановлены гладким на ощупь и абсолютно невидимым барьером. Данное обстоятельство чрезвычайно нас озадачило. Двигаясь вдоль преграды, неподалеку от скелета мы обнаружили входное отверстие, за которым оказался узкий коридор с еще одним отверстием, выведшим нас непосредственно к скелету. Одежда последнего была полностью уничтожена растениями-некрофагами, но рядом в грязи лежал шлем, который, как мы установили по его номеру, принадлежал сотруднику Фредерику Н. Дуайту, личный номер В-9, из отряда Кенига, ушедшему с Терра-Новы два месяца тому назад в автономный поисковый рейд.

Между скелетом и неподвижным телом находилась еще одна невидимая стена, но мы без труда опознали во втором человеке Стэнфилда. В левой руке он держал свиток для записей, а в правой — перо; судя по всему, в момент своей смерти он что-то писал. Кристалла нигде не было видно, но детектор показал присутствие очень крупного экземпляра где-то рядом со Стэнфилдом.

Добраться до него оказалось намного труднее, но в конечном счете нам это удалось. Тело было еще теплым, а огромный кристалл лежал у его ног под слоем жидкой грязи. Первым делом мы ознакомились с тем, что было написано в свитке, и приняли необходимые меры на основании полученных сведений. Содержание свитка представляет собой довольно длинное повествование, приложенное в качестве предисловия к данному отчету; достоверность приведенных в нем фактов подтвердилась проверкой на практике, что позволяет счи-

тать эти записки документальным свидетельством. Последние фрагменты записок несут на себе следы интеллектуальной деградации, но большая их часть вполне заслуживает доверия. Причиной смерти Стэнфилда явилось сочетание жажды, удушья и нервного перенапряжения с глубокой психической депрессией. Его маска была на месте, кислород продолжал поступать, хотя и в объеме значительно ниже нормального.

Поскольку наш самолет получил повреждение, мы вызвали по радио Андерсона, который вскоре доставил на самолете технической поддержки «FG-7» аварийную бригаду, а также специальное оборудование для резки и взрывных работ. К утру «FR-58» был отремонтирован, и Андерсон увел его на базу, захватив с собой тела погибших и найденный кристалл. Дуайт и Стэнфилд будут похоронены на кладбище компании, а кристалл отправится в Чикаго с первым же космическим лайнером. В ближайшем будущем мы намерены последовать совету покойного Стэнфилда — тому, что был им дан в начальной, более здоровой части записок, — и перебросить с Земли регулярные войска для окончательного и полного устранения туземной опасности. Расчистив себе таким образом поле деятельности, мы сможем спокойно наладить добычу кристаллов в таком количестве, какое сочтем нужным.

После полудня мы приступили к всестороннему и тщательному изучению невидимого здания — или, точнее сказать, ловушки. Пользуясь длинными шнурами для маркировки коридоров, мы составили подробную схему лабиринта для наших архивов. Сложность замысла и мастерство исполнения были воистину впечатляющими; образцы невидимого вещества мы направили в лабораторию для химического анализа — сведения эти нам очень пригодятся при штурме многочисленных туземных городов. Наш алмазный бур типа «С» смог углубиться в прозрачную стену, и сейчас рабочие заняты закладкой динамита, подготавливая сооружение к взрыву. Оно должно быть разрушено до основания, поскольку представляет серьезную угрозу для воздушного и других видов транспорта.

Внимательно рассматривая план лабиринта, нельзя не отметить ту злую шутку, которую он сыграл не только с Дуайтом, но и со Стэнфилдом. Пытаясь найти доступ ко второму телу, мы не смогли проникнуть туда, заходя с правой стороны, но Маркхейм обнаружил выход из первого внутреннего помещения примерно в пятнадцати футах от Дуайта и в четырех-пяти футах от Стэнфилда. Отсюда начинался длинный коридор (целиком обследованный нами уже позднее), в стене которого, сразу же по правую руку, оказалось еще одно отверстие, приведшее нас прямо к телу. Таким образом, Стэнфилд мог выбраться наружу, пройдя всего двадцать с небольшим футов, если бы он воспользовался выходом, находившимся непосредственно *позади него*, — выходом, которого он так и не достиг, будучи побежден собственной слабостью и отчаянием.

ЗВЕРЬ В ПЕЩЕРЕ

Ужасная истина, длительное время едва брезжившая в моем усталом, воспаленном мозгу, теперь уже не вызывала сомнений. Я заблудился — окончательно и безнадежно заблудился в огромном лабиринте Мамонтовой пещеры. Куда бы я ни устремлял свой взгляд, я не мог различить ничего, что помогло бы мне найти путь наружу. Я более не мог тешить себя тщетной надеждой на то, что когда-нибудь перед моими глазами вновь предстанет благословенный свет дня и я снова смогу наслаждаться созерцанием милых моему сердцу холмов и долов внешнего мира. Надежда оставила меня. Однако, к своему немалому удовлетворению, в этой трагической ситуации мне удавалось сохранять самообладание и хладнокровие, воспитанное долгими годами философских штудий. Мне доводилось читать и слышать о том, что жертвы подобных ситуаций частенько впадают в состояние, близкое к безумию, но в отличие от них я не испытывал ничего подобного: напротив, едва осознав, что у меня не осталось ни единого шанса на спасение, я даже как будто успокоился.

Мое присутствие духа не смогла поколебать и мысль о том, что я, скорее всего, зашел в своих скитаниях столь далеко, что очутился в не исследованных еще областях пещеры, куда не заходили поисковые партии. Что ж, размышляя я, если мне суждено умереть, то это мрачное, но в то же время и великолепное подземелье послужит мне не менее удобной гробницей, чем склеп на церковном кладбище.

Я ни минуты не сомневался в том, что мне предстоит смерть от голода. Другие могут сходить с ума, сколько им угодно, но мне-то эта участь не грозила. В моем нынешнем положении мне некого было винить, кроме себя. Воспользовавшись тем, что гид не мог запомнить всех экскурсантов в лицо, я отделился от своей группы и, пробродив около часа по закрытым для туристов туннелям пещеры, обнаружил, что не могу восстановить в памяти все бесконечные повороты и хитросплетения пройденного пути.

Мой фонарь мало-помалу угасал, и вскоре мне предстояло очутиться в крошечной и почти физически осязаемой тьме земных недр. Наблюдая за тусклым, подрагивающим язычком пламени, что еще теплился под стеклом лампы, я пытался обрисовать себе все детали собственного конца. В моей памяти всплыла газетная статья, повествующая об ужасной судьбе колонии туберкулезников, которые, найдя атмосферу этого гигантского подземелья на редкость оздоровительной (и в самом деле, ее отличали свежий сухой воздух, отсутствие температурных колебаний и, конечно же, полный покой), решили устроить тут нечто вроде курорта, но вместо желанного исцеления нашли жуткую и во многом необъяснимую погибель. Я видел жалкие останки их грубо сколоченных хижин, когда проходил мимо с экскурсией, и, помнится, даже задумался над тем, какой эффект могло бы произвести длительное пребывание в пещере на такого здоровяка, как я. Что ж, мрачно говорил я себе, теперь у тебя есть реальная возможность выяснить это, ибо отсутствие еды как раз и означает весьма длительный переход в мир иной.

После того как мой фонарь испустил из себя последний луч света, я решил со всей тщательностью возобновить поиски выхода, не пренебрегая никакими средствами спасения. А потому, набрав в легкие максимально возможное количество воздуха, я разразился серией протяжных воплей в надежде на то, что хотя бы один из них достигнет ушей нашего гида. Но при этом я втайне был уверен, что все мои крики абсолютно напрасны и что мой голос, усиленный и многократно отраженный от бесчисленных складок нависающего

над моей головой темного свода, не будет услышан никем, кроме меня. Однако во время очередной краткой передышки, понадобившейся мне, чтобы захватить в легкие побольше воздуха, я вдруг остановился и замер с открытым ртом: где-то вдалеке мне почудились легкие шаги, почти бесшумно приближавшиеся ко мне по каменному полу пещеры. Неужели избавление пришло ко мне так скоро? Так, значит, все мои дурные предчувствия оказались сущей чепухой! Скорее всего, наш гид, обнаружив пропажу одного из экскурсантов, немедленно направился по моим следам и все это время был где-то неподалеку. Обуреваемый этими радостными мыслями, я уже совсем было приготовился издать еще пару-другую воплей, чтобы облегчить задачу своему спасителю, как вдруг весь мой восторг обратился в непередаваемый ужас, ибо мой и без того острый слух, теперь еще более отточенный царившим вокруг меня вечным безмолвием, наконец донес до моего неповоротливого сознания непостижимую и парализующую истину: шаги, которые я слышал, *не могли принадлежать человеку*. В могильной тишине этого исполинского подземного грота тяжелые туристские ботинки должны были производить резкие, грохочущие звуки, а то, что я слышал, было мягкими вкрадчивыми шажками, характерными для грациозной поступи представителей семейства кошачьих. Кроме того, напряженно вслушиваясь в окружавшую меня тьму, я иногда различал поступь *четырех*, а не *двух* ног.

Теперь я уверился в том, что мои дурацкие вопли привлекли внимание какого-то хищного зверя — возможно, пумы, — который случайно забрел в пещеру. Возможно, подумал я, Всемогущий решил подарить мне более скорую и милосердную смерть, нежели мучительное увядание от голода. Несмотря на все эти мысли, никогда не дремлющий инстинкт самосохранения уже завладел мною, и, проигнорировав то обстоятельство, что избавление от этой новой опасности лишь обречет меня на длительные смертные муки, я решил как можно дороже продать свою жизнь. Как это ни странно, но я ни на секунду не усомнился в том, что моим неведомым визитером движут исключительно враждебные намерения. Учи-

тывая ситуацию, я затаил дыхание в надежде на то, что неизвестный зверь, утратив звуковые ориентиры, сойдет с пути и проследует мимо меня по одному из соседних коридоров. Однако этой надежде не суждено было сбыться — странные шаги неуклонно приближались. Очевидно, животное выследило меня по запаху, что вовсе не удивительно, принимая во внимание чистоту здешнего воздуха и отсутствие в нем свойственных наружному миру примесей.

Решив, что мне лучше вооружиться на случай внезапного и невидимого нападения, я принялся шарить по каменному полу пещеры, пытаясь выудить из разбросанных по нему скальных обломков кусок помассивнее. Наконец мне удалось обнаружить два подходящих экземпляра. Зажав по одному в каждой руке, я прислонился к стене и принялся хладнокровно ожидать неминуемой развязки. Тем временем звук шагов раздавался все ближе и ближе. Невидимое животное вело себя на удивление странно. По большей части, оно передвигалось как четвероногое, правда, его передние и задние ноги *не всегда ступали согласованно*; бывали моменты — достаточно редкие и непродолжительные моменты, — когда оно, казалось, использовало всего две конечности. Размышляя над природой своего гипотетического противника, я в конце концов пришел к выводу, что это был какой-то несчастный обитатель здешних гор, подобно мне, расплачивающийся за свое неумное любопытство пожизненным заключением в исполненной тьмы бездне гигантской пещеры. Без сомнения, все время своего пребывания здесь он питался слепыми крысами, летучими мышами и рыбами, а может быть, и зрячими сородичами последних, обитающими в притоках Грин-ривер, чьи воды неизвестно каким образом связаны с подземными резервуарами гигантского подземного грота. Я скрашивал свое безмолвное ожидание предположениями о том, как мог измениться внешний облик зверя в связи с длительным пребыванием в здешних условиях, и, признаться, не раз содрогнулся, припомнив местные слухи об ужасающем виде бедолаг-туберкулезников, скончавшихся в пещере. Затем я вдруг вспомнил о том, что, даже если мне повезет и я выйду из гря-

душей схватки победителем, мне все равно *никогда не увидеть истинного облика* моего противника, ибо мой фонарь давно потух, а спичек у меня при себе не было. Я почувствовал, как овладевшее мною напряжение становится невыносимым. Мой взбудораженный рассудок одну за другой преподносил мне картины самых невероятных существ, затаившихся в окружавшей меня тьме, пока мне не стало казаться, что они и в самом деле *прикасаются* ко мне. Все ближе и ближе раздавались ужасные шаги. Может быть, мне следовало закричать, но я знал, что, даже если малодушие и подтолкнет меня на это, мой крик все равно останется без ответа. Я попросту окаменел от ужаса и изрядно сомневался в том, что моя правая рука повинуется мне, когда в критический момент я прикажу ей бросить камень в приближающегося зверя. Наконец осторожные шаги послышались в непосредственной близости от меня. Зверь был *очень* близко. В темноте уже было отчетливо слышно его тяжелое, затрудненное дыхание, и, сколь бы ни велик был мой страх, я все же сообразил, что он пришел откуда-то издалека и порядком устал. И в этот момент сковывавшие меня чары рассеялись. Доверившись своему слуху, я размахнулся и что было сил швырнул кусок известняка с заостренными краями в том направлении, откуда исходили шелест шагов и надсадные хрипы, сопровождавшие дыхание зверя. Замечательно, что в условиях абсолютной темноты я чуть было не попал в цель — во всяком случае, я отчетливо слышал, как животное отпрыгнуло на порядочное расстояние и затаилось.

Сориентировавшись на новую цель, я послал в своего врага еще один обломок скалы и на этот раз не промахнулся: к моей великой радости, я услышал, как загадочное существо грохнулось на каменный пол и осталось там лежать без движения. Почти обессилев от внезапно нахлынувшего на меня облегчения, я привалился к стене туннеля. Но дыхание во тьме не смолкло — оно лишь стало более хриплым, прерывистым и каким-то стонущим, из чего я заключил, что вовсе не убил, а всего лишь ранил зверя. После этого открытия все мое желание обследовать загадочную тварь моментально уле-

тучилось. Некое странное чувство, родственное безосновательному суеверному ужасу, переполнило все мое существо, и я не только не подошел, чтобы взглянуть на своего поверженного противника, но и не стал предпринимать дальнейших попыток закидать его камнями и таким образом закончить свое дело. Вместо того я повернулся и стремглав бросился по коридору в том направлении, откуда (как мне подсказывал мой почти парализованный страхом и отчаянием мозг) я пришел. Внезапно я услышал новый звук — вернее, целую последовательность звуков. То был размеренный топот ног, одетых в тяжелые, подбитые железными подковками ботинки. На этот раз сомнений быть не могло. *Это был гид!* Потом я кричал, вопил, орал и, пожалуй, даже стenal от радости при виде замаячивших на сводах пещеры желтоватых бликов, которые не могли быть ничем иным, как отсветом фонаря. Я бросился на свет и, прежде чем сумел понять, как это произошло, уже лежал у ног своего спасителя, цепляясь за его башмаки, и, забыв про свое хваленое хладнокровие, нечленораздельно выплескивал из себя все пережитые мною страхи пополам с самыми непонятными выражениями благодарности, которые кому-либо на свете доводилось слышать в подобной ситуации. Постепенно я все же пришел в себя и кое-как обрел присутствие духа. Оказалось, что гид заметил мое отсутствие вскоре после того, как мы вошли в пещеру. Руководствуясь свойственным ему инстинктом, он вернулся к тому месту, где мы разговаривали с ним в последний раз, и, обследуя одно за другим все попутные ответвления пещеры, после четырех часов поисков нашел мой туннель.

К тому времени, как он закончил свой рассказ, я уже заметно приободрился. Присутствие живого человеческого существа и яркий свет лампы вдохнули в меня утраченное было мужество, и, вспомнив о звере, раненном мною в нескольких десятках метров отсюда, я предложил своему спутнику исследовать загадочное существо, ставшее моей жертвой. Мне удалось проследить недавний путь к месту моего ужасного испытания. Вскоре перед нами замерцал в свете фонаря некий белый предмет, отчетливо выделявшийся на светлом фо-

не известняка. Осторожно приблизившись к распростертому на камнях телу, мы не смогли сдержать удивленного восклицания, ибо нашим глазам предстало самое кошмарное чудовище из всех, что нам обоим когда-либо доводилось видеть. Более всего оно было похоже на крупную человекоподобную обезьяну, сбежавшую из какого-нибудь странствующего цирка. Его волосы были ослепительно белыми, что, без сомнения, было следствием долгого нахождения в чернильных безднах пещеры, куда не проникал ни один луч солнца. Гораздо труднее было объяснить тот факт, что на большей части его тела *волос вообще не было!* Исключение составляла голова, целиком заросшая неимоверной длины растительностью, которая грязными и спутанными лохмами свешивалась на плечи чудовища. Зверь лежал ничком, и потому мы не имели возможности взглянуть на его морду. Передние и задние конечности были развиты явно непропорционально, что, впрочем, объясняло его странную манеру передвигаться, что так поразила меня ранее. Кончики пальцев зверя заканчивались длинными когтями, слегка напоминающими человеческие ногти. При этом его конечности были явно не приспособлены для хватания. Я посчитал, что они утратили эту способность ввиду все того же длительного пребывания в подземелье, тем более что на это совершенно недвусмысленно указывала превалирующая и даже какая-то неестественная белизна, свойственная всему кожному покрову существа. Никаких признаков хвоста мы не обнаружили.

Дыхание животного становилось все слабее, и мой спутник уже поднял было револьвер, чтобы избавить его от лишних страданий, когда оно вдруг испустило слабый звук, заставивший гиду выпустить оружие из рук. Я не могу в точности описать этот звук — знаю только, что его не мог издать ни один представитель животного мира. Возможно, что присущее ему необычное качество объясняется продолжительным периодом существования в условиях абсолютной, ничем не прерываемой тишины, а также внезапным появлением света, которого несчастное существо не видело с того времени, как заблудилось в пещере. Так или иначе, звук этот, более всего

похожий на басовитое бормотание, продолжал раздаваться у наших ног. Внезапно по телу животного пробежала сильнейшая судорога, конечности напряглись, пальцы сжались в конвульсиях. Содрогнувшись всем телом, белая обезьяна одним рывком перекатилась на спину, обратив к нам лицо. Несколько мгновений я стоял как вкопанный. Я был настолько поражен видом глаз существа, что не помышлял ни о чем происходившем вокруг меня. Глаза были черными — глубокими и беспросветно-черными. Они, как угли, выделялись на фоне его белоснежных волос и светлой кожи. Как и у прочих обитателей подземных полостей, они глубоко запали в глазницы и казались лишенными зрачков. Нагнувшись поближе, я обнаружил, что лицо существа было более плоским и имело более густой и длинный волосяной покров, чем у большинства обезьян. При этом его нос был гораздо крупнее обезьяньего.

В то время как мы с ужасом взирали на представшее нашему взору отвратительное зрелище, толстые губы чудовища раскрылись и до нашего слуха донеслось несколько звуков иного качества. Затем существо умолкло навсегда.

Дрожавший с головы до пят гид принялся яростно трясти меня за рукав куртки. Фонарь у него в руке ходил ходуном, отчего на сомкнувшихся вокруг нас каменных стенах плясали самые невероятные тени.

Я не отвечал на его отчаянный призыв, но продолжал неподвижно стоять посреди туннеля, уставившись на тело у меня под ногами.

Затем обуревавший меня ужас сменился удивлением, гневом, состраданием и сознанием вины. Ибо последние звуки, исторгнутые распростертой на известняковом полу фигурой, открыли нам ужасную истину: убитое мною существо, загадочный зверь, обитавший в темных подземных безднах, был — по крайней мере, когда-то в прошлом — ЧЕЛОВЕКОМ!!!

АЛХИМИК

На вершине холма, крутые склоны которого поросли травой, а у подножья сплетает узловатые ветви первозданный лес, стоит древний замок моих предков. Из века в век его зубчатые стены и башни свысока взирают на дикую и суровую местность вокруг холма. Столетиями замок служил пристанищем для горделивого рода, древностью своей превосходящего даже замшелую кладку в основании крепостных стен. Эти стены и башни, выдержавшие немало яростных штурмов, а теперь медленно разрушающиеся под натиском неумолимого времени, в стародавнюю феодальную эпоху славились как одна из самых мощных и неприступных крепостей во всей Франции. Немало воинственных баронов, графов и даже королей обломали зубы об эту твердыню, и ни разу ее просторные залы не слышали тяжелой поступи торжествующего завоевателя.

Однако с тех славных пор очень многое изменилось. Бедность — чтоб не сказать нищета — вкупе с гордостью, не позволявшей потомкам древнего рода унижаться до меркантильных расчетов, привели к тому, что их владения, в прошлом великолепные, постепенно приобрели жалкий вид. Осыпающиеся стены, запущенный парк, грязная яма на месте крепостного рва, щербатая брусчатка дворики и покосившиеся башни вкупе с просевшими полами, источенной червями панельной обшивкой и поблекшими гобеленами во внутренних помещениях свидетельствовали о безвозвратно ушедшем ве-

личии. С годами одна за другой приходили в негодность мощные угловые башни, пока в более-менее жилом состоянии не осталась лишь четвертая и последняя из них, приютившая немногочисленных потомков некогда богатых и могущественных властителей.

В одной из огромных и мрачных комнат внутри этой башни девяносто лет назад появился на свет я — Антуан, граф де С., последний потомок этого злосчастного и проклятого рода. Среди этих стен — а также в блужданиях по окрестным дремучим лесам, сырым лощинам и темным гротам — прошли первые годы моей безрадостной жизни. Родителей своих я никогда не знал. Мой отец погиб в возрасте тридцати двух лет, за месяц до моего рождения — ему на голову упал камень, отвалившийся от ветхого парапета в давно заброшенной части замка. Моя мать скончалась при родах, так что я остался на попечении нашего единственного слуги, весьма почтенного старика, которого, сколько помню, звали Пьером. Я был единственным ребенком, и это одиночество еще усугублялось стараниями воспитателя, который всячески препятствовал моему общению со сверстниками — детьми крестьян, чьи фермы были разбросаны по равнине, окружающей замковый холм. В то время Пьер объяснял свой запрет тем, что мне, отпрыску благородного рода, негоже водиться с простолюдинами. Но теперь-то я знаю, что его настоящей целью было оградить меня от местных преданий о проклятии, лежащем на нашей семье, — преданий, преувеличенно зловещим шепотом пересказываемых по вечерам перед очагами в крестьянских домишках.

Таким образом, предоставленный самому себе, я провел годы за чтением старинных фолиантов, коими изобиловала полутемная библиотека замка, а в перерывах между чтением бесцельно бродил по сумрачному лесу. Неудивительно, что следствием такого времяпрепровождения стала моя неизбывная меланхолия. Мой выбор книг соответствовал моему душевному состоянию: по большей части то были оккультные труды немыслимой давности.

Как ни странно, в семейной библиотеке я нашел очень мало сведений, касающихся моего рода, а немногочисленные

документы на сей счет были полны недомолвок и темных намеков. Быть может, именно решительное нежелание моего престарелого наставника обсуждать со мной семейную историю стало причиной страха, который я испытывал перед своим огромным и пустынным обиталищем. Позднее, уже выйдя из детского возраста, я сумел свести воедино обрывки фраз, которые срывались с уст к тому времени совсем одряхлевшего старика. В той или иной степени они касались одного обстоятельства: раннего возраста, в котором уходили из жизни все носители титула графов С. Поначалу я просто решил, что наш род, увы, по каким-то наследственным причинам не относится к числу долгожителей, но, прислушиваясь к бессвязным речам старика, обратил внимание на часто упоминавшееся в них старое проклятие, якобы из-за которого на протяжении столетий ни один граф С. не прожил более тридцати двух лет. В мой двадцать первый день рождения старый Пьер вручил мне документ, который, по его словам, из поколения в поколение передавался в нашей семье от отца к сыну. Странным было содержание этого документа, и оно подтвердило самые мрачные из моих опасений. К тому времени моя вера в сверхъестественное уже пустила достаточно глубокие корни, иначе я бы с пренебрежением отверг эту писанину как невероятный вымысел.

В рукописи шла речь о событиях тринадцатого века, когда замок, в котором я родился и вырос, был еще крепок, грозен и неприступен. В ту пору во владениях графа С. жил один человек низкого происхождения, но высоких амбиций, далеко превосходивший в этом плане всех прочих простолюдинов. Его имя было Мишель, но местные чаще называли его *Maui-vais*, то есть Дурной, ибо он имел весьма зловещую репутацию. Занимался он вещами, далеко не приличествующими простым землепашцам: черной магией, алхимией, поисками философского камня и эликсира бессмертия. У Мишеля имелся сын по имени Шарль, также преуспевший по части запретных знаний и из-за этого получивший прозвище Шарль-колдун. Этой парочки сторонились все честные люди, не без основания подозревая их в делах самого темного свойства.

Ходили слухи, что старый Мишель заживо сжег свою жену в качестве жертвоприношения Сатане. Отцу и сыну также приписывали бесследное исчезновение многих крестьянских детей в округе. Единственным относительно светлым лучом на фоне мрака, окутывавшего этих двоих, являлась иступленная любовь, которую старик питал к своему отпрыску, и не менее сильное ответное чувство последнего, далеко выходящее за рамки обычной сыновней привязанности.

И вот однажды поздним вечером в замке на холме поднялся страшный переполох по причине исчезновения юного Годфри, сына графа Анри. Обыскивая окрестности, обезумевший отец в сопровождении слуг ворвался в хижину колдунов и застал старого Мишеля хлопочущим у огромного котла с каким-то варевом. Не помня себя от гнева и отчаяния, граф набросился на старого колдуна и не разжимал хватки на его горле, пока жертва не испустила дух. А тем временем в замке ликовали, найдя юного Годфри живым и невредимым в одном из дальних, давно не используемых покоев, но посланец с этой радостной вестью прибыл слишком поздно, чтобы предотвратить бессмысленную расправу над стариком. А когда кавалькада с графом во главе покидала хижину алхимиков, за деревьями появилась фигура Шарля. Громкий гомон графской челяди донес до него смысл происшедшего, но он в первый момент как будто бесстрастно воспринял новость о гибели отца. Затем он медленно двинулся по тропе навстречу графу и глухим замогильным голосом произнес проклятие, с той поры преследовавшее род графов С.:

Пусть каждый потомок, возглавив твой род,
Твой нынешний возраст не переживет!

С последними словами Шарль внезапно выхватил из складок своей одежды стеклянный флакон и резким движением выплеснул его содержимое — какую-то бесцветную жидкость — в лицо убийцы своего отца, а после того канул в черноту ночного леса. Граф скончался на месте, не издав ни звука, и был похоронен на следующий день; в ту пору со дня его рождения прошло чуть больше тридцати двух лет. Слуги и крепостные

крестьяне долго прочесывали окрестности в поисках убийцы, но напасть на его след не смогли.

В последующие годы никто больше не заводил речь о проклятии, и оно постепенно изгладилось из памяти домочадцев покойного графа. Посему, когда Годфри — невольный виновник той трагедии и носитель графского титула после смерти отца — в возрасте тридцати двух лет погиб на охоте от случайной стрелы, все оплакивавшие эту потерю не связали ее с давними словами Шарля-колдуна. Но когда следующий молодой граф, носивший имя Робер, был найден мертвым в поле близ замка (причем без каких-либо признаков насилия), среди крестьян пошли толки: мол, неспроста ранняя смерть постигла их господина вскоре после того, как он отметил свой тридцать второй день рождения. Луи, сын Робера, утонул в крепостном рву по достижении все того же рокового возраста, и в последующие века скорбный список исправно пополнялся именами все новых Роберов, Анри, Антуанов и Арманов, живших счастливо и достойно, но безвременно уходивших в мир иной с приближением возраста, в котором их предок совершил то злосчастное убийство.

По прочтении рукописи я уверовал в действенность проклятия, а следовательно, и в то, что мне судьбой отмерено еще максимум одиннадцать лет жизни. И эта самая жизнь, совсем недавно не имевшая для меня большой ценности, теперь с каждым днем казалась мне все дороже, меж тем как я все глубже погружался в тайны запретного мира черной магии. Живя отшельником, я не интересовался достижениями современной науки, предпочитая ей Средневековье с его демонологией и алхимией, — то есть занимаясь тем же, чем некогда занимались старый Мишель и его сын Шарль. Однако ни в одном старинном источнике мне не попадались сведения о необычном проклятии, наложенном на мой род. Иной раз я пытался мыслить рационально и искал естественные объяснения череде смертей, в частности предполагая их делом рук Шарля и его потомков. Однако после скрупулезных архивных изысканий я не нашел свидетельств того, что род алхимика был продолжен, и тогда вернулся к оккультным штудиям в

надежде отыскать средство, снимающее заклятие. В одном вопросе я был абсолютно тверд: я решил никогда не жениться, чтобы проклятие умерло вместе со мной, ибо в нашем роду больше не было мужских ветвей.

Старый Пьер покинул земную юдоль незадолго до моего тридцатилетия. Я без чьей-либо помощи похоронил его под плитами внутреннего двора, где он при жизни так любил прогуливаться. Отныне я остался единственным человеческим существом в огромной старой крепости и под гнетом одиночества почти смирился в душе с неотвратимостью рока, уготовившего мне скорую кончину по примеру моих предков. Теперь я большую часть времени посвящал обследованию полуразвалившихся и давно заброшенных частей замка, куда боялся заглядывать в юности. Иные из тех помещений, как рассказывал Пьер, уже более четырех столетий не слышали звука людских шагов. Многое из увиденного там внушало трепет. Старинная мебель, покрытая вековым слоем пыли, насквозь прогнила из-за царившей там сырости. Паутина встречалась повсюду в невиданном изобилии, а гигантские нетопыри — единственные обитатели этого мрака — хлопали жуткими костлявыми крыльями при моем приближении.

Теперь я очень внимательно вел счет своим дням и даже часам, поскольку каждое движение маятника массивных часов в библиотеке отмеряло стремительно сокращавшийся срок моей жизни. И вот настали дни, которых я ждал с тревожным предчувствием. Все мои предки умирали незадолго до достижения ими точного возраста графа Анри в день его смерти. Теперь и я приблизился к этому возрасту и был все время настороже — не зная, в каком обличье настигнет меня смерть, но будучи полон решимости встретить ее лицом к лицу, а не как жалкий трус или пассивная жертва. И я с удвоенным рвением продолжал обследовать старый замок.

Событие, решительно изменившее мою жизнь, произошло во время самой длительной из моих вылазок в заброшенные помещения крепости. Согласно расчетам, оставалось менее недели до рокового часа, который ограничивал срок моего земного существования. Большую часть того утра я потратил,

карабкаясь вверх и вниз по полуразрушенным лестничным пролетам в одной из башен, сильнее всего пострадавшей от времени. К полудню я добрался до ее самого нижнего уровня, где в Средние века, судя по всему, располагалась темница, а позднее был устроен пороховой погреб. Я медленно продвигался по осклизлому полу среди стен, покрытых коркой селитряных отложений, а через некоторое время в неверном свете факела увидел перед собой глухую, сочившуюся влагой стену. Я уже было повернул назад, как вдруг заметил небольшой люк в полу прямо у моих ног. Чуть помедлив в нерешительности, я ухватился за кольцо, вделанное в крышку люка, и с огромным трудом его поднял. Из черного провала хлынули удушливые испарения, едва не загасившие мой факел, но я успел разглядеть ведущие вниз каменные ступени. Дождавшись, когда поток зловония ослаб, а факел вновь начал гореть более-менее ровно, я начал спуск. Ступенек оказалось много, а от последней из них начинался узкий, облицованный камнем туннель, который, судя по всему, лежал ниже подножия холма.

Я долго шел по туннелю, пока не уперся в толстую дубовую дверь, влажную, как и все вокруг, и воспротивившуюся моим попыткам ее открыть. Убедившись в тщетности своих усилий, я двинулся обратно по туннелю, но через несколько шагов замер как вкопанный, испытав сильнейшее потрясение, не сравнимое ни с чем дотоле мною пережитым. Я внезапно услышал, как *дверь позади меня заскрипела, медленно поворачиваясь на ржавых петлях*. Мои чувства в тот момент не поддаются описанию. Одна лишь мысль о возможной встрече с человеком либо призраком в давным-давно заброшенном подземелье замка повергла меня в невообразимый ужас. Когда я наконец преодолел оцепенение и повернулся в сторону звука, мои глаза начали ощутимо вылезать из орбит.

В готической арке дверного проема стоял человек в темном платье средневекового фасона и маленькой шапочке. Его длинные густые волосы и борода были иссиня-черного цвета, лоб казался ненормально большим, впалые щеки покрывала сеть морщин, а кисти длинных рук, узловатые и клешнеобраз-

ные, имели мертвенно-бледный, мраморный оттенок, какого я ни разу не видел у людей. Иссохшее тело незнакомца было как-то странно скособочено, при этом почти теряясь в складках его просторного облачения. Но более всего меня поразили его глаза: два провала бездонной черноты, исполненные дикой злобы и ненависти. И эти глаза пристально смотрели на меня, словно намереваясь растерзать в клочья мою душу.

Наконец человек подал голос — резкий, гулкий, дышавший угрозой, — от которого у меня пошли мурашки по коже. Изъяснялся он на вульгарной латыни, бывшей в ходу среди ученых людей Средневековья и в целом неплохо знакомой мне по многочисленным трактатам демонологов и алхимиков того времени. Прежде всего человек-призрак напомнил о проклятии, тяготевшем над моим родом, и о моем близком конце, который был предопределен из-за убийства моим предком старого Мишеля. Далее он принялся со злорадством описывать месть Шарля-колдуна. Он рассказал, как Шарль скрылся в ночном лесу сразу после отмищения графу и как он спустя годы вернулся в эти места, чтобы подстеречь и убить стрелой Годфри, приближавшегося к возрасту, в котором погиб его отец. Он рассказал, как Шарль тайно обосновался в одном из уже тогда забытых замковых подземелий, в дверном проеме которого теперь маячила эта жуткая фигура; он рассказал, как Шарль напал посреди поля на Робера, сына Годфри, и силой влил ему в рот яд, таким образом умертвив его в тридцатидвухлетнем возрасте и продолжив исполнение проклятия. Рассказчик не удосужился прояснить загадку, казавшуюся мне наиболее странной во всей этой истории, а именно: кем и как исполнялось проклятие после смерти Шарля. Вместо этого он пустился в рассуждения об опытах двух алхимиков, отца и сына, особо упирая на попытки Шарля создать эликсир, дарующий вечную жизнь и молодость.

Воодушевление, с которым он говорил об алхимических опытах, на время затмило в его взоре ту яростную ненависть, что так потрясла меня вначале, но затем этот дьявольский блеск объявился вновь. Незнакомец издал мерзкий, по-змеиному шипящий звук и вытащил из складок одежды неболь-

шую склянку, очевидно намереваясь покончить со мной тем же образом, каким поступил с графом Анри Шарль-колдун шестьсот лет назад. Моими дальнейшими действиями руководил исключительно инстинкт самозащиты; преодолев дьявольское оцепенение, которое сковывало меня перед лицом врага, намеревавшегося меня изничтожить, я запустил в него уже почти погасшим факелом. Послышался звон стекла; склянка упала и разбилась на каменном полу у ног незнакомца, чья одежда с неожиданной быстротой занялась странным, почти белым пламенем. Нечеловеческий вопль ужаса и бесильной злобы, исторгнутый незадачливым убийцей, оказался слишком сильным испытанием для моих и без того предельно напряженных нервов, и я без чувств рухнул на скользкие камни туннеля.

Когда я очнулся, вокруг стояла крошечная тьма. Мой разум противился осмыслению происшедшего, но любопытство оказалось сильнее. Кем было это исчадие зла и как этот злодей проник в подвалы замка, мучительно думал я. Почему он хотел отомстить за смерть старого Мишеля и каким образом проклятие исполнялось в течение многих веков, прошедших со времен Шарля-колдуна? Страх смерти более не тяготел надо мной с той минуты, как был повержен источник смертельной угрозы, и теперь во мне разрасталось желание выяснить все о проклятии, столетиями преследовавшем мой род и превратившем последние годы моей жизни в непреходящий кошмар. Итак, решившись разобраться в этом до конца, я вынул из кармана кремень и огниво и зажег свой запасной факел.

Первым, что я увидел в его свете, оказалось обугленное тело незнакомца, черной бесформенной грудой лежавшее на полу. Его жуткие глаза были теперь закрыты. Я поспешил отворотить от него взор и вошел в помещение за дверью, оказавшееся чем-то вроде алхимической лаборатории. В одном из углов были небрежно свалены в кучу бруски желтого металла, ярко засверкавшие, когда я приблизил к ним факел. То могло быть золото, но я даже не попытался в этом удостовериться, все еще находясь под слишком сильным впечатле-

нием от пережитого. В дальнем конце комнаты обнаружилось отверстие, которое вывело меня в один из заросших оврагов, коими изобилдовал дикий лес у подножия холма. Выяснив теперь, каким образом незнакомец проникал в замок, я возвратился в туннель. Не желая более смотреть на останки, я хотел быстро пройти мимо, но тут послышался слабый звук, как будто указывающий на то, что жизнь еще не окончательно угасла в этом обожженном и скрюченном теле. Преодолев отвращение, я наклонился, чтобы еще раз его оглядеть. В этот самый момент вдруг раскрылись пронзительно-черные глаза — даже более черные, нежели обугленное лицо, — а растрескавшиеся губы попытались что-то произнести. Я с трудом разобрал только имя «Шарль-колдун» и еще два слова — «годы» и «проклятие», в остальном же смысл его бессвязного бормотания от меня ускользал. Когда он это понял, темный взгляд вспыхнул такой злобой, что я невольно отшатнулся, позабыв о беспомощном состоянии врага.

И тогда этот несчастный, собрав остатки сил и приподняв голову с оклизлых камней пола, к моему ужасу, заговорил громко и вполне отчетливо. Слова его, в каждом из которых чувствовалось отлетавшее дыхание жизни, до сих пор стоят у меня в ушах, отравляя мой покой днем и ночью.

— Глупец! — почти прокричал он. — Ты так и не понял, в чем состоял мой секрет? Твой никчемный умишко так и не смог уяснить, *как* на протяжении шести веков сбывалось проклятие, наложенное на твой род! Разве я не говорил тебе про эликсир вечной жизни? Тебе до сих пор невдомек, что величайшая тайна алхимии была успешно открыта?! Так слушай же — это я! Я! Это я прожил шесть веков, чтобы мстить, ибо *я и есть Шарль-колдун!*

ПРЕОБРАЖЕНИЕ ХУАНА РОМЕРО

Сказать по правде, я не имею особого желания распространяться обо всем происшедшем на шахте Нортонa 18 и 19 октября 1894 года. Только мой долг перед наукой вынуждает меня вспоминать на закате жизни о страшных событиях той ночи, а именно о преображении (назовем это так) Хуана Роме-ро.

Пусть мое имя и происхождение останутся загадкой для потомства — это представляется мне более удобным по той простой причине, что человек, переезжающий в Штаты или колонии, оставляет за собой право хранить свое прошлое в тайне. Кроме того, мои прежние занятия не имеют ни малейшего отношения к этому повествованию, за исключением, пожалуй, одного факта — моего пребывания в Индии, где я чувствовал себя в большей степени своим среди местных се-добородых мудрецов, чем среди братьев-офицеров. Я еще не успел всерьез увлечься учениями Востока, когда определенные обстоятельства вынудили меня оставить службу, так что в конечном счете я оказался на просторах Дикого Запада уже под другим, самым обыкновенным и ничего не значащим именем.

Лето и осень 1894 года я провел на мрачных склонах Кактусовых гор, где трудился рудокопом на знаменитой шахте Нортонa. Благодаря ее открытию одним пожилым старателем несколькими годами ранее, весь этот район прежде безлюдной пустыни стал средоточием хотя и убогой, но все-таки жизни.

Золотоносная пещера, расположенная несколько ниже горного озера, обогатила своего почтенного первооткрывателя сверх всякой мыслимой меры. Сейчас шахта представляла собой огромное количество туннелей, где компанией, которой она была продана, велись интенсивные разработки золотоносных жил. Огромная и разношерстная армия рудокопов день и ночь посменно трудилась в многочисленных шурфах и скальных пустотах. Мистер Артур, работавший на шахте горным мастером, часто говаривал об уникальности местных геологических образований и, вслух размышляя о возможной протяженности пещеры, прикидывал будущее этого гигантского горнорудного предприятия. Что же касается обилия встречаемых нами подземных пустот, то мистер Артур объяснял их возникновение действием мощных потоков грунтовых вод.

Хуан Ромеро появился на копях вскоре после меня. Внешне он мало чем отличался от остальных здешних рабочих, в большинстве своем мексиканцев, хотя черты его лица, в целом типично индейские, были более утонченными, а кожа — более светлой, чем у прочих индейцев, как чистокровных, так и с примесью испанской крови. При этом, как ни странно, цвет его кожи не вызывал ни малейших ассоциаций с касильскими конкистадорами или американскими первопоселенцами. Более всего он напоминал какого-нибудь древнего ацтекского вождя, что особенно бросалось в глаза в те моменты, когда он, встав поутру с первыми лучами солнца, воздевал руки к светилу, как бы исполняя некий старинный ритуал, смысл которого он и сам не был в состоянии постичь. В остальных случаях кровь благородных предков никак в нем не проявлялась. Невежественный и грязный, он был в этом сродни другим мексиканцам, работавшим на шахте. Как мне впоследствии стало известно, его еще ребенком подобрали в заброшенной горной хижине — он один остался в живых после свирепствовавшей по всей округе эпидемии. Неподалеку от хижины валялись два уже обглоданных стервятниками скелета, видимо, принадлежавших его родителям. Никто толком не помнил ни их внешности, ни хотя бы имен. Вдобавок ко

всему последовавший вскоре обвал стер с лица земли, а заодно и из людской памяти даже само место, где они когда-то жили. Мальчик вырос в семье мексиканского угонщика скота, унаследовав его имя, а также привычки и манеры своего малопочтенного окружения.

Привязанность, которую испытывал ко мне Хуан, объяснялась наличием у меня старинного индийского перстня необыкновенной красоты, который я надевал в редкие свободные минуты. Как я его приобрел — рассказывать не стану. Скажу только, что он был последним звеном, соединявшим меня с уже, казалось бы, навсегда закрытыми страницами моей прошлой жизни. Перстень имел для меня огромную ценность. Несколько раз я замечал, как зачарованно смотрел на него этот странный мексиканец, но никогда его взгляд не выражал чувства зависти. Возможно, древняя вязь перстня вызывала в его неразвитом, но цепком от природы уме какие-то особые воспоминания. Уже через несколько недель после своего появления здесь он, как верный пес, ходил за мной по пятам. Но наши беседы были ограничены в силу того, что он плохо знал английский, а мой академический испанский сильно отличался от простонародного диалекта, на котором говорил он.

Ничто не предвещало событий, о которых я собираюсь поведать. Для нас обоих все случившееся после того взрыва явилось полной неожиданностью. А началось все с решения горного мастера углубить шахту взрывным способом, так как скальные породы на достигнутой нами глубине очень сложно было пройти вручную. Посему был заложен мощный заряд динамита — вероятно, даже слишком мощный, как показали последствия. Мы с Хуаном не имели отношения к взрывным работам и узнали подробности происшедшего позднее, от непосредственных свидетелей. При взрыве содрогнулась земля и закачались близлежащие постройки, а все находившиеся неподалеку рабочие буквально попадали с ног. Озеро Джуэл, находившееся несколько выше уровня разработок, поднялось на дыбы, как в сильную бурю. Дальнейшее обследование показало, что внутри горы открылась огромная полость, которую

не удалось измерить подручными средствами или высветить мощным фонарем. Испуганные забойщики поспешили известить об этом мистера Артура, который тут же распорядился вязать канаты и спускать их в пропасть до тех пор, пока конец не достигнет дна.

Некоторое время спустя один из забойщиков доложил мастеру о бесплодности всех предпринятых попыток. Очень твердо, хотя и с должной почтительностью, забойщик сообщил, что люди отказываются продолжать работу, пока отверстие провала не будет замуровано. Что-то здесь противоречило их опыту и профессиональному чутью. Мастер не стал их уговаривать. Немного подумав, он приступил к распределению работ на следующий день. Ночная смена в забой не спускалась.

В два часа пополудни на горе вдруг истошно завыл койот. Ниже, в рабочем поселке, ему начала вторить собака. Над горной грядой собиралась буря. Причудливой формы облака неслись с огромной быстротой, затягивая последние просветы в ночном небе, в которые временами проглядывала ущербная луна. Я проснулся от крика, доносившегося со второго этажа нар. Это кричал Ромеро, голосом напряженным и взволнованным, в котором звучало какое-то неясное мне ожидание.

— *¡Madre de Dios! — el sonido — ese sonido — ¡oiga Vd! — ¿lo oye Vd?*¹ — ЭТОТ ЗВУК, сеньор!

Я прислушался, стараясь уловить звук, о котором он говорил. Но услышал только совместное завывание койота, собаки и бури. Последняя набирала силу. Ветер выл все сильнее, окошко нашего барака озаряли блики молний. Я попробовал уточнить у встревоженного мексиканца, кому принадлежат слышимые им звуки:

— *¿El coyote? — ¿el perro? — ¿el viento?*²

Однако Ромеро не отвечал, продолжая в страхе шептать:

¹ Матерь Божья! Звук — этот звук — слушайте! Вы слышите? (*искаж. исп.*)

² Койот? Собака? Ветер? (*исп.*)

— *¡El ritmo, señor — el ritmo de la tierra!*¹ — ЭТО БИЕНИЕ, ТАМ, ВНИЗУ!

Я начал вслушиваться и содрогнулся, сам не зная почему. Глубоко, очень глубоко подо мной действительно раздавался ритмичный звук. Он постепенно усиливался и вскоре звучал уже громче лая собаки, воя койота и стенаний бури. Более всего это напоминало шум двигателя в чреве океанского лайнера, как он ощущается человеком, стоящим на верхней палубе. Однако данный звук имел, как мне показалось, не механическую природу — в нем чувствовалась стихия жизни. Особенно впечатляла *удаленность* звука, как будто исходившего из самых недр земли. Невольно мне пришла на ум цитата из Джозефа Глэнвилла, послужившая эпиграфом к одному из рассказов По:

«...Необъятность, неисчерпаемость и непостижимость деяний Господних, *глубиной своей много превосходящих глубину Демокритова колодца*».

Внезапно Ромеро соскочил с нар и замер подле меня, пристально глядя на мой жутковато поблескивающий при каждой вспышке молнии перстень. Затем он направил взгляд в сторону шахты. Я тоже поднялся, и некоторое время мы молча прислушивались. В звуке все более проступал живой, осознанный ритм. Затем, будто подчиняясь чей-то неведомой воле, мы направились к двери, которая содрогалась под порывами ветра. Вне барака подземное пение — ибо сейчас звук начал походить на пение — слышалось отчетливее, и мы двинулись в бушующую черноту ночи по направлению к шахте.

На нашем пути мы не встретили ни одного человека: рабочие из ночной смены, получив неожиданный выходной, сейчас наверняка торчали за стойкой в старательском поселке под горой, пичкая кошмарными историями какого-нибудь полусонного бармена. Только в будке сторожа, подобно всевидящему оку, светилось окно. Мне захотелось узнать мнение сторожа насчет этих звуков, но Ромеро очень спешил, и я решил от него не отставать.

¹ Ритм, сеньор, — ритм земли! (исп.)

Когда мы проникли в шахту, жуткое многоголосое пение и бой барабанов, доносившиеся откуда-то из глубин, привели меня в состояние, близкое к шоку. Уж очень все это напоминало одну из тех восточных церемоний, свидетелем которых я был в Индии много лет тому назад. Мы с Ромеро продолжали движение по многочисленным ходам и спускам к неудержимо влекущей нас тайне. На одно мгновение мне показалось, что я схожу с ума. Это произошло, когда я увидел свет, что исходил от моего перстня, пронзая вязкий и влажный подземный мрак.

Мы спустились по очередной грубо сколоченной лестнице, и тут вдруг Ромеро издал страшный крик и умчался в сторону бездны, оставив меня одного. Одновременно новая дикая нотка зазвучала в песне и бое барабанов. Ромеро что-то кричал, но я не понимал его речи — это был какой-то совершенно неизвестный мне язык. Резкие гортанные звуки пришли на смену обычной для него смеси дурного испанского с еще более плохим английским, и только одно часто повторявшееся слово «Уицилопочтли» показалось мне смутно знакомым. Позднее я обнаружил это слово в книге одного знаменитого историка — и содрогнулся, осознав его смысл.

Кульминация ночных событий показалась мне на редкость быстротечной. Самое главное произошло в тот момент, когда я достиг края бездонного провала на нижнем уровне шахты. Из темноты донесся последний вскрик мексиканца, который исчез в ответном хоре странных, сводящих с ума звуков. Мне показалось, что все неведомые прежде ужасы земных недр в одно мгновение обрели свой голос и были отныне снедаемы желанием уничтожить человеческую расу как таковую. Неожиданно мой перстень перестал излучать свет. На ощупь я добрался до края пропасти и посмотрел вниз — там раскинулось сплошное море огней, из глубины которого вырывался чудовищный многоголосый рев. Поначалу я был просто ослеплен. Затем стал различать на фоне пламени отдельные двигающиеся силуэты и, наконец, увидел... Но был ли это Хуан Ромеро? Боже мой! Я не осмелюсь сказать, что именно я там увидел!.. Но, видимо, какая-то небесная сила поспешила мне

на помощь: внизу раздался страшный грохот, подавивший все остальные звуки и сравнимый по мощи со столкновением двух вселенных. Затем воцарился хаос, и я познал мир забвения.

Я затрудняюсь с продолжением рассказа — уж очень странными выглядят обстоятельства этих событий, — но все же постараюсь изложить все, как помню, не проводя четкой грани между реальностью и возможной игрой воображения. Утром я очнулся на своих нарах. Красноватый солнечный свет едва пробивался сквозь мутное оконное стекло. На столе посреди барака лежало бездыханное тело Хуана Ромеро, а рядом наш лагерный врач и несколько других мужчин громко обсуждали внезапную, наступившую во сне смерть мексиканца. Причину ее предположительно связывали с сильным разрядом молнии, среди ночи угодившей прямо в гору. Однако выяснить это в точности не удалось даже при помощи вскрытия, которое не выявило никаких повреждений или признаков заболевания, могущего послужить причиной смерти. Как выяснилось из последующих разговоров, на самом деле ни я, ни Ромеро не выходили ночью из барака. Буря, по утверждениям людей, спускавшихся утром в шахту, вызвала обвал породы и целиком уничтожила открывшуюся в результате взрыва пропасть, которая еще накануне возбудила такое большое волнение среди рабочих. Позднее я узнал от сторожа, что ничего, кроме воя койота, лая собаки и завывания бури, он в ту ночь не слышал, и у меня нет причин сомневаться в его словах.

По возобновлении работ мистер Артур потребовал провести бурение в том месте, где накануне обнаружился провал. Рабочие крайне неохотно, но все же подчинились. Результаты бурения оказались обескураживающими. Свод подземной полости, насколько помнили все его видевшие, отнюдь не был толстым; однако бур, далеко углубившись в дно шахты, не встретил внизу ничего, кроме сплошной скалы. Не обнаружилось там и золота, и горный мастер распорядился прекратить работы в этом месте. Впоследствии его не раз видели неподвижно сидящим за столом в конторе с крайне озадаченным выражением на лице.

И напоследок еще одна странная деталь этой истории. Наутро после бури я обнаружил, что мой индийский перстень исчез. Он был мне очень дорог, и тем не менее я испытал нечто вроде облегчения, когда его не удалось найти. Если кражу совершил кто-то из рабочих, он очень ловко спрятал свою добычу, так что даже проведенный полицией тщательный обыск оказался безрезультатным. Хотя в данном случае, как мне кажется, действовали иные, отнюдь не человеческие силы (в Индии мне доводилось слышать о многих еще более странных вещах).

Мое понимание происшедшего время от времени меняется. При свете дня все это представляется мне лишь жутким сном; однако иной раз по осени, обычно часа в два ночи, когда вдали слышен звериный вой и яростный ветер бьется о стены дома, до меня доносится нечто похожее на ритмический звук далеких земных глубин... В такие ночи я вновь отчетливо ощущаю весь ужас того, что в моей жизни будет навсегда связано с преобразованием Хуана Ромеро — ибо преобразование это было воистину ужасным.

УЛИЦА

Иные полагают, что все предметы и места вокруг нас наделены душой, иные утверждают обратное; я же оставляю свое мнение при себе и просто расскажу вам историю одной Улицы.

Эту Улицу строили и обживали люди сильные, честные и верные своему долгу — люди одной с нами крови, герои-первопроходцы, прибывшие сюда с благословенных островов по ту сторону моря. Сперва это была всего лишь тропа, проложенная водоносами от лесного родника до небольшой группы домов у морского берега. С прибытием новых колонистов одинокий хутор превратился в поселок, растянувшийся вдоль северной стороны Улицы. Вновь прибывшие ставили крепкие дома из дубовых бревен, выкладывая из камня лишь стену со стороны леса, откуда в любой миг могла прилететь горящая индейская стрела. А еще через несколько лет дома начали появляться и на южной стороне Улицы.

Суровые мужчины в островерхих шляпах, в ту пору ходившие по Улице, всегда имели при себе мушкет или дробовик. С ними вместе были их жены в чепцах и детишки с не по возрасту серьезными лицами. По вечерам эти мужчины, женщины и дети рассаживались перед каминами, читали вслух и неторопливо беседовали. Их книги и беседы были незатейливы, а то и примитивны, но они укрепляли их дух и помогали изо дня в день упорно и терпеливо возделывать землю, отвоеванную у дикого леса. Прислушиваясь к разго-

ворам старших, дети узнавали о делах и обычаях предков, о милой старой Англии, которую они никогда не видели или же совсем не помнили, покинув ее еще младенцами.

Потом была война с индейцами, а по ее завершении краснокожие больше не тревожили Улицу набегами. Люди усердно трудились, наживали добро и наслаждались счастьем в том бесхитростном виде, в каком оно им представлялось. Их дети росли в довольстве, а из-за моря, с далекой родины, приплывали все новые семьи, чтобы поселиться на Улице. И уже дети детей первых колонистов росли вместе с детьми вновь прибывших. Поселок превратился в настоящий город, и наспех срубленные бревенчатые дома понемногу уступили место красивым кирпичным особнякам с каменными ступенями парадных, коваными перилами и наддверными витражами. В то же время это были добротные и прочные здания, призванные служить многим поколениям жильцов. Внутри они также были отделаны со вкусом: резные каминные, витые лестницы, изящная и удобная мебель, а также фарфор и столовое серебро, привезенные из-за моря.

Улица благосклонно внимала чаяниям молодых поколений ее обитателей и радовалась их очевидному культурному прогрессу. Там, где раньше всем заправляли только сила и вера, теперь нашлось место искусству и просвещению. В домах зазвучала музыка, появились картины и книги, а жаждущие знаний юноши потянулись в университет, выросший на равнине к северу от города. На смену островерхим шляпам и мушкетам пришли треуголки, шпаги, кружева и пудренные парики, а по булыжной мостовой, вдоль выложенных кирпичом тротуаров с рядами коновязей, зацокали копыта породистых скакунов и загрохотали колеса позолоченных карет.

Вдоль Улицы росли деревья: роскошные вязы, дубы и клены, — так что летней порой ее украшала нежная зелень и заполнял щебет птиц. В садах за домами цвели розы; садовые дорожки и аккуратные лужайки с солнечными часами были обсажены живыми изгородями, а по ночам лунный свет чарующе искрился в каплях росы на цветочных бутонах.

Так Улица и жила в мечтательной полудреме, обходимая стороной войнами, природными катаклизмами и прочими потрясениями. Правда, однажды большинство молодых людей с Улицы ушло воевать, и не все из них вернулись обратно. Это случилось в ту пору, когда со всех здешних флагштоков исчез старый привычный флаг, а его место занял другой, со звездами и полосами. И хотя люди говорили о каких-то великих переменах, Улица ничего подобного не замечала: ее обитатели остались прежними и обсуждали знакомые вещи на все том же знакомом языке. И деревья по-прежнему дарили кров певчим птицам, и луна по ночам все так же заглядывала в сады с цветущими розовыми кустами.

Время шло, и с Улицы исчезли шпаги, треуголки и парики. Как непривычно смотрелись на первых порах все эти тросточки, высокие шляпы и стриженные головы! А издалека ветер приносил незнакомые звуки: ритмичное пыхтение вперемежку с пронзительными гудками, — причем если сначала эти звуки долетали только со стороны реки, примерно в миле от Улицы, то спустя годы пыхтение и гудки раздавались чуть ли не отовсюду. Воздух был уже не столь чистым, как прежде, но сам дух этого места остался неизменным. Жители Улицы были прямыми потомками основавших ее первопоселенцев — та же кровь текла в их жилах, те же энергия и предприимчивость отличали их начинания. Дух места не изменился и после того, как люди прорыли под Улицей туннели и провели по ним какие-то трубы, а вдоль тротуаров расставили столбы, зачем-то соединив их проводами. Несмотря на все эти новшества, связь с прошлым не обрывалась: оно пустило здесь очень глубокие корни и не могло быть так просто забыто.

Но потом наступили черные дни, когда те, кто помнил старую Улицу, перестали ее узнавать, а многие другие, только что ее узнавшие, не имели понятия о ее прошлом. Новые пришельцы были совсем не под стать прежним жителям: они говорили с резким акцентом, а их лица и в целом внешний вид производили неприятное впечатление. Да и сам образ их мыслей противоречил мудрому и справедливому духу старой Улицы, и она начала тихо угасать — дома ее ветшали, деревья

засыхали одно за другим, а место розовых кустов в садиках заняли сорняки и кучи мусора. Впрочем, однажды бывшая гордость шевельнулась, и произошло это в тот день, когда по Улице вновь прошли маршем молодые люди в синей униформе, отправлявшиеся туда, откуда не всем из них было суждено вернуться.

В последующие годы становилось только хуже. Улица лишилась всех своих деревьев, а остатки розариев исчезли под натиском дешевых уродливых зданий, протянувших сюда свои пристройки с параллельных улиц. Но старинные особняки еще стояли, невзирая на все пертурбации, ибо предки строили их на века. Лица нового типа появились в этих местах: смуглые злые лица с воровато бегающими глазами, обладатели которых несли какую-то тарабарщину и прикрепляли к фасадам старых домов вывески с непонятными словами, где лишь буквы — да и то не всегда — были знакомы Улице. На тротуарах стало не протолкнуться из-за обилия ручных тележек, и над всем этим безобразием постоянно висела кисло-затхлая вонь, так что древний дух места погрузился в летаргический сон.

Затем настали дни волнений и тревог. За морями бушевала война, а в большой далекой стране вспыхнула революция — пала династия, и ее бывшие подданные хлынули на Дальний Запад, неся с собой заразу духовного разложения. Многие из них селились в старых обветшалых домах на Улице, еще помнивших птичий щебет и аромат роз. Между тем наконец пробудился и Дальний Запад, придя на помощь старой родине предков в ее титанической борьбе за спасение цивилизации. Над городами снова взметнулся старый флаг, на сей раз вместе с новым, звездно-полосатым, и еще одним — простым, но благородным триколором. Однако на Улице флаги мелькали редко, ибо здесь царили страх, ненависть и невежество. Снова по ней прошагали маршем молодые парни, но они уже мало напоминали волонтеров былых времен. Что-то существенное было утрачено. Прямые потомки тех самых парней, что уходили на прошлые войны, и теперь не преминули исполнить свой долг; однако они, на сей раз облаченные

в хаки, отбывали из других мест, далеких от Улицы с ее угасшим древним духом.

Наконец из-за морей пришла весть о великой победе, и солдаты с триумфом возвратились домой. Ветераны, вернувшиеся на Улицу, обрели на войне то существенное, чего им недоставало перед уходом; однако страх, ненависть и невежество по-прежнему довели над этим местом, поскольку многие чужаки переждали войну здесь и еще многие продолжали прибывать, вселяясь в старые особняки. А молодые люди, пришедшие с войны, не задержались здесь надолго и уехали в другие места. Среди новоселов преобладали угрюмые чернявые типы, хотя попадались и люди, с виду напоминавшие тех, кто некогда строил Улицу и формировал ее дух. Однако это сходство было только внешним, ибо глаза их светились мрачным нездоровым огнем — огнем алчности, мести и неудовлетворенных амбиций. Измена и мятеж — вот чем были отравлены души этих озлобленных иноземцев, вознамерившихся одним смертельным ударом сокрушить Дальний Запад и по его руинам взобраться на вершину власти. То есть они собирались действовать точно так же, как поступила банда кровавых фанатиков в той злосчастной холодной стране, откуда они были родом. И центром этого заговора стала Улица, дома которой теперь кишели чужеземными творцами смуты, произносившими яростные речи и с нетерпением ждавшими назначенного дня крови, огня и бесчинств.

Слуги закона знали о подозрительных сборищах на Улице, но мало что могли доказать. Напрасно люди в штатском с полицейскими значками за лацканом просиживали ночи напролет в таких сомнительных заведениях, как «Булочная Петровича», «Школа современной экономики Рифкина», «Клуб социального общения» и кафе «Свобода». Там собиралось много людей самого зловещего вида, но общались они посредством лишь им понятных намеков либо на своем родном языке. И среди этого нараставшего хаоса лишь старые дома продолжали стоять, храня память о безвозвратно ушедших благородных веках, о мужественных первопроходцах и о росе на бутонах роз, сверкающей в лунном свете. Иногда какой-ни-

будь поэт или путешественник задерживался перед этими домами в попытке представить себе картины славного прошлого, но таких путешественников и поэтов можно было считать по пальцам.

Согласно распространявшимся слухам, в старых особняках свили гнездо главари разветвленной террористической сети, и они в условленный час должны были дать старт кровавой оргии, призванной уничтожить Америку с ее старыми добрыми традициями, которые так любила и долго лелеяла Улица. Листовки и прокламации облепили грязные стены домов, на разных языках призывая к одному и тому же — к восстанию и резне. Письмена эти недвусмысленно подстрекали людей отвергнуть законы и правила, по которым жили наши отцы, и растоптать самую душу старой Америки, основанную на полутора тысячах лет англосаксонских традиций свободы, справедливости и терпимости. И еще ходили слухи, что мозговым центром чудовищного заговора были коварные иноземцы, обосновавшиеся именно здесь, на Улице, в ее дряхлых особняках, и что по их команде миллионы оболваненных, озверелых нелюдей готовы были выплеснуться из трущоб тысяч городов, убивая, сжигая и разрушая все подряд, пока земля наших отцов не обратится в мертвое пепелище. Обо всем этом много говорилось, и многие со страхом ожидали четвертого июля — дня, особо упомянутого в прокламациях, однако власти по-прежнему не имели доказательств и не могли предъявить обвинение подозреваемым. Никто не мог сказать наверняка, где, когда и кого нужно арестовать, чтобы отсечь голову у этого заговора, повсюду протянувшего свои щупальца. Неоднократно отряды полиции совершали налеты и обыскивали старые особняки, но всякий раз эти операции завершались ничем, и в конце концов полицейские сами устали от закона и порядка, который они должны были поддерживать, и ушли с улиц города, бросив его на произвол судьбы. Вместо них появились мужчины в хаки с ружьями в руках, и стало казаться, что скованная оцепенением Улица видит сон из своего далекого прошлого, когда мужчины в островерхих шляпах, держа наготове мушкеты, проходили здесь по тропе

от лесного родника до хутора у морского берега. При этом ничего не было сделано, чтобы предотвратить надвигавшуюся катастрофу, ибо главари заговора были опытными конспираторами.

Тяжкий сон Улицы продолжался вплоть до роковой ночи, когда все сомнительные заведения в округе — «Булочная Петровича», «Школа современной экономики Рифкина», «Клуб социального общения», кафе «Свобода» и другие — наполнились людьми, чьи глаза горели в предвкушении ужасного, сокрушающего триумфа. Секретный телеграф передавал во все концы странные сообщения, понятные лишь посвященным; оставались считанные часы до отправки главного закодированного сигнала, — но об этом власти узнали только задним числом, когда Дальний Запад был уже спасен от гибели. Патрульные в хаки бездействовали, не понимая, что происходит, и не получая четких приказов, — хитроумные главари заговора все рассчитали и предусмотрели.

И тем не менее мужчины в хаки навсегда запомнят эту ночь и будут рассказывать о ней своим внукам. Многие из них уже перед рассветом были срочно направлены на Улицу с заданием, которого они никак не ожидали получить. Ни для кого не являлось тайной, что логовом анархии являются старые, ветхие, изъеденные червями дома на этой Улице, в любой момент могущие развалиться; однако то, что произошло ночью, мало походило на случайность, странным образом напоминая единое согласованное действие. Это было нечто невероятное и в то же время вполне естественное и объяснимое: вскоре после полуночи, без каких-либо предупреждающих об опасности скрипов и тресков, все здания на Улице — как будто разом утратив желание долее противиться натиску времени, непогоды и тлена — содрогнулись и рухнули в один момент, так что после катаклизма остались стоять лишь две печные трубы да часть массивной кирпичной стены. Из числа находившихся в тот момент внутри зданий не выжил ни один человек.

Некий поэт и некий путешественник, которые оказались в толпе зевак, вскоре прибывших к месту происшествя, рас-

сказывают весьма странные вещи. Поэт утверждает, что, озирая руины в неясном свете множества фар и прожекторов, он внезапно различил как бы повисший над ними иной, прозрачный пейзаж: ухоженную Улицу с целыми и невредимыми особняками, роскошными вязами, дубами и кленами, листва которых отблескивала в лунном свете. А путешественник заявляет, что вместо жуткого зловония, давно уже свойственного этим трущобам, он внезапно уловил нежный аромат цветущих роз. Впрочем, стоит ли принимать всерьез фантазии поэтов и рассказы путешественников?

Иные полагают, что все предметы и места вокруг нас наделены душой, иные утверждают обратное; я же, оставаясь при своем мнении, просто рассказал вам историю одной Улицы.

ПОЭЗИЯ И БОГИ

Сырым и сумрачным апрельским вечером, вскоре после окончания мировой войны, Марсия сидела одна в просторной, обставленной на современный лад гостиной. Станные мысли и мечты переполняли ее сознание, уносясь сквозь пелену городских туманов на восток, к оливковым рощам Аркадии, виденным ею лишь во снах. Некоторое время назад она с задумчиво-рассеянным видом вошла в комнату, погасила яркую люстру и пристроилась на уютном диване подле торшера, единственная лампа которого проливала на поверхность журнального столика мягкий зеленоватый свет, сравнимый с умиротворяющим светом луны на листве старых деревьев вокруг античного святилища. В черном вечернем платье с глубоким вырезом, внешне она представляла собой типичный продукт современной цивилизации, однако ее мысли в тот вечер витали вдали от окружающей прозаической обстановки. Был ли причиной тому странный дом, в котором она жила, — дом, исполненный душевного холода и напряженности, все обитатели которого были чужими друг другу? Или, быть может, дело было в некоем пространственно-временном смещении, вследствие чего она родилась слишком поздно, или слишком рано, или же слишком далеко от тех краев, где обитала ее душа, и по чистой случайности попала в эту пресную, лишенную красоты современность? Дабы развеять это настроение, с каждой минутой поглощавшее ее все более, Марсия взяла со столика журнал и полистала его в поисках стихов. Поэзия

зачастую помогала ей восстановить душевное равновесие, хотя и в стихах встречалось много такого, что умаляло желаемый эффект. Даже самые возвышенные творения порой содержали отвратительно скучные, бесцветные строки, которые были как промозглый туман или как толстый слой пыли на оконном стекле, мешающий любоваться чудесной вечерней зарей.

Она вяло перелистывала журнальные страницы, словно отыскивая вечно ускользающий старинный клад без особой надежды его найти, и вдруг наткнулась на нечто, с первого же взгляда пробудившее в ней интерес. Автор как будто читал ее мысли, создавая мечтательные образы, на удивление схожие с теми, что рисовало ей воображение. Это был всего-навсего белый стих — довольно жалкая поэтическая потуга сочинителя, уже не удовлетворенного обычной прозой, но еще толком не овладевшего искусством создания волшебных сочетаний размера и ритма. Но в то же время здесь присутствовали отголоски музыки, подсознательно чувствуемой и проживаемой бардом, который отчаянно пытался на ощупь отыскать в окружающей его серости будней признаки истинной красоты. В этих технически хромающих стихах Марсии почудилось биение сказочных крыльев и дикая, спонтанная гармония — та самая гармония, которой были лишены формальные, выверенные строки, попадавшиеся ей до сих пор. По мере чтения окружающая обстановка постепенно исчезала, уступая место пурпурной, усеянной звездами дымке — пространству вне времен, где обитают лишь боги и мечтатели.

Луна над Японией —
 Это белокрылая бабочка
 Среди статуй Будд с тяжелыми веками,
 Внемлющих крику далекой кукушки...
 Белые крылья луны-мотылька
 Неслышно порхают над сонным городом
 И взмахами гасят круглые лампы в девичьих руках.

Луна в тропиках —
 Это белоснежный бутон,

Раскрывший свои лепестки в небесах,
Когда все исполнено ароматов,
Покоя и неги теплого юга...
И флейта вливается в музыку ночи
Под нежным бутонем луны, распустившимся в небе.

Луна над Китаем
Устало плывет по небесной реке,
И отблески света на листьях ив
Подобны стаям серебряных рыбок,
Играющих в темной воде;
Могильные плиты и храмы покрыты морщинами давних времен,
И облака слоятся в темном небе, как чешуя летящего дракона.

Погруженная в дымку мечтаний, Марсия взывала к мерцающим звездам, приветствуя наступление новой счастливой эпохи и возвращение древнего бога Пана. Прикрыв глаза, она повторяла слова, безыскусная мелодия которых представлялась ей россыпью кристаллов на дне предрассветного ручья — пока еще едва заметных, но готовых вскоре засверкать, переливаясь всеми цветами в лучах взошедшего солнца.

Луна над Японией —
Это белокрылая бабочка...

Луна в тропиках —
Это белоснежный бутон,
Раскрывший свои лепестки в небесах,
Когда все исполнено ароматов,
Покоя и неги теплого юга... покоя и неги теплого юга...

Луна над Китаем
Устало плывет по небесной реке... устало плывет...

* * *

Затем из пурпурной дымки возник божественно красивый юноша в крылатом шлеме и сандалиях, с кадуцеем в руке. Он трижды взмахнул над лицом спящей магическим жезлом (который он некогда выменял у Аполлона на девятиструнную лиру) и покрыл ее голову венком из мирта и роз. Когда же

Гермес заговорил, в его голосе слышалось искреннее восхищение:

— О нимфа, более прекрасная, чем златовласые сестры Кианы или небесные Атлантиды! О любимица Афродиты, благословленная Палладой! Ты сумела постичь тайну богов, заключенную в красоте и песне. О пророчица, что мудрее и краше Кумской сивиллы в ту пору, когда ее только узнал Аполлон! Ты права, приветствуя приход новой эпохи, ибо Пан уже вздыхает и потягивается перед пробуждением на горе Меналон, где его скоро вновь окружат крошечные фавны в венках из роз и древние сатиры. Ты догадалась о том, что неведомо смертным — исключая немногих, отвергнутых этим миром, — *что боги никогда не умирали*, а только спали и видели божественные сны среди неувядающих лотосов в саду Гесперид, лежащем за вечерней зарей. Ныне близится срок их пробуждения, что положит конец холодному безразличию и душевному уродству в этом мире, и Зевс снова займет свой олимпийский престол. Предвестием этому служат бурно вспенившиеся волны близ Пафоса, как это было в очень давние времена, а также обрывки мелодий и песен, слышимые по ночам на горе Геликон и смутно знакомые тамошним пастухам. Леса и доли в сумерках полнятся белыми призрачными фигурами, а древний Океан издает глубокие вздохи под светом молодого месяца. Боги терпеливы, и сон их был долог, но никакой человек, даже самый великий, не может пренебрегать богами. В глубинах Тартара корчатся титаны, а в недрах огненной Этны стонут дети Урана и Геи. Близится день, когда людям придется держать ответ за века неверия, однако во время сна боги подобрали и не намерены ввергать человечество в мрачную бездну, каковой удел обычно ждет отрицающих божественный промысел. Вместо этого кара богов обрушится на тьму, ложь и мерзость, что засорили людские души, и после того смертные вновь заживут в радости и красоте под владычеством бородатого Сатурна, прославляя его, как в прежние времена. Этой ночью ты узришь на Парнасе богов и те сны, что они веками посылали на землю как напоминания о том, что они живы. Эти сны порой посещают поэтов, и в каж-

дую эпоху кто-нибудь из них, сам того не сознавая, передает в своих стихах послание богов из волшебного сада, лежащего за вечерней зарей.

Завершив эту речь, Гермес поднял спящую девушку, и ласковые ветры с башни Эола понесли их высоко над волнами теплого моря, чтобы в конце пути опустить перед сонмом богов на двуглавом Парнасе — с Зевсом в центре, Аполлоном и музами по правую руку от его золотого престола, а Дионисом и резвящимися вакханками по левую. Никогда прежде — ни наяву, ни во сне — Марсия не видела такого великолепия, но оно ничуть не ослепило ее, ибо парнасский чертог Отца Богов был доступен взору смертных, в отличие от нестерпимо сияющих чертогов Олимпа. Перед увитым лаврами входом в Корикийский грот сидели в ряд шесть величавых фигур, с виду смертных, но лицами скорее подобных богам. Марсия узнала их по ранее виденным изображениям — то были великий Гомер, прославленный Данте, бессмертный Шекспир, познавший вселенский хаос Мильтон, всеобъемлющий Гёте и любимец муз Китс. Они-то и служили посланцами, через поэзию которых боги извещали человечество о том, что они не умерли, а всего лишь до времени погружены в сон. И вот Громовержец подал голос:

— Дочь моя — ибо ты воистину принадлежишь к моему бесчисленному потомству, — видишь ли ты этих благословенных посланцев на тронах из слоновой кости? Своими творениями они были призваны напомнить людям, что в их обыденном мире еще сохранились частицы божественной красоты. Многих других бардов люди заслуженно увенчали лаврами, но *эти* были увенчаны самим Аполлоном, и посему я допустил их сюда как немногих смертных, умевших изъясняться на языке богов. Долго длился наш сон в лотосовом саду за западным краем земли, и общаться мы могли только через сновидения, но уже скоро наши голоса зазвучат в полную силу. Настало время нашего пробуждения и великих перемен. Вновь Фазтон опасно снижает путь солнечной колесницы, иссушая поля и потоки. В Галлии нимфы рыдают с распущенными волосами над высохшими источниками, а чахлые

ручейки, некогда бывшие полноводными реками, окрасились кровью смертных. Только безумный Арес и его извечные спутники, Фобос и Деймос, ликуют, утоляя темную жажду убийства. Мать-Земля стонет от горя, а лица людей стали похожи на злобные лики эриний, как в те времена, когда Астрея покинула род людской и сами боги также погрязли в распрях, не затронувших лишь этот горный пик. И среди этого хаоса, уже готовясь объявиться, но пока не спеша привлекать к себе внимание, трудится наш последний посланец, чьи поэтические озарения включают все образы, прежде виденные другими посланцами. Он избран нами, чтобы свести воедино всю красоту, какую доселе знал мир, и выразить в словах всю мудрость и всю радость забытого людьми прошлого. Именно он должен возвестить миру о нашем возвращении и воспеть грядущие славные дни, когда фавны и дриады вновь населят знакомые им прекрасные рощи. В поисках и выборе посланца нам помогали те, кто сейчас восседает на тронах из слоновой кости перед Корикийским гротом и в чьих песнях ты услышишь те самые возвышенные ноты, которые помогут тебе узнать посланца при его появлении. Внимай же их голосам, когда они по очереди будут петь для тебя. Каждую их ноту ты потом услышишь в поэзии того, кто должен прийти, — в поэзии, которая принесет умиротворение и радость твоей душе, пусть даже на поиски автора у тебя уйдут многие годы. Слушай очень внимательно, ибо каждый из этих звуков когда-нибудь снова достигнет твоих ушей, как воды Алфея, уйдя под землю в Элладе, потом соединились с хрустальными водами Аретусы в Сицилии.

По знаку Зевса со своего трона поднялся Гомер, старейший из бардов, и, взяв свою лиру, исполнил гимн Афродите. Марсия не знала греческого языка, однако послание не миновало ее слуха бесследно, ибо в его волшебном ритме было нечто, понятное всем смертным и богам и не нуждавшееся в переводе.

То же самое можно было сказать и о следовавших песнях Данте и Гёте, чьи неизвестные Марсии слова сопровождались легко понимаемой чудесной мелодией. После этого наконец зазвучал язык, знакомый слушательнице. То пел Лебедь Эй-

вона, бывший богом среди людей и оставшийся божественным в компании богов:

Пускай ваш сын, кого я так люблю,
Узнав о том, вернется с поля брани.
Всем сердцем я его благословлю,
Влачась по горестной стезе скитаний¹.

Еще более знакомыми оказались исполненные бессмертной гармонии строки Мильтона, ныне уже не слепого:

Порой сию у ночника
В старинной башне я, пока
Горит Медведица Большая,
И дух Платона возвращаю
В наш мир с заоблачных высот,
Где он с бессмертными живет.

.....
Порой Трагедия в слезах
Мне повествует о делах
Детей Пелопса, и о Фивах,
И о троянках несчастливых².

Последним прозвучал юный голос Китса, из всех посланцев наиболее близкого к миру фавнов с их чудесными песнопениями:

Нам сладостен услышанный напев,
Но слаще тот, что недоступен слуху..
.....
Когда других страданий полоса
Придет терзать другие поколения,
Ты род людской не бросишь утешать,
Неся ему высокое ученье:
«Краса — где правда, правда — где краса!» —
Вот знание все — и все, что надо знать³.

Едва этот бард закончил свою песнь, как священной горы достигло дуновение ветра из далекого Египта, где по ночам

¹ Шекспир У. Конец — делу венец. Акт III, сц. 4. Перевод М. Донского.

² Мильтон Дж. II Penseroso (1633). Перевод Ю. Корнеева.

³ Китс Дж. Ода греческой вазе (1820). Перевод И. Лихачева.

Аврора оплакивает над нильскими водами погибшего Мемнона. А вслед за ветром к ногам Громовержца припала сама богиня утренней зари, воскликнув:

— Господин, пришло время отпереть Врата Востока!

И тогда Феб, передав свою лиру Каллиопе — его любимице среди муз, отправился в сверкающий многоколонный дворец Солнца, где уже нетерпеливо били копытами кони, запряженные в золотую колесницу дня. А Зевс сошел со своего резного трона и возложил руку на голову Марсии со словами:

— Дочь моя, близок рассветный час, и тебе нужно вернуться в свой дом до времени, когда просыпаются смертные. Не печалься из-за унылого однообразия твоей жизни, ибо покровы ложных верований скоро будут сорваны и боги вернуться в мир людей. Не прекращай ни на миг поиски нашего посланца, и вместе с ним ты найдешь утешение и покой. Его слова направят твой путь к счастью, а в его чудесных снах твоя душа обретет все, чего она так долго и страстно желала.

Как только Зевс умолк, юный Гермес бережно поднял девушку и понес ее ввысь — к тающим в предрассветной мгле звездам — и далее на запад, над незримым океанским простором.

* * *

Много лет минуло с той ночи, когда Марсия во сне общалась с богами на Парнасе. И вот сейчас она сидит в той же просторной гостиной, но она уже не одинока. Былые смутные тревоги покинули ее, ибо рядом с ней находится юный поэт, чье имя уже прославлено повсюду и у чьих ног простерся восхищенный мир. Он читает вслух свою новую рукопись, слова которой, никем прежде не слышанные, вскоре станут достоянием всех и вернут людям мечты и фантазии, утраченные ими много веков назад — с той поры, когда малые божества вместе с Паном заснули в горах Аркадии, а великие боги погрузились в сон под сенью лотосов за краем земли, в саду Гесперид. В едва уловимых каденциях и подспудных мелодиях его стихов Марсия нашла наконец покой и утешение. В них

звучало эхо божественных нот фракийца Орфея — тех самых нот, что заставляли плясать даже деревья и скалы на берегах полноводного Гебра. Когда же певец умолкает и не без трепета спрашивает ее мнения, что еще может Марсия ему ответить, кроме: «Эти стихи достойны богов»?

И в тот же миг перед глазами ее встает видение парнасского сонма богов, а в ушах звучит отдаленный многоголосый хор:

— Его слова направят твой путь к счастью, а в его чудесных снах твоя душа обретет все, чего она так долго и страстно желала.

СТАРЫЙ СУМАСБРОД

Сентиментальная импровизация Марка Лоллия,
проконсула Галлии

Бильярдная Шихана, что украшает одну из узких улочек, затерянных в глубине складского района Чикаго, не самое изысканное место. Воздух этого заведения, пропитанный тысячами запахов наподобие тех, которые Кольридж нашел в Кёльне¹, крайне редко озаряется очистительными лучами солнца, хотя и пытается отвоевать территорию у едкого дыма бесчисленных сигар и сигарет, что зажаты между шершавых губ бесчисленных человеческих особей, ошивающихся у Шихана днем и ночью. Для непреходящей популярности, которой пользуется это место, есть причина — очевидная любому, кто даст себе труд исследовать царящий там дурман. Сквозь смесь запахов и изнуряющую духоту пробивается аромат, который некогда был хорошо известен повсюду, а ныне постановлением человеколюбивого правительства успешно вытеснен на задворки жизни, — аромат крепкого, незаконного виски, поистине великолепный образчик запретного плода для 1950 года новой эры.

Заведение Шихана — признанный центр подпольной торговли спиртным и наркотиками в Чикаго, и в качестве такового оно пользуется определенным почетом, который распространяется даже на самых неказистых его посетителей; однако до недавнего времени среди них был один, представлявший

¹ Отсылка к стихотворению английского поэта-романтика Сэмюэля Тейлора Кольриджа «Кёльн» (1828). (*Прим. перев.*)

собой исключение из общего правила, — тот, кто разделял лишь грязь и убожество этого места, но не его славу. У него было прозвище Старый Сумасброд, и он был самым дрянным элементом этой дрянной обстановки. Многие пытались угадать, кем он был прежде, — ибо, когда он доходил до известной стадии опьянения, его речи и сама манера говорить повергали окружающих в изумление; определить же, кем он является сейчас, было не столь трудно: Старый Сумасброд олицетворял собой жалостливый тип горемычного забуддыги. Никто толком не знал, откуда он тут взялся. Однажды вечером он неистово ворвался к Шихану, с пеной у рта требуя виски и гашиша; получив то, что хотел, под обещание все отработать, он с тех пор околачивался в бильярдной, мыл полы, протирал плевательницы и стаканы и выполнял множество других подобных поручений в обмен на выпивку и наркоту, которые поддерживали в нем жизнь и здравый рассудок.

Говорил он мало и, как правило, на обычном жаргоне низов; но иногда, воодушевленный особенно щедрой порцией неразбавленного виски, мог ни с того ни с сего затянуть череду многосложных слов или высокопарных прозаических и стихотворных отрывков, которые заставляли некоторых завсегдатаев бильярдной заподозрить, что он знал лучшие дни. Один постоянный посетитель, банкир, растративший деньги клиентов и находившийся в бегах, регулярно вел со стариком беседы и по его манере говорить заключил, что тот в свое время был писателем или преподавал. Однако единственным осязаемым следом его прошлого была выцветшая фотография, запечатлевшая красивые и благородные черты лица молодой женщины, — фотография, которую Старый Сумасброд всегда держал при себе. Время от времени он вынимал ее из своего рваного кармана, осторожно освобождал от оберточной бумаги, в которую она была завернута, и часами глядел на нее с несказанной горечью и нежностью. Женщина на фотографии ничем не напоминала особу, знакомства с которой естественно ожидать от обитателя жизнен-

ного дна, — это была благовоспитанная и знатная дама, облаченная в причудливый наряд тридцатилетней давности. Старый Сумасброд и сам выглядел как частица прошлого, ибо на его не поддающейся описанию одежде лежала печать старины. Он был очень высокого роста, наверное больше шести футов, хотя порой из-за сутулости казался ниже. Волосы его, седоватые и свисавшие клочьями, давно не знали расчески, а покрывавшая его худощавое лицо растительность, похоже, навсегда замерла на стадии грубой щетины, которой не суждено принять почтенный вид бороды и усов. В его облике, некогда, вероятно, благородном, ныне читались угрожающие следы разгульной жизни. В свое время — скорее всего, в среднем возрасте — он, несомненно, был очень полным, но теперь сделался ужасно худым, щеки его обвисли, под мутными глазами виднелись багровые мешки. Одним словом, Старый Сумасброд являл собой не самое приятное зрелище.

Поведение старика было не менее причудливо, нежели его вид. Обыкновенно он соответствовал образу отщепенца, готового сделать что угодно за пятицентовик, порцию виски или дозу гашиша; однако изредка он обнаруживал другие свойства своей натуры, благодаря которым и получил свое прозвище. Тогда он пытался расправить плечи, и в его запавших глазах загорался некий огонь. Его манеры становились на редкость учтивыми и полными достоинства, и находившиеся вокруг туповатые создания вдруг начинали ощущать его превосходство, и это сдерживало их желание дать пинок или затрепину бедняге, являвшемуся обычно предметом всеобщих насмешек. В такие моменты он демонстрировал язвительный юмор и сыпал замечаниями, которые завсегдатаи бильярдной находили абсурдными и нелепыми. Но вскоре чары рассеивались, и Старый Сумасброд продолжал, как и прежде, мыть полы и чистить плевательницы. Он был бы идеальным работником, если бы не одно обстоятельство — его поведение в ситуации, когда молодежь брала свою первую выпивку. Старик тогда яростно и возбужденно поднимался с

пола, бормоча предостережения и угрозы и стараясь отговорить новичков от стремления «познать жизнь как она есть». Он гневно брызгал слюной, раздражаясь длинными увещеваниями и странными закланиями, и его жуткая серьезность заставляла содрогнуться не один одурманенный ум в переполненном людьми зале. Впрочем, спустя некоторое время его ослабленный алкоголем мозг терял нить рассуждений, и старик с глуповатой ухмылкой опять брался за швабру или тряпку.

Не думаю, что большинство завсегдатаев бильярдной Шихана забудет тот день, когда там появился юный Альфред Тревер. Он был в некотором роде находкой, этот одаренный и пылкий юноша, который «не знал меры» во всем, за что бы он ни брался, — так, по крайней мере, утверждал Пит Шульц, поставлявший Шихану наркотики; Питу доводилось встречать этого паренька в колледже Лоуренс, расположенном в маленьком городке Эплтон в Висконсине. Родители Тревера были уважаемыми людьми в Эплтоне. Его отец, Карл Тревер, был адвокатом и почетным гражданином города, мать же снискала известность как поэтесса под своим девичьим именем Элинор Уинг. Альфред, также преуспевший на поэтическом и ученом поприщах, страдал некоторой инфантильностью, делавшей его идеальной добычей шихановского поставщика. Светловолосый, симпатичный, избалованный, жизнелюбивый, он жаждал вкусить всевозможных развлечений, о которых ему случалось читать или слышать. В колледже он прославился как член глумливого студенческого братства «Открой свой кран», где был самым буйным и веселым среди буйных и веселых юных гуляк; но это легкомысленная студенческая вольница его уже не удовлетворяла. Из книг он знал о пороках более глубоких, и ему не терпелось познакомиться с ними на собственном опыте. Возможно, эту склонность к необузданности отчасти стимулировало угнетение, коему он подвергался в отчем доме, — ибо у миссис Тревер имелись особые причины держать своего единственного ребенка под строгим контролем. На юности самой Элинор лежала неизгладимая печать ужаса, вызванного бес-

путством человека, с которым она некоторое время была обручена.

Юный Гальпин, тот самый жених, был одним из выдающихся сынов Эплтона. С детства отличавшийся поразительными умственными способностями, он снискал широкую известность в Висконсинском университете, а в возрасте двадцати трех лет вернулся в Эплтон, чтобы занять профессорскую должность в колледже Лоуренс и надеть кольцо с бриллиантом на палец красивой девушки города. Некоторое время все шло благополучно, но затем внезапно разразилась буря. Пагубное пристрастие, начало которому некогда положила первая выпивка в лесном уединении, взяло над молодым профессором верх и стало явным для окружающих; только поспешное увольнение позволило ему избежать ответственности за урон, нанесенный нравственности вверенных его заботам учеников. Контракт с ним разорвали, Гальпин переехал на восток и попытался начать жизнь заново; однако вскоре жители Эплтона узнали о том, что их земляк с позором уволен из Нью-Йоркского университета, где он преподавал английский язык. Тогда он посвятил себя работе в библиотеках и чтению публичных лекций, неизменно выказывая в своих монографиях и выступлениях на различные литературные темы столь выдающееся дарование, что, казалось, публика должна когда-нибудь простить ему былые прегрешения. Его пылкие речи в защиту Вийона, Эдгара По, Верлена и Оскара Уайльда были с не меньшим успехом приложимы к нему самому, и в короткую золотую осень славы Гальпина поговаривали о его новой помолвке с девушкой из интеллигентной семьи, жившей на Парк-авеню. Но затем случился еще один срыв. Последний проступок, в сравнении с которым прежние выглядели сущими пустяками, развенчал иллюзии тех, кто был готов поверить в исправление юноши; распrostившись со своим именем, Гальпин перестал появляться на людях. Периодически возникавшие слухи ассоциировали его с неким «консулом Гастингом», чьи сочинения для театра и кино неизменно привлекали внимание основательностью и глубиной авторских познаний; однако через некоторое время Гастинг

исчез из поля зрения публики, и Гальпин стал всего-навсего именем, которое родители произносили в знак предостережения своим детям. Элинор Уинг вскоре вышла замуж за Карла Тревера, перспективного молодого адвоката, а воспоминаний о прежнем воздыхателе хватило лишь на то, чтобы назвать его именем своего единственного сына и преподать нравственный урок этому красивому и упрямому юноше. И вот теперь, несмотря на этот урок, Альфред Тревер появился у Шихана, готовый опрокинуть первую в своей жизни рюмку.

— Босс! — заорал Шульц, войдя со своей юной жертвой в пропитанное скверными запахами помещение. — Познакомься с моим другом Элом Тревером, лучшим гулякой Лоуренса — это, знаешь ли, в Эплтоне, в Висконсине. Он, кстати, из приличного общества: его папаша — главный крючкотвор-юрист в том городишке, а мать — литературная знаменитость. Он хочет познать жизнь как она есть — почувствовать вкус настоящего виски: только помни, что он мой друг, и обращайся с ним как следует.

Едва прозвучали фамилия Тревер и названия Лоуренс и Эплтон, собравшиеся в зале бездельники ощутили нечто необычное. Возможно, то был всего лишь стук столкнувшихся шаров на бильярдном столе или дребезжание стаканов, донесшееся из таинственных пределов подсобки, — возможно, лишь это да еще странный шелест грязных штор у одного из тусклых окон, — но многим показалось, что кто-то заскрежегал зубами и очень глубоко вздохнул.

— Рад познакомиться, Шихан, — произнес Тревер спокойным, учтивым тоном. — Я впервые в подобном месте, но я изучаю жизнь и не хочу пренебрегать никаким опытом. В этом тоже есть поэзия, знаете ли — или, может, не знаете, но это не важно.

— Дружище, — отвечивал хозяин, — если хочешь увидеть жизнь, ты попал в подходящее место. Здесь есть все — и реальная жизнь, и славная гулянка. Пусть это чертово правительство пытается подогнать всех людей под свои мерки, если ему так приспичило, но оно не помешает парню накалывать, когда ему это в радость. Чего ты хочешь, дружище, —

спиртяги, кокса или какого другого топлива? У нас есть все, что ни попросишь.

По словам завсегдатаев бильярдной, именно в этот момент в размеренных, монотонных движениях швабры возникла пауза.

— Я хочу виски — старого доброго ржаного виски! — с энтузиазмом воскликнул Тревер. — Должен сказать, что мне расхотелось пить воду, после того как я прочитал о веселых попойках, которые были обыкновенным делом для студентов былых времен. Теперь меня всякий раз мучает жажда при чтении анакреонтической лирики — и утолить эту жажду может лишь нечто покрепче воды.

— Анакреонтическая — что это, черт возьми, такое?

Несколько постоянных клиентов вскинули глаза, так как юноша копнул немного глубже, чем следовало. Но банкир-растратчик объяснил им, что Анакреонт был распутником, жившим давным-давно и писавшим про забавы, которым он предавался в те времена, когда весь мир напоминал заведение Шихана.

— Слушайте-ка, Тревер, — продолжал растратчик, — Шульц ведь говорил, что ваша мать занимается литературой, так?

— Да, черт побери, — ответил Тревор, — но это не имеет ничего общего с древним теосийцем!¹ Она — одна из тех скучных моралистов, которые существуют везде и всегда и стремятся изгнать из жизни всякую радость, сочиняя сентиментальную дребедень. Вы когда-нибудь слышали о ней? Она пишет под своим девичьим именем Элинор Уинг.

В этот миг Старый Сумасброд выронил из рук метлу.

— Ну, вот твоя выпивка, — жизнерадостно объявил Шихан, внося в зал поднос с бутылками и стаканами. — Старое доброе виски — забористей во всем Чикаго не найдешь.

Глаза юноши заблестели, а ноздри втянули запах коричневатой жидкости, которую хозяин плеснул в его стакан. Этот запах вызвал у него отвращение, свойственная ему от приро-

¹ Т. е. Анакреонтом, уроженцем древнегреческого города Теос в Малой Азии. (*Прим. перев.*)

ды тонкость чувств была возмущена; однако он намеревался во что бы то ни стало познать жизнь во всей ее полноте и потому сохранял самоуверенный вид. Но прежде чем его решимость подверглась испытанию, произошло нечто непредвиденное. Старый Сумасброд, внезапно распрямившись, подскочил к юноше и выбил у него из рук стакан с виски, затем не мешкая атаковал своей шваброй поднос с бутылками и стаканами, которые спустя мгновение превратились в россыпь битых стекол, плавающих в луже пахучей жидкости. Несколько человек (или существ, некогда бывших людьми) опустились на колени и принялись лакать разлитое по полу виски, но большинство посетителей замерли, наблюдая за небывалой выходкой уборщика-отщепенца.

Старый Сумасброд развернулся к оторопевшему Треверу и кротким, учтивым тоном произнес:

— Не делайте этого. Когда-то я был таким, как вы сейчас, и сделал это. Результат — перед вами.

— Чего вы добиваетесь, чертов старый шут? — выкрикнул Тревер. — Чего вы добиваетесь, мешая джентльмену развлекаться в свое удовольствие?

Тем временем Шихан, придя в себя, выступил вперед и опустил массивную руку на плечо старого бродяги.

— Это была твоя последняя выходка, старик! — гневно воскликнул он. — Когда джентльмен хочет здесь выпить, ей-богу, он должен это получить, и ты не вправе ему мешать. А теперь убирайся отсюда, пока я сам не вышвырнул тебя вон.

Но Шихану следовало бы лучше разбираться в психопатологии и учитывать последствия нервного возбуждения. Старый Сумасброд, покрепче ухватив свою швабру, принялся орудовать ею, как македонский гоплит — копьем, и вскоре расчистил вокруг себя изрядное пространство, попутно выкрикивая бессвязные обрывки цитат, среди которых чаще других слышалось: «...Велиаловы сыны, хмельные, наглые»¹.

¹ Цитата из поэмы Джона Мильтона «Потерянный Рай» (1658–1663, опубл. 1667; II, 501–502). Перевод Арк. Штейнберга. (Прим. перев.)

Зал сделался похож на адский чертог, люди кричали и вопили от страха перед монстром, которого они пробудили в безобидном доселе пьянчуге. Тревер пребывал в замешательстве и, когда побоище достигло апогея, вжался в стену. «Он не должен пить! Он не должен пить!» — рычал Старый Сумасброд, и это, кажется, была уже не цитата. В дверях бильярдной появились полицейские, привлеченные доносившимся изнутри шумом, но они не спешили вмешаться в происходящее. Между тем Тревер, охваченный страхом и навсегда исцелившийся от желания познать жизнь посредством приобщения к пороку, незаметно продвигался поближе к вновь прибывшим людям в синей форме. Если бы только ему удалось улизнуть и сесть на поезд до Эплтона (размышлял Тревер), он счел бы свое обучение разгулу полностью завершенным.

Внезапно Старый Сумасброд перестал размахивать своим копьём и застыл на месте, вытянувшись во весь рост — таким прямым его здесь еще никто ни разу не видел. «Ave, Caesar, moriturus te saluto!»¹ — возгласил он и рухнул на пропахший виски пол, чтобы уже никогда не подняться.

Последующие впечатления никогда не изгладятся из памяти юного Тревера. Зрелище было смутным, но незабываемым. Полицейские прокладывали себе путь сквозь толпу, подробно расспрашивая посетителей о случившемся и о мертвом теле, распластавшемся на полу. Шихан подвергся особенно тщательному допросу, однако добиться от него каких-либо полезных сведений о Старом Сумасброде не удалось. Потом банкир-растратчик вспомнил про фотографию и предположил, что ее приобщат к делу с целью произвести опознание. Нехотя обыскав жуткую фигуру с застывшим взглядом, полицейский обнаружил завернутую в бумагу карточку и велел собравшимся в зале передать ее по кругу.

— Какая цыпочка! — плотоядно покосился на прекрасное лицо один пьянчуга, но те, кто был трезв, глядели на изящные, одухотворенные черты почтительно и смущенно.

¹ «Здравствуй, Цезарь, идущие на смерть приветствуют тебя!» (лат.)

Похоже, никому было не под силу определить, кто запечатлен на снимке, и все дивились тому, что отщепенец-наркоман мог носить при себе подобный портрет, — все, кроме банкира, который тем временем в немалой тревоге взирал на прибывших полицейских. Ему-то еще ранее удалось кое-что разглядеть под маской дегенерата, которую носил при жизни Старый Сумасброд.

Наконец фотография перекочевала к Треверу, и юноша переменялся в лице. Вздвогнув, он быстро завернул изображение в бумагу, словно хотел защитить его от грязи, царившей в бильярдной. Затем он долгим, изучающим взглядом посмотрел на тело, лежавшее на полу, отметив про себя высокий рост и аристократичность черт, которая проступила лишь сейчас, когда тусклое пламя жизни уже погасло. Нет, поспешно сказал он в ответ на обращенный к нему вопрос, он не знает, кто изображен на фотографии. Она была сделана так давно, добавил он, что едва ли кто-то сможет ныне узнать эту женщину.

Но Альфред Тревер не сказал правды — об этом многие догадались, когда он проявил заботу о теле умершего и вызвался организовать похороны в Эплтоне. Над каминной полкой в его домашней библиотеке висела точная копия этого портрета, и всю свою жизнь он знал и любил его оригинал.

Ибо эти утонченные и благородные черты принадлежали его собственной матери.

ОЧЕНЬ ДРЕВНИЙ НАРОД

Четверг, 3 ноября 1927 года

Дорогой Мельмот!

Итак, ты всецело погрузился в изучение темного прошлого этого несносного юного азиата, Вария Авита Бассиана? Брр! Мало есть на свете людей, которых я ненавижу больше, чем эту маленькую отвратительную сирийскую крысу!

Сам же я перенесся во времена Древнего Рима благодаря недавнему чтению «Энеиды» Джеймса Родса — перевода, с которым я прежде не был знаком и который ближе к тому, что написал Публий Марон, чем большинство известных мне стихотворных переложений (включая неопубликованный перевод моего покойного дядюшки, доктора Кларка). Это «вергилианское» умонастроение, вкупе с призрачными фантазиями, обычными в канун Дня всех святых с его горными шабашами ведьм, породило в ночь на понедельник «римский» сон, который обладал такой невероятной ясностью и яркостью и таким огромным потенциалом скрытого ужаса, что я положительно намерен однажды использовать его в каком-нибудь своем сочинении. В юности мне часто являлись подобные сновидения — не раз и не два я целую ночь следовал за Божественным Юлием через всю Галлию в качестве военного трибуна, — но это, казалось бы, давно ушло с возрастом, и потому нынешний сон произвел на меня необыкновенно сильное впечатление.

Это было на исходе дня в часы, когда пламенеет закат, в маленьком провинциальном городке Помпело у подножия Пиренеев в Ближней Испании. Год, должно быть, относился к эпохе поздней республики, так как провинцией все еще управлял назначенный сенатом проконсул, а не императорский пропретор, а день, о котором идет речь, предшествовал ноябрьским календам. К северу от города вздымались горы, окрашенные в пурпур и золото; на грубо отесанные камни и свежую штукатурку строений вокруг пыльного форума и на деревянные стены цирка, возвышавшиеся чуть дальше к востоку, ложился таинственный красноватый свет клонившегося к западу солнца. Одолеваемые какой-то смутной, трудноопределимой тревогой, толпы горожан: широколобые колонисты-римляне, нечесанные уроженцы здешних мест и отпрыски смешанных браков, равным образом облаченные в дешевые шерстяные тоги, — а также немногочисленные legionеры в шлемах и чернобородые представители местного племени васконов в грубых плащах заполонили редкие мощеные улицы и форум.

Сам я только что сошел с носилок, на которых иллирийские носильщики — судя по всему, в изрядной спешке — доставили меня из Калагурриса, расположенного к югу отсюда, на другом берегу Ибера. Оказалось, что я — квестор провинции по имени Луций Целий Руф и что я вызван сюда проконсулом Публием Скрибонием Либом, прибывшим несколько дней назад из Тарракона. Здесь также были солдаты пятой когорты Двенадцатого легиона, которым командовал военный трибун Секстий Аселлий; кроме того, из Калагурриса, где находилась его постоянная резиденция, прибыл легат всего региона Гней Бальбуций.

Причиной собрания стал ужас, скрывавшийся в горах. Все население городка было перепугано и молило о прибытии когорты из Калагурриса. Стояла Ужасная Пора осени, когда дикие жители гор готовились совершить свои жуткие обряды, о которых горожане знали только по смутным слухам. Это был очень древний народ, обитавший высоко в горах и говоривший на отрывистом языке, которого васконы не понима-

ли. Мало кому доводилось видеть этих людей, но несколько раз в год их маленькие желтые косоглазые посланцы, похожие на скифов, появлялись в городке и, оживленно жестикулируя, вели торг с купцами; ежегодно весной и осенью они предавались на горных вершинах мерзким ритуалам, и их вопли и жертвенные костры ввергали в ужас окрестные селения. Всякий раз это происходило в одно и то же время — в нóчи перед майскими и ноябрьскими календами, и всякий раз этому предшествовали бесследные исчезновения кого-то из горожан. В то же время ходили слухи, будто местные пастухи и земледельцы отнюдь не питают вражды к очень древнему народу — неспроста многие крытые соломой хижины пустели в те ночи, когда в горах разыгрывались отвратительные шабашы.

В этом году ужас был особенно велик, так как люди знали, что очень древний народ разгневан на Помпело. Три месяца назад пятеро маленьких косоглазых торговцев спустились с гор, и в ходе драки, случившейся на рынке, трое из них были убиты. Двое других, не проронив ни слова, убрались восвояси — *и ни один поселенец не исчез в эту осень*. Подобное бездействие таило в себе угрозу. Как правило, шабашы, которые устраивал очень древний народ, не обходились без человеческих жертвоприношений, и нынешнее подозрительное затишье заставило поселенцев трепетать от страха.

Много ночей подряд в горах раздавалась гулкая барабанная дробь, и наконец эдил Тиберий Анней Стилпон (наполовину местный по крови) послал к Бальбуцию в Калагуррис за когортой, которая могла бы пресечь шабаш в грядущую ужасную ночь. Бальбуций без долгих размышлений отказался удовлетворить его просьбу под предлогом того, что страхи крестьян беспочвенны и что римскому народу нет никакого дела до омерзительных ритуалов обитателей гор, если они не угрожают его гражданам. Я же, хотя и был близким другом Бальбуция, заявил, что не согласен с его решением: я глубоко изучил темные запретные верования и был убежден, что очень древний народ способен насладиться любой ужасной кару на городок, являвшийся, в конце концов, римским поселени-

ем, где проживало значительное число наших граждан. Мать просившего о помощи эдила, которую звали Гельвия, была чистокровной римлянкой, дочерью Марка Гельвия Цинны, прибывшего сюда с армией Сципиона. Исходя из этих соображений я послал раба — маленького быстроногого грека по имени Антипатр — с письмом к проконсулу, и Скрибоний, внимательно рассмотрев мои доводы, приказал Бальбуцию отправить в Помпело пятую когорту под командованием Аселлия; вечером накануне ноябрьских календ ей предстояло углубиться в горы и пресечь любые мерзкие действия, какие там обнаружатся, а также захватить столько пленных, сколько можно будет доставить в Тарракон к ближайшему суду пропретора. Бальбуций, однако, подал протест, и, таким образом, обмен письмами продолжился. Я писал проконсулу столь часто, что он всерьез заинтересовался жуткими обстоятельствами этого дела и решил расследовать его самолично.

Наконец он отправился в Помпело вместе со своими ликторами и слугами; городок, полнившийся весьма впечатляющими и тревожными слухами, горячо поддерживал его приказ о пресечении шабаша. Желая посоветоваться с кем-либо, кто знал суть происходящего, проконсул приказал мне сопровождать когорту Аселлия. Бальбуций присоединился к походу и стремился своими советами противостоять задуманному предприятию: он искренне полагал, что решительные военные действия послужат причиной опасных волнений среди васконов — и варваров-кочевников, и тех, кто вел оседлую жизнь.

Так мы все и оказались здесь, в этих осенних горах, освещенных таинственными закатными лучами, — старый Скрибоний Либон в тоге-претексте, с сияющей лысой головой, на которой играли золотые блики, и морщинистым ястребиным лицом; Бальбуций в сверкающем шлеме и нагруднике, выбритый до синевы и с плотно сжатыми губами, выдававшими откровенное и упорное несогласие; молодой Аселлий в отполированных наголенниках и с высокомерной усмешкой на лице, а также любопытное смешение горожан, легионеров, местных варваров, крестьян, ликторов, рабов и слуг. Я был

облачен в обычную тогу и не имел при себе никаких знаков отличия. И повсюду вокруг был разлит гнетущий ужас. Городской и сельский люд едва осмеливался говорить вслух, а люди из окружения Либона, проведенные в здешних местах около недели, похоже, уже успели заразиться безымянным страхом. Сам старый Скрибоний выглядел необыкновенно мрачным, и громкие звуки голосов тех, кто прибыл позднее, казались странно неуместными, словно мы находились на месте чьей-то смерти или в храме некоего неведомого бога.

Мы вошли в преторий, и между нами начался нелегкий разговор. Бальбуций настойчиво повторил свои возражения, и его поддержал Аселлий, который, по-видимому, относился ко всем уроженцам этих мест с крайним презрением, но вместе с тем считал неразумным их будоражить. Оба военачальника утверждали, что бездействовать к неудовольствию меньшей части населения, состоящей из колонистов и цивилизованных аборигенов, менее рискованно, чем, искореняя жуткие ритуалы, вызвать гнев большинства, а именно варваров и крестьян. Я же, в свою очередь, повторил, что необходимо действовать, и выразил готовность сопровождать когорту в любом походе, который она предпримет. Я указал на то, что васконы-варвары, мягко говоря, непокорны и ненадежны, и потому, какую бы тактику мы сейчас ни избрали, стычки с ними — всего лишь вопрос времени; что в прошлом они не выказали себя опасными для наших легионов противниками и что было бы недостойно представителей римского народа позволить варварам нарушать порядок, которого требуют правосудие и престиж Республики. С другой стороны, успешное управление провинцией зависит в первую очередь от безопасности и доброго расположения цивилизованной части общества, людей, чьими стараниями развивается торговля и обеспечивается процветание и в чьих венах — немалая доля нашей италийской крови. Хотя эти люди, возможно, и составляют меньшинство населения, они являются надежным элементом, на чью верность можно положиться и чье содействие прочнее всего подчинит провинцию власти Сената и римского народа. Дóлжно и полезно предоставить им защиту, которая полага-

ется римским гражданам, предприняв для этого (тут я бросил саркастический взгляд на Бальбуция и Аселлия) некоторые старания и хлопоты, а также ненадолго прекратив попойки и петушинные бои в лагере, разбитом в Калагуррисе. В том, что Помпело и его жителям угрожает реальная опасность, меня убеждали проведенные мною исследования. Я прочел множество свитков из Сирии, Египта и таинственных городов Этрурии и долго беседовал с кровожадным жрецом Дианы Арицийской в лесном святилище на берегу озера Неми. Во время шабашей в горах могли разыгрываться жуткие сцены, которым было не место во владениях римского народа; и попустительство известного рода оргиям, обычно сопровождающим эти шабаши, мало соответствовало обычаям тех, чьи предки при консуле Аулии Постумии казнили множество римских граждан, предававшихся вакханалиям (память об этом запечатлело специальное постановление сената, выгравированное в бронзе и доступное ныне взору каждого). Застигнутый в должное время, прежде чем ритуалы пробудят к жизни нечто, способное противостоять железу римского пилума, шабаш мог быть остановлен силами одной когорты. Требовалось лишь взять под стражу непосредственных его участников, не трогая при этом многочисленных зрителей, что значительно пригасило бы недовольство симпатизировавших шабашу поселян. Словом, как долг, так и целесообразность требовали решительных действий, и я готовился выступить в поход, ибо не сомневался, что Публий Скрибоний, памятуя о достоинстве и обязательствах римского народа, отправит когорту в горы — в согласии со своим планом и вопреки настойчиво повторяемым протестам Бальбуция и Аселлия, чьи речи подобали скорее провинциалам, нежели римлянам.

Закатное солнце стояло уже очень низко, и весь городок, погруженный в безмолвие, казалось, был окутан таинственными и губительными чарами. Проконсул Публий Скрибоний наконец одобрил мои предложения и временно включил меня в состав когорты, наделив полномочиями старшего центуриона; Бальбуций и Аселлий выразили свое согласие —

первый более учтиво, нежели последний. Когда на дикие осенние склоны спустились сумерки, издалека стала доноситься размеренная и жуткая дробь неведомых барабанов. Несколько легионеров выказали робость, но резкие слова приказа вернули их в строй, и вскоре вся когорта выстроилась на открытой равнине к востоку от цирка. Либон, так же как и Бальбуций, решил лично сопровождать когорту; однако оказалось чрезвычайно трудно найти среди местных жителей того, кто смог бы показать дорогу в горы. В конце концов юноша по имени Верцеллий, чистокровный римлянин, согласился провести нас хотя бы через предгорья.

Мы выступили походным строем в сгущавшихся сумерках; над лесами слева от нас дрожал тонкий серебряный серп молодой луны. Больше всего нас беспокоило то, что *шабаш все еще продолжался*. Слухи о прибытии в город когорты, вероятно, достигли гор, и даже неясность наших дальнейших намерений не могла сделать их менее тревожными — однако барабаны по-прежнему выбивали зловещую дробь, как будто участники действия по каким-то причинам оставались безразличны к тому, идут на них маршем силы римского народа или нет. Гул усилился, когда мы достигли ущелья с уходившей вверх тропой; нас с двух сторон обступили крутые лесистые склоны, стволы деревьев в колеблющемся свете наших факелов приобрели странно-причудливый вид.

Все передвигались пешком, кроме Либона, Бальбуция, Аселлия, двух-трех центурионов и меня; наконец тропа стала такой крутой и узкой, что всадникам пришлось спешиться, и группе из десяти человек было приказано стеречь лошадей, хотя едва ли какие-нибудь грабители могли объявиться здесь в такую страшную ночь. Временами нам казалось, будто по лесу невдалеке от нас крадется чья-то фигура; после получасового подъема продвижение когорты, насчитывавшей более трехсот человек, оказалось крайне затруднено из-за чрезмерной крутизны и узости тропы. И вдруг из леса, оставшегося позади, до нас донесся ужасающий звук. Его издавали привязанные лошади — они *визжали...* не ржали, а именно *визжали...* и ни одного огонька, ни единого звука человеческого

голоса, которые могли бы объяснить происходившее внизу. В тот же миг на расположенных впереди горных вершинах вспыхнули костры, и стало казаться, что ужас подстерегает нас с обеих сторон.

Поискав юного Верцеллия, нашего провожатого, мы нашли лишь съевшуюся массу, утопавшую в луже крови. В руке проводника был зажат короткий меч, сорванный с пояса подцентуриона Децима Вибулана, а на лице его застыло выражение такого ужаса, что самые отважные ветераны, увидев его, побледнели. Он убил себя, услышав визг лошадей... *он*, родившийся и выросший в здешних краях и знавший, какие слухи ходят про эти горы. Тотчас один за другим начали гаснуть факелы, крики перепуганных легионеров сливались с непрерывным визгом привязанных внизу лошадей. Воздух сделался ощутимо прохладнее — стремительнее, чем это бывает в начале ноября, — и словно задрожал от ужасных волн, порожденных биением громадных крыльев.

Вся когорта пребывала теперь в бездействии, и в угасавшем свете факелов я увидел то, что показалось мне фантастическими тенями, которые очертил в небе призрачный свет Млечного Пути, когда они скользили на фоне Персея, Кассиопеи, Цефея и Лебедя. Затем с неба внезапно исчезли все звезды — даже яркие Денеб и Вега впереди и одинокие Альтаир и Фомальгаут позади нас. А когда окончательно потухли факелы, над потрясенной и пронзительно кричавшей когортой остались видны только тлетворные и жуткие жертвенные костры, полыхавшие на горных вершинах; в их адском свете начали вырисовываться силуэты огромных, неистово скачущих безымянных тварей, о которых умалчивают даже самые фантастические из тайных сказаний фригийских жрецов и кампанийских старух.

Достигнув предела громкости, дьявольская барабанная дробь перекрыла слившиеся в ночи крики людей и лошадей, а пронизывающий, холодный как лед ветер с жуткой неторопливостью скользнул вниз с заповедных высот и стал поочередно овевать каждого воина, пока вся когорта не забилась с криком в темноте, как живая иллюстрация судьбы Лаокоона

и его сыновей. Только старый Скрибоний Либон выглядел покорившимся судьбе. Посреди всеобщего крика он произнес несколько слов, которые до сих пор отдаются эхом в моих ушах: «*Malitia vetus: malitia vetus est... venit... tandem venit...*»¹

А затем я проснулся. Это был самый яркий из всех виденных мною за долгие годы снов, явившийся из тайников подсознания, которые длительное время пребывали в забвении и неприкосновенности. О судьбе той когорты никаких сведений не сохранилось, но известно, что по крайней мере город был спасен — энциклопедии свидетельствуют, что Помпело существует и поныне, под современным испанским именем Памплона.

Остаюсь к услугам Вашего готического превосходительства,

Гай Юлий Вер Максимин

¹ «Древнее зло... это древнее зло... случилось... случилось наконец...»
(лат.)

ПАМЯТЬ

В долине Нис ущербная луна сияет мертвенно и тускло, концами своего неровного серпа касаясь губительной листвы гигантских анчаров. В глубине долины полно уголков, где царит вечный мрак, и те, кто там обитает, надежно скрыты от постороннего взора. Среди дворцовых руин, разбросанных по заросшим травой и кустарником склонам, стелются ползучие лозы и побеги вьющихся растений — цепко оплетая надломленные колонны и угрюмые монолиты, они взбираются на мраморные галереи, выложенные руками неведомых зодчих. В ветвях исполинских деревьев, что высятся среди запущенных дворов, резвятся обезьянки, а из глубоких подземелий, где спрятаны несметные сокровища, выползают ядовитые змеи и чешуйчатые твари, не имеющие названия.

Громадные каменные глыбы спят мертвым сном под одеялами из сырого мха — это все, что осталось от могучих стен. Когда-то эти стены воздвигались на века — и, по правде сказать, по сей день еще служат благородной цели, ибо черная жаба нашла себе приют в их тени.

А по самому дну долины несет свои вязкие, мутные воды река Век. Неизвестно, где берет она начало и в какие подводные гроты впадает, и даже сам Демон Долины не ведает, куда струятся ее воды и отчего у них такой красный цвет.

Однажды Джинн, пребывающий в лучах луны, обратился к Демону Долины с такой речью:

— Я стар и многого не помню. Скажи мне, как выглядели, что совершили и как называли себя те, кто воздвиг эти сооружения из камня?

И Демон отвечал:

— Я — Память и знаю о минувшем больше, нежели ты. Но и я слишком стар, чтобы помнить все. Те, о ком ты спрашиваешь, были столь же загадочны и непостижимы, как воды реки Век. Деяний их я не помню, ибо они продолжались лишь мгновение. Их внешность я припоминаю смутно и думаю, что они чем-то походили вон на ту обезьянку в ветвях. И только имя запомнилось мне навсегда, ибо оно было созвучно названию реки. Человек — так звали этих созданий, безвозвратно канувших в прошлое.

Получив такой ответ, Джинн вернулся к себе на луну, а Демон еще долго задумчиво смотрел на маленькую обезьянку, резвившуюся в ветвях исполинского дерева, что одиноко высилось посреди запущенного двора.

НЬЯРЛАТХОТЕП

Ньярлатхотеп... крадущийся хаос... Я единственный, кто уцелел... И я буду говорить в пустоту...

Когда это началось, я точно не помню — во всяком случае, с тех пор минул не один месяц. Весь мир словно застыл в напряженном ожидании чего-то страшного. К повсеместному политическому и общественному брожению добавилось странное и неотвязное ощущение надвигающейся катастрофы — катастрофы глобальной и неотвратимой, подобной тем, что происходят в кошмарных снах. Люди ходили бледные и встревоженные; воздух полнился всевозможными предсказаниями, которые настолько противоречили здравому смыслу, что никто не смел в них поверить. Над планетой тяготело сознание неискупимой вины, а из бездонных межзвездных пространств веяло ледяным холодом, и горе было тому, кто испытывал его на себе, оказавшись в темном безлюдном месте! Смена времен года дала какой-то дьявольский сбой — бабье лето, казалось, длилось уже целую вечность, и создавалось впечатление, что мир, а быть может, и вся Вселенная вышли из подчинения известных людям богов или сил и подпали под власть богов или сил неведомых.

Вот тогда-то и объявился Ньярлатхотеп, выходец из Египта. Говорили, что он представитель старинного рода и выглядит как фараон. Феллахи, завидев его, простирались ниц, хотя и не могли объяснить почему. Сам он утверждал, что восстал из глубины двадцати семи столетий и что до него

доходили послания с других планет. Путешествуя по цивилизованным странам, Ньярлатхотеп — смуглый, стройный и неизменно мрачный — приобретал какие-то замысловатые приборы из стекла и металла и мастерил из них другие приборы, еще более замысловатые. Он выступал с речами на научные темы, рассказывал об электричестве и психологии и демонстрировал такие удивительные опыты, что зрители теряли дар речи, а его слава росла с каждым днем. Те, кому случалось побывать на его выступлениях, советовали сходить на них другим, но в голосе их при этом звучала дрожь. Всюду, где бы он ни появлялся, спокойной жизни приходил конец, и пред-рассветные часы оглашались криками людей, преследуемых кошмарными видениями. Никогда прежде подобные вещи не принимали характер общественного бедствия, и умные люди начали поговаривать о том, что неплохо было бы запретить сон в предутренние часы, дабы истошные вопли несчастных не смущали покой луны, льющей бледный сочувственный свет на зеленые воды городских каналов и ветхие колокольни, вонзенные в тусклое нездоровое небо.

Я хорошо помню, как Ньярлатхотеп появился в нашем городе — в этом огромном, старинном и сумрачном городе, хранящем память о бесчисленных злодеяниях прошлого. Я был немало наслышан о Ньярлатхотеппе от своего приятеля, поведавшего мне о том неизгладимом впечатлении, которое производили на людей его опыты, и горел желанием увидеть их воочию и разоблачить как ловкие трюки. По словам приятеля, эти опыты превосходили самое смелое воображение, ибо пророчества, проецируемые на экран в зашторенной комнате, были под силу одному лишь Ньярлатхотеппу, а его пресловутые искры обладали чудесной способностью вызывать у людей видения, что доселе таились в самой глубине их зрачков и не могли быть извлечены никаким иным способом. Впрочем, мне и раньше доводилось слышать, будто все, кто побывал на сеансах Ньярлатхотеппа, получали способность видеть такие вещи, каких не могли видеть другие.

Стоял жаркий осенний вечер, когда среди толпы таких же любопытных я двинулся по шумным улицам на встречу

с Ньярлатхотепом. Мы прошли через весь город, а потом нескончаемо долго поднимались по ступеням, ведущим в тесный и душный зал. И когда на экране замаячили тени, я различил неясные очертания фигур в капюшонах, собравшихся на фоне древних развалин, и желтые, искаженные злобой лица, выглядывающие из-за обломков каменных сооружений. И еще я увидел мир, одолеваемый мраком, и разрушительные смерчи, нисходящие с запредельных высот, и яростную пляску вихрей вокруг тусклого остывающего солнца. А потом над головами зрителей причудливо затанцевали искры, и у меня волосы встали дыбом при виде тех неведомо откуда взявшихся уродливых теней, что повисли над головами присутствующих. И когда я, самый хладнокровный и рациональный из всех, дрожащим голосом пробормотал что-то насчет «надувательства» и «статического электричества», Ньярлатхотеп приказал нам убираться вон, и, спустившись по головокружительной лестнице, мы выбежали в сырую и жаркую тьму пустынных ночных улиц. Я торжествующе вскричал, что мне было совсем не страшно, и все дружным хором поддержали меня. Мы принялись клятвенно заверять друг друга в том, что город совсем не изменился, что в нем по-прежнему идет жизнь, и при тускнеющем свете уличных фонарей без конца клеймили гнусного шарлатана и смеялись над собственным легковерием.

А потом с нами стало твориться что-то неладное. Думаю, причиной тому послужил болезненный, зеленоватый свет луны, ибо как только погасли фонари, мы непроизвольно выстроились в своего рода шеренги и принялись двигаться к некой известной нам цели, о которой не смели не только говорить, но и думать. Мы шли и замечали, что там, где раньше была мостовая, теперь росла трава, а на месте трамвайных рельсов лишь изредка попадалась полоска-другая ржавого металла. Один раз мы наткнулись на трамвай — искореженный, с выбитыми стеклами, запрокинутый набок, и, сколько бы мы ни всматривались вдаль, мы никак не могли понять, куда делась третья по счету башня на берегу реки и почему верхушка второй башни имеет такие неровные очертания.

Затем мы разбились на узкие колонны, каждая из которых потянулась в свою сторону. Одна скрылась в переулке налево, откуда потом еще долго доносились отзвуки душераздирающих стонов. Другая спустилась в заросший сорняками вход в метро, огласив ночные улицы смехом, более похожим на вой. Колонна, в которой двигался я, направилась за пределы города, и вскоре мне стало холодно, как зимой. Оглядевшись, мы увидели, что находимся в открытом поле среди снегов, зловеще мерцающих в мертвенном свете луны. Откуда она здесь взялась — эта нетронутая снежная пустыня, простирающаяся во все стороны на необозримое расстояние? Лишь в одном месте снега расступались — там зияла чудовищная пропасть, казавшаяся еще более черной посреди своего ослепительного окружения. Мои спутники, словно замороженные, устремились в эту пропасть, и только теперь я увидел, насколько малочисленной была наша колонна. Сам я не торопился следовать примеру остальных, ибо эта черная щель среди освещенных зеленоватым светом снегов внушала мне смертельный страх, тем более что оттуда, где скрылись мои товарищи, раздавались жалобные стоны и причитания. Но мои силы были слишком слабы, чтобы противиться неудержимой тяге, увлекавшей меня вниз, и, словно в ответ на призыв тех, кто прежде меня скрылся в этой бездне, я нырнул, трепеща и обмирая от страха, в беспросветную пучину невообразимого ужаса...

О вы, с виду разумные, а на деле безумцы, что прежде считались богами, — только вы можете рассказать все как было!

Слабая, беспомощная тень, корчась от боли, причиняемой железной хваткой неведомых рук, мчится сквозь непроглядную тьму распадающегося на части мироздания мимо мертвых планет с язвами на месте городов. Ледяные вихри задувают тусклые звезды, словно свечи. Бесформенные призраки невообразимых монстров встают над галактиками. За ними теснятся смутные очертания колонн неосвященных храмов, что покоятся на безымянных утесах, а вершинами уходят в пустоту губительного пространства — туда, где кончается царство света и тьмы. И на всем протяжении этого жуткого все-

ленского кладбища падение сопровождается приглушенным и размеренным, как сердцебиение, барабанным боем и тонкими заунывными причитаниями кощунствующих флейт; и под эти отвратительные дробы и трели, что доносятся из непостижимой беспросветной бездны, лежащей за гранью времен, выделяются свои замедленные, неуклюжие и беспорядочные па гигантские, чудовищные боги, последние боги Вселенной, эти незрячие, немые и бездушные статуи, воплощение которых — Ньярлатхотеп.

EX OBLIVIONE¹

Когда настали мои последние дни и ничтожные мелочи жизни стали сводить меня с ума, подобно тем каплям воды, что падают на голову несчастной жертвы в камере пыток, я стал все чаще искать прибежища в лучезарном царстве снов. Там я находил ту толику красоты, которой мне так недоставало в жизни, и подолгу бродил по старым, запущенным садам под сенью очарованных рощ.

В тех снах, где ветер был теплым и пряным, я слышал зов юга и, устремляясь ему навстречу, парил в безбрежном пространстве под неведомыми звездами.

А в снах, где моросил дождь, я скользил в челноке по недвижной глади сумрачной подземной реки, пока не попадал в страну пурпурных закатов, разноцветных деревьев и неувядающих роз.

И еще мне снилось, будто я иду по чудесной золотой долине, вступаю в тенистую рощу с живописными развалинами и останавливаюсь перед высокой, сплошь увитой плющом стеной с крошечной бронзовой калиткой.

Я часто видел этот сон — и с каждым разом проводил все больше времени в прохладном полумраке среди высоких, причудливо изогнутых стволов, меж которыми тут и там виднелись потемневшие от времени камни древних храмов, погребенных в черной сырой земле. И всякий раз пределом моих

¹ Из забвения (*лат.*).

ночных скитаний становилась могучая, увитая плющом стена с крошечной бронзовой калиткой.

День ото дня все сильнее ощущая на себе тяжесть серых и однообразных будней, я с нетерпением ждал наступления ночи, чтобы вновь перенестись в чудесную долину и бродить по тенистым рощам, вкушая неизъяснимое блаженство. С некоторых пор я даже стал подумывать о том, чтобы остаться там навсегда и покончить с прозябанием в этом безрадостном мире, лишенном прелести и красоты. И когда я глядел на крошечную калитку в могучей стене, я сердцем чувствовал, что она ведет в волшебное царство грез, откуда нет возврата.

Отныне я каждую ночь занимался поисками потайной щелчки, отодвинув которую я смог бы пройти через калитку в древней, увитой плющом стене. И хотя все старания мои были тщетны, я не отчаивался и продолжал свои поиски — ведь там, за стеной, меня ждало лучезарное царство вечной и прекрасной жизни.

В одном из снов я забрел в призрачный город Закарион и там нашел древний манускрипт, испещренный размышлениями мудрецов, которые некогда жили в этом городе и были слишком мудры, чтобы родиться наяву. Манускрипт этот содержал многочисленные свидетельства о мире снов и в том числе одну легенду, где говорилось о золотой долине, священной храмовой роще и высокой стене с крошечной бронзовой калиткой. С первого взгляда я понял, что эта легенда повествует о тех самых местах, где я столь часто бывал, и я долго вчитывался в пожелтевший от времени свиток.

Одни из мудрецов восторженно расписывали чудеса, таившиеся по ту сторону стены, другие с содроганием говорили об ужасах и великих разочарованиях. Я не знал, кому из них верить, но желание попасть в ту неведомую страну разгорелось во мне еще сильнее, ибо ничто так не притягивает нас, как тайна и неопределенность, и ничто так не пугает, как проза повседневности. Поэтому, как только я вычитал про снадобье, с помощью которого можно проникнуть за калитку в высокой стене, я решил прибегнуть к нему перед очередным отходом ко сну.

Сегодня ночью я принял это снадобье и перенесся в золотую долину с тенистыми рощами. На этот раз калитка оказалась открытой, и из нее исходило ослепительное сияние, придавая еще более причудливый и загадочный вид искривленным стволам и куполам погребенных храмов. Окрыленный увиденным, я устремился навстречу красотам и радостям той страны, откуда не бывает возврата.

Но когда калитка распахнулась шире и чары снадобья и сна перенесли меня по ту сторону стены, я понял, что моим надеждам на великолепие и красоту пришел конец, ибо там, куда я попал, не было ни суши, ни воды, но одна сплошная белизна пустого и безбрежного пространства. И, охваченный блаженством, о котором я не смел и мечтать, я заново растворился в исходной бесконечности кристального забвения, откуда демон по имени Жизнь призвал меня на один только краткий и безотрадный миг.

ПРИ СВЕТЕ ЛУНЫ

Я ненавижу луну, я смертельно боюсь луны — ибо в ее зыбком свете иные знакомые и милые сердцу места порой представляются мне чужими и безотрадными...

Это было в тот вечер, когда я гулял при луне по старому, запущенному саду, — в тот волшебный летний вечер, когда дурмящие ароматы цветов и колыхание влажной листвы навевали сумбурные и красочные грезы. Приблизившись к неглубокому ручью с кристально чистой водой, я обратил внимание на странную рябь, появившуюся на его тронутый желтизной поверхности, как если бы некая сила властно влекла эти мирные воды в нездешние моря. Быстро и беззвучно, игриво и торжественно — кто знает, куда устремлялся этот зачатый лунной поток? А в это время с утопающих в зелени берегов, подхватываемые пьянящим ночным ветерком, один за другим взмывали в воздух белые цветы лотоса — взмывали и в отчаянии бросались в поток, а потом кружились в бешеном водовороте под затейливым сводчатым мостом и оглядывались назад с выражением зловещей безмятежности, свойственным лицам умерших.

Охваченный паническим страхом перед неизвестностью и перед этими мертвыми лицами, которые, казалось, манили меня за собой, я бросился бежать вдоль берега ручья, безжалостно топча забывшиеся сном цветы; я бежал и все более убеждался в том, что при свете луны этот сад не имеет конца. Там, где днем я видел стены, теперь открывались все новые

и новые панорамы с деревьями и тропинками, цветами и кустами, каменными идолами и пагодами — и позолоченный лунной поток бежал, извиваясь меж травянистых берегов под причудливыми мостами из мрамора. А мертвые лица-лотосы по-прежнему звали меня за собой, отверзая скорбные уста, и я бежал, не переводя духа, пока не достиг того места, где тростник колыбался на ветру и мерцали песчаные отмели, — здесь ручей раздавался вширь и сливался с безбрежным и безымянным морем.

Все та же ненавистная луна озаряла необозримую морскую гладь; упоительные благоухания курились над безмолвными водами. Увидев, как лица-лотосы погружаются в пучину моря, я пожалел о том, что у меня нет сети, чтобы вызволить их оттуда и узнать у них ночные секреты луны. Но вскоре луна скатилась к западу, и сонные воды лениво отхлынули от сумрачных берегов, обнажив старинные шпили и белые колонны, украшенные гирляндами водорослей. И тогда я понял, что это тот самый затонувший город, куда попадают все умершие, и затрепетал, потеряв всякое желание беседовать с лицами-лотосами.

Но когда я различил на горизонте черный силуэт кондора, спускавшегося с небес, чтобы передохнуть на выступавшей из воды поверхности огромного рифа, я страстно возжелал расспросить его о тех, кого знал при жизни. И я бы непременно расспросил его, когда бы он не находился так далеко от меня, — но он был слишком далеко, а потом и вовсе исчез из виду, как будто растаял на фоне огромной черной скалы.

При неверном свете заходящей луны я продолжал наблюдать за отливом. Я видел, как обнажаются все новые и новые шпили, башни и крыши мертвого города. И пока я стоял и смотрел, упоительные благоухания постепенно уступали место тошнотворному запаху гниющей плоти — ибо именно сюда, в это глухое и богом забытое место, собирались мертвые тела со всего света, дабы ими набивали себе брюхо жирные морские черви.

Тем временем зловещая луна висела уже так низко, что едва не касалась поверхности моря, кишевшего чудовищны-

ми червями. И, глядя, как зыбятся воды там, где извивались скользкие черви, я словно кожей ощутил какую-то новую угрозу, исходящую с той стороны, где скрылся кондор.

Интуиция меня не обманула — ибо к тому моменту, когда я поднял глаза, отлив обнажил значительную часть широкого рифа, у которого прежде виднелась одна верхушка, и я с ужасом увидел, что это вовсе не риф, а черное базальтовое темя чудовищного монстра, чей громадный лоб уже выступал над водой в тусклом свете луны, а исполинские копыта, должно быть, бороздили ил где-то в невообразимых глубинах. Представив себе, что произойдет, когда луна с ее дьявольским оскалом и отвратительной желтизной предательски улизнет, а из воды покажется доселе невидимое лицо чудовища и на меня уставятся его глаза, я испустил отчаянный вопль.

И чтобы не стать добычей этой безжалостной твари, я, не раздумывая, нырнул в зловонное мелководье — туда, где среди опутанных водорослями стен и отсыревших мостовых жирные морские черви справляли свою жуткую тризну на останках мертвецов, прибывших со всего света.

ИСТОРИЯ «НЕКРОНОМИКОНА»

В оригинале труд озаглавлен «Аль-Азиф», где «азиф» — это звук, издаваемый по ночам, как гласит арабское поверье, злыми духами (в действительности — насекомыми).

Автором труда является Абдул Альхазред, безумный поэт из города Сана, что в Йемене, живший в период правления Омейядов около 700 года н. э. Он посещал руины Вавилона, исследовал подземные лабиринты Мемфиса и провел десять лет в полном одиночестве в той великой пустыне на юге Аравии, что с античных времен носит название Руб-эль-Хали, или Необитаемая, а современными арабами именуется Дехной, или Багряной. Считается, что она находится под покровительством населяющих ее демонов и духов смерти. Чудеса этой пустыни несметны и непостижимы, если верить рассказам тех, кто якобы в ней побывал. Последние годы своей жизни Альхазред провел в Дамаске, где и был написан «Некрономикон» («Аль-Азиф»). О его смерти или исчезновении (738 г.) ходит множество жутких и противоречивых слухов. Ибн Халикан (биограф, живший в XII веке) пишет, что он был схвачен и растерзан среди бела дня невидимым монстром на глазах многочисленной толпы парализованных страхом людей. Немало анекдотов ходит о его безумии. Он, например, утверждал, будто видел легендарный Ирем, или Город колонн, и извлек из-под развалин одного заброшенного безымянного города поразительные хроники и своды сокровенных знаний, оставшиеся после той расы, что населяла землю прежде че-

ловчества. Формально исповедуя ислам, он был равнодушен к Аллаху и почитал неведомых богов, которых именовал Йог-Сототом и Ктулху.

В 950 году «Азиф», имевший широкое, хотя и негласное, хождение среди философов своей эпохи, был тайно переведен на греческий Феодором Филетским из Константинополя под заглавием «Некрономикон». В течение целого столетия книга владела умами любителей сверхъестественного, порой подвигая их на чудовищные эксперименты, пока наконец не была подвергнута запрету и последующему сожжению указом патриарха Михаила. В результате этой акции книга надолго выпала из поля зрения читателей, став достоянием отрывочных слухов, но в 1228 году Олаус Вормий осуществил ее перевод на латынь, и этот текст был напечатан дважды — первый раз в пятнадцатом веке (готическим шрифтом и, скорее всего, в Германии), второй раз в семнадцатом (вероятно, в Испании). Оба издания не имели выходных данных, так что время и место их выпуска определены на основании сугубо типографских особенностей. Как латинский, так и греческий переводы были преданы анафеме Папой Григорием IX в 1232 году, вскоре после выхода в свет латинского текста, привлечшего к книге внимание образованной публики. Оригинальный арабский текст был утерян еще во времена Вормия — он пишет об этом во вступительной статье. Что же касается греческой копии, изданной в Италии между 1500 и 1550 годами, — то о ней ничего не было слышно после 1692 года, когда сгорела библиотека одного салемакского обывателя. Английский перевод, осуществленный доктором Ди, напечатан не был и сохранился лишь в виде фрагментов, оставшихся от рукописного оригинала. Из существующих на сегодня латинских копий (XV и XVII веков) одна, насколько нам известно, находится в спецхране Британского музея, другая — в Национальной библиотеке в Париже. В Уайднерской библиотеке Гарвардского университета и в библиотеке аркхемского Мискатоникского университета имеются издания XVII века. Такое же издание есть в университетской библиотеке Буэнос-Айреса. Возможно, сохранилось немало других копий, существование

которых держится в тайне их владельцами. В любом случае, упорно ходит слух, будто одно из изданий пятнадцатого века составляет часть коллекции небезызвестного американского нувориша. Поговаривают также, что греческий текст шестнадцатого века сохранился среди фамильных реликвий салемской семьи Пикманов, но даже если это так, то его можно считать утерянным, так как его владелец, художник Р. А. Пикман, пропал без вести в 1926 году. Книга Альхазреда запрещена властями большинства стран и всеми официальными конфессиями. Чтение ее ведет к самым трагическим последствиям. Говорят, что некоторые положения этой книги (лишь немногие из них являются достоянием гласности) легли в основу книги Р. У. Чемберса «Король в желтом».

АЗАТОТ

Когда мир состарился и люди разучились удивляться чудесам; когда тускло-серые города уперлись в дымное небо своими уродливыми и мрачными домами-башнями, в тени которых невозможно даже помыслить о ласковом солнце или цветущих весенних лугах; когда ученость сорвала с Земли покровы красоты, а поэтам осталось воспевать лишь неясные видения, кое-как углядев их затуманенным внутренним взором; когда эти времена настали и все бывшие наивные мечтания безвозвратно канули в Лету, жил один человек, который научился странствовать за пределами скучной повседневной жизни — в тех пространствах, куда удалились мечты, покинувшие этот мир.

Об имени и месте жительства этого человека известно мало; впрочем, имена и места имеют какое-то значение только в обыденном, бодрствующем мире и потому не представляют для нас интереса. Нам вполне достаточно знать, что он жил в большом городе среди высоких стен, где царили вечные сумерки, и что он проводил свои дни в безрадостных и суетливых трудах, а по вечерам возвращался домой — в комнату с единственным окном, из которого открывался вид не на поля или рощи, а на унылый двор с точно такими же окнами, глядевшими друг на друга в тупом безысходном отчаянии. В этом каменном мешке больше не на что было глядеть, и лишь перегнувшись через подоконник и посмотрев прямо вверх, можно было увидеть кусочек неба с двумя-тремя проплывающими

ми звездочками. А так как зрелище однообразных стен и окон способно свести с ума человека, который все свободное время посвящает мечтам и книгам, обитатель этой комнаты взял за правило еженощно высовываться из окна, чтобы увидеть вверху частичку того, что лежит за пределами будничного мира, заключенного в сумрачных стенах многоэтажных городов. С годами он научился различать медленно проплывающие звезды, называл их по именам, а в своем воображении продолжал следить за их полетом и после того, как они исчезали из виду. Так проходила его жизнь, пока однажды его сознание не раскрылось для таких потрясающих картин, какие не дано узреть обычному человеческому глазу. В ту ночь была разом преодолена гигантская пропасть, и загадочные небеса спустились к окну одинокого мечтателя, чтобы смешаться с воздухом его тесной комнатухи и сделать его свидетелем невероятных чудес.

В полночь комнату озарили потоки лилового сияния с золотистыми блестками, а за ними внутрь ворвались вихри огня и пыли, насыщенные ароматами запредельных миров. И он узрел пьянящий океанский простор, озаренный неведомыми людям солнцами, а также диковинных дельфинов и морских нимф, резвящихся в неизмеримых глубинах. Некая беззвучная и беспредельная стихия приняла мечтателя в свои объятия и увлекла его в таинственные дали, при этом не коснувшись его тела, которое так и застыло на подоконнике. Много дней, несовпадающих с земными календарями, ласковые волны запредельных сфер несли человека к его мечтам — тем самым мечтам, которые были забыты и утрачены остальными людьми, — а потом он провел долгие счастливые века спящим на залитом солнцем зеленом берегу под благоухание цветущих лотосов и алых гиацинтов.

ПОТОМОК

В Лондоне живет человек, который не в силах удержаться от крика всякий раз, когда слышит звон церковных колоколов. Живет он затворником, деля одиночество с полосатой кошкой, и все соседи по Грейс-инн считают его безвредным и тихим безумцем. Комната его заполнена книгами самого банального содержания, которые он без конца читает и перечитывает, надеясь забыться за этим пустым и бесполезным времяпрепровождением. Он вообще старается не думать ни о чем, ибо по какой-то причине его страшат собственные мысли, и он как чумы избегает всего, что может пробудить его воображение. С виду это старик — тощий, седой и морщинистый, — но кое-кто утверждает, что он далеко не так стар, как выглядит. Страх накрепко вцепился в него своими мерзкими когтями, и любой неожиданный звук заставляет его вздрагивать и озираться, покрываясь холодным потом. Он сторонится прежних друзей и знакомых, не желая отвечать на вопросы, неизбежные при встречах с ними. Люди, знававшие его в былые дни как ученого и эстета, очень огорчены его нынешним состоянием. Он перестал общаться с ними много лет назад, и никто толком не знал, уехал ли он из страны или же просто затаился в какой-то глухой дыре. Десять последних лет он прожил в Грейс-инн и ни словом не обмолвился о том, где он был и что делал прежде, — вплоть до той ночи, когда юный Уильямс приобрел «Некрономикон».

Уильямс, фантазер и мечтатель двадцати трех лет от роду, едва поселившись в этом старинном здании, сразу ощутил нечто особенное в худом седовласом обитателе соседней комнаты, который выглядел так, будто его коснулось дыхание чужих космических ветров. И Уильямс ухитрился наладить дружеские отношения с соседом, преуспев там, где не смогли преуспеть старые друзья последнего, в то же время не переставая гадать о причине страха, который, казалось, ни на минуту не отпускал этого высохшего, изможденного человека, постоянно бывшего настороже. В том, что он настороженно наблюдает и прислушивается, сомнений не было; правда, делал это он скорее подсознательно, чем с помощью зрения и слуха, при этом все время пытаясь отвлечься и найти забвение в глупых бульварных романах, которые он поглощал в невероятных количествах. А заслышав перезвон церковных колоколов, он терял контроль над собой и начинал пронзительно вопить, и ему вторила серая кошка, жившая в его комнате, — так они и вопили в унисон, покуда не угасало эхо последнего колокольного удара.

Но как бы Уильямс ни старался вызвать соседа на открытость, тот уходил от серьезных тем. Хотя облик и манеры старика никак не соответствовали его нынешнему образу жизни, он избегал обсуждать свое прошлое, с вымученной улыбкой и лихорадочной поспешностью переводя разговор на ничего не значащие темы; в таких случаях голос его с каждой минутой становился все более высоким и напряженным, пока не срывался на истеричный фальцет. Порой его замечания даже по самым тривиальным поводам выдавали глубокий ум и образованность говорившего, так что Уильямс ничуть не удивился, однажды узнав, что он учился в Харроу и Оксфорде. А еще некоторое время спустя выяснилось, что его сосед — не кто иной, как лорд Нортгем, о чьем древнем родовом замке в Йоркшире рассказывали немало удивительных легенд; однако когда Уильямс завел речь об этом замке, якобы воздвигнутом еще в римскую эпоху, лорд заявил, что там нет решительно ничего необычного. Он даже разродился подобием визгливого смеха при упоминании собеседником

тайных подземелий, по слухам, вырубленных в глубине замковой скалы, мрачно нависающей над волнами Северного моря.

Так обстояли дела вплоть до той ночи, когда Уильямс принес домой печально знаменитый «Некрономикон» безумного араба Абдула Альхазреда. Он впервые услышал об этой страшной книге в шестнадцатилетнем возрасте, когда проснувшийся интерес ко всему загадочному побудил его настойчиво расспрашивать согбенного старика-книготорговца на Чандос-стрит; и он изумлялся тому, что сведущие люди неизменно бледнели, как только он заговаривал об этой книге. От старика-торговца он узнал, что лишь пять экземпляров книги сохранились после того, как на нее наложили строжайший запрет церковники и законодатели, и все уцелевшие тома были запрятаны подальше их владельцами, как правило, приходившими в ужас по прочтении лишь начальных страниц этого жуткого сочинения. И вот теперь он не только отыскал одну из уцелевших копий, но и смог приобрести ее по смехотворно низкой цене. Случилось это в еврейской лавчонке на убогих задворках Клэр-Маркета, где Уильямсу и прежде случалось покупать редкие и необычные вещи, и на сей раз ему показалось, что старый сварливый левит прячет ухмылку в спутанной бороде при виде покупателя, совершившего «великое открытие». Толстый том в кожаном переплете с медной застежкой сразу бросался в глаза среди прочих вещей, а цена его казалась неправдоподобно низкой.

Одного только взгляда на заглавие книги было достаточно, чтобы привести его в чрезвычайное возбуждение, а некоторые из рисунков, сопровождающих малопонятный латинский текст, пробудили в нем какие-то странные ассоциации. Горя желанием как можно скорее доставить увесистый фолиант домой и приступить к его расшифровке, он спешно покинул лавчонку, успев напоследок расслышать за спиной недобрый смешок старого еврея. Однако по прибытии домой он убедился, что текст, написанный на корявой средневековой латыни старинным готическим шрифтом, слишком сложен для

восприятия при его скромных лингвистических познаниях, и был вынужден обратиться за помощью к своему загадочно-му, вечно испуганному соседу. Лорд Нортгем тихо бормотал какую-то бессмыслицу, обращаясь к своей полосатой кошке, и подскочил от неожиданности, когда молодой человек быстро вошел в его комнату. Едва увидев книгу, он затрясся, словно в припадке, а когда Уильямс произнес ее название, бедный отшельник и вовсе лишился чувств. Очнувшись через некоторое время, он торопливым шепотом поведал другу фантастическую и безумную историю, убеждая его без промедления сжечь проклятую книгу и развеять по ветру ее попел.

* * *

По словам лорда Нортгема, в этой истории что-то было неладно с самого ее начала, однако это даже не пришло бы ему в голову, не будь он столь настойчивым в своих изысканиях. Он был девятнадцатым бароном в роду, истоки которого уходили в далекое прошлое — в невероятно далекое, если принимать в расчет семейные предания о досаксонских временах, когда некий Гней Габиний Капитон, военный трибун Третьего Августова легиона, расквартированного в Линдуме на территории Римской Британии, был отстранен от командования за участие в каких-то тайных обрядах, не связанных ни с одной из известных в то время религий. По слухам, Габиний посещал одну пещеру на склоне утеса, где очень странные люди творили Древний Знак. Бритты боялись этих людей и старались держаться от них подальше; говорят, они были потомками немногих уцелевших жителей огромной земли в западном океане после того, как эта земля затонула, а на поверхности остались лишь отдельные острова с башнями, каменными кругами и святилищами, крупнейшим из которых был Стоунхендж. Согласно легенде, Габиний воздвиг неприступную крепость на скале над запретной пещерой и дал начало роду, который не смогли уничтожить ни пикты, ни саксы, ни датчане, ни норманны. Как полагают, именно из этого

рода происходил отважный друг и боевой соратник Черного принца, получивший от Эдуарда Третьего титул барона Нортгема. Сейчас трудно судить, что в той легенде было правдой, а что вымыслом, но разговоры на сей счет никогда не прекращались; что же касается Нортгемского замка, то кладка его стен на удивление схожа с римской кладкой стены Адриана. В детстве лорд Нортгем видел необыкновенные сны всякий раз, когда ему случалось ночевать в самой древней части замка, и с той поры в своих воспоминаниях часто возвращался к тем туманным сценам, образам и впечатлениям, не имевшим ничего общего с его реальной жизнью. Он превратился в мечтателя, неудовлетворенного пресной действительностью и занятого поисками таинственных миров и людей, известных ему по снам, но вряд ли существующих на нашей земле.

Рано уверовав в то, что ведомый нам мир является лишь атомом, малой частицей ужасающе беспредельного пространства, которое охватывает и сжимает этот мир, просачиваясь в него отовсюду, Нортгем уже в юные и молодые годы исчерпал все источники знаний в сферах как официальной религии, так и оккультных наук. Но он нигде не нашел желанного удовлетворения и покоя, а с возрастом пошлость и ограниченность этой жизни становились для него все более невыносимыми. В девяностых годах он отдал дань увлечению сатанизмом, и во все времена с жадностью набрасывался на каждую новую доктрину или теорию, обещавшую уход от постылых наук и скучных в своей неизменности законов природы. Он залпом прочитывал книги вроде химерического описания Атлантиды Игнатиусом Доннелли или сочинений доброй дюжины малоизвестных предшественников Чарльза Форта. Он мог проделать долгий путь ради того, чтобы проверить достоверность какого-нибудь странного деревенского сказания, а однажды забрался в глубь Аравийской пустыни с намерением отыскать никому неведомый Безымянный город, упомянутый в одном весьма сомнительном донесении. В глубине его души таилась мучительная вера в то, что где-то существует доступная дверь, ведущая во внешние миры, не-

ясное представление о которых он получил по своим снам. Эта дверь могла быть реальной и находиться в видимом мире, а могла существовать только в его сознании. Возможно, его мозг, сам по себе малоизученный, таил какое-то связующее звено с его прошлыми и будущими жизнями в иных измерениях — связь со звездами, с вечностью и бескрайними пространствами, лежащими далее за звездным небом.

КНИГА

Мои воспоминания очень запутанны. Еще менее я уверен в том, где они, собственно, начинаются, — временами я ощущаю за собой ужасающе длинную череду лет, а порой настоящее кажется мне всего лишь крохотной точкой в серой бесформенной бесконечности. Я даже не отдаю себе отчета в способе, которым сейчас формулирую это послание. То есть я вроде бы делаю это посредством речи, однако у меня складывается впечатление, что я нуждаюсь в дополнительном — странном и, возможно, страшном — посредничестве, чтобы довести то, что я желаю сказать, до состояния, в котором сказанное может быть кем-то услышано. Вдобавок ко всему я плохо понимаю, кто я, собственно, такой. Похоже, мне довелось пережить сильное потрясение — вероятно, ставшее чудовищным следствием моего уникального, совершенно невероятного жизненного опыта.

А первоисточником этого опыта явилась старая полуистлевшая книга. Помню, как я нашел ее в одном сумрачном доме близ реки, над черными маслянистыми водами которой всегда клубится туман. Дом этот был очень древним, и вдоль его лишенных окон комнат тянулись ряды книжных шкафов, упиравшихся в потолок и забитых ветхими старинными фолиантами. Кроме того, книги лежали грудami прямо на полу и на крышках грубо сколоченных сундуков; и в одной из таких куч я наткнулся на эту самую книгу. Мне до сих пор неизвестно ее название, поскольку там отсутствовали начальные

страницы, но, когда она соскользнула на пол и при падении раскрылась где-то ближе к концу, мне хватило одного лишь взгляда, чтобы голова моя пошла кругом.

А увидел я там формулу — описание последовательных слов и действий, необходимых для совершения жуткого запретного ритуала, о котором мне прежде доводилось читать в тайных, вызывающих отвращение и в то же время зачаровывающих текстах, древние авторы которых имели доступ к самым тщательно охраняемым секретам вселенной. По сути, это был ключ — указатель путей и способов перехода в иные миры за пределами известных нам трех измерений, предмет заветных мечтаний всех мистиков с тех времен, когда человечество было еще юным. В течение многих веков никому из людей не удавалось найти этот ключ или хотя бы узнать, где его нужно искать, — впрочем, этой книге тоже было много веков. Она появилась задолго до зарождения книгопечатания, и эти зловещие латинские фразы начертала старинным унциальным шрифтом рука какого-то полубезумного монаха.

Я помню взгляды искоса и гадкий смешок дряхлого владельца лавки, который сделал рукой непонятный знак, когда я забирал книгу. При этом он отказался взять с меня плату, и лишь долгое время спустя я понял, почему он так поступил. Домой я спешил по узким извилистым улицам и затуманенным набережным, подгоняемый страхом: мне все время чудилось, будто за моей спиной слышны мягкие крадущиеся шаги. Старые покосившиеся дома вдоль улиц, казалось, оживали и дышали ненавистью — словно силы зла внезапно получили доступ в этот мир, прежде бывший для них закрытым. Мне чудилось, будто все эти заплесневелые, изъеденные грибом кирпичные и деревянные стены с нависающими фронтонами следят за мной, тараша тусклые ромбовидные глазокна, и готовы в любой момент сдвинуться с места и раздавить меня в лепешку... а ведь я всего-навсего прочел небольшой фрагмент из проклятой книги, прежде чем закрыть ее и вынести из лавки.

Помню, как я наконец приступил к последовательному чтению книги, запершись в мансарде, которую я уже давно

приспособил для своих весьма неординарных занятий. Весь большой дом спал — я поднялся наверх уже после полуночи. Кажется, я в ту пору имел семью — хотя подробности семейной жизни видятся мне очень неясно — и в доме было много слуг. Не могу сказать, в каком году это происходило, ибо впоследствии я побывал во многих веках и измерениях, так что мое представление о времени существенно изменилось. Читал я при свечах — помню беспрестанно капавший воск — и под звон колоколов, доносившийся откуда-то издалека. К этому перезвону я напряженно прислушивался, как будто страшась уловить в нем особые, необычные ноты.

Через какое-то время я расслышал скребущий звук за окном мансарды, которое было расположено выше соседних городских крыш. Случилось это сразу после того, как я прочел вслух девятый стих древнего заклинания, с ужасом догадываясь, что за этим последует. Всякий проходящий через магические врата обретает призрачного спутника и с той поры уже никогда не остается в одиночестве. И я вызвал этот призрак — разумеется, с помощью книги. В ту ночь я прошел через врата и был подхвачен вихрем меняющихся времен и мест, а когда утро застало меня в своей мансардной комнате, все в ней — включая стены и мебель — выглядело уже не таким, как прежде.

Изменилось мое восприятие не только комнаты, но и окружающего мира в целом. Каждый эпизод настоящего теперь включал в себя элементы из прошлого и будущего, а некогда знакомые предметы казались чужими, поскольку я видел их в расширенной временной перспективе. С того времени я постоянно пребывал в фантастическом мире, состоящем из неведомых мне или едва узнаваемых объектов, и после каждого нового пройденного рубежа мне становилось все труднее опознавать вещи, некогда бывшие привычной частью моего повседневного бытия. Никто другой не видел вокруг то, что виделось мне, и я предпочитал молчать и сторониться людей, чтобы они не сочли меня сумасшедшим. Собаки боялись меня, так как чуяли постоянно следующую за мной потустороннюю тень. Я все больше времени посвящал чтению забытых

и запретных книг, к которым меня влекло открывшееся мне новое видение вселенной, и преодолевал все новые пространственно-временные врата, погружаясь в глубины неведомого космоса.

Я помню, как однажды ночью начертил пять концентрических огненных кругов на полу комнаты, стал в их центре и произнес чудовищное заклятие, некогда принесенное загадочным посланцем из глубин азиатского континента. И тотчас стены вокруг растаяли, я был подхвачен черным ветром и полетел в туманную бездну, время от времени замечая острые пики неведомых гор очень далеко внизу. Через некоторое время все вокруг погрузилось в крошечную тьму, а затем в этой тьме внезапно вспыхнули мириады звезд, складываясь в незнакомые мне созвездия. Наконец я увидел внизу равнину, залитую зеленоватым светом, а на равнине стоял город с витыми башнями, не похожий ни на один из городов, которые я когда-либо видел наяву или во сне. Подлетев ближе к городу, я обратил внимание на гигантское квадратное здание из камня посреди обширного пустыря, и в тот же миг меня охватил жуткий страх. Я завопил, молотя пустоту руками и ногами, после чего вновь наступила тьма, а очнувшись я распростертым среди светящихся кругов на полу своей комнаты. Мое странствие в ту ночь не было более удивительным, чем предыдущие ночные странствия, но оно было куда более ужасным, ибо я понял, что вплотную приблизился к запредельным мирам и пространствам, чего со мной не случалось ранее. Впоследствии я был более осторожен с заклинаниями, чтобы не оказаться навеки оторванным от собственной телесной оболочки и земного мира, будучи ввергнутым в неведомые пучины, из которых уже нет возврата.

ГРИБЫ С ЮГТОТА

1. КНИГА

В квартале возле пристани, во мгле
Терзаемых кошмарами аллей,
Где призраки погибших кораблей
Плывут, сливаясь с дымкой, по земле,
Мой взгляд остановился на стекле
Лачуги, превращенной в мавзолей
Старинных книг, достойных королей,
Но днесь у паутины в кабале.
С волнением шагнув под низкий свод,
Одну из книг раскрыл я наугад,
И с первых слов меня швырнуло в пот,
Как если бы я принял сильный яд.
Я в страхе огляделся — дом был пуст.
И только смех слетал с незримых уст.

2. ПРЕСЛЕДОВАТЕЛЬ

Заветный том за пазухой держа
И сам как будто бесом одержим,
Я мчался, озираясь и дрожа,
По грязным и разбитым мостовым.
Из затхлой глубины кирпичных ниш
За мной следили окна. В вышине
Маячили громады черных крыш,
Будя испуг и панику во мне.

Зловещий смех по-прежнему звучал
В моем воображении больном,
И, думая о томе, я гадал,
Какие бездны зла таятся в нем.
Меж тем вдали все топот раздавался,
Как если бы за мною кто-то гнался!

3. КЛЮЧ

Я все никак опомниться не мог
От странных слов, чей тон был столь суров,
А потому, взойдя на свой порог,
Был бледен — и закрылся на засов.
Со мной был том, а в нем — заветный путь
Через эфир и тот святой заслон,
Что скрыл от нас миров запретных жуть
И сдерживает натиски времен.
В моих руках был ключ к стране видений —
Закатных шпилей, сумеречных роц,
Таящихся за гранью измерений,
Земных законов презирая мощь.
Пока я бормотал оторопело,
Окно мансарды тихо заскрипело.

4. УЗНАВАНИЕ

И вновь вернулся тот блаженный час,
Когда — еще ребенком — я забрел
В ложину, где дремал могучий вяз
И тени населяли мглистый дол.
В плену растений, как и в прошлый раз,
Томился символ, врезанный в престол
В честь Безымянного, кому с террас
Века назад кадили чадом смол.
На алтаре покоился скелет...
Я понял, что мечтаниям конец.
Что я не на Земле в кругу планет,

Но на коварном Юготе. Мертвец
Исторгнул стон, за всех живых скорбя,
И в бледной жертве я узнал — себя!

5. ВОЗВРАЩЕНИЕ

Дух объявил, что он меня возьмет
В то место, где когда-то был мой дом,
В чудесный край на берегу морском,
Где высится сверкающий оплот.
К нему крутая лестница ведет
С перилами из мрамора. Кругом
Тьма куполов и башен, но пером
Живописать все это — кто рискнет?
Поверив искусителя речам,
Я вслед за ним поплыл через закат
Рекой огня вдоль золотых палат
Богов, душимых страхом по ночам.
Потом — сплошная ночь и моря плач.
«Ты жил здесь, — молвил дух, — когда был зряч!»

6. ЛАМПАДА

В пещере, где служили Сатане;
Куда ходы нечистые вели,
Прорытые исчадьями земли;
Где символы виднелись на стене,
Чей сложный смысл постичь, увы, не мне,
Старинную лампаду мы нашли.
Ее латунь сверкала и в пыли,
Остатки масла плавали на дне.
Нарушив сорока веков запрет,
Мы свой трофей из праха извлекли
И к темным каплям спичку поднесли,
Гадая, вспыхнет масло или нет.
Лампада занялась — и сонм теней
Возник в дрожащем зареве над ней!

7. ХОЛМ ЗАМАНА

Зеленый склон лесистого холма
Взметнулся над старинным городком
В том месте, где шатаются дома
И колокол болтает языком.
Две сотни лет — молва на всех устах
О том, что на холме живет беда,
О туловище, найденном в кустах,
О мальчиках, пропавших без следа.
Стоял на склоне хутор, но и тот
Исчез, как испарился. Почтальон
Сказал об этом в Эйлсбери. Народ
Сбегался поглазеть со всех сторон.
И слышалось: «Почтарь-то, видно, врет,
Что видел у холма глаза и рот!»

8. ПОРТ

В десятке миль от Аркхема я влез
На скальную гряду вдоль Бойнтон-Бич,
Спеша долины Инсмута достичь,
Пока закат не обагрил небес.
На синей глади — зыбок и белес —
Маячил парус. Не могу постичь,
Чем он так ужаснул меня, что клич
В моих устах остался без словес.
Я вспомнил древний инсмутский девиз:
«Уходим в море!» — и последний луч
Озолотил громады сонных круч,
Откуда столько раз глядел я вниз.
Вдали простерся город — море крыш.
Но странно — в нем царили мрак и тишь.

9. ДВОР

Я помнил этот город с давних пор —
Очаг заразы, где безродный сброд

Колотит в гонги и молитвы шлет
Чужим богам из чрева смрадных нор.
Колдобин сторонясь и нечистот,
Меж стен гнилых я крался, словно вор,
Потом свернул в какой-то темный двор,
Надеясь, что застану в нем народ.
Но двор был пуст, и проклинал я час,
Когда забрел сюда, себе во вред,
Как вдруг все окна осветились враз,
И в них замельтешили — что за бред!
Танцующие толпы мертвецов,
Все как один — без рук и без голов!

10. ГОЛУБЯТНИКИ

Мы шли через трущобы. Грех, как гной,
Коробил кладку стен, и сотни лиц
Перекликались взмахами ресниц
С нездешними творцом и сатаной.
Вокруг пылало множество огней,
Повсюду колотили в барабан,
И с плоских крыш отряды горожан
Пускали в небо квелых голубей.
Я знал, что те огни чреватые злом,
Что птицы улетают за Предел,
Но с чем они вернутся под крылом —
О том я даже думать не хотел.
И каждый испытал священный страх,
Увидев то, что было в их когтях!

11. КОЛОДЕЦ

Сет Этвуд в свои восемьдесят лет
Затеял рыть колодец у ворот.
На пару с юным Эбом старый Сет
Трудился дни и ночи напролет.
Мы думали — одумается дед,

Но вышло все как раз наоборот:
Эб тронулся, а Сет дал задний ход
И сам себя отправил на тот свет.
Как только был закопан дедов гроб,
Мы бросились к колодцу — злу вине! —
Но в нем нашли лишь ряд железных скоб,
Терявшийся в зловещей глубине.
И сколь веревка ни была б длинна,
До дна не доставала ни одна!

12. НАСЛЕДНИК

Кто шел в Зоар, выслушивал совет:
Не пользоваться бригсхильской тропой,
Где старый Воткинс, вздернутый толпой,
Оставил по себе кошмарный след.
Отправившись туда, я увидел
Плющом увитый домик под горой
И вздрогнул — он смотрелся как жилой,
Хотя и много лет пропустовал.
Пока я наблюдал, как меркнет день,
Из верхнего окна донесся вой.
Я поднял взор — в окне мелькнула тень,
И я помчался прочь, едва живой.
Будь проклят этот дом с его жильцом —
Животным с человеческим лицом!

13. ГЕСПЕРИЯ

Заря, в морозной дымке пламенея
Над шпилями и скатами строений,
В страну заветных грез и настроений
Зовет меня, и я слежу, бледнея,
За тем, как облака — то каменея,
То истончаясь в чередѣ вращений —
Претерпевают сотни превращений,
Одно другого краше и чуднее.

Гесперия — страна зари вечерней.
Там время начинает свой отсчет,
Туда от века избранных влечет
Из дольных сфер, что созданы для черни.
Влечет неудержимо, но, увы! —
Туда не попадем ни я, ни вы.

14. ЗВЕЗДОВЕЙ

В тот час, когда зальется соловей
И за окном затеплится свеча,
По улицам, сухие листья мча,
Гуляет звездный ветер — звездовой.
Печной дымок, послушный лишь ему,
Творит за пируэтом пируэт —
Он вторит траекториям планет,
А с юга Фомальгаут сверлит тьму.
В такую ночь поэты узнают
Немало тайн о юготских грибах
И о цветах, что в сказочных садах
На континентах Нитона растут.
Но все, что в эту ночь приснится им,
Уже к утру развеется как дым.

15. АНТАРКТОС

В глубоком сне поведала мне птица
Про черный конус, что стоит во льдах
Один как перст. Над ним пурга глумится,
На нем лежит тысячелетий прах.
Та часть его, что подо льдом таится,
В былые дни внушала Древним страх.
Теперь о ней не помнит и Денница,
Единственная гостья в тех краях.
Иной смельчак, пройдя через невзгоды
Ледового пути — мороз, буран, —
Сказал бы: «Что за странный жест природы —

Создать такой неслыханный курган!»
Но горе мне, узревшему во сне
Взгляд мертвых глаз в хрустальной глубине!

16. ОКНО

В старинном доме с лестницей витой,
Где жили мои прадеды, одно
Манило и влекло меня — окно,
Заделанное каменной плитой.
В плену у грез, я с детства жил мечтой —
Узнать, какой секрет хранит оно,
И часто подходил к нему. Темно
И пыльно было в комнате пустой.
Лишь много лет спустя в свой уголок
Я пару камнетесов пригласил.
Они трудились, не жалея сил,
Но, сделав брешь, пустились наутек.
А я, взглянув в проем, увидел в нем
Тот мир, где я бывал, забывшись сном.

17. ПАМЯТЬ

В огнями звезд разубранной ночи
Дремала степь, вся в лагерных кострах,
Чьи языки, в стада вселяя страх,
Лизали мрак, остры и горячи.
На юге — там, где степь во всю длину
Ныряла вниз — темнел зигзаг стены,
Как будто некий змей из глубины
Там камнем обратился в старину.
Куда попал я и каким путем?
Метался я, судьбу свою кляня.
Вдруг чья-то тень, поднявшись над костром,
По имени окликнула меня.
Приблизившись, я встретил мертвый взгляд.
Зачем я пил надежд напрасных яд?!

18. ЙИНСКИЕ САДЫ

За той стеной, чьих лет никто не счел,
Чьи башни поросли седыми мхами,
Лежат сады с нарядными цветами,
С порханьем птиц, и бабочек, и пчел.
Там стаи цапель дремлют над прудами
И царственные лотосы цветут,
Там звонкие ручьи узоры ткут
Среди деревьев с яркими плодами...
Так думал я, наивно веря снам,
В которых уж не раз случилось мне
Приблизиться к внушительным вратам
В той исполинской каменной стене.
И вот я у стены — но где же вход?
Вы мне солгали, сны! В ней нет ворот!

19. КОЛОКОЛА

Из года в год, в часы ночного бденья,
Я слышал колокольный перезвон,
Протяжный и глухой. Казалось, он
Заоблачного был происхожденья.
Среди полузабытых грез и снов
Искал я ключ к разгадке этой тайны
И, думается, вспомнил не случайно
Шпиль в Инсмуте и белых чаек зов.
Но как-то в марте шум дождя ночного
Взбодрил мне память, где царила мгла,
И я припомнил, словно сон бредовый,
Ряд башен, а на них — колокола.
И вновь раздался, звукам ливня вторя,
Знакомый звон — со дна гнилого моря!

20. НОЧНЫЕ БЕСТИИ

Какие подземелья их плодят —
Рогатых черных тварей, чьи тела

Влачат два перепончатых крыла,
А хвост — двуострый шип, в котором яд?
Они меня цепляют и летят
В миры, где торжествуют силы зла,
Где разум обволакивает мгла...
Их когти и щекочут, и язвят.
Кривые пики Тока одолев,
Мы с лёту низвергаемся на дно
Геенны — там есть озеро одно,
Где часто дремлют шогготы, сомлев.
И так из ночи в ночь, и несть конца
Визитам этих бестий БЕЗ ЛИЦА!

21. НЬЯРЛАТХОТЕП

Он объявился под конец времен —
Египта сын, высок и смуглолиц.
Пред ним феллахи простирались ниц,
Цвет его ризы был закату в тон.
К нему стекался люд со всех сторон,
Охочий до пророчеств и чудес,
И даже дикий зверь, покинув лес,
Спешил к Ньярлатхотепу на поклон.
Все знали, что настал последний час,
И было так — сперва ушли моря,
Потом разверзлась суша, и заря
Скатилась на оплоты смертных рас.
В финале Хаос, вечное дитя,
С лица Вселенной Землю стер, шутя.

22. АЗАТОТ

Я вторгся с вездесущим бесом в паре
Из мира измерений — за Предел,
Туда, где нет ни времени, ни твари,
Но только Хаос, бледен и дебел.
Непризнанный ваятель мироздания,

Он быстро и бессвязно бормотал
Какие-то глухие заклинанья
И сонм крылатых бестий укрощал.
В его когтях надрывно голосила
Бесформенная флейта в две дыры —
Не верилось, что в звуках этих сила,
Которой покоряются миры.
«Я есмь Его глашатай!» — дух съязвил
И божеству затрещину вlepил.

23. МИРАЖ

Не знаю, есть ли он на самом деле,
И где — на небесах иль на земле —
Тот край, которым грежу с колыбели,
Седых столетий тонущий во мгле.
Закрыв глаза, я вижу цитадели,
И ленты рек, и церковь на скале,
И переливы горней акварели,
Точь-в-точь как на закате в феврале.
Я вижу заболоченные дали,
Слежу за тенью птичьего крыла
И слышу звон, исполненный печали,
Со стороны старинного села.
Но где тот чародей, что скажет мне,
Когда я был — иль буду — в той стране?

24. КАНАЛ

В одном из снов я посетил район,
Где вдоль домов, ограбленных нуждой,
Тянулся ров, заполненный водой,
Густой, как кровь, и черной, как гудрон.
От вялых струй дух тлена исходил,
Стесняя грудь предчувствием беды,
И лунный свет сочился на ряды
Пустых жилищ с осанкою могил.

Ни стук шагов, ни скрип оконных рам
Не нарушали мрачной тишины —
Был слышен только мерный плеск волны,
Уныло льнущей к мертвым берегам.
С тех пор, как мне приснился этот сон,
Меня терзает мысль: не явь ли он?

25. СЕН-ТОУД (СОБОР СВЯТОЙ ЖАБЫ)

«Сен-Тоудского звона берегись!» —
Услышал я, ныряя в тупики
И переулки к югу от реки,
Где легионы призраков вились.
Кричал одетый в рубище старик,
Который в тот же миг убрался прочь,
А я направил шаг в глухую ночь,
Не ведая, что значил этот крик.
Я шел навстречу тайне и дрожал,
Как вдруг (я было принял их за бред)
Еще два старца каркнули мне вслед:
«Когда пробьет Сен-Тоуд — ты пропал!»
Не выдержав, я бросился назад,
И все же он настиг меня — набат!

26. ЗНАКОМЦЫ

Селянин Джон Уэтли жил один
Примерно в миле вверх от городка.
Народ его держал за чудака,
И, правду говоря, не без причин.
Он сутками не слазил с чердака,
Где рылся в книгах в поисках «глубин».
Лицо его покрыла сеть морщин,
В глазах сквозила смертная тоска.
Когда дошло до воя по ночам,
О Джоне сообщили в «желтый дом».
Из Эйлсбери пришли за ним втроем,

Но в страхе воротились. Их очам
Предстали два крылатых существа
И фермер, обращавший к тем слова.

27. МАЯК

Над Ленгом, где скалистые вершины
Штурмуют неприступный небосвод,
С приходом ночи зарево встает,
Вселяя ужас в жителей долины.
Легенда намекает на маяк,
Где в скорбном одиночестве тоскует
И с Хаосом о вечности толкует
Последний из Древнейших, миру враг.
Лицо его закрыто желтой маской,
Чьи шелковые складки выдают
Черты столь фантастичные, что люд
Издrevле говорит о них с опаской —
Веками поминая смельчака,
Который не вернулся с маяка!

28. ПРЕДВЕСТНИКИ

Есть ряд вещей, рождающих во мне
Такое чувство, будто бы вот-вот
Одно из тех чудес произойдет,
Какие происходят лишь во сне.
Нагрянет ли незваное извне,
Иль сам я попаду в круговорот
Безумных авантюр, пиров, охот
В еще не существующей стране?
Среди таких вещей — холмы, зарницы,
Глухие сёла, шпили городов,
Закаты, южный ветер, шум садов,
Морской прибой, старинных книг страницы.
В их дивных чарах — жизни оправданье,
Но кто прочтет их тайное посланье?

29. НОСТАЛЬГИЯ

Один раз в год над морем раздается
Призывный клич и гомон птичьих стай,
По осени спешащих в дальний край,
Откуда их пернатый род ведется.
Узнав о нем из грез, они томятся
По рощам, где над лентами аллей
Сплелись густые ветви тополей,
Где все усыпал яркий цвет акаций.
Они спешат с надеждой, что вот-вот
Покажется высоких башен ряд,
Но, видя впереди лишь версты вод,
Из года в год ни с чем летят назад...
И купола в хрустальной глубине
Веками ждут и видят их во сне.

30. ИСТОКИ

Меня не привлекает новизна —
Ведь я родился в старом городке,
Где видел из окна, как вдалеке
Колдует пристань, призраков полна.
Затейливые шпили золоты
От зарева закатного костра,
На крышах — с позолотой флюгера:
Вот истинный исток моей мечты.
Реликвии эпохи суеверий,
Они лишь соблазняют духов зла,
И те несут нам веры без числа
Из всех миров, где им открыты двери.
Они рвут цепи Времени — и я
Встречаю Вечность, их благодаря.

31. ДРЕВНИЙ ГОРОД

Он гнил, когда был молод Вавилон.
Бог знает сколько эр он продремал

В земле, где наших заступов металл
Из плит его гранитных высек звон.
Там были мостовые, и дворцы,
И статуи, похожие на бред, —
В них предков нам оставили портрет
Неведомых ваятелей резцы.
И вот — мы видим лестничный пролет,
Прорубленный сквозь грубый доломит
И уходящий в бездну, что хранит
Знак Древних и запретных знаний свод.
И мы б наверняка в нее сошли,
Когда б не гром шагов из-под земли!

32. ОТЧУЖДЕНИЕ

Телесно оставаясь на Земле,
Чему свидетель — пепельный рассвет,
Душою он скитался меж планет,
Входя в миры, лежащие во зле.
Пока не пробил час, ему везло:
Он видел Йаддит — и не поседел,
Из гурских областей вернулся цел,
Но как-то ночью зовы принесло...
Наутро он проснулся стариком,
И мир ему предстал совсем другим —
Предметы расплывались, словно дым,
Вся жизнь казалась сном и пустяком.
С тех пор он держит ближних за чужих,
Вотще стараясь стать одним из них.

33. ПОРТОВЫЕ СВИСТКИ

Над крышами и остовами шпилей
Всю ночь поют портовые свистки;
Мотивы их исполнены тоски
По ярости штормов и неге штилей.
Чужие и невнятные друг другу,

Но слитые секретнейшей из сил,
Колдующих за поясом светил,
В поистине космическую фугу.
С их звуками в туманы наших снов
Вторгаются, туманные вдвойне,
Видения и символы Извне,
Послания неведомых миров.
Но вот вопрос — какие корабли
Доносят их до жителей Земли?

34. ПРИЗВАННЫЙ

Тропа вела меж серых валунов,
Пересекая сумрачный простор,
Где из земли сквозь дыры затхлых нор
Сочился тлен неведомых ручьев.
Могильной тишины не оживлял
Ни ветерок, ни шелест листвяной.
Пейзаж был гол, пока передо мной
Стеной не вырос исполинский вал.
Весь в зарослях густого сорняка,
Он подпирал собою небосвод,
И грандиозный лестничный пролет
Стремился по нему под облака.
Я вскрикнул — и узнал звезду и эру,
Которыми был призван в эту сферу.

35. ВЕЧЕРНЯЯ ЗВЕЗДА

Я разглядел ее надменный лик
Сквозь зарево закатного холста.
Она была прозрачна и чиста,
Все ярче разгораясь в каждый миг.
С приходом тьмы ее янтарный свет
Ударил мне в глаза, как никогда.
Воистину, вечерняя звезда
Способна быть навязчивой, как бред!

Она чертила в воздухе сады,
Дворцы и башни, горы и моря
Миров, которым с детства верен я,
Повсюду различая их следы.
В ту ночь я понял, что ее лучом
Издалека привет прислал мой дом.

36. НЕПРЕРЫВНОСТЬ

Предметы старины хранят налет
Неуловимой сущности. Она
Прозрачна, как эфир, но включена
В незыблемый космический расчет.
То символ непрерывности, для нас
Почти непостижимой; тайный код
К тем замкнутым пространствам, где живет
Минувшее, сокрытое от глаз.
Я верю в это, глядя, как закат
Старинных ферм расцвечивает мох
И пробуждает призраки эпох,
Что вовсе не мертвы, а только спят.
Тогда я сознаю, сколь велика
Та Цитадель, чьи кирпичи — века.

СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННЫЙ УЖАС В ЛИТЕРАТУРЕ

1

ВВЕДЕНИЕ

Страх есть древнейшее и сильнейшее из человеческих чувств, а его древнейшая и сильнейшая разновидность есть страх перед неведомым. Мало кто из психологов станет оспаривать этот факт, что само по себе гарантирует произведениям о сверхъестественном и ужасном достойное место в ряду литературных форм. На эти произведения нападают как материалистическая софистика, верная избитому набору эмоций и реальных фактов, так и наивный, пресный идеализм, не признающий эстетической сверхзадачи и настаивающий на том, чтобы литература поучала читателя, воспитывая в нем самодовольный оптимизм. Но несмотря на все это противодействие, жанр сверхъестественных и ужасных историй выжил, развился и достиг замечательных высот совершенства, так как в основе его лежит простой основополагающий принцип, притягательность которого если и не универсальна, то во всяком случае действенна для людей с достаточно развитым восприятием.

Круг поклонников запредельно-ужасного, как правило, узок, поскольку от читателя требуется определенная толика воображения и способность отрешиться от будничной жизни. Относительно немногие из нас обладают той степенью внутренней свободы, что позволяет сквозь пелену повседневной рутины расслышать зов иных миров, а потому во вкусе большинства всегда будут преобладать истории, повествующие о заурядных переплетениях чувств и событий с их банально-

слезливыми вариациями — и это, вероятно, справедливо, так как именно тривиальное господствует в нашем повседневном опыте. В то же время тонкие, чувствительные натуры не такая уж и редкость, да и самую твердолобую голову порою озаряет прихотливый луч фантазии, а потому никаким потугам рационализма, никаким успехам прогресса и никаким выкладкам психоанализа вовек не заглушить в человеке ту струнку, что отзывается на страшную сказку, рассказанную ночью у камина, и заставляет его замирать от страха в безлюдном лесу. Здесь срабатывает психологическая модель, или традиция, не менее реальная и не менее глубоко укорененная в ментальном опыте человечества, чем любая другая; она стара, как религиозное чувство — с которым она, кстати, связана кровными узами, — и занимает в наследственной биологии человека слишком большое место, чтобы потерять власть над незначительной по количеству, но качественно значимой частью рода людского.

Первичные инстинкты и эмоции человека формировали его отношение к обживаемой им среде. Вокруг явлений, причины и следствия которых он понимал, возникали недвусмысленные и ясные представления, основанные на наслаждении и боли; тогда как явления, ему непонятные, — а в древности вселенная была таковыми полна — обрастали мистическими олицетворениями, фантастическими истолкованиями и благоговейными чувствами, сообразными тому уровню опыта и знаний, каким обладало человечество на заре своего существования. Неведомое — оно же непредсказуемое — в глазах наших предков было тем ужасным и всемогущим источником, откуда брали начало все блага и бедствия, обрушивавшиеся на людей по загадочным, мистическим причинам и явно принадлежавшие к тем сферам бытия, о которых человек не ведал и над которыми он не властен. Феномен сновидений тоже внес свою лепту в формирование представления о нереальном мире, или мире духов, — да и вообще, все условия дикой первобытной жизни столь неумолимо приводили к мысли о сверхъестественном, что не следует удивляться тому, сколь основательно самая сущность современного человека

пропитана религиозными и суеверными чувствами. Даже при строго научном подходе становится ясно, что этим чувствам суждена воистину вечная жизнь если не в сознании, то хотя бы в подсознании и внутренних инстинктах человека; ибо невзирая на то, что на протяжении тысячелетий сфера непознанного неуклонно сокращалась, непрореженная завеса тайны по-прежнему охватывает большую часть окружающей нас вселенной, и толстый слой прочных унаследованных ассоциаций покрывает все предметы и явления, которые некогда казались нам загадочными, а ныне легко объяснимы. Более того, наукой доказано, что древние инстинкты физиологически закреплены в нашей нервной ткани и незримо действуют даже тогда, когда наш рассудок полностью свободен от суеверий.

Поскольку боль и угрозу смерти мы помним ярче, чем наслаждение, и поскольку наше отношение к благим проявлениям непознанного с самого начала было загнано в прокрустово ложе условных религиозных обрядов, то стоит ли удивляться, что именно темным и зловещим сторонам вселенской тайны выпало фигурировать в мистическом фольклоре человечества. Такое положение дел естественным образом усугубляется тем, что неизвестность всегда сопряжена с опасностью, вследствие чего любая область непознанного в глазах человека является потенциальным источником зла. Когда же к этому ощущению страха и угрозы добавляется свойственная каждому из нас тяга к чудесному и необычному, образуется тот сплав сильных эмоций с игрой воображения, который будет существовать до тех пор, покуда жив род человеческий. Не только дети во все времена будут бояться темноты, но и взрослые — по крайней мере, те из них, кто обладает чувствительной к первобытным импульсам натурой, — всегда будут содрогаться при мысли о таинственных и непостижимых мирах, исполненных совершенно особой жизни и затерянных в космических безднах за пределами галактик или же затаившихся в пагубной близости от нашей планеты: в каких-нибудь потусторонних измерениях, куда дано заглянуть разве что мертвецам да безумцам.

Учитывая вышесказанное, странно было бы удивляться существованию литературы ужасов. Она существовала и будет существовать, и лучшим свидетельством ее живучести служит тот инстинкт, что порой заставляет авторов, работающих в совершенно противоположных жанрах, пробовать свои силы и в ней — вероятно, затем, чтобы избавить свой разум от преследующих его химер. В качестве примера можно привести Диккенса, написавшего ряд леденящих душу повестей, Браунинга с его мрачной поэмой «Чайльд-Роланд», Генри Джеймса с его «Поворотом винта», а также очень тонко исполненную повесть «Элси Веннер» доктора Холмса, «Верхнюю койку» и ряд других работ Ф. М. Кроуфорда, «Желтые обои» Шарлоты Перкинс Джилмен и, наконец, жутковатую мелодраму «Обезьянья лапа», созданную юмористом У. У. Джекобсом.

Данную разновидность литературы ужасов не следует путать с другой, имеющей с ней чисто формальное сходство, но психологически принципиально отличной — с литературой, описывающей простой животный страх и мрачные стороны земного бытия. Такие произведения, безусловно, тоже нужны и всегда будут иметь своего читателя, как, например, имеет его классический, или слегка модернизированный, или даже юмористический рассказ о привидениях, где изрядная доля условности и присутствие всезнающего автора практически сводят на нет атмосферу пугающей патологии; но такое творчество нельзя назвать литературой космического ужаса в исконном смысле слова. Настоящая страшная история — это всегда нечто большее, чем загадочное убийство, окровавленные кости или фигура в простыне, бряцающая цепями в такт законам жанра. Автор должен уметь создавать и поддерживать атмосферу гнетущего, неотвязного страха, вызывающую в читателе ощущение присутствия потусторонних, неведомых сил; в рассказе непременно должен содержаться выраженный со всей подобающей ему весомостью и неумолимостью намеков на чудовищнейшее измышление человеческого разума: возможность отмены тех незыблемых устоев бытия, что являются нашей единственной

защитой от агрессии со стороны демонических запредельных сил.

Конечно же, трудно ожидать, чтобы все страшные истории целиком укладывались в какую бы то ни было схему. Творческий процесс не бывает ровным, и даже в блестящей прозе встречаются невыразительные места. И потом, то, что вызывает наибольший страх у читателя, у автора выходит, как правило, непроизвольно, появляясь в виде ярких эпизодов, рассеянных по всему полю произведения, общий характер которого может быть совершенно иного свойства. Атмосфера важнее всего, ибо окончательным критерием достоверности служит не закрученность сюжета, а создание адекватного впечатления. Само собой разумеется, что, когда страшная история предназначена для поучения или нравоучения и когда описываемые в ней ужасы в конечном счете получают естественное объяснение, мы не можем назвать ее подлинным образцом литературы космического ужаса; однако нельзя отрицать и того факта, что в произведениях подобного рода порой встречаются эпизоды, пропитанные той атмосферой, что удовлетворяет самым строгим требованиям к литературе о сверхъестественном. А это значит, что мы должны оценивать вещь не по авторскому замыслу и не по хитросплетениям сюжета, а по тому эмоциональному накалу, которого она достигает в своих наименее реалистических сценах. Пассажи, проникнутые надлежащим настроением, сами по себе могут рассматриваться как полноценный вклад в литературу ужасов, к какой бы прозе они в конечном счете не относились. Определить, имеем ли мы дело с подлинно ужасным, довольно несложно: если читателя охватывает чувство запредельного страха и он начинает с замиранием сердца прислушиваться, не хлопают ли где черные крылья злобных демонов, не скребутся ли в окно богомерзкие пришельцы из расположенных за гранью вселенной миров, то перед нами настоящий рассказ ужасов, и чем полнее и цельнее передана в нем эта атмосфера, тем более высоким произведением искусства в своем жанре он является.

ЗАРОЖДЕНИЕ ЛИТЕРАТУРЫ УЖАСОВ

Будучи тесно связанной с первобытным мироощущением, страшная история стара, как мысль и слово.

Космический ужас присутствует уже в самых ранних образцах фольклора каждой нации и обретает форму в древнейших сказаниях, хрониках и священных книгах. Он составляет характерную черту практической магии с ее замысловатыми обрядами, вызываниями духов и демонов, известными с доисторических времен и достигшими своего высшего расцвета в Древнем Египте и у семитских народов. Такие тексты, как «Книга Еноха» и «Ключ Соломона», прекрасно иллюстрируют роль сверхъестественного в древнем восточном сознании. На подобных произведениях были основаны устойчивые системы и традиции, отголоски которых мы находим и в современной литературе. Трансцендентальный ужас присутствует в античной классике, и мы имеем все основания предполагать, что еще большее значение он играл в устном народном творчестве, развивавшемся параллельно классическому направлению, но не дошедшем до нас ввиду отсутствия письменной традиции. Погруженное в мистический туман Средневековье дало новый толчок потребности выразить этот страх; Восток и Запад в равной степени стремились сохранить и приумножить сумрачное наследство, доставшееся нам как в виде разрозненного фольклора, так и в форме последовательно изложенных систем магии и каббалистики. Слова «ведьма», «оборотень», «вампир» и «вурдалак» не сходили с языков бардов и волхвов, и то, что в конце концов они перекочевали из песенных куплетов на страницы книг, было вполне закономерно. На Востоке сверхъестественная история тяготела к красочной помпезности и увлекательности, что по сути дела превратило ее в сказку. На Западе, где обитали суеверные германцы, сыны дремучих северных лесов, и еще не забывшие про диковинные жертвоприношения в рощах друидов кельты, она приобрела те глубину и убедительность, бла-

годаря которым сила воздействия отчасти высказывавшихся, отчасти подразумевавшихся в ней ужасов возросла вдвое.

Значительной долей своего могущества западная традиция ужасов, несомненно, была обязана скрытому, хотя порой и ощутимому влиянию чудовищного культа жрецов ночи, чьи извращенные ритуалы, восходившие к тем доарийским и доземледельческим временам, когда по Европе со своими стадами и табунами кочевали орды коренастых монголоидов, коренились в наиболее отталкивающих обрядах незапамятной древности, связанных с плодородием. Отличительной чертой этой тайной крестьянской религии, передававшейся из поколения в поколение на протяжении тысячелетий, несмотря на формальное господство друидической, греко-римской, а потом и христианской веры, являлись непотребные ведьмовские шабашы, которые проводились в лесной глуши и на вершинах безлюдных гор в Вальпургиеву ночь и канун Дня всех святых — даты, традиционно считавшиеся началом сезона размножения домашнего скота, — и которые послужили источником бесчисленных преданий о заговорах и порчах, спровоцировав, между прочим, широкомасштабную охоту на ведьм, вылившуюся в Америке в знаменитый Салемский процесс. Духовной, а может быть, и кровной родственницей упомянутого культа была зловещая тайная доктрина «богословия наоборот», или служения Сатане, породившая такие ужасы, как пресловутая «черная месса»; примерно в том же направлении, хотя и с другого конца — под видом научных или философских штудий, — развивалась деятельность многочисленных астрологов, алхимиков и каббалистов типа Альберта Великого и Раймунда Луллия, какими неизменно изобилуют эпохи невежества и мракобесия. Атмосфера суеверного страха, усугубляемая постоянными вспышками эпидемий чумы, тяготела над средневековой Европой, пронизывая буквально все сферы ее жизни, лучшим доказательством чему служат те элементы фантазмагии и гротеска, которые исподволь вводились в большинство творений церковной архитектуры периода ранней и поздней готики и наиболее известными образцами которых являются демонические горгульи собора

Парижской Богоматери и монастыря Мон-Сен-Мишель. Следует также помнить, что в те времена как среди образованной, так и среди необразованной публики существовала практически слепая вера в любые формы сверхъестественного — начиная с кротчайших доктрин христианства и кончая чудовищными непотребностями колдовства и черной магии. Такие знаменитые чернокнижники и алхимики эпохи Возрождения, как Нострадамус, Тритемий, доктор Джон Ди, Роберт Фладд и им подобные, появились не на пустом месте.

Мотивы и персонажи оккультного мифа и легенды, вскормленные и взлелеянные питательной средой Средневековья, сохранились в литературе ужасов до сего дня, хотя при этом они и претерпели изменения в соответствии с современными концепциями мироздания. Многие из них были заимствованы из древнейших устных преданий и сопровождали человечество на протяжении всей его истории. Призрак, появляющийся с требованиями похоронить свои кости; демон-любовник, приходящий за своей еще живой невестой; дух смерти, оседлавший ночной ветер; оборотень, запертая комната, бессмертный чародей — все это можно найти в том причудливом корпусе средневековых легенд, который лег в основу роскошного издания, осуществленного покойным мистером Бэринг-Гулдом. Всюду, где доминировал склонный к мистицизму нордический дух, атмосфера таинственного в народных преданиях достигала своей предельной концентрации; в то время как у латинян, этих неисправимых рационалистов, даже фантастичнейшие из суеверий лишены тех романтических нюансов, что столь характерны для наших поверий, рожденных во мраке дремучих лесов и среди безмолвия снежных пустынь.

Поскольку вся художественная литература вышла из поэзии, именно с поэзии началось регулярное вторжение сверхъестественного в беллетристику. Любопытно, однако, что большинство античных памятников интересующего нас направления написано прозой: таковы рассказ Петрония об оборотне, отдельные мрачные страницы Апулея, короткое, но знаменитое письмо Плиния Младшего к Суре и сборник «О вещах

чудесных», составленный из разрозненных анекдотов греком Флегонтом, отпущенником императора Адриана. Именно у Флегонта мы впервые находим чудовищную историю, озаглавленную «Филиннион и Махет» и повествующую о мертвой невесте. Впоследствии эта история была изложена Проклом, а уже в новое время она вдохновила Гёте на написание «Коринфской невесты» и Вашингтона Ирвинга — на «Немецкого студента». Однако к тому моменту, когда мифологическое наследие Севера обретает письменную форму, не говоря уже о более позднем периоде, когда тема потустороннего утверждает себя в качестве постоянного элемента официальной литературы, мы сталкиваемся преимущественно с поэтическим воплощением этой темы. Примером тому служит большинство произведений, созданных в Средние века и в эпоху Возрождения на основе чистого вымысла. Скандинавские «Эдды» и саги поражают воображение читателя невиданным размахом вселенских ужасов, заставляя его трепетать и обмирать от страха перед Имиром и его кошмарными отпрысками, в то время как наш англосаксонский «Беовульф» и германский эпос о Нибелунгах нисколько не уступают им по сверхъестественной жути. Данте дал первый классический образец нагнетания мрачной атмосферы, а в величавых стансах Спенсера буквально везде лежит отпечаток суеверного страха — на деталях пейзажа, событиях и персонажах. Что же касается прозы, то здесь, в первую очередь, следует назвать «Смерть Артура» Томаса Мэлори со множеством жутких сцен, заимствованных из старинных сказаний. Среди них выделяются похищение сэром Ланселотом меча и шелкового полотнища с трупа неизвестного рыцаря в часовне, явление духа сэра Гавейна, встреча сэра Галахеда с демоном могил. Наряду с такими литературными вершинами неизбежно должна была существовать масса третьесортных произведений, выходивших в виде дешевых «Книжек с картинками», которые продавались вразнос вульгарными зазывалами и читались взахлеб невежественной чернью. В драматургии елизаветинского периода с ее «Доктором Фаустом», ведьмами из «Макбета», тенью отца Гамлета и мрачным колоритом Уэб-

стера в полной мере отразилось то влияние, какое оказывало демоническое и сверхъестественное на настроения умов; влияние, подкрепленное далеко не выдуманным страхом перед реально существующей черной магией, ужасы которой, прогремев сперва на континенте, отозвались эхом в ушах англичан в те дни, когда король Иаков Первый объявил крестовый поход против ведьм. К накопившемуся за столетия багажу мистической прозы добавляется длинный перечень трактатов о демонологии и колдовстве, способствующих разогреву воображения читающей публики.

В течение всего семнадцатого и начала восемнадцатого века мы наблюдаем рост числа однодневок инфернального жанра в форме сказаний и баллад, по-прежнему, однако, остающихся за пределами нормативной беллетристики. Дешевые сборники страшных и таинственных историй появляются как грибы после дождя и пользуются невероятным спросом у читателей, о чем можно судить по таким примерам, как «Призрак миссис Вил» Даниэля Дефо, этой незамысловатой истории о посещении призраком умершей женщины ее далекого друга, написанной со скрытой целью привлечь внимание публики к плохо расходящемуся богословскому трактату о смерти. То была эпоха, когда высшие слои общества стремительно теряли веру в загробный мир, отдавая дань классическому рационализму. Затем, благодаря переводам восточных сказок в период правления королевы Анны, происходит возрождение романтического мироощущения, обретающее отчетливые очертания к середине столетия и знаменующее собой новую эпоху преклонения перед Природой и блеском минувших времен с их романтическими декорациями, героическими деяниями и неслыханными чудесами. Первые признаки свершающейся перемены мы находим у поэтов, чей дар переходит в иное качество, заставляя читателя по-новому восхищаться, удивляться и трепетать. Наконец, после ряда робких попыток внести элемент сверхъестественной жути в современный роман (в качестве примера назовем смоллетовские «Приключения Фердинанда, графа Фатома»), вырвавшийся на волю инстинкт страха находит себе достойное выражение в виде

нового литературного направления — так называемой «готической» школы сверхъестественной прозы больших и малых форм, школы, в процессе своего двухвекового развития давшей миру многочисленные и нередко поистине блестящие образцы литературы ужасов. Остается только удивляться тому факту, что страшная история столь поздно утвердила себя в качестве законного и академически признанного литературного жанра. Ее корни и атмосфера стары, как само человечество, но окончательную форму она обрела лишь в восемнадцатом веке.

3

РАННИЙ ГОТИЧЕСКИЙ РОМАН

Населенные тенями ландшафты «Оссиана», сумбурные фантазии Уильяма Блейка, гротескные пляски ведьм в бернсовском «Тэме О'Шэнтере», демонический колорит «Кристаллы» и «Сказания о старом мореходе» Кольриджа, призрачное обаяние «Килмени» Джеймса Хогга и нотки вселенского ужаса в «Ламии» и многих других вещах Китса — вот несколько типичных примеров вторжения потусторонних мотивов в британскую литературу. Наши тевтонские собратья на континенте оказались не менее восприимчивыми к новому веянию, подтверждением чему служат «Дикий охотник» и еще более знаменитая баллада о женихе-демоне «Ленора». Оба этих произведения, принадлежащие перу Бюргера и пересказанные по-английски Скоттом, страстным поклонником всего сверхъестественного, стали лишь первыми кирпичиками в фундаменте величественного здания, воздвигнутого сумрачной германской музой. Из немецких же источников взята легенда о кровожадной каменной невесте, восходящая к незапамятной древности и переработанная Томасом Муром в исполненную леденящего ужаса балладу «Кольцо», а позднее использованная Проспером Мериме в его «Венере Ильской». Но высочайшей вершиной, достигнутой поэтическим гением Германии, может считаться бессмертный шедевр Гёте

«Фауст», где простая народная легенда возведена на уровень классической трагедии эпохального масштаба.

И все же именно англичанину — да еще такому веселому и жизнерадостному, как Хорас Уолпол, — суждено было придать растущей тенденции определенную форму и стать фактическим основоположником литературного жанра романа ужасов. По-дилетантски влюбленный в средневековую романтику и мистику, обитатель выстроенного в псевдоготическом стиле замка Уолпол в 1764 году опубликовал роман «Замок Отранто», довольно посредственную и неубедительную вещь, которой тем не менее довелось оказать почти беспрецедентное влияние на литературу ужасов. Поначалу благоразумно выдав ее за перевод произведения мифического «Онуфрио Муральто», выполненный с итальянского оригинала неким «Уильямом Маршалом, дворянином», Уолпол вскоре признался в авторстве и вкусил плоды широкой и стремительно набиравшей силу популярности своего детища, вылившейся во множество переизданий, инсценировок и огромную волну подражаний как в Англии, так и в Германии.

Наряду с рыхлым, искусственным и претенциозным сюжетом основным недостатком данного произведения является его светский и будничный тон, не позволяющий автору создать настоящую атмосферу ужаса. Роман повествует о некоем Манфреде, вероломном узурпаторе, вознамерившемся стать основателем династии, с каковой целью — после загадочной гибели своего единственного сына и наследника Конрада — он пытается избавиться от законной супруги Ипполиты и обвенчаться с суженой несчастного юноши, который, между прочим, был раздавлен в день своей свадьбы гигантским шлемом, сверхъестественным образом упавшим во двор замка. Потерявшая жениха Изабелла скрывается от козней Манфреда в подземельях замка и там встречает благородного юношу по имени Теодор, одетого в крестьянское платье, но лицом неуловимо схожего со старым лордом Альфонсо, владевшим имением до Манфреда. Вскоре после того в замке начинает твориться всяческая чертовщина, включая появле-

ние в самых различных местах гигантских доспехов, выходящий из рамы портрет, удар молнии, разрушающий здание, и, наконец, огромный призрак Альфонсо, восстающий из руин в полном рыцарском облачении и через расступившиеся облака возносящийся на небо. Тем временем Теодор сватается к дочери Манфреда Матильде и тут же теряет ее (по ошибке убитую собственным отцом), после чего выясняется, что Теодор — это сын Альфонсо и, соответственно, законный наследник замка и окрестных владений. История заканчивается его женитьбой на Изабелле и перспективой счастливой жизни до глубокой старости, а коварный Манфред, непомерные амбиции которого послужили причиной как таинственной гибели его сына, так и пережитых им самим потусторонних ужасов, удаляется в монастырь для покаяния, в то время как его убитая горем супруга находит приют в женском монастыре по соседству.

Вот и вся история — занудная, манерная и начисто лишенная вселенской жути, без которой не может быть подлинной литературы ужасов. Однако та толика таинственности и духа седой старины, что, безусловно, присутствует в ней, задела нужную струнку в душах современников, изголодавшихся по всему чудесному, и заставила даже самых придиричивых читателей принять роман всерьез, несмотря на внутреннюю несостоятельность последнего, возведя его в ранг значительнейших вех в истории литературы. Главная же заслуга этого произведения состояла в том, что в нем был представлен принципиально новый тип сюжета, персонажей и фона, и этот тип, доведенный до ума авторами с более развитым чувством сверхъестественного, способствовал бурному расцвету подражательной готической школы, которая, в свою очередь, вдохновила истинных мастеров космического ужаса — плеяду блестящих художников во главе с Эдгаром По. К числу новшеств, предложенных Уолполом и ставших отличительными характеристиками классического романа ужасов, прежде всего следует отнести готический замок с его пугающей древностью, грандиозностью размеров и замысловатостью архитектуры, с его нежилыми и полуразрушенными

пристроями, сырыми коридорами, затхлыми подземными ходами, сонмом привидений и множеством связанных с ним жутких преданий, служащих источником постоянной тревоги и демонического страха. Картину дополняют титулованный деспот в роли главного злодея; невинная, гонимая и, как правило, бесцветная героиня, находящаяся в эпицентре всех происходящих ужасов и призванная служить средоточием читательских симпатий; герой — бесстрашный и безупречный юноша, обязательно высокого происхождения, но зачастую являющийся в обличье простолюдина; джентльменский набор чужеземных — в основном итальянских — имен персонажей и, наконец, бесчисленное множество предметов сценического антуража, как то: загадочные огни, потайные люки, гаснущие сами собой светильники, заплесневелые манускрипты, скрипящие дверные петли, трясущиеся гобелены и тому подобное. Вышеперечисленный реквизит с поразительным однообразием, хотя порой и с немалым эффектом, воспроизводится на протяжении всей истории готического романа, не потеряв своего значения и сегодня — правда, более совершенная техника исполнения делает его не таким наивным и безыскусным, как раньше. Таким образом была заложена хорошая основа для создания новой школы, и пишущая братия не замедлила этим воспользоваться.

Немецкая романтическая повесть сразу же откликнулась на начинание Уолпола и вскоре стала олицетворением всего таинственного и ужасного в литературе. Среди первых английских последователей Уолпола была несравненная миссис Барбо (в те времена еще мисс Эйкин), опубликовавшая в 1773 году прозаический фрагмент под названием «Сэр Бертран», в котором умело и точно затронула струны истинного ужаса. Герой произведения — дворянин, оказавшийся ночью посреди болотистой пустоши и привлеченный колокольным звоном и отдаленным светом, — попадает в древний замок причудливой постройки, двери которого сами пропускают его внутрь и сами закрываются за его спиной. Следуя за синеватыми блуждающими огоньками, направляющими его вверх по бесконечным лестницам и галереям мимо мертвых

рук и оживающих черных изваяний, сэр Бертран приходит к гробу с телом женщины. Он целует ее, и в следующий миг все вокруг теряет свои очертания, и сцена превращается в роскошную залу, где возвращенная к жизни незнакомка дает пир в честь своего спасителя. Уолпол восторгался этой вещью, но зато намного сдержаннее отнесся к куда более очевидному наследнику своего «Отранто» — роману Клары Рив «Старый английский барон», вышедшему в свет в 1777 году. Действительно, читая этот роман, не ощущаешь того трепета от соприкосновения с силами потустороннего мира, что возникает при чтении отрывка миссис Барбо; и хотя он не так утомителен, как роман Уолпола, да и, прямо скажем, более искусен и экономен по части средств нагнетания ужаса (в нем фигурирует всего лишь одно привидение), великим произведением его не назовешь. Здесь мы снова встречаемся с благородным претендентом на фамильный замок, скрывающимся под видом простолюдина и восстанавливаемым в своих правах на наследство стараниями призрака родного отца, и снова имеем перед собой случай необыкновенной популярности, выразившейся в многочисленных переизданиях, театральных постановках и переводе на французский язык. Еще один роман ужасов, написанный мисс Рив, к сожалению, не был опубликован и ныне утерян.

После окончательного утверждения готического романа в качестве литературного жанра образчики его начинают множиться в геометрической прогрессии. Действие романа «Убежище», написанного Софией Ли в 1785 году на историческом материале, вращается вокруг двух дочерей шотландской королевы Марии и начисто лишено сверхъестественного элемента; зато детали обстановки и приемы, заимствованные из Уолпола, использованы здесь чрезвычайно умело. Пятью годами позже все прежние светила потускнели перед звездой Анны Радклиф (1764–1823), создательницы прославленных романов, благодаря которым ужасы и тайны вошли в моду. Несмотря на досадную привычку разрушать собственные фантастические построения вполне прозаическими объяснениями, даваемыми под занавес, она задала новые, более вы-

сокие стандарты во всем, что касается атмосферы — всегда зловещей, всегда полной затаенного страха и тревожных предчувствий. В традиционный набор готических штампов, доставшийся ей от предшественников, Радклиф сумела вдохнуть неподдельное ощущение участия потусторонних сил как в пейзаже, так и в событиях, сделав это с мастерством, стоящим на грани гениальности, — практически каждая деталь обстановки усиливает у нее общее впечатление безграничной жути. С помощью нескольких зловещих штрихов — таких, как следы крови на ступенях замка, стон, доносящийся из подземного склепа, или странное пение, раздающееся посреди ночного леса, — ей удается вызвать у читателя почти физическое ощущение близости потусторонних сил, чего не могли добиться другие авторы, несмотря на все свои изощренные и мудреные построения. Живость фантастических образов, вызываемых ею в сознании читателя, нисколько не теряет от того, что впоследствии эти образы обретают вполне естественные плоть и кровь. Миссис Радклиф обладала чрезвычайно развитым зрительным воображением, что хорошо ощутимо как в ее прелестных описаниях природы — неизменно выполненных широкими живописными мазками, без тщательной прорисовки линий, — так и в причудливейших из ее фантазий. Ее основными недостатками, наряду с привычкой разочаровывать читателя материалистическими разгадками, являются слабая осведомленность в истории и географии и пагубное пристрастие разбавлять повествование посредственными стихами, приписываемыми тому или иному действующему лицу.

Перу Радклиф принадлежит шесть романов: «Замки Этлин и Данбейн» (1789), «Сицилийский роман» (1790), «Роман в лесу» (1792), «Удольфские тайны» (1794), «Итальянец» (1797) и «Гастон де Блондевилль», написанный в 1802-м, но опубликованный лишь посмертно в 1826 году. Наиболее известны из них «Удольфские тайны», этот своего рода эталон раннего готического романа. В центре повествования — судьба молодой француженки Эмили, томящейся в старинном мрачном замке в Апеннинах, куда она была увезена из род-

ного дома после смерти обоих родителей и бракосочетания тетушки с хозяином замка, титулованным интриганом Монтени. Черда жутких впечатлений — в том числе загадочные звуки, сами собой распахивающиеся двери, леденящие кровь предания и нечто, таящееся в нише за черной портьерой, — доводит несчастную девушку и ее преданную служанку Аннетту до грани нервного истощения, но потом, после внезапной смерти тетушки, героине удается бежать с помощью такого же, как она, пленника, случайно встреченного ею в замке. По пути домой она делает остановку еще в одном замке, где ее ждут новые ужасы в заброшенном крыле здания, включая смертный одр с траурным покрывалом, — но в конце концов тучи над головой девушки рассеиваются, ей становится известна тайна, долгое время окутывавшая ее происхождение, и она обретает покой и счастье в руках своего верного возлюбленного Валанкура. Ясно, что все это пересказ хорошо знакомых мотивов, однако сделан он настолько мастерски, что роман «Удольфские тайны» навсегда останется классикой. Персонажи Радклиф ходульны, но не в такой степени, как у ее предшественников, а в искусстве создания атмосферы она превзошла всех своих современников.

Среди бесчисленных подражателей Радклиф наиболее близок ей по духу и творческому методу американский романист Чарльз Брокден Браун. Он так же портил свои произведения рациональными толкованиями, но при этом в таком же совершенстве владел искусством создавать и поддерживать нужное настроение, придававшее его ужасам пугающую правдоподобность, пока дело не доходило до раскрытия секретов. В отличие от Радклиф он с презрением отвергал внешние атрибуты и приемы готической литературы, выбирая местом действия своих мистерий современную ему Америку, однако это новшество ни в коей мере не распространялось на атмосферу и характер описываемых событий, остававшихся у него истинно готическими. Романы Брауна содержат немало эпизодов, исполненных незабываемой жути, а по части передачи чувств и мыслей смертельно испуганного человека он превосходил саму Радклиф. В первой сцене романа «Эдгар

Хантли» мы видим безумца, раскапывающего могилу, но дальнейшее повествование изрядно подпорчено нравоучительными сентенциями в духе Уильяма Годвина. В «Ормонде» фигурирует член зловещего тайного братства; в этом романе, равно как и в «Артуре Мервине», описывается эпидемия желтой лихорадки, вспышку которой автор наблюдал в Филадельфии и Нью-Йорке. Самая знаменитая из книг Брауна — «Виланд, или Превращение» (1798) — повествует о том, как один пенсильванский немец впадает в умопомешательство на почве религиозного фанатизма, начинает слышать «голоса» и приносит в жертву собственных жену и детей. Рассказ ведется от лица его сестры Клары, чудом избежавшей гибели. Место действия — поместье Миттинген, затерянное в лесной глуши, окружающей верховья реки Скуилкилл, — описано с исключительной живостью, а переживания Клары, оставшейся наедине со своими страхами в мрачной и таинственной обстановке пустого дома, где раздаются странные шаги, переданы с огромной художественной силой. В развязке предлагается довольно неубедительное объяснение с привлечением феномена чревоушания, но само гнетущее настроение, покуда оно длится, выдержано на удивление точно. Гнусный чревоушатель Кэрвин — это типичный готический злодей вроде Манфреда или Монтони.

4

РАСЦВЕТ ГОТИЧЕСКОГО РОМАНА

Ужас в литературе обретает новое качество в творчестве Мэттью Грегори Льюиса (1775–1818), чей роман «Монах» (1796) имел столь грандиозный успех, что даже принес его автору прозвище Монах Льюис. Этот молодой писатель, получивший образование в Германии и там же проникшийся духом древнего тевтонского фольклора, совершенно неизвестного Анне Радклиф, воплотил свои ужасы в таких грозных формах, какие и не снились его тихой предшественнице; потусторонние силы зла впервые по-настоящему оживают

лишь на страницах его гениального романа, традиционный готический склад которого обильно приправлен всякого рода дьявольщиной. В центре повествования — история испанского монаха Амброзио, ослепленного собственной добродетельностью и увлеченного дьяволом в образе обольстительной девицы Матильды на самое дно порока. Томясь в ожидании смерти в руках святой инквизиции, он соглашается отдать душу дьяволу в обмен на свободу, поскольку считает, что и тело его, и душа все равно уже обречены. Торжествующий Сатана тут же переносит свою жертву в безлюдное место и с изуверским наслаждением сообщает монаху, что тот продал свою душу напрасно, ибо в момент совершения чудовищной сделки уже близилось помилование, а с ним и надежда на искупление грехов. В довершение своего вероломного поступка дьявол язвительно порицает Амброзио за совершенные им злодеяния и сталкивает его тело в пропасть, в то время как душа несчастного отправляется в ад. Роман содержит ряд потрясающих эпизодов, таких как сцена колдовства в склепах под монастырским кладбищем, пожар в монастыре и гибель несчастного аббата в конце повествования. Параллельно развивается линия маркиза де ла Систернаса, и на тех страницах, где описывается его встреча с Окровавленной Монахиней, его многогрешной прародительницей, читателю предлагается немало чрезвычайно ярких картин: в первую очередь, это сцена появления ожившего мертвеца у постели маркиза и кабалистический ритуал, с помощью которого Вечный Жид помогает ему разгадать тайну своего мертвого мучителя и тем самым избавиться от него. И все же прочесть «Монаха» целиком, не умерев от скуки, сумеет далеко не каждый. Он слишком затянут и многословен, и эффект его был бы гораздо сильнее, если бы не обилие колких замечаний и не в меру ярких выпадов против тех ханжеских правил хорошего тона, которые сам Льюис объявлял не стоящими выеденного яйца. Величайшая заслуга автора состоит в том, что он не пытался убить плоды своей сумрачной фантазии естественно-научными толкованиями. Ему удалось сломать каноны Радклиф и раздвинуть рамки готического романа. «Монах» — дале-

ко не единственное произведение Льюиса. Драма «Дух замка» была поставлена в 1798 году, а кроме того, он еще выпустил два сборника баллад — «Ужасные сказки» (1799) и «Чудесные сказки» (1801) и сделал ряд переводов с немецкого.

Готические романы — как английские, так и немецкие — продолжали плодиться в невероятных количествах, что не замедлило сказаться на их качестве. Большинство из них выглядели просто смешными в глазах искушенных читателей, и знаменитая сатира мисс Остин «Нортенгерское аббатство» была вполне заслуженным упреком в адрес балансирующего на грани абсурда направления. Школа как таковая вырождалась, но, прежде чем окончательно сойти на нет, она успела явить миру своего последнего и ярчайшего представителя в лице тихого и чудаковатого ирландского священника Чарльза Роберта Мэтьюрина (1782–1824). Набив руку на массе разнообразных поделок, среди которых назовем неумелое подражание Радклиф под заглавием «Роковая месть, или Семейство Монторио» (1807), Мэтьюрин в конце концов сумел создать истинный шедевр литературы ужасов, «Мельмот-скиталец» (1820), в котором готический жанр достигает таких высот во вскрытии сокровенных пружин человеческого страха, каких не знавала ранее вся литература в целом.

«Мельмот» повествует об одном ирландском дворянине, который еще в семнадцатом веке продал свою душу дьяволу, чтобы продлить себе жизнь на противоестественно долгий срок. Согласно условиям отвратительной сделки, он может вернуть свою душу и спастись, если ему удастся уговорить кого-нибудь другого занять его место. Однако все его попытки остаются безуспешными: сколь бы неумоимо он ни скитался в поисках тех, кого отчаяние довело до безрассудства и безумия, найти замену ему не удастся. Композиция романа весьма тяжеловесна, что выражается в его непомерном объеме, избытке ненужных отступлений и вставных новелл, неуклюжих увязках и совпадениях; но сквозь словесные нагромождения порою явственно проступает пульс той силы духовного прозрения, какой были начисто лишены все преж-

ние книги подобного рода, — силы, вытекающей из понимания сокровенной сути человеческой природы, знания глубинных истоков подлинного космического ужаса и страстного авторского сопереживания, делающего эту книгу не столько образцом изящной словесности, сколько правдивым свидетельством эстетического самовыражения писателя. Всякий беспристрастный читатель согласится с тем, что «Мельмот» являет собой грандиозный скачок в развитии литературы ужасов. Страх в этом романе — не условный атрибут, а реальное зло, омрачающее удел человеческий. Трепет, производимый Мэтьюрином в читателе, абсолютно достоверен, ибо писатель сам трепещет. Творчество Радклиф и Льюиса — удобная мишень для пародиста, но вряд ли кому удастся съязвить по поводу лихорадочно-стремительного развития сюжета и сгущенной до предела атмосферы этого знаменитого ирландца, потомка древних кельтов, по самой своей природе предрасположенного к мистицизму и непосредственности в выражении чувств, служащих ему безотказными орудиями для выполнения столь сложной задачи. Без всякого преувеличения можно сказать, что Мэтьюрин — гений, каковым считал его, в частности, Бальзак, относивший Мельмота, наряду с мольеровским Дон Жуаном, гётевским Фаустом и байроновским Манфредом, к наиболее значительным аллегорическим образам современной европейской литературы и даже написавший повесть под названием «Прощенный Мельмот». В этой остросюжетной вещи Скитальцу удастся сбыть свою inferнальную участь одному обанкротившемуся парижанину. Тот передает ее дальше, и, пройдя через руки нескольких новых жертв, договор с дьяволом наконец оседает у отъявленного кутилы и картежника, который беспечно умирает, обрекая свою душу на вечные муки и одновременно избавляя мир от страшного проклятия. Перед Мэтьюрином преклонялись такие титаны, как Вальтер Скотт, Россетти, Теккереи и Бодлер; весьма показателен и тот факт, что Оскар Уайльд, униженный и изгнанный, свои последние дни в Париже прожил под псевдонимом Себастьян Мельмот.

«Мельмот» содержит эпизоды, которые и в наши дни способны потрясать воображение. Роман начинается сценой у смертного одра: старый скряга умирает от страха, вызванного посетившим его видением, которое связалось в его воображении с прочитанным манускриптом и фамильным портретом, висящим в темном чулане его старинного особняка в графстве Уиклоу. Он посылает в Дублин за своим племянником Джоном, студентом Тринити-колледжа, и по прибытии тот замечает множество загадочных вещей, в том числе жуткий блеск в глазах висящего в чулане портрета и чью-то фигуру, дважды промелькнувшую в дверях и странным образом напомнившую ему изображенного на портрете. Атмосфера страха окутывает дом Мельмотов, один из предков которых, «Дж. Мельмот, рожд. 1646», изображен на портрете, причем умирающий скупец утверждает, что этот человек еще жив, хотя действие происходит незадолго до 1800 года. Наконец скряга умирает, и теперь, согласно его завещанию, племянник должен уничтожить портрет и манускрипт, хранящийся в указанном ящике стола. Из рукописи Джон узнает о том, как в конце семнадцатого века ее автор, англичанин Стэнтон, встретил в Испании своего соотечественника, личность довольно одиозную, который признался ему в совершенном преступлении: он убил взглядом священника, собиравшегося предать его суду как человека, исполненного демонического зла. Позже, уже в Лондоне, после еще одной встречи с этим человеком, Стэнтон сажают в сумасшедший дом, где его посещает незнакомец с поразительно ярким блеском в глазах, причем появление его предваряется звуками небесной музыки. Мельмот-скиталец — а это он и есть — сулит пленнику свободу, если тот возьмет на себя его сделку с дьяволом, однако Стэнтон, подобно всем остальным, к кому обращался Мельмот, не поддается искушению. Пытаясь уговорить его, Мельмот расписывает ему все «прелести» жизни в сумасшедшем доме, и это становится одним из самых ярких мест в романе. Наконец Стэнтон выпускают на волю, и он посвящает остаток жизни поискам Мельмота, в ходе которых узнает о местонахождении его родового имения и семьи. Семье он оставляет рукопись —

ту самую, уже порядком потрепанную рукопись, которую читает Джон. Исполняя волю дяди, Джон уничтожает и рукопись, и портрет, но во сне ему является чудовищный предок, который оставляет у него на запястье след в виде кровоподтека.

Вскоре юноша привечает у себя в доме потерпевшего кораблекрушение испанца по имени Алонсо де Монкада, который избежал насильственного пострига в монахи и преследования инквизиции. Монкада прошел через страшные испытания (страницы, где описываются его страдания в камере пыток и заключения в подземельях, через которые он однажды пытался бежать, являются классикой жанра), однако нашел в себе мужество отказать Мельмоту-скитальцу, явившемуся к нему в тюрьму в тяжелейший для него час. Скрываясь после побега в доме одного еврея, он обнаруживает там рукопись, повествующую о прежних похождениях Мельмота, в том числе и о его сватовстве к юной Иммели, девушке из Вест-Индии, позднее восстановленной в своем праве наследства в Испании под именем донны Исидоры, и об их богопротивном бракосочетании, совершенном в полночь у тела мертвого анахорета в разрушенной часовне заброшенного и избегаемого людьми монастыря. Рассказ Монкады занимает большую часть четырехтомного романа Мэтьюрина, и эта диспропорция считается одним из главных композиционных просчетов.

Беседа Джона и Монкады прерывается появлением самого Мельмота-скитальца. В глазах его уже нет того блеска, и немощь одолевает тело. Срок договора истек, и Скиталец вернулся домой спустя полтора столетия, чтобы взглянуть в лицо смерти. Взяв слово с присутствующих не входить ночью в его комнату, какие бы звуки оттуда ни доносились, он в одиночестве ожидает конца. Юный Джон и Монкада слышат жуткие крики, но даже не пробуют вмешаться. Лишь под утро, когда воцаряется тишина, они заходят в комнату и обнаруживают, что она пуста. За задней дверью дома на глинистой почве видны отпечатки следов, ведущих к нависшему над морем утесу. На самом краю обрыва заметен широкий след, ука-

зывающий на то, что по земле волочили какое-то тяжелое тело. За выступ скалы зацепился шейный платок Скитальца, но сам он бесследно сгинул навеки.

Таков роман Мэтьюрина, и нельзя не уловить разницы между этим тонким, глубоким, многоплановым шедевром литературы ужасов, с одной стороны, и, говоря словами профессора Джорджа Сейнтсбери, «изобретательным, но пресным рационализмом миссис Радклиф и зачастую ребяческой запальчивостью, скверным вкусом, а порою и неряшливым стилем Льюиса» — с другой. Если говорить о стиле, то у Мэтьюрина он заслуживает отдельной похвалы за подкупающую прямоту и живость, ограждающие его от всей той искусственности и фальши, какими грешили прежние авторы. Профессор Эдит Биркхед в своей истории готического романа справедливо замечает, что «Мэтьюрин при всех своих недостатках был величайшим и в то же время последним представителем этой школы». «Мельмот» имел широкий круг читателей и даже был инсценирован, однако то обстоятельство, что он появился, так сказать, на закате жанра, помешало ему добиться шумного успеха «Удольфских тайн» и «Монаха».

5

ОТЗВУКИ ГОТИЧЕСКОЙ ТРАДИЦИИ

Между тем другие авторы тоже не теряли времени даром, и на фоне гор макулатуры вроде «Страшных тайн» (1796) маркиза фон Гросса, «Монастырских детей» (1796) миссис Рош, «Зофлой, или Мавра» (1806) мисс Дакр и ученических словоизвержений П. Б. Шелли «Застроцци» (1810) и «Сент-Ирвин» (1811) (оба написаны в подражание «Зофлой») особенно приятно видеть действительно талантливые образцы литературы ужасов, которых выходило немало как в Англии, так и в Германии. Среди них выделяется классическая «История калифа Ватека», сочиненная богатым дилетантом Уильямом Бекфордом и разительно отличающаяся от своих соседей по книжной полке тем, что зиждется на традициях вос-

точной сказки и не имеет ничего общего с готическим романом уолполовского толка. Написанная по-французски, она сначала была опубликована в английском переводе. Восточные сказки, ставшие достоянием европейской литературы еще в начале восемнадцатого века благодаря галлановскому переводу на французский неисчерпаемых кладезей «Тысячи и одной ночи», ко времени появления «Ватек» прочно вошли в моду, в равной мере служа целям поучения и развлечения. Искусство гармонично сочетать забавное со зловещим, от природы свойственное восточному человеку, пленило сердца искушенных европейцев; арабские и турецкие имена разгуливали по страницам популярных изданий столь же свободно, сколь в недалеком будущем на них стали красоваться итальянские и испанские. Бекфорд с его основательными познаниями в легендах Востока оказался чрезвычайно восприимчив к их атмосфере, что в полной мере отразилось в его волшебной сказке, где очень точно схвачены надменная властность, скрытое лукавство, благородная свирепость, учтивое вероломство и богобоязненный трепет сарацинского духа. Комический элемент почти не портит общего зловещего впечатления от той грандиозной феерической панорамы, что разворачивается перед читателем, и если временами мы слышим смех — то это смех скелетов, пирующих под сводами мавританского дворца. Ватек, внук халифа Гаруна, испытывает те же томления, что и рядовой готический злодей или байроновский герой (типы, родственные ему по сути): ему мало земного господства, он ищет новых наслаждений и сокровенных знаний. Искушаемый злым гением, Ватек спускается в огненные чертоги Иблиса, мусульманского дьявола, на поиски легендарного подземного престола могущественных султанов, правивших миром в доисторические времена. Те страницы, где описывается жизнь Ватекка среди роскоши и утех; где мы встречаем его мать, коварную ворожею Каратис, засевшую в колдовской башне с пятьюдесятью одноглазыми негротянками; где повествуется о его путешествии к призрачным руинам Иштахара (Персеполя) и о захваченной им обманом по пути туда принцессе Нуронихар, о башнях и террасах Иштахара, пламенею-

щих под лучами пустынной луны, об устрашающе громадных чертогах Иблиса, в которых жертвы его умопомрачительных посулов обрекаются на вечные скитания с прижатой к сердцу рукой (сопровожаемые нестерпимыми муками из-за пожирающего сердце пламени), — все эти страницы не имеют себе равных по части мрачного и таинственного колорита и позволяют книге в целом занять почетное место в английской словесности. Не менее замечательны и «Три фрагмента Ватека», изначально предназначавшиеся для включения в сказку в качестве историй, которые рассказывают Ватеку его собраты по несчастью в inferнальных чертогах Эблиса, но при жизни автора не изданные и обнаруженные лишь в 1909 году ученым Льюисом Мелвиллом в ходе сбора материалов для его «Жизни и творчества Уильяма Бекфорда». Повести Бекфорда, однако, недостает той мистической глубины, что отличает настоящую страшную историю; его вымыслы имеют типично латинскую твердость и четкость линий, препятствующую возникновению подлинно панического страха.

В своей любви к Востоку Бекфорд оставался в гордом одиночестве. Другие писатели, более привязанные к готической традиции и европейской жизни в целом, довольствовались скромной ролью последователей Уолпола. Среди бесчисленных поставщиков литературы ужасов тех времен упомянем Уильяма Годвина, известного как создателя утопического экономического учения, который вслед за своим прославленным, но вполне прозаическим «Калемом Вильямсом» (1794) выпустил намеренно жуткую вещь «Сен-Леон» (1799), где тема эликсира бессмертия, полученного членами вымышленного тайного ордена розенкрейцеров, обрисовывается если и не очень убедительно, то во всяком случае изобретательно. В эпоху, когда творил Годвин, наблюдался очередной всплеск интереса к магии, примером чему служат мода на шарлатана Калиостро и публикация книги Фрэнсиса Баррета «Маг» (1801) — довольно любопытного сочинения, где в сжатой форме освещаются принципы и обряды сокровенных доктрин (репринтное издание этой книги вышло в 1896 году). Неудивительно, что тема тайных обществ получила широкое рас-

пространение в литературе: мы находим ее, в частности, у Булвер-Литтона и во многих поздних готических романах — весьма отдаленных и жалких подобию лучших образцов той школы, что никак не хотела смириться с неминуемым вырождением и продолжала свое далеко не победное шествие по девятнадцатому веку в виде одиночных произведений типа «Фауста и дьявола» и «Истории оборотня Вагнера» Джорджа У. М. Рейнольдса. «Калед Вильямс», произведение, в принципе, реалистическое, содержит немало намеков на подлинно потусторонний трепет. Это история слуги, преследуемого своим хозяином, которого он уличил в совершении убийства. Благодаря увлекательности и мастерству исполнения интерес к этому роману не угасает и в наши дни. Его театральная версия под названием «Железный сундук» пользуется едва ли не меньшей славой. В целом, однако, Годвин был слишком откровенным моралистом и слишком приземленным мыслителем, чтобы создать шедевр в мистическом жанре.

Его дочери, жене поэта Шелли, повезло куда больше, и неподражаемый «Франкенштейн, или Современный Прометей», написанный ею в 1818 году, был и остается классикой литературы ужасов. Поводом к сочинению этой вещи послужило литературное состязание между писательницей, ее мужем, лордом Байроном и доктором Джоном Уильямом Полидори, поспорившими между собой о том, кто напишет самую страшную историю на свете. «Франкенштейн» миссис Шелли — единственное из произведений-соперников, которое было доведено до конца, и все попытки критиков доказать, что лучшие его места принадлежат самому Шелли, дружно провалились. В романе, имеющем легкий, ничуть не портящий его назидательный оттенок, рассказывается об искусственном человекоподобном существе, созданном из различных частей мертвых тел молодым швейцарским ученым-медиком Виктором Франкенштейном. Монстр, сотворенный руками ученого «в безумной гордости за могущество человеческого разума», обладает развитым интеллектом и крайне отталкивающей внешностью. Отверженный людьми, он озлобляется и начинает убивать друзей и родных Франкенштейна, требуя,

чтобы тот создал для него подругу, а когда ученый отказывается, ужаснувшись перспективе размножения подобных чудовищ, монстр покидает своего создателя, пригрозив «быть рядом с ним в его брачную ночь». Роковая ночь настает, и невесту Франкенштейна находят задушенной. С этого момента Франкенштейн начинает охотиться за чудовищем, преследуя его вплоть до ледяных пустынь Арктики. Повествование завершается тем, что Франкенштейн сам гибнет от руки пугающего объекта своих поисков и порождения своей дерзновенной гордыни. «Франкенштейн» содержит ряд незабываемых сцен — ту, например, где только что оживший монстр входит в комнату своего творца, раздвигает полог у его постели и, озаряемый желтым лунным светом, пристальноглядит на него своими водянистыми глазами — «если только это можно назвать глазами». Миссис Шелли написала еще несколько романов, в том числе довольно недурного «Последнего человека», но так и не смогла повторить успех своего первенца, овеянного настоящим космическим ужасом. Усилия одного из ее соперников — доктора Полидори — вылились в большой отрывок «Вампир», где мы видим лощенного негодяя чисто готического или байроновского толка и встречаем несколько блестящих пассажиров, исполненных леденящего ужаса, в том числе и жуткую ночную сцену в пользующемся дурной славой греческом лесу.

В те же годы к теме неоднократно обращался сэр Вальтер Скотт, вводя ее во многие свои романы и стихи, а иногда посвящая ей целые вставные новеллы, такие как «Комната с гобеленами» или «История Странствующего Вилли» (обе из «Красной перчатки»), в последней из которых мотивы призрачного и дьявольского звучат особенно пугающе на фоне нарочитой обыденности языка и атмосферы. В 1830 году Скотт опубликовал «Письма по демонологии и колдовству», которые и по сей день не потеряли своего значения в качестве одного из лучших путеводителей по колдовскому фольклору Европы. Вашингтон Ирвинг — еще одна фигура, не вполне чуждая теме сверхъестественного, и, хотя его привидения в большинстве своем слишком несерьезны и потешны,

чтобы можно было говорить о настоящей мистической литературе, во многих его произведениях просматривается явный уклон в интересующую нас сторону. «Немецкий студент» из сборника «Рассказы путешественника» (1824) представляет собой намеренно сжатую и тем более эффектную переработку старинной легенды о невесте-мертвеце, а по ходу развития сюжета насквозь юмористических «Кладоискателей» из того же сборника неоднократно упоминаются призраки пиратов, появляющихся в тех местах, где когда-то хозяйничал печально знаменитый капитан Кидд. Томас Мур вступил в ряды творцов литературных ужасов в тот момент, когда написал поэму «Альцифрон», позднее развернутую им в роман «Эпикуреец» (1827). Мур умудряется внести атмосферу подлинного ужаса во вполне невинный рассказ о приключениях юного афинянина, ставшего жертвой происков коварных египетских жрецов, — это касается тех страниц, где описываются опасности и чудеса, таящиеся под древними храмами Мемфиса. Неоднократно пробовал свое перо в жанре гротескных и фантастических ужасов и Де Куинси, но делал он это слишком бессистемно и со слишком ученой миной, а потому вряд ли его можно считать специалистом по части сверхъестественного.

В этот же период на литературном небосклоне блеснуло имя Уильяма Гаррисона Эйнсуорта, в романах которого преобладают жуткие и мрачные настроения. Капитан Марриет тоже внес немалый вклад в литературу ужасов, написав помимо коротких новелл вроде «Оборотня» леденящий душу «Корабль-призрак» (1839), основанный на легенде о Летучем Голландце, капитане проклятого Богом судна, обреченного на вечные скитания вблизи мыса Доброй Надежды. Не гнушался потусторонними мотивами и Диккенс, от случая к случаю публиковавший вещи типа «Сигнальщика» — рассказа, укладывающегося во вполне традиционную схему и несущего на себе отпечаток той достоверности, что роднит его с новейшими психологическими теориями в не меньшей степени, чем с отмирающим готическим жанром. Описываемая эпоха знаменовалась бурным ростом интереса к спиритуалистиче-

скому шарлатанству, медиумизму, индусской теософии и тому подобным материям — примерно так же, как в наши дни, — а потому стремительно росло количество страшных историй со спиритуалистической или псевдонаучной подоплекой. Часть из них лежит на совести маститого и плодовитого лорда Эдварда Булвер-Литтона — при всей напыщенной риторике и дешевом романтизме, которыми грешит большинство его произведений, не станем отрицать, что, когда хотел, он мог создавать атмосферу тайны и чуда.

«Дом и мозг» с его мотивами масонства и намеками на некую зловещую и бессмертную фигуру (под которой, вероятно, подразумевается легендарный Сен-Жермен, подвизавшийся при дворе Людовика XV) вынес испытание временем и по праву считается одним из лучших рассказов о доме с привидениями, когда-либо преданных бумаге. Роман «Занони» (1842) содержит сходные мотивы в более усложненной трактовке и знакомит нас с огромной неизведанной сферой бытия, которая соприкасается с нашим миром и охраняется чудовищной «Тварью на пороге», преследующей тех, кто однажды пытался, но не смог проникнуть в эту сферу. На страницах романа мы знакомимся с историей человеколюбивого братства, существовавшего на протяжении многих веков и постепенно сократившегося до единственного члена. В центре повествования — судьба древнего халдейского чародея, дожившего до нового времени и сохранившего цвет юности, чтобы сгинуть на гильотине, воздвигнутой Французской революцией. Несмотря на изобилие романтических штампов, утяжеленность многочисленными символами и аллегориями и ту неубедительность, что является следствием невнимания к атмосфере при описании ситуаций, связанных с миром духов, «Занони» бесспорно является блестящим образцом романтической повести, способным вызывать неподдельный интерес и сегодня — по крайней мере, у нормального, не чересчур высоколобного читателя. Забавно, что при описании попытки посвящения в античное братство автор не может обойтись без привлечения заезженного готического замка уолполовского типа.

В «Странной истории» (1862) прославленный мэтр выказывает заметный прогресс в умении создавать потусторонние образы и настроения. Несмотря на гигантские размеры, предельно надуманный сюжет, который держится исключительно за счет совпадений, и менторский дух лжеучености, призванный угодить вкусам трезвой и практической читающей публики викторианской эпохи, роман представляет собой чрезвычайно занятное чтение, вызывая неослабевающий интерес и изобилуя эффектными — пусть и с налетом театральности — развязками и кульминациями. Персонажи и мотивы все те же: загадочный пользователь эликсира бессмертия в лице бездушного колдуна Маргрейва, чьи темные дела составляют драматический контраст с мирной атмосферой современного английского городка и австралийского буша, и смутные намеки на неведомый мир духов, окружающий нас повсюду, — причем на этот раз данная тема трактуется с гораздо большей убедительностью и достоверностью, нежели в «Занони». Один из двух огромных отрывков, посвященных заклинаниям: тот, в котором светящийся злой демон побуждает героя подняться во сне среди ночи, взять в руки египетский волшебный жезл и вызвать с его помощью безымянных духов, обитающих в заколдованном шатре, обращенном фасадом на мавзолей и принадлежащем знаменитому алхимику эпохи Возрождения, — заслужил право стоять в одном ряду с самыми жуткими сценами, описанными в мировой литературе. Подразумевается достаточно много, сказано в меру кратко. Голос духа дважды диктует лунатику слова магических заклинаний, и, когда тот повторяет их, сотрясается земля и все окрестные псы начинают лаять на смутные бесформенные тени, что перемещаются в лучах луны. Когда лунатику подсказывают слова третьего заклинания, душа его отказывается их повторять, как будто ей дано предвидеть их чудовищные последствия — некие предельные вселенские ужасы, скрытые от человеческого рассудка. Эпизод завершается тем, что появляющийся призрак далекой возлюбленной — он же ангел-хранитель героя — разрушает злые чары. Из одного этого отрывка видно, что лорд Литтон при случае

вполне мог обходиться без той рисовки и шаблонного романтизма, что лишь засоряли незамутненный источник чисто эстетического трепета, относящегося к области высокой поэзии. Точностью описания отдельных деталей ритуала Литтон в значительной мере был обязан своим комически серьезным оккультным штудиям, в ходе которых он поддерживал отношения с эксцентричным французским ученым и каббалистом Альфонсом-Луи Констаном («Элифасом Леви»), провозглашавшим себя обладателем секретов античной магии и утверждавшим, будто ему удалось вызвать дух древнегреческого чародея Аполлония Тианского, современника Нерона.

Рассматриваемая на этих страницах романтическая тенденция полуготического-полуназидательного толка не умирала в течение всего девятнадцатого века благодаря таким авторам, как Джордж Шеридан Ле Фаню, Томас Прескетт Прест с его знаменитым «Вампиром Варни» (1847), Уилки Коллинз, сэр Генри Райдер Хаггард (его «Она» просто великолепна), сэр Артур Конан Дойл, Герберт Уэллс и Роберт Льюис Стивенсон, создавший, несмотря на раздражающую склонность к рафинированной манерности, такую классику жанра, как «Маркхейм», «Похититель трупов» и «Доктор Джекил и мистер Хайд». Эта школа жива и сегодня, и мы не совершим большой ошибки, если отнесем к ней те из современных образцов литературы ужасов, где сюжет важнее атмосферы, где упражняется интеллект, а не воображение, где место психологической достоверности занимает внешний эффект и где, наконец, слишком откровенно проглядывает авторское беспокойство за судьбы человечества. Не станем отрицать, что это направление имеет свои сильные стороны и благодаря такой привлекательной черте, как «гуманистическое начало», имеет более широкую аудиторию, нежели сугубо эстетические вместилища кошмаров. И все же оно уступает последним по мощи своего воздействия, как разведенный уксус уступает по крепости концентрированной эссенции.

Особняком — и как роман, и как феномен литературы ужасов — стоит знаменитый «Грозовой перевал» (1847) Эмили

Бронте с его сводящими с ума панорамами унылых и безотрадных йоркширских равнин и исковерканными судьбами живущих на них людей. По существу, это рассказ о жизни, о человеческих чувствах, со свойственными им противоречиями, однако подлинно эпическая грандиозность фона сообщает ему элемент возвышенного ужаса. Загадочный смуглолицый осовремененный байронический герой-злодей Хитклиф был подобран на улице в малолетнем возрасте и до тех пор, пока его не усыновила та семья, которую он в конечном счете и разрушил, говорил на каком-то непонятном тарабарском наречии. По ходу романа неоднократно возникает сомнение в том, человек ли Хитклиф; потусторонний мотив получает продолжение в эпизоде с гостем, застигнувшим печального ребенка-призрака у окна на верхнем этаже, к которому тянет ветви ближайшее дерево. Хитклифа и Кэтрин Эрншоу соединяют узы намного более прочные и страшные, нежели обычная земная любовь. После ее смерти он дважды раскапывает ее могилу, и тогда его начинает преследовать нечто неосоздаемое, не могущее быть ничем иным, кроме как ее душой. Душа Кэтрин все глубже проникает в его жизнь, и это длится до тех пор, пока он наконец не осознает, что близится некое мистическое воссоединение. По его словам, он чувствует, что с ним происходит какая-то удивительная перемена. Он перестает принимать пищу, а по ночам либо прогуливается по окрестностям, либо перед тем, как лечь в постель, открывает расположенное близ нее окно. Когда его находят мертвым, оконные створки, распахнутые навстречу проливному дождю, еще продолжают качаться, а на его застывшем лице видна загадочная улыбка. Его опускают в могилу рядом с холмиком, который он навещал восемнадцать лет подряд, и парнишки-пастушки рассказывают, что в дождливые дни он и Кэтрин по-прежнему гуляют по кладбищу и на болотах. Кроме того, в иные непогожие ночи в том самом верхнем окне мелькают их лица. Запредельный трепет, царящий на страницах книги мисс Бронте, не является простым отголоском готического эха — он представляет собой предельно сгущенное выражение человеческого содрогания, возни-

кающее при встрече с неведомым. В этом смысле «Грозовой перевал» знаменует переход литературы в иное качество и зарождение новой, более серьезной школы.

6

**ПОТУСТОРОННЯЯ ТЕМАТИКА В ЛИТЕРАТУРЕ
КОНТИНЕНТАЛЬНОЙ ЕВРОПЫ**

Между тем на континенте литература ужасов процветала. Знаменитые новеллы и романы Эрнста Теодора Вильгельма¹ Гофмана (1776–1822) и сейчас считаются непревзойденными по насыщенности атмосферы и совершенству формы; в то же время они тяготеют к карикатурности и фантасмагоричности и лишены тех возвышенных нот чистого, беспримесного ужаса, какие мог бы извлечь из подобных тем менее изощренный автор. В целом, в них больше гротескного, нежели ужасного. Среди всех европейских таинственных повестей с наибольшим артистизмом тема сверхъестественного воплощена в классическом произведении немецкой литературы «Ундина» (1811) Фридриха Генриха Карла, барона де ла Мотт Фуке. Эта волшебная повесть о русалке, выданной замуж за смертного и обретшей человеческую душу, отличается тем благородным изяществом отделки, что дает ей право называться произведением искусства без оглядки на жанр, и той безыскусной простотой, что роднит ее с народной сказкой. Между прочим, в основу ее положена легенда, пересказанная врачом и алхимиком эпохи Ренессанса Парацельсом в его «Трактате о стихийных духах».

Отец Ундины, могущественный водяной царь, обменял ее, когда она была еще младенцем, на дочь рыбака, с тем чтобы она могла обрести душу, выйдя замуж за смертного. Полюбив знатного юношу Хульдбранда, которого она встретила у хибарки своего приемного отца, расположенной на морском берегу поблизости от зачарованного леса, Ундина вскоре вы-

¹ Так у автора. Правильно: Эрнст Теодор Амадей Гофман.

ходит за него замуж и следует за ним в его фамильный замок Рингштеттен. Однако спустя некоторое время Хульдбранда начинают тяготить потусторонние знакомцы его жены, в особенности же частые появления ее дяди, злобного духа лесных водопадов Кюлеборна, — тяготить тем сильнее, что его все больше тянет к Бертальде, а она, как выясняется, и есть та самая рыбацкая дочь, на которую обменяли Ундину. Наконец, во время путешествия по Дунаю, рассердившись на свою преданную супругу за какой-то пустяк, он бросает в ее адрес гневные слова, отсылающие ее обратно в свою родную стихию, откуда она, согласно законам своего племени, может вернуться на землю лишь для того, чтобы убить его — желает она того или нет, — если он хотя бы раз изменит ее памяти. Позже, когда Хульдбранд готовится к женитьбе на Бертальде, Ундина возвращается на землю, чтобы исполнить свой скорбный долг, и со слезами на глазах лишает его жизни. В ходе погребения среди плакальчиков, выстроившихся рядом с могилами предков на деревенском погосте, появляется белая как снег женская фигура, но по завершении отпевания ее уже не видно. На том месте, где она стояла, журчит прозрачный серебристый ручеек — он почти полностью огибает свежую могилу и устремляется в близлежащее озеро. Селяне по сей день показывают его приезжим, добавляя, что так воссоединились в смерти Ундина и ее возлюбленный Хульдбранд. Многие пассажи и атмосферные штрихи в этой сказке говорят о Фукке как о художнике, в совершенстве владеющем техникой живописного воплощения; в первую очередь это касается описаний зачарованного леса с его загадочным белым великаном и прочих ужасов, о которых идет речь в начале повествования.

Еще одним плодом немецкого романтического гения начала девятнадцатого века является «Янтарная ведьма» Вильгельма Мейнхольда — не столь знаменитая, как «Ундина», но замечательная своей достоверностью и отсутствием заезженных готических приемов. Действие этой повести, которая преподносится читателю как рукопись священника, найденная в старинной церкви в местечке Косеро, разворачивается

в период Тридцатилетней войны и вращается вокруг Марии Швайдлер, дочери автора, обвиненной в колдовстве по ложному доносу. Она обнаружила месторождение янтаря, но по разным причинам умолчала об этом; и тот факт, что она в одночасье без всякой видимой причины разбогатела, послужил одним из оснований для обвинения, выдвинутого против нее по наущению дворянина-охотника Виттиха Аппельмана, озлобленного на Марию за то, что она отвергла его низменные домогательства. Кроме всего прочего, несчастной девушке вменяют в вину темные дела настоящей ведьмы, впоследствии посаженной в тюрьму и там нашедшей свой жуткий конец. После традиционного суда, в ходе которого Мария под пыткой признается в не совершенных ею преступлениях, ее приговаривают к сожжению на костре, но в самый последний момент к ней на выручку приходит ее возлюбленный, знатный юноша из соседней округи. Главное достоинство Мейнхольда — ненарочитая реалистическая достоверность, которая заставляет нас с замиранием сердца следить за развитием сюжета, наполовину убеждая нас в том, что все описываемое происходило или, по меньшей мере, могло происходить на самом деле. Подтверждением поразительной правдоподобности этой повести служит тот факт, что один популярный журнал опубликовал ее в кратком изложении как действительное происшествие, имевшее место в семнадцатом веке!

В наши дни немецкая литература ужасов наиболее достойно представлена именем Ганса Гейнца Эверса, который умело подкрепляет свои мрачные вымыслы впечатляющими познаниями в современной психологической науке. Его романы вроде «Ученика волшебника» и «Альрауне» и рассказы вроде «Паука» содержат все необходимое, чтобы быть причисленными к классике литературы ужасов.

Франция трудилась на ниве сверхъестественного столь же плодотворно, сколь и Германия. Виктор Гюго в «Хансе Исландском» и Бальзак в «Шагреновой коже», «Серафите» и «Луи Ламбере» в той или иной степени пользуются потусторонними мотивами — правда, в основном как средством вы-

ражения вполне земных идей, не включая в свои вещи того зловещего демонического накала, какой характеризует писателя сугубо мистического толка. Теофиль Готье, пожалуй, был первым, у кого мы находим чисто французское видение иного мира, а равно и то совершенное владение темой — пусть не всегда в полной мере реализуемое, — которое говорит о предельной искренности и глубине авторского подхода. Мимолетные перспективы потусторонней реальности в таких новеллах, как «Аватар», «Ступня мумии» и «Кларимонда», манят, дразнят, а иногда и ужасают читателя, в то время как египетские грезы «Одной из ночей Клеопатры» поражают его необычайной выразительностью и силой. Готье подметил самую суть овеянного тысячелетиями Египта с загадочной жизнью и исполинской архитектурой; он раньше и лучше всех выразил человеческий трепет перед непреходящим ужасом подземного мира пирамид, где миллионы окоченевших, забальзамированных мумий до скончания века будут вперяться во тьму своим остекленевшим взором в ожидании часа, когда некая грозная и неведомая сила призовет их восстать из своих гробниц. Гюстав Флобер проявил себя достойным продолжателем традиции Готье в такой мрачной поэтической фантазии, как «Искушение святого Антония», и, если бы не чрезмерный уклон в реализм, он мог бы стать непревзойденным ткачом причудливых узоров на гобеленах ужаса. С течением времени французская школа разделяется на два направления: с одной стороны, это странноватые поэты и фантасты символического и декадентского толка, чей нездоровый интерес сосредоточен скорее на искажениях и извращениях человеческого сознания и чувств, нежели на собственно сверхъестественных мотивах; с другой стороны, это плеяда талантливых прозаиков, черпавших свои ужасы, можно сказать, непосредственно из черных бездн вселенской тайны. Типичным и крупнейшим представителем первых был прославленный поэт Бодлер, испытавший на себе огромное влияние По, а завершил это направление автор психологических романов Жорис Карл Гюисманс, истинный сын девятых годов девятнадцатого века. Традицию второй школы,

представленной исключительно прозой, развивал Проспер Мериме, чья «Венера Илльская» являет собой краткую и убедительную прозаическую версию легенды о каменной невесте, некогда воплощенной Томасом Муром в балладе «Кольцо».

Страшные истории столь же одаренного, сколь и циничного Ги де Мопассана, сочиненные им в тот период, когда он уже терял рассудок, настолько своеобразны, что заслуживают отдельного разговора. Они представляют собой скорее аллегорическую реакцию реалистического в своей основе таланта на патологические изменения сознания, нежели здоровую игру творческого воображения, от природы склонного к фантазированию и художественному воплощению нормальных человеческих иллюзий. Все это не мешает историям Мопассана быть чрезвычайно увлекательным чтивом, с удивительной силой и правдоподобием передающим ощущение присутствия безымянного ужаса, нависшего над несчастными жертвами, которых безжалостно преследуют злобные и отвратительные пришельцы извне. Из новелл такого рода «Орля» является общепризнанным шедевром. Повествуя о пришествии во Францию некой невидимой твари, которая питается водой и молоком, подчиняет себе умы людей и подготавливает почву для прибытия на нашу планету целого полчища внеземных организмов, вознамерившихся поработить и истребить человечество, это захватывающее произведение вряд ли найдет себе равных в своем жанре, несмотря на явные заимствования из американца Фитц-Джеймса О'Брайена во всем, что касается описания невидимого монстра. К числу наиболее сумрачных творений Мопассана относятся также «Кто знает?», «Призрак», «Он?», «Дневник сумасшедшего», «Белый волк», «На реке» и леденящие душу стихи под заглавием «Ужас».

Творческий тандем Эркман — Шатриан обогатил французскую литературу рядом таинственных историй типа «Оборотня», рассказывающего об исполнении древнего проклятия в стенах традиционного готического замка. Мастерство этих авторов в воссоздании мрачной полуночной атмосферы мож-

но назвать потрясающим, и его нисколько не портит привычка авторов подводить под свои чудеса естественно-научную базу. В рассказе «Невидимый зрак» — одном из самых жутких в истории литературы — речь идет о злой колдунье, из ночи в ночь творящей гипнотические заклинания, которые побуждают жильцов, поочередно снимающих один и тот же гостиничный номер, вешаться на потолочной балке. В рассказах «Ухо совы» и «Воды смерти» царит зловещая и таинственная атмосфера, причем во втором из них реализуется тема гигантского паука, столь охотно и часто используемая авторами страшных историй. Вилье де Лиль-Адан тоже пробовал свои силы в мистическом жанре; его «Пытку надеждой» — рассказ о том, как приговоренному к сожжению на костре дают возможность бежать, чтобы затем заставить пережить весь ужас возвращения, — кое-кто из критиков считает самым душевраздирающим произведением в истории литературы. Однако повествования такого типа не столько продолжают традицию литературы ужасов, сколько предоставляют собой самостоятельный жанр — так называемую жестокую историю, в которой автор играет на чувствах читателя, умело пользуясь разнообразными драматическими приемами, и в том числе описанием чисто физического страха. Почти целиком посвятил себя этой литературной форме ныне здравствующий Морис Левель, чьи лаконичные истории как будто созданы для театра, — неудивительно, что они неоднократно ставились в виде триллеров на сцене «Гран-Гиньоля». Вообще говоря, французский творческий гений по самой своей природе более склонен именно к такого рода черному реализму, нежели к созданию атмосферы напряженного ожидания и затаенной тревоги, предполагающей тот мистицизм, что свойствен только северной душе.

К числу наиболее плодотворных ветвей на древе литературы ужасов относится еврейская, поддерживаемая и питаемая на протяжении веков сумрачным наследием древней восточной магии, апокалипсической традиции и каббализма, но до недавнего времени почти неизвестная европейскому чита-

телю. Сознание семита, подобно кельтскому и тевтонскому, обладает ярко выраженными мистическими наклонностями, и залежи апокрифического фольклора ужасов, бережно сохраняемые в гетто и синагогах, вероятно, намного обширнее, нежели принято считать. Каббалистика, столь широко распространенная в Средние века, представляет собой философское учение, рассматривающее Вселенную как совокупность божественных эманаций и предполагающее существование обособленных от видимого мира сугубо духовных сфер, заглянуть в которые можно посредством тайных заклинаний. Ее обрядовость тесно связана с мистическим толкованием Ветхого Завета, в рамках которого каждой из букв иврита приписывается особое эзотерическое значение — обстоятельство, сообщавшее еврейским буквам мистическое значение и власть в популярной литературе по магии. Еврейская культурная традиция сохранила и донесла до наших дней многие из ужасных тайн глубокого прошлого, а потому ее дальнейшее освоение может весьма благотворно сказаться на развитии жанра страшной истории. Лучшими из пока еще немногочисленных примеров обращения к ней в литературе служат немецкоязычный роман Густава Майринка «Голем» и драма «Диббук» еврейского автора, пишущего под псевдонимом Ан-ский. Действие «Голема», изобилующего постоянными туманными намеками на неизъяснимые чудеса и ужасы, таящиеся в непосредственной близости от людей, происходит в Праге, в старом еврейском гетто, на призрачном фоне островерхих крыш, выписанном с поразительным мастерством. Голем — это имя искусственного монстра, созданного и одушевленного, согласно легенде, средневековыми раввинами с помощью тайной магической формулы. В «Диббуке», в 1925 году переведенном на английский и поставленном на американской сцене сначала как пьеса, а позднее в виде оперы, чрезвычайно эффектно подан случай вселения в тело живого человека злого духа — диббука, вышедшего из тела мертвеца. Големы и диббуки — устойчивые типы, фигурирующие в позднем еврейском фольклоре.

ЭДГАР АЛЛАН ПО

В тридцатые годы девятнадцатого столетия на литературном небосклоне забрезжило имя писателя, оказавшего прямое влияние не только на жанр страшной истории, но и на прозу малых форм в целом, а также косвенно заложившего основу для формирования новой европейской эстетической школы. Мы, американцы, вправе гордиться тем, что этим писателем оказался наш прославленный и, увы, несчастливый соотечественник Эдгар Аллан По. Репутация По была подвержена удивительным зигзагам; до сих пор в среде так называемой прогрессивной интеллигенции модно преуменьшать его значение как художника и мыслителя, но вряд ли хоть один по-настоящему серьезный и вдумчивый критик станет отрицать его неопределимые заслуги как первооткрывателя новых горизонтов искусства. Правда, характерный для него склад мировоззрения объявился несколько раньше, но он был первым, кто осознал все преимущества этого склада и придал ему совершенную форму и последовательное выражение. И пусть у последующих писателей встречались более выдающиеся произведения, нежели у него, но и здесь мы должны признать, что именно он своим примером и жизнью выстраданным опытом расчистил им путь и оставил подробные указания, воспользовавшись которыми они развивали его темы с большим искусством и успехом. При всех своих недостатках По сделал то, чего не сделал и не смог бы сделать никто другой, и именно ему мы обязаны современной историей ужасов в ее законченной и совершенной форме.

До Эдгара По подавляющее большинство творцов литературных ужасов двигалось в основном на ощупь, не понимая самого механизма воздействия неведомого и страшного на человеческую психику и по необходимости следуя определенному набору пустых литературных условностей — таких как благополучная развязка, вознагражденная добродетель и всякое прочее морализаторство, выраженное в безусловном следовании массовым стандартам и ценностям. Завершающим

штрихом в этом наборе штампов была обязанность автора не только высказывать, но и навязывать читателю свое мнение, при этом всегда выступая в защиту разделяемых большинством идей. В отличие от них По был убежден в принципиальной беспристрастности истинного художника, памятуя о том, что его основная творческая задача заключается в изображении и интерпретации событий и ощущений такими, какие они есть, независимо от присущей им окраски: доброй или злой, привлекательной или отталкивающей, бодрящей или угнетающей, — и что автор всегда должен оставаться неутомимым и бесстрастным репортером, но ни в коем случае не проповедником, сторонником или спекулянтом идей. Он, как никто другой, понимал, что все проявления жизни и человеческой мысли одинаково пригодны в качестве предмета творчества, и, будучи от природы склонен ко всему таинственному и жуткому, взял на себя роль беспристрастного толкователя тех бурных чувств и ситуаций, которые сопровождаются болью, а не наслаждением, гниением, а не цветением, беспокойством, а не безмятежностью, и которые, в основе своей, либо противны, либо, в лучшем случае, безразличны вкусам и привычкам подавляющего большинства людей, равно как их здоровью, здравомыслию и благополучию.

Именно поэтому причудливые вымыслы По приобрели ту степень зловещей убедительности, какой не смог достичь ни один из его предшественников, и озаменовали собой принципиально новый уровень достоверности и реализма в истории жанра сверхъестественных ужасов. Такая объективная, чисто эстетическая установка дополнительно подкреплялась научным подходом, прежде почти не встречавшимся. Следуя ему, По уделял больше внимания изучению тайн человеческой психики, нежели отработке приемов готической школы; он творил, опираясь на анализ подлинных истоков страха, что удваивало силу воздействия его прозы и освобождало его от всех нелепостей, свойственных сугубо ремесленной фабрикации ужасов. Имея перед собой такой пример, последующие авторы просто вынуждены были руководствоваться установленными По нормами — хотя бы для того, чтобы не

прослыть старомодными. Как следствие, основное течение литературы ужасов стало претерпевать радикальные изменения. Помимо этого, По ввел моду на виртуозное мастерство, и, хотя с высоты сегодняшнего дня некоторые из его произведений выглядят слегка утрированными и наивными, преимущество его очевидным образом сказывается в таких вещах, как сохранение на протяжении всего рассказа единого настроения, создание долговечного и цельного впечатления, а также безжалостное отсечение всего лишнего с сохранением лишь тех эпизодов, которые непосредственно участвуют в развитии сюжета и играют существенную роль в развязке. Совершенно правильно сказано, что По изобрел рассказ в его современной форме. Возведение им всего болезненного, извращенного и отталкивающего в ранг тем, достойных художественного воплощения, также имело далеко идущие последствия, ибо именно эта тенденция — с энтузиазмом подхваченная, поддержанная и развитая его именитым французским почитателем Шарлем Пьером Бодлером — стала ядром основных эстетических течений во Франции, сделав По, в некотором смысле, отцом декадентства и символизма.

Поэт и критик по натуре и художественным проявлениям, логик и философ по пристрастиям и манерам, По вовсе не был застрахован от изъянов и вычурностей. Его претензии на глубокую и мудреную ученость, его беспомощные потуги на юмор, оборачивавшиеся вымученной и высокопарной риторикой, его нередкие язвительные вспышки критической предвзятости — все это надо честно признать и простить. Ибо над всеми этими недостатками, затмевая их, превращая их практически в ничто, возвышается гениальный дар провидения ужасов, что таятся вокруг и внутри нас, и постоянное осознание близости того червя, что извивается и пресмыкается в разверстой рядом с нами бездне. Проникая во всякий гнойник, высвечивая всяческую мерзость в той ярко раскрашенной карикатуре, что именуется бытием, и том напыщенном маскараде, что именуется человеческим сознанием, провидение поэта обладало черной магической силой воплощения всех чудовищных ликов ужаса, в результате чего в бесплодной

Америке тридцатых и сороковых годов прошлого века расцвел такой величественный, луной взлелеянный сад ярких ядовитых грибов, каким не может похвастаться и ближний круг Сатурна. Стихи и проза По в равной мере несут на себе отпечаток вселенского отчаяния. Ворон, поганым клювом своим пронзающий сердце; демоны, трезвонящие в чугунные колокола на чумных колокольнях; склеп Улялюм в черноте октябрьской ночи; пугающие шпильи и купола на дне морском; неведомый край, что «безымянный и далекий, лежит, надменно-одиноким, вне пут пространства и времен» — все это и многое другое скалится на нас посреди адского шума и грохота буйной поэтической оргии. А в прозе перед нами зияет разинутая пасть бездонного черного колодца, на дне которого затаились невообразимые монстры (о чем мы не только не знаем, но, что еще страшнее, и не догадываемся до тех пор, пока надтреснутая нотка в глухом голосе рассказчика не заставляет нас содрогнуться от осознания их скрытого присутствия); в ней до поры до времени дремлют дьявольские мотивы и образы, пробуждающиеся в одно страшное мгновение и заявляющие о себе адским воплем, постепенно переходящим в безумное бормотание или же, напротив, взрывающимся миллионом громоподобных отголосков. Ведьмовской хоровод ужасов, сбрасывая с себя благопристойные покровы, вихрем проносится перед нами — и это зрелище тем более чудовищно, что преподносится оно с первоклассным мастерством, когда всякая деталь и подробность имеет свое строго рассчитанное место и приводится в ясную, очевидную связь с мрачной изнанкой реальной жизни. Сочинения По, как и следовало ожидать, распадаются на несколько категорий: одни содержат ужас в его чистой, беспримесной форме, другие, построенные на логических рассуждениях и по праву считающиеся предтечами современного детектива, вообще не относятся к интересующему нас жанру, а третьи, несущие на себе заметные следы влияния Гофмана, отличаются той эксцентричностью, что низводит их до уровня гротеска. Еще одна, четвертая, группа рассказов имеет своим предметом различные психические отклонения и мономании, но содержащие-

ся в ней ужасы начисто лишены сверхъестественной окраски. За вычетом упомянутого, мы получаем весьма существенный остаток, представляющий собой литературу ужасов в ее наиболее радикальной форме и дающий автору право на вечное и неоспоримое место в качестве непревзойденного мастера и основателя всей современной демонической беллетристики. Разве можно забыть исполинский корабль, балансирующий на гребне гигантской волны над немислимой пучиной из «Рукописи, найденной в бутылке»? А зловещие намеки на его окаянный возраст и колоссальные размеры; его странную команду, состоящую из незрячих старцев; его стремительный бег на юг, куда его влечет на всех парусах через льды антарктической ночи какое-то непреодолимое адское течение; и, наконец, неминуемая гибель этого несчастного и проклятого судна в водовороте прозрения? Вспомним также неопишущего «Месье Вальдемара», тело которого силой гипноза сохранялось в нетронutom виде в течение семи месяцев после смерти и произнесло какие-то бессвязные звуки за секунду до того момента, когда снятие чар превратило его в «отвратительную зловонную жижу». В «Повести о приключениях А. Гордона Пима» путешественники сперва попадают в загадочную страну вблизи Южного полюса, где живут кровожадные дикари, отсутствует белый цвет, а грандиозные скалистые ущелья имеют форму египетских иероглифов, складывающихся в надписи, в которых можно прочесть все жуткие тайны первобытного мира; затем они достигают еще более таинственной земли, где наличествует один лишь белый цвет и где закутанные в саван гиганты и птицы с белоснежными перьями стерегут туманный водопад, низвергающийся с небес в кипящее млечное море. «Метценгерштейн» потрясает обилием зловещих деталей, связанных с феноменом метемпсихоза, или переселения душ: безумный дворянин, поджигающий конюшни своего кровного врага; гигантская лошадь, вырывающаяся из объятых пламенем здания после гибели его владельца; исчезающий кусочек гобелена с изображением исполинского коня, принадлежавшего одному из крестоносных предков погибшего; скачка безумца верхом на огромном коне

и его страх и ненависть к последнему; бессмысленные пророчества, смутно тяготеющие над враждующими домами; и, наконец, пожар, в пламени которого погибает и дом безумца, и он сам, причем его вносит в огонь вдруг переставший слушаться узды конь. В довершение всего поднимающийся над развалинами дым принимает очертания гигантской лошади. В «Человеке толпы», повествующем о незнакомце, который днями и ночами блуждает по оживленным улицам города, стараясь смешаться с людьми, словно боясь остаться в одиночестве, нет таких ярких эффектов, но космического ужаса в нем не меньше. Мысли По всегда вращались в области мрачного и жуткого, и почти в каждом из его рассказов, стихотворений и философских диалогов мы наблюдаем страстное желание проникнуть в неизведанные бездны вселенской ночи, заглянуть за покровы смерти и хотя бы мысленно стать господином пугающих тайн пространства и времени.

Некоторые из произведений По обладают тем почти абсолютным совершенством художественной формы, которое делает их настоящими путеводными звездами в жанре короткого рассказа. Когда ему было нужно, По умел отлить свой прозаический текст в истинно поэтическую форму, пользуясь тем архаическим, по-восточному витиеватым слогом с изощренной фразировкой, псевдобиблейскими повторениями и периодическими рефренами, каковые впоследствии успешно применялись такими авторами, как Оскар Уайльд и лорд Дансени. Всякий раз, как По использует этот прием, его лирические фантазии оказывают на нас почти наркотическое воздействие, погружая нас в излагаемую на языке грез мистерию, где калейдоскоп неземных красок и причудливых образов воплощается в стройную симфонию звуков. Рассказ «Маска Красной Смерти», аллегория «Молчание», притча «Тень» являются собой настоящие стихотворения в прозе, в которых звучание играет не меньшую роль, чем содержание, и сообщает повествованию особую прелесть. И все же подлинными вершинами По, раз и навсегда сделавшими его королем камерного жанра, являются два рассказа, не носящие столь ярко выраженного поэтического характера: «Лигейя» и «Паде-

ние дома Эшеров». Простые и безыскусные по сюжету, обе эти истории своему поистине магическому воздействию обязаны тщательно продуманной композиции, что проявляется в строгом отборе и надлежащей расстановке всех, даже самых незначительных деталей. «Лигейя» повествует о первой жене рассказчика, даме знатного и загадочного происхождения, которая после смерти с помощью сверхъестественного волевого усилия возвращается в мир, чтобы вселиться в тело второй жены, причем в самый последний момент оживший труп ее жертвы принимает ее физический облик. Несмотря на некоторую затянутость и неравномерность частей, повествование достигает своей чудовищной кульминации с поистине грандиозной силой. «Дом Эшеров», заметно превосходящий остальные произведения По совершенством отделки и соблюдением пропорций, содержит леденящие душу намеки на одушевленность неорганической материи и знакомит нас с удивительной троицей, соединенной сверхъестественными узами долгой и обособленной от мира семейной истории, — с братом, его сестрой-близнецом и их невообразимо древним домом, имеющими одну общую душу и одновременно встречающими смерть.

Такие причудливые вымыслы, которые в менее искусных руках выглядели бы просто нелепыми, силой волшебного гения По претворяются в живые и достоверные кошмары, способные преследовать нас по ночам, — и все потому, что автор в совершенстве овладел механизмом воздействия страшного и чудесного на человеческую психику. Какие именно детали подчеркнуть, какие несоответствия и странности выбрать в качестве обстоятельств, предвещающих или сопровождающих ужасы; какие на первый взгляд невинные эпизоды и намеки предпослать в качестве символов или предзнаменований каждому значительному шагу на пути к грозной развязке? Тонкая регулировка и выверка всех элементов, из которых строится общее впечатление, и непогрешимая точность в подгонке отдельных частей как условие сохранения безукоризненного единства и цельности повествования и достижения требуемого эффекта в критический момент; тща-

тельный подбор оттенков фона и деталей пейзажа для создания и поддержания желаемого настроения и придания достоверности жуткой иллюзии — именно По разработал и впервые применил эти и десятки других принципов и приемов, зачастую слишком тонких и неуловимых, чтобы их мог сформулировать или хотя бы в полной мере уяснить рядовой комментатор текста. Пусть По были присущи рисовка и некоторая наивность (рассказывают, что один привередливый француз мог читать По только в изысканном и, пожалуй, даже слишком французском переводе Бодлера), но все эти недостатки исчезают без следа в свете могучего природного дара воплощения призрачного, болезненного и ужасного. Дара, определившего все творческое мышление художника и оставившего на его сумрачном наследии неизгладимый след гения высшего порядка. Сверхъестественные вымыслы По в некотором смысле *реальны* — качество, которое встречается крайне редко.

Подобно большинству романтиков, По умел развивать сюжет и добиваться крупных повествовательных эффектов, но разработка характеров была его слабым местом. Типичный герой его произведений — это, как правило, смуглый, красивый, гордый, меланхолический, умный, тонкий, впечатлительный, своенравный, склонный к самоанализу, замкнутый и временами слегка тронутый умом джентльмен знатного происхождения и с большим состоянием; ко всему прочему, он обычно обладает глубокими познаниями в какой-нибудь тайной науке и лелеет мечту постичь сокровенные секреты мироздания. Если не считать звучного имени, в нем почти ничего нет от персонажей раннего готического романа; он абсолютно не похож ни на статичного героя, ни на демонического злодея в романах Радклиф или французских авторов. Косвенно, однако, в нем угадываются кое-какие традиционные черты, ибо от мрачных, честолюбивых и нелюбимых качеств его характера сильно отдает байроническим типажом, который, в свою очередь, является прямым потомком готических Манфредов, Монтони и Амброзио. Более конкретные черты этого типа, судя по всему, заимствованы По у самого

себя, ибо автор бесспорно обладал теми сумрачностью, впечатлительностью, желчностью, склонностью к уединению и капризными причудами, которыми он наделяет своих героев — надменных и бесконечно одиноких жертв Рока.

8

**ЛИТЕРАТУРА УЖАСОВ
В АМЕРИКАНСКОМ ВАРИАНТЕ**

Публике, для которой писал По и которая осталась преступно глуха к его искусству, было отнюдь не привыкать к тем ужасам, что его породили. Америка помимо традиционного багажа мрачного фольклора, унаследованного ею от Европы, обладала дополнительным источником мифологии, связанной с потусторонним миром, и жуткие предания и легенды задолго до По были признаны благодатным материалом для литературного творчества. Чарльз Брокден Браун, сочинявший романы в духе Радклиф, пользовался поистине феноменальной славой, да и произведения Вашингтона Ирвинга при всем их легкомыслии в трактовке потусторонних мотивов очень быстро сделались классикой. Этот дополнительный источник, как справедливо заметил Пол Элмер Мор, происходил из обостренных духовных и религиозных исканий первых колонистов в условиях чуждого и угрожающего характера той среды, в которую их забросила судьба. Бескрайние дремучие леса с их вечным полумраком, где могли твориться какие угодно ужасы; полчища краснокожих индейцев, чей пугающий облик и дикие обычаи непреодолимо наталкивали на мысль об их inferнальном происхождении; свободное хождение всевозможных поверий касательно отношений человека с суровым и мстительным кальвинистским Богом и Его рогатым антиподом, о котором сотни проповедников каждое воскресенье громогласно вещали с кафедр; привычка к болезненному аскетизму, развившаяся вследствие замкнутой провинциальной жизни, которая была лишена самых обычных развлечений да и не располагала к ним, ибо, по сути,

сводилась к грубой и примитивной борьбе за выживание; наконец, постоянные призывы со стороны церкви к религиозному самоанализу и противоестественному подавлению простых человеческих чувств — все это, как нарочно, собралось воедино, чтобы породить ту среду, где зловещие слухи о ведьмах, колдунах и прочей нечисти имели хождение еще долгие годы после Салемского кошмара.

Эдгар Аллан По является представителем более поздней, более трезвой и технически совершенной школы мистической прозы, выросшей на этой плодородной почве. Другая школа, в основе которой лежали традиции моральных ценностей, умеренной строгости и мягкой, ленивой игры воображения, отмеченной большим или меньшим привкусом гротеска, была представлена еще одной знаменитой, недооцененной и одинокой фигурой в американской словесности — робким и впечатлительным Натаниэлем Готорном, отпрыском старинного Салема и правнуком одного из самых жестоких судей времен охоты на ведьм. В Готорне нет и следа тех напора, дерзости, красочности, напряженного драматизма, космической жути, а также безупречного и безразличного артистизма, что отличают творения По. Напротив, здесь мы имеем дело с нежной душой, скованной путами раннего новоанглийского пуританизма; душой омраченной, тоскующей и скорбящей от осознания безнравственности этого мира, где на каждом шагу преступаются традиционные системы ценностей, возводившиеся нашими предками в ранг божественного и непреложного закона. Зло для Готорна — очень даже реальная сила; оно подстерегает нас всюду в виде затаившегося и торжествующего врага, а потому видимый мир в воображении писателя приобретает все черты театра бесконечной трагедии и скорби, где невидимые полуреальные силы соперничают между собой за власть и определяют удел его несчастных, слепых и самонадеянных смертных актеров. Прямой наследник пуританской традиции, Готорн за видимой оболочкой повседневной жизни различал сумрачный рой неясных призраков; однако он не был достаточно беспристрастен, чтобы ценить впечатления, ощущения и красоты повествования только за

то, что они в нем присутствуют. Свои фантазии он обязательно вплетает в какое-нибудь неярко, меланхолическое кружево с дидактическим или аллегорическим узором, где его кроткий и безропотный цинизм легко может отобразить и дать наивную моральную оценку тому предательству, что ежеминутно свершает человечество — то самое человечество, которое Готорн не перестает любить и оплакивать, несмотря на свою убежденность в его лицемерии. А потому сверхъестественный ужас никогда не является для Готорна самоцелью; правда, предрасположенность к нему составляет настолько неотъемлемую черту индивидуальности писателя, что он намекает на него всякий раз — и делает это гениально! — когда обращается к нереальному миру за иллюстрациями к тому или другому печальному уроку, который он хотел бы преподать.

Сверхъестественные мотивы — всегда робкие, неуловимые и сдержанные — прослеживаются на всем протяжении творчества Готорна. Порождавшее их настроение зачастую находило себе изумительное воплощение — например, в пересказанных на европейский манер классических мифах для детей, собранных в «Книге чудес» и «Дважды рассказанных историях». В других случаях это настроение выражалось в придании некоторой доли таинственности, волшебности или жути событиям, в основе своей не являющимся сверхъестественными, что прекрасно иллюстрирует посмертно опубликованный роман «Тайна доктора Гримшоу», в котором специфически жуткий колорит придается одному конкретному дому, до сих пор существующему в Салеме и примыкающему к старому кладбищу на Чартер-стрит. План «Мраморного фавна» был набросан писателем на одной итальянской вилле, пользующейся репутацией обиталища привидений. Потрясающая фантастическая и мистическая подоплека, выраженная ровно настолько, чтобы не быть замеченной рядовым читателем, и постоянные намеки на то, что в жилах главного героя, простого смертного, течет кровь мифического существа, делают роман исключительно занимательным, несмотря на чрезмерную загруженность моральной аллегорией, антикатолическую

пропаганду и пуританскую стыдливость, много позднее заставившую Д. Г. Лоуренса громко сожалеть о том, что он не может обойтись с этим — к тому времени уже покойным — автором крайне неджентльменским образом. Посмертно изданный «Септимус Фелтон» (его идею автор собирался переработать и включить в свой так и не законченный «Роман о Долливере») более или менее талантливо затрагивает тему эликсира бессмертия, в то время как наброски к так и не написанному «Следу предка» показывают, как основательно собирался автор заняться старинным английским поверьем, согласно которому отпрыски древнего и проклятого рода оставляют при ходьбе кровавые следы; этот мотив также встречается в «Септимусе Фелтоне» и «Тайне доктора Гримшо».

Сверхъестественный элемент заметно ощутим практически во всех рассказах Готорна, наличествуя если не в сюжете, то в атмосфере. Вспомним такие вещи, как «Портрет Эдварда Рэндольфа» из сборника «Мхи старой усадьбы» с его ярко выраженными демоническими мотивами, «Черный покров священника» (основанный на действительном происшествии) и «Честолюбивый гость», в которых подразумевается намного больше, нежели говорится вслух. А в «Итэне Бранде», фрагменте незаконченного романа со зловещим фоном в виде безлюдной горной местности и заброшенных, но по-прежнему продолжающих гореть печей для обжига извести и байроническим «непрощенным грешником», чья беспокойная жизнь завершается взрывом дьявольского смеха в ночи, Готорн достигает подлинных высот вселенского ужаса. В записных книжках Готорна содержатся наброски страшных историй, написать которые ему помешала смерть; среди них особенно яркой является повесть о загадочном незнакомце, время от времени появляющемся в обществе и в конце концов выслеженном и застигнутом возле очень старой могилы, откуда он выходил каждую ночь и куда возвращался после пребывания среди людей.

Но самым законченным и технически совершенным образом таинственной прозы данного автора является знамени-

тый и мастерски сработанный роман «Дом о семи фронтонах», в котором тема неизбежного воздаяния потомкам за грехи их предков с поразительным искусством развивается на зловещем фоне старинного салецкого дома, одного из тех островерхих готических сооружений, что составляли первую волну застройки новоанглийских прибрежных городов, а в восемнадцатом веке уступили место более привычным для нас двускатным домам, сработанным по меркам георгианской архитектуры и известным ныне как «колонияльные». Таких старинных готических зданий с остроконечными крышами в сегодняшних Соединенных Штатах не наберется и дюжины — во всяком случае, в их первоначальном виде, — однако одно из них до сих пор стоит на Тернер-стрит в родном Готорну Салеме, и существует мнение — ничем, правда, не обоснованное, — что именно оно вдохновило Готорна на создание романа и было вынесено в заглавие. Действительно, это тяжеловесное строение с призрачными шпилями, громоздящимися друг на друга печными трубами, выступающим вперед вторым этажом, гротескными угловыми консолями и решетчатыми окнами с ромбовидными стеклами как нельзя лучше подходит в качестве образа, способного настроить читателя на мрачный тон, ибо оно олицетворяет собой всю темную эпоху пуританизма с ее затаенным ужасом и леденящими душу легендами — эпоху, предшествовавшую красоте, свету и рационализму восемнадцатого века. В молодости Готорн повидал много таких зданий и был наслышан об ужасах, связанных с некоторыми из них. Ему также были известны слухи о проклятии, наложенном на его собственный род за ту жестокость, которой отличался его прадед, исполняя должность судьи во время ведьмовских процессов 1692 года.

На этой-то почве и родилось бессмертное творение, значительнейший вклад Новой Англии в литературу ужасов, с первых же страниц которого читатель ощущает подлинность пропитывающей его атмосферы. Ужас и извращенность таятся за почерневшими от времени замшелыми стенами старинного особняка, описанного с замечательной яркостью

и наглядностью; мы начинаем понимать всю силу того зла, что тяготеет над этим домом, едва лишь узнаем, что построивший его полковник Пинчен с особой безжалостностью отнял землю у ее законного владельца Мэтью Мола, отправив его на виселицу за колдовство в тот страшный 1692 год. Умирая, Мол проклял старого Пинчена («Пусть он захлебнется кровью! Да напоит его Господь кровью!»), и вода в старом колодце, бог знает когда вырытом на захваченной земле, становится горькой. Сын Мола, будучи плотником по профессии, уступил просьбам торжествующего врага своего отца и построил для него огромный дом со шпильями, но старый полковник скорострительно умирает в день освящения своего нового жилища. Жизнь последующих поколений семьи Пинчен подвержена удивительным превратностям судьбы, потомки полковника кончают жизнь загадочным, а порой и ужасным образом, и все это время в округе ходят слухи о колдовской силе Молов.

Дух враждебности, исходящей от старого дома — почти столь же живого, как и дом Эшеров у По, — сопровождает всю книгу подобно оперному лейтмотиву. Когда начинается основное действие, мы находим современных потомков Пинчена в весьма плачевном положении. Несчастливая старая Гефсиба, к концу жизни обедневшая и слегка тронувшаяся умом; младенчески-простодушный злополучный Клиффорд, только что освободившийся из незаслуженного заточения; лицемерный и коварный судья Пинчен, во всех отношениях напоминающий старого полковника, — все эти судьбы являются грандиозными символами, с которыми удачно гармонируют чахлая растительность и полудохлые куры, разгуливающие в саду. В некотором смысле даже обидно, что роман заканчивается вполне благополучным союзом прелестной кузины Фиби, последней из Пинченых, и во всех отношениях приятного молодого человека, который оказывается последним из Молов. Предполагается, что с заключением между ними брака проклятие потеряет силу. Готорн избегает всякого нажима как в слоге, так и в действии, а потому сверхъестественная жуть практически постоянно остается на заднем плане; зато

тех редких моментов, когда она выходит из тени, с лихвой хватает, чтобы поддержать нужное настроение и спасти произведение от упреков в чистой аллегоричности. Такие эпизоды, как обворожение Алисы Пинчен, случившееся в начале восемнадцатого века, и неземная музыка ее арфы, звучащая перед каждой новой смертью в семье (вариант одного из древнейших арийских мифов), служат недвусмысленными указаниями на сверхъестественную подоплеку происходящего, а сцена ночного бдения судьи Пинчена в старой гостиной, сопровождаемая пугающим тиканьем часов, проникнута ужасом самого пронзительного и неподдельного свойства. Возня и фыркание неведомо откуда взявшегося кота за окном как первое предзнаменование кончины судьи, данное задолго до того, как о ней начинают подозревать читатели или кто-либо из персонажей, является гениальной находкой, достойной самого По. На следующий день тот же кот за тем же окном всю ночь сидит и терпеливо стережет — что именно, можно лишь догадываться. Совершенно очевидно, что здесь мы имеем дело с психопомпом (оборотнем) первобытных мифов, с гениальной изобретательностью приведенным в соответствие с современными представлениями.

Готорн не оставил после себя четко выраженного литературного направления. Его идеи и настроения отошли в прошлое вместе с той эпохой, в которую он жил и творил. Зато дух По, столь ясно и реалистично представлявшего себе естественные причины притягательности ужасов и разработавшего надлежащий механизм их воплощения, выжил и дал ростки. К числу ранних последователей Эдгара По можно отнести блестящего молодого ирландца Фитц-Джеймса О'Брайена (1828–1862), получившего американское гражданство и павшего смертью храбрых на полях Гражданской войны. Именно он подарил нам «Что это было?», первый литературно оформленный рассказ об осязаемом, но невидимом существе, прототипе мопассановской «Орли»; он же создал неподражаемую «Алмазную линзу», в которой рассказывается о любви молодого ученого к девушке из бесконечно малого мира, который он открыл в капле воды. Ранняя смерть О'Брайена

бесспорно лишила нас ряда шедевров, исполненных ледящего душу ужаса и неизъяснимого очарования, хотя его таланту, откровенно говоря, недоставало того титанического качества, каким отличались По и Готорн.

Гораздо ближе к истинной гениальности стоял эксцентричный и желчный журналист Амброс Бирс, родившийся в 1842 году и также участвовавший в войне, но оставшийся в живых. Он создал ряд бессмертных творений и сгинул в 1913 году при обстоятельствах столь же загадочных, сколь и его истории. Бирс был широко известен как сатирик и памфлетист, однако львиной долей репутации литератора он обязан своим мрачным и жестоким новеллам, многие из которых посвящены Гражданской войне и представляют собой наиболее яркое и реалистичное отображение этого конфликта в художественной литературе. В сущности, все рассказы Бирса можно отнести к литературе ужасов, и, хотя многие из них описывают только физические и психологические ужасы естественного порядка, все остальные — а их немало! — содержат зловеще-потусторонние мотивы и вполне достойны войти в золотой фонд американской библиотеки страшных историй. Мистер Сэмюэл Лавмен, ныне здравствующий поэт и критик, который был лично знаком с Бирсом, так характеризует гений великого «творца теней» в предисловии к одному из сборников его писем:

«Бирс был первым писателем, у которого ужасы возникают не столько по велению сюжета или вследствие психологических извращений, как это было у По и Мопассана, сколько за счет атмосферы — описанной всегда конкретно и необычайно точно. Бирс пользуется столь безыскусными словами, что в первое мгновение хочется приписать их скудный выбор ограниченности литературного поденщика. Но в какой-то определенный момент эти слова приобретают оттенок неслыханной жути — превращение удивительное и неожиданное! У По это всегда акт насилия, у Мопассана — нервное содрогание в момент садомазохистской кульминации. Для Бирса, подходящего к делу просто и искренне, дьявольщина сама по себе является законным и надежным средством для дости-

жения цели. При этом, однако, в каждом отдельном случае подразумевается молчаливое согласие с Естеством.

В „Смерти Хэлпина Фрейзера“ цветы, растения, а также ветви и листья деревьев образуют восхитительный контраст с противоестественной дьявольской злобой. Не привычный человеку солнечный мир, но мир, овеянный голубой дымкой тайны и болезненной неотвязностью грез, — вот мир Бирса. Любопытно, однако, что в нем находится место и бесчеловечности».

«Бесчеловечность», упоминаемая мистером Лавменом, находит себе выражение в довольно своеобразном оттенке язвительной комичности, в обращении к кладбищенскому (то есть черному) юмору и смаковании наиболее жестоких сцен, построенных на преследовании дразнящих и постоянно обманывающих героя надежд. Первое из названных качеств великолепно иллюстрируется подзаголовками к некоторым наиболее мрачным новеллам Бирса. «Не все, что лежит на столе, можно есть», например, относится к телу, что лежит на столе перед проводящим дознание следователем, а такой афоризм, как «И обнаженный может быть в лохмотьях», подразумевает чудовищно истерзанный труп.

Если рассматривать творчество Бирса в целом, то придется признать, что оно весьма неоднородно. Многие из его сочинений явно состряпаны на скорую руку и отличаются небрежным и банально-претенциозным стилем, списанным с газетных клише; в то же самое время нельзя отрицать, что практически всем его рассказам свойствен элемент подлинной жути, а некоторые из них принадлежат к лучшим образцам американской таинственной прозы. В «Смерти Хэлпина Фрейзера» (Фредерик Тейбер Купер назвал ее самой демонически-жуткой вещью в англоязычной литературе) говорится о теле без души, бродящем в ночи по призрачному кроваво-красному лесу, и о мужчине, посаждаемом наследственной памятью и встречающем смерть в лапах существа, что некогда было его горячо любимой матерью. «Проклятая тварь», часто перепечатываемая в популярных антологиях, предла-

гает читателю отчет о чудовищных деяниях, чинимых невидимым существом, что днями и ночами пасется на холмах и лугах. «Соответствующая обстановка» при всей своей кажущейся простоте исключительно тонко трактует идею о той страшной силе, что может таиться в написанном на бумаге слове. В начале рассказа автор страшных историй Колстон говорит своему приятелю Маршу: «Вы не боитесь читать мои вещи в трамвае, но попробуйте сделать это, очутившись ночью в заброшенном доме посреди леса! Да у вас духу не хватит! У меня в кармане лежит рукопись, которая способна вас убить!» Марш прочитывает рукопись в «соответствующей обстановке» — и она действительно убивает его. «Средний палец на правой ноге» при довольно неуклюжей композиции имеет весьма эффектную кульминацию. Отец семейства по имени Мэнтон зверски убил своих двух детей и жену, у которой недоставало среднего пальца на правой ноге. Спустя десять лет он возвращается в родные края сильно изменившимся человеком. Его тем не менее узнают (о чем он не догадывается) и провоцируют на поединок на ножах, который должен состояться ночью в том самом доме — теперь уже нежилом, — где он когда-то совершил преступление. Как только пробивает назначенный для поединка час, над ним разыгрывают злую шутку, запирая его одного в крошечной тьме комнаты на первом этаже дома, где, по слухам, водятся привидения и где на всем лежит пыль прошедшего десятилетия. Никто и не думал с ним драться; его просто хотят хорошенько напугать, но, когда наступает утро, его бездыханное тело находят в углу комнаты с гримасой ужаса на лице. Все говорит о том, что он умер от лицезрения чего-то невыносимо страшного. Ключ к разгадке сразу бросается в глаза вошедшим и вскрывает жуткий смысл происшедшего: «В многолетней пыли, густо покрывавшей пол, виднелись три параллельные цепочки следов, что шли от входной двери, пересекали комнату и обрывались в ярде от скрючившегося тела Мэнтон — легкие, но достаточно четкие отпечатки босых ног; те, что шли по краям, были оставлены маленькими детьми, средние отпечатки принадлежали женщине. Обратно сле-

ды не возвращались; они направлялись лишь в одну сторону». Нетрудно догадаться, что у женских следов не доставало отпечатка среднего пальца на правой ноге. В рассказе «Дом мертвецов», изложенном с грубоватостью и незатейливостью журнальной статьи, царит зловещая атмосфера чудовищной тайны. В 1858 году из своего дома, расположенного на одной из плантаций в восточной части штата Кентукки, внезапно и без видимых причин исчезает целая семья из семи человек, причем все имущество — мебель, платье, пищевые припасы, лошади, скот и рабы — остается нетронутым. Примерно через год две высокопоставленные особы, спеша укрыться от бури в пустующем доме, случайно попадают в странное подвальное помещение, освещаемое непонятно откуда исходящим зеленоватым светом. Толстая железная дверь, ведущая в комнату, открывается только снаружи, в самой же комнате лежат разложившиеся трупы всех членов пропавшей семьи. В то время как один из вошедших бросается к телу, которое он вроде бы узнал, другому становится настолько дурно от присутствующего в комнате жуткого зловония, что он выбирается наружу, нечаянно заперев при этом дверь, и лишается чувств. Придя в себя через шесть недель, уцелевший уже не может найти ту потайную комнату; во время Гражданской войны дом сгорает, и судьба запертого в нем несчастного навеки остается тайной.

Бирс редко реализует атмосферные возможности своих тем столь же умело, как По, и большая часть его творений страдает некоторой наивностью и прозаической угловатостью, а равно и тем раннеамериканским провинциализмом, который невыгодно отличает их от произведений позднейших мастеров литературных ужасов. И все же достоверность и художественное совершенство его мрачных фантазий несомненны, а потому его слава не померкнет в веках. В собрании сочинений Бирса большая часть его страшных историй объединена в два тома: «Может ли это быть?» и «В гуще жизни», причем первый из них почти целиком отдан потусторонней тематике.

Многие из лучших образцов американской литературы ужасов вышли из-под пера авторов, обычно не специализи-

ровавшихся в этом жанре. Оливер Уэнделл Холмс в своем историческом романе «Элси Веннер» с достойной уважения сдержанностью намекает на противоестественную змеиную природу своей главной героини, на которую еще до ее рождения напустили порчу, и подкрепляет соответствующую атмосферу посредством тонких пейзажных штрихов. В повести «Поворот винта» Генри Джеймс достаточно радикально отказывается от свойственных ему напыщенности и занудливости, создавая весьма убедительное ощущение угрозы при описании чудовищной порчи, напущенной двумя мертвецами: злобным слугой Питером Квинтом и гувернанткой мисс Джессел — на маленьких мальчика и девочку, которые в свое время находились у них под присмотром. Джеймс, пожалуй, слишком многословен, слишком елейно-учтив и слишком озабочен тонкостями слога, чтобы в полной мере реализовать весь безумный и разрушительный ужас своих фантазий, но зато в его романе есть тот редко кому удающийся эффект постепенного нагнетания страха с кульминацией в виде смерти мальчика. Это несомненное достоинство романа позволяет ему занять почетное место среди произведений жанра сверхъестественного ужаса.

Френсис Мэрион Кроуфорд является автором нескольких страшных историй неодинакового качества, собранных ныне в томике под названием «Блуждающие духи». В «Жизни за кровь» читателю предлагается мастерское описание вампирических ужасов, что таит в себе одинокая древняя башня, возвышающаяся в горах на побережье Южной Италии. В «Улыбке мертвеца» живописуется семейное проклятие, связанное с одним старинным домом и гробницей в Ирландии, а также его чудовищный исполнитель — баньши. Однако лучшей из страшных историй Кроуфорда можно по праву назвать «Верхнюю полку». Более того, это, пожалуй, одно из самых жутких произведений во всей сверхъестественной литературе. В этом холодящем душу повествовании, разворачивающемся вокруг корабельной каюты, где происходит серия самоубийств, автор с поразительным мастерством рисует мрачные, исполненные жутких видений испарения, что поднимаются от соленой во-

ды, сам по себе открывающийся иллюминатор и, наконец, кошмарную схватку с существом, которому нет названия в этом мире.

Сверхъестественный ужас, наполняющий ранние работы Роберта У. Чемберса, ныне известного по литературной продукции совсем иного типа, характеризуется весьма изобретательными, но при этом не лишенными экстравагантного маньеризма девяностых годов методами воплощения. В «Короле в желтом» — цикле рассказов, объединенных общим антуражем, и прежде всего некой чудовищной запретной книгой, читатели которой вознаграждаются страхом, безумием и видениями духов, — автор достигает значительных высот в постижении космического ужаса, даже несмотря на явную художественную неоднородность своих рассказов и немного банальное культивирование той камерной атмосферы галльских мистерий, что приобрела популярность благодаря «Трильби» Дюморье. Наиболее удачной из этих историй можно назвать «Желтый знак», в которой читатель знакомится с отвратительным молчаливым созданием — кладбищенским сторожем, чье заплывшее, одутловатое лицо напоминает скорее безликую головку могильного червя. Мальчишка, имевший однажды стычку с этим созданием, не может сдержать дрожи и почти теряет сознание от ужаса, описывая подробности случившегося: «Бог тому свидетель, сэр: когда я ударил его, он схватил меня за руки, и, когда я начал выворачивать свои запястья из его склизких, расплзающихся ладоней, один из его пальцев отвалился и остался у меня в руке». А художника, которого после встречи с ним начинает преследовать один и тот же кошмар с движущимся по ночным улицам катафалком, более всего поражает голос сторожа, когда тот обращается к нему. Личность эта издает звуки, заполняющие мозг, «как тягучие вязкие испарения, вздымающиеся от бочки, наполненной несвежим жиром, или как отвратительные запахи, исходящие от кучи отбросов». Это впечатление едва не заслоняет от него смысл сказанного сторожем: «Не находили ли вы Желтый знак?» Вскоре друг художника, также страдающий от описанного выше кошмара, находит на улице

странный ониковый талисман, покрытый неведомыми иероглифами, а еще через некоторое время из случайно попавшейся им на глаза дьявольской запрещенной книги, исполненной вещами настолько отвратительными, что на них не следует даже обращать взор простым смертным, друзья узнают, что этот талисман является тем самым злоеющим Желтым знаком, что со времен доисторической Каркозы передается из поколения в поколение приверженцами чудовищного культа Хастура, описание которого изложено в странной книге и память о котором до сих пор таится в самых темных уголках человеческого сознания. Затем они слышат с улицы грохот и поскрипывание отороченного черным плюмажем катафалка, управляемого кладбищенским сторожем с одутловатым лицом трупа. В поисках Желтого знака он приближается к входной двери, и от его прикосновения все запоры мгновенно обращаются в пыль. Когда же привлеченные явно нечеловеческим воплем люди врываются в дом, их взору предстают три распростертых на полу тела: два мертвеца и один умирающий. Одно из мертвых тел — принадлежащее кладбищенскому сторожу — успело разложиться, и обследующий его врач восклицает: «Этот человек мертв уже несколько месяцев!» Попутно стоит заметить, что большинство имен и топонимов, связанных с дьявольской первобытной страной, позаимствовано автором из рассказов Амброза Бирса. Среди других ранних работ Чемберса, включающих в себя элементы ужаса, достойны упоминания «Создатель лун» и «В поисках неведомого». Остается лишь сожалеть о том, что автор не продолжил свое развитие в направлении, в котором он легко мог бы стать общепризнанным мастером.

Немало воплощений самого настоящего сверхъестественного ужаса можно встретить и в книгах Мэри Э. Уилкинс, писательницы реалистического направления из Новой Англии, чей сборник новелл «Ветер в розовых кустах» содержит несколько достойных упоминания вещей. Например, в «Тенях на стене» нам предлагается изысканное описание ужасной трагедии, происшедшей в степенном новоанглийском семействе. Вся вещь построена настолько правильно, что мы ни-

сколько не удивляемся, когда в конце концов рядом с появляющейся на стене тенью отравленного брата главной героини отпечатывается и тень его убийцы, покончившего с собой в соседнем городе. Шарлота Перкинс Джилмен в своих «Желтых обоях» достигает классических вершин жанра, тщательно и без излишней аффектации описывая безумие, которое подкрадывается к женщине, поселившейся в обклеенной отвратительными желтыми обоями комнате, где ранее содержалась сумасшедшая.

В «Долине смерти» видный архитектор и специалист по истории Средневековья Ральф Эдамс Крэм добивается незаурядных успехов в описании нависшего над провинциальным местечком ужаса, искусно оперируя тончайшими оттенками атмосферы и фона.

Заметным продолжателем сверхъестественной традиции в нашей литературе является весьма одаренный и разноплановый юморист Ирвин Ш. Кобб, в чьем творчестве встречаются прекрасные образцы литературных ужасов. К примеру, ранняя вещь писателя, «Рыбья голова», повествует о неестественных отношениях между слабоумным уродом и рыбами странной породы, населяющими уединенное озеро и в конце концов совершающими месть за убийство своего двуногого родственника. В работах Кобба позднего периода встречаются элементы собственно фантастического жанра: например, в рассказе о наследственной памяти, проявившейся у современного человека с примесью негритянской крови, который, попав под поезд и находясь при последнем издыхании, бормочет что-то на диалекте африканских джунглей, ставшем доступным ему под влиянием сходных слуховых и визуальных впечатлений — его столетней давности предок был покалечен носорогом.

Необычайно высокое художественное мастерство отличает роман покойного Леонарда Клайна «Темная комната» (1927). Это история человека, который под воздействием амбиций, характерных для литературного героя готического или байронического периода, решает бросить вызов законам природы и восстановить каждый момент своей жизни при помощи

неестественной стимуляции памяти. Для этого он использует бесчисленные мемуары, фонограммы, различные мнемонические объекты, рисунки — а затем обращается к запахам, музыке и экзотическим наркотикам. В конце концов его стремления превосходят границы его собственной жизни и он погружается в темные бездны *наследственной* памяти, продвигаясь к тем временам, когда доисторический человек жил посреди клубящихся испарениями болот каменноугольного периода и далее, к невообразимым временным пластам и их неведомым обитателям. Он прибегает к помощи все более безумной музыки и все более странных наркотиков, и в итоге его собственный пес начинает бояться его. От него начинает исходить отвратительный животный запах, взгляд становится пустым, а наружность — мало чем напоминающей человеческую. Через некоторое время он убегает в леса, и вой его иногда раздаётся под окнами испуганных обывателей. Роман заканчивается тем, что однажды в дикой чаще находят его обезображенный труп, а рядом — не менее искалеченный труп его собаки. По всей видимости, оба погибли в схватке друг с другом. Зловещая атмосфера романа сгущается от страницы к странице, однако основное внимание автор уделяет описанию зловещего жилища своего главного героя, его обстановке и обитателям.

Немного менее ровным и композиционно уравновешенным, но, несмотря на это, оказывающим сильнейшее воздействие можно назвать роман Герберта С. Гормена «Место с названием Дагон», в котором излагается темная история одного из поселений массачусетской глубинки, где беглецы от салемиских ведьмовских процессов до сих пор пестуют зловещий и гибельный культ «черного шабаша».

В «Зловещем доме» Леланда Холла встречаются изумительные атмосферные находки, но общее впечатление несколько подпорчено довольно пресной романтической линией.

Весьма примечательными в своем роде кажутся также и некоторые из черных концепций романиста и автора коротких рассказов Эдварда Лукаса Уайта, черпающего большинство своих сюжетов из сновидений. «Песнь сирены», к примеру,

поражает прежде всего своей необычностью, а такие вещи, как «Лукунду» и «Рыльце», вызывают более мрачные ассоциации. Рассказы Уайта имеют весьма своеобразный оттенок — они исполнены мягкого очарования, которое придает им убедительность и достоверность.

Из молодых американских авторов никто не умеет так передавать впечатление космического ужаса, как калифорнийский поэт, художник и новеллист Кларк Эштон Смит, чьи причудливые писания и картины являют собой настоящее наслаждение для человека, обладающего артистическим вкусом. В основе творений мистера Смита лежит вселенная, исполненная почти парализующего ужаса, будь то светящиеся ядовитые джунгли далеких лун Сатурна, зловещие уродливые храмы Атлантиды, Лемурии и других исчезнувших цивилизаций или черные, поросшие пятнистыми грибами смерти болотистые топи, лежащие за границами земных измерений. Его самая объемная и наиболее вдохновенная поэма «Пожиратель гашиша» написана белым пентаметром. Она открывает взору читателя исполненные хаоса и ужаса бездны, калейдоскопическим хороводом чередующиеся в межзвездном пространстве. В демонической причудливости и неистощимости воображения мистер Смит, пожалуй, далеко превосходит любого из живущих или когда-либо живших авторов. Можем ли мы назвать какого-либо другого писателя, кому являлись столь чудовищные, столь вычурные и столь отталкивающие уродливые лики бесконечных пространств и бесчисленных измерений и кто после этого остался в живых, чтобы поведать нам о них? Его рассказы и новеллы повествуют, в основном, о других мирах, галактиках и измерениях, а также о недоступных сферах и минувших эпохах нашей планеты. Он рассказывает о доисторической Гиперборее и о почитавшемся там черном аморфном боге Цагогуа, о погибшем континенте Зотик и легендарной стране Аверуань, расположенной на территории средневековой Франции и населенной вампирами. Несколько самых лучших работ мистера Смита включены в небольшую книжку, озаглавленную «Двойная тень и другие фантазии» (1933).

**ЛИТЕРАТУРА УЖАСОВ
В БРИТАНСКОМ ВАРИАНТЕ**

Новейшая литература Британских островов не только дала нам трех-четырех величайших мастеров современной таинственной прозы, но и вообще была исключительно щедра на сверхъестественные элементы. К ним нередко обращался Редьярд Киплинг, трактуя их, несмотря на свою манерность, с несомненным мастерством — достаточно упомянуть такие вещи, как «Призрак рикши», «Лучший рассказ в мире», «Возвращение Имрея» и «Звериное пятно». Последний рассказ особенно замечателен: нагой прокаженный жрец, издающий мяукающие звуки наподобие выдры; пятна, появляющиеся на груди человека, которого проклял этот жрец; растущая плотоядность жертвы и страх, испытываемый перед ней лошадьми; и наконец, итоговое полупревращение жертвы в леопарда — такие вещи не забываются! И то, что в конце концов зло терпит поражение, ничуть не ослабляет силу воздействия этой истории на читателя и не устраняет ее сверхъестественного характера.

Лафкадио Херн, чудаковатый экзотический странник, уходит от сферы реального мира еще дальше и с мастерством истинного поэта рисует такие причудливые образы, которые и присниться бы не могли автору обычного типа. Вампирические мотивы его «Фантазий», написанных в Америке, являются одним из самых впечатляющих описаний дьявольщины в мировой литературе, между тем как в «Кайдане», сочиненном в Японии, автор с бесподобным искусством и тактом излагает сюжеты сверхъестественных преданий и жутких поверий этой безумно интересной нации. Чарующая прелесть языка Херна особенно ярко проявляется в его переводах с французского, особенно из Гюте и Флобера. Его перевод «Искушения святого Антония» немедленно стал классическим примером горячечной, буйной образности, облеченной в магию поющих слов.

С не меньшим правом претендовать на место среди авторов таинственных и ужасных историй может Оскар Уайльд — от-

части как сочинитель изысканных волшебных сказок, отчасти как творец бессмертного «Портрета Дориана Грея», где удивительный портрет исполняет скорбную обязанность старения и дряхления вместо изображенного на нем человека, который тем временем погружается в бездну порока, наружно сохраняя молодость, свежесть и красоту. Роман достигает неожиданной и весьма эффектной кульминации в тот момент, когда Дориан Грей, ко всему прочему ставший и убийцей, решает уничтожить картину, метаморфозы которой свидетельствуют о его нравственном падении. Он вонзает в нее нож, и в то же мгновение раздается душераздирающий вопль, сопровождающийся оглушительным треском, но когда в комнату вбегают слуги, они видят, что портрет по-прежнему цел и невредим и по-прежнему изображает их молодого хозяина во всей свежести и прелести юных лет. Однако «на полу лежал человек в ночном халате с ножом в сердце. Лицо его было сухим и морщинистым, как у дряхлого старца. Только по кольцам на руках смогли догадаться, кто это был».

Мэтью Фипс Шил, автор многочисленных фантастических, гротескных и приключенческих романов и рассказов, достигает в некоторых из них поистине высочайшей степени концентрации запредельного ужаса. Наиболее характерным примером вышесказанному может послужить исполненный нездорового отвращения рассказ «Зелуча», однако даже он не может сравниться с бесспорным шедевром мистера Шила — великолепным «Домом шорохов», написанным в манере «желтых девяностых», но затем, в начале двадцатого века, переработанным с гораздо более высокой степенью художественной убедительности. В нем повествуется о средоточии ужаса и злобы, что на протяжении нескольких веков таится на одном из приполярных островков к северу от побережья Норвегии. Там, посреди адского завывания ветров и неумолчного грохота волн и ливней, построил свою зловещую бронзовую башню мстительный мертвец. Произведение это отдаленно напоминает «Падение дома Эшеров» По, но ни в коем случае не является его слепком. В романе «Пурпурное облако» мистер Шил необычайно правдоподобно описывает страшное

бедствие, пришедшее из Арктики и уничтожившее все человечество, за исключением единственного, как кажется вначале, обитателя нашей планеты. Мысли и переживания одинокого странника, блуждающего по заваленным трупами и несметными сокровищами нашей цивилизации городам, человека, внезапно ставшего повелителем пустынной планеты, переданы с мастерством и вкусом, подчас граничащими с гениальностью. К сожалению, вторая часть книги изрядно подпорчена введением традиционной романтической линии.

Более известен, чем Шил, изобретательный Брэм Стокер, автор нескольких весьма жутких концепций, которые он развил в целом ряде романов, чей довольно низкий литературный уровень, как это ни печально, не преминул сказаться в общем ослаблении воздействия на читателя. Роман «Логово Белого Червя», при всей значительности замысла — в нем идет речь о гигантском доисторическом существе, затаившемся в гробнице под древним замком, — безнадежно испорчен почти детской манерой изложения. Более искусно написан «Камень семи звезд», повествующий о воскрешении египетской мумии. Но лучшим из всех произведений автора является, безусловно, «Дракула», почти эталонный образец современного воплощения ужасающего вампирского мифа. Обаятельный вампир граф Дракула живет в неприступной цитадели в Карпатах, но затем переезжает в Англию с целью заселения этой страны такими же, как он, существами. Приключения англичанина в ужасном замке Дракулы и провал захватнических замыслов кровожадного чудовища — вот основные мотивы этого романа, по праву занимающего видное место в английской беллетристике. За «Дракулой» последовала целая серия подобных романов, принадлежащих перу авторов самых разных направлений сверхъестественного ужаса. Лучшими из них, на мой взгляд, являются «Жук» Ричарда Марша, «Потомки королевы ведьм» Сакса Ромера (псевдоним Артура Сарсфилда Уорда) и «Дверь в нереальное» Джеральда Бисса. Последний, нужно отметить, с изрядным мастерством разрабатывает традиционную тему оборотней. Однако гораздо больший интерес вызывает роман Френсиса

Бретта Янга «Холодная пристань», написанный с немалым артистическим блеском и композиционно построенный как искусное переплетение свидетельств нескольких персонажей. Насмешливый и почти всемогущий вампир Хамфри Фернивал вызывает в памяти бесчисленных злодеев манфредовско-монтониевского типа, что столь плотно населяли ранний готический роман, однако удачно подобранные индивидуальные черты спасают характер главного действующего лица от, казалось бы, неизбежной тривиальности. Это произведение вполне можно было бы назвать совершенным, если бы не некоторая расплывчатость развязки и слишком частое использование предсказаний в качестве движущей силы сюжета.

Джон Бьюкен в романе «Ведьмовской лес» весьма захватывающе повествует о зловещей традиции шабашей, дожившей до наших дней в одном из затерянных уголков Шотландии. Великолепное описание векового темного леса и лежащего посреди него зловещего монолита, а также ужасающих космических фантазмов, являющихся взору после того, как зло было искоренено, всецело вознаградит читателя за утомительное следование медленно разворачивающемуся сюжету и преодоление плотной чащи шотландского диалекта. Весьма убедительны в плане мистического ужаса и некоторые рассказы мистера Бьюкена, такие как, например, «Зеленая антилопа», повествующая о странном событии, связанном с африканским колдовством, а также живописующий возвращение древних романо-британских ужасов «Ветер в галерее» или замечательный «Скул Скерри», будоражащий воображение читателя ужасами неведомого Заполярья.

Клеменс Хаусмен в своей повести «Оборотень» воссоздает подлинный дух народного предания и при этом достигает высокой степени мрачного напряжения. В «Эликсире жизни» Артур Рэнсом добивается нескольких замечательных по своей жути эффектов, несмотря на довольно наивный сюжет, а в «Сотканной из тени» Г. Б. Дрейка взору читателя открываются фантастические сумрачные виды. «Лилит» Джорджа Макдональда покоряет своеобразной вычурностью, причем

первый из двух вариантов этой вещи не только проще, но, пожалуй, и сильнее второго.

Заслуженной славой выдающегося художника, для которого невидимый мистический мир столь же реален и близок, как и видимый, пользуется поэт Уолтер де ла Мар, чьи упоительные стихи и изысканная проза в равной мере несут на себе стойкий след редкого провидческого дара, глубоко проникающего как в сокровенные красоты прекрасного, так и в чудовишные, запретные измерения бытия. В романе «Возвращение» нам предлагается отчет о том, как душа мертвеца восстает из своей двухвековой могилы и вселяется в тело живого человека, так что с течением времени даже лицо жертвы приобретает черты того, кто давно превратился в прах. Среди составляющих несколько томов произведений малой формы этого плодовитого автора многие рассказы замечательны тем мастерством, с каким изображаются мрачайшие проявления страха и чародейства. В первую очередь здесь следует назвать «Тетушку Ситона», историю с нездоровой вампирической подоплекой; «Дерево», повествующее о жутком растении, выросшем во дворе голодающего художника; «Из глубины», предоставляющее читателю самому догадываться о том, что за тварь ответила на вызов одинокого человека, умирающего в темном пустом доме, когда он потянул, с трудом преодолев давнюю боязнь, за шнурок, ведущий к звонку в служившей объектом его детских страхов мансарде; «Мистер Кемп», где нам предстает безумный монах-отшельник, живущий среди скал на пустынном морском побережье неподалеку от заброшенной часовни и занятый поисками человеческой души; а также «День всех святых», рассказывающий о том, как нечистая сила осаждает захолустную средневековую церквушку и сверхъестественным образом восстанавливает шаткую каменную кладку. В большинстве произведений де ла Мара ужасы не выступают ни единственным, ни даже преобладающим мотивом, так как автора, по всей видимости, больше интересует психологический портрет персонажей. Временами он опускается до праздной игры воображения в духе Барри. Тем не менее он остается

одним из немногих, для кого нереальный мир живет и действует, и в этом качестве ему удастся вдохнуть в свои нечастые пробы пера в жанре ужасов ту убедительность, какой достигают лишь редкие мастера. Его поэма «Слушатели» являет собой поразительно современное воплощение истинно готического духа.

В последние десятилетия жанр рассказа ужасов переживал свой расцвет, и это ничуть не удивляет, если учесть, что ему посвящали свой талант такие мастера, как Э. Ф. Бенсон, в чьем «Человеке, зашедшем слишком далеко» повествуется о доме на краю дремучего леса и об отпечатке копыта Пана на груди мертвеца. Сборник мистера Бенсона «Видимое и невидимое» содержит несколько историй, исполненных необычайной мощи, в том числе «Negotium Perambulans», в ходе которой перед нами предстает богомерзкое чудище со старинной иконы, совершающее акт мистического возмездия в глухой деревушке на корнуоллском побережье, а также «Рог ужасов» с мерзким человекообразным существом, обитающим на труднодоступных альпийских высокогорьях. В рассказе «Лицо» из другого сборника надо всем повествованием довлеет десница безжалостного рока. Г. Р. Уэйкфилд в сборниках «Они возвращаются вечером» и «Другие тоже возвращаются» нередко достигает головокружительных высот ужаса и столь же нередко срывается с них из-за досадной привычки усложнять все и вся. Наиболее известны его рассказы «Красная сторожка», где источник зла имеет скользко-водянистый характер, «Он появляется и проходит мимо», «И тогда он запоет...», «Веха», «Эй, смотрите!», «Жмурки» и «Семнадцатая скважина в Данкастере», повествующая о затаившемся тысячелетнем ужасе. Уже многое было сказано о сверхъестественной прозе Г. Дж. Уэллса и А. Конан Дойла. Первый из них достиг весьма незаурядного уровня в «Духе страха»; впрочем, почти все его «Тридцать странных историй» имеют ярко выраженную мистическую подоплеку. Дойл также временами высекал довольно яркую искру ужаса — например, в «Капитане „Полярной звезды“» с арктическими призраками или в «Номере 249», где тема ожившей мумии трактуется

с далеко не ординарным мастерством. Хью Уолпол также с успехом пробовал свои силы в жанре, основанном его именитым родственником, отцом готического романа, и нужно признать, что ужасы, описанные в его рассказе «Миссис Лант», пронизывают читателя до костей. Некоторые из рассказов Джона Меткалфа, объединенных в сборнике «Дымящаяся нога», исполнены необычной мощи. В первую очередь это относится к «Бэдленду», где ужасы трактуются порой поистине гениально. Новеллы Э. М. Форстера, изданные в виде сборника под названием «Небесный омнибус», скорее эксцентричны, нежели ужасны, что роднит их с добродушными и безобидными вымыслами Дж. М. Барри. Из них лишь одна — та, где появляется Пан с исходящей от него аурой страха, — содержит подлинный элемент вселенского ужаса. Миссис Г. Д. Эверетт, при всей своей приверженности традиционным избитым схемам, в некоторых своих рассказах достигает незаурядных высот. Л. П. Хартли известен как автор язвительной и очень страшной истории «Гость с другой стороны». В «Жутких историях» Мэй Синклер мы находим больше традиционного «оккультизма», нежели той творческой трактовки темы страха, что является отличительным признаком мастерства в интересующем нас жанре. Человеческим эмоциям и психологическим изысканиям в них уделяется гораздо больше внимания, чем необъяснимым феноменам нереального мира. Вообще, чаще всего оказывается, что верующие в загробный мир хуже приспособлены к задаче воплощения жутких и фантастических мотивов, нежели материалисты, и объясняется это тем, что для первых из них мир фантомов — это нечто обыденное и реальное, а потому они склонны обращаться с ним с меньшим благоговением, пристрастием и изумлением, чем те, кто видит в нем абсолютное и грандиозное поправление естественного хода вещей.

Творчество Уильяма Хоупа Ходжсона, известное сегодня намного меньше, нежели оно того заслуживает, неоднородно в стилистическом отношении, но порой достигает небывалой выразительности в своих смутных намеках на существования миров и существ, таящихся за видимой оболочкой бытия.

Несмотря на следование традиционно моралистическим концепциям Вселенной и отношения человека к ней и к своим ближним, в той серьезности, с какой он трактует нереальное, мистер Ходжсон уступает, пожалуй, лишь Алджернону Блэквуду. Немногие могут соперничать с ним в умении передавать ощущение присутствия безымянных сил и чудовищных неведомых объектов посредством брошенных вскользь намеков и незначительных на первый взгляд подробностей. То же самое касается и описания необъяснимой тревоги, охватывающей персонажей.

В «Шлюпках с „Глен-Кэррига“» (1907) глазам людей, спасшихся с затонувшего корабля, предстают зловещие чудеса и богопротивные неведомые земли. Ощущение затаенной угрозы в первых частях книги передано с неподражаемым мастерством, но ближе к концу напряжение заметно ослабевает из-за отхода к традиционной любовно-авантюрной линии. Небрежная псевдоромантическая попытка воспроизвести стиль прозы восемнадцатого века существенно умаляет общее впечатление от книги, но превосходное знание морского дела, ощутимое на каждой странице, с лихвой компенсирует упомянутый недостаток.

«Дом на границе» (1908) — вероятно, лучшее из произведений мистера Ходжсона — повествует об уединенном и пользующемся дурной славой доме в Ирландии, который служит объектом пристального внимания со стороны отвратительных потусторонних сил и выдерживает постоянную осаду богомерзких гибридов из разверзшейся под ним чудовищной бездны. Странствия души рассказчика через бесконечные протяженности космического пространства и его присутствие при гибели Солнечной системы представляют собой нечто абсолютно уникальное в современной литературе. На всем произведении лежит отпечаток свойственного автору таланта автора вызывать ощущение присутствия неведомых ужасов посреди обычной, казалось бы, обстановки. Если бы не досадный налет плоской сентиментальности, книгу можно было бы назвать классикой чистейшей воды.

Роман «Призрачные пираты» (1909), который мистер Ходжсон рассматривал как заключительную часть трилогии, образуемой им с двумя вышеупомянутыми романами, представляет собой захватывающий отчет о последнем плавании проклятого корабля и о чудовищных морских демонах (гротескно напоминающих людей и, возможно, являющихся духами старинных пиратов), которые преследуют его и в конце концов увлекают в морские бездны — навстречу неведомой судьбе. Превосходное владение автором морской тематикой и умелый подбор намеков и реальных событий, наводящих на мысль об ужасах, извечно таящихся в природе, позволяют книге временами достигать завидных высот художественной выразительности.

Действие слишком затянутой (583 страницы) «Ночной земли» (1912) происходит в невообразимо далеком будущем нашей планеты, через многие миллиарды лет, уже после гибели Солнца. Повествование ведется в довольно неуклюжей манере — в виде пересказа сновидений жителя семнадцатого века, душа которого сливается со своим будущим воплощением; кроме того, впечатление сильно портят раздражающее многословие, бесконечные пережевывания одного и того же, неестественная и тошнотворно-липкая романтическая сентиментальность, а также псевдоархаичный стиль, еще более смешной и нелепый, чем в «Глен-Кэрриге».

Однако, при всех своих недостатках, это один из самых потрясающих образцов «черной» фантастики за всю историю литературы. Образ мертвой, погруженной в вечную ночь планеты, где остатки человечества сосредоточились внутри металлической пирамиды пугающе громадных размеров, осаждаемой абсолютно непостижимыми силами мрака, принадлежит к тем незабываемым вещам, которые перечитываются снова и снова. Невообразимые фантомы и существа неземного происхождения, населяющие покинутый людьми мир за пределами пирамиды, прорисованы с поистине гениальной изобретательностью, а покрытый мраком ландшафт с его бездонными пропастями, головокружительными склонами и по-

тухающими вулканами благодаря мастерству автора становится почти одушевленным воплощением ужаса.

В середине книги центральный персонаж предпринимает рискованную вылазку за пределы пирамиды, чтобы посетить места, куда вот уже миллионы лет не ступала нога человека. Подробный, с точностью до одного дня, отчет о его медленном, изнурительном продвижении сквозь мрак овеванной смертью планеты несет на себе тот след космической отчужденности, завораживающей таинственности и напряженного ожидания, равного которому не найти во всей существующей литературе. Последняя четверть книги безнадежно затянута, но даже это не может ослабить гигантскую силу воздействия романа в целом.

Следующая книга мистера Ходжсона — «Карнаки, охотник за привидениями» — состоит из нескольких крупных новелл, в прошлом из года в год публиковавшихся в журналах. По качеству книга явно уступает другим произведениям писателя. Во всех новеллах действует один и тот же герой — более или менее традиционная и шаблонная фигура, относящаяся к типу «непогрешимого детектива», прямой потомок мсье Дюпена и Шерлока Холмса и близкий родственник блэквудовского Джона Сайленса. Серьезным недостатком книги является довлеющая над сюжетом атмосфера профессионального оккультизма. Тем не менее отдельные эпизоды исполнены неотразимой убедительности и несут на себе отпечаток индивидуального гения автора.

Разумеется, в рамках одной статьи невозможно дать полный очерк всех случаев использования сверхъестественных мотивов в современной литературе. Элемент ужаса практически неизбежно должен присутствовать во всяком произведении — все равно, прозаическом или стихотворном, — касающемся нашей жизни вообще; а потому неудивительно, что он встречается и у таких авторов, как поэт Браунинг, чей «Чайльд-Роланд» буквально пронизан тревожными предчувствиями, или романист Джозеф Конрад, неоднократно заводивший разговор о страшных тайнах морских глубин и де-

монической силе Рока, влияющей на жизнь одержимых жаждой подвига одиночек. Ужас в литературе присутствует в бесконечном многообразии форм, но здесь мы вынуждены ограничиться лишь теми случаями, когда он появляется в относительно неразбавленном виде, являясь определяющим и преобладающим мотивом в содержащем его произведении искусства.

Несколько в стороне от основного британского потока струится ирландское течение литературы ужасов, ставшее достоянием читающей публики в период Кельтского возрождения конца девятнадцатого — начала двадцатого века. Волшебный и страшный фольклор всегда пользовался большим уважением в Ирландии; в течение ста с лишним лет ему посвящали свой труд и талант такие неутомимые толкователи и интерпретаторы, как Уильям Карлтон, Т. Крофтон Крокер, леди Уайльд (мать Оскара Уайльда), Дуглас Хайд и У. Б. Йейтс. Извлеченные из тайников забвения в ходе борьбы за ирландское возрождение, эти сокровища народной мифологии были аккуратно собраны, систематизированы и исследованы, а их наиболее интересные мотивы получили отражение в творчестве многих новейших авторов вроде того же Йейтса, Дж. М. Синга, «А. Э.», леди Грегори, Падрайка Колума, Джеймса Стивенса и многих других.

Будучи скорее плодом праздной игры воображения, нежели воплощением суеверных страхов, такой фольклор и построенное на нем литературное творчество тем не менее включают в себя немало такого, что может быть по праву отнесено к сфере космического ужаса. Сказания о погребениях в затонувших церквях, покоящихся ныне под гладью зачарованных озер, былины о предвещающих смерть духах и злобных найденышах, баллады о привидениях и «нечестивых порождениях холмов» — во всем этом есть своя особая жуткая прелесть, и все это составляет особый раздел литературы ужасов. Ничуть не меньше подлинной жути можно обнаружить в таких исполненных немудреной экстравагантности и вопиющей наивности народных байках, как популярный анекдот о Теге О'Кейне, который в наказание за беспутный образ жизни был

оседлан требовавшим своего погребения мертвецом и целую ночь бегал от одного кладбища к другому, но все никак не мог избавиться от своего грозного седока, поскольку тамошние «завсегдатаи» поднимались из могил и категорически отказывались предоставить новоприбывшему свободное место. Йейтс, эта значительнейшая фигура ирландского возрождения и, может быть, величайший из ныне живущих поэтов, создал целый ряд оригинальных шедевров вкупе с блестящими переложениями древних легенд.

10

СОВРЕМЕННЫЕ МАСТЕРА

Лучшие образцы современной литературы ужасов, пользуясь преимуществами длительной эволюции жанра, отличаются непринужденностью, убедительностью, композиционной уравновешенностью и увлекательностью, ставящими их гораздо выше любых, даже самых талантливых образцов готической классики вековой давности. Техника, мастерство, опыт и знание человеческой психологии за прошедшие годы ушли далеко вперед, и многое из того, что было написано прежде, сегодня кажется наивным и искусственным, не покрываясь пылью забвения лишь благодаря гению своих творцов (когда он действительно имеет место), ибо гениальностью искупаются все недостатки. Галантный и напыщенный тон старинного романа, изобилующего неубедительными мотивировками и наделяющего ложной значимостью и ореолом загадочности даже самую пустячную подробность, в наши дни используется разве что в самых легких и гротескных разновидностях жанра. Серьезным же произведениям сверхъестественной прозы придается максимальный реализм, что достигается либо путем неукоснительного следования законам логики и природы с нарушением их лишь в отношении одного-единственного изначально выбранного сверхъестественного мотива, либо сугубо фантастическими средствами, когда благодаря умелому созданию соответствующей атмос-

сферы перед мысленным взором читателя, словно наяву, предстает экзотический мир реалий, находящихся за гранью пространства и времени, со всеми своими подробностями; мир, в котором может происходить все, что угодно, но обязательно в полном соответствии с теми формами воображения, что является нормой для тонко чувствующих людей. Такова, во всяком случае, преобладающая тенденция; хотя, разумеется, даже лучшие из современных писателей порой сбиваются на позерство в духе незрелого романтизма или на столь же пустой и абсурдный жаргон псевдонаучного оккультизма, переживающего ныне очередной всплеск своей популярности.

Мало кто из современных исследователей космического ужаса может сравниться по мастерству и разнообразию с Артуром Мейченом, автором примерно дюжины коротких рассказов и объемистых новелл, в которых потаенный ужас существования и вечно присутствующая угроза обретают несравненную убедительность и реалистичность. Мистер Мейчен, литератор весьма широкого диапазона и мастер утонченно-лирической и экспрессивной прозы, пожалуй, более серьезно относился к своим плутовским «Хроникам Клеменди», своим поразительно свежим литературным эссе, занимательным автобиографическим книгам, живым и одухотворенным переводам и, конечно же, к роману «Холмы желаний» — знаменитому эпосу, представляющему собой литературный слепок чуткого эстетического сознания, носителем которого является молодой герой, который под влиянием волшебства, исходящего от древних валлийских холмов, переносится в своих снах в древнеримский город *Isca Silurum*, к настоящему времени сжавшийся до размеров захолустной деревушки с названием Карлион-на-Эске. Однако факт остается фактом — его леденящие душу истории конца прошлого и первых годов нынешнего века стоят особняком в общем потоке литературы того рода, знаменуя новую эпоху в ее развитии.

Мистер Мейчен, совмещающий в своем творчестве богатое кельтское наследие с юношескими воспоминаниями о злове-

щих холмах, древних лесах и останках римской культуры в Гвенте, сумел создать собственный мир редкой красоты, убедительности и исторического правдоподобия. Он впитал в себя средневековую оккультную традицию, включающую мрачные сказки лесов и древние обычаи, и является в полном смысле этого слова защитником Средних веков вместе с безраздельно господствовавшим тогда католическим вероисповеданием. Но и британо-романская волна, прошедшая некогда по его родной земле, оставила в нем свой след, и его работы исполнены магии укрепленных замков, мощенных булыжником дорог, обломков статуй и других вещей, напоминающих о тех временах, когда в мире царил классицизм и государственным языком Британских островов была латынь.

Молодой американский поэт Фрэнк Белнап Лонг-младший резюмировал богатое дарование и чарующий изобразительный талант этого мечтателя в сонете «Читая Артура Мейчена»:

Осенний лес овеян древней славой,
Бессмертной славой призрачных времен,
Когда великий Рим стоял державой
На землях всех народов и племен.

Осенним небом зримо правят чары —
Там реют и клубятся облака,
Там рдеют чудотворные пожары,
Губя и воскрешая на века.

Я жду, что он покажет мне вдали,
Надменного имперского дракона
И воинов святого легиона,
Чьи тени вырастают из земли.

Я жду, и мы поделим на двоих
И мудрость древних дней, и горечь их.

Самым известным романом мистера Мейчена является, пожалуй, «Великий бог Пан» (1894), в котором повествуется о необычном, равно как и ужасающем эксперименте и его

последствиях. Молодая женщина, над мозговыми клетками которой была проведена некая операция, обретает способность прозревать чудовищную сущность Природы, но сразу же после операции сходит с ума и умирает в течение года. Спустя несколько лет в одном из уэльских семейств неизвестно откуда появляется странный, нездешнего (и немного зловещего) вида ребенок по имени Хелен Возн. Девочка проводит все свое время в лесах, занимаясь там весьма необычными вещами. Шпионившему за ней местному мальчишке удается застать ее с неким существом, при виде которого он немедленно сходит с ума. Не менее печальный конец ожидает и саму маленькую героиню. Вся эта загадочная история каким-то образом связана с римскими богами места, посвященные надписи которым встречаются на уцелевших античных руинах. Спустя еще несколько лет в свете появляется женщина экзотической красоты. Вскоре ее супруг умирает от ужаса, близкий ей художник начинает рисовать невысказанные картины, воспроизводящие ведьмовской шабаш, а ее многочисленные знакомые мужчины кончают самоубийством. В конце концов выясняется, что она является завсегда-таем грязных лондонских притонов, вызывая своим поведением шок даже у самых завзятых подонков. Через сопоставление отрывочных воспоминаний всех, кому довелось с ней общаться, удастся установить, что женщина эта и есть тот самый загадочный ребенок по имени Хелен Возн, рожденный (без видимого участия мужчины) от перенесшей операцию на мозге женщины. В конце концов это ужасающее порождение самого Пана умирает, претерпев перед этим омерзительные мутации, включающие превращение в мужчину и в самые низшие формы жизни.

Однако главным достоинством романа является не сюжет, а манера изложения. Вряд ли кому-либо другому удастся так передать растущее напряжение и ужас, так мастерски рассеять по тексту постепенно проясняющие суть дела намеки и комментарии. Конечно, Мейчену не удалось избежать мелодраматического оттенка, да и стечения обстоятельств действия порою не выдерживают критического анализа, но все эти

пустяки не стоят упоминания в сравнении со зловещей магией произведения, по прочтении которого читателя долго не отпускает холодок в груди и навязчиво звучащие в ушах слова одного из героев: «Это слишком невероятно, слишком чудовищно. Таким вещам не место в нашем благоустроенном мире... Да если бы такие происшествия случались в реальности, наша земля превратилась бы в один невыносимый кошмар».

Гораздо менее знаменито, равно как и гораздо проще по композиции (но в то же время более ценно с художественной точки зрения) странноватое хроникальное повествование «Белые люди», основная часть которого построена в форме дневника маленькой девочки, которую няня познакомила с некоторыми аспектами черной магии и зловещего ведьмовского культа в целом — культа, чьи аксессуары передаются из поколения в поколение среди крестьянских слоев населения Западной Европы и чьи приверженцы имеют обыкновение устраивать в уединенных местах отвратительные оргии. Мастерское повествование мистера Мейчена, этот настоящий триумф артистического вкуса и творческой энергии, набирает силу по мере того, как в детском лепете ребенка все чаще появляются странные упоминания о каких-то «нимфах», «куколках», «белых, зеленых и багровых церемониях», «аклосских буквах», «цианском языке», «маосских играх» и тому подобном. Знание, унаследованное няней от своей бабушки, вкладывается в голову трехлетнего ребенка, чей безыскусный рассказ о потаенных откровениях исполнен пафоса и скрытого ужаса. Хорошо знакомые каждому антропологу зловещие ритуалы описаны с присущей ребенку наивностью, что оказывает потрясающее воздействие на читателя. Затем, в один зимний полдень, следует прогулка на древние холмы Уэльса, совершаемая в состоянии зачарованности, что придает дикому пейзажу дополнительные странность, жуть и гротескный налет одушевленности. Описание этой прогулки приведено с захватывающей достоверностью, и даже самые строгие критики согласятся, что, достигая невиданных высот в приближении к потаенному злу и угрожающему хаосу космоса, оно

является шедевром фантастической литературы. По прошествии некоторого времени повзрослевшая девочка — которой уже исполнилось тринадцать лет — находит в самом сердце дремучего леса загадочную вещь немислимой красоты. В конце концов, согласно пророчеству, изложенному в прологе, ужас настигает ее, но она успевает принять яд и тем самым избавить себя от худшей доли. Подобно матери Хелен Воэн из «Великого бога Пана», чудовищное божество предстает ей во всем своем уродстве. Люди, обнаружившие ее труп посреди темного леса, боязливо затаптывают в грязь лежащую рядом с ней загадочную вещь — излучающую белое сияние римскую статуэтку, которая издавна являлась объектом самых мрачных местных преданий.

В сложном по композиции романе «Три самозванца», в целом слегка страдающем от подражания беспечной манере Стивенсона, встречаются вставные новеллы, которые можно назвать вершиной творчества Мейчена как автора черных историй. В этом произведении наиболее ярко, наиболее мастерски выражена одна из основных мифологических концепций автора — вера в то, что под скалами и земной толщей древних валлийских холмов обитает доисторическое племя карликов, послужившее источником для народных преданий о феях, эльфах и так называемом белом народце, ответственном за необъяснимые исчезновения и жуткие подмены человеческих детей. Эта тема широко раскрывается в новелле «Повесть о Черной печати», в котором некий ученый, усмотревший сходство между высеченными на гэльских монолитах инскрипциями и знаками на древней вавилонской печати, начинает исследование, приведшее его к поразительным и ужасающим результатам. Удивительный отрывок из сочинений древнего географа Солинуса, серия загадочных исчезновений на пустынных валлийских просторах, странный безумный ребенок, родившийся от женщины, перенесшей ужасное событие, потрясшее ее до глубины души, — все эти вещи кажутся профессору звеньями одной цепи, указывающей на некое явно не благоволящее к роду человеческому существо. Он берет в услужение полоумного мальчика, подверженного

эпилептическим припадкам, во время которых у него изо рта вырывается низкий звериный рев. После очередного такого припадка, случившегося ночью в кабинете профессора, там еще долго ощущается странный запах и другие следы чьего-то чужеродного присутствия. Вскоре после этого случая профессор, оставив после себя толстую кипу исписанных листов, представляющую собой отчет о его наблюдениях, отправляется к зловещим холмам, исполненный предчувствия тайны. Назад он не возвращается, но около одного из загадочных монолитов люди находят его часы, деньги и кольцо с вырезанными на печатке знаками, как две капли воды напоминающими знаки на вавилонской печати и на темной поверхности монолита.

В объемистом документе содержатся сведения, одновременно проясняющие дело и пугающие читателей. Из сопоставления исчезновений людей, скальных надписей, отчета древнего географа и знаков на черной печати профессор Грегг заключил, что под холмами Уэльса обитает темная раса непостижимой древности, которая когда-то доминировала в мире, а ныне сохранилась лишь в этой географической точке. Дальнейшие исследования раскрыли тайну черной печати и прояснили тайну происхождения сумасшедшего мальчика, рожденного от ужасного нечеловеческого отца и унаследовавшего все его чудовищные способности и воспоминания. В ту страшную ночь, когда с мальчиком случился припадок, профессор при помощи черной печати высвободил обитавшее в его маленьком пациенте «чудовищное создание с холмов» и пробудил в нем память всех его темных поколений. Он увидел, как «тело его начало набухать и вскоре раздулось, как пузырь, в то время как лицо чернело на глазах...». Через мгновение высвобожденная сущность безумца явилась во всей своей красе, и профессор Грегг оказался лицом к лицу с ищадием космического хаоса. Он понял природу чудовищной противоестественности, которую вызвал своими действиями, и потому отправился к далеким холмам без колебаний и готовый на все. Наверняка он представлял себе, что его ожидает при встрече с «маленьким народцем», ибо дневник его закан-

чивается следующей фразой: «В том случае, если я не вернусь, читающим данные строки не стоит даже пытаться вообразить себе весь ужас постигшей меня участи».

Также входящая в «Трех самозванцев» новелла «Повесть о белом порошке» представляет собой воистину квинтэссенцию ужаса и отвращения. Френсис Лестер, молодой студент-юрист, находящийся на грани нервного истощения, вызванного длительным добровольным заточением и чрезмерным усердием в занятиях, выкупает по рецепту у одного старого и не очень аккуратного в приготовлении лекарств аптекаря некий белый порошок. Это вещество, как позднее выясняется, представляет собой какую-то редкую соль, которую слишком длительный срок и неустойчивая температура хранения превратили в нечто очень странное и ужасное по своему эффекту. В результате порошок этот оказывается не чем иным, как средневековым *vinum sabbati*, чье потребление на оргиях ведьмовских шабашей приводит к отвратительным превращениям и зачастую непредсказуемым последствиям. Не ведая об этом, молодой человек начинает принимать белый порошок, разбавляя его в воде, и вначале лекарство действительно оказывает благоприятное воздействие. Однако постепенно у него начинается трансформация личности; он часто пропадает из дому и вообще выглядит так, как если бы перенес психическое потрясение. Однажды он замечает, что на руке у него появилось мертвенно-синее пятно, после чего он вновь затворяется в своей комнате и не допускает туда никого из домашних. Вызванный к нему доктор в неопишемом ужасе вылетает из комнаты со словами: «Ноги моей больше не будет в этом доме!» Спустя две недели сестра больного, прогуливаясь по саду, видит в окне брата некоего чудовищного монстра, а слуги жалуются, что еда, которую они оставляют у двери больного, остается нетронутой. В конце концов на смерть перепуганная горничная докладывает, что в комнате, находящейся непосредственно под обиталищем больного, с потолка начала капать тягучая черная жидкость. Доктор Хабберден, принужденный таки вернуться к своему пациенту, взламывает дверь в комнату Лестера и долго бьет тяжелым

железным прутом по богомерзкой полумертвой твари, которую он там обнаруживает. Тварь эта представляет собой «черную зловонную массу, истекающую гнилью и омерзительной слизью, ни жидкую, ни твердую, но расплывающуюся и тающую на глазах». В глубине ее, как два раскаленных уголька, горят глаза, и, прежде чем окончательно распасться, омерзительная тварь пытается поднять то, что, по-видимому, когда-то было рукой. Вскоре после того старый врач, не в силах пережить увиденное, умирает на борту корабля, везущего его к берегам Америки, где он собирался начать новую жизнь.

Мистер Мейчен возвращается к демоническому «маленькому народцу» в «Красной руке» и «Сияющей пирамиде». В «Ужасе», рассказе военного времени, автор с присущим ему мрачным блеском описывает эффект, который оказывает на всех животных мира отказ человека признать их одухотворенными существами и приводит к заговору зверей с целью полного уничтожения человечества. «Великое возвращение», также рассказ военного времени, посвящен Граалю и написан с утонченностью, поднимающей эту тему от обычного ужаса до вершин мистицизма. «Лучники» слишком хорошо известны, чтобы о них распространяться здесь; достаточно лишь сказать, что они были приняты за документальный отчет и послужили причиной появлению легенды об «ангелах Монса» — духах английских лучников, воевавших при Креси и Азенкуре и вставших в 1914 году в ряды английских солдат Первой мировой.

Менее виртуозен, нежели мистер Мейчен, в изображении крайних степеней абсолютного ужаса и в то же время бесконечно более предан идее постоянного давления мира нереального на мир людей талантливый и плодовитый Алджернон Блэквуд, который может похвастать несколькими шедеврами сверхъестественного характера, резко выделяющимися на фоне неоднородной массы его творческого материала. Пожалуй, никому не придет в голову сомневаться в характере литературного дарования мистера Блэквуда — ибо никому до него даже близко не удалось подойти к столь высокой степе-

ни выразительности, объективности и убедительности, с которой он регистрирует все проявления необычного в самых, на первый взгляд, обычных вещах и ощущениях, а также достичь той пронзительной ясности, с которой он возводит сложную пирамиду чувственного опыта, на вершине которой нам открывается вход в другую реальность. Не обладая ярко выраженной способностью сплетать колдовские узоры слов, он все же остается непревзойденным мастером в области нагнетания атмосферы ужаса и своим безыскусным языком может сказать в одном абзаце больше, чем любой другой автор в огромном рассказе. Как никто другой, этот писатель осознает трагедию чувствительных умов, всю жизнь вынужденных пребывать на границе неизведанного, и относительность различий между образами реального и воображаемого миров.

Второстепенные произведения мистера Блэквуда страдают такими серьезными недостатками, как тенденциозность, поверхностность, неубедительность проявлений сверхъестественного и слишком частое обращение к расхожим терминам современного оккультизма. Основной порок его более серьезных вещей заключается в той затянутости и многоречивости, что вытекает из тщетных стараний как можно точнее передать ощущения и впечатления человека перед лицом потусторонних сил — тщетных оттого, что стиль автора от природы многословен и сух, не обладая при этом ни обаянием, ни красочностью, ни живостью. Несмотря на все это, лучшие вещи мистера Блэквуда можно без сомнения причислить к классике жанра, ибо они являются одними из тех немногих работ, что вызывают физическое ощущение присутствия рядом с нами неведомых сфер, населенных загадочными тварями.

В обширном творческом багаже мистера Блэквуда имеются как романы, так и короткие новеллы, причем некоторые из последних объединены в циклы. Среди рассказов прежде всего заслуживают внимания «Ивы» — о двух путешественниках, причаливших к островку посреди Дуная и ставших свидетелями чьего-то чужеродного присутствия. В этом рассказе искусство повествования достигает невиданных высот,

и автору удастся создать напряжение, которое ощущается в каждом безошибочно выполненном абзаце текста. Другим образцом психологически насыщенной, но сюжетно незавершенной прозы является «Вендиг», в котором читателю предстают свидетельства существования некоего лесного демона, вызывающего панический страх у лесорубов из Нортвуда. Аккуратность в изложении деталей, описывающих странные следы, по которым можно угадать невероятные вещи, свидетельствует о расцвете мастерства писателя. В «Случае в мебелированных комнатах» нам предлагается жуткое описание невидимого существа, вызванного из космических бездн колдуном, а в «Слушателе» повествуется о смертоносном облаке психической энергии, затаившемся в доме, где недавно умер прокаженный. В сборнике, озаглавленном «Невероятные происшествия», собраны, пожалуй, лучшие рассказы автора, в которых читатель знакомится с запрещенными обрядами, творимыми под покровом ночи на далеких холмах, с потаенными и ужасающими ликами, проглядывающими из-под маски повседневности, и с невообразимыми таинственными безднами, скрывающимися под песками и пирамидами Египта. Все эти новеллы выполнены с точно угаданной степенью изящества и деликатности; чуть легче или чуть сильнее окажись нажим авторского пера — и они превратились бы в обыкновенное развлекательное чтиво. Некоторые произведения вряд ли можно назвать собственно рассказами, они представляют собой скорее отчеты о трудно поддающихся описанию ощущениях или обрывках снов.

Роман «Джон Сайленс, парамедик» состоит из пяти взаимосвязанных новелл, каждая из которых повествует о подвигах заглавного героя. За исключением одного-единственного недостатка, состоящего в явном приближении к детективному жанру: доктор Сайленс предстает одним из тех самоотверженных гениев-одиночек, что всегда готовы прийти на помощь страждущим согражданам, — вещь эта, несомненно, заслуживает того, чтобы назвать ее едва ли не лучшей работой писателя. Первая новелла, «Психическое вторжение», повествует о том, что предстало внутреннему зору доктора в доме,

в котором некогда творились темные дела, и о том, как из него были изгнаны целые легионы демонов. «Древние заклятья», пожалуй лучшая вещь книги, содержит почти гипнотическое по силе воздействия описание древнего французского городишки, в котором в былые времена люди, оборотившись кошками, свершали нечестивые шабаши. В «Мести огня» рассказывается об извлечении из пролитой крови ужасного духа, а в «Тайном культе» — об одной немецкой школе, где в древности предавались сатанизму, отчего над ней еще долго витала черная аура. «Собачье логово» представляет собой классическую историю о вурдалаках, несколько, правда, испорченную профессиональными терминами современного оккультизма.

Пожалуй, чересчур мягкими, чтобы их можно было определенно отнести к литературе ужасов, хотя, быть может, и более артистичными в лучшем смысле этого слова являются такие утонченные фантазии Блэквуда, как «Джимбо» и «Кентавр». В этих романах мистер Блэквуд вплотную подступает к сокровенной субстанции сна и играючи разрушает все условные барьеры между реальным и воображаемым мирами.

Несравненным волшебником хрустально поющей прозы, творцом сверкающего и манящего мира переливающихся экзотических красок можно назвать Эдварда Джона Мортон Дрэкса Планкета, восемнадцатого барона Дансени, чьи рассказы и короткие пьесы привносят абсолютно уникальный оттенок в литературу. Создатель новой мифологии, собиратель поразительного по своей красоте фольклора, лорд Дансени воспекает порожденный его воображением мир фантастической красоты и противопоставляет его уродству повседневной жизни. Он оперирует универсальными, всеобщими, космическими понятиями, равных которым доселе не было в мировой литературе. Обладая столь же острым чувством драматизма ситуации и оттенков слов, как Эдгар Аллан По, но будучи гораздо лучше его подготовлен риторически (его стиль напоминает немудреный, но исполненный лиризма

текст Библии короля Иакова), автор не пропускает мимо своего внимания ни один миф, ни одну легенду, зафиксированную европейской культурой, и в конечном итоге создает уникальный эклектический цикл фантазий, в которых восточный колорит, эллинская форма, тевтонская трезвость и кельтская тоска соединились столь чудесным образом, что дополняют и украшают друг друга без ущерба для общей гармонии. Чаше всего действие рассказов Дансени происходит в вымышленных странах — «восточнее Востока» или «на краю мира». Система, по которой он выбирает собственные имена для своих персонажей или географических точек и которая во многом заимствована из классической, восточной и других традиций, представляет из себя чудо поэтической изобретательности и вкуса, о чем говорят хотя бы следующие примеры: «Аргименес», «Бетмура», «Полтарнис», «Кэморак», «Илуриэль» и «Сардатрион».

Главной составляющей творчества Дансени является, конечно, не ужас, но красота. Его притягивает зеленоватый цвет нефритовых и медных куполов и слабый отблеск заходящего солнца на верхушках минаретов из слоновой кости, украшающих немыслимые города его мечты. Мягкий юмор и ирония также свойственны автору, что очень кстати смягчает некоторый цинизм и наивность его вещей. Но, безусловно, человеку, который столь воинственно воспеваает мир, стоящий по ту сторону реальности, не удалось избежать ощущения космического ужаса, который присутствует и в традиции, ставшей прототипом его творчества. Рассказы Дансени исполнены робких и не всегда ясных указаний на существование неких чудовищных тварей и ужасных событий, какие мы иногда встречаем в сказках. В «Книге чудес» мы читаем о Хло-Хло, гигантском паукообразном идоле, который временами выбирается из своего логова, о Сфинксе, чего-то испугавшемся в лесах, о Слите, воре, спрыгнувшем с края земли, потому что он увидел свет какого-то особого огня и понял, *кто* его зажег, о трупоедах гиббелинах, живущих в зловещей башне и стерегущих сокровище, о гнолах, которые живут в лесу и у ко-

торых лучше ничего не красть, о Небывалом Городе, о глазах, которые присматривают за Нижними Ямами, и о множестве других созданий тьмы. А «Рассказы мечтателя» сообщают нам о загадочном роке, который выгнал всех жителей Бетмуры в пустыню, об огромных воротах Пердондариса, вырезанных из *одного-единственного* слонового бивня, и о плавании бедного старика Билла на судне, капитан которого постоянно бранился и заставлял команду приставать к омерзительного вида островам, только что поднявшимся из океана и усеянным низкими хижинами с темными, глядящими в никуда окнами.

Большинство коротких пьес Дансени также исполнены ощущения призрачного ужаса. В «Богам горы» семеро попрошак выдают себя за зеленых нефритовых идолов и селятся на уединенном холме, наслаждаясь почитанием и подношениями со стороны жителей города до тех пор, пока до них не доходит весть, что *настоящие идолы покинули свои обычные места*. В сгущающихся сумерках им предстает весьма необычное зрелище — «камни не ходят по ночам!» — и, в то время как они сидят и ожидают прибытия своих почитателей, до них доходит, что шаги горожан на этот раз тяжелее обычного. Появившиеся вскоре каменные идолы обращают дерзких богохульников в зеленый нефрит. Однако сюжет является далеко не самым главным достоинством этой вещи. Развитие событий передано таким мастерским языком, что пьесе можно смело поставить не только в ряд шедевров драматургии, но и литературы вообще. В «Ночи в трактире» речь идет о четырех ворах, похитивших изумрудный глаз Клеша, чудовищного индийского бога. Им удастся заманить в свою комнату и убить трех преследующих их жрецов, однако ночью Клеш сам приходит за своим глазом и, вернув его, поочередно вызывает каждого из похитителей в царящую снаружи кромешную тьму для того, чтобы подвергнуть их некоему страшному наказанию. В «Хохоте богов» повествуется об обреченном городе на краю джунглей и о звуках далекой лютни, слышимых только теми, кому предстоит умереть (ср. призрачную арфу «Дома о семи фронтонах» Готорна), а во «Вра-

гах королевы» пересказывается упомянутый Геродотом анекдот о мстительной принцессе, пригласившей своих недругов на банкет, устроенный в просторном подземелье, а затем впустившей в него воды Нила. Однако простое описание не может передать и ничтожной доли очарования, исходящего от работ Дансени. Его призматические города и неслыханные ритуалы написаны со столь убедительной правдоподобностью, что читатель испытывает трепет соучастия в таинственных мистериях. Для поистине впечатлительных натур он остается талисманом — ключом, открывающим несметные сокровища мечты и неосознанных воспоминаний, отчего мы можем говорить о нем не только как о поэте, но и как о том, кто делает поэтами своих читателей.

Гениальностью диаметрально противоположного свойства и почти дьявольской способностью вызывать ужас путем незначительного отступления от прозы повседневной жизни обладает многоученный Монтегю Родс Джеймс, ректор Итон-колледжа, известный антиквар и признанный авторитет в области средневековых рукописей и истории соборной архитектуры. Известный любитель рассказывать байки о привидениях в святочные вечера, доктор Джеймс с течением времени превратился в первоклассного автора литературных страшных историй и разработал свои оригинальные стиль и метод, пригодные служить в качестве образца для поколений прилежных учеников.

Доктор Джеймс не из тех, кто пишет как бог на душу положит: он творит, опираясь на три весьма основательных принципа, сформулированных им в предисловии к одному из своих собраний. Действие рассказа о привидениях, считает он, должно происходить в самой обычной обстановке, в самую что ни на есть современную эпоху и не должно слишком выходить за рамки каждодневного опыта читателя. Представители иного мира должны быть злонамеренны, а не благосклонны, ибо главная задача рассказчика состоит в том, чтобы вызывать у читателя страх. И наконец, следует тщательно избегать псевдонаучной терминологии и «окультурно-

го» жаргона, дабы нежные ростки непринужденной достоверности не зачахли под зноем неубедительного педантизма.

Доктор Джеймс, воплощая свою теорию на практике, ведет повествование в раскованной и зачастую разговорной манере. Создавая иллюзию обыденности происходящего, он не форсирует потусторонние мотивы, но вводит их постепенно и на каждом шагу разбавляет прозаическими подробностями или образчиками своей потрясающей эрудиции. Отдавая себе отчет в тесной зависимости таинственного ореола, окружающего те или иные предметы и явления, от сложившейся в отношении них традиции, он, как правило, подкрепляет свои вымышленные ситуации отдаленной предысторией, находя, таким образом, весьма удачное применение своему исчерпывающему знанию прошлого и свободному владению архаической манерой изложения и соответствующим колоритом. Излюбленной декорацией джеймсовских историй является какой-нибудь почтенный кафедральный собор, описываемый автором с обстоятельностью специалиста в этой области.

Изящные юмористические виньетки, жанровые и психологические характеристики в умелых руках доктора Джеймса идут лишь на пользу общему впечатлению, а не портят его, как это обычно бывает у менее одаренных писателей. Кроме того, он изобрел принципиально новый тип привидения, в чем существенно отошел от готической традиции, ибо если старые призраки имели вид расплывчатый и величавый, то типичный джеймсовский дух низок ростом, тощ и волосат — этакая хилая уродливая образаина, которая сперва попадает под руку, а потом уже бросается в глаза. Временами джеймсовский призрак бывает еще более экзотичным, представляя собой, например, рулон ткани с паучьими глазками или невидимку в простыне, складки которой образуют форму лица. Доктор Джеймс на каждом шагу выказывает себя блестящим знатоком человеческих инстинктов и чувств; он знает, как правильно распределить очевидные факты, фантастические гипотезы и тонкие намеки, чтобы добиться максимального воздействия на читателя. Являясь скорее мастером сюжета и композиции, нежели создателем атмосферы, он апеллирует

к эмоциям через рассудок, а не напрямую. Разумеется, такой метод наряду с преимуществами имеет и свои недостатки, одним из которых, в частности, является отсутствие эффектных кульминаций. Многим читателям недостает в его книгах того предельного напряжения атмосферы, какого стремятся добиться авторы вроде Мейчена. Однако лишь немногие из произведений Джеймса можно назвать неувлекательными. Как правило, стремительного чередования необычных явлений в тщательно продуманном порядке хватает с лихвой, чтобы достичь желаемого эффекта.

Рассказы доктора Джеймса объединены в четыре небольших сборника, озаглавленных «Истории о привидениях, рассказанные антикваром», «Новые истории о привидениях, рассказанные антикваром», «Тощий дух и другие» и «Предостережение любопытным». Упомянем также чудесную сказку для юношества «Пять кувшинов», где также присутствуют жуткие моменты. Среди такого богатого и разнообразного материала трудно выбрать лучшую или хотя бы наиболее типичную историю, но мы не сомневаемся, что практически каждый читатель найдет среди него что-нибудь себе по душе.

«Граф Магнус» — бесспорно, одно из лучших произведений доктора Джеймса — представляет собой своего рода средоточие затаенной тревоги и напряженного ожидания. Мистер Рэксэл, английский путешественник середины девятнадцатого века, временно селится в Швеции, занимаясь сбором материала для книги. Заинтересовавшись историей старинного рода де ла Гарди, проживавшего близ местечка Робек, он приступает к изучению архивов, и постепенно его воображением завладевает личность первого владельца донныне существующего особняка, печально известного графа Магнуса, о котором ходят странные и жуткие слухи. Живший в начале семнадцатого столетия граф печально славился своей жестокостью в отношении браконьеров и задолжавших арендаторов. Суровость его наказаний была притчей во языцех, и до сих пор еще ходили смутные слухи о его посмертном влиянии, что начало сказываться сразу же после его погребения в выстроенном им возле церкви мавзолее и нагляднее всего

проявилось в случае с двумя крестьянами, зашедшими поохотиться на территорию графа спустя сто лет после его смерти. В ту ночь из леса доносились отчаянные крики, а со стороны гробницы графа раздавался нечеловеческий смех и лязганье входной двери. Наутро священник обнаружил близ леса двух людей: одного сумасшедшего и одного мертвеца. Лицо последнего было обглодано до костей.

Мистер Рэксэл выслушивает все эти истории, а потом случайно натывается на крайне туманные упоминания о Черном паломничестве, якобы предпринятом графом в палестинский город Хоразин — один из тех, что, согласно Священному Писанию, был проклят Господом и где, по словам отцов церкви, должен родиться Антихрист. Что именно представляло собой это Черное паломничество, никто не решается сказать; столь же плотная завеса молчания окружает и странное существо, с которым вернулся домой граф. Тем временем мистером Рэксэлом овладевает страстное желание осмотреть мавзолей графа Магнуса, и, добившись на это разрешения, он посещает его в сопровождении дьякона. Внутри он обнаруживает несколько памятников и три медных саркофага, в одном из которых лежит граф. Вдоль края графской усыпальницы в несколько рядов идут выгравированные сцены, в том числе одно загадочное и жутковатое изображение охоты в лесу: обезумевшего от страха человека преследует низенькая, закутанная фигура с щупальцами осьминога, натравливаемая на несчастную жертву высоким мужчиной в черной мантии, стоящим на соседнем пригорке. Саркофаг снабжен тремя массивными железными замками, один из которых открыт и валяется на полу. Увидев его, мистер Рэксэл тут же вспоминает о том металлическом лязге, что он слышал накануне, когда проходил мимо мавзолея и высказал вслух шутливое желание воочию увидеть графа Магнуса.

Еще больше заинтересовавшись личностью графа и имея доступ к ключу, мистер Рэксэл посещает мавзолей вторично, на этот раз без сопровождающего, и обнаруживает, что еще один замок открыт. На другой день, накануне отъезда из Робека, он снова идет в мавзолей, чтобы попрощаться с давно

умершим графом. Под влиянием какого-то необъяснимого порыва он опять выражает вслух свое нелепое желание встретиться с похороненным здесь дворянином и в тот же самый момент, к ужасу своему, обнаруживает, что на саркофаге остался всего лишь один замок. Не успевает он прийти в себя, как этот последний замок с грохотом падает на пол, после чего раздается звук скрипящих петель. Чудовищная крышка саркофага начинает медленно подниматься, и мистер Рэксл в панике выбегает наружу, забывая запереть за собой дверь.

Переправляясь в Англию через Ла-Манш, путешественник испытывает странное беспокойство при виде своих попутчиков. Пассажиры в черных одеждах заставляют его вздрагивать; ему кажется, будто за ним следят. Из двадцати восьми человек, насчитанных им на борту, за столом появляется только двадцать шесть; отсутствуют же всегда одни и те же — высокий мужчина в черной мантии и низенький, закутанный с ног до головы в балахон уродец. Высадившись в Харидже, мистер Рэксл, недолго думая, спасается бегством в закрытом экипаже, но на ближайшем же пересечении дорог замечает две фигуры в мантиях. В конце концов он снимает домик в деревне и проводит время за письменным столом, торопясь оставить после себя описание всех пережитых им ужасов. На второе утро его обнаруживают мертвым, и во время дознания семеро присяжных лишаются чувств при виде его тела. С тех пор в том доме, где он останавливался, больше никто не живет, и лишь спустя полвека, после сноса дома, в ящике забытого шкафа обнаруживают его прощальную рукопись.

В «Сокровище аббатства Святого Фомы» британский антиквар разгадывает тайнопись на витражах эпохи Возрождения и с ее помощью находит старинный золотой клад в нише колодца, вырытого во внутреннем дворе одного германского аббатства. Однако хитрый хозяин сокровища приставил к нему стражника, и в темноте колодца некая тварь хватается антиквара за горло, так что тому приходится прекратить поиски и послать за духовным лицом. После этого случая в течение нескольких ночей подряд антиквар испытывает ощущение

чьего-то незримого присутствия и чувствует отвратительный запах тлена, проникающий в его гостиничный номер из коридора. В конце концов священник вынужден при свете дня вернуть на место камень, которым было загорожено ведущее в сокровищницу отверстие внутри колодца — отверстие, откуда по ночам выходила неведомая тварь, чтобы отомстить человеку, потревожившему золото аббатства Святого Фомы. Завершив свою работу, священник замечает на старинной крышке колодца любопытную резьбу в виде жабы, опоясанной латинским девизом: «Depositum custodi» — «Стереги то, что тебе поручено».

К наиболее значительным творениям доктора Джеймса также относятся «Тайны Барчестерского собора», где в довольно необычной манере оживает причудливое резное изображение, чтобы расквитаться за тайное и подлое убийство старого настоятеля, совершенное его честолюбивым преемником; «Ты только свистни, и я приду к тебе, дружок!», повествующее об ужасе, вызываемом с помощью странного металлического свистка, найденного среди развалин средневековой церквушки; и «Случай из соборной истории», где под церковной кафедрой обнаруживается древняя могила, в которой притаился демон, повсеместно распространяющий панику и мор. Доктор Джеймс, при всей своей наружной легковесности, способен вызывать страх и отвращение в их самых шокирующих формах, что, без сомнения, ставит его в один ряд с немногими действительно талантливыми мастерами, работающими в черном жанре.

Тем, кто занят мыслями о будущем, страшная история со сверхъестественными мотивами дает богатую пищу для размышлений. Теснимая растущим валом дотошного реализма, циничного неверия и показной разочарованности, она в то же время поддерживается параллельным приливом мистицизма, усиливающимся как за счет запоздалой реакции «окультистов» и религиозных фундаменталистов на открытия материалистической науки, так и за счет стимуляции воображения путем расширения перспектив и сноса барьеров, осу-

ществляемой современной наукой с ее молекулярной химией, бурно развивающейся астрофизикой, теорией вероятности и проникновением в сокровенные тайны биологии и человеческой психики. В настоящее время преимущество находится на стороне благоприятствующих сверхъестественному ужасу сил, ибо совершенно очевидно, что сегодня произведения на потусторонние темы принимаются с гораздо большим радушием, нежели тридцать лет назад, когда лучшие творения Артура Мейчена упали на каменистую почву щеголеватых и самоуверенных девяностых. Амброс Бирс, при жизни почти не известный, сегодня достиг широкого признания.

И все же ждать разительных изменений не приходится — ни в ту ни в другую сторону. При любом повороте событий между обеими тенденциями будет поддерживаться приблизительно баланс — и в то время как мы вправе ожидать дальнейшего усовершенствования техники письма, у нас нет никаких оснований предполагать, что место, традиционно занимаемое историей сверхъестественного ужаса в литературе, существенно изменится. При всей своей значительности, это всего лишь один из видов человеческого самовыражения, который всегда будет привлекать относительно небольшое число людей с определенным складом ума. И если завтра мы станем свидетелями всеобщего признания какого-либо произведения литературы ужасов, то можно будет с уверенностью сказать, что своим успехом оно обязано высокому мастерству, а не притягательности темы. Однако кто осмелится утверждать, что мрачность темы на сто процентов исключает успех? Знаменитая, сияющая красотой Чаша Птолемея была высечена из оникса.

ПРИМЕЧАНИЯ

ЗОВ КТУЛХУ

Повесть написана летом 1926 г. и опубликована в журнале «Weird Tales» в феврале 1928 г. В 2005 г. вышла ее экранизация, стилизованная под немой фильм 1920-х гг. (режиссер Эндрю Леман).

С. 5. *Блэквуд, Элджернон* (1869–1951) — английский писатель-мистик, один из классиков литературы ужасов, чье творчество высоко ценил Лавкрафт.

С. 8. *Скотт-Эллиот, Уильям* (годы жизни не установлены) — автор получивших в свое время большой резонанс и переиздаваемых по сей день (как правило, под одной обложкой) псевдоисторических трудов «История Атлантиды» (1896) и «Исчезнувшая Лемурия» (1904).

Фрэзер, Джеймс (1854–1941) — шотландский этнограф и антрополог, главный труд которого, «Золотая ветвь» (1890–1915), представляет собой обширный сравнительный анализ мифологий и религий народов мира.

Мюррей, Маргарет Эллис (1863–1963) — британский антрополог и египтолог, известная также как автор книги «Культе ведьм в Западной Европе» (1921), в которой выдвинута теория единого образа и взаимосвязи колдовских культов на всей территории Европы как продолжения борьбы язычества с христианством.

С. 15. *Вуду* — негритянский культ, широко распространенный на острове Гаити и практикуемый отдельными общинами в других странах. Вудуисты верят в существование многих богов, или духов, которые якобы могут вселяться в людей и руководить их поступками. При мистическом общении с духами жрецы прино-

сят в жертву различных животных; ранее нередко были случаи человеческих жертвоприношений.

С. 18. *Лафитт*, Жан (ок. 1776 — ок. 1823) — французский пират и контрабандист, действовавший с баз в заболоченной дельте Миссисипи. Во время англо-американской войны 1812–1815 гг. он предложил свои услуги правительству США и участвовал в отражении английской атаки на Новый Орлеан.

С. 20. *Д'Ибервиль*, Пьер Лемуан (1661–1706) — французский офицер, исследователь и колонизатор, в 1699 г. основавший первое французское поселение в Луизиане.

Ла Саль, Рене-Робер Кавелье де (1643–1687) — французский исследователь, в 1682 г. первым из европейцев проплывший вниз по Миссисипи до Мексиканского залива и официально провозгласивший весь бассейн этой реки владением Франции под названием Луизиана. Попытка Ла Саля основать колонию в устье Миссисипи не удалась, и он был убит своими взбунтовавшимися подчиненными.

С. 21. *Сайм*, Сидни (1867–1941) — английский художник, известный своими фантастическими картинами и, среди прочего, иллюстрациями к сказкам лорда Дансени.

Ангарола, Энтони (1893–1929) — американский художник итальянского происхождения, творчество которого высоко ценил Лавкрафт.

С. 26. *Мейчен*, Артур (1863–1947) — валлийский писатель, автор фантастических историй, популярных в 1890-х, затем забытых и неожиданно вновь вошедших в моду в 1920-х гг., на которые пришелся расцвет творчества Лавкрафта.

Смит, Кларк Эштон (1893–1961) — американский поэт, скульптор, художник и автор фантастических рассказов, на протяжении 15 лет поддерживавший активную переписку с Лавкрафтом.

С. 34. *Харальд Суровый* (1015–1066) — последний из норвежских королей-викингов, ок. 1048 г. основавший город Осло. В 1624–1924 гг. город официально именовался Христианией, однако т. н. Старый город (исторический центр) и в этот период сохранял прежнее имя Осло.

С. 40. *Полифем* — в греческой мифологии великан-циклоп, обманутый и ослепленный Одиссеем. Когда последний со спутниками отплыл от берега, Полифем, проклиная его, стал наугад метать им вслед огромные камни.

ДАГОН

Рассказ написан в июле 1917 г. и опубликован в ноябрьском, 1919 г. выпуске журнала «The Vagrant». Фильм ужасов «Дагон» (2001; режиссер Стюарт Гордон), созданный по мотивам произведений Лавкрафта, сюжетно имеет мало общего с данным рассказом.

С. 43. *Дагон* (предположительно, от финикийского «даг» — «рыба») — западносемитский бог, покровитель рыбной ловли и податель пищи. Культ Дагона был распространен у филистимлян и у амореев в Верхней Месопотамии. Изображался в виде морского чудовища с телом рыбы и человеческими руками и головой.

Большая война — имеется в виду Первая мировая война.

Гунны — здесь: презрительное прозвище немцев, бывшее в ходу у западных союзников.

С. 46. «*Потерянный рай*» — поэма Джона Мильтона (1608–1674).

С. 48. *Доре*, Гюстав (1832–1883) — французский художник, прославившийся как иллюстратор Библии и многих классических литературных произведений, в том числе «Божественной комедии» Данте и «Дон Кихота» Сервантеса.

Булвер-Литтон, Эдвард Джордж (1803–1873) — английский писатель, автор множества исторических и фантастических романов.

Пилтдаунский человек — плод мистификации, устроенной английским археологом Ч. Доусоном, который в 1912 г. якобы обнаружил близ местечка Пилтдаун в графстве Суссекс части черепа древнего человека. «Находка» представляла собой комбинацию из черепной коробки «гомо сапиенс» и челюсти современной обезьяны. Этот обман был разоблачен только в 1953 г., и Лавкрафт упоминает пилтдаунского человека как образец, признанный всем научным миром.

ЗА СТЕНОЙ СНА

Рассказ написан в 1919 г. и впервые опубликован в октябре того же года в любительском журнале «Pine Cones». Фамилия одного из главных героев позаимствована из статьи в газете «New York Tribune» за 27 апреля 1919 г., где упоминается некий Слейтер, уроженец Катскильских гор, арестованный полицией штата

Нью-Йорк. В 2006 г. по рассказу был снят одноименный фильм (режиссеры Баррет Ли и Том Маурер).

С. 52. *Катскильские горы* — один из отрогов горной системы Аппалачей, к западу от реки Гудзон, в центральной части штата Нью-Йорк. Название горам было дано в XVII в. голландскими первопоселенцами.

С. 62. *Алголь* — крупная звезда в созвездии Персея, относящаяся к категории переменных звезд, блеск которых периодически меняется. Эта особенность была отмечена еще в древности, из-за чего звезда стала вызывать демонические ассоциации и получила имя от арабского «рас ал-гуль» — «голова гуля» (гуль — чудовище-трупоед в восточном фольклоре, откуда оно переключалось и в западную литературу).

С. 63. *...новой звезды в созвездии Персея...* — Автор упоминает реальную звезду, известную как GK Persei и открытую в 1901 г. Приведенная в конце рассказа цитата взята из книги Г. П. Сервиса «Астрономия невооруженным глазом» (1908).

ГИПНОС

Рассказ написан в марте 1922 г. и опубликован в мае следующего года в любительском журнале «National Amateur».

С. 65. *Гипнос* — бог сна в греческой мифологии.

Пентелийский мрамор — белый с золотистым оттенком мрамор, с древности добываемый на горе Пентеликон к северо-востоку от Афин. Этот ценный материал шел на изготовление скульптур и постройку зданий афинского Акрополя.

С. 70. *Северная Корона* (лат. Corona Borealis) — созвездие Северного полушария, образующее полукруглый венец, что и стало причиной его наименования. Известно с древности и упоминается в ряде мифологий, например в греческой — как драгоценный венец, подаренный Дионисом Ариадне.

УСЫПАЛЬНИЦА

Рассказ написан в июне 1917 г. и опубликован в марте 1922 г. в любительском журнале «The Vagrant».

С. 77. *Мономания* — психическое расстройство, выражающееся в навязчивой увлеченности одной идеей или объектом.

С. 80. *Честерфилд*, Филип Дормер Стенхоуп (1694–1773) — английский государственный деятель, дипломат и писатель, автор наставительных «Писем к сыну» (изд. 1774), представлявших собой свод правил и обычаев, принятых в английском высшем свете.

Рочестер, Джон Уилмот, граф (1648–1680) — английский поэт-сатирик, фаворит Карла II, помимо стихов прославившийся своими дебошами и рискованными эскападами.

С. 81. *Гей*, Джон (1685–1732) — английский поэт и драматург, известный своими остроумными пародиями и сатирами, включая «Оперу нищих» (1728) — предтечу жанра музыкальной комедии.

Прайор, Мэтью (1664–1721) — английский поэт и дипломат; автор бурлескных поэм, эпиграмм, баллад и сатир на злобу дня.

С. 84. *Палинур* — в «Энеиде» Вергилия рулевой корабля Энея, во время плавания из Карфагена в Италию заснувший за рулем и свалившийся за борт. Волны вынесли его на берег, где он был убит туземцами, а тень Палинура не находила успокоения, пока Эней не отыскал его тело и не совершил надлежащий погребальный обряд.

ПОГРЕБЕННЫЙ С ФАРАОНАМИ

Рассказ был написан в феврале-марте 1924 г. специально для знаменитого иллюзиониста Гарри Гудини¹ и впервые опубликован за подписью последнего в трех номерах журнала «Weird Tales» (май — июль 1924 г.). Предыстория написания такова: владелец журнала, Дж. Хеннебергер, попросил Лавкрафта записать и литературно обработать историю, которую рассказал ему Гудини, пытавшийся представить свои приключения в Египте как реальные события. Однако Лавкрафт очень скоро выяснил, что большая часть рассказанного Гудини — чистейший вымысел, и после этого дал волю своему воображению, дополнив рассказ множеством новых деталей.

¹ *Гарри Гудини* (настоящее имя Эрих Вейс; 1874–1926) — американский иллюзионист-эскапист, прославившийся своим умением выбираться из труднейших ситуаций, в частности из смиренной рубашки, будучи подвешен в ней за ноги на большой высоте, из наглухо зашитого мешка, из запертого и брошенного в воду сундука, а также из любых тюремных камер и даже из глубокой, засыпанной землей могилы.

С. 88. *Лессепс*, Фердинанд (1805–1894) — французский инженер, предприниматель и дипломат, организатор строительства Суэцкого канала.

Среднее царство — период древнеегипетской истории с XXI по XVIII в. до Р. Х.

С. 90. *Азан* — в исламе призыв к молитве.

Саладин (Салах-ад-Дин; 1138–1193) — султан Египта в 1171–1193 гг., по национальности курд. Одержал ряд побед над войсками крестоносцев в Палестине.

Мухаммед Али (1769–1849) — правитель Египта в 1805–1849 гг. Проводил реформаторскую политику, вел завоевательные войны, добился фактической независимости Египта от Османской империи.

С. 91. *Гелиополь* (букв. Город солнца) — распространенное греческое название древнеегипетского города (к северо-востоку от современного Каира), бывшего центром поклонения богу солнца Ра.

Ра, Амон, Исида, Осирис — главные боги древнеегипетского пантеона.

...*сорок веков взирали на нас...* — Имеется в виду фраза Наполеона Бонапарта в обращении к армии накануне битвы с мамелюками у подножия пирамид 20 июля 1798 г.: «Солдаты! Сорок веков смотрят на вас с высоты этих пирамид!»

С. 92. *Гробница Пернеба* — гробница египетского царедворца периода Древнего царства, обнаруженная в 1907 г., а в 1913 г. выкупленная у египетского правительства американским филантропом Э. Харкнессом, который перевез ее в Нью-Йорк и подарил музею Метрополитен.

С. 94. ...*слова, начертанные на ней Тутмосом IV...* — Согласно легенде, когда царевич Тутмос однажды после охоты отдыхал в тени Сфинкса, к тому времени почти полностью занесенного песком, ему во сне явился Сфинкс, потребовавший, чтобы царевич расчистил его статую, и за это пообещавший сделать его фараоном. По пробуждении Тутмос призвал рабочих и приказал раскопать статую, а вскоре после того он стал фараоном под именем Тутмос IV (правил в начале XIV в. до Р. Х.). Обо всем этом повествует надпись на плите, помещенной между лап Сфинкса.

С. 95. *«Гробница Кемпбелла»* — подземная гробница в 30 м от Сфинкса, относящаяся примерно к 600 г. до Р. Х. Она была обна-

ружена и частично раскопана в 1830-х английским полковником Вайсом, который, недолго думая, назвал ее именем тогдашнего британского консула в Египте, и это название странным образом закрепилось за древним захоронением, тогда как заурядный чиновник Кемпбелл как таковой давно забыт.

С. 96. *Саккарская ступенчатая пирамида...* — Имеется в виду одна из пирамид близ современного села Саккара, в 30 км к югу от Каира, где расположен некрополь времен Древнего царства (XXVIII–XXII вв. до Р. Х.).

С. 98. *Миннегага* — героиня эпической поэмы Г. У. Лонгфелло «Песнь о Гайавате» (1855), возлюбленная заглавного героя.

С. 99. *Мур*, Томас (1779–1852) — ирландский поэт-романтик, автор циклов «Ирландские мелодии» и «Мелодии разных народов», а также «восточных» поэм и сатир. Многие его стихи были положены на музыку и стали популярными песнями (например, «Вечерний звон»).

С. 101. *Феллахи* — так в арабских странах именуют крестьян-землепашцев в отличие от кочевников-бедуинов. Египетские феллахи считаются потомками коренного населения страны, тогда как арабская элита этой страны происходит от кочевников-мусульман, завоевавших Египет в VII в.

С. 104. *Стигийские бездны*, тж. *Стигийское озеро* — аналог Стикса, подземной реки царства мертвых, представленной как озеро или болото в некоторых произведениях древнегреческой литературы и в «Божественной комедии» Данте.

БЕЗЫМЯННЫЙ ГОРОД

Рассказ написан в январе 1921 г. и опубликован в ноябре того же года в любительском журнале «The Wolverine».

С. 125. *Мемнон* — в греческой мифологии сын богини зари Эос (Авроры) и эфиопского царя Тифона, один из героев Троянской войны, убитый в поединке Ахиллом. В данном случае речь идет об одной из двух колоссальных мраморных статуй в египетских Фивах, воздвигнутых при фараоне Аменхотепе III, которую греки считали статуей Мемнона. На заре статуя издавала жалобные звуки, и древние думали, что Мемнон так приветствует свою мать

либо последняя оплакивает гибель сына (в действительности причиной звука было прохождение воздуха через трещины в мраморе при резкой смене температур).

С. 126. *Халдеи* — семитский народ, со II тысячелетия до Р. Х. обитавший в районе устьев Тигра и Евфрата. В 626 г. до Р. Х. халдеи образовали Нововавилонское царство, просуществовавшее несколько десятилетий и распространившее свое влияние далеко за пределы Месопотамии (самый известный из халдейских царей того периода — Навуходоносор II). Халдейские жрецы славились своими познаниями в астрономии и оккультных науках; в древности слово «халдей» часто употреблялось как синоним слов «мудрец» или «маг».

С. 130. *Дамаский* (ок. 458 — ок. 538) — античный философ, последний руководитель Платоновской академии в Афинах, в 529 г. закрытой по приказу императора Юстиниана I. Как язычник, Дамаский подвергался репрессиям — ему, в частности, было запрещено преподавать философию. Кроме основных философских трудов он написал ряд сочинений по теософии, магической практике и оккультизму.

Гютье де Метц (XIII в.) — французский священнослужитель и поэт, автор популярной в Средние века поэмы «Образ мира» (ок. 1246), с многочисленными фантастическими подробностями описывающей сотворение Вселенной.

Афрасиаб — легендарный правитель Турана, в иранской мифологии предстающий жестоким и коварным царем-колдуном.

Окс — древнее название р. Амударьи.

Дансени, Эдвард Планкетт, барон (1878–1957) — англо-ирландский писатель, поэт и драматург, один из основоположников жанра фэнтези, подписывавший свои сочинения «лорд Дансени».

С. 140. *Абаддон* — демон разрушения и смерти в иудейской (а впоследствии и христианской) теологии.

ПРИТАИВШИЙСЯ УЖАС

Рассказ написан в ноябре 1922 г. и впервые опубликован в четырех выпусках любительского журнала «Home Brew» (январь — апрель 1923 г.). По мотивам этого произведения был снят одноименный американский фильм (1994; режиссер К. Кортни-Джойнер).

С. 155. ...*купцом из Нового Амстердама, которому не нравились новые порядки под властью Англии...* — Англичане захватили голландское поселение Новый Амстердам на о. Манхэттен в 1664 г., переименовав его в Нью-Йорк, и окончательно закрепили за собой эту территорию по договору 1674 г.

С. 156. *Конгресс в Олбани* — встреча представителей семи британских колоний в Северной Америке летом 1754 г. для обсуждения совместных действий против французов и индейцев. Предложенный Б. Франклином на конгрессе план более тесного единения колоний так и не был принят, но позднее лег в основу Статей Конфедерации — первого конституционного документа США.

С. 160. *Никта* — в греческой мифологии олицетворение ночной тьмы; богиня ночи, обитающая в бездне Тартара.

ПРАЗДНИК

Рассказ написан в октябре 1923 г. и опубликован в январском, 1925 г. выпуске журнала «Weird Tales». Прообразом Кингспорта послужил приморский городок Марблхэд к северу от Бостона — одно из старейших английских поселений в Америке. Лавкрафт впервые посетил этот городок в декабре 1922 г., за год до написания рассказа.

С. 166. *Лактанций*, Луций Целий Фирмиан (ок. 250 — ок. 320) — римский философ и оратор, в 303 г. принявший христианство и подвергнутый за это гонениям. Позднее, при императора Константине I, был воспитателем его наследника Криспа. Автор ряда богословских сочинений, за стилистическое мастерство прозванный «христианским Цицероном».

С. 170. «*Чудеса науки*» *Морристера* — вымышленная книга, «позаимствованная» Лавкрафтом у Амброза Бирса, который впервые упомянул ее в рассказе «Человек и змея» (1890).

Глэнвилл, Джозеф (1636–1680) — английский философ и богослов; в упомянутом здесь трактате «*Saducismus Triumphatus*» (1681) доказывает реальность существования ведьм и посрамляет скептиков, не верящих в их колдовскую силу.

«*Демонолатрия*» *Ремигия* — имеется в виду сочинение «*Daemonolatreiae libritres*» (1595) французского юриста Николя Реми (он же Ремигий, 1530–1616), который лично председательствовал на многих ведьмовских процессах, отправив на виселицу

или костер несколько сотен человек по обвинению в колдовстве. Основанный на сведениях, полученных в ходе допросов с пристрастием, этот труд на протяжении столетий являлся настольной книгой для «охотников на ведьм» во многих странах Европы.

СТРАШНЫЙ СТАРИК

Рассказ написан 28 января 1920 г. и опубликован в июле 1921 г. в любительском журнале «Tryout».

С. 178. *Клипер* — быстроходное парусное или парусно-паровое судно. В XIX веке клиперы служили для перевозки ценных грузов (чая, пряностей, дорогих тканей) и пассажиров, а также для крейсерской и дозорной службы.

ЗАГАДОЧНЫЙ ДОМ НА ТУМАННОМ УТЕСЕ

Рассказ написан 9 ноября 1926 г. и опубликован в журнале «Weird Tales» в октябре 1931 г. Это третий и последний из «кингспортских» рассказов Лавкрафта, при том что Кингспорт мельком упоминается еще в нескольких его произведениях. Прообразом туманного утеса послужила скала под названием Матушка Энн (Mother Ann) на океанском побережье к северо-востоку от Бостона.

С. 182. *Левиафан* — в библейских сказаниях огромное морское чудовище, которое может отождествляться с крокодилом, китом или гигантским змеем.

Тритоны — здесь идет речь об античных морских божествах, изображаемых обычно в виде старцев или юношей с рыбьим хвостом вместо ног.

С. 184. *Белчер, Ширли, Паунел, Бернард* — Джонатан Белчер (1682–1757), Уильям Ширли (1694–1771), Томас Паунел (1722–1805) и Френсис Бернард (1712–1779) были губернаторами Колонии Массачусетского Залива соответственно в 1730–1741, 1741–1756 (с перерывом), 1757–1760 и 1760–1769 гг.

С. 187. *...эпохи Тюдоров*. — Династия Тюдоров правила в Англии в 1485–1603 гг.

С. 189. *Ноденс* — кельтский бог моря, охоты и врачевания, почитавшийся в языческой Британии.

ОН

Рассказ написан 11 августа 1925 г. после ночной прогулки автора по еще сохранившимся к тому времени районам старого Нью-Йорка. Утром на первом пароме он переплыл через Гудзон в г. Элизабет, штат Нью-Джерси, где купил толстую тетрадь и на скамье в ближайшем парке написал этот текст, который был впервые опубликован в журнале «Weird Tales» в сентябре 1926 г.

С. 194. *Каркассон* — старинный город на юге Франции, центральная часть которого с мощными укреплениями сохранилась в почти неизменном виде со времен Средневековья.

С. 195. *Гринвич-Виллидж* — район в юго-западной части о. Манхэттен, сохранивший старинную планировку: в отличие от остальной части острова, разделенного пересекающимися под прямым углом пронумерованными улицами и авеню, улицы в Гринвич-Виллидж изгибаются и пересекаются под разными углами и зачастую носят собственные имена, а не просто номера. В первой трети XX в. этот район был местом постоянного проживания лиц свободных профессий и считался средоточием нью-йоркской богемы.

С. 197. *Каннелюры* — вертикальные желобки, обычно наносимые на колонны, но иногда также используемые при оформлении стен и пилястров.

С. 200. *...во времена Генеральных штатов*. — Т. е. в период голландского правления на территории, ныне занимаемой Нью-Йорком (1614–1664 и 1673–1674 гг.). Остров Статен в устье р. Гудзон, названный так в честь Генеральных штатов (парламента Нидерландов), носит это имя до сих пор.

СЛУЖИТЕЛЬ ЗЛА

Рассказ написан в 1933 г. и представляет собой описание приснившегося Лавкрафту сна, которое он послал своему другу по переписке Бернарду Остину Дуайэру. Оригинал письма не сохранился, но его соответствующий фрагмент был опубликован в журнале «Weird Tales» в апреле 1939 г. как отдельный рассказ.

С. 208. *Парацельс* (наст. имя Филипп Ауреол Теофраст Бомбаст фон Гогенгейм) (1493–1541) — врач и естествоиспытатель, одним из первых подвергший критическому пересмотру идеи и методы древних врачей. Способствовал внедрению химических препаратов в медицину. Новые идеи Парацельса противостояли традиционной средневековой алхимии и в то же время были в значительной мере основаны на общих с ней принципах.

Альберт Великий (Альберт фон Больштедт; ок. 1193–1280) — немецкий философ и теолог. Начал энциклопедическую систематизацию католического богословия; кроме чисто философских сочинений писал трактаты на различные темы, большей частью о минералах, растениях и животных.

Тритемий, Иоганн (1462–1516) — немецкий мыслитель, не являвшийся открытым приверженцем алхимии, но уделивший ей немало внимания в своих сочинениях.

Гермес Трисмегист («Триждывеличайший») — легендарный античный мудрец. В его сочинениях изложены знания, которые якобы были поведаны ему самим Гермесом (древнегреческим богом торговли и покровителем магии) и дают всеобъемлющее представление о загадках мира. В эпоху эллинизма и поздней Античности на основе его откровений, дополненных многочисленными трудами его последователей по астрологии, алхимии, магии и оккультизму, сложилось религиозно-философское учение «герметизм», оказавшее заметное влияние на мистическую традицию Средневековья и эпохи Возрождения.

Бореллий, Джованни Альфонсо (1608–1679) — итальянский ученый, врач и астроном. Среди его многочисленных сочинений на самые разные темы особое место принадлежит классическому в своем роде труду о природе человеческого организма и механизме мускульных движений, послужившему теоретической основой для многих позднейших исследователей.

АРТУР ДЖЕРМИН

Полное название: «Некоторые факты касательно покойного Артура Джермина и его семьи». Рассказ написан в 1920 г. и опубликован в двух выпусках журнала «The Wolverine» в мар-

те и июне 1921 г. В 1924 г. он появился в «Weird Tales» под заглавием «Белая обезьяна», что вызвало раздражение автора, и все последующие публикации выходили под изначальным названием.

С. 215. *...сам Плиний описал бы их с известной долей скептицизма.* — Имеется в виду энциклопедический труд Плиния Старшего (ок. 23–79) «Естественная история», который наряду с действительными фактами включает немало фантастических сведений.

С. 217. *По завершении американской войны...* — т. е. войны за независимость английских колоний в Америке (1775–1783).

ИЗ ГЛУБИН МИРОЗДАНИЯ

Рассказ написан 18 ноября 1920 г. и впервые опубликован в июне 1934 г. в журнале «The Fantasy Fan».

С. 231. *Шишковидное тело* (эпифиз) — особое образование в мозгу человека, отвечающее за интеллектуально-прогностическую деятельность. Функции этого органа до сих пор не вполне ясны. В древности он воспринимался как «глаз знания или мудрости». Декарт считал, что здесь помещается разумная душа, в пользу чего, по его мнению, говорило то обстоятельство, что шишковидная железа является единственным непарным органом в мозгу.

ГЕРБЕРТ УЭСТ, РЕАНИМАТОР

Рассказ написан между сентябрем 1921 и июнем 1922 г. и публиковался частями с февраля по июль 1922 г. в любительском журнале «Hone Brew». Согласно письмам Лавкрафта, это произведение было задумано им как пародия на «Франкенштейна» Мэри Шелли. На базе рассказа созданы американские фильмы ужасов «Реаниматор» (1985; режиссер Стюарт Гордон), «Невеста реаниматора» (1990; режиссер Брайан Юзна) и «Возвращение реаниматора» (2003; режиссер Брайан Юзна).

С. 238. *Геккель*, Эрнст Генрих (1834–1919) — немецкий биолог-эволюционист и философ, сторонник учения Чарльза Дарвина. Предложил первое «родословное дерево» животного мира и те-

орию происхождения многоклеточных организмов, сформулировал биогенетический закон, исследовал философские аспекты эволюционной теории.

С. 243. *Ифриты* — в восточных мифологиях могущественные демоны, особо злобная разновидность джиннов.

Эблис (Иблис) — мусульманский вариант дьявола; повелитель ифритов и совратитель праведников, питающийся мертвечиной и обитающий во всевозможных нечистых местах: кладбищах, заброшенных домах и т. п.

С. 245. *Птолемея доктрина* — учение древнегреческого астронома Птолемея, создавшего геоцентрическую систему мира, согласно которой Солнце, Луна, планеты и звезды вращаются вокруг неподвижной Земли.

Кальвинизм — направление протестантизма, основанное Жаном Кальвином (1509–1564) и проповедующее доктрину абсолютного предопределения судьбы каждого человека божественной волей. Этой доктрины придерживаются реформатская, пресвитерианская и конгрегационалистская церкви.

Антидарвинизм — агрессивное отрицание эволюционной теории Ч. Дарвина, широко распространенное в провинциальной Америке 1920–1930-х гг.

Антинищенство — неприятие философских взглядов Ф. Ницше и его последователей, что в данном случае подразумевает приверженность к традиционным религиозно-философским концепциям.

С. 265. *Бодлер*, Шарль Пьер (1821–1867) — французский поэт-классик, для которого, помимо стилистической виртуозности, характерен повышенный интерес к «темным сторонам жизни». В данном сравнении содержится намек на аналогичные интересы Уэста, а также на его мастерство хирурга.

Элагабал (*Гелиогабал*) (204–222) — римский император с 218 г., родившийся в Сирии, где в 217 г. он стал жрецом местного бога Элагабала, приняв его имя. Став во главе империи, развратный и своенравный юнец попытался сделать культ Элагабала общеримским, среди прочего шокируя граждан непристойными религиозными плясками. Всеобщее возмущение переросло в дворцовый переворот, император-самодур был убит, а его труп проволокли по римским улицам и сбросили в воды Тибра.

ПЕС

Рассказ написан в сентябре 1922 г. и опубликован в феврале 1924 г. в журнале «Weird Tales».

С. 277. *Бодлер*, Шарль — см. прим. к рассказу «Герберт Уэст, реаниматор».

Гюисманс, Жорис Карл (1848–1907) — французский писатель, в разное время отдавший дань романтизму, натурализму и декадентству. Лавкрафт особо ценил его декадентский роман «Наоборот» (1884).

С. 286. *Велиал* — упоминаемый в Библии дух небытия, лжи и разрушения.

ЛУННАЯ ТОПЬ

Рассказ написан в начале 1921 г. и опубликован в июне 1926 г. в журнале «Weird Tales».

С. 287. *Mit* — графство, расположенное примерно в центре Ирландии (само его название переводится как «середина»).

С. 289. *Партолон* — в ирландской мифологии вождь поселенцев, которые прибыли в Ирландию из Греции или Сицилии после Великого потопа. Обосновавшись и довольно долго прожив на острове, все они в течение одной недели умерли от чумы.

«*Книга завоеваний*» — собрание древних поэтических и прозаических текстов по ирландской истории и мифологии, составленное в XI в.

Немедийцы — в ирландских легендах соратники Немеды из Скифии, который возглавил новое заселение Ирландии через 30 лет после гибели последователей Партолона.

С. 292. *Меналийские фавны* — мифические обитатели склонов горы Меналон в Аркадии (п-ов Пелопоннес).

ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА

Рассказ написан в 1918 г. и впервые опубликован в декабре 1920 г. номере любительского журнала «Philosopher». По мнению некоторых критиков, здесь присутствует автобиографический элемент, отражающий мучительное осознание авто-

ром собственной бесполезности в то время, когда его ровесники отправлялись на войну в Европу. В этом рассказе впервые упомянуты древняя страна Ломар и Пнакотические рукописи, фигурирующие в ряде других произведений Лавкрафта.

С. 300. *Инуты* — намек на инуитов (самоназвание эскимосов).

С. 302. *...Шесть и двадцать тысяч лет...* — Полный цикл земной прецессии (т. н. Платонов год) составляет 25 765 лет.

БЕЛЫЙ КОРАБЛЬ

Рассказ написан в ноябре 1919 г. и в конце того же месяца опубликован в журнале «The United Amateur».

КАРАЮЩИЙ РОК НАД САРНАТОМ

Рассказ написан 3 декабря 1919 г. и опубликован в июне 1920 г. в журнале «The Scot». Название Сарнат носит местечко в Индии, где, по преданию, Будда произнес свою первую проповедь, однако Лавкрафт позднее утверждал, что ко времени сочинения рассказа он ничего не знал об индийском Сарнате, а название просто выдумал.

КОШКИ УЛТАРА

Рассказ написан 15 июня 1920 г. и опубликован в ноябре того же года в журнале «The Tryout». Источником вдохновения для Лавкрафта, безусловно, послужила его любовь к кошкам, о которой можно судить хотя бы по его очерку «Кошки и собаки» (1926).

С. 322. *Кошки олицетворяют дух Древнего Египта...* — В Древнем Египте кошки считались священными животными; их запрещалось убивать, а при погребении их зачастую мумифицировали, как людей. Баст, египетская богиня любви и плодородия, изображалась в виде кошки или женщины с кошачьей головой.

Мероэ — древний город на территории современного Судана, столица царства Куш, существовавшего с VIII в. до Р. Х. по IV в. н. э. В некоторых источниках эта страна именуется Мероитским царством по названию ее главного города.

ПРИМЕЧАНИЯ

Офир — в библейских текстах так называется сказочно богатая страна, местоположение которой до сих пор остается загадкой.

С. 323. *Менес* — это имя намекает на полубогданного фараона Менеса, объединителя Верхнего и Нижнего Египта и основателя Первой династии (ок. 3100 до Р. Х.). Соответственно, под «смуглыми пришельцами» подразумеваются египтяне с их традицией изображать богов полуполудьями-полуживотными. Этому не противоречит и сходство каравана с цыганским табором, поскольку цыгане на протяжении многих столетий считались потомками древних египтян, пока не было доказано их индийское происхождение.

ДЕРЕВО

Рассказ написан в 1920 г. и впервые опубликован в журнале «The Tryout» в октябре 1921 г.

С. 327. *Пентелийский мрамор* — см. прим. к рассказу «Гипнос».

С. 328. *Тегея* — древний город в Аркадии, один из важных религиозных центров Эллады.

С. 329. *Гробница царя Мавсола* — галикарнасский мавзолей, одно из семи античных чудес света.

С. 330. *Элизий* (Елисейские поля) — в греческой мифологии место вечного упокоения душ умерших.

С. 331. *Эол* — повелитель ветров в греческой мифологии.

Перистиль — ряд колонн, окружающий здание или внутренний дворик.

СЕЛЕФАИС

Рассказ написан в ноябре 1920 г. и опубликован в мае 1922 г. в журнале «Rainbow». Главный герой рассказа, Куранес, и вымышленный город Селефаис появляются также в повести «Сомнамбулический поиск неведомого Кадата» (1927).

С. 339. *...времен Чосера...* — Английский поэт Джеффри Чосер, автор «Кентерберийских рассказов», жил во второй половине XIV в.

ИРАНОН

Рассказ написан 28 февраля и впервые опубликован в выпуске журнала «Galleon» за июль-август 1935 г.

В СТЕНАХ ЭРИКСА

Этот рассказ в нехарактерном для Лавкрафта жанре «традиционной» научной фантастики был написан зимой 1936 г. в соавторстве с Кеннетом Дж. Стерлингом и впервые опубликован в октябрьском, 1939 г. выпуске журнала «Weird Tales». Стерлинг, в то время учащийся средней школы, познакомился с Лавкрафтом годом ранее, а в январе 1936 г. принес ему наброски рассказа, основанного на идее «невидимого лабиринта». Лавкрафт полностью переработал текст, попутно вдвое увеличив его объем. Имя главного героя — Кентон Дж. Стенфилд — не случайно напоминает имя одного из соавторов, тогда как в некоторых других терминах (например, «змеевидные акманы» и «трупные мухи-фарноты») Лавкрафт обыграл имена нелюбимых им критиков и редакторов.

С. 349. *Эрикс* — в греческой мифологии сын Афродиты (Венеры) и сицилийского царя Бута, слывший непобедимым кулачным бойцом, пока не повстречался с Гераклом. Последний вызвал Эрикса на поединок и забил его насмерть. Название венерианского плато обусловлено родством Эрикса и Венеры.

С. 370. *Лепидодендроны* — род вымерших древовидных растений, широко распространенных на Земле в конце каменноугольного — начале пермского периода.

ЗВЕРЬ В ПЕЩЕРЕ

Рассказ написан 21 апреля 1905 г. (автору тогда было 14 лет) и впервые опубликован в журнале «The Vagrant» в июне 1918 г.

С. 390. *Мамонтова пещера* — карстовая пещера в западных предгорьях Аппалачей, штат Кентукки; самая длинная пещера в мире (полная протяженность неизвестна; общая длина исследованных ходов составляет ок. 600 км). Издавна известная местным индейцам, пещера была открыта европейцами в 1797 г. Название

ее никак не связано с мамонтами, останки которых в этих краях не обнаружены; в данном случае английское прилагательное «mammoth» («мамонтовый») употреблено в значении «огромный» — настолько потрясли первых исследователей размеры подземных залов неподалеку от входа в пещеру. Во второй половине XIX в. пещера стала объектом паломничества туристов, а в 1941 г. она, вместе с участком земли вокруг входа, получила статус национального парка.

С. 391. ...*ужасной судьбе колонии туберкулезников*... — В 1839 г. врач Джон Кроган основал в Мамонтовой пещере туберкулезный санаторий, но со временем выяснилось, что пещерный холод и дым от костров, на которых готовили пищу, лишь усугубляют заболевание. Состояние пациентов ухудшалось, некоторые из них умерли, и в 1843 г. эксперимент был прекращен. Сам Кроган умер от того же туберкулеза в 1849 г.

АЛХИМИК

Рассказ написан в 1908 г. и впервые опубликован в журнале «The United Amateur» в ноябре 1916 г.

ПРЕОБРАЖЕНИЕ ХУАНА РОМЕРО

Рассказ написан 16 сентября 1919 г. и впервые опубликован в сборнике «Маргиналия» (1944).

С. 408. *Кактусовы горы* — горный хребет в штате Невада.

С. 412. *Глэнвилл*, Джозеф — см. прим. к рассказу «Праздник». ...*послужившая эпитафией к одному из рассказов По...* — Имеется в виду эпитаф. к рассказу Эдгара По «Низвержение в Мальстрем» (1841).

Демокритов колодец — древнегреческому философу Демокриту приписывают изречение: «Истина обитает на дне колодца».

С. 413. *Уицилопочтли* — ацтекский бог войны и солнца, покровитель столицы ацтеков Теночтитлана. Обязательным элементом поклонения этому богу было принесение человеческих жертв, причем в определенных случаях умиловить его могла только кровь людей из самых знатных и благородных семейств.

УЛИЦА

Рассказ написан в конце 1919 г. и опубликован в журнале «Wolverine» в декабре 1920 г. Описываемая улица не имеет конкретного прототипа, а под городом явно подразумевается Бостон. Толчком к написанию рассказа, как это следует из переписки автора, послужила забастовка бостонских полицейских в сентябре-октябре 1919 г., погрузившая город в хаос. Открытая неприязнь, с которой Лавкрафт изображает три последовательные волны иммиграции в Новую Англию: ирландцев в середине XIX в., итальянцев и других южноевропейцев в конце XIX — начале XX в., а позднее мифических русских революционеров, замысливших уничтожить Америку и ее свободы, — дала критикам повод обвинить автора в махровом расизме и ксенофобии.

С. 419. *...в синей униформе...* — Имеется в виду форма северян во время Гражданской войны в США (1861–1865).

С. 421. *...со страхом ожидали четвертого июля...* — Начало социалистической революции в США приурочено заговорщиками ко Дню независимости, отмечаемому 4 июля.

ПОЭЗИЯ И БОГИ

Рассказ написан летом 1920 г. в соавторстве с Анной Хелен Крофтс и опубликован в сентябре того же года в журнале «The United Amateur». Степень участия Крофтс в создании рассказа неясна, однако появление женщины в качестве главной героини абсолютно нехарактерно для творчества Лавкрафта.

С. 426. *Кадуцей* — крылатый посох, обвитый двумя змеями; традиционный атрибут Гермеса, вестника богов, наряду с крылатым шлемом.

С. 427. *Киана* — в греческой мифологии сицилийская нимфа, пытавшаяся помешать Аиду похитить Персефону. Потерпев неудачу, она растворилась в собственных слезах и превратилась в родник.

Атлантиды — в греческой мифологии семь дочерей Атланта и океаниды Плейоны, более известные как Плеяды. Преследуемые охотником Орионом, они превратились в голубок, а Зевс

вознес их на небесный свод, где они стали одноименным созвездием.

Паллада (греч. дева) — прозвище девственной богини Афины.

Кумская сивилла — самая знаменитая из легендарных античных прорицательниц, которая, еще будучи юной и красивой, попросила Аполлона дать ей столько лет жизни, сколько пылинок окажется в пригоршне пыли. Аполлон выполнил просьбу, но сивилла позабыла заодно попросить вечную молодость и была обречена владеть долгой жизнью в образе дряхлой старухи.

Гора Меналон — см. прим. *Меналийские фавны* к рассказу «Лунная топь».

Геспериды — в греческой мифологии нимфы, живущие в сказочном саду на крайнем западе и охраняющие золотые яблоки вечной юности.

...вспенившиеся волны близ Пафоса... — По преданию, Афродита родилась из морской пены у побережья Кипра, близ города Пафос.

Геликон — гора в Средней Греции, на которой, согласно мифам, обитали музы — покровительницы искусств.

...дети Урана и Геи. — Потомками этих богов были титаны, циклопы и сторукие великаны (гекатонхейры). Большинство из них впоследствии было низвергнуто олимпийцами в Тартар либо навеки заточено в огненных недрах вулкана Этна.

...под владычеством бородатого Сатурна... — Древние римляне связывали владычество Сатурна с золотым веком, а самого бога представляли могучим старцем, научившим людей возделывать землю и давшим им справедливые законы. Мрачный эпизод с пожиранием Сатурном собственных детей отсутствует в ранней римской мифологии; он был позднее заимствован у греков, когда Сатурна стали отождествлять с греческим Кроносом.

Парнас — священная гора в Греции с двумя вершинами, посвященными Аполлону и музам. На склонах горы находились Дельфы со знаменитым оракулом, а также Кастальский источник, дарующий вдохновение поэтам и музыкантам, благодаря чему Парнас издавна считается символом поэтического искусства.

С. 428. *Корикийский грот* — место собраний богов и муз на горе Парнас; грот назван в честь нимфы Корикии (Кориции), возлюбленной Аполлона.

...Фаэтон опасно снижает путь солнечной колесницы... — Согласно легенде, сын бога солнца Гелиоса, Фаэтон, однажды по-

просил у отца доверить ему колесницу, провозящую по небосводу солнце, но не справился с норовистыми конями, в результате чего светило приблизилось к земле, грозя спалить все живое.

В Галлии нимфы рыдают... — аллюзия на Первую мировую войну.

С. 429. *Арес* — древнегреческий бог жестокой и яростной войны (в отличие от богини справедливой войны Афины); *Фобос* (Страх) и *Деймос* (Ужас) — его сыновья и постоянные спутники.

Эринии — богини безжалостной мести.

Астрея — богиня справедливости, однажды спустившаяся с небес на землю, чтобы научить людей порядку и законности; однако со временем людские нравы катастрофически испортились, и огорченная Астрея вернулась на небо, превратившись в созвездие Девы.

...воды Алфея, уйдя под землю в Элладе, потом соединились с хрустальными водами Аретусы в Сицилии. — По преданию, Алфей, бог одноименной реки в Аркадии, однажды влюбился в нимфу Аретусу, которая, не пожелав отвечать ему взаимностью, попросила Артемиду перенести ее подальше от Эллады. Артемида так и сделала, превратив Аретусу в источник на островке Ортигия близ побережья Сицилии. Но и тогда настойчивый Алфей нашел путь в подземных областях, чтобы соединить свои воды с водами возлюбленной.

С. 429–430. *Лебедь Эйвона* — прозвище Уильяма Шекспира, родившегося в г. Стратфорд-на-Эйвоне.

С. 430. *...ныне уже не слепого...* — Джон Мильтон полностью потерял зрение в 1652 г., в возрасте 44 лет, и после этого диктовал свои стихи дочерям.

С. 431. *Феб* (букв. лучезарный) — эпитет Аполлона, а также поэтическое название солнца.

Каллиона — муза эпической поэзии.

С. 432. *Гебр* — античное название Марицы, крупнейшей реки во Фракии, откуда был родом певец Орфей.

СТАРЫЙ СУМАСБРОД

Лавкрафт написал этот рассказ летом 1919 г., когда один его друг, Альфред Гальпин, выразил желание попробовать спиртное, прежде чем вступит в силу «сухой закон» (с 16 января 1920 г.).

Сам будучи убежденным трезвенником, Лавкрафт изобразил в этой истории предполагаемое будущее Гальпина, который, однажды из любопытства попробовав спиртное, потом не смог остановиться и спустя годы превратился в жалкого забуддыгу по прозвищу Старый Сумасброд. Имя женщины, неоднократно упоминаемой в тексте (Элинор Уинг), Лавкрафт позаимствовал у однокурсницы Гальпина, за которой тот одно время ухаживал. Рассказ не публиковался при жизни автора и впервые увидел свет в сборнике «„Комната с заколоченными ставнями“ и другие истории» (1959).

С. 433. ...*запретного плода для 1950 года новой эры*. — Действие рассказа перенесено в будущее относительно даты его написания. Разумеется, Лавкрафт не мог предположить, что к 1950 г. в Америке уже не будет действовать «сухой закон», отмененный в 1933 г.

С. 437. *Вийон*, Франсуа (ок. 1431 — после 1463) — французский поэт, ведший беспутную жизнь и не раз спасавшийся от виселицы только благодаря покровительству знатных особ.

Верлен, Поль (1844–1896) — французский поэт, один из родоначальников символизма; помимо стихов прославился своим на редкость сумасбродным поведением, шокировавшим приличное общество.

С. 439. *Анакреонт*, тж. Анакреон (ок. 570–478 до Р. Х.) — древнегреческий поэт, воспевавший любовь, вино и прочие утехы жизни. В его честь лирику, посвященную чувственным наслаждениям, именуют анакреонтической.

С. 440. *Гоплит* — тяжеловооруженный пехотинец в армиях Древней Эллады и Македонии.

ОЧЕНЬ ДРЕВНИЙ НАРОД

Рассказ написан в ноябре 1927 г. При жизни Лавкрафта он не публиковался и был много позднее восстановлен по авторской рукописи.

С. 443. *Мельмот* — в этом имени содержится намек на героя готического романа Ч. Мэтьюрина «Мельмот-скиталец» (1820).

Публий Марон — Публий Вергилий Марон, автор «Энеиды».

Божественный Юлий — Юлий Цезарь, посмертно обожествленный постановлением сената.

С. 444. *Ближняя Испания* — во времена Римской республики так именовалась провинция на Пиренейском полуострове, в долине р. Эбро.

Календы — первый день месяца по римскому лунному календарю.

Васконы — предки современных басков.

Ибер — древнее название р. Эбро.

Квестор — в Древнем Риме должностное лицо, ведавшее уголовными расследованиями и финансовыми делами. Провинциальный квестор еще и выполнял роль заместителя проконсула, управляя провинцией в его отсутствие.

Тарракон — главный город провинции Ближняя Испания; современная Таррагона.

Калагуррис — ныне Калаорра, город на правом берегу Эбро, близ границы с Наваррой.

Лега — *здесь*: командир легиона, расквартированного в провинции.

С. 445. *Эдил* — должностное лицо, надзиравшее за городским строительством, содержанием храмов и проведением общественных игр, а также за состоянием городских рынков и распределением продовольствия в кризисных ситуациях.

С. 446. *...с армией Сципиона*. — Имеется в виду Публий Корнелий Сципион Старший (235–183 до Р. Х.), в 210–206 гг. отвовавший Испанию у карфагенян.

Ликторы — почетный эскорт высших должностных лиц в Древнем Риме.

Претекста — тога с пурпурной каймой, официальное одеяние римских магистратов.

С. 447. *Преторий* — место в лагере, выделенное для палатки командующего.

С. 448. *Диана Арицийская* — эллинизированная италийская богиня, чей культ был связан с человеческими жертвоприношениями.

...специальное постановление сената... — В 186 до Р. Х. римский сенат запретил проведение вакхических празднеств на всей территории Италии.

ПРИМЕЧАНИЯ

Пилум — стандартное оружие римских легионеров: тяжелое метательное копье с длинным железным наконечником.

С. 450–451. ...*судьбы Лаокоона и его сыновей*. — Согласно античной легенде, жрец Лаокоон противился введению в Трою оставленного греками деревянного коня и за это вместе с двумя сыновьями был задушен огромными морскими змеями, которых послал Аполлон.

С. 451. *Памплона* — столица Наварры, в прошлом независимого королевства, а ныне автономной области на севере Испании.

ПАМЯТЬ

Рассказ написан в 1919 г. и опубликован в журнале «The National Amateur» в мае 1923 г.

С. 452. *Анчар* — дерево из семейства тутовых родом с о. Ява; содержит ядовитый млечный сок, которым туземцы отравляли наконечники стрел. Существовало поверье о ядовитости самого воздуха вблизи анчара из-за его испарений.

НЬЯРЛАТХОТЕП

Рассказ написан в 1920 г. и в ноябре того же года опубликован в журнале «The United Amateur».

EX OBLIVIONE

Рассказ написан в конце 1920 или начале 1921 г. и опубликован в журнале «The United Amateur» в марте 1921 г.

ПРИ СВЕТЕ ЛУНЫ

Рассказ написан 5 июня 1922 г. и опубликован в журнале «The National Amateur» в мае 1923 г.

ИСТОРИЯ «НЕКРОНОМИКОНА»

Рассказ написан в 1927 г. как вставка в одно из писем Лавкрафта к К. Э. Смиту и впервые опубликован в 1938 г. Сам Лавкрафт неоднократно признавал, что эта книга — всего лишь плод фанта-

зии, что не помешало издателям уже после его смерти выпустить несколько книг с таким заглавием, объявляя каждую из них «настоящим „Некрономиконом“». Смысл названия «Некрономикон» до сих пор остается спорным. В числе прочих предлагались следующие варианты его перевода с греческого: «Книга познания мертвых», «Книга имен мертвых», «Книга законов мертвых», «Книга, известная мертвым», «Проводник по областям мертвых» и просто «Книга о мертвых».

С. 465. *Сана* — столица современного Йемена. По преданию, город был основан Симом, сыном библейского Ноя. В описываемый период через Сану проходил торговый путь из Эфиопии и Индии в Средиземноморье.

Омейяды — династия, правившая Арабским халифатом в 661–750 гг.

С. 466. *Патриарх Михаил* — имеется в виду константинопольский патриарх Михаил I, занимавший этот пост с 1043 по 1059 г.

Олаус Вормий — латинизированный вариант имени Оле Ворма (1588–1655), датского медика, натуралиста и коллекционера древнескандинавских текстов. Лавкрафт ошибочно помещает его в XIII в.

Ди, Джон (1527–1609) — английский математик, астроном, астролог, оккультист и алхимик, один из величайших эрудитов своего времени.

С. 467. *Художник Р. А. Пикман* — см. сборник Г. Ф. Лавкрафта «Хребты Безумия», рассказ «Модель Пикмана».

Чемберс, Роберт Уильям (1865–1933) — американский журнальный иллюстратор и писатель, известный прежде всего как автор сборника новелл «Король в желтом» (1895). Четыре первые новеллы этого сборника считаются предтечами «литературы ужасов» XX в.

АЗАТОТ

Данный фрагмент представляет собой начало романа, задуманного Лавкрафтом как «восточная сказка в манере восемнадцатого века». Написанный в июне 1922 г., текст остался без продолжения и был впервые опубликован в журнале «Leaves» в 1938 г., уже после смерти автора.

ПОТОМОК

Незавершенный рассказ был написан в 1927 г. и опубликован в журнале «Leaves» в 1938 г. Возможно, именно это произведение имел в виду Лавкрафт, когда писал А. Дерлету: «Сейчас я самым тщательным образом изучаю Лондон с намерением создать вещь на историческом фоне более древнем, чем тот, который может предложить Америка» (письмо от 14 апреля 1927 г.). В образе лорда Нортгема содержится намек на двух британских писателей-мистиков: Артура Мейчена, многие годы жившего в Грейс-инн, как и персонаж рассказа, и лорда Дансени, восемнадцатого барона в древнем англо-ирландском роду.

С. 470. *Грейс-инн* — комплекс зданий в центральной части Лондона, принадлежащий одноименной адвокатской корпорации (т. н. «судебному инну»).

С. 472. *Клэр-Маркет* — квартал в центре Лондона, между улицами Стрэнд и Друри-лейн, названный по имени графа Клэра, в середине XVII в. основавшего здесь мясной рынок. Часть квартала была выделена евреям для кошерного забоя скота.

С. 473. *...досаксонских временах...* — т. е. до ухода римлян из Британии и ее последующего завоевания германскими племенами англов, саксов и ютов, которое началось в середине V в.

Третий Августов легион — данный легион был постоянно расквартирован в римской провинции Африка вплоть до его расформирования в начале V в. Никаких сведений о пребывании этого легиона в Британии не имеется. Вероятно, Лавкрафт имел в виду Второй Августов легион, с 43 по 395 г. базировавшийся в Британии.

Линдум — римская крепость, на месте которой ныне расположен город Линкольн.

С. 474. *Стена Адриана* (Адрианов вал) — сплошная линия укреплений, построенная римлянами в первой половине II в. поперек острова Великобритания для предотвращения набегов пиктов.

Доннелли, Игнатиус (1831–1901) — американский конгрессмен-популист и сочинитель псевдоисторических трудов, в том числе упомянутой в тексте книги «Атлантида: мир до потопа» (1882).

Форт, Чарльз (1874–1932) — американский писатель, занимавшийся исследованием различных аномальных явлений; автор фантастических теорий вроде «заговора марсиан, тайно контролирующих деятельность земных правителей» или «древней антарктической цивилизации».

КНИГА

По мнению исследователей творчества Лавкрафта, этот фрагмент был написан осенью 1933 г. в попытке создать прозаический вариант цикла сонетов «Грибы с Юггота». Сюжетно фрагмент совпадает с тремя первыми сонетами цикла. Опубликован в журнале «Leaves» в 1938 г.

С. 477. *Унциальный шрифт* — каллиграфический вариант письма, применявшийся в латинских и греческих рукописях III–VIII вв.

ГРИБЫ С ЮГГОТА

Цикл сонетов написан осенью 1929 г. и опубликован в октябре 1934 г. в журнале «Fantasy Fan».

С. 483. «*Порт*» — см. сборник Г. Ф. Лавкрафта «Хребты Безумия», повесть «Морок над Инсмутом».

«*Двор*» — см. рассказ «Он».

С. 485. «*Гесперия*» — греческое название Италии, как «страны заходящего солнца и вечерней звезды». Римляне, в свою очередь, перенесли это имя на Испанию. В варианте Лавкрафта Гесперия — некая фантастическая страна, лежащая за западным пределом мира.

С. 486. «*Антарктос*» — см. повесть «Хребты Безумия» в одноименном сборнике Г. Ф. Лавкрафта.

С. 489. «*Ньярлатхотеп*» — см. одноименный рассказ.

«*Азатот*» — см. сборник «Сны в Ведьмином доме», повесть «Сомнамбулический поиск неведомого Кадата».

С. 493. «*Древний город*» — см. рассказ «Безымянный город».

С. 494. «*Отчуждение*» — см. сборник «Хребты Безумия», рассказы «Серебряный ключ» и «Врата серебряного ключа».

СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННЫЙ УЖАС В ЛИТЕРАТУРЕ

Эссе написано в период между ноябрем 1925 и маем 1927 г. и впервые опубликовано в 1927 г. в альманахе «The Recluse». В 1933–1935 гг. Лавкрафт неоднократно дополнял и исправлял текст, после чего он приобрел нынешний вид.

С. 500. *Браунинг*, Роберт (1812–1889) — английский поэт и драматург, классик XIX в. Стоящая особняком среди его — в большинстве своем романтических — произведений поэма «Чайльд-Роланд» (1855) проникнута атмосферой ночных ужасов. По утверждению Браунинга, эта поэма, от первой до последней строчки, явилась ему во сне.

Джеймс, Генри (1843–1916) — американский писатель, тяготевший к социальному и психологическому реализму, но в 1890-х гг. создавший ряд экспериментальных произведений, в том числе мистическую повесть «Поворот винта» (1898).

Холмс, Оливер Уинделл (1809–1894) — американский ученый-медик, поэт и писатель, видная фигура в литературной жизни США XIX в. В романе «Элси Веннер» (1861) описана история женщины, в период беременности укушенной гремучей змеей и разродившейся дочерью, которая сочетала в себе свойства человека и змеи.

Кроуфорд, Френсис Мэрион (1854–1909) — американский писатель, большую часть жизни проведший в Италии. Наряду с историческими и романтическими сочинениями написал несколько рассказов — в т. ч. «Верхняя полка» (1886), «Улыбка мертвеца» (1899), «Кровь это жизнь» (1905), — причисляемых к классике литературы ужасов.

Джилмен, Шарлота Перкинс (1860–1935) — американская писательница, поэтесса и социальный реформатор. «Желтые обои» (1892), ее самый известный рассказ, отчасти автобиографичен, основываясь на впечатлениях от перенесенного ею послеродового психоза.

Джекобс, Уильям Уаймарк (1863–1943) — английский писатель, автор множества юмористических и приключенческих произведений, но более всего известный рассказом «Обезьянья лапа» (1902), в котором присутствуют магический талисман, оживший мертвец и т. п.

С. 502. «*Книга Еноха*» — один из апокрифов Ветхого Завета, написанный, по мнению исследователей, не ранее II в.

«*Ключ Соломона*» — средневековый трактат о магии (XIV–XV вв.), авторство которого ошибочно приписывали царю Соломону.

С. 503. *Альберт Великий* — см. прим. к рассказу «Служитель зла».

Лулий, Раймунд (ок. 1235 — ок. 1315) — философ, теолог и поэт, родом с испанского острова Майорка; писал на каталонском и арабском языках. В сочинении «Великое и непревзойденное искусство» высказал идею «логической машины» (примитивного прообраза современных компьютеров) и попытался реализовать эту идею на практике.

С. 504. *Тритемий* — см. прим. к рассказу «Служитель зла».

Фладд, Роберт (1574–1637) — английский врач и философ-мистик. Считал, что человек, а также минералы и растения могут менять внешнюю оболочку и таким образом обретать бессмертие.

Бэринг-Гулд, Сэбин (1834–1924) — английский писатель и ученый, специалист по древностям, агиограф, собиратель музыкального фольклора. Лавкрафт здесь ссылается на его книгу «Причудливые мифы Средневековья» (I т. — 1866, II т. — 1868).

...рассказ *Петрония об оборотне*... — эпизод романа Гая Петрония Арбитра (ум. 66) «Сатирикон» (гл. LXII).

Апулей (ок. 125 — ок. 180) — римский писатель, автор авантюрно-мистического романа «Метаморфозы».

...знаменитое письмо *Плиния Младшего*... — письмо римского писателя Плиния Младшего (ок. 61 — ок. 112) к сенатору Луцию Лицинию Суре, в котором обсуждается вероятность существования призраков и их вмешательства в дела живых людей.

С. 505. *Флегонт* (II в.) — греческий историк и писатель; его компилятивный труд «О вещах чудесных» был очень популярен в Средние века благодаря включенным в него историям о вампирах и привидениях.

Прокл, Диадок (412–485) — греческий философ-неоплатоник, помимо ученых трудов писавший гимны богам и сочинения по мистике и магии.

«*Коринфская невеста*» — баллада (1797) И. В. Гёте о мертвой невесте, навестившей ночью своего жениха.

Ирвинг, Вашингтон (1783–1859) — американский писатель-романтик. Его новелла «Немецкий студент» (1824) повествует о любви главного героя к некоей знатной девице, которая, как выясняется в финале, была гильотинирована еще накануне их первой встречи.

Скандинавские «Эдды» — две древнескандинавские книги, написанные в XIII в. на основе предшествующей устной традиции. В «Старшей Эдде» излагаются мифы о богах и героях, а «Младшая Эдда» представляет собой пособие по стихосложению с обширной информацией о языческих мифах, откуда заимствовалась фразеология скальдов.

Имир — в скандинавской мифологии персонификация Хаоса, первое живое существо, из тела которого был сотворен осязаемый мир, включая людей, великанов и т. п.

«Беовульф» — англосаксонская эпическая поэма VIII в.

Спенсер, Эдмунд (ок. 1552–1599) — английский поэт, главное произведение которого, аллегорическая поэма «Королева фей» (1590–1596), изобилует фантастическими эпизодами.

«Смерть Артура» — рыцарский роман Томаса Мэлори (ок. 1410–1471), одно из ключевых средневековых произведений цикла о короле Артуре.

«Доктор Фауст» — здесь: трагедия Кристофера Марло (1564–1593), основанная на немецких средневековых легендах о черно-книжнике, продавшем душу дьяволу.

С. 505–506. *Уэбстер*, Джон (ок. 1580 — ок. 1625) — английский драматург, автор трагедий «Аппий и Виргиния» (1609), «Белый дьявол» (1612), «Герцогиня Амальфи» (1618).

С. 506. ...когда король Иаков Первый объявил крестовый поход против ведьм. — Иаков I (1566–1625), король Англии с 1603 г., начал «охоту на ведьм» еще будучи только королем Шотландии (с 1567 г. под именем Иаков VI), когда в 1590 г. 70 человек были казнены по обвинению в колдовстве.

...в период правления королевы Анны... — Анна Стюарт (1665–1714) правила Великобританией в 1702–1714 гг.

«Приключения Фердинанда, графа Фатома» — роман (1753) шотландского писателя Тобиаса Смоллетта (1721–1771), в котором описаны похождения циничного и абсолютно аморального главного героя в Англии и странах континентальной Европы.

С. 507. *«Оссиан»* — т. е. «Поэмы Оссиана» (1762–1763) шотландского автора Джеймса Макферсона (1736–1796), который пытался выдать свои сочинения за перевод подлинных древне-шотландских сказаний.

«Тэм О'Шэнтер» — поэма (1791) Роберта Бернса (1759–1796), красочно изображающая бесовский шабаш в здании старинной церкви.

«Кристабель» и *«Сказание о старом мореходе»* — поэмы (1797–1798) Сэмюэла Тейлора Кольриджа (1772–1834), в первой из которых фигурирует злой дух-оборотень, а во второй — корабль-призрак.

«Килмени» — сказочная баллада шотландского поэта и писателя Джеймса Хогга (1770–1835).

Китс, Джон (1795–1821) — английский поэт-романтик; в его стихотворении «Ламия» (1820) рассказывается о кровожадном чудовище, которое в обличье юной девы сочетается браком с коринфским юношей.

Бюргер, Готфрид Август (1747–1794) — немецкий поэт, лучшие произведения которого созданы в жанре баллады с использованием элементов фольклора, в том числе «Дикий охотник» (изд. 1786) и «Ленора» (1773).

Мур, Томас — см. прим. к рассказу «Погребенный с фараонами».

«Венера Ильская» — новелла (1837) Проспера Мериме, герой которой перед игрой в мяч надевает свое обручальное кольцо на палец статуи Венеры и позднее гибнет в объятиях ожившей «каменной невесты».

С. 508. *Уолпол*, Хорас (1717–1797) — английский писатель и драматург, получивший известность как автор готического романа «Замок Отранто» (1764) и трагедии «Таинственная мать» (1768).

С. 510. *Барбо*, тж. Барболд, Анна Летиция (урожденная Эйкин; 1743–1825) — английская писательница и поэтесса, в основном писавшая книги для детей и политические памфлеты.

С. 511. *Рив*, Клара (1729–1807) — английская писательница, кроме нескольких готических романов написавшая эссе «История развития романа» (1785) — одно из первых исследований подобного рода.

Ли, София (1750–1824) — английская писательница и драматург.

Радклиф, Анна (урожденная Уорд; 1764–1823) — английская сочинительница готических романов, чрезвычайно популярная в конце XVIII — начале XIX в.

С. 513. *Браун*, Чарльз Брокден (1771–1810) — один из первых профессиональных писателей в США, прозванный «отцом американского романа».

С. 514. *Годвин*, Уильям (1756–1836) — английский писатель, придерживавшийся весьма радикальных для того времени взглядов и критиковавший ханжество английского общества.

С. 516. «*Нортенгерское аббатство*» — роман (изд. 1819) английской писательницы Джейн Остин (1775–1817), пародирующий готическую литературу и прежде всего романы А. Радклиф.

С. 517. *Россетти*, Данте Габриел (1828–1882) — английский поэт и художник, основавший в 1848 г. «Братство прерафаэлитов».

С. 520. *Сейнтсбери*, Джордж (1845–1933) — видный английский критик и теоретик литературы.

Биркхед, Эдит (годы жизни не установлены) — сотрудница Бристольского и Ливерпульского университетов, автор эссе «Литература ужаса» (1921), явившегося непосредственной предтечей данной статьи Лавкрафта.

Гросс, Фридрих Август (1768–1847) — немецкий писатель и ученый-естествоиспытатель.

Рош, Регина Мария (1764–1845) — ирландская писательница, готические романы которой в конце XVIII в. соперничали по популярности с сочинениями Анны Радклиф.

Дакр, Шарлота (1782–1841) — английская писательница и поэтесса, выступавшая также под псевдонимом Роза Матильда.

Бекфорд, Уильям (1759–1844) — английский писатель и собиратель древностей, для хранения которых он построил роскошный замок в готическом стиле. Точное название его романа, упомянутого в статье: «Ватек. Арабская сказка» (1782).

С. 521. ...*благодаря галлановскому переводу*... — Французский востоковед Антуан Галлан (1646–1715) перевел на французский язык большую часть сказок «Тысячи и одной ночи».

С. 523. *Булвер-Литтон*, Эдвард Джордж — см. прим. к рассказу «Дагон».

Рейнольдс, Джордж Уильям Макатур (1814–1879) — весьма плодовитый британский писатель и журналист, в свое время даже

более читаемый по обе стороны Атлантики, чем Диккенс и Теккерей, но впоследствии прочно забытый.

С. 525. *Де Куинси*, Томас (1785–1859) — английский писатель-романтик, оказавший определенное влияние на развитие декадентской литературы конца XIX в. — прежде всего своей автобиографической повестью «Исповедь англичанина-опиомана» (1822).

Эйнсуорт, Уильям Гаррисон (1805–1882) — английский писатель, автор исторических романов.

Марриет, Фредерик (1792–1848) — английский автор «морских» романов и повестей.

С. 528. *Ле Фаню*, Джозеф Шеридан (1814–1873) — ирландский писатель, в своих произведениях часто обращавшийся к сверхъестественному. Лучшей его книгой считается сборник новелл «Сквозь стекло, смутно» (1872).

Прест, Томас Прескетт (1810–1859) — британский писатель, журналист и музыкант, по большей части сочинявший «страшные истории» для дешевых приключенческих журналов. Его авторство готического романа «Вампир Варни» (1847) ставится под сомнение большинством исследователей, которые считают более вероятным автором этой книги Джеймса Малькольма Раймера (1814–1884).

Хаггард, Генри Райдер (1856–1925) — английский писатель, автор приключенческих романов. Упомянутый в тексте роман «Она» (1887) открывает цикл произведений Хаггарда о бессмертной женщине Аэше, наделенной сверхъестественными способностями.

С. 530. *Фуке*, Фридрих де ла Мотт (1777–1843) — немецкий писатель и драматург, потомок гугенотов, эмигрировавших в Пруссию; автор драматической трилогии «Герой Севера» (1808–1810) и ряда псевдорыцарских романов; более всего известен сказочной повестью «Ундина» (1811).

Парацельс — см. прим. к рассказу «Служитель зла».

С. 531. *Мейнхольд*, Вильгельм (1797–1851) — немецкий священник и писатель, самыми значительными произведениями которого являются сказочная новелла «Янтарная ведьма» (1843) и мистико-исторический роман «Сидония фон Борк» (1849).

С. 532. *Эверс*, Ганс Гейнц (1871–1943) — немецкий писатель-декадент, известный в первую очередь своими ранними рома-

нами и новеллами. Автор «Хорста Весселя» — гимна немецких нацистов.

С. 533. *Готье*, Теофиль (1811–1872) — французский писатель, поэт и журналист, один из первых выразителей принципа «искусство ради искусства».

Юисманс, Жорис Карл — см. прим. к рассказу «Пес».

С. 534. *О’Брайен*, Фитц-Джеймс (1828–1862) — американский писатель ирландского происхождения, один из зачинателей жанра научной фантастики.

Эркман — *Шатриан* — коллективный псевдоним французских писателей Эмиля Экмана (1822–1899) и Шарля Александра Шатриана (1826–1890), работавших совместно начиная с 1847 г.

С. 535. *Вилье де Лиль-Адан*, Филипп Огюст Матиас (1838–1889) — французский писатель и драматург; симпатизировал парижским коммунарам, а после их разгрома примкнул к набравшему тогда силу течению декадентов.

Левель, Морис (1875–1926) — французский писатель, специализировавшийся на фантастических произведениях и рассказах ужасов.

«*Гран-Гиньоль*» — парижский «театр ужасов», работавший с 1897 по 1963 г.

С. 536. *Майринк*, Густав (1868–1932) — австрийский писатель-экспрессионист, отличавшийся повышенным интересом к явлениям иррационального характера.

Ан-ский, Семен Акимович (урожденный Шлойме-Занвл Раппопорт; 1863–1920) — российский этнограф и писатель еврейского происхождения; писал на русском и идише.

С. 545. *Мор*, Пол Элмер (1864–1937) — американский журналист и литературный критик.

С. 546. *Готорн*, Натаниэль (1804–1864) — американский писатель-романтик, мастер психологической и аллегорической прозы.

С. 548. *Лоуренс*, Дэвид Герберт (1885–1930) — английский писатель и поэт, чьи описания интимных чувственных переживаний и издевка над пуританской моралью шокировали современников, а его роман «Любовник леди Чаттерлей» (1928) более 30 лет находился под запретом в Британии и США.

С. 556. *Баньши* — привидение-плакальщица в шотландском и ирландском фольклоре. Обычно баньши опекает конкретную семью и душераздирающими воплями предвещает кончину кого-либо из ее членов.

С. 557. *Дюморье*, Джордж Луи (1834–1896) — английский писатель и художник-карикатурист, француз по происхождению. Его готический роман «Трильби» (1894) был очень популярен в конце XIX — начале XX в.

С. 558. *Каркоза* — вымышленный город из рассказа А. Бирса «Житель Каркозы» (1891), прототипом которого, вероятно, послужил французский город Каркассон (см. прим. к рассказу «Он»). Это и некоторые другие придуманные Бирсом имена (в т. ч. «Хастур») были использованы Р. У. Чемберсом в рассказах сборника «Король в желтом» (1895).

С. 558. *Уилкинс-Фримен*, Мэри Элинора (1852–1930) — американская писательница и поэтесса родом из штата Массачусетс, в произведениях которой отражены традиции и повседневная жизнь Новой Англии.

С. 559. *Крэм*, Ральф Эдамс (1863–1942) — американский архитектор и писатель; его рассказ «Долина смерти» вышел в сборнике «Темные и белые духи» (1895).

Кобб, Ирвин Шрусбери (1876–1944) — американский писатель-юморист, многие произведения которого были экранизированы в эпоху немого кино.

Клайн, Леонард (1893–1929) — американский писатель, поэт и журналист.

С. 560. *Холл*, Леланд (1883–1957) — американский писатель и музыковед.

Уайт, Эдвард Лукас (1866–1934) — американский писатель и поэт, автор исторических романов и новелл.

С. 562. *Херн*, Патрик Лафкадио (1850–1904) — американский писатель, принявший японское гражданство под именем Коидзуми Якумото.

С. 562–563. «*Искушение святого Антония*» — роман (1874) Г. Флобера.

С. 563. *Шил*, Мэтью Фипс (1865–1947) — британский писатель декадентского направления родом с карибского о. Монтсеррат.

...в манере «желтых девяностых»... — Тема «желтой угрозы», исходящей с Востока, была популярна в конце XIX — начале XX в. Для разнообразия некоторые авторы, в т. ч. Шил, переносили источник угрозы в другие места — например, Арктику или Антарктику.

С. 564. *Стокер*, Брэм (1847–1912) — ирландский писатель, более всего известный как автор романа «Дракула» (1897).

Ричард Марш — псевдоним британского писателя Ричарда Бернарда Хельдманна (1857–1915). Наибольший коммерческий успех имел его роман «Жук» (1897).

Сакс Ромер — псевдоним английского писателя Артура Генри Сарсфилда Уорда (1883–1959), обогатившего детективный жанр введением экзотерических и сверхъестественных элементов.

С. 565. *Бисс*, Эдвин Джеральд Джонс (1876–1922) — американский автор криминальных романов. «Дверь в нереальное» (1919) — его единственное произведение в жанре сверхъестественного триллера.

Янг, Френсис Бретт (1884–1954) — английский писатель, поэт, драматург и композитор.

Бьюкен, Джон (1875–1940) — британский литератор и политик, генерал-губернатор Канады в 1935–1940 гг.

Хаусмен, Клеменс (1861–1955) — английская писательница, сестра более известного Альфреда Эдварда Хаусмена (1859–1936), поэта и критика.

Рэнсом, Артур (1884–1967) — английский писатель и журналист, в 1914–1919 гг. бывший корреспондентом и шпионом в России.

С. 566. *Макдональд*, Джордж (1824–1905) — шотландский священник, писатель и поэт. Роман «Лилит» (1895) — самое известное и самое мрачное из его произведений.

Де ла Мар, Уолтер (1873–1956) — английский писатель и поэт, более всего известный произведениями для детей или о детях. Роман «Возвращение» вышел в 1910 г.

С. 567. *Барри*, Джеймс Мэтью (1860–1937) — шотландский писатель и драматург; автор шуточных рассказов, написанных на шотландском диалекте, и пьес, отличающихся прихотливой игрой воображения. Самые известные его произведения: пьеса-сказка «Питер Пэн» (1904) и повесть «Питер и Венди» (1911).

Бенсон, Эдвард Фредерик (1867–1940) — английский писатель, автор реалистических романов, а также новелл о привидениях.

Уэйкфилд, Герберт Рассел (1888–1964) — английский автор рассказов о сверхъестественных явлениях.

С. 568. *Уолтол*, Хью Сеймур (1884–1941) — плодовитый английский писатель, автор 36 романов, пяти сборников новелл и двух пьес, популярный в 1920–1930-х гг., но преданный забвению вскоре после его смерти.

Меткалф, Джон Уильям (1891–1965) — англо-американский писатель (переехал в США в 1928 г.). Первый и самый лучший сборник его рассказов, «Дымящаяся нога», вышел в 1925 г.

Форстер, Эдвард Морган (1879–1970) — английский писатель социально-критического направления. Сборник сверхъестественных историй «Небесный омнибус» (1911) нехарактерен для его творчества в целом.

Эверетт, Г. Д. (годы жизни не установлены) — английская писательница конца XIX — начала XX в.

Хартли, Лесли Поулз (1895–1972) — британский автор, лучший роман которого, «Посредник», был опубликован уже после смерти Лавкрафта. Упомянутый в тексте рассказ вышел в сборнике «Ночные страхи» (1924).

Мэй Синклер — псевдоним Мэри Амелии Сент-Клер (1863–1946), британской писательницы и литературного критика, введшей в употребление термин «поток сознания». Сборник рассказов «Жуткие истории» вышел в 1923 г.

С. 569. *Ходжсон*, Уильям Хоуп (1877–1918) — английский писатель и поэт, до начала литературной карьеры бывший моряком и тренером по греко-римской борьбе.

С. 571. *Огюст Дюпен* — гениальный сыщик, персонаж рассказов Э. По «Убийство на улице Морг», «Тайна Мари Роже» и «Похищенное письмо».

Джон Сайленс — детектив и оккультист, герой романа А. Блэкуда «Джон Сайленс, парамедик» (1908).

С. 572. *Конрад*, Джозеф (псевдоним Юзефа Теодора Конрада Коженёвского; 1857–1924) — английский писатель польского происхождения, в прошлом моряк.

Карлтон, Уильям (1794–1869) — ирландский романист, писавший главным образом о крестьянской жизни.

Крокер, Томас Крофтон (1798–1854) — ирландский фольклорист.

Уайльд, Джейн Франческа (1821–1896) — ирландская поэтесса и писательница, мать Оскара Уайльда; отличалась склонностью к эпатажу и символическим жестам.

Хайд, Дуглас (1860–1949) — ирландский ученый, писатель и политик; основатель Гэльской лиги — влиятельной общественной организации, президент Ирландии в 1938–1945 гг.

Йейтс, Уильям Батлер (1865–1939) — ирландский поэт и драматург, лауреат Нобелевской премии (1923).

Синг, Джон Миллингтон (1871–1909) — ирландский драматург и писатель, многие произведения которого связаны с морской тематикой.

«А. Э.» — псевдоним ирландского писателя, поэта, критика и художника Джорджа Уильяма Расселла (1867–1953).

Леди Грегори — Изабелла Августа Грегори (урожденная Перссе; 1852–1932), ирландская писательница, драматург и собирательница фольклора.

Колум, Падраик (1881–1972) — ирландский поэт, писатель и драматург.

Стивенс, Джеймс (1882–1950) — ирландский поэт и писатель, в своих произведениях использовавший мифологические и фольклорные мотивы.

С. 574. *Isca Silurum* (тж. *Isca Augusta*) — укрепленное римское поселение, развалины которого до сих пор можно увидеть в Южном Уэльсе.

С. 575. *Гвент* — средневековое княжество на юго-востоке Уэльса.

С. 581. *Креси* и *Азенкур* — места сражений Столетней войны, завершившихся крупными победами англичан соответственно в 1346 и 1415 гг.

С. 585. *Библия короля Иакова* — английский перевод Библии, выполненный в 1607–1611 гг. большой группой литераторов и теологов под патронажем короля Иакова Первого.

С. 587. *Джеймс*, Монтегю Родс (1862–1936) — британский историк, автор научных трудов и рассказов о привидениях, многие из которых были экранизированы.

ПРИМЕЧАНИЯ

С. 593. *Чаша Птолемеев* — выдающийся образец античной резьбы по камню, предположительно созданный в Александрии в I в. до Р. Х. и названный по имени царской династии, которая правила Египтом в эллинистическую эпоху. Ныне чаша хранится в парижской Национальной библиотеке.

В. Дорогокупля

СОДЕРЖАНИЕ

ЗОВ КТУЛХУ. Перевод С. Лихачевой	5
ДАГОН. Перевод Е. Мусихина	43
ЗА СТЕНОЙ СНА. Перевод В. Дорогокупли	51
ГИПНОС. Перевод В. Дорогокупли	65
УСЫПАЛЬНИЦА. Перевод В. Кулагиной-Ярцевой	74
ПОГРЕБЕННЫЙ С ФАРАОНАМИ. Перевод О. Мичковского	86
БЕЗЫМЯННЫЙ ГОРОД. Перевод Е. Мусихина	124
ПРИТАИВШИЙСЯ УЖАС. Перевод В. Кулагиной-Ярцевой	142
ПРАЗДНИК. Перевод О. Мичковского	166
СТРАШНЫЙ СТАРИК. Перевод О. Мичковского	178
ЗАГАДОЧНЫЙ ДОМ НА ТУМАННОМ УТЕСЕ Перевод В. Останина	182
ОН. Перевод В. Дорогокупли	193
СЛУЖИТЕЛЬ ЗЛА. Перевод В. Дорогокупли	207
АРТУР ДЖЕРМИН. Перевод Е. Мусихина	213
ИЗ ГЛУБИН МИРОЗДАНИЯ. Перевод О. Скворцова	227
ГЕРБЕРТ УЭСТ, РЕАНИМАТОР. Перевод С. Антонова	237
ПЕС. Перевод Е. Нагорных	276
ЛУННАЯ ТОПЬ. Перевод Е. Нагорных	287
ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА. Перевод Е. Мусихина	298
БЕЛЫЙ КОРАБЛЬ. Перевод Е. Мусихина	304
КАРАЮЩИЙ РОК НАД САРНАТОМ. Перевод Е. Мусихина	313

СОДЕРЖАНИЕ

КОШКИ УЛТАРА. <i>Перевод В. Дорогокупли</i>	322
ДЕРЕВО. <i>Перевод В. Останина</i>	327
СЕЛЕФАИС. <i>Перевод В. Останина</i>	333
ИРАНОН. <i>Перевод В. Останина</i>	341
В СТЕНАХ ЭРИКСА. <i>Перевод В. Дорогокупли</i>	349
ЗВЕРЬ В ПЕЩЕРЕ. <i>Перевод И. Богданова</i>	390
АЛХИМИК. <i>Перевод В. Дорогокупли</i>	398
ПРЕОБРАЖЕНИЕ ХУАНА РОМЕРО. <i>Перевод О. Скворцова</i>	408
УЛИЦА. <i>Перевод В. Дорогокупли</i>	416
ПОЭЗИЯ И БОГИ. <i>Перевод В. Дорогокупли</i>	424
СТАРЫЙ СУМАСБРОД. <i>Перевод С. Антонова</i>	433
ОЧЕНЬ ДРЕВНИЙ НАРОД. <i>Перевод С. Антонова</i>	443
ПАМЯТЬ. <i>Перевод О. Мичковского</i>	452
НЬЯРЛАТХОТЕП. <i>Перевод О. Мичковского</i>	454
ЕХ OBLIVIONE. <i>Перевод О. Мичковского</i>	459
ПРИ СВЕТЕ ЛУНЫ. <i>Перевод О. Мичковского</i>	462
ИСТОРИЯ «НЕКРОНОМИКОНА». <i>Перевод О. Мичковского</i>	465
АЗАТОТ. <i>Перевод В. Дорогокупли</i>	468
ПОТОМОК. <i>Перевод В. Дорогокупли</i>	470
КНИГА. <i>Перевод В. Дорогокупли</i>	476
ГРИБЫ С ЮГГОТА. <i>Перевод О. Мичковского</i>	480
СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННЫЙ УЖАС В ЛИТЕРАТУРЕ <i>Перевод И. Богданова и О. Мичковского</i>	497
Примечания. <i>В. Дорогокупля</i>	594

Лавкрафт Г. Ф.

- Л 13 Зов Ктулху : повести, рассказы, сонеты / Говард Филлипс Лавкрафт ; пер. с англ. С. Антонова, И. Богданова, В. Дорогокупли и др. — М. : Иностранка, Азбука-Аттикус, 2017. — 640 с. — (Иностранная литература. Большие книги).
ISBN 978-5-389-06607-6

Говард Филлипс Лавкрафт, не опубликовавший при жизни ни одной книги, сделался маяком и ориентиром целого жанра, кумиром как широких читательских масс, так и рафинированных интеллектуалов, неиссякаемым источником вдохновения для кинематографистов, да и само его имя стало нарицательным. Сам Борхес восхищался его рассказами, в которых место человека — на далекой периферии вселенской схемы вещей, а силы надмирные всеяют в души неосторожных священный ужас.

Итак, вашему вниманию предлагаются классические произведения одного из самых влиятельных мифотворцев двадцатого века, причем в эталонных переводах. Кроме рассказов и повестей, том включает монументальное исследование «Сверхъестественный ужас в литературе» и даже цикл сонетов.

УДК 821.111(73)
ББК 84(7Coe)-44

Литературно-художественное издание

ГОВАРД ФИЛЛИПС ЛАВКРАФТ
ЗОВ КТУЛХУ

Ответственный редактор Александр Гузман
Художественный редактор Вадим Пожидаев
Технический редактор Татьяна Раткевич
Компьютерная верстка Анастасии Келле-Пелле
Корректор Маргарита Ахметова
Главный редактор Александр Жикаренцев

Знак информационной продукции
(Федеральный закон № 436-ФЗ от 29.12.2010 г.):



Подписано в печать 11.10.2016. Формат издания 60 × 90 ¹/₁₆.
Печать офсетная. Тираж 3000 экз. Усл. печ. л. 40.
Заказ № 4667/16.

ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“» —
обладатель товарного знака «Издательство Иностранка»
119334, г. Москва, 5-й Донской проезд, д. 15, стр. 4

Филиал ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“»
в Санкт-Петербурге
191123, г. Санкт-Петербург, Воскресенская наб., д. 12, лит. А

ЧП «Издательство „Махаон-Украина“»
04073, г. Киев, Московский пр., д. 6 (2-й этаж)

Отпечатано в соответствии с предоставленными материалами
в ООО «ИПК Парето-Принт».

170546, Тверская область, Промышленная зона Боровлево-1,
комплекс № 3А.
www.pareto-print.ru



YILN1458707R

Дэвид Митчелл ОБЛАЧНЫЙ АТЛАС

Современная классика, монументальный шедевр, вошедший, как и многие другие книги Митчелла, в шорт-лист Букеровской премии. В 2012 году роман был экранизирован Томом Тыквером и братьями Вачовски (в ролях Том Хэнкс, Хэлли Берри, Хью Грант, Джим Бродбент, Бен Уишоу, Хьюго Уивинг, Сьюзен Сарандон), став, при бюджете свыше 100 миллионов долларов, самым дорогим независимым фильмом в истории кинематографа.



«Облачный атлас» подобен зеркальному лабиринту, в котором перекликаются, наслаиваясь друг на друга, шесть голосов: нотариуса середины девятнадцатого века, возвращающегося в США из Австралии; молодого композитора, вынужденного торговать душой и телом в Европе между мировыми войнами; журналистки в Калифорнии 1970-х, раскрывающей корпоративный заговор; мелкого издателя — нашего современника, умудрившегося сорвать банк на бандитской автобиографии «Удар кастетом» и бегущего от кредиторов; клона-прислуги из предприятия быстрого питания в Корею — стране победившего киберпанка; и гавайского козопаса на закате цивилизации.

Издательская Группа «Азбука-Аттикус»

В состав Издательской Группы «Азбука-Аттикус» входят
известнейшие российские издательства: «Азбука»,
«Махаон», «Иностранка», «КоЛибри».

Наши книги — это русская и зарубежная классика,
современная отечественная и переводная
художественная литература, детективы, фэнтези,
фантастика, non-fiction, художественные
и развивающие книги

для детей, иллюстрированные энциклопедии
по всем отраслям знаний,
историко-биографические издания.

Узнать подробнее о наших сериях
и новинках вы можете на сайте
Издательской Группы «Азбука-Аттикус»

<http://www.atticus-group.ru/>

Здесь же вы можете прочесть отрывки
из новых книг, узнать о различных мероприятиях
и акциях, а также заказать наши книги через
интернет-магазины.



ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ГРУППА

АЗБУКА-АТТИКУС

ПО ВОПРОСАМ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ОБРАЩАЙТЕСЬ:

В Москве:

ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“»

Тел.: (495) 933-76-01,

факс: (495) 933-76-19

e-mail: sales@atticus-group.ru;

info@azbooka-m.ru

В Санкт-Петербурге:

Филиал ООО

«Издательская Группа „Азбука-Аттикус“»

Тел.: (812) 327-04-55,

факс: (812) 327-01-60

e-mail: trade@azbooka.spb.ru

В Киеве:

ЧП «Издательство „Махаон-Украина“»

Тел./факс: (044) 490-99-01

e-mail: sale@machaon.kiev.ua

Информация о новинках и планах на сайтах:

www.azbooka.ru,

www.atticus-group.ru

Информация по вопросам приема рукописей
и творческого сотрудничества

размещена по адресу:

www.azbooka.ru/new_authors/

Говарда Филлипса Лавкрафта называли «Эдгаром По двадцатого века». Его отец-коммивояжер сошел с ума, когда Лавкрафту было два года. Его мать до шести лет заставляла будущего писателя носить длинные волосы и одевала как девочку. Он почти не ходил в школу, получил домашнее образование и с ранних лет пристрастился к готическим рассказам. Прожив большую часть жизни затворником в родном Провиденсе, Лавкрафт вел гиперактивную переписку (сто тысяч писем!), активно публиковался в журналах и при жизни не увидел ни одной своей напечатанной книги. Запоздалое, но оглушительное признание пришло к нему через много лет после смерти. Влияние его «философии ужаса» признавали такие мастера, как Борхес, и такие кумиры миллионов, как Стивен Кинг, по его рассказам было поставлено полтора десятка фильмов, до сих пор ежегодно выходят книги, развивающие и анализирующие его наследие, и само имя Лавкрафта стало нарицательным.

Творчество Лавкрафта целиком опиралось на творения классиков жанра. Благодаря этому его труды выдержали испытание временем и сегодня, спустя полвека перемен и хаоса, у писателя есть немало увлеченных поклонников. Мы, конечно, можем отмахнуться от лавкрафтовской космологии как от абсурдной, но какая-то часть нашего естества подсказывает, что эти тайные страхи небезосновательны. В то время, когда Лавкрафт создавал «мифы Ктулху» и легенду о воскресении Древних Богов, возвращающихся, чтобы править землей, многие с легкостью отворачивались от подобных фантазий, не видя в них ничего, кроме параноидального бреда о будущем. Сегодня в обществе все более крепнет подозрение, что это будущее может стать нашим настоящим.

Роберт Блох

Для Лавкрафта важнее всего остального было воссоздать момент прорыва к высшим истинам, которые таятся за «темной, непроницаемой завесой»... В этом отношении он наследник прежде всего Эдгара По... В те годы, на которые приходится пик творческой активности Лавкрафта, По был открыт вторично, прочитан в совершенно новом контексте — как писатель, умевший за оболочкой повседневности распознавать прямое действие иррациональных сил во всем их могуществе. Так читали По сюрреалисты — школа, с которой у Лавкрафта много точек соприкосновения.

Алексей Зверев



www.azbooka.ru